

Д Н Е В Н И К И Х Х В Е К А



ГЕРМАН КАЙЗЕРЛИНГ
Путевой дневник
философа



Санкт-Петербург
Издательство «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»
2010



Д Н Е В Н И К И Х Х В Е К А

HERMANN KEYSERLING

Das reisetagebuch eines Philosophen

ГЕРМАН КАЙЗЕРЛИНГ

Путевой дневник философа

*Перевод с немецкого
И. П. Стребловой
Г. В. Снежинской*



Санкт-Петербург
«ВЛАДИМИР ДАЛЬ»
2010

УДК 82-94:1(091)
ББК 84я44: 87.3(0)
К 12

Серия основана в 2000 году

Редакционная коллегия серии
«Дневники XX века»

*В. М. Камнев, Б. В. Марков,
А. П. Мельников, Ю. В. Перов, К. А. Сергеев,
Я. А. Слинин, Ю. Н. Солонин (председатель)*

© Издательство «Владимир Даль»,
серия «Дневники XX века» (раз-
работка, оформление), 2000 (год
основания), 2010

© Г. В. Снежинская, перевод на
русский язык, 2010

© И. П. Стреблова, перевод на
русский язык, 2010

© Ю. Н. Солонин, статья, 2010

© А. П. Мельников, оформление, 2010

© П. Палей, дизайн, 2010

ISBN 978-5-93615-097-5

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Солонин Ю. Н. Герман Кайзерлинг — путешественник сквозь время и пространство</i>	29
<i>Предварительное замечание</i>	87
I. В Тропики	90
<i>Перед отъездом: различные формы опыта; преимущества и недостатки уединения; актер, поэт и метафизик; поче- му философы должны быть странниками; преимущест- ва и недостатки странствования</i>	90
<i>В Средиземном море: внешняя и внутренняя свобода; почему я не хочу быть главою школы; единственно существен- ное; механическое освобождение; апология иезуитст- ва; душа как «природа»</i>	94
<i>В Суэцком канале: настроение пустыни; Бог пустыни; как возникают боги</i>	97
<i>В Красном море: воображение тела; корреляция элементов каждого мира; как а priori конструировать животных</i>	99
<i>Аген: огромная формообразующая сила Африки; природа как великий художник превосходит человека; переоце- ненность художественного творчества; смысл прекрас- ного; когда суждение, основанное на вкусе, может быть объективным; красота для отдельного индивида никогда не имеет символического значения</i>	100
<i>В Индийском океане: почему созерцание величественной природы оказывает возвышающее действие; зависи- мость впечатления от внешних обстоятельств (103). — Значимость одевания; апология тщеславия; маскарад как средство самореализации; Хаджи Баба из Исфаха- на; разное понимание формы Востоком и Западом (106). — Равнозначность всех фактов; никто не может уметь все; следует принимать во внимание разницу между своим и другим родственным умом; необходи-</i>	

мость самоограничения; специфическое бескорыстие творца; никто не живет для себя (110). — Сила среды; преимущество столицы перед провинцией; преимущества и недостатки «светского окружения»; тип репрезентативно-показного человека; французенка XVIII века; характерные различия между мальчиком, мужем и старцем как отражение воздействия среды; почему к мужчине и женщине нужно подходить с разными мерками; фантазии о Царствии Небесном 111

II. Цейлон 113

Коломбо: все живое в тропиках имеет вегетативную природу; психические и физические феномены — явления одного толка; учение о майе; учение о майе отвечает нашему натурализму; Будда и Ницше 113

Канги: красота ландшафта; мечта и ее осуществление; почему великие достижения духа рождаются в умеренном климате; в тропиках неведома наша любовь; стремление уйти от окружающего изобилия как мощный мотив в поведении обитателя тропиков; Нирвана (116). — Тропическая флора; буддизм как теория растительного мира (119). — Физиологические основы буддизма; Ашвагхоша и Бергсон; феноменологический релятивизм как религия; в тропиках проще составить объективное суждение о психических процессах; становление как последняя инстанция; основы идеи Нирваны; освобождение и вечная жизнь (124). — Буддистская церковь; превосходство буддийского священника над христианским; бестактность тех, кто берется улучшать мир; бесстрастие ценнее благотворительности; буддийское милосердие (*caritât*); всякое состояние необходимо и является благом на своей ступени; человек не желает жить по чужой указке (126). — Формообразующая сила буддизма; буддизм, католичество и протестантство; преимущество царского происхождения Будды; абсолютное преимущество благородного происхождения; изначальный характер христианства как религии пролетариев; абсолютное преимущество буддизма перед последним (128). — Буддистское богослужение; несущественность представлений о вере; почему обитатель тропиков более склонен к религиозному философствованию, чем житель северных стран; путь Запада ведет через явление к смыслу; значимость догмы в христианском вероучении; буддистский фанатик (130). — Монахи; почему их почитают; причина радостного настроения в буддизме; буддизм и лютеранство; недостаток слишком простых идеалов (133). — Любовь к ближнему у христиан и буддистов; *Attachement* (привязанность) и *Déta-*

chement (непривязанность) как идеалы; буддизм возводит специфический идеал мудреца в ранг всеобщности; абсолютное превосходство христианства (137). — Буддизм как идеальная религия посредственности; христианская идеализация уничижения; отсутствие чувства достоинства у Фомы Кемпийского; преимущество «знающих» основателей религий; истинное значение учения Христа; современный материализм как внучатое дитя идеи стремления к Царствию Небесному (138). — Физические изменения моего тела; акклиматизация как результат работы воображения; у животного мало свободной фантазии; стоицизм и протейзм (141). — Усиление всех противоположностей в тропиках (143). — Трудности видения в условиях тропического солнца; тысяченожка и совершенство; почему британец всюду находит признание, а немец — нет . . .	143
<i>Дембул</i> : Будда и многобожие; личность как поверхностное явление	145
<i>Через джунгли в Хабаране</i> : слабая восприимчивость представителя культурного человечества к природе; многообразие джунглей и океана; схематизм человеческого разума	146
<i>На озере Миннери</i> : совершенство животного; подчиненность ограничениям ценнее независимости, связанность ценнее несвязанности; животные интереснее, чем люди; все творения имеют единый корень (148). — Приводя наблюдения и идеи, давать им духовное обоснование; различные формы восприятия; Толстой, не углубляясь в философствование, художественными средствами выражал глубочайшие вещи	150
<i>Полмонарува</i> : о сущности руин; джунгли и Греция	152
<i>Анурадхапура</i> : цари тропиков как тигры и слоны; тропический воздух враждебен индивидуальности; священное дерево бодхи; безумная скорость смены поколений; возможность динозавров; условность всякого величия; антиномическое соотношение между высоким уровнем массы и отдельными великанами (154). — Змеиный приют; укрощение змей и лечение сумасшедших; творческое воздействие понимающего подхода к больным; мораль и приспособление; «моральный инстинкт»; земной рай; когда может проявляться божественная любовь (157). — Поэзия почитания реликвий	160
III. Индия	162
<i>Рамешварам</i> : многообразие индийского человечества; специфически индийское состояние сознания; непосредственное понимание символики; представления как са-	

мостоятельные сущности; различное воздействие религиозных церемоний; связь между звучанием и смыслом; психическое такая же объективность как материальное; возможность чудотворного действия; индийское понятие реального; примат психического . . . 162

Магура: почему все древнейшие формы богослужения носят черты ужасного; экстаз плоти; опьяненность и сладострастие как пути к Богу; половые сношения как религиозное таинство; индийские боги как персонификация основных инстинктов; возможны ли демоны; возможная глубина поверхностного (166). — Индийское искусство как высшее выражение физического воображения; анимальность индуизма; индийский гиперболизм; неповторимая способность выражать иррациональное содержание; Шива божественней чем Зевс (170). — Дух политеизма; преимущества многобожия, почему в условиях многобожия искусство достигает высшего развития; переход к монотеизму и тем самым к порядку, но также и к большой противоречивости; монотеизм воспитывает характер; монотеизм, политеизм и мистика; в каком смысле просветленная индийская мудрость и пестрые народные верования содержат одинаковый смысл; заблуждение как выражение истины (173). — Индийское словесное богатство; преимущества и недостатки общих понятий; отсутствие плана в индийском творчестве; индийцы никогда не были рационалистами; правильная оценка логики; противоречащие друг другу учения признаются одинаково ортодоксальными; границы разума (177). — Индийский эпос; для индийцев мифы и исторические факты одинаково истинны; как миф преобразует действительность; правдивость и значительность; первичность смысла; мир чистого смысла; наука как майя; воображение лучше, чем факты 180

Танжур: индийский танец 184

Кондживерам: психология кастовой системы; необходимость предрассудков; только познание позволяет их преодолеть; прагматизм 186

Махабалипурам: ценность преходящности 189

Агьяр: заслуга теософского общества; западный характер теософии; переосмысление индийской мудрости; истинность оккультизма; возможность телепатии; мысли как материальное явление; основы оккультизма в свете критики познания; возможность высших миров; возможность боговидения; ясновидение; различные уровни реальности; миссис Анни Безант (190). — Сущность йоги; концентрация как техническая основа всякого

прогресса; душевная тишина; медитация и молитва; витализация желаемых процессов представления; желание создает реальность; духовные упражнения Игнатия Лойолы (198). — Орден иезуитов; развитие оккультных знаний и духовность не связаны между собой; развитие психических способностей вызывает понижение человеческих качеств; йога ведет к однозначности; корень морально-нравственного дуализма; радикальное зло; освобождение через познание (202). — Развитие оккультных способностей как биологический прогресс; стремление к прогрессивному развитию и к совершенству взаимно исключают друг друга; почему блаженны нищие духом; совершенство как экспонент духовности; абсолютные ценности; духовность есть одно из фундаментальных начал; бессмертие; духовное значение прогрессивного развития; дух приобретает все более богатые средства выражения; познание и бытие; совершенство влечет за собой прогресс (205). — Сверхчувственные миры; преимущества суеверия; умозрительные соображения о потустороннем мире; абсолютное преимущество земной жизни; спасение через веру (212). — Преимущества болезни; смысл умерщвления плоти; преимущества слепоты; обладание высшими способностями в состоянии, отклоняющемся от нормы, ничего не значит; ущербные святые; ясность суждения, которую индийцы проявляют в этих вопросах; йог — человек здоровый по существу (215). — Темное начало всех религиозных сообществ; значительные люди не могут становиться апостолами; парадоксальный механизм религиозно-исторического развития; основатели религий не обладают сильной личностью; учение Иисуса — лишь один из составных элементов христианства; евреи как избранный народ; бессилие духовных гигантов в мирских делах; таинственное влияние спиритуальных сил; учителя, о которых говорит теософия (219). — Учение о перевоплощении; кинематическое и статическое понимание жизненного процесса; Западу повезло, что у него не было веры в метампсихоз; достоинства веры в Страшный Суд; Платон и теософы (225). — Адьярский Мессия; преимущество недостижимых идеалов; вопрос о реальном существовании Спасителя для религии не имеет значения; почему большинство религий устанавливают необходимость посредника; смысл тяги к поклонению чему-то высшему; истинное значение личности Спасителя; он служит примером для человечества (227). — Требуется ли человечеству новый Спаситель? Метаморфозы, которые проделала личность Иисуса; победа протестантского духа; невозможность появления но-

- вых мировых религий (232). — У теософии нет всемирной миссии; три основных возражения против нее; религиозный вред оккультизма; значение веры и неверия; достоинства общества «The New Thought»; Адела Кертис, Йоганнес Мюллер; преимущества христианского мистицизма перед индийским; новые религии не требуются; мужские и женские добродетели; женственный характер индийских идеалов; властная сила идеи автономии; неизбежность ее победы (234). — Мужественность как сущностная черта Запада; преодоление рока; причина успешности Запада; чего на самом деле хочет Запад; вера и бытие сливаются воедино, побеждает самоопределение; женское человечество проявляет большую глубину в познании; мужчина и женщина; сущность противоположности полов 241
- Элора*: брахманизм, джайнизм и буддизм; скудость индийского протестантизма; буддизм как вырожденческое явление; религия и народный характер; превращения буддизма 249
- Угайпур*: индийский театр; индийский *cour d'amour*; индийское искусство любви; эротическое превосходство романских народов над германскими; эротическая культура; гранд-дама и гетера; муза и домашняя хозяйка; мораль не может служить общим знаменателем идеальных устремлений; невозможность какого-либо общего знаменателя как такового; каждый род совершенства может достигаться только за счет остальных . . . 254
- Читор*: индийский героизм; не все события регистрируются историей; ни одно состояние не проходит окончательно, оно только сходит со сцены 260
- Джайпур*: многообразие Индии; понятие касты; преимущества кастовой системы (262). — Преимущества завышенной оценки законов наследственности; раджпуты как высочайшее достижение человеческой селекции; психическая обусловленность расы; неоднозначность природных задатков; почему правящие династии дольше всего сохраняются без вырождения; индийская сила веры 265
- Лакор*: проклятие привычки; привычки не бывают хорошими; почему требуется упорядоченность жизненного уклада; сила непонимания 269
- Пешавар*: бездуховный воздух центральной Азии; величие Чингисхана (271). — Долина Кабула прежде и сейчас; что значит история; провидения не существует (273). — Ложность первобытного идеала; коровы и боги как идеалы; сверхчеловек 274

Дели: дух империи; Дели и Рим; Великие Моголы как величайший тип властителя; уникальное величие Акбара; его наднациональность; аристократическое благородство мусульманина и отсутствие аристократизма у христианина; исламская толерантность; только в исламе реализован идеал братства (276). — Формирующая сила ислама; его демократический дух; Аллах как повелитель воинства; магометанская вера как армейская дисциплина; молитва как воинский парад; требование послушания в религии (280). — Ислам — это религия простого солдата; исламский и русский фатализм; преимущества веры в предопределения; родственные черты в кальвинизме и исламе (283). — Преимущества монотеизма; селекция, направленная на выработку характера (284). — Делийский двор; общие законы развития искусства; рост и смена форм как абсолютно необходимые процессы; возможность априорного конструирования музыки Штрауса (286). — Дух ислама носит западный характер; евреи, христиане и мусульмане как братья; основной характер Запада; дальнейшее развитие ислама и христианства 289

Агра: Тадж Махал; соотношение рационального и декоративного в архитектуре; значение и эксклюзивный характер индивидуальности (291). — Культура эпохи Моголов и Ренессанс; рассуждение о них; сокровенная связь между явлением и смыслом; земное и случайное как необходимость в глазах Бога (294). — Арабеска, не имеющая глубинного смысла; ценность поверхностного 296

Бенарес: святые места; для большинства людей становится переживанием только то, что вызвано впечатлениями внешнего мира; необходимость импульса; значение паломничества; психическая атмосфера (298). — Глубинный смысл солнечного культа (301). — Индийская набожность; сущность веры и молитвы; религиозное воспитание детей; навязывание конфессии как грех; многочисленные боги как проявление единого божества; Индия и Россия; Восток эмоционально богаче Запада; любовный пыл персидских мистиков; почему индийцы считают европейцев душевно грубыми; европейцы по своей натуре не склонны к религиозному благочестию (303). — Вера в Бога как средство для достижения цели; индуизм и католицизм; техническое отличие католицизма от протестантизма; то и другое — пути к Богу; сравнительные достоинства этих двух форм религии; все мистики принадлежат к католическому складу; почему ритуалы становятся все менее эффективными; в каком отношении рациональный ев-

ропеец уступает суеверному индуусу; величайшие откровения выпадали на долю неодаренных в духовном отношении людей (305). — Психологическое превосходство индуизма, преимущества «знающих» религиозных вождей; все конфессии следует оценивать только с прагматической точки зрения; почему видения всех святых соответствовали их предрассудкам; духовное значение воздержания; три пути к Богу; путь любви — самый легкий; в любви как таковой нет ничего Божественного; эрос Платона; благодушие не является достоинством (313). — Всякое спасение заключается в познании, но вера прокладывает к нему путь; вопрос о том, существовал ли Христос, не является религиозной проблемой; интеллектуализация разрушает веру; единственное средство спасения (318). — Слог ОМ; значение повторения; всякое средство, используемое для духовного утешения, когда-нибудь утрачивает свой смысл; неудачная формула «оправдания верой»; трагедия Лютера (322). — Образцовый святой; метафизика как компромисс; индийское понимание человеческой ценности; быть важнее, чем делать; смысл благотворительности; по ту сторону эгоизма и альтруизма; преувеличенное представление о значении труда; благотворитель в первую очередь приносит пользу самому себе; Восток милосерднее Запада (324). — Индийское подвижничество во имя любви; оптимистичность индийского мировоззрения; различие индийской и христианской набожности; для индийской веры неведомо сознание греховности; человек должен думать о себе как можно лучше, а не как можно хуже; что такое грех; грех — самый быстрый путь к спасению; апология глупости; пафос греховного сознания (329). — Факиры как регресс в сторону животного состояния; примирение мудрости и суеверия; индийский экзотеризм и эзотеризм; примирение монизма и дуализма; Бхагават-Гита; всякая философия — это лишь форма выражения; форма не имеет сущностного характера; индийская философия не построена на мыслительной работе; мышление не позволяет выйти за пределы своей сферы; единственный путь к познанию сущности; не мышление, а погружение в глубину; несопоставимость индийской и европейской методик; индийская и европейская схоластика (333). — Индийская философия не находит законченного воплощения ни в одной системе; адвайта, дайта и висиштадвайта; в Индии не существует монизма, дуализма и пантеизма в нашем смысле; индийские мудрецы как прагматисты; что такое истина; образцовое значение индийской мудрости (337). — Йога как путь к мудрости; достижение глубочайшей

мудрости посредственными мыслителями; наша преувеличенная оценка таланта; сущность йоги; всякое познание есть перцепция; сущность таланта; когда мышление перестает быть необходимым; вдохновение можно удержать; интеллектуальное созерцание; платоновский мир идей; в чем индийские мудрецы превосходили наших величайших мыслителей; поверхностность Гёте (345). — Всякий духовный прогресс опирается на концентрацию; глубокомыслие и крепкая нервная система; почему высшие достижения возможны в старости; только поверхностный человек может быть иррелигиозным, не видеть различия между добром и злом; страсть не имеет значения; почему человек как продукт утонченной культуры не способен больше любить; сводимость любви к чувственности; единственный путь исцеления от распада; наше потенциальное великое будущее (351). — Дыхательные упражнения; образцовое значение индийской культуры; английская и американская йога (356). — Художественное творчество Востока; искусство Запада опирается на концентрацию рассудка; художники Востока как йоги; китайские примеры; ритмический строй рисунков Дюрера и китайских рисовальщиков (359). — Ядро учения йоги; предназначение человека — преодоление predetermined природой границ человеческого существа; познание есть освобождение; преодоление зла; своеобразие индийской мудрости (363). — Смысл как первичное; как эгоизм, так и альтруизм не имеют значения; по ту сторону добра и зла, почему индийцы не успешны в реальной жизни (366). — Индийцы как католики; в Индии нет вольнодумцев; вера и знание; нелюбовь к новшествам; истина может быть только «дарована»; отсутствие оригинальности, вера в авторитеты, духовность; тривиальный стиль индийских мыслителей; недостаточная витальность их идей (368). — Герои веры и активного действия — противники оригинальности; почему оригинальность не в почете у индийцев; глубина понимания парализует силу; всезнание подходит только для Бога; великие в познании, индийцы в человеческом отношении мелки; индийские учения не оказали почти никакого влияния на реальную жизнь; только страстному человеку можно исповедовать идеал кротости; проклятие глубокого познания; йог не есть воплощение высшего человека (374). — Причина индийского квиетизма; потенциально возможное практическое истолкование индийских учений; для человека понимающего типична бесхарактерность; почему умные редко бывают добрыми; антиномия познания и жизни (380). — Индийские мудрецы не воплощают

в себе высший тип человека; «высший тип человека» — ложное понятие; все конкретные идеалы соотносимы с определенной природной основой; роковая роль подражания Христу; мудрецы и святые как основные тоны жизненной симфонии, роль мудрецов и святых — задавать основной тон жизненной симфонии; святой не опровергает своим существованием мирянина — оба взаимно обуславливают друг друга; решение проблемы абсолютных ценностей; Будда и Христос имеют значение не как представители типов, а как достигшие совершенства (383). — Буддизм как индийские «сумерки богов»; Нирвана 388

Буддх-Гая: место, где Будда достиг просветления; Будда более велик, чем Христос: сущность благодати; Христос — не отец христианства; Будда и Августин; грех как путь к Богу; слово должно стать плотью; уникальное величие Будды 389

В Гималаях: царство богов; свет Брахмы в человеке; разгадка мировой загадки; обладая бессознательным знанием, мы неизменно принимаем парадоксы религии; рай Шивы (394). — Дух может двигать горами; границы его власти; чем вреден эгоизм; вся природа должна проникнуться духом (398) — Махатмы; неосознанное знание цели; значение примера и произнесенного слова; сверхчеловеческое; особый характер протистов может быть понят только, исходя из психики; создания психики как материальные явления; смысл антитезы природы и духа; сфера свободы сужается по мере прогрессивного развития; в сфере жизни есть сравнительно высшее, но нет наивысшего; смысл эволюции; отчего зависит появление той или иной формы; устойчивые формы зависят от инерции (400). — Протеизм; личность не идентична человеческому Я; неосуществимость протеического идеала; интеллектуальность как препятствие на пути к совершенству; понимание как центральное ядро сознания; времена веры в авторитеты минули навсегда; путь будущего; личность — не есть высшая ступень; новая природная ступень и ее идеал (407). — Препятствия как облегчающие средства; единственно правильная постановка главной проблемы жизни; каждому — свой путь и своя цель; ни один человек не может быть образцом для подражания как продукт природы, а лишь в том случае, когда он достигает своего специфического совершенства; преодоление зла (412). — Сотворение мира как игра; комедии Шекспира 416

Калькутта: у Тагоров; теория индийской музыки; программная музыка; индийская музыка; туше и ритм; музыка индийцев как зеркало их метафизики 417

IV. На Дальний Восток 422

В Бенгальском заливе: преимущества болезни и выздоровления; детское счастье; один и тот же источник энергии питает телесную и духовную жизнь; заблуждение йогов 422

Рангун: Бирма; слепота индийцев; Бирма живет исключительно чувственной жизнью; бирманка; пагода Шве-Дагон (424). — Золотой век; бирманский буддизм; магическая сила непонятых формул 426

Пенанг: тропическая природа; прелесть растительного существования; растение и женщина 428

Сингапур: растения как идеальные существа; флора как наилучшее из всех известных выражений духа; она дает ответ на все проблемы жизни; сущность свободы; смысл красоты и бессмертия; односторонность всех направлений развития 430

Гонконг: покидая тропики: китайское искусство и природа 433

V. Китай 435

Кантон: революция; поведение в исключительных обстоятельствах не имеет значения; революции как детские болезни; публичная жизнь повсюду лишена интереса; идеализм коммерсанта; сходство китайцев с муравьями (435). — Красота всего декоративного; форма господствует только там, где она уже умерла; долговременность китайского развития (439). — Китайская письменность; ее необычайная выразительность; конфуцианское трезвучие; суггестивная выразительность, алгебраический характер китайской письменности (440). — Место казни; искусство любви и пытки; болевые эксперименты; смысл пытки направлен на зрителя; наказание как средство устрашения; по системе никогда нельзя судить о людях и наоборот; злорадство как первобытный инстинкт; будет ли когда-либо преодолена склонность к жестокости? (444). — Китайская религиозность; священники как инженеры; вера создает духов; молитва дает силу богам (448). — Материя ярости; связь между самоконтролем и нервными кризисами; физическая витальность обусловлена психическими причинами 450

Макао: своеобразие китайской мистики; китайские и греческие мудрецы; перенаселенность и нравственная куль-

тура (453). — Связь между поступком и тем, что человек есть; русские как лучшие психологи (455). — Лао-Цзы; для китайца не существует ничего выше природы; природа как образец для подражания; из всех формулировок метафизической реальности только китайская бессмертна (457). — Китайский юмор; китайская, греческая и романская формы; форма должна быть инклюзивной, а не эксклюзивной; кое-что о психологии игрока 460

Цундао: выдающиеся китайцы; конфуцианство не теория, а форма жизни; мораль — глубинная основа китайцев; их политическая культура опирается на воспитание душевных свойств; нравственное как совершенство естественного (463). — Конфуцианство делает человека реакционным; каждый конкретный идеал действителен только для определенного места и определенного времени; только Китай разрешил социальный вопрос; проблема счастья (466). — Китайская вежливость; типичное как наилучшая форма проявления индивидуально-го; почтительность как основа всех добродетелей; глубинный смысл вежливости; Книга церемоний; церемонная вежливость — наивысшее достижение конфуцианства; грация как выражение мудрости; что лучше — совершенная внешняя цивилизация или культура искренности (469). — Образцовый характер китайской культуры; поэты как рупоры; необходимы определенные конstellации случайностей, чтобы воплотить в явлении вечные смыслы; всеобщего и всестороннего прогресса не бывает (474). — Крайняя выраженность китайских внешних форм; китайские общественные условия поддаются априорному конструированию; считаться с окружающими значит быть неискренним; китайский тип не эксцентричен, но выражен в экстремальной степени; механистическое мировоззрение в психологическом плане эквивалентно ритуальному; между естественными формами природы и церемониями нет метафизического различия 476

По Шаньдуну: величие Китая; Китай и Россия; китайская глубина как духовная сила тяжести (480). — Широкий фон, на котором проходит жизнь азиатов; азиатское неантропоцентрическое мировоззрение; Гёте и Толстой 482

Цзи Нан Фу: китайское крестьянство; мораль как основа естественного хода вещей; достоинство крестьянина . . 483

Пекин: символ Дракона; значение Сына Неба; император как маховик мирового механизма; сочетание суверенной власти и абсолютной ответственности; примат

нравственности; китайское мировоззрение и Кант; идеал неуправления; правление на основе почтения; китайская идея правления как самая высшая (486). — Пекин; китайский демократизм; смысл революции; три главных недостатка республиканской формы государственного устройства: она не приводит к господству лучших людей, не дает свободы, а приводит к тирании государственной машины и снижению общего уровня; интерес к политике тянет книзу; печальное зрелище (491). — Великая императрица; психологическая интуиция китайцев; почему они терпимо относятся к злоупотреблениям; уважение к порядку, отсутствие героизма, аристократического духа (497). — Обновление Китая возможно только в духе конфуцианства; дух конфуцианства мало способствует обновлению; возможная метаморфоза; апология фальсификации истории; конфуцианцы и старые лютеране; лютеранство и кальвинизм (501). — Конфуцианство и протестантство (505). — Диета и менталитет; поварское искусство как творчество; изначальное равноправие всех пяти чувств; картина мира, основанная на вкусовых ощущениях (508). — Китайские застольные радости; китайский комбинационный дар; проявление чувства и любовного отношения (511). — Ошибочность индивидуалистического подхода к браку; продолжение рода как родовая проблема; вредные последствия идеала совершенного брака; поверхностный характер европейского понимания любви; потенциальная божественность половой любви; любовь не всегда ориентируется на типичское; будущее брака (513). — Китайский классицизм; китайское школьное образование; значение классической филологии; китайское филистерство (517). — Ку Хун-Мин; сравнение европейской и китайской истории; почему история всегда коротка; Кун Фу-Цзы и Лао-Цзы как антиподы (522). — Все китайцы — конфуцианцы на физиологическом уровне; даосизм; в китайцах человек выражения представлен в его крайней степени; Лао-Цзы как чудак; даоистские святые (524). — Китайский основатель религии; конфуцианство и христианство (527). — Китайцы — люди нецерковные, но не иррелигиозные; церковь как «учреждение»; почему при протестантстве значение церкви неуклонно уменьшается (528). — Почему конфуцианский человек так часто оказывается совершенным; преимуществ идеала нормы; неприятие того, что отклоняется от нормы, у Кун Фу-Цзы; китайский идеал совершенствования нормального человека как наиболее полезный для его развития; будет ли Запад завоеван конфуцианством? Преимущества недостижимых идеалов; недостатки идеала

- нормы; Гёте и доктор Джонсон (530). — Китайские императоры; чувство уверенности в себе у китайцев и американцев 537
- Ханькоу*: презрение к воинскому ремеслу у китайцев; мечта о вечном мире; достоинства дуэли 538
- На Янцзы*: китайское сельское хозяйство; конфуцианство как сублимированная крестьянская мудрость; идущая от природы, естественная глубина самых утонченных китайцев; нравственность как воспитанная естественность; социальный вопрос; трагедия прогресса (540). — Мораль и целесообразность; моральное воспитание; селекция, направленная на выработку характера, создает только сырой материал (545). — Буря на Янцзы; лужа и океан 548
- Шанхай*: Шен Чи-Пей; общее определение китайской сущности; китаец, мало индивидуализированный, рассудочный человек, несмотря на более низкую ступень природного развития, ближе подошел к идеалу культурного человека; идеал конкретизации; культура Китая и идеал будущего; большая оригинальность Запада; память и воспоминание как два полюса исторического процесса (549). — Китайцы как самые человеческие из людей; китайская цивилизация легко доступна для понимания; культура и первозданность; природа и дух 551
- VI. Япония** 559
- По Ямато*: богатство японской природы; влияние природного окружения на развитие искусства; живописцы Дальнего Востока подобны йогам; человек — и растение, и скада, и море; забота японцев о лесах; выращивание карликовых деревьев (559). — Поэзия японской лесной глуши; во всем концентрической сущности больше, чем в эксцентрической; Лафкадио Хирн; культура чувств (561). — Воспитание детей в Японии; конфуцианство и японская культура взаимоуважения; крестьянский философ; христианский характер его учения (563). — В чем японцы родственны европейцам; какими стали бы европейцы, испытав китайское влияние 565
- В монастыре Коя Сан*: средневековая христианская атмосфера этого монастыря; история японского буддизма; параллельное развитие буддизма и христианства; исторические изменения христианства; устойчивость его сущности; духовные силы изменяют свои воплощения; сущность христианства — особое качество любви; сущность буддизма; существует ли Провидение; большая глубина католицизма в сравнении с христианст-

вом первых веков; «истинное учение» как идеал будущего; Ашвагхоша; японские секты (566). — Близость японского буддизма и католической церкви; католическая форма есть порождение ума, буддистская — порождение чувства; ирреальное в буддизме (573). — Скептицизм японских паломников; чувство формы; религиозность японцев; сосредоточенность сознания японцев на ощущениях (575). — Японский патриотизм; что такое глубина?; угроза войны преобразует сознание; патриотизм как глубочайшая сущность японцев; прошлое Японии ближе к идеалу патриотизма, чем наше будущее 578

Нара: буддистское искусство и средневековое христианское искусство; искусство никогда не бывает абсолютно укорененным в той или иной почве; буддистское искусство есть нормальное выражение японской религиозности; самое совершенное выражение человеческой духовности всегда создают материалисты; почему шедевры буддистского искусства созданы на Дальнем Востоке (581). — В первые века по Рождестве Христовом дух времени был единым; учение Махаяны глубже христианства; Махаяна и теософия; непреодолимость расовых особенностей (586). — Японцы не способны изменяться; святые римско-католической церкви и святые буддизма (588). — Францисканство европейское и францисканство японское; психика азиатов беднее нашей; чем богаче телесная организация, тем лучшими средствами выражения располагает дух; в чем состоит величие Китая 589

Киото: японское средневековье; судьба и рок — условности; условность как натура; конец рыцарства; животные виды — предрассудки; универсальный джентльмен как высший тип аристократа; незаменимость рыцарского человеческого типа; почему аристократия сегодня вырождается; аристократы — нечестные предприниматели (591). — Многоликость Древней Японии; совершенство типа лучше, чем совершенство индивида; Киото и Версаль; придворные льстецы и пингвины; (595). — Убранство дома; сущность хорошего вкуса; азиатский взгляд на мир; архитектура и садово-парковое искусство в Японии; Гендзи моногатари (597). — Роль гармоничных пропорций; ритм в природе и искусстве; «гармония» в Китае и Японии; абстрактное и живое чувство уважения к окружающим; оркестр человечества (598). — В Японии зримый мир — это мир в себе; возможность как особого вида реальность для метафизика; почему я — не Бог (604). — Японский танец; гейша как жрица; что дано только гейше; чайная церемония;

Япония и Англия; форма творит содержание; в глазах большинства значимо лишь совершенство типа (608). — Ночная жизнь Японии; атмосфера чистоты в японских борделях; почему лучше считать, что удовлетворение полового инстинкта естественно и нормально; решение проблемы проституции в Японии; порок можно уничтожить лишь сняв с него клеймо порока (612). — Идеал целомудрия — показатель brutальной чувственности; возбуждающая чувственность — атмосфера европейской жизни; на Востоке чувственности меньше, чем на Западе; идеальное решение вопросов пола в Индии; свобода женщины в будущем (615). — Японка — в наше время самый совершенный тип женщины; лучшая система неизбежно создает лучшую действительность; сильные стороны позитивны, слабые — нет; японская свобода нравов; японское понимание нравственной чистоты женщины 620

Исё: лучшее из духовного в Японии; почитание предков; глубокий смысл культа предков; природное начало в женщине и в аристократе; сущность, ценные качества и история синтоизма; будущее Японии 624

Мияносита: почему Япония не великая держава; человек как средоточие природы; малое никогда не оказывает того же воздействия, что великое; значение количественной стороны вещей; Бог и цветущая ветвь; Райнер Мария Рильке 628

Никко: великий Токугава; картина и ее рама; смысл идеи легитимности; прирожденные властители и парвеню 631

Токио: Микадо; преимущества аристократии; вера подданных превращает властителя в человека высшего типа; недостатки республиканского строя (633). — Великое в Японии; демократический идеал до сих пор удалось осуществить только аристократам (636). — Японцы как высокоразвитый народ, более похожий на нас, чем на китайцев; определение японской сущности; символ всего японского — джиу-джитсу; китайская культура выражения и японская культура отношений; японцы умеют перенимать все западное; главная опасность для Японии: возмозжняя утрата чувства природы и патриотизма; высочайшие национальные вершины; японцу чуждо все слишком серьезное (638). — Учение Махаяны; Ашвагхоша и Бергсон; реабилитация истории; в чем состоит существенное сходство Махаяны и христианства; Махаяна и религия будущего; религиозность японцев и религиозность европейцев; секта Дзэн; Дзэн и Новая Мысль (New Thought); (643). — Психологические основы нашего увлечения всем индийским; толь-

ко непривычное может к чему-то побудить; благотворность отсутствия всякого единообразия; индийская йога и христианская йога; принцип отсутствия уникальности; истинный смысл нашего интереса к восточным идеям и интереса азиатов к идеям Запада; мир снова обретает молодость; сходство нашей эпохи с первыми веками христианства; предполагаемая польза от взаимного оплодотворения Востока и Запада; восприятие чужого — кратчайший путь к самореализации; важнейший недостаток западной цивилизации; символический смысл японской недостаточности . . . 649

VII. В Новый Свет 654

На Тихом океане: люди переоценивают самих себя (654). — Счастье одиночества; человеческое Я подобно морю; опаснейшие стихии в самом человеке; каждому человеку принадлежит определенная доля вины (655). — Кто я?; проблема бессмертия; возможность нового воплощения; бесконечного существования можно избежать; океан пробуждает размышления буддистского толка (657). — Альбатросы; чудесные способности животных; альбатрос как идеал 660

Гонолулу: эксцентрические рыбы; не все в жизни объяснимо целесообразностью; фантастическое в природе и в искусстве; человек варварски обращается с тропическими рыбами; искусственно выведенные животные . . . 662

У кратера Килауэа: огненное море; огонь — не враждебная нам стихия; богиня вулкана 665

На залитых лавой склонах Килауэа: утреннее настроение; возникновение мира было и остается чудом; последнее слово остается за мифом; чему может научить геология; первое исполнение симфонии жизни 667

Ночью у кратера: я присутствую при сотворении мира; вероятность библейского описания сотворения мира; почему я не могу погасить вулкан; сущность жизни; ночные мысли 670

В проливе Вайкики: елисейские поля; первые люди не были примитивными дикарями, они — дети богов; в чем боги уступают людям (673). — Остров блаженных; верхом на волнах; человек-амфибия (675). — Царство чистой субъективности; о любви; нечеткость границы между поэзией и реальностью; беспомощность мужчины в море чувств; любовь nereид и тритонов 676

В Америку: возвращение на Запад; американцы — самые типичные люди Запада; большой идеализм Запада; на Западе все формы утратили четкость; существо противо-

положности Востока и Запада; совершенствование или успех? Тяга к количественному росту; американец как величайший варвар нашего времени; апология недостаточности; чего можно ждать в будущем (677). — Отношение между стремлением к совершенству и стремлением к прогрессу; наши институты опережают развитие нашей сущности; добро у нас все более проявляет свою практичность; наши идеальные требования все больше действуют как реальные силы; способствует ли совершенствованию стремление к прогрессу; аристократия будущего (683). — Демократия как рабочая гипотеза; современный западный эволюционизм и индийский эволюционизм; сила оптимизма; оптимизм вызывает подъем духовных сил массы; со всем низких слоев народа скоро не будет (686). — Экцентричность как природная основа творческой оригинальности; стремление к новизне делает людей поверхностными; сущность временного упадка нашей культуры; новые органы образуются у нас лишь с большими затратами; индивидуальная форма теперь предоставит массам такие же возможности для углубленного развития, какие раньше могла дать лишь форма типическая; понятие прогресса имеет свое реальное основание в характере познающего сознания; почему наше будущее формируется духом предварительно установленного идеала прогресса (688). — Сомнительная ценность миссионерской проповеди и среди язычников; сравнение христианских миссионеров с проповедниками бахаизма; уникальная формирующая сила христианства; дух христианства — практический дух; учение Христа не представляет собой максимума философской глубины; оправдание миссионерства; миссионеры являют собой пример высокой жертвенности и творческого оптимизма; Востоку чужд творческий оптимизм; преодоление психологического водораздела; абсолютное превосходство христианской религии; как ни одна другая христианская религия воплощает дух свободы; два пути, на которых можно реализовать свою свободу; две главных христианских заповеди; отсутствие этих заповедей у индийцев — главный недостаток их религии; мы, западные люди, — руки Божии 691

VIII. Америка 696

Сан-Франциско: экстремально западный характер Нового Света; типично западное понятие «долженствование», неизвестное на Востоке; явление обретает абсолютный смысл; преимущество западного стиля жизни 696

В долине реки Йосемите: анализ сознания западного человека; приумножение Я; западное человечество возможно благодаря приумножению Я; значение индивидуально-го; любой дух скован телом; молодость Нового Света; почему мы материалисты и в какой мере являемся таковыми (699). — Мир Кожаного Чулка; воспоминания о моем детстве; американцы — дети школьного возраста; все западные люди в сущности молоды; демократия — начало омоложения, подобного тому, что было вызвано нашествием варваров 2000 лет тому назад; весь Запад переживает подростковый возраст; старая Европа скоро сойдет со сцены; конец западной культуры и западного человечества 702

В лесах Марипосы: деревья-гиганты; этой земле еще далеко до старческой немощи; колоссальная зависимость западного человека от внешних условий жизни; причины этой зависимости; жизненный принцип западного человека требует вечной молодости; «Евангелие здоровья»; в Америке мы придем к совершенству; традиции как оковы; новые культуры вырастают только на новой почве; как духовное существо человек возник в триасе, т. е. с началом своего физического развития; почему на Востоке никогда не провозглашали идеал равенства; наша постановка проблемы жизни означает вечную борьбу 705

Большой Каньон Колорадо: сущность возвышенного; огромное могущество простой повседневной работы; природа и разум; законы разума как нормы миропорядка; красота природы и красота как идеал (708). — Природа в своем творчестве уже не является непревзойденной; современный человек властвует не как Бог, а как дух земли; слепая природа диктует человеку его устремления; почему люди повсюду производят разрушения; опыт даже глупца может чему-то научить; злоупотребление силами природы — кратчайший путь к их мудрому использованию; к этому ведет сама природа вещей, но мудрый человек предвосхищает результат; оптимистический прогноз 710

По Калифорнии: чувство природы у европейцев и азиатов; наше понимание напоминает подход школьного учителя; наше отношение к природе не должно ее обезобразивать; наука — предтеча искусства; наша цель 712

В Йеллоустонском парке: истребление бизонов и индейцев; «прогресс» истощает землю; европейцы разрушают все и вся; губительность нашей цивилизации; заблуждение Гегеля; историческое значение не обобщает всех

ценностей; материальный успех приходит не по воле Бога; исторический процесс имеет тот же смысл, что и биологический процесс; вредные последствия заблуждения Гегеля; сила по своему существу есть зло; функция зла в мировой экономике; апология разрушения; смерть и предание смерти как нормальные природные процессы; сотворение и разрушение как коррелятивные атрибуты божества; неотвратимость смерти не оправдывает убийцу; саморегуляция в природе и ее нарушение человеком; почему в наше время западные люди должны главенствовать; «право сильного» оправдывает его главенство (714). — Европейцы по существу борцы; наши доблести — доблести воинские; почему мудрец отвергает борьбу; борьба мудреца уже закончена; борьба изменяет душу; как обрели просветление Будда и Христос; общий прогресс возможен только если в мире происходит борьба; природой вещей обусловлено то, что любой изъян однажды проявляет себя; диалектика событий мало что доказывает в отдельном случае, но в целом планомерно ведет вперед; возможное неотвратимо становится реальным; каждый отдельный человек должен быть честным; наша западная карма-йога самая глубокая на свете; усовершенствование мира; в мире охваченном борьбой, к цели быстрее всего приводит эгоизм; конкуренция неизбежно превращается в сотрудничество (721). — Западная культура — культура искренности; наши идеалы — эмпирическая правдивость и верность убеждениям; история науки; «умри и возродись»; путь к абсолютной автономии; временный характер американской стадии развития; американская стадия развития ближе к предельному совершенству, чем индийское совершенство; почему факты важнее, чем нечто воображаемое 725.

Солт-Лейк-Сити: мормоны; психологическое невежество всех западных основателей религий; пример Лютера; чудовищный догматизм Кальвина; западный человек — человек действия, а не постижения; замечательные достижения мормонов в культурной работе; отсутствие необходимой взаимосвязи между философской ценностью идеи и ее значением для жизни; примеры; ни одну религию нельзя оценить по достоинству, не учитывая условий, в которых она живет (728). — Американское сектантство как репрезентация западной религиозности; основа западной религиозности — принцип индивидуализации; индивидуальное как ценность; почему что-либо чуждое вызывает у нас враждебное отношение, почему это не свойственно людям Востока; преимущество нашего подхода по сравнению

с индийским; мы все ценности соотносим с личной жизнью человека; нормальный путь прогресса автоматически обходит любые ограничения; превращение нетерпимости в толерантность; огромные возможности христианского пути развития; христианская любовь; чем она является и чем может стать; самое свободное отношение к смерти; преодоление смерти; в душе христианина божественный свет обретет самого совершенного посредника 732

На Восток: Америка ближе к идеальному состоянию, чем Европа; превосходство заурядных людей; всякий труд почетен; индийское и американское безразличие ко всему внешнему; демократия в Америке не является неременным условием господства некомпетентных людей; почему усиление нижних слоев в Европе чревато бедами; американец не рассчитывает, что о нем позаботится кто-то другой; индивидуалистическое общество немыслимо на основе морали сострадания; возможный конец морали сострадания в Америке (737). — Американское сельское хозяйство; почему профессия фермера считается здесь самой почтенной; китайская, европейская и американская аграрная культура; аграрная культура как росток высшего идеала; чем больше у человека свободы, тем большим числом природных ограничений он может пренебречь; по этой причине весь внешний прогресс в первую очередь вызывает внутренний регресс; чего можно ожидать в будущем (742). — Преимущество формы культуры, основанной на пассивном восприятии и претерпевании; относительность любой формы; происхождение сознания греховности; преимущества и недостатки учения о карме и вероучения Новой Мысли; судьба действительно существует; преимущество нового отношения к жизни; это отношение уподобляет бытие глубокому, басовому музыкальному тону; Бог как Я и как Ты; преодоление возможного пессимизма (746). — Прекрасное соответствие понятия прогресса этому миру; почему у греков не было понятия прогресса; наше призвание на земле; до настоящего времени нами сделаны лишь первые шаги; необходимость безоглядных борцов 750

Чикаго: вся жизнь растворяется в машинном производстве; абсолютное преимущество механизации; механизация заменяет то, что в античном мире имело форму рабства; американские дельцы как йоги; американская формула жизни обедняет человека и низводит его до уровня животного; причина мощной привлекательности этой формулы жизни (752). — Бойни; сказка Чжу-

ан-Цзы о правителе и мяснике; американец — полярно противоположен индийской сущности; опасность, которая грозит Западу (754). — Искусственный человек как цель новейшего процесса развития; Eve future; автомат или Бог?; интеллектуальные объективации как оковы; русский крестьянин как идеал; путь к всеведению 756

Нью-Йорк: человек и муравей; преимущества большого города; наилучшее решение внешней проблемы жизни; совершенная внешняя организация создает возможность совершенной свободы; прогресс ведет к упрощению; комфорт как форма аскетизма (758). — Превосходство Америки в организации внешней жизни; американская религия; успех в земной жизни — мерило милости Божьей; обращенность американской христианской церкви к миру; полное отсутствие враждебного отношения к богатству; благосостояние — нормальное состояние человека, удостоившегося милости Божьей; коперниканский переворот, совершенный христианством в Америке; два пути к соединению материальных и духовных устремлений: отказ от материальных стремлений либо их сакрализация; на Западе приемлем только последний упомянутый путь; воплощение духовного идеала в стремлении, ограниченном во времени; христианство никогда не удастся преодолеть, ему можно лишь дать новое истолкование; благосостояние — норма; бедность — абсолютное зло; человек не должен иметь никаких потребностей; любое приумножение эмпирических способностей есть приумножение средств выражения для духа; удовлетворение потребностей должно быть само собой разумеющимся (759). — Разрыв между внешним прогрессом и внутренним совершенствованием в Америке больше, чем в Европе; причины этого положения; идеал прогресса необходимо превзойти; нам требуется совершенствование, а не обновление; обращение в веру — есть вспомогательная конструкция; никакая новая форма не принесет спасения; мы окончательно переросли свою форму и свое именование; каким образом наш прогресс может стать выражением «единственно необходимого»; наша истинная миссия: способствовать совершенному воплощению идеи универсальности; почему в прошлом все стремления к универсальности остались безуспешными; мы перебросили единственно надежный мост между миром идей и миром явлений; высшая ступень сознания; национальное чувство и сознание гражданина мира в дальнейшем не будут взаимоисключающими; солидарность человечества

в будущем; в какой мере мы воплощаем высшую природную ступень; чего можно ждать в будущем; на смену дифференциации придет интеграция; процесс развития может пресечь глупая случайность; Земля — место начала, но не исполнения; эволюция духа не имеет в земном мире надежного средства; собственная цель духа лежит за пределами этого мира; важны не достижения на Земле, а само желание достижения цели; усовершенствование Земли — не самоцель; идея прогресса более существенна, чем реальный прогресс (767). — Статуя Свободы; безотрадность нынешнего американского состояния; нет свободы, но есть власть произвола; каждый человек в своей сущности свободен; медленное развитие человека как свободной сущности; только совершенный человек живет, исходя из своей свободы; индивидуальное развитие отражается в социальном; индивидуальное развитие не является прямолинейным; что нам нужно; в будущем станут излишними все догмы, принципы, предрассудки и понятие о долге; цель — жить непосредственно своим Я; навязанные границы должны уступить место границам свободно избранным; традиционные системы подавляют реальности; жизнь в Америке не более автономна, а напротив, более зависима от внешних условий; преодоление демократизма; отсутствие внешних границ — наилучшая рама для жизни человека, достигшего высочайшего развития своей внутренней формы; идея демократии проявит свою истинность не только в принципе, но и будучи воплощенной в явлении; ее конечный смысл; дух обладает большей силой, чем природа; преодоление всей природной детерминированности 775

IX. По возвращении домой 783

Райккюла: ретроспекция; новые задачи; нужно научиться смирению; я должен стать более независимым от моей собственной независимости; стал ли я по возвращении ближе к самореализации?; метафизика и музыка (783). — Относительность времени; все воспоминания тускнеют, появляется новое; все кажется другим; у меня уже нет потребности в метаморфозах; в другом человеке мы суровее всего осуждаем то, что нам не нравится в нас самих; личность — не идеал; совершенный человек ничего не отрицает; ряд изменений в моей жизни; моя внутренняя сущность взяла на себя инициативу; и все-таки я больше, чем когда-либо раньше, полагаю, что окольный путь вокруг света есть кратчайший путь к самому себе; невозможность предвосхищения опыта; постижение сущности не отменяет бытия человека, но исполняет его бытие; совершенная свобо-

да начинается лишь по ту сторону нашей способности изменяться; насколько глубже постигает сущность христианская мистика в сравнении с индийской; Бог как человек — самый человеческий из всех людей (786). — Мировая война; единство человечества все же существует, как и раньше; переход к универсальному миру завтрашнего дня осуществляется посредством уничтожающих сражений; познание свободы сущности имеет коррелят в чувстве взаимосвязи; я ничто, если исхожу из самого себя; я не могу отрицать мир, в котором живу, как не могу отрицать самого себя; обязанность трудиться во имя совершенствования мира; Бодхисаттва и философ; цель поступательного движения человечества — Бодхисаттва, а не философ 789

Солонин Ю. Н.

ГЕРМАН КАЙЗЕРЛИНГ — ПУТЕШЕСТВЕННИК СКВОЗЬ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО

Проблема Кайзерлинга

Имя философа, о котором говорится в данной статье, едва ли кому известно в России и, следовательно, не вызывает в сознании его прочитавших никаких ассоциаций и образов, не соотносится ни с какими сферами жизни. Я должен это с сожалением констатировать хотя бы потому, что изданная в 2002 году Санкт-Петербургским философским обществом его книга «Америка. Заря нового мира» не вызвала в читательском мире ни малейшей реакции, прошла незамеченной в литературно-публицистических кругах, канув в пучины книжного хаоса России. Сохраняю уверенность, что это единственное сочинение Г. Кайзерлинга, изданное на русском языке. «Америку» мы с коллегой сопроводили послесловием, из которого русский читатель может получить некоторое представление о личности и воззрениях Кайзерлинга.¹ При этом замечу, что в послесловии дан биографический очерк. Если я не ошибаюсь, за рубежом, в том числе в Германии, с которой была связана почти вся творческая жизнь Г. Кайзерлинга, доныне не появилось ни одной общедоступной работы об этом писателе. Разумеется, мне известны несколько опытов изучения его творчества, предпринятых за рубежом. Но то были научные диссертации, следовательно, работы, затронувшие внимание лишь не-

¹ Солонин Ю. Н., Аркан Ю. А. Между созерцательностью и активизмом. Жизнь и труды графа Германа Кайзерлинга / Герман фон Кайзерлинг. Америка. Заря нового мира. СПб., 2002. С. 483—528.

скольких оппонентов, привлеченных, как мы понимаем, в силу служебных обстоятельств.¹ В дальнейшем я воспользуюсь материалами некоторых из этих исследований и в то же время буду признателен тем, кто уведомит меня о неизвестных мне публикациях (особенно в России), и тем самым смягчит мою пессимистическую констатацию.

Конечно, я понимаю, что, прочтя мои умозаключения, многие вправе заметить, что мало ли о ком из прежде живших и что-то там писавших нынче ничего неизвестно, ничего не говорится, да и надобности в этом нет никакой. Забвение, увы, удел слишком многих и забвение часто оправданное. Будущее человечества произрастает из культурно-исторического гумуса прошлого неизбежно анонимного. И если в нашей памяти сохраняются имена, мысли и творения, то это лишь ничтожно малая часть того, что безымянно улеглось в почву, на которой процветает наше нынешнее культурное состояние. Мы же в силу своеобразия своего отношения к прошлому полагаем, что сохранившиеся имена только потому и сохранились, что с ними связано важнейшее, существеннейшее, что определяет мир и нашу жизнь. А остальное малосущественно и потому обречено на забвение. Не знаю более неверного суждения, чем это. Наша ретроспектива не менее искажена, чем наши прогностические иллюзии. Поэтому доверие к истории должно предвзято работать разумного критического скепсиса. Не

¹ Я назову, чтобы не показаться голословным две из них, которые считаю до настоящего времени и наиболее важными для изучения личности и философии Г. Кайзерлинга и наиболее показательными для понимания состояния этих исследований: оно еще далеко не вышло за рамки описательности и предварительных констатаций. *Garthe B. Über Leben und Werk des Grafen Hermann Keyserling. Inaug. Dissert. Erlangen / Nürnberg, 1976; Boyek J.-P. Hermann von Keyserling. Le personnage et L'oeuvre. These presentee devant L'universite de Paris III. Paris, 1979.* Как видно из названий, они подтверждают мое заключение об уровне освоения философского дела мыслителя. При этом более значительной по содержанию я считаю работу немецкой исследовательницы Барбары Гарте, хотя крупные пласты философских трудов Кайзерлинга остались за пределами ее внимания, особенно последних лет. Совершенно не проведена кодификация его сочинений, особенно публицистических статей и очерков.

присвоили ли мы величие тому, кто этому не соответствует и не обошли ли мы признанием и славой тех, кто одарил нас великолепием красоты, мысли и творения! Мои суждения, что разумная история все расставляет по своим местам и каждому воздаст должное по справедливости, не содержат в себе ничего нового, и вызваны лишь предметом моей нынешней статьи.

Забвение, царящее в отношении Г. Кайзерлинга несправедливо по многим основаниям. Об этом я и собираюсь говорить, изложив то важнейшее, что мне в настоящее время известно об этом человеке и его трудах. Самое простое, что я мог бы здесь сделать, так это перепечатать вышеуказанный мой очерк о Кайзерлинге. Но мною за последние 5—6 лет сделаны еще кое-какие шаги в изучении жизни и трудов этого философа. Поэтому то, что в том очерке согласуется с моей нынешней оценкой его, перейдет в эту статью полностью.

Возможно, безразличие к появлению книги Кайзерлинга, о чем я только что сказал, была вызвана некоторой маргинальностью ее темы. Ведь кто только не писал и не пишет об Америке, начиная со знаменитых очерков А. Токвиля об американском обществе. Следовательно, что нового может сказать нам о ней книга, вышедшая более 70-ти лет тому назад.¹ Да и к тому же время, когда появился ее русский перевод, пришлось на те обстоятельства, когда внимание русского общества было отвле-

¹ Возможно, суждение мое о ее «маргинальности» и не верно. Дело в том, что эта книга, содержащая его размышления о новом типе цивилизации, который как некую установку на будущее человечества представила Америка, содержит изложение и его важных философских мыслей. Первоначально она была издана на английском языке в расчете, главным образом, на американского читателя. Таковой, видимо, нашелся, потому что американское общественное мнение по поводу ее содержания оказалось враждебным, и Кайзерлинг, в сущности, закрыл себе дорогу в Америку. Через год она была издана на немецком, который и был положен в основу русского перевода. Поскольку «американизацию» мира Кайзерлинг рассматривает как в каком-то смысле неустранимую тенденцию цивилизационного развития, то неизбежно сопоставляет ее с советской, коммунистической перспективой, которую он обобщает в понятии «большевизации» мира. К нашему удивлению он находит много близкого и даже родственного в обеих перспективах развития. См.: *Keyserling H. America set free*. 2-d print. Harper and Brothers Pub. N. Y., 1929.

чено на внутренние процессы России, только начавшей подниматься на ноги после более чем десяти лет бесславного пресмыкательства перед заносчивым сообществом «развитых демократий».

Да и в самом корпусе умственного наследия Г. Кайзерлинга эта книга не столь уж значительна, хотя сама тема американизма как социально-культурного феномена и его роковая предназначенность как образца будущего жизненного мира человека для него весьма существенна. Как и проблема большевизма, смело выводимая им за пределы конкретно-исторического времени, к которому он был привязан как феномен.

Сейчас издательство «Владимир Даль» делает смелый шаг, предприняв перевод и издание главного труда (и самого большого по объему) Германа Кайзерлинга «Путевой дневник философа». Именно этим дневником и вошел в европейскую культуру мыслитель. «Путевой дневник» принес ему громкую и всеевропейскую славу. Слава прогремела почти сразу после выхода книги, и затем интерес к «Дневнику» постепенно угас. Тьма забвения, поглотившая писателя, и донныне не рассеялась. Это тем более удивительно, что Кайзерлинг являл собой тип деятельного интеллектуала. На протяжении 20-х и даже 30-х годов он одаривал мир своими многочисленными статьями, сборниками и монографиями. Они издавались на основных европейских языках. Кроме того, он был вовсе не кабинетным затворником. Его одолевал некий номадический комплекс; он объездил едва ли не весь мир, причем не как пассивный наблюдатель. Везде, где он ни бывал, а за исключением Африки и Австралии он посетил все материки, он проявлял себя весьма активно и общительно: выступал с лекциями, участвовал во всевозможных интеллектуальных салонах и сообществах, заводил связи и устойчиво поддерживал их почти со всеми интеллектуалами и культурными деятелями своего времени. А. Бергсон, А. Жид, Х. Ортега-и-Гассет, М. Унамуно, Р. Тагор, Н. Бердяев, М. Шелер, Х. С. Чемберлен, Р. Касснер, Л. Фробениус, Г. Зиммель, К. Юнг — это лишь малое число тех, с кем он общался. Этот ряд имен без всякого труда можно было бы удесятерить. А если к нему присоединить деятелей культуры, т. е. поэтов, писателей, художников уровня Т. Манна, Г. Гессе, не говоря

о менее значительных, то мир общения Г. Кайзерлинга предстанет поистине безграничным. О многих из них он оставил своеобразные заметки в своих книгах, подчас исполненных в духе физиогномических проникновений в характеры и человеческие индивидуальности. Но странно то, что сам он в сущности никак не отразился ни в их воспоминаниях, ни в их творчестве. Ссылки на Кайзерлинга его современников крайне немногочисленны, суждения о нем скудны. Вот такой персоналистский парадокс. Его — парадокса — понимание усилится, если обратить внимание на то, что в качестве философа и философствующего писателя Кайзерлинг был способен на резкие и нелестные суждения и оценки. Таковы, например, его оценки О. Шпенглера, Р. Штейнера, К. Г. Юнга, изредка становившиеся поводом вспышки краткой полемики, впрочем остававшейся без последствий. Несколько опережая последующий текст, обращаю внимание на то, что Кайзерлинг проявил и немалую организаторскую предприимчивость. Им было основано «Общество за свободную философию», видимо, не приобретшее широкого распространения, и что нуждается в особом выделении ввиду оригинальности начинания, открыта «Школа мудрости» в 1920 году в Дармштадте. Она просуществовала до начала 30-х годов, прекратив свои заседания под давлением фашистского режима. Несколько попыток ее реанимировать за пределами Германии сразу после войны закончились ничем. Хотя деятельность «Школы» требует своего детального изучения, особенно с точки зрения ее организации, анализа ее участников и влияния, которое осталось после нее в германской духовной жизни, все же имеющегося материала достаточно, чтобы предположить, что начинание Кайзерлинга не встретило энтузиазма среди духовной элиты того времени. Ее создатель Герман Кайзерлинг был и ее главой, и ее основным, а подчас и единственным учителем.

Таким образом, в характере философского, философско-культурологического учения мыслителя, в свойствах его общественно-культурного поведения, возможно, в особенностях самой личности было нечто такое, что обрекало их на невысокий эффект, непродолжительность известности и влияния, но зато обеспечило дли-

тельное и устойчивое забвение. Что это за свойства? В «Encyclopedia Britannica» в краткой заметке о Кайзерлинге говорится об обскурантизме его философских идей. Может быть, в этом объяснение парадокса? В иных суждениях встречается мнение об его философии как смешении иррациональных, полумистических, крайне субъективистских и произвольных толкований различных проблем. И надо сказать, что кое-что во взглядах Кайзерлинга подтверждает эту оценку. Как бы то ни было, впечатляющая философская продуктивность исчисляется десятками книг и массой иной интеллектуальной литературы, неумная общительность, стремление найти формы реализации культурных идей в культурной жизни — все это не обеспечило их признания и достойного места Кайзерлингу в европейской духовной истории.

Время, которое мы переживаем, некоторые называют термином постмодерн. Вразумительного определения ему нет. Его заменяют противоречивые дескрипции у различных адептов этого культурного явления. Что в них можно уловить, так это признание и апофеоз доведенной до крайности произвольности, эстетизацию неэстетического, постоянное преодоление и утрирование классических форм, деструкцию устойчивого, негативизм и эпатирование как норму личностной репрезентативности. Кое-что из подобных характеристик постмодерна, если я в них не ошибаюсь, просматриваются и во взглядах, в писаниях Кайзерлинга. И, в известном смысле, он предтеча нашей деконструктивной эпохи. Но сказанное я во все не хочу представить как некую рекламу или попытку актуализировать и оправдать сочинения этого мыслителя. Я просто пытаюсь найти тот универсальный ключ, который позволил бы приоткрыть дверь в тайники интеллектуального строя Кайзерлинга, так как скоро его современники этого не смогли сделать, предпочтя предать его забвению. А ведь было время очарованности его неожиданным представлением Востока! Было время восхищения его необычными характеристиками этнокультурных типов европейцев, которыми восхищался Герман Гессе.¹ Было время, когда утверждение Кайзерлинга, что

¹ Keyserling H. Das Spectrum Europas. Heicelberg, 1928.

кроме университета и церкви новой Европе нужна еще особая «школа мудрости», чтобы заложить начало новому культурному процессу и новому культурному типу европейцев, не только услышали, но и предоставили возможность создать ее.¹ Не стоят ли схожие проблемы перед нами ныне как наследие нерешенных вопросов прошлого? Ибо и кросскультурные взаимодействия и культурная универсализация человека в глобализирующем потоке времени и гуманизация общества — все это что-то очень близкое тому, что осмысливалось Германом Кайзерлингом. Культурное преобразование мира и человека, предложенное им в обстановке сполохов и угаров пожарищ угасающей Перовой мировой войны не было воспринято и не вышло за пределы экспериментов реализации культурной утопии. Мир предпочел новую мировую войну. Сейчас имеется масса культурных проектов, кажущихся более реалистичными, а мир представляется более податливым на культурные реформы, хотя многим война все еще представляется наиболее эффективным способом образумить людей и заставить их пойти по демократическому пути жизни. И нет ли в старых проектах и пророчествах Кайзерлинга, в его наблюдениях и констатациях той мудрости, которая приобрела уже более реалистические и конструктивные черты на фоне наших культурных и философских устремлений? Видимо, стоит вдуматься в его мысли, всмотреться в его образ мира.

Кайзерлинг в восприятии русского интеллектуального мира

Однако вернемся к самой его личности и ее восприятию в России. Когда я сказал о полной неизвестности Кайзерлинга, которую не устранило даже издание его книги, я имел в виду нынешнюю ситуацию. Несколько иначе обстояло дело, когда Россия вышла из периода революций и гражданской войны. Примерно в 1919—1920 годах возникли возможности восстановления культурных связей с Европой и началось оживление интеллектуальной жизни в Советской уже России. В нее

¹ Keyserling H. Was uns nottut. Was ich will. Darmstadt, 1919.

стали проникать первые сведения о философских проблемах, которыми начинала жить послевоенная Европа.

Западный интеллектуальный мир, в первую очередь германский, если иметь в виду гуманитарно-философский сегмент этого мира, предстал в новых именах, в новых книгах, которые появились в нем более чем за пятилетний промежуток разрыва связей. Германо-тевтонский культурный комплекс привлекал русскую душу больше, чем англо-французский. И это несмотря на годы кровопролитной войны с «германцем», на десятки страстных манифестов русских интеллигентов, клеймивших германское варварство, которые появились в первые месяцы развернувшейся войны. Ведь не случайно, едва Германия после ноября 1918 года стала доступной для русской эмиграции, Берлин тотчас же превратился в центр русской культурной жизни. «Сумрачный германский гений» в большей степени отвечал внутренним томлениям русской души, насыщенной романтической мечтательностью, чем рационалистически прозрачный деловитый прагматизм англо-саксонской цивилизации. В. Ф. Одоевский в «Русских ночах» выразил это с надлежащей убедительностью, представив программу неприятия ее устоев для нашей национальной жизни. Потом она многократно воспроизводилась и в художественных формах, и социологическим языком. Философское же неприятие позитивизма — идеологического базиса европейской цивилизации — сформулировано было еще В. Соловьевым. Эта укоренившаяся в подсознательной почве русского человека смутная германофилия не исключала существования с проявлением бурной общественной активности и русских англоманов, и франкофилов. Но тяготение к Германии все же первенствовало.

И после установления контактов Советской России с Европой первое место в литературе заняли германские сюжеты. Культур-философская концепция О. Шпенглера тому наглядное свидетельство. Западнее Германии она не нашла столь активного усвоения, какое произошло в России. И первые реакции русских на нее были таковыми: что идеи этой философии истории, предназначавшей судьбы культурно-цивилизационной перспективы

западного мира, давно осмыслены, и не только не таят в себе ничего принципиально нового, но в концептуальном отношении даже Шпенглером менее проработаны, чем нашими соотечественниками. Стоит ли обсуждать здесь эту уже избитую тему? Едва ли. Отмечу для читателя лишь главных лиц в развитии этой проблематики в отечественной традиции: конечно, упомянутый ранее князь В. Ф. Одоевский должен быть учтен нами; Н. Я. Данилевский вызвал бурную полемику, и его «Россия и Европа», став классическим трудом в философии культуры, в отличие от известной судьбы всякой классики, продолжает читаться и ныне, вызывая к жизни все новые интеллектуальные импульсы и интерпретации; первый взрыв полемики вызвал своей ревливой критикой Владимир Соловьев, попытавшийся показать неполную оригинальность идеи культурно-исторических типов, найдя ей опять-таки немецкий прототип; Н. Н. Страхов не пошел по дороге, указанной Соловьевым, и остался в убеждении полной оригинальности культурно-исторической концепции русского антидарвиниста и антипозитивиста; позже к этой полемике привлёк внимание русского читателя, сопроводив ее своими комментариями, В. Розанов, которому позиция Страхова оказалось более по душе, чем его оппонента. Но проблема цивилизационного типа Европы не исчерпана указанными полемистами. И ее мы затронем несколько позже. Сейчас же вернемся к основному сюжету.

Когда, как было сказано, по окончании гражданской войны, возникла возможность восстановить культурные и научные связи с Европой, в Россию проникли первые сведения о философских проблемах, которыми стал жить западный интеллектуальный мир. Также стали известны сведения о философах, признанных властителями дум послевоенного мира, среди них было имя Германа Кайзерлинга. Хотя ко времени, когда к нему пришла слава, он уже был автором нескольких книг, для Германии и Европы он предстал прежде всего как автор книги «Путевой дневник философа».¹ После нее Кайзерлинг издал еще не менее десятка других сочинений, но в со-

¹ *Keyserling H. Das Reisetagebuch eines Philosophen. Bd 2. Darmstadt, 1919.*

знании большинства любителей интеллектуального чтения он так и остался автором только «Философского дневника». «Дневник» возник из впечатлений от предпринятого Кайзерлингом в 1911—1912 годах кругосветного путешествия. Своеобразие книги определилось тем, что туристические впечатления рождались не в сознании томящегося бездельем и скукой путешественника, решившего развлечь и оживить свои притупившиеся чувства острыми переживаниями необычных приключений, которые должен был предоставить экзотический мир нецивилизованного человечества, странствия такого сорта стали обычным явлением с конца XIX века¹, а возбуждали ум пытливого и пронизательного мыслителя, умевшего за пестротой повседневности удивительного мира неевропейских народов усмотреть подпочвенные корни и основание, — Urgrund — на котором упрочились и выросли совершенно особые культуры, не менее фундаментальные, чем европейская, но помещающие человека в жизненные проекции, не ведущие к саморазрушительным перспективам, подобным тем, на которые обрек себя западный мир. Книга вышла в свет в 1919 году и неожиданно обрела известность, почти равную той, которую стяжал трактат О. Шпенглера «Закат Европы». После появления этих книг стало ясно, что невозможна никакая культурософия, игнорирующая «ориентальный параметр» истории человечества.

Философский журнал «Мысль» едва ли не первым знакомит русского читателя с именем Кайзерлинга и его сочинением в рецензионной заметке в 1922 году — знакомство явно, недостаточное и запоздалое.² Но в различного рода мемуарных источниках имеются сведения о том, что философские идеи Кайзерлинга, вытекающие из этого сочинения, были предметом интенсивного обдумывания и обсуждения в интеллектуальных кружках обеих столиц, занимали А. Белого, М. И. Кагана,

¹ К этому времени в медицинской практике европейских докторов утвердился рецепт от хандры, изнуряющей скуки и пресыщенности комфортом в виде предписания совершить путешествие вокруг света.

² Мысль. Журнал Петербургского философского общества. Пг., 1922. № 2. С. 146.

Н. И. Конрада. Совершенно определенно известно, что эта книга обсуждалась в «невельском кружке» М. Бахтина.

Я привожу эти факты, чтобы засвидетельствовать живое восприятие русскими мыслителями интеллектуальной новинки немецкой философии, относящейся тематически к той сфере представлений о судьбах культуры и путях развития человечества, которые, как известно, почти безраздельно поглотили русскую социальную мысль начала XX столетия. Признание Кайзерлингом Востока как особой ценности и культурфилософское обоснование его продуктивной специфичности тем более было близко отечественным мыслителям.

Свидетельством еще одной русской рефлексии на Кайзерлинга служит публикация фрагмента его упомянутой книги в антологии «Современная немецкая мысль», изданной в Дрездене русским эмигрантским издательством «Восток» в 1921 году. Но фрагмент столь мал, что не дает представления ни о философии Кайзерлинга, ни о стилистическом своеобразии его книги. Вот, пожалуй, и все, что составляет к сегодняшнему дню «русскую кайзерлингиану», которую, собственно, едва ли стоит принимать во внимание из-за ее ничтожности. Но вот что удивительно. Вопреки полной неосведомленности о существовании взглядов Кайзерлинга, его политической позиции и о жизненной судьбе много позже в послевоенном идеологическом сознании, тем не менее, у нас утвердилось невнятное представление о нем, как не то предтече, не то выразителе каких-то «фашиствующих» идей. Возможно, это стало причиной полного исключения его философии из компендиумов по общественной мысли XX столетия.

Таким образом, изданием одного из основополагающих в творчестве этого мыслителя труда для русского читателя открывается не только незаслуженно неизвестный ему философский писатель прошлого века, но и интеллектуальный мир оригинального мыслителя.¹ От-

¹ Имеется библиографическая справка о выходе в 1928 году книги Ш. К. Нуцубидзе «От Шпенглера до Кайзерлинга. Эволюция идеологии в послевоенной Германии». К сожалению, ее поиски в библиотеках не дали пока результатов.

личительной особенностью этого мира является поразительная современность, которой отмечена структура мыслей, композиция дискурса и понятийный язык, хотя сочинения, в которых он был изложен, появились почти девяносто лет тому назад. Но обратимся, наконец, к их автору.

Г. Кайзерлинг и родовые истоки

Герман Александр Кайзерлинг — потомок старинного дворянского рода, одна из ветвей которого издревле укоренилась на балтийских землях в процессе их завоевания Тевтонским орденом и германизации. Ее родоначальником считается некий рыцарь Герман Кезелингк, принятый на службу ордена его магистром знаменитым Вальтером фон Плеттенбергом. За свою службу он получил поместья в Курляндии, а его потомки — почетные звания и дворянские титулы. Укоренение прибалтийских провинций разветвляющегося рода с неизбежностью предопределяло возникновение российских контактов и связей. И действительно, с XVIII столетия мы встречаем Кайзерлингов не только в качестве обычных подданных российской короны, но и как весьма деятельных людей на русской службе. Здесь уместно указать на рейхсграфа Германа Карла Кайзерлинга (1696—1764), состоявшего русским посланником при германском и австрийском дворах, а также президентом Петербургской академии наук. В этих должностях с ним был в служебных отношениях, и не очень простых, М. В. Ломоносов. Впрочем, рейхсграф слыл покровителем наук и искусств и ему приписаны на этом поприще некоторые заслуги. Он проявил себя покровителем Баха, посвятившего ему одно из своих музыкальных сочинений.¹

¹ Г. Кайзерлинг неоднократно обращался к собственной биографии и родословной, в том числе в контексте своих культур-философских рефлексий, как к источнику философско-антропологических суждений и в поисках корней и истоков духовной творческой созидательности личности. См.: *Keyserling H. Autobiographische Skizze / Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen*. Bd 4. Leipzig, 1923; *Он же: Das Buch vom personlichen Leben*. Stutt.-Berl. 1936; *Он же: Reise durch die Zeit*. Bd 1. Vaduz, 1948. Наряду с этим история рода Кайзерлингов довольно подробно воспроизведена в ге-

Имя следующего Кайзерлинга — Генриха Христиана — связано с И. Кантом. Последний входил в состав ближайших друзей дома просвещенного графа, вместе с супругой державшего в Кенигсберге философский и литературно-музыкальный салон. Графиня была неплохой рисовальщицей и упражнялась рисуя портреты своих гостей, благодаря чему мы имеем единственный портрет юного Канта.¹ Возможно, с этого времени в семье Кайзерлингов установилось почитание философии, и особенно философии Канта. Впрочем, с неким другим представителем этого рода связан не очень привлекательный курьез, затрагивающий другого великого философа, а именно Гегеля. Он описан Куно Фишером. Некий Герман (!) фон Кайзерлинг, состоявший приват-доцентом Берлинского университета в бытность в нем Гегеля, в борьбе за профессию воздвиг против последнего обвинения, уличая философию своего конкурента в безбожном направлении — в пантеизме. Университет, к своей чести, смог отстоять Гегеля, хотя в свете современного понимания духа философской системы великого философа, обвинение не такое уж беспочвенное.²

Как бы то ни было, но философские пристрастия стали родовым свойством Кайзерлингов и не раз появлялись у последующих носителей этой фамилии, вполне выявившись в деятельности нашего философа.

Следующим достойным упоминания Кайзерлингом является дед философа и потомок упомянутого покровителя и последователя И. Канта — Александр Фридрих Михаил Леберехт Николаус Артур Кайзерлинг, именовавшийся в русских кругах графом Александром Александровичем фон Кайзерлингом.³ Он и ныне достоин

неалогических разысканиях Отто Таубе, см.: *Das Buch der Keyserlinge. An der Grenze zweier Welten. Einfuehrung von Otto V. Taube.* Berlin, 1944. В данной статье мы также пользуемся исследованием Барбары Гарте, см.: *B. Garthe. Ueber Leben und Werk des Grafen Hermann Keyserling.*

¹ См.: *Fromm E. Das Kantbildnis der Graefin Karoline Ch. A. von Keyserling // Kant-Studien. 1899, Bd 2.*

² Куно Фишер. Гегель, его жизнь, сочинения и учение. Первый полумтом. М.; Л., 1933. С. 603.

³ Его личности посвящена довольно обширная биографическая литература, включая воспоминания внука. На русском языке имеется его биографический очерк: *Вл. И. Штейн. Царедворец — уче-*

внимания русского человека, хотя имя А. А. Кайзерлинга пребывает в забвении. Он родился в 1815 году в родовом поместье. Отец его, будучи поклонником Канта, решил применить для воспитания отпрыска принципы кантовской моральной философии и педагогики. Он сам стал его главным учителем и ориентировался на классическое образование. Но глубокое и усердное изучение греко-латинской литературы и философии в подлинниках не убило главного — созерцательного интереса к природе и естествознанию. Занятия музыкой и физическими упражнениями вселили в очевидцев педагогического эксперимента уверенность, что формируется гармоническая личность. Как бы то ни было, это был действительно недюжинный человек. В 1833 году юноша поступает в Берлинский университет, сначала на правоведение, затем на естественнонаучный факультет. Предметом его основного интереса стали зоология, геология и минералогия. Еще студентом он заводит важные и перспективные знакомства с учеными, а среди студентов подружился, между прочим, с Отто Бисмарком, будущим творцом Германской империи и знаменитым «железным канцлером». Кайзерлинг находится в той научной среде, где вызревали и утверждались новые революционные открытия и идеи естествознания, в частности, эволюционная теория (К. Бэр), учение о клетке (Т. Шванн). За научной деятельностью молодого Кайзерлинга следили Александр фон Гумбольдт и один из отцов немецкой геологии Леопольд фон Бух. Дружба же с Бисмарком оказалась такой устойчивой, что привела к породнению их внуков: Герман женился на внучке Бисмарка Гёделе Бисмарк-Шёнхауз. Еще будучи студентом, на основе изучения ископаемых организмов в отложениях горных пород Карпат вместе с зоологом Блазиусом он издал двухтомный труд по систематике беспозвоночных. К этому времени в России начинаются исследования по обнаружению и учету ее естественных ресурсов и их статистическому описанию, инициированные министром финансов графом Е. Ф. Канкриным. Готовятся экспедиции во «внутренние губернии» империи, и начинается подбор специалистов.

ный // Исторический вестник, 1903. Т. 24, март-апрель. В некоторых справочных изданиях он слышит за Александра Андреевича.

Весной 1840 года сопровождаемый благожелательными рекомендациями А. Кайзерлинг появляется в столице страны, подданным которой он являлся. Так начинается важнейший период в деятельности ученого, отмеченный крупными научными и практическими результатами и вместе с этим интересная и малоизученная страница истории отечественной геологии. Мы так подробно останавливаемся на этой личности не только из желания обратить внимание на ее заслуги перед Россией, но и ввиду огромного значения образа деда на все творчество и мировоззрение философа Г. Кайзерлинга, которое последним вполне осознавалось.

В Петербурге молодой геолог усердно занимается в коллекциях Зоологического музея и в минералогических кабинетах нынешнего Горного института. Именно в это время устанавливаются прочные связи с «русским Гумбольдтом» — К. Бэр, которому позже он посвятил ряд исследований-характеристик. Изучает неведомый ему русский язык и входит в петербургское общество (В. Ф. Одоевский). К концу 1840 года А. Кайзерлинг побывал в Архангельске и Москве, обследовал Тульскую и Калужскую губернии. Участвовал в изучении Смоленской и Могилевской губерний, посещал Киев и Чернигов, затем Полтавскую и Харьковскую губернии, описывая угольные залежи на предмет их промышленного использования. Итоги были очень обнадеживающие, и Канкрин приближает к себе энергичного молодого ученого. Спустя некоторое время тот посватался к дочери министра и получил согласие. В 1841 году Канкрин организовывает крупную геологическую экспедицию для обследования северных провинций европейской России. В нее входят и европейское научное светило английский геолог Родерик Мурчисон и молодой горный инженер Н. И. Кокшаров, позднее знаменитый русский геолог, академик и директор Горного института. Экспедиция обследовала Урал, районы Перми, Казани, Симбирска до Царицына и Уральска. Гигантский материал обрабатывался участниками экспедиции в Лондоне и Париже, куда выезжает и А. Кайзерлинг. Ему поручается закупка и доставка минералогических коллекций для пополнения собрания Горного музея в Петербурге. Делаются предложения читать лекции в Горном институте, от чего он от-

казывается ввиду слабого владения русским языком. Но известность и общественное положение молодого и перспективного ученого укрепляются. Он входит в лучшие дома Петербурга и принят при Дворе. Он уже бесспорный ученый авторитет и его широко знают в Европе. Неустоимый исследователь предпринимает еще одну экспедицию. В мае 1843 года он отправился в район Печоры, Северной Двины и Северного Урала. За лето он провел геологическое исследование почти неведомого в географическом отношении Печорского края, изучил его угольные месторождения, открыл Тиманские горы и указал на нефтеносность Архангельской области. Материал был получен огромный. В экспедиции его сопровождал сын знаменитого адмирала — Павел Крузенштерн. Даже в 1890 году академики А. П. Карпинский и Ф. Н. Чернышев свидетельствовали о сохраняющейся ценности полученных результатов, и в беседе с А. Кайзерлингом подчеркнули, что прогнозы уральской (1841) и печорской (1843) экспедиций блестяще подтвердились. В 1845 году в Англии вышел огромный двухтомный труд, подведший итоги экспедиций «Геология России в Европе и Уральских гор». Кайзерлинг его рассматривал как «долгостойную прочную основу русской геогнозии».¹ Можно предположить, что крупные геологические экспедиции, организованные при поддержке Е. Ф. Канкринна с участием крупных европейских геологов оказались прекрасной школой для становящейся науки в России и развития горного дела. Их отличала не столько академическая направленность, сколько ориентация на практическое использование добытых результатов. В жизни А. Кайзерлинга это тоже оказалось неповторимым временем. Женившись, он отказывается от научной карьеры, от почетных должностей в Академии наук и от профессуры в

¹ The geology of Russia in Europe and the Ural Mountains, by R. I. Murchison..., Ed. de Verneuil..., count A. von Keyserling... In two volumes. 1845. Первый том собственно геологический, второй — на французском языке, — посвящен палеонтологии. Именно в экспедиции 1841 года Мурчисон, занимавшийся классификацией геологических эпох и их сравнением обозначил древнейшую палеозойскую систему «пермским периодом» (S. XI—XII). Русское издание этого важнейшего в истории русской геологической науки труда вышло полвека назад.

Горном институте и посвящает себя хозяйственным и семейным заботам, удалившись из столицы в свои прибалтийские поместья. Огромная работоспособность, широкая образованность, соединенные с высокими моральными качествами и культурой, обеспечили ему почет и авторитет среди курляндского дворянства и общества. В 1862 году он принимает должность куратора Дерптского университета, оставив ее в 1869 году ввиду трений с петербургским чиновным миром. За ним числится определенное литературное наследство, из которого можно почерпнуть представления о его моральных принципах, философском и религиозном мировосприятии. Не имея возможности развить эту тему, отмечу только то, что он оставался вполне в русле рационализма, типичного для естествознания XIX столетия. Ему была чужда мистика и религиозно-экстатические наклонности. В целом оставался вполне в русле кантовской метафизики и критицизма, хотя и не разделял представления о субъективной природе пространственно-временных форм бытия.¹ Человек обличен моральным долгом относительно окружающих и зависящих от него людей, и в этом он ответственен не столько перед Богом, сколько перед самим собой. И эта ответственность составляет основу его внутреннего мира. Как государственным деятелем он восхищался Е. Ф. Канкриным и его человеческими качествами, соединенными с великими научными добродетелями. Еще А. Кайзерлинг восхищался трудами Карла Бэра², эволюционное учение которого он не только разделял, но и сам имел заслуги в его научном обосновании. Скончался А. Кайзерлинг в своем имении в мае 1891 года. Еще в молодости он мечтал о далеких странах, Китае, планировал совершить кругосветное путешествие. Возможно, эти мысли-мечты заразили и его впечатлительно-го внука, перенявшего от деда, особенно в молодые годы, ряд его фундаментальных жизненных установок. Внук

¹ *Keyserling A. Einige Worte ueber Raum und Zeit. Aus Tagebuchblättern des Grafen A. Keyserling. Stuttgart, 1894.*

² *Keyserling A. Gedaechtnissrede auf Carl Ernst von Baer. Reval, 1892.* О степени известности А. Кайзерлинга в научном мире Европы можно заключить из факта, что он вошел в число того небольшого круга ученых, кому Ч. Дарвин выслал свою книгу «О происхождении видов» с дарственной надписью.

внимательно отнесся и к истории рода. Повышенный интерес к нему определялся, как можно было бы предположить, не традиционным любованием знаменитыми предками и древностью рода, а стремлением обнаружить первооснования своей духовной сущности и зависящие от нее границы творческого самоопределения — *schoeperferische Sinngebung*. Эта установка получит позже выражение в учении о поляризовании как способе духовного самообретения и развития. Через Канкрину по женской линии Герман Кайзерлинг возводил свою родословную до потомков Чингисхана, в то время, как через свою мать по линии Унгерны Икскуль он предполагал себя наследником ни больше ни меньше как первых Рюриков.

Воспоминания о путешествиях А. Кайзерлинга продолжали жить многие десятилетия в сознании жителей Европейского Севера, но в целом сам путешественник остался духовно чужд русской культуре, хотя ценил ее достижения и особенно литературу.

Отец Германа Лео Кайзерлинг не походил на своего родителя. Именно в Лео ярче всего проявились черты, относимые к типу большого русского барина. Он родился в 1849 году и получил блестящее образование, обучаясь в Берлинском университете у Т. Моммзена. Лео Кайзерлинг по семейной традиции был приверженцем моральной философии И. Канта, но жил не всегда по ее предписаниям. От своей матери, дочери Е. Ф. Канкрин, он унаследовал многие русские привычки и манеры жизни. Более всех Кайзерлингов чувствовал себя своим в среде русских, тем более, по имеющимся сведениям, был крещен в православии. В унаследованных от отца имениях Кённо и Райкюлла организовал образцовое хозяйство, но домашними вопросами тяготился, передоверив их весьма деятельной супруге. Это была практичная особа, видимо с нешироким умственным кругозором и ограниченными духовными интересами, но с характером, не лишенным своеобразия. Смерть мужа в 1895 году потрясла ее. Потеря предмета ее каждодневных забот и попечения произвольно побудила искать ему заместителя. И она со всей энергией перенесла ее на одного молодого человека, студента, состоявшего домашним учителем ее детей. Постепенно возникла глу-

бокая привязанность, завершившаяся их браком. Но семья разрушилась. Дети не приняли этот мезальянс. Сын находился с матерью в напряженных отношениях, особенно после того как она оформила свои отношения с молодым человеком. Давление среды вынудило ее покинуть Эстонию и переехать с новым мужем в Швейцарию, где, по имеющимся сведениям, она включилась в общественную деятельность, став поборницей женского равноправия. Внутрисемейные отношения также стали одним из источников культур-философских размышлений и проблематики в воззрениях Г. Кайзерлинга и нашли отражение как в биографических интроспекциях, так и в стремлении развить особое учение о браке, как совершенном единстве двух духовных персон, содействующем гармонизации жизни и духовному росту его сторон. Такому браку предшествует ряд условий, выявить и представить которые в виде ясно осознаваемых предпосылок и целевых действий он попытался в философских эссе, вошедших в «Книгу о браке».¹ В духе такого понимания брака, он отрицает установку на его инстинктивную природу, следование которой, с традиционной точки зрения этнологов, якобы предпочтительнее для сохранения его сущности, чем облачение в культурные формы. Ряд идей в учении Кайзерлинга позволяют видеть в нем мыслителя близкого к тому движению мысли, которое в XX столетии получило именование «космизм»: «Человек есть не только единичная личность, но

¹ Das Ehe-Buch. Eine neue Sinngebung im Zusammenhlang der Stimmen fuehrende Zeitgenossen, angeregt und herausgegeben von Graf H. Keyserling. 3-te Aufl. 1926. Для участия в подготовке этой книги, претендующей на новую постановку проблемы брака, Кайзерлинг привлек выдающихся ученых-психологов, этнографов, писателей и общественных деятелей. Среди них были Лео Фробениус, А. Адлер, К. Г. Юнг, Э. Кречмер, Рабиндранат Тагор, Томас Манн. Но только сам Кайзерлинг потщился на радикализм осмысления всей проблематики, не получившей сколько-нибудь значимой поддержки у других участников научного предприятия. В духе его «философии смысла» брак выступал особой формой реализации духовно-душевной общности, достигаемой ради «обретения смысла» в постижении целостности бытия. Из этих общих созерцательных предпосылок философ претендует дать универсальные ориентиры относительно «правильного выбора супругов». Впрочем, книга имела некоторый успех в Германии и выдержала ряд переводов.

есть прежде всего родовая сущность, социальное существо, часть космоса». «Сверхиндивидуальное предшествует индивидуальному, и в этом заключается корень всякой этики...». «Реальность космического человечества, как предпосылка духовной личности», — так Кайзерлинг совершенно по-новому осмысливает проблему бессмертия, наполнив ее осязательным смыслом и оптимистическим реализмом. Духовный опыт, извлеченный из драмы конкретной семейной жизни, участником которой он невольно стал, трансформировался в элемент общего учения об обновлении человечества «в духе». Этот опыт лег в основу философской педагогики «Школы мудрости».

Но в личном плане разрыв отношений с матерью на долгие годы, уязвленный аристократизм, сознание краха семейных традиций и единства рода, олицетворенного в деде, образ которого утвердился в сознании Германа Кайзерлинга как символ и образец человека фамильного типа, привел к несколько иным результатам. Он обострил чувство индивидуности, желания вести жизнь независимую от любых личностных отношений и не подчиняющуюся общепринятым требованиям семейного долга, в жертву которому обычно приносится духовное саморазвитие личности. В нем развилось определенное нерасположение к кровному родству, требующему отяготительных демонстраций родовой солидарности и поддержки. Он предпочитал вести жизнь в духовном сосредоточении, что находилось во внешнем противоречии с той интенсивностью контактов, частой переменой мест, которыми отмечена была его первая половина жизни.

Достоин упоминания еще один представитель рода Кайзерлингов, значимый и сам по себе, и по известному влиянию на философа. Это дядя философа Эдуард Кайзерлинг, известный немецкий писатель-новеллист, скончавшийся в 1918 году. Он вел жизнь с явно выраженной богемностью, не чванясь своим аристократическим происхождением, в отношении к которому, как и к окружению, он был преисполнен скепсиса и злой иронии. Большую часть жизни он провел в Мюнхене, где и умер. Жизнь была наполнена страданиями, вызванными физической немощью и постигшей его в старости слепотой. Но все это только содействовало укреплению

в нем мужественности и духовной непреклонности, неприязни ко всякого рода проявлению авторитарности. В художественной среде последнее проявлялось нередко в виде формирования вокруг некоторых деятелей, с явно выраженной установкой на доминацию, группы почитателей и последователей, безоговорочно следующих эстетическому вождизму лидера, вплоть до безграничной личной преданности и служения. Таковым был наиболее типичный для эпохи модернизма поэтический кружок, сплотившийся вокруг Стефана Георге, с которым Эдуард Кайзерлинг был близок. В нем утвердился культ этого поэта, закрепленный сложным ритуалом общения членов кружка с безоговорочным принятием художественной программы поэта, как жизнеорганизирующим стилем отношений. Впрочем, Эдуард Кайзерлинг не смог принять эту манеру, находил ее разрушительной для художника и выглядящей чем-то неестественным с точки зрения понимания свободы как предпосылки творчества.¹

Г. Кайзерлинг: становление личности и духовные корни

Герман Кайзерлинг родился 20 июля 1880 года в имении родителей Кённо в Эстонии. Оно было размещено в лесистой местности среди небольших полей — типичного эстонского ландшафта. После смерти деда семья перебирается в более благоустроенное имение Райккюла, перешедшее по наследству к отцу философа. Безмятежная жизнь среди природы, оправлявшей воспитательную деятельность отца, которая, впрочем, не отягощала де-

¹ Жизнь кружка была стилизована под обычаи римлян августовской эпохи. Сам Стефан Георге находил в своем облике черты Данте, подчеркивая сходство облачением в одежды, соответствовавшие времени жизни последнего. Было принято выражать удивление таким удивительным сходством между поэтами, которое Стефан Георге поддерживал соответствующими позами и аскетизмом. Острый взгляд Кайзерлинга увидел в этой нарочитости смешную гротескную сторону. На вопрос, правда ли, что Георге напоминает Данте, писатель ответил: «Нет. Он выглядит не как Данте, а как старая дама, похожая на Данте».

тей, закончилась с его кончиной (1895). Через полгода после нее, выполняя желание отца, Герман поступает в русскую гимназию ближайшего города Пярну. Отец хотел, чтобы сын, учась в публичной школе, вошел в обычную среду и приобщился к требованиям жизни. Но то, что заложено было в юноше под влиянием домашнего образования, явно дисгармонировало с нравами жизни в гимназии. Юноша рано проявил склонность к литературе, несвойственной его возрасту. Уже в 17 лет он читает философов, мистиков и оккультистов. Таковым, в частности, оказался К. Дюпрель, автор популярного в то время труда «Философия мистики», трактовавшего бессмертие. Теорию отбора Дарвина он применил ни больше ни меньше как к объяснению происхождения Вселенной и ее законов. Кайзерлинга захватывает спиритуализм учения Дюпреля и он начинает размышлять о духе как силе, движущей развитием и человечества и Земли, как о космической сущности. Он строит идею некоей «науки о тайне», призванной обнаружить те законы, которым подчинена деятельность духа, ибо ничто не произвольно. Таким образом, уже первый духовный опыт Кайзерлинга ввел его в мир оккультных проблем, интерес к которым он сохранил навсегда. Гимназию он закончил два года спустя. Началась пора самостоятельной жизни. Сказывается влияние примера деда. Свою жизнь Герман решает продолжить, совмещая образование и путешествия.

Первоначальное его решение было продолжить учебу в европейском университете. Выбор пал на Женеву и на факультет естественных наук. С энтузиазмом он приступает к изучению физики, химии, биологии, геологии. Но вскоре обнаруживается несоответствие между структурой личности, типом воображения юноши и сделанным им выбором. Точные науки наводят на него скуку. И только геология еще привлекает, и то в части экспедиционной практики и экскурсий. Проведя год в Женеве, он возвращается домой и записывается в Дерптский университет. Это был недолгий период, когда среда и витальные инстинкты на короткое время овладели его существом. Он вступает в студенческую корпорацию и начинает жить по законам студенческого сообщества. Внешне ничего не предвещало в нем человека духа. Он

сам неоднократно отмечал, что его рост, внешность, комплекция выдавали в нем скорее «человека силы», живущего побуждениями чувства и физиологическими потребностями. Так он проводит почти два года, которые позже считал самыми бездуховными в своей жизни. Они венчаются вздорной дуэлью, едва не стоившей ему жизни. Но это было и событием, заставившим его пересмотреть всю свою прежнюю жизнь. Великие предки рода явили его укоризненным примером своей возвышенной жизни. Ему оставалось только внять внутреннему порыву к духовности, осознать, что его интеллект должен стать определяющей силой в жизни. Обо всем этом он рассказал много позже в книге о личной жизни «Путешествие сквозь время». Настала пора делать из себя «человека духа». Именно к периоду болезни относится его первое соприкосновение с весьма необычным интеллектом, Хаустоном Стюартом Чемберленом, через его сочинения, главное из которых знаменитые «Основания девятнадцатого столетия». Но сначала чтение не производит эффекта, оно скорее дань моде, вспыхнувшей после выхода в свет этого трактата о культурной сущности человечества и его исторической перспективе.¹ Позже произойдет и роковая личная встреча, переменившая мирозерцание Г. Кайзерлинга. А пока он решает продолжить учебу и избирает для этого знаменитый немецкий университет в Гейдельберге, который находился в очередном зените своей славы.

Снова выбор остановлен на геологии, хотя ему самому становится ясным его неправильность. По сути дела идет испытание воли. Тем не менее годы в Гейдельберге — это и время прикосновения к философии. И вновь неудачное. Опять сказалась роковая сила семейной традиции. Он принялся за «научную философию» и за исток всего ее содержания, за кантову «Критику чистого разума». В юноше пылало пламя, в котором оформлялось и закалялось новое духовное устремление, не видящее себе места в научно-критических традициях XIX века, в его положительной науке, в духе здоровой рассудитель-

¹ *Chamberlain H. S. Die Grundlagen der neunzenten Jahrhunderts.* München, 1899. Это сочинение было своего рода сенсацией и выдержало бесчисленное количество переизданий.

ности и привычке видеть мир в свете улучшающего все эволюционного прогресса. Заземленный утилитаризм как залог здоровой жизни и благополучия явно оказывался непривлекательной базой для построения нового и более возвышенного представления о человеке. Кайзерлинга не привлекают кумиры отходящего столетия. Невольно он тянется к людям иной духовной формации, например, к Якобу Икслю — биологу и натурфилософу с необычной теорией организма и целостности. Короткая поездка во Флоренцию в сопровождении Г. Тоде, специалиста в области истории искусств, пробуждает в Кайзерлинге эстетические чувства и острый интерес к искусству. Позже созданная им теория впишется в общую трактовку философии, жизни и мира. Оказалось, что женой Г. Тоде была дочь Козимы Вагнер — второй жены великого композитора. Музыкальность, — как не вспомнить! — тоже была элементом наследственного пристрастия, и она не замедлила обнаружиться в молодом человеке. Фрау Даниела Тоде привела его к музыке Вагнера и кругу ее почитателей. Столица вагнерианцев Байрейт и властвовавшая там Козима Вагнер входят в духовный опыт Кайзерлинга, начав незаметно свою преобразующую деятельность. Вагнерианцем он не стал, но с хозяйкой байрейтского окружения был в тесном общении и интенсивной переписке. Но, видимо, сказался дух протеста и инстинкт самозащиты от подавляющего влияния, не позволившие ему сделаться ее слепым почитателем. Он уловил в ее роли что-то ненатуральное, поддерживаемое только усилием и натужностью.

Мы ясно видим, как юноша ищет ориентирующие образцы, которые не в состоянии предоставить родовая традиция для жизни в новом мире. И он исподволь начинает полагаться на собственную волю к саморазвитию.

Но ему все же предстояло испытать на себе влияние образца и силу обаяния духовной личности. Снова в его руках оказывается книга Чемберлена. Но читать ее начинает уже человек, переживший новые страсти, человек, в котором возникло эстетическое чувство и в котором сформировались первые принципы духовной личности, которым предстояло вырасти в кристалл, именуемый «Герман Кайзерлинг и его философия». В нем возникла

жажда встретиться с самим автором этого необычного трактата. «Впечатление было мощным, — вспоминал более двадцати лет спустя сам Кайзерлинг. — Мне сразу стало ясно, что если бы я встретил человека, написавшего это, я бы понял, что встретил то, ради чего я нахожусь на земле». Ведь неясность ответа на этот величайший экзистенциальный вопрос и составляла сердцевину сомнений и причину его метаний.

Не рассуждая долго, он решается оставить Гейдельберг и переехать в Вену, где с 1889 года обосновался один из властителей дум Европы конца XIX столетия. Это было особенное время в культурной истории Европы. Его главным мотивом стал бунт во всех сферах духовной и умственной жизни против господствующих форм мышления, научной и художественной жизни, борьба за новые ценности и цели человеческих стремлений, восстание против парализующей волю убежденности в естественную детерминацию всех мировых отношений и событий, включая сферу духа, поставленную в зависимость от физико-физиологических процессов. Старая философия твердила, что истина одна и едина, и к ней неуклонно движется человечество во всех своих усилиях. Она лежит вне человека, он ей только служит, ибо сфера ее бытия — мир за пределами человеческих чувствований и рассуждений. Он тоже может и должен быть понят и описан одним единственным способом, ибо он — один, пребывающий в себе, и раскрывается лишь познающему разуму. Упорядоченность жизни по единым предписаниям, нормам, правам и ценностям представлялась точно такой же аксиомой, как и то, что в мире природы царствуют одни и те же законы. И если в реальности мы еще имеем дело с различиями, то разум, польза и соображение удобства позаботятся об их сглаживании. Такова в крайне схематическом представлении система воззрений, ставших итогом XIX столетия, и против которых возник протест, имя которому модернизм. Раньше всего он проявился в художественной сфере и литературе и надолго обрек себя на отождествление со стилем и этапом художественно-эстетического развития европейской культуры. Но то, что утвердилось дерзко в искусстве, более сложно проявилось и в других сферах общества, обнаружив эпохальный смысл мо-

дернизма. Отправим читателя за более подробной характеристикой модернизма к нашему исследованию¹, сейчас же заметим, что провозвестниками его и создателями принципов, на которых утвердился новый тип мышления, были философы А. Шопенгауэр и Ф. Ницше; в той мере, в какой дух бунта, призыв к преобразению мира и творению «нового человека», свойственные философии модернизма, представлены в учении Маркса, он тоже может быть признан его предтечей. К первому поколению, несших прометеев огонь нового мироздания и ценностей, принадлежали и люди теперь основательно забытые, знание о которых почиет в толстых энциклопедиях и сводных компендиумах, в которые не решается заглянуть ныне не слишком пытливый ум. Они признаны чем-то вроде духовных маргиналов, стоявших на обочинах основного интеллектуального течения культуры, и на них нередко возлагают ответственность за издержки экстравагантности модернистского бунта за его непредсказуемую разрушительность, в которой дискредитировались прекрасные призывы и возвышенные цели. Модернизм — сложная эпоха и явление. Расчистив дорогу индивидуализму, признав и оправдав первенство творчества, героизма подвига и самоотречения, возвысив дело преобразования мира до высоты смысла человеческой жизни, он вместе с тем поставил мир человека перед риском авантюры. Героизм подменился насилием, сила воли духа — господством и террором государства. Чудовищные катастрофы гуманизма прошлого столетия в чем-то были предопределены «новым гуманизмом» эпохи модернизма и лежат на его ответственности.

Таковыми провозвестниками будущих философов, которыми жил XX век были Х. С. Чемберлен, Р. Вагнер, Л. Клагес, Р. Касснер, Й. Стржиговский. Я ограничу перечень философов культуры первого поколения этими именами хотя бы потому, что и они неведомы нашему читателю. Оговорюсь, что речь идет о мыслителях, многие из них являются первостепенными величинами и в

¹ Дугник С. И., Солонин Ю. Н. Парадигмы исторического мышления XX века: Очерки по современной философии культуры. СПб., 2001. С. 77—137.

свое время имели немалый успех и влияние. Оно в скрытом виде сохранилось в духе и структуре культуры всего XX столетия и едва ли покинуло их и сейчас.

Конечно, Х. С. Чемберлен (1855—1927) не может быть назван по качеству своих теорий мыслителем первого разряда. Но его влияние определилось не этим. Он не только почуял свежий ветер наступающих культурных перемен, подставив под них свой парус, но сам одним из первых дал выражение тому, что в некоторых социальных и культурных сферах стало знаменем их устремлений. Англичанин по рождению, он признал своей духовной родиной Германию, а тип психики, строй менталитета и язык этой нации — как высшее проявление человеческого духа в Европе. На них покоится самая совершенная германская цивилизация, явившаяся возрождением той творческой потенции, носителем которой изначально была раса ариев. Именно развитие этих идей составило смысл всего его творчества. В нем расовая определенность качества культуры и построение теории культурной предпочтительности на основе расовых преимуществ нашли свое классическое выражение. Связь их с расизмом XX века, в том числе национал-социализмом, не подвергается сомнению и закреплена некоторыми биографическими фактами из жизни Х. С. Чемберлена. Но в 50—90-е годы XIX столетия он представал пророком новой культуры и вождем нового духовного течения. В сфере его интересов были натурфилософия, религиозные и исторические проблемы. Знакомство с творчеством Вагнера превратило Чемберлена в экзальтированного поклонника его музыки.

Увлечение Вагнером, сродни тому, которое овладело в свое время и Ницше, завершилось тем, что Чемберлен признал его не только величайшим композитором и поэтом, но и провидцем путей развития человечества, способным повести его к лучшей будущности. Ежегодные паломничества в Байрейт завершились полным переселением туда. Уже в почтенном возрасте, в 1908 году он даже женится вторым браком на Еве, дочери жены своего кумира. Свои мысли о Вагнере, не столько музыкального свойства, сколько социально-философского он изложил в соответствующем сочинении, но они присутствуют и в интенсивной переписке с Козимой Вагнер, неодно-

кратно опубликованной и приобретшей публичный характер.¹

В немецкой философии он остановил свой взор на Канте, но и Кант нужен был ему только как некая философская подпорка в его устремлениях проникнуть в глубинные тайны бытия как жизни.² Свою главную цель Чемберлен видел в том, чтобы указать народам западного мира пути духовного обновления. Впоследствии в более широкой постановке, охватывающей все человечество, эта идея захватит и Г. Кайзерлинга. Особое значение в этом великом деле возрождения в глазах Чемберлена приобрела Индия. Конечно, Индия не как конкретно-историческое явление, а как некий образ, идеал, возникший в воображении культур-философа, охваченного мессианскими устремлениями и только ищущего для своего выражения конкретный культурный материал. Для Чемберлена им оказался не столько непосредственно культурный мир Индии, сколько некий духовный комплекс, названный им «арийское мировоззрение», корни и первое творческое обнаружение которого он увидел в Древней Индии.³ Именно через приобщение к арийскому мировоззрению, создателями и носителями которого были арии (некий древней народ, спустившийся с Гималайских гор в долины индийских рек и затем растекшийся по просторам Европы), состоится обновление европейского человека. Нынешнее состояние Европы плачевно, и тенденция ее культурных процессов вызывает тревогу. В основе их лежит наука. Но это не животворящая сила, а как раз наоборот. «Культура не имеет ничего общего ни с техникой, ни с нагромождением знаний, — указывал Чемберлен. — Она есть внутреннее состояние души».⁴ Сама наука была создана семитскими народами и соответствует их мирозерцанию.

¹ *Chamberlain H. S.* Richard Wagner. München, 1907; Cosima Wagner und Houston Stewart Chamberlain in Briefwechsel. 1888—1908. Hrsg. Pretzsch. Leipzig, 1934.

² В момент общения Кайзерлинга с Чемберленом, последний работал над большим сочинением о Канте, которое он посвятил своему юному адепту.

³ *Chamberlain H. S.* Arische Weltanschauung. Berlin, 1905; имеется несколько русских изданий этого сочинения.

Ibid. S. 85.

Ему свойственны схематизм, узость, односторонность и установка рассматривать вещи не в их живом многообразии, а в состоянии омертвевших законченностей. Именно в таком виде она получила развитие у эллинов, духу которых было привито это семитское качество. Поэтому пережитое европейской культурой Возрождение не явилось актом полного обновления. «Однако же этим актом не завершено дело нашей самостоятельности и независимости. Одаренность эллинов при всем их блеске, была во многих отношениях ограниченной; кроме того, ее проявления с самого начала подвергались чуждым и искажающим влияниям... Наше освобождение от порабо-щающих чуждых представлений оказалось неполным. Именно в религиозном отношении мы еще и поныне остаемся вассалами, — если не сказать слугами, — чужих идеалов». Поэтому предстоит новое спасительное возрождение, порывающее с предыдущей культурной традицией. Очищенный от семитической привнесенности эллинизм в сочетании с индо-арийством — таковой видится формула облагорожения Европы... Благое близко и только ждет, чтобы мы возжелали его. Как фантастическое видение влечет нас возможность слияния умственной и душевной глубины индоарийцев и их внутренней свободы с пластическим чувством формы эллинов и с их умением ценить здоровое, прекрасное тело, как носителя внешней свободы. Видение это так соблазнительно, что вид его опьяняет нас, и мы, подобно ребенку, воображаем, что уже обладаем образом, вызванным только тоской по далекому нему».¹

Учение о расе, как носителе и субстрате культуры, об арийстве, как ее высшей форме, живые основания которой сохранены в духе германских народов, обнаружило в будущем, как мы знаем, свой чудовищный политико-идеологический потенциал в Германии после Первой мировой войны. Но, следуя правде, надо признать, что Чемберлен был далеко не единственным европейским интеллектуалом, который обольщался вымышленными образами Востока и искал в нем животворящие источники для подпитки дряхлеющей цивилизации. В Европе сложилась мощная культурная ориентация на Восток,

¹ Ibid. S. 84.

чрезвычайно представленная в искусстве, но постепенно захватившая и гуманистику. Возможно, что Чемберлен только с большей резкостью и прямоотой выразил эти внутренние обновительские чаяния, чем и обеспечил себе известность. Он мыслил и писал дерзко, не считаясь с установленными нормами научной добросовестности и приличия. Он утверждал, а не предполагал, он знал и верил, а не извлекал из фактов и не анализировал, как того требовала научная этика, предоставляя читателю самому строить предположения. Перед тоскующим взором отчаявшихся он открывал бодрящую перспективу недалекого будущего. Именно эти свойства обеспечили популярность названного главного сочинения Чемберлена, отвергнутого научным миром за его фантастичность и псевдонаучность. Но «Основаниями девятнадцатого столетия» восхищался кайзер Вильгельм II, и одного этого в Германии было достаточно, чтобы обеспечить им успех. Именно в этом сочинении он изложил свою расовую теорию и конструкцию мировой культуры. Человечество, растолковываясь в нем, не представляет собою ни единства, ни аморфной среды. Оно разделено на расы, остающиеся разнящимися между собою его константами. Из них выделяется «арийская раса», превосходящая все другие в способности создать более высокую и совершенную культуру. Этим она предопределена к господству. Трагедией для нее было бы смешение с другими народами. Чистота арийства — залог его будущности. В нынешнем состоянии германские народы являются наследниками первых арийцев и несут в себе их дух. Основная характеристика европейской истории заключена в факте постоянной борьбы рас, в которой германство постоянно сталкивается с антигерманством. Конец этой борьбы Чемберлен видит в возрождении расового сознания, угасание которого и засилье инородных расовых элементов и означает декаданс, ведущий к гибели европейскую культуру. Обаяние книги заключалось в обилии разнородных фактов, искусно подобранных им из разных областей истории и науки для подтверждения своих умозрений. Он обращался с ними смело и свободно. Этим он дал культурфилософам вроде О. Шпенглера образец манипулирования историко-культурным материалом. Да и Г. Кайзерлинг овладел искусством их пре-

парадии ради «наведения на смысл» и постижения глубинных сущностей жизненных процессов, на чем покоилась развиваемая им «философия смысла».

Исходным пунктом и базовой основой европейской культуры Чемберлен признал греческое искусство, римское право и христианство. Причем последнее не родилось из еврейской традиции, как твердило религиоведение, а противоположно ей, поскольку, по его убеждению, Христос не еврей, а ариец из Галилеи. Ход истории определил вырождение этих трех элементов под воздействием семитизма и смешения рас.

Именно к этому мыслителю потянулся Г. Кайзерлинг. Описанию их знакомства, взаимоотношений и характеристике личности Чемберлена Кайзерлинг уделил много места в мемуарах. Со временем обаяние растаяло, но влияние Чемберлена на свое духовное развитие, нередко решающее, Кайзерлинг признавал всегда.

Познакомил их в Вене известный индолог и друг отца Кайзерлинга Леопольд Шрёдер. Встреча превзошла все ожидания. Молодой человек сразу же подпал под обаяние этой личности. Удивляло все: широта интересов, универсальность знаний, смелость суждения и необычное направление ума. Кайзерлинг увидел человека необычной витальной силы и целостности и сразу признал его символом (Sinnbilder) и путеводной звездой своей жизни. Да и сам Чемберлен проявил к Кайзерлингу повышенный интерес и охотно сделался его учителем. Под его влиянием Кайзерлинг занялся более целесообразно своим саморазвитием. Он стал усиленно развивать свои эстетические и философские наклонности. Чемберлен советовал ему более внимательно отнестись к Канту, погрузил его в материалы по восточной философии и культуре. Довольно быстро в Кайзерлинге развились вкус к отвлеченному философствованию и установка на синтетический, целостный охват предмета мысли. «Критический» же метод ему явно не давался. И хотя свой первый крупный философский труд «Строение мира» (1906) он обозначил как «опыт критической философии», как раз в этом отношении опыт и не состоялся. И посвящен он Чемберлену, как своего рода философский отчет.

В нем Кайзерлинг уже осмеливается говорить «моя философия» и даже указать ее некоторые приметы. Он

мыслит ее как род «нового мировоззрения», стремящегося стать не системой, а находящегося в становлении, росте и обретении облика (Gestalt). Пока он не настаивает на новшестве своих идей, «все они когда-то уже были продуманы в школах Платона, Гёте, Канта, точного естествознания, в интенсивном общении с Х. С. Чемберленом». Но что сразу обращает на себя внимание, так это явный уклон от школ «научной философии» в сторону спекулятивной натурфилософии гётеанского типа и нежелание видеть смысл критического метода в аналитике: «Я отваживаюсь утверждать, что моя философия, насколько она критическая, означает творческое дело («Tat»), так как продуктивность и только продуктивность философской критики есть точка, на которую она нацелена и из которой идет дальше».¹

Впрочем, ни эта книга, ни вышедшие несколько позже «Прологомены к натурфилософии» не получили признания, остались незамеченными и важны главным образом в контексте личности создавшего их философа для понимания его творческого развития.

Общение с Чемберленом, особенно интенсивное в 1900—1902 годы, стало рубежом. Кайзерлинг обрел себя и фактически определился. В автобиографии он отметил, что его состояние перешло «из хаоса в космос».

Но Вена, в которой пребывал в эти годы Кайзерлинг, это увлечение не одним только Чемберленом. Сам город в этот период находился в блеске художественного развития и был важным культурно-философским центром. Вена не в меньшей степени, чем признанные центры художественной жизни Европы: Париж, Мюнхен, Петербург, оказывала влияние на общекультурную ситуацию. А в некоторых случаях и бóльшую. Но этому городу, как среде и особому духовному феномену, в осмыслении этого статуса повезло куда меньше, чем перечисленным выше городам. Но даже при этом можно утверждать, не боясь быть опровергнутым, что с ним связано возникновение новых направлений в живописи, модернизма, сим-

¹ Keyserling H. Das Gefüge der Welt. Versuch eine kritischen Philosophie. München, 1906. S. 6. Принцип целостности и идея продуктивности как главной меры ценности всякого, в том числе и умственного, действия относятся к постулатам гётевского учения.

волизма и экспрессионизма в литературе, создание новой философии музыки и ее воплощение в музыкальных композициях, давших новое направление этому искусству в XX столетии, и, что уж совсем несомненно, в нем зародился ряд фундаментальных для философии нашего времени течений.¹ Столица гигантской многонациональной монархии влекла к себе творческие и экспансионистские художественные натуры всех наций, в результате чего возникла необыкновенная духовная среда, с неуловимым сочетанием духовного авантюризма, идейного синкретизма, толерантности к экстравагантным демонстрациям стилей и вкусов, некоторого этического легкомыслия и утонченной этикетности, любви к разнообразию и фееричности с серьезным углублением в проблемы надэмпирической целостности, придающей животворящий смысл бытию.

Интеллигенция образовала салоны, сочетавшие представителей разных профессий, обсуждавших вопросы, которым вскоре предстояло воплотиться в художественные произведения или дать начало новой мысли. Таким, в частности, был салон княгини М. Турн-и-Таксис, известной покровительницы искусств и поклонницы Р. М. Рильке. Там, кроме Чемберлена, бывали Артур Шнитцлер, Хуго Гофмансталь, Рудольф Касснер. Последний — литературный эссеист и культур-философ — оказал на Кайзерлинга влияние, мало в чем уступавшее влиянию Чемберлена. Надо сказать, что последний также организовывал у себя встречи, имевшие целью знакомить преимущественно с новыми философскими идеями. Говорил главным образом сам хозяин, читая с комментарием свои последние сочинения. Участники встреч также обязывались представлять свои новейшие работы, и Кайзерлинг здесь провел через горнило критики свои первые философские опусы. Именно в этих двух кружках состоялось важное знакомство уже имевшего имя Р. Касснера и начинающего философа.

¹ Вена как философская столица начала получать свое признание в работах последнего времени. Например: *Криштоф Нири*. Философская мысль Австро-Венгрии. М., 1987; *Черепанова Е. С.* Австрийская философия как самосознание культурного региона. Екатеринбург, 2000.

О Рудольфе Касснере (1873—1959) можно сказать почти то же, что и о всех других персонажах этих заметок: ныне он почти неизвестен, вопреки оригинальности своих идей, проницательному и провидческому характеру своего видения реальности и влиянию на своих современников. За свою долгую жизнь этот человек, преодолевая свой физический недостаток (почти полная неподвижность после тяжелой болезни), смог много поездить, посетив и Россию, многое повидать и быть в активных отношениях почти со всей культурной Германией. Кроме упомянутых выше художников и литераторов он находился в тесном общении с Полем Валери, Оскаром Уайльдом, Андре Жидом. Уже сам перечень этих имен говорит, в каком секторе духовной жизни Европы находился Кайзерлинг.

Несмотря на преобладание философских и художественных интересов Кайзерлинг все же заканчивает Венский университет и защищает дипломное сочинение по минералогии, чтобы более к ней не возвращаться. В последующем его связь с университетским миром и строгой наукой практически не возобновлялась, за исключением коротких лекционных курсов, которые он до 1914 года проводил в нескольких университетах.

Творчество как духовное самоосуществление

С 1903 года он уже предоставлен самому себе и покидает Вену, направляясь, конечно, в Париж. Начались годы почти непрерывных поездок по Европе, завершившиеся кругосветным путешествием в 1911 году. В России, подданным которой он был, Кайзерлинг появляется только как владелец наследственного имения и не пересекает границ Эстляндии. Круг его интересов и род занятий еще не определился. Он свободный мыслитель, который никогда не был признан в профессиональной философской среде, лишь изредка появляясь в ней с докладами, как носитель экстравагантных идей. Впрочем, такая фигура стала обычной в европейском обществе. «Годы странствий» не препятствуют его писательской работе. Постепенно он становится человеком не погру-

женным в отвлеченное философствование и отрешенным от мира, активным носителем нового духа, которому предстоит преобразовать человека. Его совершенно не заботят удобства быта. Гостиницы, в которых он живет, обычно из дешевых. Он не позволяет себе излишеств. Его фотографии представляют нам крупного мужчину со скуластым сухощавым лицом, в котором действительно имеется что-то азиатское, в одежде, явно не пользующейся вниманием своего владельца. Сосредоточенные глаза говорят скорее не о способности смотреть на поверхность вещей, а о стремлении проникать за их оболочку.

Париж является местом, где у него возникают наиболее значительные связи в салонах и в художественной среде, переходящие порой в многолетний обмен письмами. Среди новых знакомых — Дебюсси и Массне, Дюжарден и Бурже, де Гро и Бергсон. Кайзерлинг начинает приобретать славу оригинального эстета и остроумного писателя, имеющего серьезный взгляд на проблемы культуры. Входит он и в аристократические круги, чаруя всех загадочностью своего положения: аристократ, носящий известную немецкую фамилию и одновременно русский.¹ Это было время, когда во Франции распространялась мода на русское. Франция вообще оказалась более отзывчивой на философское творчество Г. Кайзерлинга, нежели Германия. Некоторые сочинения написаны им на французском языке и впервые вышли в Париже. Таковы «Личная жизнь» (1933), «Мировая революция и ответственность духа» (1934), «Об искусстве жить» (1936). Он полагал, что жизнь в Париже позволяет овладеть всей европейской культурой. Во встречах в художественных кружках и светских салонах оттачивается его техника общения и воздействие на аудиторию, которые им осмысливаются в целую педагогическую программу, позже реализованную им в «Школе мудрости». Среда, которая формировала духовную сторону лично-

¹ Вспоминаю свой разговор о Г. Кайзерлинге с княгиней Татьяной Меттерних (урожденной Васильчиковой), княгиня говорила о 20—30-х годах: «...когда появлялся Кайзерлинг, все замолкали. Говорил только он один. Он знал все и его нельзя было сбить с толку никаким вопросом. При этом он пил только шампанское. И пил много».

сти Г. Кайзерлинга, была отмечена склонностью к критической рефлексии относительно происходящих бурных изменений в европейской цивилизации, и склонностью облекать ее в художественно-эстетические формы, скомпонованные из сложной, расплывчатой и неопределенной метафизики.

Европа, особенно Германия, после 1870 года делала чрезвычайно быстрые шаги в индустриальном развитии. Естественные и технические науки явно опережали гуманитарные. Старые ценности быстро уходили из жизни, оставаясь только в памяти еще не сошедшего со сцены поколения. Впервые человек столкнулся со следствиями энергичного технического прогресса. Проведя детство и юность при свечах и тусклых газовых горелках, передвигаясь в каретах и на извозчиках, он к старости уже пользовался электричеством, телефонами и трансевропейскими экспрессами. В небе появились летательные аппараты, а под землей — метро. К началу XX века забыли о парусниках, которые еще пятьдесят лет до этого заполняли моря. Впервые, еще не умея закрепить это в понятиях, европеец ощутил прикосновение и эффект массовости, грозное дыхание иррациональной толпы. Разрыв в структурах жизни был нагляден. За ним неизбежно следовала дисгармония психики. В человеке возникали новые ощущения, в которых господствовали чувства тревоги, неопределенности и страха перед очередными неизбежными изменениями. Кайзерлинг вращался в той среде, духовный комфорт которой особенно болезненно реагировал на перемены. Именно в ней таились самые тяжелые предчувствия относительно будущего, и в стремлении понять происходящее она тяготела к мистике, спиритуализму, оккультным толкованиям и интуитивным прорывам в непостижимые тайны жизни. В известном смысле, возникающая культурология Г. Кайзерлинга является только более изящно теоретически оформленным парафразом всех этих чувствований и состояний. Мотив, что господство материального нарушило гармонию мира, и человеком потеряно чувство органической целостности, в разных выражениях наполнял сочинения Кайзерлинга. Вслед за Чемберленом, Касснером он полагал, что западный человек, разрушая свой душевный мир, движется из космоса в хаос. По-

дыскивая понятия и определения, которыми можно было бы выразить сущность создаваемой им культуры, Кайзерлинг обращается к выражениям, фиксирующим деятельные, волевые, продуктивные, преобразующие познавательные установки на жизнь человека индустриальной эпохи. Все эти смыслы он находит в модальном глаголе «koennen» и в образованном от него существительном «das Koennen», обозначающем умение, возможность, навык, знание, мастерство. «Koennenkultur» — вот то определение или обозначение, которым он помечает западный мир — Abendland — в широком смысле понятия. Фиксируя неполноту реализации человека в научной и технико-индустриальной деятельности, Кайзерлинг все же остерегается впасть в консервативно-утопические иллюзии. Он пытается найти выход в построении новой более высокой формы культурной реализации личности. Но это дело будущего, хотя и недалекого. Пока же он находится в поисках и прощупывании почвы, став на которую можно было бы двигаться к новому постижению. Сначала, как мы видели, это обращение к довольно обычному источнику: немецкой метафизике и Канту. Освоение критического метода оказалось бесперспективным, хотя иллюзия сохранялась долго и зафиксирована в его работах, так сказать, «критического этапа творчества». Неудача была определена тем, что к кантовской философии Кайзерлинг подошел не со стороны и навыков академических школ кантианства, господствовавших в те годы в немецких университетах, а со стороны его модернистической интерпретации Х. С. Чемберленом.¹ Идти первым путем означало бы для него раствориться в безличной массе приват-доцентов философии, упражняющихся под руководством мэтров кантианства П. Натторпа, Г. Когена, Г. Файхингера и других в разработке частных кантовского критицизма или погрузившихся в мелочную интерпретацию воззрений своих учителей. Описательная философия культуры кантианства, как она

¹ Ее не мог принять даже такой терпимый кантианец с модернистическим уклоном, как Ганс Файхингер, посвятивший кантовским штудиям Чемберлена особую работу: *Vaihinger H. Houston Stewart Chamberlain — ein junger Kants // Kant-Studien. 1902, Bd 7, S. 432—439.*

известна по трудам Кассирера или Виндельбанда, очевидно, не отвечала запросу общества. Выбор, явно не приемлемый для Г. Кайзерлинга, не отвечающий природе его темперамента и специфике философского воображения. Второй путь в действительности вел от Канта. Чемберлен в Канте видел критика научного мышления, т. е. того элемента семитизма, который, будучи воспринят еще греками, уводил в тупиковые обочины европейскую культуру. Как мало было в этом Канта. Следовательно, разделяя такие представления, об академической карьере нечего было и думать. А одно время Кайзерлинг, видимо, искренне полагал, что Чемберлен открыл новый взгляд на Канта, и эта оценка отразилась на его первом крупном философском сочинении «Строение мира». Квазинаучная строгость, которой щеголяли кантианцы, была неприемлема Кайзерлингу. По духу он был метафизиком спекулятивного толка, тяготел к натурфилософским конструкциям, но не мог выдерживать монотонной методичности в развитии темы. Экспрессия, аллюзии, обыгрывание смыслов, замена определений приблизительным описанием, скорее наводящем на воображаемый предмет, чем точно указывающим на него, — вот некоторые признаки его писательства. Однако попытки войти в научное сообщество все же предпринимались. В 1911 году он участвует в Международном философском конгрессе с докладом «Метафизическая реальность». В нем таковой провозглашается жизнь. Докладчик утверждал, что в ней имеет последние корни все то: ценности, нормы, правила, истины, — существование чему полагается обычно в сознании. Истинная метафизика, о которой думали Плотин и Гегель, «может быть только одним: философией органического». Касаясь процесса познания, Кайзерлинг постулирует, что в философии он достигает высшего своего результата. Сама же она, развиваясь, переходит от науки о недействительном к учению о действительном, т. е. о жизни. Рожденная из мифа и вопреки всем попыткам освободиться от него остающаяся окутанной мифологическим она приближается к идеалу: постичь истину в чистом виде. В несколько романтическом духе сопоставляя познавательную деятельность первобытного человека с нынешней, он находит в первой подобие с поэтическим мышлением. Она не де-

терминирована реальностью, лишена возможности провести различие между действительным и вымышленным. Первобытная логика, как и поэтическая, связывала воедино несоединимое, подобно сновидению. Согласно романтическому предубеждению, это все свидетельствует о большей мощи воображения и силе впечатления первобытно-поэтического познания. Кайзерлинг же возражает, говоря, что «наоборот, требуется величайшая фантазия, чтобы усмотреть истину реального, нежели вымыслить сказочный мир». Сказочный мир возникает «из себя», самопроизвольно, не пробуждая сил субъективности. Постигновения же чужой субъективности и реальности того, что вне человека и является иным, требует пробуждения мощных жизненных сил и творческого интеллекта. В докладе уже присутствует формулировка эскиза философской программы будущей работы. Сам философ, готовя доклад, питал надежду произвести им на конгресс фурор. Ожидание не вполне оправдалось, хотя он привлек внимание Бенедетто Кроче, приветствовавшего его как «грядущую смену» и А. Бергсона, с которым установились профессиональные отношения. Их интенсивная до Первой мировой войны переписка опубликована.¹ В свете этого факта выглядит странной невысокая оценка, данная Кайзерлингом Бергсону в его биографических заметках. Он приписал ничтожное значение его влиянию на свою философию. А в конце 30-х годов и саму его философию оценил как ничтожную. Обе оценки очевидно несостоятельны.

Второе крупное произведение Кайзерлинга — «Бесмертие» вышло в 1907 году. С созданием этого труда он связывал немалые честолубивые и меркантильные надежды. Он рассчитывал, что книга поможет обрести известность, если не мировую славу, и решить возникшие материальные затруднения. Проводя жизнь в непрерывных путешествиях, он почти полностью порвал связи с родиной. А там в эти годы разразился социальный кризис, завершившийся революцией. Приходили самые мрачные известия о бунтах, разоряющих поместья. До-

¹ Dyserinck H. Die Briefe Henri Bergson an Graf Hermann Keyserling // Deutsche Vierteljahresschrift fuer Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 1960, Jg. 34, Hf 2.

ходы перестали поступать даже в тех скромных размерах, что были прежде. Почти всю свою жизнь Кайзерлинг был убежден, что «Бессмертие» — одно из лучших его творений и постоянно на него ссылался. Но ни проблему бессмертия, ни проблему денег оно не решило. Более того, даже Чемберлен нашел его тривиальным, о чем и не преминул сообщить автору. Это положило конец и личным отношениям и влиянию творца арийской теории на выходящего на самостоятельные пути нового философа. Наступил разрыв с «байрейтским обществом» (с момента знакомства с Чемберленом, Кайзерлинг регулярно посещал «Байрейтский фестиваль»). Растущая самостоятельность не согласовывалась с духом раболепного поклонения традициям вагнерианства, ревниво охраняемых его семьей. Разрыв ускорили критические рассуждения об А. Шопенгауэре, философской святыне вагнерианцев, высказанные Кайзерлингом и затем опубликованные в эссе «Шопенгауэр как искажитель».¹ Зато он приобрел некоторую известность в веймарских кругах, связанных с «домом Ницше» и его опекуней, сестрой сумрачного гения, Элизабет Фёрстер-Ницше. Летом 1906 года она устроила специальный вечер, на котором Кайзерлинг выступил с докладом о «философии как искусстве». С этого времени началась его неустанная лекционно-педагогическая деятельность, не связанная с университетами, которая продолжалась до начала 30-х годов, когда в Германии замолк голос «свободной философии», которую исповедовал философ. Эти доклады составляли основу почти всех его книг, выходявших в 20-е — начале 30-х годов. Третье крупное произведение «Прологомены к натурфилософии» составились из «Гамбургских докладов», прочитанных в 1907 году при деятельном участии дочери О. Бисмарка, княгини Герберт Бисмарк, будущей его тещи.

Количество книг росло, росла известность, но не того рода, которая грезилась Кайзерлингу. В душе вызревало убеждение в своей особенной миссии. Оно еще не опре-

¹ В заглавии имеется ускользающее в переводе сближение и созвучие противоположных по значению слов: «Verbilder» от «ver-bilden» — искажать, уродовать и «Vorbilder» — образцовый, примерный человек.

делилось в конкретном представлении, но уверенность, что он открывает какие-то истины, прежде никем не подмеченные, что он выходит на рубеж, который еще никем не занят, и тем самым он может показать людям больше, чем они видят сами, не покидала его. Как-то Георг Зиммель в эти годы ему сказал: «Вы несомненно напишите еще много книг, и даже хороших книг. Но это не то, что только вы и можете. Ваша собственная задача, кажется мне, в том, чтобы как-нибудь однажды представить «Бытие». Только позднее он осознал провидческий смысл этих слов, когда кругосветное путешествие изменило все его оценки и восприятие мира и он уяснил себе, что стал обретать «совершенное понимание духовных связей», связующих все бытие в единый космический порядок. Итак, быть посредником, миссия проводника из мира феноменальности в мир существенного, в мир первоначал и первосмыслов — так начал осознавать свое предназначение Г. Кайзерлинг.

«Прологомены к натурфилософии» менее всего соответствуют сложившемуся в немецкой традиции представлению об этой философской науке. Прежде всего своей несистематичностью, отсутствием проработанных принципов, на которых могла бы покоиться новая система «философия природы». В книге утверждается, что существует значительно более высокая точка зрения, познавательный обзор с которой более обширен и которая обоснована не менее прочно, чем предложенная Кантом.¹ С нее в первую очередь видна ограниченность всей предыдущей критической философии и связанной с ней науки. Задача состоит в том, чтобы ясно обозначить эти границы. Кайзерлинг не разделяет агностицизма ни в его онтологическом, ни в познавательном отношении. Следует отвергнуть, требует он, всякое сомнение в недействительности мира. Если мы имеем дело только с явлениями, своеобразие которых обусловлено для нас нашими познавательными формами, то из этого вовсе не следует, что наш мир недействителен. «Критическое учение, что наш мир есть представление, а его составные части — феномены, имеет точно такой же смысл, как и

¹ *Keyserling H. Prolegomena zur Naturphilosophie. Muenchen, 1910.*
S. 4.

убеждение здравого человеческого рассудка о происхождении данного нам из действительности». Мы всегда имеем дело с явлениями, но наряду с ними стоят и продукты нашей психики, продукты нашей свободной фантазии, мир произвольных понятий, которые мы в себе образуем. И все это, как и вещная предметность, равно составляют действительность. «Для всеобщей феноменологии, как и для науки о существующем вообще (надо думать, что имеется в виду метафизика. — *Авт.*), нет никакого принципиального различия между физическими и психическими явлениями, между объективно объявляющимися предметами и субъективными фантомами. Все, что имеется, есть в одинаковом смысле феномен и, следовательно, в равном смысле действительно».¹ Итак, Кайзерлинг расширяет представление о феноменальной действительности. Не буду утомлять читателя историко-философскими аналогиями, чтобы показать неоригинальность этой позиции. Одно замечание все же следует сделать. Когда читаешь, что «мысли и чувства, воображения и хотения являются точно такими же реальными действительностями, как и предметы, которые мы хотим ощупать», невольно вспоминаешь, что в эти же годы и чуть ранее именно в Австрии, в Вене, в «австрийской школе философии», начатой Ф. Brentano, его ученик А. Мейнонг развил «теорию предметов», зачислив в предметную область все те продукты психической деятельности, о которых говорит и Кайзерлинг. Только в отличие от него, Мейнонг дал систематическое развитие этой мысли. Но этот мир не есть еще настоящая действительность, неожиданно заключает Кайзерлинг. Ею является тот мир сил, которые их производят к жизни: «Если что и есть действительное в высшем смысле, то это духовные силы, так как они в состоянии не только установить мир, но и двинуть вперед; они производят новое». Учение о постижении этой высшей действительности, которое он будет позже разрабатывать, получит название «Философия смысла».

Мы приблизительно очертили круг мыслей, которые занимали Г. Кайзерлинга весь период до начала его важнейшего предприятия — кругосветного вояжа. Оно оста-

¹ Ibid. S. 7.

вит позади натурфилософские изыскания, погасит честолюбивые желания создать новую метафизику, и на почве обретенного интеллектуального опыта разовьет совершенно новые впечатления и рефлексии, из которых вырастет философия как мудрость.

Во многих своих позднейших сочинениях Кайзерлинг неоднократно возвращался к обстоятельствам, связанным с замыслом этого путешествия, и последующих событий до публикации «Путевого дневника философа». Практически никаких необычных обстоятельств не существовало. Несмотря на свою внушительную комплекцию и взрывной темперамент, он был подвержен всевозможным недугам, от которых избавлялся, посещая санатории. Они избавили его и от военной службы и от призыва на фронт. Поэтому перемена климата и обстоятельств могли принести ему облегчение. Но более всего он нуждался в смене впечатлений, ему нужен был новый опыт, чтобы осуществить свои творческие замыслы и выразить уже смутно существующие в нем смысловые связи. В 1926 году он замечает: «Я предпринял кругосветное путешествие, не имея в виду ничего иного как, с одной стороны, получить материал для уже сложившегося у меня плана романа, а с другой — пройти курс терапии».¹ Помимо этого мы находим у него и другие объяснения, куда более значительные. Мы уже знаем, что Кайзерлинг был противником абстрактного теоретизирования, считая его совершенно бесполезным, поскольку оно лишает нас способности входить в глубины смыслов, видеть целостность в ее реальной взаимосвязанности и в реальном существовании. Он отрицал всякий схематизм и системность. Реальное погружение в конкретное бытие, включение себя в процессы конфликта противоборствующих сил и тенденций, раскрытие себя новым впечатлениям и воздействиям.

Постоянно в памяти всплывали вышеприведенные слова Г. Зиммеля, с которым он с 1906 года находился в интеллектуальном общении.

Духовное напряжение, вызванное неустанной работой мысли и поисками своей интеллектуальной позиции,

¹ *Keyserling H. Menschen als Sinnbiender. Darmstadt, 1926. S. 49.*

неожиданно получило разрешение. «В начале 1911 года я почувствовал себя так, как будто бы у меня спала пелена с глаз: мне стало ясно, что моя цель преобразить мой душевно-духовный организм в современный и послушный инструмент познания, отныне, насколько это вообще достижимо, достигнута».¹ Кайзерлинг осознал себя как существо, через деятельность и присутствие которого здесь открываются для человечества каналы и коммуникационные выходы, ведущие к основаниям жизни, позволяющие постичь ее глубинные связи и источник ее целостности. Философ ощутил себя призванным к посредничеству между миром эмпирического культурного бытия и жизнью конкретного человека с тем, на чем они основаны и каковыми должны быть, чтобы согласовываться с космическим порядком универсума. Это прояснение своего собственного назначения далось не сразу, но мощной волной захватывало его сущность, крепло и становилось все более отчетливой программой реализации своего призвания: открытия и передачи миру явившейся ему истины. Такое понимание себя и осознание своей миссии потребовало еще большей концентрации на себе самом. Если прежде она определялась поисками своего призвания, то теперь это самососредоточение было способом поведать миру о своем становлении, явив в нем образец духовного становления и преображения человека. Причем преображения не по неукоснительным предписаниям и программам, через регламентацию и дошное исполнение каких-то обязательных ритуалов и процедур, а ориентированные на конкретный образец, на путях соприкосновения с духовно-душевной личностью «другого», чтобы вызвать в себе возбуждение творческого духовного саморазвития, которое Кайзерлинг нередко именовал «преображением в духе». Это не значило, что философ уклонялся от практической стороны духовной педагогики. Его книги и статьи «о личной жизни», об интимной стороне отношений, об условиях создания «правильного» брака наполнены рекомендациями и указаниями, но все же в развитой им позже «философской педагогике» главным был пример, образец и следование ему через самораскрытие.

¹ Ibid. S. 49.

Возможно, неверно будет видеть в этом оригинальность Кайзерлинга. Скорее всего, в этом пункте сказалось влияние Чемберлена, который рассматривал принцип примера как важнейший в духовном совершенствовании человека и сам видел себя в качестве такового для своих адептов. Излагая свою биографию как историю своей духовности, он явно обрабатывает ее как определенный образец для следования ему.¹ Собственно говоря, на этом строились практически все взаимоотношения в художественно-интеллектуальных кружках, объединяющих людей, собирающихся не «по интересам» в современном смысле, а с целью совершенствования, чтобы проникнуть в сокровенную тайну, преобразиться путем усвоения эзотерического учения, существующего в концентрации на личности духовного вождя. Таковыми были отношения в среде вагнерианцев, в веймарском кругу приверженцев Ницше и в кружке, как мы упоминали, поэта Стефана Георге. Да и русская жизнь периода модернизма изобиловала такого рода примерами. Стоит указать на претензии Д. Мережковского и Зинаиды Гиппиус, нечто подобное складывалось в интеллектуально-художественном кружке завсегдатаев «Башни» Вячеслава Иванова, среди почитателей Н. Гумилева и др. Богатый материал на эту тему читатель найдет в знаменитой трилогии Андрея Белого.² Преобразующую силу примера Чемберлен вообще считал основой гуманистического процесса. Пример обучает и одновременно «образовывает» (*bilden*), т. е. формирует образ нашего «Я». «В примере одна полная жизнь воздействует непосредственно на другую. Через пример я побуждаюсь к деянию, воодушевляюсь для предприятия, возможность которого мне бы, возможно, даже не пришла в голову. Уже тем,

¹ *Chamberlain H. S. Lebenswege meines Denkens. München, 1919.*

² *Андрей Белый. На рубеже двух столетий. М., 1989; Он же. Начало века. М., 1990; Он же. Между двух революций. М., 1990.* Сам мемуарист испытал на себе силу такого подчинения, идущую не только от кружка Мережковских или теософов круга Р. Штейнера, но и от Эмилия Метнера, русского вагнерианца и одновременно поклонника Чемберлена, особенно в части его учения о деструктивной роли еврейства в культурной истории Европы. См. очень содержательную книгу по этому вопросу: Юнгтрен Магнус. Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера. СПб., 2001.

что я предполагаю подражать, я создаю нечто новое». Добровольное подражание противостоит тираническому принуждению, позволяя в полноте воспринять уникальность оригинала.¹

Интерес к становлению собственной личности привел Кайзерлинга к созданию целого цикла автобиографических работ, которые, строго говоря, не совпадают с формальными и стилевыми признаками этого жанра. Помимо большого автобиографического очерка, опубликованного в 1923 году, и объемного, биографического по духу введения к книге «Люди как символы» (1926), он написал большие специальные книги, в которых его жизнь является главным содержательным и смысловым центром, аккумулирующим все духовные воздействия извне с тем, чтобы, синтезируясь, дать то, чем стал Кайзерлинг во всей мощи своего воздействия на мир. Таковы «Книга о личной жизни» (1936), «Об искусстве жизни» (1936), «Книга о происхождении» (1942) и, наконец, «Путешествие сквозь время» в трех книгах, работа, написанная во время военных невзгод и одиночества. В сущности, ни одна мало-мальски крупная публикация Кайзерлинга после выхода в свет «Путевого дневника» не обходилась без биографических рефлексий.

С известным правом можно сказать, что личная жизнь философа имела двойную структуру. Одну составляло то, что его личность приобретала в ходе «путешествия сквозь пространство», другую, вырастающую из первой, но постепенно становящуюся единственной, — то, что давало «путешествие сквозь время». Первый род путешествий обогащал личность в ходе ее становления и развития, наполнял ее впечатлениями, фактами, знакомствами, столкновениями. Внешнее входило внутрь, становилось своим. «Путешествие сквозь пространство» представляло панораму культур, стилей жизни, расовых отличий. На почве этих приобретений вырастала философия культуры и то, в чем выразилось его представление о должной и будущей человеческой культуре. Путешествие в пространстве всегда оказывалось путешествием в культурах.

«Путешествие сквозь время» — это работа по проникновению в глубины духа для того, чтобы выйти на уро-

¹ *Chamberlain H. S. Arische Wetanschanung. S. 3—4.*

вень коренных смыслов всего сущего. Кайзерлинг принимал интуицию за способ «постижения смысла», его схватывания. «Раскрытие смыслов» представлялось процедурой с некоей длительностью, в ходе которой формировалось и совершенствовалось понимание. «Путешествие сквозь время», видимо, имело большое значение для создания «философии смысла», которую следует видеть как кайзерлингианскую модификацию философии жизни. В тесном переплетении с нею возникала и его философия человека. Конечно, оба структурных плана жизни не противостояли друг другу как фазы его личного бытия, а сочленились так, что их результаты оказывались совместимыми. Так, философия человека возникла не только из самонаблюдения сложных интроспекций и «исповедальной» установки в духе классических образцов Августина, Руссо, Толстого, но и на базе применения юнгианской типологии человека к социально-антропологическим обобщениям, обретенным в ходе путешествий. Последнее представлено, в частности, в книге об Америке и ее обществе.

«Путешествие сквозь пространство» помогло Кайзерлингу создать ряд блестящих образов-характеристик некоторых стран и континентов. Таковы очерки о нескольких европейских странах, собранные в книге «Европейский спектр» (1928). Все они выполнены не в духе «зарисовок с натуры», а как «понимающие интерпретации» самой сущности народа как целого. Это предопределяет необходимость ясных интерпретационных принципов. Вот некоторые из них: «По своей природе я рассматриваю в этой книге отдельное только в связи с целым, к которому оно принадлежит. Так, я рассматриваю отдельные народы с точки зрения Европы; то чем они сами для себя могут быть, я опускаю из рассмотрения». Или: «Никакой народ как таковой не имеет ценности с точки зрения вечности, так как только единичный субъект находится в непосредственном отношении к абсолютному. В противном случае это значило бы логическую ошибку, *petitio principii*, когда нация загодя приписывает самой себе вечную ценность своих великих сынов».¹ Большой и, увы, с элементами скандала резо-

¹ Keyserling H. Das Spektrum Europas. Heidelberg, 1928. S. 13—14.

нанс в Америке получила его книга об Америке, о которой мы говорили в начале. Благодаря ей Кайзерлинг стал в этой стране нежелательной персоной.¹ И поскольку книга писалась для иностранцев, Кайзерлинг посчитал нужным изложить в ней основные положения своей философии, что придало книге дополнительную ценность. Еще несколько лет спустя он издает большую книгу «Южноамериканские размышления»², принятую радушно на южно-американском континенте. В ней также изложена его философия в более разработанном виде, отчего Кайзерлинг считал ее принципиально важной во всем теоретическом наследии. Книга получила признание и среди интеллектуальной элиты Европы: ее отметили К. Г. Юнг, В. Зомбарт, Г. Гауптманн, В. Фуртванглер, Г. Робакидзе, Н. Бердяев, Габриэль Марсель, А. Бергсон, Р. Тагор. В известном смысле это был шедевр. Не нарушая стилистического единства, Кайзерлинг представил в ней весь спектр основных проблем своей философии. В антропологии он касался изначальных глубин человеческой натуры, перемещаясь во все более высокие формы земного бытия личности, вплоть до высот духовной жизни. Но начало этому ряду книг положил «Путевой дневник философа».

В октябре 1911 года из Генуи Кайзерлинг отправился в свою кругосветную поездку, которая продлилась почти год. Он не был первым философом, отважившимся на такой шаг. Причины, по которым они решались на тяготы путешествия в экзотические страны, обычно были одни и те же. Магия Востока, аромат относительно безопасной авантюры, стремление на время отделаться от отягощенного бремени западной цивилизации, наконец, погоня за острыми впечатлениями, способными оживить увядающее творчество. Как мы говорили, мотивы Кайзерлинга были иными. Его не особенно манили Индия и Китай, по его собственным уверениям. Но именно в этих странах он пришел к самым серьезным заключениям относительно глубинных основ культур. Именно Восток

¹ *Keyserling H. Amerika. Das Aufgang einer neuen Welt. Stutt.-Berlin, 1931.* Книга, как видно из предисловия, писалась изначально для американского читателя на английском языке.

² *Keyserling H. Reisetagebuch eines Philosophen. München/Leipzig, 1919. Vorbemerkung.*

оставил в нем наиболее мощные впечатления: «Я был одержим Востоком настолько, что долго просто не мог представить себя западным человеком», — писал он, готовя дневники к изданию.¹

Становясь мыслителем метафизического толка, Кайзерлинг полагал, что наиболее приемлемая форма индивидуального бытия, согласующаяся с призванием — уединение. Следовало ожидать, что в отшельничестве в голову придут наиболее значимые мысли, лишенные налета бренности и погруженности в эмпирическую действительность. Только в этом состоянии казалось достижимой мечта о самоосуществлении. Он удаляется с этими мыслями в свое поместье. Но оказалось, что в сельской замкнутости открылась неожиданная перспектива стать «самим собой» не в метафизическом, а в эмпирическом смысле. Выйти в чистое универсальное существование, преодолеть в себе индивидуальное, оказалось бесперспективным. Назрел кризис. Время отрицания мира еще не настало. И как выход из него — неожиданное решение: «То, что вытолкнуло меня в широкий мир, было то же, что многих влечет в монастырь: томление по самоосуществлению». Кайзерлинг признал мудрость Пифагора и Платона, которые в зрелом возрасте предали жизнь путешественников. Европа была пройдена, поэтому и лишена загадочности. Оставался Восток. Кратчайший путь к себе проходит вокруг света. Маршрут путешествия не затронул только Африку и Австралию. Приобретенные знания, знакомства и встречи создали во многих отношениях новые точки зрения на, казалось бы, решенные проблемы, открыли новые перспективы понимания человеческого мира в нем.

По возвращении он вновь водворяется в имении Райкюла и принимается за обработку материалов и впечатлений. Работа в целом была завершена к осени 1914 года, и тогда же ожидался выход первого тома «Путевого дневника философа».

Имеются многочисленные личные свидетельства состояния Кайзерлинга во время этой работы: «Я верил, что с «Дневником путешествий» я достиг максимально высокого состояния развития и одновременно имею дело

¹ Ibid.

с завершением труда жизни».¹ В массе литературы, рожденной путешественниками и в путешествиях, которой Европа одарила мир, по меньшей мере за три века, когда этот вид занятий западного человека утвердился как существенная форма его жизни, книга Кайзерлинга занимает особенное место. Без всяких снисхождений она является литературным шедевром и признана таковым. Автор не сообщает сенсаций и диковинок, да и фактов в книге не так уж много. Большинство из них европейцу уже ведомы. Но они имеют значение только как поводы, вызывающие мысль философа, углубляющие ее и передающие от одного к другому по эстафете. Именно это движение философского созерцания определило цельность произведения, а не движение везущего его парохода или локомотива. Дневник оказался псевдодневником путешествия. Его жанр Кейзерлинг назвал романом. «Предложенный дневник прошу читать как роман. Даже если он состоит по большей части из элементов, вызванных внешними побуждениями кругосветного путешествия, содержат избыток объективного изложения и абстрактных рассуждений, которые вообще-то могут существовать и сами по себе. Но все это однако представляет собой одно целое, созданное внутренним побуждением, и являет внутренне связанное художественное произведение (*Dichtung*)». Только с учетом этих особенностей, можно воспринять внутренний смысл дневников, предупреждает Кайзерлинг.²

Характер книги он определяет также тем, что фактичность никогда не была для него самоцелью. Он не ставил задачу фиксировать все виденное. Даже уникальное, если оно не вызывало мыслей, оставалось вне поля созерцания смысла. Вещи — знаки смыслов, но смыслы существуют независимо от них. Идеи относительно чуждых культур сочетаются с авторскими размышлениями, точное изображение — с преображенным (*Umbildung*). Противоречиво сталкиваются, не всегда разрешаясь, точка зрения автора и изменение настроения. Таким образом, внутренний динамизм книги определялся коллизиями мыслей, а не темпом передвижения путешественника.

¹ *Keyserling H. Menschen als Sinnbilder.* S. 54.

² *Keyserling H. Reisetagebuch eines Philosophen.* S. 9.

Книга стала литературной легендой Германии. Она вышла в свет в начале 1919 года. Война задержала ее появление на четыре года. Но как знать, может быть эта задержка пошла на пользу сочинению. Не в смысле того, что автор неожиданно получил досуг для ее совершенствования, хотя кое-что и было в этом смысле сделано, а в том, что она была предъявлена совершенно другому читателю, чем тот, который был в 1914 году. Возможно, что всех литературных достоинств ее не хватило бы на то, чтобы расшевелить чувство и воображение самодовольного предвоенного немецкого бюргера. Едва ли в нем возник бы интерес к культурологическим размышлениям о самоценных корнях других культурных реальностей, на которых произрастают самодостаточные духовные организмы.

Но в 1919 году немец являл собой совершенно иной человеческий тип. Унижение национального достоинства, вызванное катастрофическим поражением гордого рейха, породило серию неожиданных рефлексов. Повсеместно возник острый интерес к источникам, где можно было бы найти ответ на основные экзистенциальные вопросы, или хотя бы объяснения того, что случилось, и в каком месте культурного порядка вещей следует искать свое настоящее и будущее.¹ Можно быть уверенным, что книга Кайзерлинга неожиданно оказалась той, где немецкий читатель находил кое-что и весьма важное для себя. Успех «Заката Европы» О. Шпенглера, появившейся всего лишь несколькими месяцами ранее объясняют точно такими же обстоятельствами.²

Однако несмотря на тематическую близость, на понятийное и даже иногда терминологическое совпадение, книги Кайзерлинга и Шпенглера совершенно различные произведения, равно как различны их авторы по типу и направлению мышления. Кажется, они жили, не замечая

¹ Историками книгоиздательского дела в Европе отмечен удивительный факт, что в неблагоприятной послевоенной Германии невообразимо вырос спрос на книги. По объему печатной продукции в 20-е годы она занимала 1-е место в мире и в год появлялось более 40 тыс. наименований книг.

² Поражает совпадение судеб обоих шедевров мировой культурологии. Книга О. Шпенглера тоже была закончена в канун войны, которая задержала ее выход на 4 года.

один другого. Особенно это замечание справедливо для Шпенглера, который проигнорировал сочинение графа. Кайзерлинг провел анализ личности Шпенглера в неблагоприятном для того свете: Шпенглер погружен в факты. Установка на факты — типично ученая позиция, и, следовательно, этим закрывается возможность («физиологическая невозможность») постижения смысла, хотя Шпенглер о нем только и печется. Раздражала Кайзерлинга и пророческая претенциозность Шпенглера.¹

Кайзерлинг как духовный реформатор

Несмотря на понимание высокого значения будущего издания своего произведения и вместе с этим того, что он вышел на вполне самостоятельную стезю дальнейшего духовного развития, никем не указанную и еще никем не пройденную, годы войны морально угнетали Кайзерлинга. Физически в ней он не участвовал. Испытывал неудобство двойственной ситуации: считался русским и должен был демонстрировать патриотизм. С приходом на территорию Прибалтики немецких частей восстановилась связь с Германией, но он воздержался от выражения национальной солидарности. Кайзерлинг ощущал себя европейцем. Война была ему морально чужда. Он считал ее бессмысленной с любых точек зрения и «душевно-морально омерзительной».² Порой казалось, что песенка Европы спета и надо искать иного прибежища. Под этим впечатлением он даже вступает в переписку с японским послом в Петербурге, выясняя возможность поселиться на Дальнем Востоке, в Корее, в буддийском монастыре. Но это был временный упадок духа, скоро сменившийся приливом энергии. В этом, в который раз, проявилось свойство его характера — способность от растерянности переходить к активности. Войну стал оценивать как кризис, предшествующий оздоровлению, и в

¹ *Keyserling H. Spengler der Tatsachenmensch / Keyserling H. Menschen als Sinnbilder.* S. 14.

² В годы войны им опубликовано несколько публицистических статей на темы войны в Англии и США: *Keyserling H. On the meaning of the war // Hibbert-Journal. Oxford. April, 1915; Он же. A philosophical View of the War // Atlantic Monthly. Boston. February, 1916.*

его личных воззрениях появились элементы стоицизма. Они заметны в завершающих страницах второй книги «Путевого дневника философа», как раз дописывавшихся в это время.

К русской революции Кайзерлинг отнесся отрицательно. Впрочем, это, как и Россия, — темы, требующие особого рассмотрения. Не ожидая ничего хорошего, он покидает свое родовое имение, и как оказалось, навсегда. Вместе с женой он поселяется в родовом поместье Бисмарков Шёнхаузен-на-Эльбе. Это произошло уже осенью 1918 года.

С выходом книги путешествий в свет и в связи с ее огромным успехом общественное положение Кайзерлинга решительно меняется. Он — немецкая, а вскоре, после перевода его книги на французский и английский языки, и европейская знаменитость. Отчасти восстанавливаются старые знакомства и связи. Его писательская работа становится почти непрерывной. Помимо уже перечисленных книг выходят и другие. Не только специально философского рода, но и отзывающиеся на актуальные вопросы немецкого и европейского состояния. Особое место в его политической публицистике занимают франко-немецкие отношения. Философ размышляет о европейской будущности и месте в ней Германии.¹ Окончательно оформившиеся культурфилософские взгляды, сердцевиной которых является принцип синтеза продуктивных особенностей двух типов культур: европейской и восточной, служат базой для развития интеграционизма. Он выступает решительным сторонником объединенной в культурно-политическом отношении Европы. С этой стороны его можно с полным правом считать предтечей современных идей единой Европы, о чем, кажется, забыто.

Однако этот род активизма не удовлетворяет Кайзерлинга. Он вынашивает более амбициозные планы. Они связаны с идеей реализации программы воспитания нового человека путем возрождения в нем духа и восстановления в нем духовно-душевного единства. Все эти

¹ Keyserling H. Europas-Zukunft. Zürich, 1918; Он же. Deutschland wahre politische Mission. Darmstadt, 1919; Он же. Unsere Beruf in der verä Welt. Darmstadt, 1919; Он же. Politik, Wissenschaft, Weisheit. Darmstadt, 1922.

идеи выросли на почве его философии человека, получившей завершение в начале 20-х годов, когда он познакомился с К. Г. Юнгом и прошел интенсивное ознакомление с теорией и практикой психоанализа. Учение о «коллективном бессознательном» и юнгианская типология личности стали ее составными частями.

Выше мы уже касались общего смысла философии человека Кайзерлинга. Возможно, следует сделать несколько уточняющих сказанное дополнений. Рассматривая общую ситуацию он замечает, что нынешнее неудовлетворительное положение в понимании сущности человека явилось следствием господства односторонних антропологических теорий предыдущих столетий.

Как всякий исторический этап развития XVIII и XIX веков были односторонни. Теория прогресса, на которой они базировались, предполагала опору на развитые материально-телесные стороны личности. «Моральная и спиритуальная стороны человека оказались вне процесса развития».¹ Опыт войны и революций начала XX века, уверен Кайзерлинг, поставил на повестку дня вопрос о перенесении смысловых акцентов на душу. Кроме того, понятие «человек» имело не конкретный, а абстрактный характер. Задача преодоления односторонностей и абстрактности в учении о человеке прошлых веков чаще решалась регрессивно, без осмысления сущности жизненного процесса, заменой одной односторонности другой. На самом деле речь должна идти не о том, чтобы отбросить абстрактного человека с его возможностями, но вернуть его в «тотальность живого человека», но прежде нужно отойти от некоторых предрассудков, надо понять, что имеется действительность души как живого организма. Не менее важным, по Кайзерлингу, является возвращение некоторых средневековых представлений о человеке, забытых под влиянием материалистических учений последующего времени.

В частности, в средние века якобы правильное понималось познавательное действие души. И человеческую сущность тогда понимали много глубже, чем ныне, и это

¹ Нижеследующий эскиз воззрений Г. Кайзерлинга дан по его статье «О продуктивности недостающего», помещенной в его книгу «Люди как символы».

потому, что умели связать ее метафизический корень с эмпирическим выражением человека в единое целое. В XIX веке наоборот пошли по пути развития идеи сознания в отвлеченно-метафизическом смысле. На самом же деле «нет никакого чистого разума в смысле Канта, никакой чистой воли в смысле Когена, никакой субстанции «сознания» и, разумеется, никакого субстанциального «бессознательного». На самом деле имеется только живая душа, живые способности которой можно рассматривать как абстракции для себя, т.е. только теоретически, подобно тому, как живое тело разлагают в теории на анатомические, физиологические, биологические элементы, которые однако сами по себе не существуют как жизненные». Далее Кайзерлинг обращает внимание на то, что нет ничего, что соответствовало бы в отдельности понятиям эмпирического или метафизического, которыми пользуется рассудок. Нет и жестких границ между внешним и внутренним в человеке, причем так, что какие-то области человека были только материальными, а другие — только духовными. Живой, связанный в единое целое своих сторон и способностей человек является действительной предпосылкой всякого деяния и мышления. «Если бы я, — резюмирует Кайзерлинг, — пожелал выразить в одной фразе, в чем мое учение отличается от теорий других нынешних философов, то она звучала бы так: оно исходит из живой души в отличие от абстрактного человека». Таким образом, теорию абстрактного человека он замещает своеобразной версией персонализма.

Но под воздействием материалистических теорий прогресса человек сошел с путей действительного развития своей сущности, потерял ощущение своей связи с космосом, стал бездуховным и односторонним. Следовательно, возврат его целостности означает то же самое, что «возрождение в духе». Раскрытию смысла этого понятия и обозначаемого им действия Кайзерлинг посвятил немало страниц своих сочинений, увы, не внесших ясность в его теорию. Несколько более ясной его теория становится с учетом осуществлявшейся им практики воспитания новой личности в так называемой «Школе мудрости».

«Школа мудрости» — главнейшее и самое известное детище общественной деятельности Германа Кайзерлин-

га. Она возникла в Дармштадте, куда переехал Кайзерлинг по приглашению герцога Эрнста-Людвига Гессенского. При его покровительстве и участии ряда аристократов как ее попечителей она начала действовать с 1919 года. Занятия проводились в форме докладов и непосредственного общения слушателей с выдающимися интеллектуалами и личностями Европы, которых руководитель школы — Г. Кайзерлинг — признавал духовными личностями. Занятия проходили в виде двухнедельных собраний (Tagungen), на которые раз в полугодие съезжались лекторы и слушатели из различных стран и мест Германии. Школа действовала фактически до прихода к власти нацистов. Ее педагогика строилась на технике непосредственного контакта всех участников при лидерстве руководящего духовного лица, которое передавало свою духовность adeptам. В ней принципиально не было выражено никакого национального начала. Предполагалось, что в ней зреют новые духовные личности, будущие лидеры возрождающегося человечества. Они должны воспринять и освоить духовную сторону двух основных типов культур: западной и восточной. Ранее мы уже охарактеризовали понимание Кайзерлингом сущности западной культуры, закреплённой в понятии «культура-уметь» (Können-Kultur). В противоположность созерцательности и неконструктивности восточных стилей жизни, склонности к пассивному углублению в данность сущностей, принципиальное неприятие преобразовательного отношения к миру было им закреплено в понятие «культура-быть» (Sein-Kultur). Безмятежное принятие мира как данности и постижение его в этом статусе — таково основное отношение к нему человека Востока. Среди учителей «Школы мудрости» были представители обеих культур или компетентные знатоки их сущностей. Отбор учителей был тщательным и проходил под контролем Кайзерлинга. Иногда требовались рекомендации. Вот некоторые из лиц, входивших в корпус преподавателей школы в разные годы: Э. Трёльч — философ культуры и историк, Л. Циглер — философ и религиозный мыслитель, К. Г. Юнг — теоретик психоанализа, М. Шелер — философ, один из создателей теории ценностей, Л. Фробениус — этнограф-африканист, Г. Дриш — биолог и философ-виталист, Р. Тагор — зна-

менитый индийский поэт и философ, Т. Манн — крупнейший немецкий писатель XX века. Конечно, главным учителем был сам руководитель «Школы» — Г. Кайзерлинг. Нам известно, что делались попытки привлечь к работе в «Школе» и русских: Н. Бердяева, Л. Шестова, А. Таирова, А. Ремизова.¹

Наряду со «Школой мудрости» было основано «Общество для свободной философии», также проводившее свои мероприятия в духе идей ее основателя. «Школа мудрости» в реальности было учреждением элитарного типа, местом встреч элиты европейского общества с выраженным аристократическим духом. Целый ряд признаков говорит об установке на утверждение ее лидера и организатора в качестве духовного вождя и прокладывателя дорог к новой культуре и обществу. В такой же роли видел себя и сам Кайзерлинг. При таком положении вещей, конечно, ни о каком согласии его с нацистским режимом не могло быть и речи. Ни его дух, ни его вожди не были приемлемы для него. Но и сил для реальной оппозиции ни сам Кайзерлинг, ни его «Школа», ни его соратники по делу возрождения культуры не имели. Самое большее, на что они могли решиться пойти, была «внутренняя эмиграция» — некий способ пассивного неприятия и сопротивления террору. В ней находились многие интеллектуалы тогдашней Германии, например, Карл Ясперс. В ней находился и Герман Кайзерлинг почти во все время господства фашистского режима.² Политический террор его непосредственно не коснулся. Возможно, имела значение его принадлежность по браку к семье

¹ О «Школе мудрости» есть довольно обширная литература. См.: Briefwechsel Graf Hermann Keyserling — Oskar Schmitz aus den Tagen der Schule der Weisheit. Darmschtdt, 1970. О ее программе см.: Keyserling H. Schöpferische Erkenntnis. Darmstadt, 1922.

² Родственник Г. Кайзерлинга по побочной линии вспоминает: «Граф Кайзерлинг в июле 1933 года говорил: «Гитлер по своему почерку и физиогномии являет выраженный тип самоубийцы. Этим он воплощает черту немецкого народа, который всегда был влюблен в смерть, постоянно возвращающееся переживание которой составляет беду Нибелунгов. Гитлер устремлен навстречу грандиозной гибели, которая вызывает в нем восторг». Некрофильный характер психики Гитлера был обычной констатацией всех психоаналитиков. См.: Keyserling R.-V. Unfinished History. Hale, 1948. P. 287.

потомков Бисмарка, официально почитаемого в Германии.

Почти все виды деятельности Кайзерлингу были запрещены. Попытка перенести работу «Школы мудрости» за рубеж не удалась.

С годами росло одиночество, усталость. Досаждали недуги, которые он переносил мужественно, голод. Годы войны он провел в Австрии, в Иннсбруке, где и закончилась война. Воскресли прежние планы возродить «Школу мудрости», на сей раз в Австрии. Оставшиеся члены «Общества за свободную философию» даже сделали кое-какие приготовления. Делу содействовали и французские оккупационные власти. Но было поздно. 26 апреля 1946 года он скончался. На скромных похоронах присутствовали официальные власти.¹ За смертью настала пора почти полнейшего забвения жизни и дела Германа Кайзерлинга. Но сохраняется надежда, что оно не окончательное и к его философии обратится ищущий путей к духовности наш современник.

¹ Graf Hermann Keyserling Gedachtuisbuch... Hrsg. Von Keyserling — Archiv. Innsbruck-München, 1948.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Предлагаемый дневник я прошу читать как роман. Хотя он в основном состоит из элементов, навеянных впечатлениями кругосветного путешествия, и содержит множество объективных описаний и абстрактных размышлений, которые имеют право на независимое существование, однако в целом представляет собой изнутри созданное, внутренне связанное сочинение, и только в таком качестве может быть понят его истинный смысл. По поводу него я не хочу ничего заранее объяснять. Он откроется только тому, кто согласится следовать за странником, разделяя его меняющиеся настроения и переживая вместе с ним все внутренние перемены, которые несет с собой странствие, твердо памятуя, однако, о том, что фактическая сторона никогда не становится для меня самоцелью, а всегда служит лишь для выражения независимо существующего смыслового содержания; т. е. откроется он тому, кому не мешает чередование мыслей об иноземных культурах с личными размышлениями и точных описаний с образным переосмыслением, кому не мешает то, что многое, если даже небольшая часть рассказанного, скорее отвечает потенциально возможному, чем фактической реальности; тому, кого не смутят противоречия, в которые я неизбежно впадаю под влиянием изменившегося настроения или меняя изначальную точку зрения на другую, не всегда заботясь о том, чтобы подробно растолковать, как я сам разрешил эти противоречия. Тому, кто прочтет мой дневник с таким настроением, еще прежде, чем он дойдет до конца книжки, откроется, как я полагаю, не столько некая теоретически возможная картина мира, сколько практически доступная установка сознания, при которой многие судьбоносные про-

блемы предстают изначально решенными, при которой сливаются воедино непримиримые противоречия, и многое приобретает новый, более полный смысл.

...Вышеизложенное я написал в июне 1914 года; осенью того же года мое сочинение должно было появиться в печати. И тут грянуло объявление войны; до оккупации Эстонии немецкими войсками у меня прервались все связи с издательством. В издательстве лежал подготовленный к печати первый том, на руках у меня оставалась корректура второго. Несмотря на то, что с тех пор прошло много времени, я в основном издаю дневник моего путешествия в неизмененном виде; написанный в духе ориентализма, он целиком принадлежит к периоду творчества 1911—1914 годов, поэтому переработка с новых позиций могла бы ему только повредить. Лишь две последние части — Америку и Райккюлу — я не только изменил, но, можно сказать, почти что целиком переписал наново; это было необходимо, для того чтобы все сочинение приняло действительно законченный вид. В 1914 году я был еще настолько одержим Востоком, что оказался не в состоянии непредвзято представить себя человеком Запада; поэтому соответствующие разделы вышли недостаточно ясными и убедительными. У меня тогда отсутствовала необходимая дистанция для того чтобы закончить свое сочинение, придав ему ту завершенность, какой требовал его замысел, чтобы подвести окончательный итог проделанного кружного пути вокруг света. Сегодня, полагаю, я в меру своих способностей выполнил все, что требовалось. Долгое, тягостное время пережитых ужасов пошло на пользу, по крайней мере, одному созданию человеческого ума...

Райккюла в Эстонии,
весна 1918 года.

Герман Кайзерлинг

Текст второго издания подвергся по сравнению с первым лишь незначительным изменениям и исправлениям.

Мурнау,
август 1919 года.

Герман Кайзерлинг

К третьему изданию у меня не появилось ничего, что я хотел бы добавить к предварительным замечаниям. Хочу лишь, пользуясь случаем, порекомендовать друзьям этого дневника заглянуть после его прочтения в небольшое сочинение «Что нам необходимо — чего я хочу»; возможно, оно кому-то поможет найти путь от теоретического познания к практическому переустройству жизни.

Фридрихсру,
февраль 1920 года.

Герман Кайзерлинг

В связи с последним изданием у меня не нашлось добавить ничего нового. Однако я воспользуюсь шестым изданием для того, чтобы обратить внимание читателей на мою новую книгу «Мудрость и смысл». Она представляет собой мою первую этапную работу после «Дневника»; она содержит введение в задачи, которые ставит перед собой «Школа мудрости». В настоящем же произведении я больше ничего не меняю.

Дармштадт,
ноябрь 1921 года.

Герман Кайзерлинг

І. В ТРОПИКИ

Перед отъездом

Зачем я еще отправляюсь путешествовать? Годы странствий для меня уже позади. Прошли те времена, когда новые впечатления меня внутренне обогащали. Тогда внутренний рост еще совпадал с поверхностным расширением; в духовном отношении я в ту пору находился еще на детской ступени, когда, прежде чем перейти к другому развитию, сначала требуется физический рост. Однако ни одно дитя, каким бы живым оно ни было, не может расти бесконечно; рано или поздно всякий достигает критической точки, после которой все не может продолжаться по-прежнему, и приходится либо остановиться в своем развитии, либо продолжать его на другом уровне. А поскольку жизнь, пока она себя не исчерпала, никогда не стоит на месте, то в определенном возрасте смена уровней происходит сама собой. Те же мотивы, которые в молодые годы заставляли человека стремиться к расширению и обогащению своего багажа, побуждают его в зрелые годы к углублению и потенцированию. Сравнивая свою нынешнюю познавательную способность и волю к познанию с тем, что было прежде, я сразу замечаю принципиальное отличие. Тогда, как уже сказано, всякое новое впечатление, всякий новый факт усваивались мною как составной элемент моей растущей индивидуальности; моя индивидуальность росла по мере того, как она впитывала все новое. Каждое новое впечатление давало мне новое средство выражения, каждое новое представление укрепляло ощущение собственной значимости, и не было ничего странного в том, что я жил тогда в надежде найти вовне то, что двигало мною изнут-

ри, но не успело мне еще открыться. По мере того как крепчали мои органы восприятия и я все лучше научался ими пользоваться, как все реже попадались новые структуры, а в частном для меня все полнее проявлялся дух целого, интерес к внешним явлениям, служивший для меня лишь временным подспорьем, как бы поводом для чего-то другого, постепенно слабел. Сегодня факты как таковые меня уже не волнуют. Я не люблю читать, почти не испытываю потребности в общении, и меня все больше и больше тянет к отшельничеству, в условиях которого я лучше всего могу жить, выполняя свое предназначение. Что поделаешь, коли уж я метафизик и только им могу быть (чем бы еще я кроме этого с большим или меньшим успехом ни занимался)! А это означает, что по-настоящему и всерьез мир интересует меня только в его потенциальном, а не в том или ином качестве его реального существования. По старой привычке, отчасти из соображений самодисциплины, я слежу за развитием естественных наук, изучаю особенности людей, встречающихся на моем пути, или читаю книжки, в которых они находят свое отражение, но до всего этого мне в сущности уже нет дела. Так отчего же какой-то глубинный инстинкт побуждает меня как раз сейчас пуститься в кругосветное путешествие — инстинкт не менее властный, чем тот, что в прежние времена руководил мной, заставляя, причем всегда в правильной последовательности, сменять климатические пояса ради поддержания неустойчивого здоровья, которое без внешнего подспорья меня подводило? Причина не в жажде новизны; с годами у меня все больше усиливается неприязнь к разного рода «достопримечательностям», коль скоро они не имеют необходимой связи с моими внутренними устремлениями. Это и не исследовательская страсть, ибо для меня уже не существует таких частных проблем, которые могли бы всерьез взволновать мою душу. Меня толкает к странствиям то же, что многих подтолкнуло уйти в монастырь: тоска по самореализации.

Решив несколько лет тому назад поселиться в Райккюле, я воображал, что мир мне не нужен. Да я бы и не нуждался в нем, если бы видел свою цель в вынашивании идей, уже появившихся в зачаточном состоянии, ибо таковые нигде не созревают так хорошо, как в условиях

уединения, где не на что от них отвлекаться. Но я ожидал от Райккюлы большего: я надеялся достичь в своем уединении той высшей самореализации, благодаря которой новые мысли можно будет считать выражением метафизической реальности; я надеялся дорасти с ее помощью до свободы от всех случайных привязанностей, налагаемых временем и пространством. Этим надеждам не суждено было сбыться. Живя в сельском уединении, я убедился, что, все более становясь самим собой, я становился им не в метафизическом, а в эмпирическом смысле; а это было полной противоположностью того, к чему я стремился. Пришлось признаться самому себе, что время удалиться от мира для меня еще не настало. Возможно, для большинства смертных стать личностью — это высшее счастье, для метафизика же величайшая трагедия состоит в том, что он никогда не может полностью преодолеть в себе индивидуальность. Китс говорит о поэте: «*The poetical nature has no Self — it is everything and nothing; it has no character... A poet has no identity — he is continually in form and filling some other body*».¹ Он мог бы добавить, что главное для поэта — бескорыстный отказ от своего Я; ибо только так он может осуществить свое призвание. То же самое в гораздо большей степени справедливо для метафизика. Метафизик относится к поэту, как поэт к лицедею. Лицедей представляет, поэт сочиняет, метафизик мысленно превосхищает все, что может представить лицедей, и все поэтические творения. Таким образом, он не может сливаться ни с какой формой, не может чувствовать себя идентичным ни с одной из них; каждое отдельное явление он должен рассматривать с точки зрения Бога. И в первую очередь собственную индивидуальность, собственную философию. Достичь такой глубины Райккюла мне не помогла. Подобно многим другим я возомнил, что мировые процессы исчерпываются одной-единственной формулой, начал усматривать в случайных личностных особенностях необходимые атрибуты сущности. Я начал превращаться в личность. И тут я понял, как мудро по-

¹ Поэтическая природа не имеет себя — она есть все и ничто; она не имеет характера... Поэт не идентифицируется ни с чем — он пребывает непрерывно в ощущении меняющихся тел (англ.).

ступали Пифагор и Платон, продлив странничество до самого зрелого возраста; неизбежный процесс кристаллизации нужно по возможности отдалить; Протей как можно дольше должен оставаться Протеем, ибо только протейческие натуры призваны к служению метафизике. Итак, я решил вернуться в мир.

В какой степени мир способствует самореализации в том смысле, который я здесь имею в виду? Ведь обыкновенно считается, что он ей препятствует. Он способствует самореализации определенных натур, понуждая душу таких людей к восприятию все новых форм. С тех пор как я повзрослел, впечатления как таковые перестали для меня что-нибудь значить; мой дух не обогащается от простого восприятия нового материала. Зато в целом он реагирует теперь по-разному, в зависимости от предложенных обстоятельств, и этот опыт изменчивости открывает мне такие стороны действительности, которые раньше были для меня недоступны. Неспособному изменяться взрослому человеку мир ничего не дает. Чем больше разного он видит, переживает, познает, тем поверхностнее от этого становится, стараясь при помощи органов, рассчитанных на один отрезок действительности, охватить многие, он неизбежно получает неверные впечатления; такому человеку лучше оставаться в своей собственной сфере. Пластической же натуре, соответственно изменяющейся при встрече с каждой новой средой, требуется как можно больше такого опыта, ибо из каждой метаморфозы он выходит более углубленным. Убеждаясь на собственной шкуре, насколько всякая форма зависит от условий, которыми каждая из них обусловлена, которыми формы связаны одна с другой, он достигает того, что центр его сознания медленно продвигается к тем глубинам, в которых обретается сущность как таковая. С такой опорой ему уже не грозит опасность переоценки отдельных явлений: все частное он понимает исходя из сущности. Бог это делает изначально в силу самой своей природы. Человек приходит к этому постепенно, пройдя все круги.

Итак, я отправляюсь в кругосветное путешествие. Европа больше ничего не дает моему развитию. Слишком хорошо знаком мне уже этот мир, чтобы пробудить в моей душе новые формы. Кроме того, она слишком ограни-

ченна. В духовном отношении вся Европа, в сущности, едина. Я хочу попасть в такие широты, где я смогу прожить, только совершенно изменив свою жизнь, где для понимания необходимо радикальное обновление всех понятий, где я вынужден буду забыть как можно больше из того, что я знал и чем был прежде. Я хочу испытать тот переворот, который окажет на меня воздействие тропического климата, индийского склада сознания, китайского образа жизни и многих других совершенно непредвиденных моментов, и посмотреть, что из меня после этого получится. Когда будут определены все координаты, то можно будет предположить, что у меня есть и свой центр. В таком случае я вырвусь за случайные пределы времени и пространства. Что, как не окольный путь вокруг света, способно привести меня к самому себе?

В Средиземном море

Итак, все связи и обязательства, которые обычно лежат на мне, отрезаны; никакие письма, никакие известия до меня не дойдут. Меня воодушевляет чувство обретенной свободы. Воистину, в том смысле, как понимает это большинство, мало встретится людей, находящихся в более независимом положении, чем я; у меня нет внешней профессии, нет семьи, о которой приходилось бы заботиться, нет отнимающих время обязанностей, я могу делать, что хочу. В моем смысле я был бы свободен, если бы и психически был ничем не связан, если бы каждое утро мог просыпаться, ощущая себя неким *quasimodogenitus* — а это мне все еще не удастся без специальных усилий. Духовная среда, в которой живет человек, определяет не только его внутренний мир, для него она одновременно является и неотъемлемой внешней средой; и эта среда иной раз дает о себе знать столь назойливо, что ваше сознание, которое, как вам кажется, отражает добытое из собственных глубин, на самом деле отражает лишь этот самый внешний мир и таким образом не выходит за рамки внешнего окружения. Для людей, чьи обстоятельства складываются особенно удачно, такое положение усугубляется еще за счет их собственных сочинений, выпущенных ими в свет. Отклики, которые они

получают, образуют новую сеть отношений, которые не могут не интересовать автора, заставляя его заниматься ими, что хотя и приятно, однако неизбежно отвлекает от сути. Многие люди, занятые умственным трудом, как ни странно, видят в том, что мне представляется роковым препятствием, достойную цель. Как бы сами они ни воспринимали свою позицию, фактически они вполне довольны сложившимся положением, при котором они являются экспонентами или факторами существующих условий. У них нет стремления выйти за пределы уже облеченного в готовую форму, чтобы подняться в мир сущностей, в котором обретается смысл первичного, и все факты перерождаются в символы. Им нравится положение главы философской школы и духовного учителя, они довольны тем, что представляют собой как индивидуальности, или своей системой (что в принципе одно и то же), почитая в этом свое высшее достояние. Я же, напротив, вижу в самой великой идее, которую только можно помыслить, лишь абстракцию, в лучшем случае окостенелый скелет, в реальных фактах — лишь отражение, в каждой индивидуальности — лишь средство выражения того, что представляет собой единственно безусловную ценность. Поэтому мне мало быть экспонентом или фактором, и я не могу считать для себя конечной целью выдвижение новой идеи или сохранение и развитие одной из уже существующих. Ведь в конечном счете вся соль не в том, чтобы выдавать на свет новые феномены или сохранять и развивать уже существующие (хотя не в самом конечном смысле это может быть и приемлемо): соль в том, чтобы распознать и представить в новосозданном или ранее существовавшем феномене то, что не будучи облечено в определенную форму, само изнутри определяет всякую форму. Как же справиться с этой задачей тот, кто всего себя вложил в создание законченной формы? — Мне-то, кажется, слиться с одной из них целиком еще ни разу не случалось, даже со своей собственной. Сколько мне известно, в глубине души я никогда не ощущал себя идентичным ни своей личности, ни своим трудам; с юных лет я, подобно полипу, который сбрасывает с себя готовых медуз, непрестанно порывал с собою вчерашним. Однако я не чувствую в себе еще такой внутренней свободы, чтобы совсем не зависеть от внеш-

них обстоятельств. Мое сознание то и дело впадает в психическую зависимость, и чтобы освободиться от нее, требуется рывок, на который у меня не всегда хватает сил. С каждым разом необходимое усилие возрастает, потому что сеть идеальных связей, среди которых я живу, с каждым днем разрастается, становится плотнее и запутаннее. И порой на меня даже нападает страх, как бы не увязнуть в ней навеки... И тут, когда больше уже ничего не помогает, я обращаюсь к помощи механического средства: я уезжаю в путешествие, покидаю свой мир до тех пор, пока не наступит достаточное отчуждение, которое позволит увидеть его со стороны и совладать с его силами. Я знаю, что очень многие люди, причем не из худших, неодобрительно относятся к этому шагу; нужно быть достаточно сильным, учат они, чтобы существовать без таких искусственных приемов. Нужно-то нужно! А что если ты не такой? Неужели лучше отказаться от достижимой цели только потому, что ты не можешь достигнуть ее кратчайшим путем? Неужели лучше растрачивать свои убогие силенки ради того, что представляет собою не цель, а всего лишь средство, и легко может быть достигнуто окольным путем? Признаюсь: что касается моей психики, то я убежденный иезуит; или, выражаясь точнее и менее вызывающе — я полагаю ошибочным относиться к устройству собственной психики как-то иначе, чем мы относимся к внешней природе, выказывая перед ней особенное трепетное почтение. Ведь это несовершенное приспособление — не я, это внешняя среда, а перед внешней средой я не обязан испытывать благоговейного трепета. Вместо досады от необходимости прибегать к посторонним средствам, я даже, напротив, скорее доволен тем, что человеческая психика достаточно проста, чтобы сильно и мгновенно реагировать на столь простые меры, как, например, механическое исключение тех или иных впечатлений и т. п.

Женщины принимают в расчет свою подверженность соблазну как сам собой разумеющийся факт; мужчину, который не умеет пробудить в них любовь, они считают недотепой, делая разве что скидку на то, что любовь его не интересует. Таким образом, они доказывают не только то, что гораздо лучше разбираются в человеческой натуре, но и то, что и жизнь знают лучше, чем большинст-

во философов. Человеческая психика — это природа, и она требует такого же отношения; по существу психические процессы не имеют никакого отношения к духовным ценностям. Из этого факта, кстати, вытекают определенные практические выводы; нет никакой нужды отрицать природную зависимость; самые высокие духовные ценности можно при желании согласовать с природной закономерностью. Так, похоть освящена браком, убийство — судебной властью, и это правильно. Выбор альтернативы зависит от поставленных перед собой целей. Мои же не позволяют мне пока что застыть в той или иной выработанной мною форме. А следовательно, ни к одной из них я не могу относиться с полной серьезностью.

В Суэцком канале

Здесь воздух дает мощный стимул моему воображению... В серо-голубом свете лунной ночи кажется, будто фиолетовая пустыня на востоке простирается за все горизонты. Надо мною в такой головокружительной высоте, какой я, кажется, никогда еще не видал, рассыпаны звезды, а высоко-высоко над ними вздымается небосвод. Пространство видится невообразимо огромным, почти беспредельным. Меня охватывает ощущение, напоминающее *horror vacui*¹. Мне представляется, будто этот мертвенный мир громко вопиет, моля о жизни; и во мне рождается судорожный порыв, стремление освободиться из моей телесной оболочки. Словно заключенному в бутылку джинну, мне хочется выскочить из нее, чтобы расти, увеличиваться, пока не заполнится окружающая пустота. И о чудо! Из моих потуг внезапно возникает в высоте, все отчетливей проступая перед глазами, наполняя собою пространство между небом и землею, гигантское видение. Видение некоего существа, тело которого подобно грозовой туче, сущность которого являет собою напряженность сдерживаемой сокрушительной силы. Только что Его не было; а между тем, появившись, Он оказывается центром мироздания. Он,

¹ Ужас пустоты (лат.).

личностный сверх всякой меры, как душа этой безличностной Вселенной. Так значит, это великое молчание означает лишь мгновение затишья перед бурей, эта глубокая, торжественная тишина — лишь краткую передышку неумолимого рока. Что произойдет, если вспыхнет гневом Тот, что живет в горних высях? — В пустыне поднимется самум, над дюнами разразится песчаная буря.

Это Бог, которому молятся народы пустыни. Это не Аллах, не Яхве, ни один из исторических богов, которые, придя из тьмы первоначальных времен, благодаря накопленному наследию своих предшественников поднялись из мелких князьков на престол повелителей неба. Но Он — всем им основа, во всех Он живет, как прародитель, продолженный в далеких правнуках. И порою, время от времени он вновь и вновь возникает, выступая в собственном обличье. Когда народ израильский, томясь в пустыне, видел в этом кару, то никто иной, как Он, являл ему свой грозный лик; когда бедуин прячется от самума, это снова Он заставляет его трепетать перед своей яростью.

Это Бог пустыни. Всюду, где одаренный воображением человек обживает окружающую его Вселенную, он порождает этих богов и духов. От родительских свойств зависят особенности этих существ; в одном случае у них преобладает материнская кровь, в другом — отцовская. В Греции боги пошли в отцовскую породу; в них материнские свойства проступают лишь слабо; так что кто она, иной раз и вовсе представляется безразличным. Пустынные боги пошли характером в мать. Песчаная почва неудержимо, словно повинувшись закону природы, порождает тиранических небесных деспотов. Это мертвенное мироздание вопиет, взыскуя о жизни, это нерушимое, вечное равновесие требует в противовес себе произвола, эта тишь грезит бурей. Не знаю, обладают ли жители пустыни богатым воображением: ведь как просты, до убожества незамысловаты характеры их божеств! Однако самое скудное семя, зароненное небом в пустыню, разрастается до гигантской величины, и даже самое простое создание, вроде пирамид, обретает здесь величие благодаря своим размерам.

В эту природу удивительным образом вписывается такое гигантское сооружение человека, как вытянутый в прямую линию, безжалостно прорезавший пустыню Су-

эцкий канал. Ведь и он тоже — продукт произвольного действия; создание неодолимой силы, он был навязан пустыне, словно по воле рока. Здесь человек действительно создал нечто сравнимое с божественными творениями.

В Красном море

Изрядная часть моих товарищей по путешествию жалуется, что они умирают от жажды. Какая бедность воображения! На Севере такой зной мог бы представлять опасность, поскольку там он был бы неестественным; при сохранении прочих неизменных условий чрезмерное повышение температуры нарушает то равновесие стихий, из которого складывается тот или иной климат, а поскольку тело существует, состоя в определенных отношениях с окружающей средой, то нарушение среды обитания заодно может разрушить и человеческий организм. Здесь же зной является составной частью целого; его абсолютные величины не так уж и высоки, так что тело, наделенное воображением, должно бы ему только радоваться. По крайней мере, на первых порах; с течением времени приспособляемость организма, вероятно, ослабевает. Но поначалу все непривычное скорее стимулирует, и я не удивлюсь, если на протяжении первых месяцев буду ощущать только положительные стороны тропического климата.

Как же все здесь одно с другим замечательно гармонирует: климат, краски, очертания, животные, море! Всякий раз при виде какого-либо существа у меня появляется ощущение, словно исполнилось мое предчувствие, что именно так должно выглядеть животное этих широт! Наверняка, для того чтобы в воображении происходил такого рода синтез, необходимо участие всякого там гистерон-протерона, однако это утверждение еще не решает вопроса. Между всеми элементами того или иного мира действительно существует связь, так что, зная некоторые из них, можно до известной степени предугадать остальные. Мне часто случалось при посещении зоопарков по характерному облику животного, ничего о нем не зная заранее, верно угадать, где оно обитает. Такое комбинирование легко удастся тогда, когда ты в общих чертах доста-

точно хорошо представляешь себе характер страны и общие закономерности типа, к которому относится данное животное. Таким способом, например, глядя на китайского оленя, легко определить, откуда он родом. Более того, я считаю в принципе возможным мысленно а priori сконструировать это животное при условии, что ты достаточно знаешь оленя вообще и знаком с тем, что представляет собой китайский человек в рамках своей родины.

Однако здесь и впрямь жарковато, и я чувствую себя разморенным. Сознание все больше уходит из тела, которое и без того слишком занято обменом веществ, и погружается в созерцание эритрейского побережья.

Аден

Из всех частей света черный континент обладает наибольшей формообразующей силой: все, что родилось в Африке, навсегда сохраняет африканский дух. Даже в музее горилла видится нам на фоне родного пейзажа; зебра и страус, словно по волшебству, вносят в нежнейший весенний ландшафт палящее дыхание саванн; африканский же человек настолько наполнил своим духом ту землю, в которую его занесла судьба, что очутившийся в Африке белый человек, изливая свои чувства в песне, поет ее на африканский лад. Для этого наблюдения не обязательно ездить в Африку. Зато, не сойдя в Адене на берег, я вряд ли сумел бы в полной мере оценить всю реальность той кажущейся абстракции, какой представляется Африка. Скалистый ландшафт и человек, песчаные равнины, тростниковые хижины и стервятники, дромадеры и грузы, которые они несут на спине, образуют здесь единый мажорный аккорд. Мажорный аккорд первоизданен в своей цельности, но, с другой стороны, каждая нота в нем звучит так чисто и так ясно слышится в общем созвучии, что в каждом из них, на каком бы ни остановилось твое внимание, можно расслышать основной тон. Гармония звучания кажется чрезмерной; она так сильна, что отдельным элементам словно совсем не остается простора для проявления; здесь отсутствует индивидуальное своеобразие. Зато над-индивидуальный смысл выражен так сильно и непосредственно, что един-

ство всего единообразного не переходит в стереотипность, достигая той наивысшей типичности, какую мы видим в греческом искусстве, а повторения воспринимаются как ритмичность.

Негры в своей наготе великолепны. Скульптура тут, воистину, не имела бы смысла. У нас, европейцев, в большинстве случаев тело — это ленивая, инертная масса; задача художника — изваять из этой материи нечто выразительное. Поэтому мы так это ценим. В Африке же природные формы, по крайней мере на меня, производят более высокое художественное воздействие, чем большинство произведений искусства. Немного найдется художников, работающих лучше, чем природа, и более полно воплощающих все возможности человеческого тела, чем она. В большинстве случаев они куда как уступают природе в том, что касается суггестивной силы образа, т. е. как раз в том, что составляет самую суть художественного творчества. Лишь величайшие творения искусства обладают тем значением, которое наши эстетики приписывают всему искусству вообще. Сказать ли, что я об этом думаю? Своим колоссальным авторитетом художники обязаны особой конъюнктуре, которая, буде и сохранится навечно, тем не менее является случайной. Изобразительному искусству помогло то обстоятельство, что наше тело после многовековой одетости утратило способность реализовать свой потенциал выразительности, вследствие чего мы воспринимаем как откровение, если художник реализует его в изображении человека; словесному искусству помогло то, что большинство людей сами не испытывают почти никаких чувств, им нужно увидеть чужие, чтобы они вызвали в их душе подобный отклик.

Все люди, которых я тут вижу, красивы: негры прежде всего своим сложением, арабы, которые то и дело проносятся по пыльным улочкам верхом на коне, выразительными лицами. Эти люди так же прекрасны, как животные; у них та же телесная выразительность. И это оттого, что все они типизированы. Красота никогда не бывает выражением индивидуального начала: понятие красоты охватывает совершенство заложенных в форме тенденций, которое служит выражением совокупности родовых черт; в красоте достигает совершенства нечто над-индивидуальное. На этом основывается свойственный непре-

ложный, общезначимый характер прекрасного, воспринимаемый всеми, в ком заложены те же тенденции формы, ибо у всякой ограниченной потенциальной возможности существует только один вид полной реализации. Для человеческого тела немислим никакой иной вид высшего гармонического и всестороннего воплощения кроме того, который представлен в греческом искусстве, и, следовательно, только те формы, в котором он выражен там, являются абсолютно прекрасными. На этом и только на этом основывается объективность эстетических суждений, ведь независимо от того, относится ли это суждение к природным формам или к их изображению в искусстве, во всей природе царит одна и та же механика и та же стереометрия, а следовательно, повсюду возможны такие пропорции, которые при существующих условиях творения воплощают в себе некий объективный оптимум. В таких суждениях совершенно исключены проявления субъективности. В отношении национальных типов красоты (а также в отношении специфических художественных стилей) объективность ограничена более узкой областью; она справедлива лишь для тех объектов, которые отвечают тем или иным условным признакам, достоинства которых могут быть спорными. Но после того как эта условность признана, вкус и здесь перестает играть какую-либо роль. Аденские негры абсолютно прекрасны, потому что в них в совершенстве выражен расовый тип.

Из данного определения однозначно вытекает, что красота в смысле физического совершенства никогда не бывает символической; ни одна из прекрасных арабских голов не таит в себе хотя бы приблизительно равноценного себе интеллекта. Недаром Сократ был самым безобразным из греков, не случайно нас так поражает встреча с умной красавицей; физическая красота и значительность личности не просто принадлежат к разным сферам, но противоречат друг другу, поскольку в природе всегда бывает так, что там, где доминирует родовое начало, это достигается за счет индивидуальности. Красота в собственном смысле слова всегда над-индивидуальна, т. е. типична, а сильная индивидуальность никогда не укладывается в рамки типа. Отчетливее всего это проступает у не достигших законченного развития народов, например у немцев

и русских, где выдающаяся личность, как правило, больше отличается от физического идеала расового типа, чем это наблюдается у средних представителей; наименее заметны эти отличия у вполне выкристаллизовавшихся народов, например у британцев. Правда моего исходного определения подтверждается тем, что у вполне сложившихся рас выдающаяся личность почти всегда не так необычна, как у еще несложившихся. Теперешняя Англия уже не породит нового Шекспира.

В Индийском океане

Насколько же я все-таки, несмотря ни на что, северянин! Это море больше и глубже всех, по каким я когда-либо плавал, и все же не производит на меня того впечатления, какое я испытывал при встрече с океаном. Мягкие, слащавые краски не позволяют возникнуть в душе ощущению величия. Когда я гляжу на розовеющую поверхность, то невольно думаю только о том, что вот передо мной пространство, где пасутся медузы, где играют дельфины.

Это происходит оттого что я северянин. Большое пространство еще не означает величия; для того чтобы возвыситься в нашем представлении до великого, нужно, чтобы оно возвышало наше самосознание; а вызовет ли оно такое ощущение, зависит от субъективных условий. Принципиально говоря, все величественные виды природы, такие как горы, пустыня и море (о звездном небе я не говорю, потому что его зрелище слишком обыденно и не приводит к упомянутому впечатлению), у всякого человека вызывают возвышенное настроение. Среди такого окружения легче возникает мысль о том, что сущность человека не обязательно должна быть ограничена рамками брэнной жизни, что в каком-то смысле от него самого зависит, быть ему конечным или бесконечным. Гигантские силы, чью работу он тут наблюдает, каким-то образом ощущая свою сопричастность, прорывают панцирь предрассудков подобно тому, как изнутри его прорывает страсть; его Я невольно расширяется; он постигает собственную индивидуальность как малую часть самого себя, ощущает себя больше, великодушнее и благороднее или,

напротив, меньше, незначительнее, что в данном случае одно и то же. Однако степень этого типического воздействия зависит в каждом отдельном случае от особых обстоятельств. Окажись житель Индии перед сверкающими айсбергами северных морей, то, как знать, увидит ли он в мечтах божества, которые словно сами собой возникают в его душе при виде Гималаев? Вероятно, ему было бы слишком холодно; озябнув, он стал бы безбожником. Я же, находясь в Индийском океане, тщетно пытаюсь оживить в себе настроение, которое так часто вызывали у меня Атлантический океан и Северное море. Гнетущая жара, неги и сладость никак не хотят становиться для меня элементами возвышенного; они слишком убаюкивают мои нервы. Как женщину, меня перед лицом великого искренне интересуют лишь мелочи; как, например, сегодня вид круто взлетающих рыб, перепархивающих от волны к волне.

Да, я северянин... В очередной раз Протей наткнулся на непреодолимую преграду — Индийский океан не может стать для него Северным морем. Как ни легко было переместить центр его психофизической среды, но переделать отдельные элементы этой среды оказывается гораздо труднее; для этого нужен медленный рост во времени. Ну, не похож ли я на арестанта, которому раз за разом не удаются побеги? Каждый раз я воображаю, будто выскочил из своей старой личности, но всякий раз дело кончается тем, что она меня снова берет в плен. Я вынужден признать, хочу я того или не хочу, что во мне есть определенные данности, неподвластные моим решениям; что я, будучи в основном свободным, как явление представляю собой только элемент в структуре мира.

Платье будто бы не имеет значения? Для существ, привыкших ходить одетыми, которые вдобавок держат в сознании отражение своего образа, одевание не менее важно, чем тело. Редкость и такой значительный человек (между тем как дураков много), который, найдя однажды свой внешний стиль, не заботился бы впоследствии о том, чтобы его поддерживать. Божий дар тщеславия имеет в себе много хорошего: тот, кто привел свой наряд в соответствие со своей натурой, не только удовлетворяет таким образом свою личную эстетическую потребность,

не только проявляет внимание к окружающим, выражая к ним уважение, но обретает свое собственное выразительное средство. Почему тонко чувствующий человек переодевается, собираясь на званый вечер? Потому что вместе с одеждой он меняет и внутренний облик. В этом же смысле лишь обретение внешнего стиля дает человеку внутреннюю свободу. Никто не свободен от тщеславия, чего и не требуется; всякий сам видит себя в зеркале. Поэтому человек чувствует себя гораздо раскованнее, когда его внешний вид соответствует внутренней сущности. Это вовсе не означает отрицания моды. Напротив! Обыкновенному человеку именно мода всегда даст наилучшие средства выражения, поскольку он не обладает выдающимися чертами незаурядного, а мода, как правило, превосходно схватывает общие контуры того или иного типа людей; то же относится и к значительной личности, чье величие заключается в законченности типа, как, например, к Кастильоне или Эдварду VII. С другой стороны, если бы художники с неправильной формой черепа не отращивали длинную гриву, они проявили бы отсутствие чувства стиля и тем самым утратили бы часть своей выразительности. Отчего я вдруг ударился в эти рассуждения? У нас на борту сегодня костюмированный бал, в котором мне, волей-неволей, придется принять участие.

Все-таки маскарадное переодевание очень поучительно. Речь не о комедианте, для которого видимость и сущность заведомо принадлежат к различным мирам, речь о тех, кто совсем лишены или почти лишены таланта к лицедейству. Здесь видимость и сущность поневоле сопоставляются для сравнения, что приводит к настоящим откровениям. Я не собираюсь утверждать, будто тот, кому больше всего идет наряд XVIII столетия, доказывает тем самым, что в нем живет дух этого века, однако маскарадный костюм (который ведь есть не что иное, как костюм, выбранный с определенной целью) и впрямь помогает выразить некие существенные черты, обыкновенно скрытые за другими. Таким образом, костюм может как усиливать их, так и ослаблять, результатом переодевания может стать даже самореализация. Чаще всего получается ослабление, поскольку в большинстве случаев людям более всего соответствует их естественное выра-

жение; тут маскарадный костюм открывает то, что есть этот человек, хотя и не в своей сущности, костюм сдвигает его сущностный центр. Усиление черт он вызывает у тех, кому их профессия, среда и подразумеваемые в ней свойства обеспечивают лишь частичную реализацию; такие люди в маскарадном костюме предстают в большей степени или в лучшем смысле самими собой, чем в своей «настоящей» жизни. Самый интересный случай представляет крайняя степень последнего варианта — тот случай, когда человек в жизни выступает совершенно не самим собой и лишь на маскараде заново рождается, чтобы зажить настоящей жизнью. Несомненно, что очень многие оказываются не в ладу со своим временем и своей профессией, да и вообще не в ладу с тем миром, в котором они родились; их действительная жизнь в метафизическом смысле — видимость. Такие люди под маской иногда обретают истинный вид. Вот передо мной два светских человека, наряженные апачами. Я почти готов поклясться, что в их случае не это игра, а их привычная жизнь представляет собой в глазах Бога лицедейство.

В связи с этим мне невольно приходит на память избранный в бессмертном романе Джеймса Мориера «Хаджи Баба из Исфахана» способность восточного человека перестраиваться по обстоятельствам: сегодня он великий визирь, завтра цирюльник, а послезавтра аскет, и в каждой роли чувствует себя совершенно как дома. Зыбкость общественного положения, характерная для Востока, приучает там человека не придавать слишком серьезное значение тому, какую форму оно принимает. От этого обстоятельства зависят и оценочные суждения: человека оценивают по тому, что он собой представляет, соответственно, внешнее поведение там играет такую важную роль, что западному человеку этого просто не понять. И как это может быть иначе? Там, где явление как таковое не принимается всерьез, видимость неизбежно должна гипостазироваться. Мы, представители Запада, инстинктивно принимаем свое положение в обществе как нечто Богом данное, вследствие чего мы, с одной стороны, гораздо меньше внимания уделяем внешним формам, чем это делается на Востоке, а с другой стороны, там, где это кажется нам необходимым, припи-

сываем форме метафизическую реальность. Рыцарь в любых условиях должен вести себя как рыцарь и т. д. Однако то, что мы принимаем как должное в Америке, доказывает, что на деле мы понимаем, что все обстоит не совсем так: мы не относим свои требования к заокеанским условиям. Оказывается, что за океаном и для рыцаря, которому не повезло в своей отчизне, позволительно зарабатывать на жизнь официантом; там здешний рыцарь, не поморщась, возьмет чаевые и вообще денежную благодарность за услуги.

Один ученый специалист, в силу профессиональной надобности разъезжающий по всем провинциям Индии и являющийся, судя по всему, выдающимся знатоком этой страны и ее обычаев, предлагает мне присоединиться к нему в путешествии: так, дескать, я гораздо глубже познакомлюсь с жизнью индийцев. Неожиданная прихоть фортуны невольно заставила меня улыбнуться: ведь воспользуюсь я нечаянно подвернувшейся удачей, и вся цель моего путешествия пошла бы прахом. Какое мне дело до реальных фактов? А если б и было дело, разве пустился бы я ради них в путешествие? Те, кто нужно, везде уже побывали, всякий, кто пожелает, может воспользоваться результатами их наблюдений; все, что я мог бы вынести из путешествия как очевидец, наверняка было бы менее ценно, чем то, что до меня сделали другие, более подготовленные люди. Делать самому то, что другие могут выполнить лучше, это ненужная трата сил и пустая трата времени. Одаренная молодежь часто провозглашает: человек должен уметь все! Однако всего он не умеет, и с этим ничего не поделаешь, но то, что он умеет делать по-настоящему, понесет ущерб, если он будет рассеивать свое внимание. Как ни странно, но из всех человеческих типов только политические деятели, меньше всех, казалось бы, склонные к метафизическим размышлениям, умеют проводить границу между своим и чужим умом родственного склада; только для них не имеет значения, кто проведет ту или иную практическую работу, лишь бы она была выполнена как следует. Зато философ, как правило, стесняется допустить самое малейшее сомнение во всеисилии своих умственных способностей и, вместо того чтобы на осно-

ве правильной самооценки добиваться наивысших достижений в своей области, занимаясь тем, к чему имеет все данные, предоставив проблемы, выходящие за рамки его главных интересов, тем, у кого ум лучше на них настроен, зачастую сам портит свою работу, изображая, будто он может все, как Господь Бог. Этот защитный жест тщеславия я еще понимаю в маленьком человеке; но философ — это организатор самого высокого толка; уж он-то мог бы себе позволить быть внутренне посвободнее. Да, впрочем, что тут говорить! Ведь я и сам, если и свободен, так недавно — со вчерашнего дня. Чего только не предпринимал я первое время, когда вылетел из гнезда! Годы делают человека мудрее. Сегодня я отдаю предпочтение чужим глазам перед своими, когда речь идет о точном наблюдении; в том случае, когда из-за впечатлительности наблюдателя может пострадать доказательность эксперимента, яставляю чужую, более крепкую нервную систему вместо своей; когда нужно сконструировать логическую цепочку, чтобы увязать уже известную предпосылку с еще только угадываемым следствием, я по возможности предоставляю это делать тоже кому-нибудь, кто лучше меня владеет логикой; а все интуитивные догадки, касающиеся специальных областей, отдаю, если они мало-мальски стоят внимания, для разработки специалистам. Сам же я ограничиваюсь тем, что вникаю в смысл вещей. Этому занятию не способствует, а только мешает большое скопление фактов. Основные звуки мира тот, кто вообще способен их уловить, может слышать уже из немногих аккордов; слишком много музыки только путает слух.

Необходимость ограничения в том, что касается объекта, теоретически, кажется, признается всеми. Однако, похоже, очень мало кто знает, что инструмент, т. е. Я, тоже нуждается в ограничениях, в особенности в отношении тех воздействий, которым он подвергается; поэтому нашему брату так легко прослыть чудаком, эгоистом и странным оригиналом. Меня, например, считают на корабле высокомерным человеком за то, что я, по мере возможности, избегаю общества остальных пассажиров. Истинная же причина состоит в том, что я могу заниматься своей специфической умственной работой только в условиях полной уединенности. Для того чтобы выполнить

ту задачу, для которой я существую на свете, моя нервная система должна быть чисто настроена, внимание ни на что не отвлекаться, на душе должно царить спокойствие; эти предпосылки зависят в свой черед от других предпосылок. Возможно, соблюдение таких мер предосторожности, в конце концов, неблагоприятно сказывается на человеческих качествах; но этот упрек не стоит принимать во внимание; человек умственного труда должен обладать достаточной самоотверженностью, чтобы не считаться с неблагоприятными для себя последствиями; переводя это в возвышенно мистическую формулировку, можно сказать так: если познание можно обрести только на греховной стезе, он должен положить на это свою душу; он должен без остатка посвятить себя своей задаче в том смысле, как хорошая мать целиком посвящает себя своему ребенку. К сожалению, это неправда, будто ко всем совершенствам ведет единый путь; для того чтобы завершить взятый на себя труд, требуются условия, отличные от условий личного существования. Когда приходится делать выбор между посредственной самореализацией в жизни и значительной в творческом труде, последней следует отдать предпочтение. Постижение глубоких истин, открытых и выраженных несовершенным человеком, может послужить ко благу всего человечества. Безудержное превознесение человеческого совершенства в общепризнанном смысле является доказательством не только примитивнейшего эгоизма, но и принципиального недоразумения. Разве кто-то живет буквально только ради себя самого? Кто может так жить? Никто. Между теми, кто живет ради личного совершенствования, ради своего труда или ради ребенка, перед Богом нет никакой разницы. Каждый живет ради чего-то сверхличного. Да и то, что, вероятно, остается после смерти, то самое Я, которое постулируется христианством, представляет собой не личность: это выношенный и рожденный ею плод.

Я подсчитал: среди пассажиров действительно набирается двадцать три национальности. Можно было бы предположить, что их состав должен производить впечатление крайней разнородности. Между тем дело обстоит как раз наоборот: все эти люди почти не отличаются

ся друг от друга, если, отвлекаясь от наружности и сокровенного душевного склада, учитывать только зримо проявляющиеся характерные черты.

Таков результат всего лишь двухнедельного общежития на не таком уж и тесном пространстве океанского парохода. Оставалось ли вообще какое-то различие между Ноем, львом и овцой к концу Всемирного потопа? Каждый как явление представляет собою лишь то, что может проявить, и его многость или малость, те или иные качества зависят от того, какие его черты схвачены восприятием окружающих; этим объясняется огромная сила среды. Так, например, парижская среда усиливает деятельность ума, если она ему мало-мальски конгениальна. Ты начинаешь понимать то, что тебе самому никогда бы не пришло в голову, а понимание рождает у тебя новые идеи; в Париже, где умственная жизнь образованных кругов течет стремительнее всего, это развитие происходит с такой быстротой, что движение мысли вообще не знает остановок и зачастую рывком взлетает от достигнутой точки на такую высоту, какой в другом месте никогда бы не достигла. Поэтому умы, воспитанные в столицах (таких как древние Афины, Флоренция, Александрия, Рим, Париж), всегда превосходят провинциалов. В точности так же в тесной пароходной толчее начинается такая всеобщая банализация, что под конец размываются даже различия между человеком и животным. В этом мирке в каждом проступают самые банальные черты (как раз те, которые человек, наделенный достоинством, из чувства такта старается игнорировать в себе и в других), а их отражение в окружающих лицах, неотступно преследующее человека повсюду, настолько врежется в его сознание, что он становится таким, каким его воспринимает его окружение. Среда океанского парохода представляет собой лучшую из известных мне карикатур на то, что называется «светом» — это мощнейшее средство низведения всех и вся до состояния полного убожества. Я вовсе не заклятый противник светской жизни; каждый, кто бы он ни был, должен поддерживать связь с окружающими людьми ради поддержания душевного здоровья, и, вероятно, самый лучший способ для этого — общение со светски воспитанными людьми. Правила приличия заставляют вас здесь уделять внима-

ние и тем, кого при других условиях вы просто бы не заметили, здесь царит золотая середина, т. е. общечеловеческое, проявляясь, однако, в приемлемой форме. Именно внутренне одинокий человек, философ как раз и должен бывать в свете, чтобы предотвратить пагубную деградацию. Но есть огромная разница между отдельными посещениями светского общества и тем, чтобы в нем раствориться. Последнее любого без исключения низводит до скудоумия. Любого, кроме тех, кто принадлежит к тому типу, который я бы назвал репрезентативно-показным. Есть такие люди, прежде всего среди женщин, которые самым бессмысленным образом растрачивают свою жизнь, но при этом ничего не утрачивают в себе, а, напротив, что-то приобретают. Своего совершенного воплощения этот тип достиг в XVIII веке. Можно ли вообразить себе более пустопорожнее существование, чем образ жизни блестящих дам того времени? Настоящая любовь, серьезные интересы — все это было им неизвестно, вся жизнь уходила у них на празднословие и жеманство. А между тем многие из них обладали глубокой натурой, и этот способ существования не мешал душевной глубине, а служил ему средством выражения: глубина одухотворяла их острый ум, помогала возводить самую жизнь в искусство. Этим объясняется, что фривольность этого века порой вызывает впечатление важности и глубины, которая поражает своей неожиданностью и навеивает грезы...

Среда... Коли уж я о ней заговорил, то хочу изложить одну мысль, которая при всей ее странности, не перестает меня посещать. В зависимости от окружения, в котором ты находишься, в тебе начинают преобладать то одни, то другие черты. Нельзя ли это с тем же правом отнести и к внутренней среде, к тому, что люди обычно идентифицируют со своим Я? В различиях между характером ребенка, взрослого человека и старика я усматриваю отражение влияния, которое оказывает среда. Ребенок с сильным самосознанием предвосхищает мудрость старца, а внутренне свободный старик может оставаться молодым до самого смертного часа; я объясняю это иногда тем, что в зависимости от физического состояния в человеке проявляются различные свойства. Нервы старого человека не могут реагировать по-детски и наобо-

рот. То же самое, с метафизической точки зрения, относится, по-видимому, и к различиям между мужчиной и женщиной. Законы наследственности заставляют предполагать, что в каждом индивиде латентно заложены все свойства его прародителей; а какие из них проявятся, зависит уже от соответствующих условий. Когда такой индивид, являющийся носителем всей совокупности наследственных факторов, появляется на свет женщиной, мужские черты в нем не могут проявиться, и наоборот. Из этого видно, сколь глупо требовать от мужчины женских добродетелей, а женщину упрекать за недостаток мужественных черт. Возможно, одна и та же сущность, которая в мужском воплощении дала такого индивида, как Чезаре Борджиа, выразившись в женском воплощении, дала бы сестру милосердия... Отчего бы не порассуждать еще и о других возможностях? В этой влажной жаре ослабевают все то, что тебя обычно сдерживало; я становлюсь очень равнодушен к критике познания; меня одолевает охота раствориться в расплывчатом царстве возможного. Допустим, что существует такая вещь, как Царствие Небесное, некая райская жизнь после смерти. Эта форма существования, единодушно изображаемая в мифологиях всех народов, представляется совершенно немыслимой, если предположить, что люди после смерти остаются такими же, какими были при жизни. Но нельзя ли предположить, что под «раем» подразумевается такая внутренняя среда, в которой все дурное, пагубное не получает своего выражения подобно тому, как женские задатки не получают развития в мужском организме? Против этого *a priori*¹ ничего нельзя возразить. Единственно, что тогда райская жизнь не может означать окончательной стадии... И снова пароход проходит через стадо ярко-розовых медуз, чьи зонтики беспорядочно заплескались на взбаламученной поверхности воды. А что, если бы мое Я должно было бы выразиться посредством медузообразного тела? В таком случае отпала бы большая часть того, что составляет человеческую душу; проявилась бы только небольшая часть моей сущности. Однако это, вероятно, была бы та ее часть, которая не получает выражения в человеческом теле.

¹ Независимо от опыта, наперед (лат.).

II. ЦЕЙЛОН

Коломбо

Что творится со мной на зеленом острове Ланка? — Я ощущаю, как с каждым часом меняюсь. Я чувствую: в этом тепличном воздухе нет проку работать, желать, стремиться; лишь то, что совершается само собой, удаётся успешно. И даже трудно вообразить, как много всего совершается само собой. В сущности, все, что происходит со мной, совершается помимо меня. Неудержимо тает моя воля. Я превращаюсь в кроткое, нежное, наслаждающееся существо, лишенное честолюбия и творческих стремлений.

Вся жизнь моя сводится к вегетированию. Впрочем, это понятие обретает предметность только в соотнесении с тропической флорой, растительность северных широт не дает о нем представления. Там вегетирование подразумевает минимум жизни, едва отвечающий потребностям существования; здесь же оно означает максимум; эти растения, за одну ночь вытягивающиеся до небес, сравнялись по жизненной силе с богами. И на Цейлоне вегетирование означает существование, протекающее без усилий, но дело в том, что усилия тут и не требуются; все получается и без всяких усилий. Вегетирование становится всеобщей формой жизни, включая жизнь духовную. Дух разрастается так же буйно, как и тропические растения. Я уже ощущаю это на себе: мир представлений обитателя тропиков можно постичь только посредством ботаники. Его образы распускаются, как цветы: эти пышные, богатые заросли возникли, не ведая заботы садовника, и отсюда их безответственность. Так, очевидно, можно истолковать историческое развитие ин-

дийской мифологии. Суровое учение северо-западных мудрецов не могло долго продержаться в южных краях; очень скоро простота разрослась в бесцельное изобилие. Плодородная почва неудержимо прорастала тысячами божеств. Несметное богатство индуистского пантеона, очевидно, можно истолковать только как вегетативный процесс.

Никто не идентифицирует себя с само собой разумеющимся явлением; никто не помещает свое Я в обмен веществ, в систему кровообращения. Но только в то, что как-то определяется нами, ощущается нами как часть нашего Я. Так, ни один серьезно мыслящий представитель Запада не считает частью себя окружающий его материальный мир, для него сюда входит психический мир, сфера мышления и представлений. На этой естественной связи основаны те типично западные философии, в которых бытие идентифицируется с мышлением, волей или деятельностью. В тропиках (я это уже ощущаю) никому и в голову не придет относиться к психическим феноменам иначе, нежели к физическим; здесь невозможно помыслить о том, чтобы придавать им серьезное метафизическое значение. Все, что происходит со мной, прорастает во мне так, как в природе прорастают растения. Не я мыслю, а мне мыслится, не я хочу, а мне хочется. На самом деле так происходит повсюду. Только на Цейлоне, где природа делает все для того чтобы человек не заблуждался относительно себя, решительно забирая в свое ведение все, что ей принадлежит, эта истина доходит до сознания каждого. Для самого обыкновенного смуглокожего человека учение Будды должно быть понятно без лишних объяснений. А самый образованный европеец постигает его истинность лишь в виде исключения. Поскольку европеец сознает себя действующим там, где цейлонец убеждается в своем бездействии, он неизбежно склоняется к тому, чтобы включить часть природы в состав своего Я.

Доктрина майи, учение об иллюзорности мира типична для тропиков в том же смысле, в каком для Севера типичен натурализм. На Севере, где человек неустанно вынужден вникать в жизнь природы, чтобы поддерживать протекающие в ней процессы, для него совершенно естественно относиться к ней со всей серьезностью; сле-

дуя этой склонности и систематизируя свои наблюдения, он приходит к такому мировоззрению, согласно которому человек полностью идентичен содержанию своих психических процессов. А там, где природные процессы представляют собой нечто само собой разумеющееся и уму вообще нет надобности о них беспокоиться, человеку так же естественно не принимать эти феномены всерьез. Более того: поскольку волевые импульсы столь незначительны, что желание не порождает мысли, то феномены реальности зачастую начинают восприниматься так, словно все конкретно происходящее обманчиво и иллюзорно. Такая картина мира, равно как и противоположный ей натурализм, означает не более чем *passage à la limite*¹, а следовательно, вполне соответствует человеческой натуре. Характерно, что обе полярные противоположности совпадают в одном: они занимают одинаковую позицию по отношению к абсолюту. Обе точки зрения решительно отвергают его существование. Натурализм, поскольку в нем сильно осознание процессов, протекающих в природе, заставляет считать излишним наличие чего-то потустороннего; буддизм делает это по мотивам противоположного толка. Все конкретно осознаваемое человеком принадлежит к природе. Там, где природа ощущается как нечто нереальное, сознание отворачивается от своего возможного содержания; оно все более и более опустошается, пока не остается одно лишь ничто. Так, для цейлонского буддиста за видимостью стоит Ничто; в его представлении ничего иного мир в себе не содержит. Такое представление трудно понять европейцу. С тех пор, как я попал на Цейлон, я тоже начинаю видеть его обоснованность.

Учение о майе сравнивали с европейскими философскими учениями, стоящими на точке зрения иллюзорности мира. Это сравнение неверно даже в самом поверхностном смысле. Все европейские сторонники иллюзорности, даже те, кого можно признать честными представителями этого направления, были сухими теоретиками, для которых логическая конструкция представлялась чем-то более основательным, нежели непосредственное переживание. Ни один западный человек искренне в

¹ Выход на крайний случай (фр.).

майю не верит. И все же среди нас есть мыслители, которые могли бы по праву объявить себя сторонниками буддийского мировоззрения. Человеку поздней культуры становится все трудней и трудней реализовать себя в той или иной форме. Его мысли, его чувства, его дела не имеют в отношении него никакого значения; они не суть его, и никогда им не станут. Это состояние сознания эквивалентно буддистскому. Однако следствия того и другого противоположны. Состояние буддиста — счастливое, так как его главная мечта — освободиться от определенного состояния. Состояние современного европейца — трагическое, так как его снедает желание осуществиться. Свою невозможность реализовать он ощущает как свое бессилие. Абсолютное отрицание бытия, идея спасения буддистского нигилиста, недоступна витальному европейцу. Таким образом, то обстоятельство, благодаря которому на Цейлоне утвердилось вера в учение Будды, у нас послужило причиной успеха, выпавшего на долю Фридриха Ницше. Ведь в учении Ницше о сверхчеловеке выражается не величие, а лишь потрясающая тоска по величию, равной которой, пожалуй, до него еще не встречалось.

Канди

Чарующие пейзажи то и дело разворачиваются перед восхищенным взором путешественника, который по спирали горной железной дороги удаляется от душного Коломбо, приближаясь к более прохладному Канди. Богатство флоры повсюду поражает изобилием, но каждый уровень отличается от другого, а когда перед глазами открывается широкая перспектива, ты видишь не одну природу, а сразу несколько разных, которые то резко сменяют, то плавно перетекают одна в другую через множество промежуточных нюансов, но всюду ты встречаешь совершенную красоту, которой отмечена совершенная целесообразность. И вот Канди! Это мирное озеро, обрамленное темно-зелеными горами, окруженное деревьями, которые цветут, как цветы среди тучных лугов, — это озеро с его размытыми, туманными красками, в водах которого солнечный свет отражается лишь как

эхо, лежит, словно лунный камень на темной бархатной подстилке. По приезде я был так восхищен, что тотчас же предпринял долгую прогулку. А воротившись усталый и растянувшись в удобном шезлонге на тенистом балконе, невольно подумал: «Ты в раю!» Здесь более чем оправдываются все, даже самые смелые ожидания; исполняются самые невыполнимые мечты. Сейчас, казалось бы, ты должен быть счастлив.

Счастлив ли я? Это звучит неблагодарностью, но нет, я не счастлив. Не счастлив именно потому, что все желания оказываются исполненными. Исполненность желания убивает мечту, а вместе с мечтой прекращается настоящая жизнь; я чувствую себя так, словно мне отрезаны все жизненные возможности. Никогда еще я не бывал в таком мире, где были бы так слабы побудительные силы. Сейчас, конечно, меня побуждает к жизни интерес, но его источник не окружающий мир, а его чуждая новизна, мои чувства и разум то и дело вступают в соприкосновение с чем-то новым. Конечно, я могу себе представить, что неумеренные натуры, подобные Гогену и Стивенсону, могли находить в нем постоянный побудительный интерес, ибо при неумеренности даже безмерное не приносит удовлетворения. Что же касается меня, то я убежден, что мое воображение здесь очень скоро бы утомилось. Там, где все дарит тебе исполнение желаний, для желаний скоро не остается почвы.

Мечта и ее исполнение! Не содержится ли в нормальном соотношении этих парных понятий все решение вопроса, почему умеренные, а не жаркие зоны стали ареной всех великих достижений духа? Там, где все уже есть, никто ничего не ищет, а никогда еще не находил недостижимое тот, кто не отправлялся на поиски; где все дано, там ничто не подстегивает волю, а из инертности никогда не рождались подвиги; когда все возможности уже осуществлены в действительности, не выживет никакой идеализм. Так, все оригинальные творения тропического пояса несут на себе на редкость неодухотворенный отпечаток. В тропическом климате фантазия, как и все остальное, ведет вегетирующее существование. Порой она распускается дивными цветами, то буйно-фантастическими, как народные мифы о богах, то душно-благоуханными, как лирика изысканных придворных

поэтов; порой случается ей взрастить и творения, стройные и крепкие в своих очертаниях, как пальмы. Но как бы ни были прекрасны эти творения, они всегда остаются в сфере природных явлений; они не одушевлены духовной глубиной, не явились на свет как возрожденные к новой жизни создания духа. Они служат «выражением духа» лишь в том смысле, в каком служит им цветок. Природа как таковая, при всем ее богатстве, не может дорасти до высот духа; этих высот достигает только человек, который напряжением сил поднимается над той сферой, которая его породила. Но обитателю тропиков недостает побудительной причины для усилий, ибо все возможное совершается здесь само собой. А для того, чтобы пожелать невозможного, у него недостает энергии.

Его сознание должно быть ужасающе бедным. Осознается только то, что не происходит само собой, а коли все происходит автоматически, что же тогда остается? Ему должна быть неведома даже любовь. То, что мы называем любовью, основано исключительно на воображении. Когда исполнению предшествует желание, действительности — представление, тогда и возникает это чудное явление, и оно будет тем прекраснее и нежнее, чем больше был разрыв между стремлением и исполнением. Поэтому-то на Севере, где дух любит уноситься в царство мечты, любовь чаще расцветала таким дивным цветом, какого не знает более реалистичный юг. Чем южнее расположена зона, в которой живет человек, тем сильнее в нем чувственно-животное начало, тем менее активна его фантазия. Путь от мечты к исполнению становится в конце концов слишком коротким, чтобы на нем успевали сформироваться психические образования. Непосредственное переживание не выходит за рамки желания; тот процесс поэтической кристаллизации, который на Севере порождает чувство любви, здесь не успевает начаться. В тропиках кажется естественным, чтобы люди, испытывающие эротическое влечение, обладали друг другом. Если индийские поэты описывают любовное томление, речь идет о разлученных супругах, которые лишены возможности наслаждения, здесь никогда не идет речь о стремлении к недостижимому, к неведомому. Наша тоска неведома тропикам.

Только одна тоска находит у них пищу, может жить и расти, пока не явит себя как сила, движущая миром: стремление вырваться из изобильности. На Севере тоже появлялись иногда мыслители, не приемлющие действительность, но ими двигало не стремление к освобождению, а неудовлетворенность предложенной данностью. Таким образом, их отрицание лишено было глубокой причины; в общем и целом оно никогда не становилось продуктивным. В тропиках же именно стремление вырваться за пределы мира оказалось творчески наиболее плодотворным; только оно выводило на поверхность самые глубины человеческой сущности, ибо только оно коренится в глубинной основе. Действительно, там, где нечего уже желать, изобилие так же стесняет, как в противном случае бедность; оно мешает развитию сил, ослабляет ощущение жизни, грозит задушить самосознание. У самых сильных там как раз самая большая враждебность к миру. Этим объясняется, что те учения, которые у нас производят впечатление наибольшей слабости, представляются проявлением чахлости, в тропиках дышат наибольшей силой, что «дух» здесь лишь тогда могуч в своей деятельности, когда он занят не созиданием действительности, а ее отрицанием. — В озере отражается лунный серп. В макушках пальм свиристят бесчисленные насекомые. Как я мечтаю о Нирване! О таком бытии, где не было бы всевластия тварной жизни, где природа не подавляла бы духа! О состоянии не-индивидуального, не-определенного бытия, в котором я был бы свободен от всего, что меня связывает: от радостей и горя, от богов и людей и от самого себя...

Я пытаюсь подметить взглядом, как растут растения; на Цейлоне это должно быть возможно. Эти заросли так и вскипают над землей, эти бамбуковые стволы так и тянутся в поднебесье. Все творение непрестанно течет: здесь эта истина видна и без Гераклита. Как отлично от нашего ведет себя здешний лес! В умеренных широтах «лес» — понятие собирательное, под которым подразумевается множество отдельных деревьев; здесь же лес выступает как нечто более конкретное по сравнению с деревьями, которые лишь с трудом можно абстрагировать из массы спутанной зелени. И процесс роста проис-

ходит с такой бешеной скоростью, с таким пышным изобилием и безудержностью, все формы так тесно переплетены, так незаметно переходят одна в другую, что его созерцание не дает основания сконструировать теорию бытия: напротив, здесь все находится в процессе становления, и помимо становления нет ничего другого. Созерцание любого момента становления доказывает истинность учения Будды о явлениях.

Феноменология Будды является точнейшей теорией вегетации, какая когда-либо была выдвинута. В той мере, в какой жизнь растения типична для всякой жизни вообще, все сказанное Буддой истинно и в отношении человека, а это уже значит немало. Все важнейшие проблемы так же полно поставлены и решены в растении, как и в наивысшем человеческом проявлении: проблемы свободы, бессмертия, его глубинной сущности. И все же подход к определению человека, исходя из растения, не совсем удачен: его сущность мы этим не слишком искажаем, однако не можем понять его как особое явление. Подчеркивая преимущественно его сходство с растением, мы не обращаем внимания на отличия. Занимаясь учением Будды, я часто спрашивал себя: не хотел ли он превратить человека в растение? На самом деле ведь он это сделал. Его учение настолько скроено по меркам того общего, что есть у всех форм жизни, что существа, которые ему следуют, неизбежно должны развиваться в сторону этого общего. Весь смысл пассивности буддистского человека объясняется тем, что он подобен растению.

С тех пор, как я попал в тропики, я больше не удивляюсь, что в основу своего учения о спасении Будда положил феноменологию растительной жизни: жизнь здесь — это вегетирование; как тело, так и дух вегетируют. И этим вегетированием настолько исчерпываются все возможности физического существования, что даже не встает вопроса о возможном высшем предназначении человека.

Сейчас мой организм настолько изменился под влиянием тропического мира, что я способен пребывать в состоянии буддийского сознания. Этот опыт для меня очень поучителен. Понять учение Будды в теоретическом плане нетрудно: по духу оно родственно всем эмпириче-

ским системам Запада. Психологии Тэна, Эрнста Маха, Уильяма Джеймса, воззрения Огюста Конта, Герберта Спенсера, Вильгельма Оствальда и даже Бергсона — каждая на свой лад на каком-то отрезке с той или иной степенью последовательности разделяют с учением Будды самое существенное. Вследствие этого все эмпиристы рассматривают происходящее в его актуальном течении; такая постановка вопроса предопределяет возможный результат; если не у всех эмпиристов одинаково все совпадает, это объясняется за счет разницы перспектив или таланта. Спенсер, и Оствальд, и Мах проповедовали бы то же самое, что и Бергсон, если бы обладали одинаковой остротой ума, ибо изначально имели в виду то же самое. Среди западных мыслителей наибольшее сходство с философией Будды имеет философия Эрнста Маха; у нее те же самые принципиальные достоинства и недостатки. Первые проистекают из точности наблюдений, вторые из того, что наблюдения недостаточно глубоки. Можно, конечно, усматривать в актуальном сгусток всего действительного и возможного; спустя шестьсот лет после Будды это удалось Ашвагхоше, основателю учению махаяны, в наши дни это повторил и Бергсон; это достижение в области философского познания с человеческой точки зрения представляется особенно ценным, поскольку картина, вырисовывающаяся при таком подходе, в наиболее полном и неискаженном виде отражает характер мира. Но Будде никогда не удавалось так глубоко постичь актуальность. Бытие и становление он никогда не видел в совокупности, замечая всегда только становление.

Можно вполне понять, когда абстрактный ум ученого довольствуется той картиной мира, которую представляет буддизм; в нем нет живого религиозного чувства, поэтому он согласен довольствоваться своим феноменологическим релятивизмом. Но когда к буддистским результатам приходит в своем познании человек, ощущающий живую связь с универсальным началом, он, как правило, склоняется к утверждению абсолюта. В какой-либо форме он верит в абсолют. Так было со всеми индийскими мудрецами, чьи феноменологические воззрения во всем существенном совпадают с воззрениями Будды; на Западе так произошло с Огюстом Контом, ко-

торый даже основал крайне эмоциональную религию, с Уильямом Джеймсом, верившим в субъективного Бога, с Гербертом Спенсером, чье «неисповедимое» с годами, по мере того как он старился, все больше превращалось в субстанцию. Будда же, напротив, основал религию, которая представляет собой не что иное, как феноменологический релятивизм. Он сделал то, чем кончил бы Мах, если бы стал проповедовать результаты своего анализа ощущений как Евангелие. В этом и заключается то, что западному наблюдателю кажется таким парадоксальным, то, что заставляло брахманских мудрецов с презрением смотреть на буддизм сверху вниз; это же вызывало недоумение и у меня. Но теперь я начинаю это понимать. При тех физиологических предпосылках, которые возникают у человека в тропиках, буддизм действительно приобретает значение Евангелия или, по крайней мере, способен его приобрести.

Мне достаточно проанализировать мое собственное сознание в его нынешнем состоянии. Потребность в деятельности у меня заметно снизилась; я не ощущаю в себе живой инициативы; вместо того чтобы действовать, я пассивно принимаю то, что со мной происходит. Тем самым мне дается в качестве правила та дистанция по отношению к самому себе, какая на Севере самому созерцательному человеку выпадает лишь в виде исключения; и одновременно с нею — та внутренняя тишина, которая представляет собой основное условие ясного самопознания. Как я записал еще в Коломбо, в тропиках не нужно делать дополнительных усилий, для того чтобы объективно воспринимать психические процессы. К этому добавляется еще и то, что эти вегетативные процессы (а протекая вне рамок Я-определенности, органические процессы совершаются в вегетативной форме) чрезвычайно интенсивны, гораздо интенсивнее, чем в северных широтах; душой и телом я ощущаю себя непрерывно растущим, непроизвольно дающим побеги, на которых образуются почки, распускающиеся в цветы, во мне происходит непрерывное развитие — рождение и умирание; у меня такое ощущение, словно я невольно проживаю бесконечные рождения и смерти. Двояким следствием этого становится то, что я, во-первых, с неслыханной отчетливостью ощущаю истинный характер происходящего про-

цесса — бесконечной череды рождений; а во-вторых, что я не в состоянии заглянуть за пределы сансары. Я не могу обнаружить, есть ли в пределах или за пределами непостоянного нечто устойчивое; все бытие осознается как череда меняющихся форм. С одной стороны, я ощущаю, что я ей не идентичен, с другой стороны, сознание не-Я-процесса так сильно, что для самостоятельного Я-сознания просто не остается места. Когда же я, опираясь на этот опыт, прислушиваюсь к учению Будды, согласно которому не существует ничего, кроме безначального и бесконечного процесса со смешивающимися интерферирующими рядами причин и следствий, согласно которому все твердые формы обозначают лишь мимолетные пересечения путей становления, согласно которому вне этого становления не существует никакого Я, никакой самоупроченной души, никакой личности, то узнаю в нем выраженное с дивной ясностью понимания отражение собственного пережитого опыта. В учении этом нет для меня ничего удивительного: там, где нет живого ощущения своего Я, невозможно требовать, чтобы оно было устойчивым, где в основе жизненного опыта не лежит сознание бессмертия, не будешь мечтать о бессмертии. В тропиках учение о Не-Я в условиях той физиологической базы, на которой там основывается сознание, представляет собой то же самое, что в европейских условиях учение о Я и его бессмертии. Поэтому я теперь хорошо понимаю, почему слушатели Будды радостно приняли такое учение, признание которого у жителей Запада вызвало бы отчаяние: человек всегда испытывает радостное волнение, когда ему объясняют то, что он испытывает в жизни.

Понять это — значит покончить со всеми затруднениями, связанными с буддистской идеей Нирваны. Обитатель тропиков ощущает себя пленником того, что составляет Не-Я, пленником всемогущей природы, со всех сторон осаждающей его сознание. Покуда он сливается с этим процессом, он не задается никакими вопросами, точно так же, как какого-нибудь жизнерадостного юношу средневековой Европы не волновал вопрос о Царствии Небесном. Но вот в один прекрасный день почти неизбежно наступает момент, когда он чувствует, что прежнее существование его уже тяготит, и в нем пробу-

ждается предчувствие чего-то высшего, а представить себе это высшее жителя тропиков может только как освобождение из-под ига природных процессов. Согласовать с ним свой идеал, представив себе его осуществление в виде небесной жизни, он не может, поскольку всякое представление о жизни неизбежно отражало бы ту жизнь, которой он уже тяготится; таким образом, его идеал неизбежно представляется в виде прекращения бытия. Что, в сущности, понимает он под Нирваной? Что значит для него это понятие? Сознание Я, противопоставленного текущей природе, у него отсутствует; поэтому он не может утверждать, что стремится к высшему позитивному состоянию. Однако он также не может утверждать, что стремится раствориться в Ничто, ибо своим желанием вырваться из природных процессов он уже признал, что не чувствует своей полной слитности с нею. Он очень отчетливо ощущает, что хочет вырваться из круговорота становления и смерти, и это отчетливо ощущаемое стремление замешено на каких-то ожиданиях чего-то позитивно лучшего. На Цейлоне я тоже ощущаю это чувство. И при всех попытках выразить его точнее я убеждаюсь, что мне это удастся не лучше, чем буддийским мудрецам. Недаром Будда не сказал ничего определенного о Нирване и осудил все попытки дать ей определение как еретические, потому что для этого есть все основания, коренящиеся в самой философии. Единственное, что я могу об этом сказать: стремление к Нирване означает стремление освободиться от уз природы, то общечеловеческое стремление к освобождению, которое в конечном счете лежит в основе всех эсхатологических представлений. Человек, которому свойственно сильное Я-сознание, будет связывать это освобождение с позитивными представлениями: он нарисует в своем воображении картины вечной жизни, а при более изощренном мышлении, каким, например, обладали брахманы, будет представлять себе это как некое состояние за гранью индивидуального, в котором он, освободившись от своей личности, еще больше станет самим собой. Но как же быть тому, у кого нет Я-сознания? В нем то же самое стремление к освобождению получит свое выражение в совершенно иных формах. Его мечта — это избавление от уз природы в целом; к этому он стремится сильнее

всего. Там, где мощное сознание природы подавляет все остальное, а Я-сознание почти отсутствует, чувство самости не может вылиться в позитивные формы. Стремление вырваться из рамок — вот метафизическое переживание буддиста; это предел его метафизического опыта — что будет дальше, он не спрашивает. А если кто-то начнет задавать ему такие вопросы, то докажет тем самым только, что не понимает буддиста.

Сегодня будет уже третий день, как я провожу время почти исключительно в атмосфере буддистской церкви. Я присутствовал на многих богослужениях, много беседовал со священнослужителями и монахами и не один час провел в прохладной, уютной соборной библиотеке в украшенном куполом здании за чтением написанных на языке пали текстов под доносящееся снизу бормотание молитв и смягченные расстоянием, пронзительные коло-ратуры кларнета, сопровождаемые барабанным боем, которые призывают на службу верующих. И снова я убеждаюсь: знакомство с духовным содержанием какого-либо учения еще не делает тебя его знатоком; конкретность всегда таит в себе разные неожиданности. Независимо от того, является ли церковь представительницей «чистого» учения или нет, все равно она всегда остается живым выражением его духа. Даже там, где церковь заведомо искажает учение, его дух все же проступает в ней отчетливее, чем в самых неискаженных письменных источниках, подобно тому как в калеке жизнь все же выражена лучше, чем в самой лучшей теории этой жизни.

Должен сказать, что буддийский священник поразил меня своим высочайшим уровнем. Не в духовном, а в человеческом отношении. Этот тип священника стоит выше христианского. Ему свойственна такая кротость, такое всепонимание, благожелательность, такая способность стать выше мирских вещей, какие даже на взгляд самого предвзятого человека не типичны для христианского священника. Несомненно, причина кроется в той отрешенной беспристрастности, которая воспитывается буддизмом в его последователях. Жить не для себя, а для других в идеале выглядит, наверное, красивее; но такова уж человеческая природа, что активная любовь к ближнему делает его не шире, а уже; только в исключитель-

ных случаях она не перерождается в навязчивость и деспотичность. Как бестактны те, кто стремится улучшить человеческую природу! Как ограниченны миссионеры! Сколь бы великодушен ни был человек от природы, сколь универсальна ни была бы исповедуемая им вера, но желание обращать в нее других ведет к узколобости, ибо в психическом плане означает всегда только одно: навязывание другому человеку своей точки зрения. Кто этим занимается, тот *facte ipso* ограничен, а кто занимается этим постоянно, тем более профессионально, с каждым днем становится все ограниченнее. Поэтому-то узколобость, агрессивность, деспотичность и тупое непонимание принадлежат к числу типических черт христианского и в особенности протестантского священника. Религия же, которая подобно буддизму единственной целью существования признает заботу о собственном спасении, не может вызывать такие явления. Казалось бы, она и впрямь должна вызывать вместо этого жесточайший эгоизм, но в буддизме такого не происходит по двум причинам: во-первых, потому что спасение понимается в буддизме не как личное блаженство, а как освобождение от уз индивидуальности, а следовательно, эгоистические желания оказываются ошибочными. А во-вторых, потому что доброжелательство и сострадание считаются у буддистов добродетелями, упражнение в которых более всего способствует освобождению от своей личности и приближает его наступление. Из сочетания идеалов бесстрастности и любви к ближнему рождается тот настрой, который в основном и обуславливает превосходство буддизма: специфически буддийская любовь к ближнему. Любовь к ближнему в христианском понимании означает желание творить добро, в буддийском — принимать каждого таким, каков он есть на своей ступени. Причем принимать его не в смысле безразличного отношения к его нынешнему состоянию, а в смысле сердечного признания того, что в нем есть положительного. В общеиндийском понимании каждый человек стоит точно на той ступени, где ему положено быть, на той, где он заслуженно оказался; так что каждая стадия оказывается внутренне оправданной. Желательно, конечно, было бы, чтобы каждый поднялся на верхнюю ступень, но туда нельзя попасть одним скачком, а только постепенно

преодолевая каждую ступеньку, и для каждой ступени существует свой особый идеал. Таким образом, если христианство, пока в нем господствовали аскетические идеалы, пренебрежительно смотрело на мирскую жизнь и, будь это в его власти, с удовольствием засадило бы в монастырь все человечество, буддизм, который в принципе еще враждебнее относится ко всему мирскому, тем не менее отнюдь не склонен был ради высшего идеала осуждать все низменное. Всякое состояние является необходимым и потому представляет собой благо. Цветок не отрицает листа, а лист не отрицает ни стебля, ни корня. Любовь к человеку совсем не требует насильственно превращать все листья в цветы, а требует благожелательно принимать листья как данность и относиться к ним с любовью и пониманием. Это удивительно высокое милосердие отражается на лице всех, в остальном ничем не примечательных, буддийских священников. Отныне я уже не удивляюсь тому почтению, которым пользуется в народе буддийский священнослужитель. На первый взгляд это производит парадоксальное впечатление, когда ты видишь, что равнодушный священник пользуется большим уважением, нежели тот, который неустанно трудится на благо своих ближних. На деле же так обстоит везде: человек не желает над собой опеки; тому, кто старательно убеждает других, гораздо труднее достигнуть успеха, чем тому, кто, не ставя перед собой такой цели, без всякой задней мысли просто поступает так, как считает для себя правильным. Чистая жизнь, которую бескорыстно ведет бхикшу, не преследуя при этом никакой скрытой цели, это в буддийских условиях — самое высшее, что только может совершить человек в земной жизни. Поэтому тот, кто служит монахам, одновременно служит своему идеалу.

В атмосфере этой церкви я чувствую себя необыкновенно хорошо, никогда еще мне не доводилось быть в условиях такого покоя. И в то же время я сейчас яснее, чем когда-либо, понимаю, что буддизм — это религия, невозможная для европейца. Для того чтобы она так действовала, была такой формирующей, позитивной, какой показала себя среди сингалезов, нужен другой психический материал, очень отличный от того, какой представляем собою мы. У нас, людей исключительно положи-

тельно относящихся к феномену, неспособных к покою, вся энергия которых носит кинетический характер, жизнь ради собственного благополучия немедленно выродилась бы в жесточайший эгоизм, всеобщее сострадание и благожелательность — в пошлую деятельность по защите животных, а стремление к Нирване породило бы все злоупотребления, которые неизбежно влекут за собой неискренность и самообман.

Несомненно, что только обитателям тропиков подходит южный буддизм; этого никогда не следует упускать из виду. Но однажды согласившись с этой предпосылкой и поняв, что для буддизма нужна почва в виде кроткой, пассивной натуры, остается только восхищаться той формирующей силой, которую он проявил. Трудно представить себе, до какой степени он облагородил народную массу. Я еще не успел побывать в Индии, но если верить сведениям, брахманизм никогда не оказывал такого благотворного воздействия на низшие слои общества; впрочем, он никогда и не признавал их полноценного равенства с высшими. Великим социально-политическим достижением Будды было то, что он сломал стену между эзотерической и экзотерической мудростью и подобно Христу принес всеобщую Благую Весть. Характер его Евангелия, как уже было отмечено, соответствовал очень определенным условиям; и все легенды единогласно говорят о том, что в учении хинаяны, которое исповедует южная церковь, Будда изложил не все свои знания, а лишь те, которые полезны для неразвитого человечества; учение это действительно производит довольно-таки упрощенное впечатление, образованным умам оно не слишком по вкусу. Но как мудро оно отвечает потребностям народной души! В этом отношении оно оставляет далеко позади как брахманизм, так и христианство. Брахманизм, хотя тоже выработал особое учение *ad usum populi*¹, однако в нем отсутствует лучшая и глубочайшая часть; брахманы высокомерно успокоились на том, что плебс все равно не сумеет оценить ее по достоинству. Благая Весть Христа, хотя и обращена к любому, но адресована ко всем вместе без разбора с точки зре-

¹ Для общественного употребления (лат.).

ния абсолютного идеала, не учитывая при этом действительность. И как много ни сделал средневековый католицизм, для того чтобы исправить изначальный изъян, упразднить его он не смог. Подобно брахманизму, он делал различие между высшей и низшей истиной, и как там, так и тут это было к ущербу для широких масс. В протестантстве же, этой последней попытке придать учению о спасении практическую эффективность, христианство отчасти уже изжило свою былую формирующую силу (лютеранство), отчасти регрессировало к ветхозаветным религиозным формам (кальвинизм). Неправда, будто бы дух Иисуса Христа изнутри овладел широкими массами тех народов, которые приняли это вероисповедание; повсеместно он проникал внутрь извне, и в большинстве случаев дело так и не шло далее внешнего формирования. Какое резкое противоречие можно видеть между вероучением, которое исповедует средний христианин, и тем, как он живет! У буддийских масс этого не наблюдается. Будда сформулировал свое учение так мастерски, что оно действительно внутренне овладело душами его последователей. При помощи простых, всем понятных положений и предписаний он внедрил глубочайшую истину в душу простого человека: внедрил так глубоко, что никакие суеверия и практические отклонения никогда не могли существенным образом вытеснить буддийские убеждения. До известной, причем удивительно высокой, степени буддийские добродетели являются добродетелями большинства буддистов.

Из чего же проистекает это достоинство буддийского учения? На чем основана его способность облекать глубокое познание в такую уникально действенную форму? — Гениальное несводимо к каким-то причинам. Однако мне все-таки кажется, что один момент общего характера имел тут большое значение: то, что Будда происходил из царской династии.

Талант, дух, разум, метафизическое глубокомыслие, религиозная интуиция никак не зависят от благородного происхождения, и оно не способствует этим качествам. Напротив: человек знатного происхождения редко обладает той односторонностью, которая способствует исключительному развитию какого-то отдельного таланта.

Но, по сравнению с плебеем, аристократ всегда обладает преимуществом широкого взгляда, чувством царственного превосходства. Только он от самого рождения стоит выше различных партий, только он свободен от завистливых чувств, только он относится к человеческим слабостям объективно, хотя бы потому, что благодаря своему положению субъективно от них не страдает. Таким образом, в том, что касается широкого взгляда на человечество, который позволяет правильно разглядеть потребности последнего, он имеет преимущество даже перед самыми одаренными людьми из народа. И все учение Будды носит неизгладимый отпечаток этого царственного взгляда; он был типичный кшатрия. В философской глубине он уступал брахману, да и вообще, подобно большинству политиков и военных, не слишком уважал философию. Зато он, как никто другой в Индии, понимал и знал людей и, понимая их потребности и слабости, сумел придать своим заповедям такую форму, которая оказалась оптимальной не только в религиозном, но также и в политико-социальном отношении. И вот тут-то, в этом пункте, проявляется решающее превосходство буддизма над христианством. Будда, царский сын, стоящий над партиями, дал миру учение, не отрицающее ничего сущего в частности (оно отрицает скопом все бренное), вследствие этого оно не вызывает никакой нетерпимости, а всех одинаково ведет к позитивно лучшему. Христианство возникло как религия пролетариев, оно изначально находилось в противоречии к высшим классам общества. Брать сторону неудачников, осуждать удачливых — это свойство отличает самую душу, если не дух, христианской религии, и потому всюду, куда бы она ни обратилась, она несет с собой семена раздора. То, что религия мира *par excellence* больше всех породила распрей, — это факт огромного значения: высокий духом его основатель в мирских делах не обладал царственной снисходительностью.

Какое очарование в буддийском богослужении! После захода солнца звонари сзывают общину на молитву. И вот кроткий смутный народ с длинными иссиня-черными волосами и чудно красивыми руками, среди которого мужчины и женщины почти неотличимы одни от других,

стекается в Далада Малигаву. Кто может, ставит в храме свечку, и все жертвуют душистые цветы. Перед святилищем с драгоценными статуями, где за золотыми дверьми хранится зуб Будды, ждет приветливый священник, с ободряющей улыбкой он принимает приношения своей паствы. Даже на Цейлоне, где по сей день учение Будды сохраняется в первоначальной чистоте, народ почитает Будду как Бога, а вокруг него толпится целый сонм мифических персонажей — ангелы, святые, индуистские божества, божества древнего тамильского пантеона. Но, о чудо: все эти наслоения и наросты никак не повредили учению Будды и не умалили его формирующей силы. И, насколько мне известно, церковь никогда не предпринимала никаких шагов, направленных против этого мифотворчества. Потому что здесь мир явлений не имеет почти никакого значения; учение о майе впитано этими людьми от рождения. Существующие представления никогда не принимаются вполне всерьез, да никого и не заботит логическая связность и противоречия. Всем известно: представления относятся к области вегетативной жизни духа, которая произрастает, развивается и цветет пышным цветом сама по себе, тогда как все существенное принадлежит к другим сферам. Учение Будды о спасении считается независимым от той или иной конфессии; ведь и сам Будда никогда не пытался отнять у своих последователей их веру в богов. Он только учил, что и боги, подобно всем явлениям, так же несущественны и преходящи.

Насколько же проще жителю тропиков, чем нашему брату, проявить религиозное глубокомыслие! Само собой подразумевается, что никакие представления не имеют необходимой связи с метафизической основой; само собой подразумевается, что прав буддизм. Однако человеку Запада его физиологическая организация мешает безусловно принять эту истину. Он слишком прочно сросся с явлением, чтобы судить о нем с должной отстраненностью. Этим объясняется чрезвычайная важность догматики для истории христианства. Для западной религиозности приверженность к тем или иным представлениям была жизненно важным вопросом. Различные наслоения или наросты, совершенно незначительные по сравнению с теми, которыми безо вся-

кого вреда для себя обростал буддизм, для христианства временами приобретали такое значение, которое пагубно воздействовало на самый его дух. Поэтому борьба за «истинное» учение, за «правильное представление о Спасителе» была здесь действительно необходима и стремление выразить отношения между Богом и миром в виде неких общепризнанных объективных понятий было нужно, потому что наш путь ведет к смыслу через явление, а потому всякое явление, не будучи непосредственным выражением содержания, увлекает наш ум с правильного пути туда, где недолго и заблудиться. Насколько же легче приходится жителям тропиков! Им не нужно подыскивать точно соответствующих выражений, для них хороша любая форма, а можно обойтись и вовсе без таковой, смотря по обстоятельствам. Поскольку хотя бы в силу простой физиологии они изначально сознают как нечто само собой разумеющееся то, что у нас представляется откровением, которое постигают лишь избранные.

Благодаря такому счастливому исходному обстоятельству даже те тенденции, которые у северян неизменно обнаруживали разрушительные свойства, у сингалезов принимают благодетельные формы: я имею в виду предрасположенность к фанатизму. Сегодня утром я предпринял прогулку к отдаленному, незаметному храму, почти что не посещаемому иноземцами, где обитает истинный религиозный фанатик — личность столь страстного темперамента, какого я даже не ожидал встретить среди этих кротких андрогинов. Сначала он недоверчиво и осторожно задал мне несколько элементарных вопросов, вроде тех, что Вотан задавал великану Миме или Гурнеманц Парсифалю, и я, подобно им, тоже поначалу растерялся с ответами; для того чтобы уличить противника в невежестве, нет лучшего приема, как спросить его о самых простых вещах, потому что в первый момент неподготовленный человек непременно начнет подозревать, что в этом простом кроется какой-то особенный смысл; в моем случае этот метод оправдал себя как нельзя лучше, поскольку в своем стремлении проникнуть в образ мыслей собеседника я совершенно забыл о собственной роли ответчика. Однако в конце концов, я все же сумел доказать, что не совсем невежествен в буддизме, и

тогда он открыл мне свое сердце. Да, он был фанатиком, человеком горячо озабоченным поиском истины, искажители буддизма вызывали его ярость. — Собирался ли он воевать с ними? — Нет. Да и зачем? Какой прок оттого, что эти люди начнут исповедовать новые представления? — Разве он не хотел бы непосредственно воздействовать на их души? — Пожалуй, хотел бы. Но что это даст? Для того чтобы понять поучение, нужно быть к нему подготовленным, а этого-то и не скажешь о заблудших современниках. Их души, очевидно, еще слишком молоды. По его убеждению, единственный путь к изгнанию заблуждений состоит в том, чтобы каждый познавший истину направил всю свою энергию на то, чтобы самому достичь совершенства. Остальным это послужило бы примером, и от такого примера было бы гораздо больше пользы, чем от всех усилий, направленных на обращение заблуждающихся. — Таким образом, фанатизм этого ревнителя веры выражался лишь в том, что он с усиленной интенсивностью трудился над собственным самосовершенствованием и с несколько меньшей благожелательностью предоставлял остальным людям поступать по-своему.

Для меня этот диспут с полуголым человеком в желтом монашеском одеянии был чрезвычайно поучителен. Мы беседовали с ним во дворе храма в тени дерева бодхи. Несколько монахинь в белых одеждах благоговейно внимали беседе, между тем как вокруг сгрудилась гадящая толпа смуглой детворы в пестрых набедренных повязках, которая с любопытством разглядывала нас блестящими глазами.

Я уже так привык к обществу добрых монахов, что буду по ним скучать. Удивительное ощущение покоя охватывает тебя, когда ты ежедневно наблюдаешь, как в один и тот же час они выполняют привычные дела: вот они отправляются с мисками для подаяния в город, чтобы собрать с усердных дарителей пищу для ежедневной трапезы, потом они совершают омовение, медитируют, дают ученикам наставления в писаниях и религии — каждое дело в свой урочный час. Кажется, и я уже, подобно сингалезам, начинаю воспринимать их как часть моего Я. Для сингалезов они служат воплощением их

идеалов, живым символом того, каким всякому человеку следует быть. Ничто не бывает так дорого человеку, как подобные символы, даже в том случае, когда, говоря словами Гёте, они служат тебе «вечным укором». У сингалезов же их бхикшу, оставаясь живыми символами и образцами для подражания, никогда не становятся зримым укором: мудрое учение Будды о жизни предотвратило возникновение чувства недовольства. Даже если человек ведет самую праведную жизнь, его истина не опровергает никакую другую; каждый прав на своей ступени. Как охотно человек служит идеалу столь сочувственному, столь великодушному! Тем более что для его достижения требуется так мало! Обыкновенно буддизм называют пессимистическим мировоззрением, и, если следовать букве, это так и есть. А поскольку буква, когда она без конца повторяется, позволяет судить об умонастроении писавшего, то нельзя исключать такой возможности, что сам Будда, хотя бы временами, испытывал пессимистические в нашем понимании настроения. Зачем бы иначе ему было все время говорить о страдании и даже поставить страдание во главу угла своего учения о спасении? Однако у сегодняшнего буддизма нет никакого пессимистического подтекста. Напротив, он озаряет жизнь отблеском тихой радости. Во-первых, Нирвана означает для обитателя тропиков то же, что для западного человека вечное блаженство; почти что все, что нам дает повод видеть в буддизме пессимистическую систему, делает ее в сознании ее приверженца радостной вестью. И это еще не все. Главное, на чем основано счастливое и тихое процветание буддизма на Цейлоне, это та легкость спасения, которую он обещает своим последователям. Как просты жизненные предписания буддизма! Как мало препон приходится преодолевать даже тем, кто пошел в монахи, чтобы стать на путь спасения! Здесь не требуется суровой жизни и не нужно делать сверхчеловеческих усилий. И у мужей в желтых одеждах мы видим не просто веселые лица, но и вполне по-житейски довольное выражение. Мне представляется, что учение Будды для обитателя тропических стран сравнимо по своему значению с тем, что дал северянам Лютер: возможность богоугодного существования в мире. Как Будда, так и Лютер

отвергли авторитет церкви и заявили о самостоянии человека; оба проповедовали учение, утверждающее равенство людей, согласно которому человек великого ума к Богу не ближе, чем простак; оба учения окружили ореолом святости обыденную человеческую жизнь. Несмотря на то что Будда и не отменил монашество, а напротив поднял его на небывалую высоту, монашество в Индии значит совсем не то, что у нас. Здесь оно не связано с каким-то исключительным, отличающимся от обычных норм образом жизни: организация монашеской жизни соответствует здесь таким условиям, в каких живет всякий человек, отошедший от дел. Если бы я подольше пожил на Цейлоне, у меня бы тоже в один прекрасный день появилось желание облачиться в желтую тогу.

Да, эти монахи — славные люди. Размышляя над их характером, я, правда, невольно прихожу к той мысли, что *aurea mediocritas*¹ получает в них свое идеальное воплощение; ничто в них не вызывает восхищения. В буддийском монашестве, вероятно, отчетливее, чем где бы то ни было, проступают недостатки слишком дешевого идеализма. Идеализация посредственности, действительно-таки, придает ей некую просветленность: посредственность обретает глубину. Лютеранское душевное переживание, буддийская терпимость представляют собой чрезвычайно положительные свойства, недостижимые без этой идеализации. Но в то же время она отрезает путь к высшему; она снижает, расслабляет, противодействует более высоким устремлениям. Так происходит всегда, когда всему человеческому роду предлагается один идеал для подражания, и этот идеал лежит не в сфере недостижимого, ибо только лишь в сфере недостижимого можно представить себе такую нивелирующую идею, которая не тянула бы человека книзу. В буддизме недостатки этого рода не так сильны, как в лютеранстве, поскольку высокий идеализм и без того не приживается в тропическом климате, однако и в нем они все же присутствуют. Вероятно, и среди сингалезов могли бы появляться более значительные типы, чем те, что мы у них видим, если бы бхикшу не воплощал у них высший идеал.

¹ Золотая середина (лат.).

Вообще различие между буддизмом и христианством на деле больше, чем можно было бы заключить, исходя из теоретического сопоставления принятых в них заповедей и правил, поскольку тут мы в обоих случаях наблюдаем важные совпадения. Главный нюанс, как мне кажется, хорошо уловил один китайский государственный деятель, который выразился об этом так: буддизм учит — не делай никому того, чего ты не хотел бы испытать в отношении себя самого, христианство же учит — поступай в отношении других так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Буддизм в первую очередь призывает нас от чего-то воздерживаться, христианство же настроено наступательно. И это так и есть. Буддийское человеколюбие отличается от христианского в первую очередь тем, что оно не является *amor militans*. По нашим понятиям — это чувство вялое и прохладное и при всей глубине понимания слишком рациональное, чтобы видеть в нем величие. Это верно, но разве может деятельная любовь представляться идеалом тому, кто не принимает всерьез индивидуальность с ее горестями и радостями? Мысль о незначительности индивида является для буддиста такой же основополагающей, как для христианина мысль о бесконечной ценности человеческой души. Общеиндийский идеал непривязанности исторически получил в буддизме наиболее полное воплощение.

Всякий истинный мудрец лично для себя, вероятно, выскажется за индийский идеал и будет прав. Тот, чье сознание бросило якорь за пределом потока явлений, никак не может пустить свои идеалы по воле волн этого потока. И независимость никогда не сделает его холодным и равнодушным, поскольку он уже так высоко поднялся по лестнице существ, что высшая радость для него — чистое дарение, и для доброжелательства ему уже не требуется зависимость. А то, что вся Индия уже исповедует идеал мудреца, вызвано тем, что ее мировоззрение измыслено мудрецом. Однако в брахманистской Индии идеал непривязанности является общепринятым лишь постольку, поскольку мудрец всеми признается высшим типом человека, и этот высший тип должен быть свободным от привязанностей. Ниже стоящим же, напротив, внушается, что они должны искать привязанностей, ибо только волнения, вызываемые чередованием радости и

страдания, могут принести им надежду на движение вперед. Буддизм возвел специфический идеал мудреца в ранг абсолютного и всеобщего идеала.

Сделал он это под влиянием своей теории анатмана: если не существует никакого Я, если за потоком сменяющихся состояний сознания не стоит никакая устойчивая субстанция, следовательно, нет смысла даже временно, как это делается в брахманизме, принимать и явление. Но тут-то с необычайной отчетливостью дает о себе знать то, что ошибочные исходные предпосылки неизбежно влекут за собой пагубные практические последствия, и это происходит даже там, где на них почти не обращают внимания, а их влияние сказывается в значительно ослабленной степени вследствие представлений иного порядка. По причинам основополагающего характера буддизм пренебрег всеми различиями между людьми: это привело к их нивелированию; и тут уже ничего не мог поправить идеал милосердия. Буддистское человечество выглядит по сравнению с христианским поразительно бесцветным и бесхарактерным. Дело в том, что идеал бесстрастия приглушает витальность всех, кто не относится к числу прирожденных мудрецов. Нормальный человек может совершенствоваться только при условии, что он всячески утверждает в себе все живое; он должен с головой погрузиться в эту жизнь. Если он преждевременно вознесется над нею, он погубит себя. Отсюда тот результат, что буддисты Цейлона, какими бы они ни были приятными, духовно развитыми, добрыми, а порой и мудрыми людьми, никогда не достигают человеческого совершенства.

В этом отношении христианству безусловно принадлежит превосходство перед буддизмом. Эта вера тоже нивелирует. Но если уж непременно у людей должен быть общий для всех идеал, то христианский идеал пристрастности более плодотворен. Христианская любовь отнюдь не превозносится над этим миром; она коренится, действует, совершенствуется в этом мире, она признает свою земную сущность и таким образом пробуждает все жизненные силы. Основные христианские заповеди о помощи ближнему, о труде во славу Божию и на благо этого мира поддерживают в человеке энергию. Отсюда проистекает необычайная эффективность

христианской веры в деле преобразования этого мира. Деятельное поведение не обязательно означает метафизическую истину, но в этом случае дело обстоит именно так: если уж феномену придается серьезное значение, то пристрастное сознание оказывается не только более практичным, но и более глубоким по сравнению со своей противоположностью. Тот, кто способен всерьез любить, обладает большей душевной глубиной, чем скептик. Ценность имеет только позитивное. Конечно, можно быть одновременно позитивным и независимым, но этого никак нельзя отнести к равнодушию, ибо оно негативно. Как раз то, что на высшей ступени существования оказывается свободой, на низшей проявляется в мужественномприятии зависимости, связанной со страданием, жертвенностью и утратами. Таким образом, средний христианин, мужественно приемлющий радости и горе, оказывается на правильном пути в отличие от буддиста.

Итак, короче говоря, южный буддизм означает идеальную религию посредственности. Он не содержит в себе ускорительных мотивов; он не способствует высокому идеализму, не пробуждает дремлющие потенции и не добавляет глубины. В одностороннем освещении буддизма высшая ступень существования представляется не более ценной, чем низшая. Всякая определенная жизнь — это зло, лишь в Нирване заключено спасение, и никакое возвышение человеческого существования не приближает к Нирване. Это мировоззрение придает великому человеку, каковым был сам Будда, необычайное превосходство: ничто не вызывает столь грандиозного впечатления, как презрение к жизни со стороны человека, который в глазах окружающих является воплощением высшей ценности; маленького человека оно не возвышает. Но в то же время оно его и не портит, чего не скажешь о той разновидности христианства, которая утверждает, что блаженны самые убогие, которая внушает им, что они-то выше, чем самые великие. Одушевленный царственным духом буддизм признает как данность любое состояние человека; царь для него остается царем, раб — рабом, как в глазах богов, так и в глазах людских. Но эмпирические различия для него не имеют транзитного значения.

В отличие от египетской традиции царь как царь для него не ближе к Богу, чем раб, так же как и раб — в отличие от того, что утверждает определенного рода христианское учение, — не имеет в его глазах преимущества благодаря своему убожеству. По отношению к конечной цели все состояния представляются равноценными. Таким образом, буддизм воспитывает в душе маленького человека то бесстрастие, то чувство превосходства, которое обыкновенно можно встретить лишь среди избранных судьбы. Не терпеливое страдание в уповании на вечную жизнь, как у христианина, не атараксию Эпиктета, не кинизм Диогена, в которых выражается не истинная свобода, а защищенность панцирем разума, а чувство превосходства, свойственное аристократам. Среди буддистов средней руки я уже не раз сталкивался с такими качествами, которые прежде полагал возможными только среди самых верхов общества; вот каким великим и гениальным психологом оказался сын царя шакьев. На днях я ради сравнения снова читал Фому Кемпийского, считающегося светилем христианской мысли; признаться, я почувствовал отвращение. Насколько же заметно отсутствие чувства независимости в его «Подражании»! Есть что-то отвратительно плебейское в этом пресмыкательстве перед Богом, в этой унижительной покорности, в этом постоянном страхе чем-то не угодить, в этом рьяном усердии ради снискания вечного блаженства. И это при том, что Фома Кемпийский несомненно был человеком благородной души. Его представления были искажены традицией, установившей такое нелепое отношение между Богом и миром, основанное на постулате, что убожество представляет собой ценность в метафизическом смысле. Независимым натурам среди христиан это суеверие, вероятно, никогда не наносило вреда, поскольку оно не оказывало непосредственно определяющего влияния на их поведение в жизни, играя по отношению к нему роль контрапункта, но для маленьких людей оно усугубляло их малость. Всякую природную независимость оно подавляло в зародыше, требуя, чтобы они не стремились подняться выше своего уровня, а вдобавок еще сеяло и взлелеивало в их душах своего рода метафизическое злорадство, духовное высокомерие, убежденность в своем праве на поддержку и благополучие, которые ныне в

отрыве от эсхатологических представлений и в сочетании с социально-экономическими представлениями приняли пребезобразные формы и зачастую заставляют меня сомневаться в будущем западной культуры.

Огромная разница все-таки имеет место в зависимости от того, кто проповедует духовные истины, принадлежит ли он в психологическом и философском смысле к «знающим» или «незнающим». Иисус был не менее вдохновенным, чем Будда. Его уровень сознания по глубине уступает лишь немногим мудрецам Индии, а его учение представляет собой по содержанию такое Евангелие, от которого никогда не отречется человечество. Однако познание не было его сильной стороной, он нигде не изложил свое знание в ясных понятиях, так что неудивительно, если его учение, основывающееся на букве его проповеди, воплотило в себе не столько ясные истины, сколько множество недоразумений. Что такое смирение, которому принадлежит решающее значение? Это не покорность, не униженное подчинение, а восприимчивость к глубинным влияниям. В каком смысле нужно любить ближнего более, чем самого себя, жертвовать своим Я? Не в том, будто бы жизнь других людей ценнее собственной, а в том, что высшее достижение заключается в том, чтобы подобно солнцу только давать, а не брать. В каком смысле малость следует предпочесть величию? Не в том, будто бы малость как таковая угоднее Богу, а в том, что у малости меньше повода приковать свое внимание к явлениям. И так далее. Истинного, т. е. объективно правильного, понимания христианского учения христианский мир в наше время едва ли достиг. Поэтому христианское учение принесло наряду с тем хорошим, которого в нем содержится много, немало и плохого. Его догмы сделали западное человечество низменно мыслящим. Мерзкий материализм нашего времени — внучок средневекового стремления к Царствию Небесному, а все более угрожающее засилье грубой черни, угнетение всех тонких и духовных элементов явилось следствием того, что на протяжении тысячи лет шло восхваление нищих духом, которые, дескать, блаженны. В конце концов они поверили, что только они одни могут быть ценимы, и теперь пожинают практические плоды своей веры. Религиозные вожди Индии знали, что значит их откровение,

и приложили все старания, чтобы избежать будущих недоразумений, понимая, как губительно они скажутся вследствие той парадоксальности, которая (с точки зрения мира) присуща всем духовным истинам. Поэтому-то средний буддист, каковы бы ни были его недостатки, в духовном плане выглядит благороднее, чем его западный собрат.

Пора мне снова обратиться к своему телу и посмотреть, что с ним стало в тропиках. Я замечаю в нем довольно существенные изменения. С ним произошло примерно то же, что и с моей душой: оно переменилось в буддийскую сторону. На внешние воздействия я реагирую иначе, чем прежде, наслаждаюсь и страдаю в другой форме, у меня теперь другие потребности, и эта продолжающаяся метаморфоза с каждым днем приближает меня к сингалезам. В случае болезни мне наверняка пришлось бы теперь принимать другие целебные средства, чем те, что я принимал дома; доморощенные цейлонские средства окажут на меня, по всей вероятности, более благотворное действие, чем изделия наших институтов тропических болезней. Однако речи нет о нарушении внутреннего равновесия. Таким образом, для меня уже не подлежит никакому сомнению, что способность к акклиматизации полностью зависит от возможностей воображения. Тот факт, что обитатели жарких стран легче приспосабливаются к условиям севера, чем северяне к южным, и что тропические животные обыкновенно хорошо переносят северный климат, в то время как северные недолго выдерживают жизнь в тропиках, объясняется (если отвлечься от специфических условий) тем, что более скудные условия всегда способствуют подъему витальности, тогда как изобилие может переносить только тот, кто привык к нему с рождения. Но кроме того, у животного меньше фантазии. Человек, обладающий ею в достаточной мере, по-видимому, способен существовать в условиях любого климата, и это действительно ему доступно. Единственное, что от него требуется, это приспособить свой образ жизни к соответствующим условиям, чтобы не нарушалось биологическое равновесие, а как этого добиться, тебе при наличии воображения всегда подскажет ин-

стинкт. Впрочем, человек без воображения в таком эксперименте погибает. Подобно животному, чья таковость получает свое выражение в единственно возможной для него форме существования, которое прекращается в непривычных условиях, неспособный к изменениям северянин также не выживает в тропиках. В этой связи особенно интересно наблюдать, как англичанин, при неизменной приверженности к британскому образу жизни (в сущности, самому нездоровому для тропиков, какое только можно себе представить), тем не менее выживает там довольно неплохо. Причина тому как раз в вышеизложенном и может служить еще одним доказательством того, что из всех европейцев британец обладает самым концентрированным воображением. Дело в том, что есть два вида стойкости: одна порождается бессилием, другая же — крайним напряжением сил. Последний вид хорошо известен по стойкам: мудреца ничто не может вывести из равновесия благодаря его законченной цельности. Очевидно, что в человеке, который без каких-либо физических изменений выдерживает жизнь в любых широтах, мы видим пример чего-то подобного. Благодаря многовековой физической культуре организм британца настолько образовал замкнутый в себе мир, что внешние воздействия, если и сказываются на нем вообще, то лишь очень замедленно. Поэтому для него действительно важнее соотноситься с собственными наклонностями, чем с требованиями климата. Эти природные свойства англичанина чрезвычайно удобны для практической жизни, хотя бы по той причине, что это свойство чрезвычайно упрощает жизненные проблемы. Однако тот, кто живет ради познания, должен благодарить создателя за то, что его фантазия еще не превратилась в центростремительную силу, вызывающую когезию, а находит свое выражение в изменчивости. Ведь и он, будучи пластичным, остается в гармонии с миром, причем сохраняет ее надежнее, поскольку нарушение равновесия не влечет для него серьезных последствий, которыми это оборачивается для того, кто принял застывшую форму. Но главное, подвижный человек способен воспринять содержательный смысл своего окружения, поскольку только он непосредственно с ним соприкасается и ощущает на себе его воздействие.

Вчера на закате я долго смотрел на птиц размером с нашего подорлика, которые целыми стаями вереницей тянулись в долину; и вдруг понял, что это не птицы, а летучие мыши; летучие собаки. Как же мало удивления вызывают у нас разные неожиданности в тропиках! Очевидно, душа наша здесь так же настроена на резкие контрасты, как и тело — на контраст между светом и тенью, так что самое поразительное воспринимается как нормальное. Удивило ли бы меня, если бы в джунглях передо мной вдруг возникло какое-нибудь божество? Пожалуй, что нет. Потому что и в божестве было бы не больше невероятного, чем во всех тех созданиях, которые ежедневно мелькают у меня перед глазами. В тропиках диапазон возможного так велик, что человек скоро отвыкает чему бы то ни было поражаться или ужасаться. Из всех контрастов, которые я здесь наблюдал, самый резкий, пожалуй, представляет соседство безмятежного лазурного моря, плещущегося у подножия поросшей пальмами горы Маунт-Лавиния, и одетых в устрашающую броню, злобных черных крабов, сотенные толпы которых бочком вышагивают по пляжу. Вряд ли найдется животное, которое лучше вписалось бы в картину ада; на берегу северного моря они бы, несомненно, пробудили в душе самые ужасающие картины. На Цейлоне же это зрелище меня только забавляло. Как я ни старался мысленно представить себе этих крабов увеличенными в сотни раз — а это, как правило, служит лучшим средством, чтобы вызвать ощущение потусторонней жути, — от этого они несколько не становились страшней. Кто знает! Может статься, и гигантские доисторические ящеры, которые, появившись в условиях нашей природы, вызвали бы страх и ужас, в своей естественной среде, вероятно, еще более контрастной, чем нынешние тропики, казались, может быть, очаровательными созданиями!

Завтра я поеду на экскурсию вглубь Цейлона. Последние дни я был занят исключительно наблюдением природы, чтобы не отправляться в джунгли совсем уж невежественным и неопытным новичком. Оказывается, разглядеть что-то в лучах тропического солнца очень трудно: чрезмерная освещенность настолько смазывает

все оттенки, что даже самые ярко окрашенные создания почти не выделяются на цветном фоне. Поэтому леса, окружающие озеро Канди кажутся самыми безжизненными из всех, какие мне приходилось встречать.

Сегодня, перевернув множество камней и поковырявшись в коре многих сгнивших стволов, я наконец-то поймал удачу, обнаружив одну из крупных тысяченожек, обитающих в тропиках. Это мерзопакостная тварь. Все в ее облике противно позитивным тенденциям человеческой природы; любое ее свойство, если приписать его или перенести на человека, превратило бы его в чудовище. Меня даже удивляет, что примитивные последователи буддизма, так мудро воспользовавшиеся пауком-птицеедом в обустройстве своего ада, прошли мимо этой твари. Да, сколопендра отвратительна; и все же мне бы никогда и в голову не пришло поставить под сомнение ее право на существование, как это случается у меня в отношении неудачных представителей рода человеческого: в своем роде она совершенна. Если принять условия, определяющие характер этого творения, то нельзя не признать также совершенство его исполнения.

Откуда мне известно, что тысяченожка совершенна? Определенных причин я не могу привести; но самый факт очевиден, он покажется очевидным для всякого, кто способен мысленно отождествить себя с другим существом. Вообще, что касается очевидности, присущей любому совершенству, то это очень странная вещь: в соответствующих рамках она сама бросается в глаза даже самому непонятливому человеку. Ничто не демонстрирует этого так наглядно, как пример англичанина. Сколько бы я ни встречал англичан, меня всякий раз поражает, что при всей скудости их природных задатков, ограниченности кругозора я всегда, подобно всем остальным, испытываю к ним невольное уважение. Даже к более или менее значительным представителям этой нации (самых выдающихся мы сейчас, как и всегда, оставим за рамками обобщающих выводов), которых в духовном плане трудно принимать всерьез; я воспринимаю их так же, как животных, которые, будучи наделены набором безошибочных инстинктов, идеально справляются с какой-то сферой действительности, во всех прочих же слепы и беспомощны. Они отличаются колоссальным отсут-

ствием оригинальности, притом что они искренни и неподдельны; но каждый думает, действует в точности, как все прочие, в душевной жизни ни у кого не встретишь каких-либо неожиданностей. Но так же, как животных, я безусловно принимаю британцев такими, как они есть: такие, как есть они представляют собой совершенное воплощение своих возможностей; в них во всей цельности представлено все, чем они могут быть. В этом состоит причина их убежденности, их превосходства над остальными европейскими народами (чего в наше время ни один разумный человек не будет оспаривать), заразного характера их самобытности: среди европейцев только они действительно совершенны, а перед совершенством каждый клонится. Куда как богаче немецкая натура, но она еще не обрела своей формы: по этой основательной причине немец нигде не получает безоговорочного признания. И лишь один-единственный тип немца, достигший совершенного выражения, доказывает, что и для него доступна возможность совершенства, — это тип австрийского аристократа. Возможно, в этом типе немного проку, возможно, у него, как это случается порой у коров, искусственный отбор, ориентированный на «форму», невыгодно сказался на «производительности», но тем не менее он по-своему совершенен. Поэтому он у всех невольно вызывает уважение, его любезно привечают, ему подражают, к нему относятся с почтением, и надменный бритт сам первый заискивает перед ним, стремясь завести знакомство.

Дембулл

Этот первый этап моей поездки вглубь Цейлона я не скоро забуду. Долгая езда через безмолвные джунгли; затем вверх по крутому, голому склону, на вершине которого находятся вырубленные в скале храмы. Вокруг, куда ни глянь, всюду сплошной лес; его крайние форпосты достигают макушками до преддверия дембулльских храмов, и серый купол гордо возвышается среди этой зелени. Но самое впечатляющее — это внутренность храмов: под мертвым камнем в нем поселилась, привнесенная человеческой рукой, удивительная поросль. Сотни разно-

цветных Будд мирно цветут там бок о бок друг с другом; а между ними, словно сорняки, проросшие сами собой на ухоженной клумбе, кое-где вдруг обнаруживается роскошный индуистский божок. Природу никогда не обманешь. Ничто, казалось бы, так не противоречит духу преодолевшего, как подобная божественная флора, перед которой в молитве склоняются верующие; сам Гаутама, наверное, велел бы ее уничтожить. И все же правы сингалезы, не усматривающие противоречия между суровой проповедью Будды и этим очаровательным садом. Распустившиеся цветы означают не что иное, как ничтожность существования; этот сад сам есть учение, выраженное на языке тропического пояса.

Лежащий Будда, грубо высеченный из скалы, кажется существующим сам по себе. Сиротливо возлежит он среди своих сидящих двойников и выглядит между ними одиноким, как скалистая вершина среди зелени. И все же он не отъединен от всех и не состоит из какой-то другой субстанции. Он только с виду отдельное существо. Вероятно, сам Гаутама так воспринимал свою личность: такой неповторимой, одинокой, могучей она должна была казаться его ученикам, сам же он знал, что только с виду так обособлен. Его сознание давно уже жило в тех глубинах, где вся множественность явлений слилась воедино и все различия сняты, завершив свое назначение... Бросив взгляд за ворота над вершинами деревьев, я увидел стаи обезьян, которые, выйдя на вечернюю кормежку, бесшумно лазили по лианам, как канатоходцы.

Через джунгли в Хабаране

Как ограничена способность восприятия культурного человека! Я уже не замечаю никаких различий между отдельными зонами джунглей, кроме самых заметных, резко бросающихся в глаза, грубых, и с завистью думаю о слоне, который в дикой, нехоженой местности так же уверенно находит свой путь, как мы на ровном шоссе, сверившись предварительно с путеводителем. У себя дома, в лесах Севера, где глаз охотника привык различать оттенки, я более или менее могу ориентироваться, а здесь

я с первых шагов чувствую себя заблудившимся. Я не сумел бы объяснить, почему такие-то птицы встречаются только в этом месте, тогда как рядом все выглядит точно так же; почему над какими-то точками, и только над ними, порхают в воздухе тысячи бабочек. Я просто-напросто слеп. В глазах счастливо одаренных созданий эти дебри устроены так же правильно, как в моих, например, Петербург. То же относится и к океану. Там, где самые восприимчивые из людей толкуют о величии однообразных пространств, на самом деле перед ними лежит стройное разнообразие, не более однообразное, чем девственный лес. Во время плавания через Индийский океан я замечал, что только в определенных местах из воды выскакивали стаи летающих рыб, совершенно пропадавшие за пределами какой-то границы; а там, в свой черед, сотни медуз окрашивали море в красноватый цвет, лишь местами в волнах играли дельфины: наверняка, эти ареалы совпадают с очертаниями определенных формаций. Но я так слеп, что не могу их разглядеть.

Да и много ли наш брат замечает? Лишь то, что отвечает человеческим потребностям. В городе, на дороге, в поле он может благодаря им заметить самое важное, правильно воспринимать даже целые страны, такие как Голландия и Япония, характер которых в основном определяется человеком. Но там, где между природой и человеком нет необходимой связи, все наши мерки отказываются нам служить; там все наши построения и системы с ее точки зрения — сущая чепуха. Как глупа, в сущности, предпринятая нами рубрикация звездного неба! Я даже горжусь собой, что до сегодняшнего дня, хоть и не раз заглядывался в звездные ночи на небеса, так и не обнаружил еще «Южного Креста». Правда, я нарочно не позволил мне его показать: если бы мне его указали, то сомнительные созвездия навсегда установились бы в моем сознании, как для того несчастного, которому однажды сказали, что какая-то вершина напоминает Наполеона, это стало для него вечным проклятием, потому что с тех пор он был обречен всегда видеть в этой горе только обозначенный образ: вот так человек при малейшей возможности рьяно навязывает нечеловеческим явлениям человеческие ассоциации. Однако же правда, которую никто у меня не отнимет, состоит в том, что сам я так и

не обнаружил «Южный Крест», а это доказывает, что мой ум по-прежнему еще не совсем утратил свою непосредственность.

На озере Миннери

Это озеро в девственном лесу стало бы для меня в детские и юношеские годы, когда моей единственной радостью было наблюдать за зверьем, ходить на охоту и приручать животных, воплощением земного рая. Часами напролет я крадучись ходил по его берегам и набредал на все новые и новые создания. На отмелях, словно сгнившие бревна, валялись крокодилы рядом со своими сторожами — голенастыми болотными птицами; Kuhreiher и выпи разгуливали между пасущимися буйволами; серые цапли и серебристые цапли стояли по краям островов и на макушках деревьев; на воде плавали стаи пеликанов, в небесах парили луни и орлы, среди которых один незнакомый мне вид (серебристо-белый с темными махровыми перьями) принадлежит к числу самых прекрасных хищных птиц. Но тон в этой картине задавали змеешейки, чьи стилизованные фигурки и геральдические позы накладывали на нее мифический отпечаток.

До чего же хорошо побыть в том мире, как он был явлен в конце пятого дня творения! Все здесь дышит еще изначальной силой, все первозданно, все неподдельно. Среди людей это относится в наше время только к детям да еще к величайшим из великих, редчайшим людям; в большинстве случаев явление здесь ничего не говорит о сущности. Животные всегда совершенны, они всегда то, чем могли бы быть; они суть полное выражение своей возможности. Тут можно возразить, что это их связывает. Разумеется связывает, но не отнимает их достоинств. Преимущество нашей большей по сравнению с ними свободы состоит не в том, что несвязанность является идеалом, а в том, что перед нами открыто больше возможностей совершенствования; совершенство и для человека представляет собой высшее, чего он может достигнуть, но совершенство предполагает связанность. Человека, который действует в соответствии с необходимостью, в соответствии со своим внутренним законом,

мы ставим выше того, чьи действия произвольны; выше всего мы ставим такую мысль, которая выражена законченно. То же относится и к культуре, и вообще ко всем явлениям жизни. Даже в отношении человека идеал лежит в области связанности, а не свободы от всякой зависимости. Итак, условия, отличающие нас от животного, заключаются не в идеале; этими условиями являются те элементы, посредством которых идеал может быть осуществлен. А если так, то я не знаю, каким образом связанность животного, которое в своей однозначности всегда совершенно, может служить доказательством его неинтересности: ведь именно поэтому животное и интересно, интереснее всех несовершенных людей. Человеком, который как личность стоял бы на той же ступени, что и такое создание природы, как птица змеешейка с озера Миннери, я бы восхищался как полубогом... Что касается интересных и поучительных мыслей, то в этом отношении я обязан животным гораздо большим, чем почти что всем людям, с которыми мне приходилось длительное время общаться. У людей все гораздо очевиднее, и среди них слишком редко встречаются такие экземпляры, понимание которых требует расширения существующих понятий, в то время как самое невзрачное животное для понимания его сущности непременно требует такого расширения. Если ты хочешь понять низшее морское животное, нужно ощутить характер его сознания, сравнимого, пожалуй, с сознанием желудка, поднявшегося на высокую ступень развития: при очень четкой реакции на определенные раздражители, при необычайном физико-химическом воображении в качестве высшего синтеза — всего лишь неопределенное общее ощущение; рак — не цельная единица, а дву- или триединство; его сознание не централизовано в нашем смысле. Если хочешь проникнуть в душу лисицы, нужно ухитриться представить себе обоняние в качестве главного чувства и, исходя из этого, соотнести с ним все восприятия, подобно тому как у человека все восприятия связаны со зрением; для птицы задача оборачивается уже иным образом и т. д. Этим, вероятно, объясняется, почему чуть ли не все выдающиеся мыслители человеческого обществу предпочитали природу: если первое ограничивает, то вторая освобождает; она помогает выйти за рамки че-

ловеческой сущности. Но тем самым она усиливает коренное сознание. Ведь корень у всего творения един. А от корня идет вся сила выросших из него высших инстинктов.

Как дивно прекрасен вечер! В озере отражаются последние лучи западного неба. Крики морских ласточек, многоголосое лягушечье кваканье доносятся снизу до моей скромной гостиницы, и величаво улетают в сторону леса пеликаны. Поблизости остановилось стадо диких слонов; я уже слышал, как они продирались сквозь чащу. Смуглокожий хозяин обещал разбудить меня, если они ночью покажутся из леса.

Еще раз я наведалься туда, где резвилось зверье. Из за-сады не раз наблюдал великолепных орлов, спутивал своим появлением легионы водоплавающих птиц. Но всякий раз, как я сворачивал с болота в джунгли, в древесных кронах подымалась суета, это удирали от меня длинно-хвостые обезьяны, большими скачками перелетая по воз-духу с ветки на ветку.

Просто чудо, сколько могут дать тебе такие часы исключительного созерцания! В умственном отношении картины реальности лежат в одной плоскости с творениями фантазии, так что между опытом и идеями не оказывается существенной разницы. Предаваясь всеми чувствами наблюдению, ты продуктивен. Тот, кто заметил бы все, повторил бы тем самым сотворение мира. Однако чтобы душа могла развиваться и расти, ей требуется разнообразная пища, и ни один мозг не обладает таким творческим потенциалом, чтобы в достаточном количестве обретать эту пищу в самом себе: поэтому никто не может позволить себе такой роскоши, как жить одними лишь своими идеями. Внешний опыт обязательно необходим еще и по той причине, что дух никогда не станет свободным, постоянно видя себя окруженным продуктами собственного творчества. Все, кто замыкаются в ко-коне собственного мира, хиреют, как бы обширны ни были эти миры; их духовная жизнь не обогащается, а беднеет; постепенно они все больше начинают коснеть в своеобразии своего Я. Это я понял на собственном опыте. За годы, проведенные в больших городах, я почти разучился созерцать, поскольку их суета не вызывает

моего интереса. Вследствие этого мои идеи начали кристаллизоваться, и мне грозило оказаться у них в плену, как в тюрьме. К двадцати семи годам я едва не задохнулся в сооруженной мною системе... К счастью, я успел вовремя заметить эту опасность. Теперь я принуждаю себя к наблюдению даже там, где не испытываю к этому особенного желания. Сейчас я культивирую жалкие остатки своей любознательности и благодарен за любое впечатление, которое прорывает сети моих умозрений.

Да, видеть надо уметь... Умею ли я это? В том духе и в той мере, в какой бы мне того хотелось, — нет. Неоднократно я принимался было описывать что-то из увиденных мною чудес и всякий раз вынужден был признавать, что неспособен на это. Значит, я их как следует не увидел. Вот уж неправда, будто бы восприимчивость обеспечивает способность передавать впечатления, — сила переживания и творческая способность принадлежат к разным измерениям, зато созерцание и идеи, как я уже писал, с точки зрения мышления, лежат в одной плоскости, поэтому человек по-настоящему воспринимает лишь то, что мог бы и сам придумать. Мне никогда не приходили в голову детали, поэтому и во внешнем окружении я не обращаю на них внимания. Мое воображение автоматически возводит частное к его внутренней основе, а с точки зрения основы оно видится не как нечто самодостаточное, а как его возможность. Правильность такого толкования моего восприятия экспериментально доказывается, с другой стороны, особенностью моей памяти. Еще много лет тому назад один мой остроумный товарищ сказал, что на Страшный Суд мне придется привести с собой секретаря: так скверно я запоминаю эпизоды. И действительно, я не в состоянии запоминать частности: не помню ни сюжетов, ни *faits divers*¹, зато, напротив, не способен забыть общей сути. Лишь в момент творческого напряжения у меня появляется память на подробности. Уж как я только ни сражался с этим недостатком! Снова и снова пытался я подружиться с частностью, мысленно полностью вжиться в отдельное существо, образ, отрезок времени; снова и снова нарочно старался подпасть под влияние умов такого склада, кото-

¹ Происшествий (фр.).

рые обладают тем, чего мне не хватало — все было напрасно. Пришлось мне смириться с тем, что желание вырваться за свои эмпирические пределы — ошибочно по своей сути; остается только постараться сделать то, что возможно, оставаясь в своих пределах, а уж там как получится.

Среди психологов и эстетиков до сих пор царит большая неясность в отношении различных видов восприятия. Живописцам часто приписывается глубина мысли, философам живописная наглядность. Такие суждения, как правило, неверны. Изображая явление во всей его полноте, как это делают великие живописцы и писатели, они тем самым выражают и его духовное содержание, однако душа может об этом ничего не подозревать. Тот же, кто, напротив, схватывает внутренний смысл, имплицитно воспринимает и все явление в целом, хотя фактически может его даже не замечать. Интересный пример этого рода мы видим у Льва Толстого. Я не знаю более глубокого изображения человеческой жизни, чем его эпос о великой войне с французами, но я знаю, что как личность Толстой совершенно не обладал философским взглядом. Как у большинства русских (и всех вообще молодых, недифференцированных народов), у Толстого отсутствовал дар интенсивного абстрагирования, способность обобщать частности, что является определяющим условием философского мышления. Зато он обладал соколиной зоркостью дикаря. Давая совершенное отображение увиденного, пускай и не понятого, явления, писатель неизбежно вызывает у читателя впечатление глубокого философского постижения, даже более глубокого, чем это было бы у лучшего мыслителя, если тот отразил его не так четко и беспристрастно.

Поллонарува

Никогда еще остатки бывшего великолепия не производили на меня такого сильного впечатления, как развалины резиденции царя Паракрамы. Не потому что они так совершенны в художественном отношении — они прекрасны, но я видел и более прекрасные. Впечатление было так сильно потому, что мне никогда еще не до-

водилось видеть строений, в которых бы так законченно выражалась красота руин, подчиняющаяся иным, не художественным законам. Очарование руин ведь не потому действует на нас сильнее хорошо сохранившихся произведений искусства, что они через образ прошлого вызывают в душе идею бренности; и не потому, что ветхость, подобно незавершенному произведению, привлекает именно этим своим качеством (она побуждает ум дополнить в воображении то, чего не хватает действительности): особенное очарование руин заключается в том, что здесь творения человеческого ума предстают перед нами возведенными в один ряд с космическими силами и вместо ограниченного фона человеческой личности или эпохи получают безграничный фон вечности. Храм, украшенный мрамором и золотом, может воплощать в себе вершину созидательных способностей человека, но когда время подточило его поверхность, когда его очертания несут на себе следы вечной работы природных сил, он становится неотъемлемой частью этого мира. Статуи Будды, во множестве хранящиеся в пещерных храмах Цейлона, в своем возвышенном облике воспевают душу буддийской общины. Однако колоссы Гал-Вихара, поверхность которых давно приняла характер окружающей среды, выражают больше того: это уже природные формы, такие как каньоны, за миллионы лет вырытые могучими реками, как долины, прорытые глетчерами, и творческая сила человеческого духа в них не умалется, а разрастается до гигантской мощи, равноправно становясь в один ряд с космическими силами, из которых рождались звезды. Руины же Поллонарувы выглядят в качестве руин величественнее всех виденных мною ранее, потому что природа Цейлона несравненно сильнее в своей созидательной мощи и сделала здесь все, на что только была способна. Колонны и обломки храмов, рассеянные далеко по джунглям, сами превратились в джунгли. Лианы заменили собой раскрошившийся строительный раствор, деревья заменили собой разрушенные купола. Гигантские дагобы, которые еще сохранились, послужили основой для новой природы. Ты видишь умершее прошлое, срастающееся с вечно юной жизнью, как скелет, покрывшийся цветущей плотью.

Невольно мои мысли уносятся в далекую Элладу. Греческая природа не выдерживает сравнения с тропической; в этом отношении тамошние руины далеко не так выразительны, как руины Шри-Ланки. В свое время греческие храмы как совершенные творения человека несомненно были величественнее, чем ныне, когда они стали частью природы. Но эллинский дух заранее предвосхищал то, чего не дано было доделать впоследствии природе. Каждое греческое святилище изначально задумывалось как часть природы, в них была учтена необходимая связь с окружающей средой. Поэтому то немногое, что достояло до нашего времени, настолько слилось с окружающим ландшафтом, что общее впечатление отличается от Поллонарувы лишь в том отношении, что руины предстают не как часть живой природы, а сливаются с неживыми горами и небом. Моей натуре больше отвечает живое, а не мертвое совершенство, поэтому девственный лес значит для меня больше, чем Акрополь. Однако нигде потенция греческого духа не открывалась для меня так ясно, как среди той природы, с которой целиком смог слиться божественный образ Гаутамы.

Анурадхапура

Какие великие люди были эти древние цари, воздвигшие гигантские памятники Цейлона! Здания эти — не монументальные памятники, прославляющие богатство; они дышат простотой сурового величия, почти неестественного среди окружающей тропической роскоши. Рядом со скальной крепостью Сигири, неприступным прибежищем отцеубийцы Касьяпы, европейские замки кажутся игрушечными; одно только здание купальни этого кондотьера может сравниться с усыпальницей египетских фараонов. Дагобы напоминают настоящие горы, и тем не менее характер их очертаний определяется величайшей «духовностью». Но главное чудо среди цейлонских чудес — это скала Михинтале, где проводил свои дни и где скончался сын царя Ашоки Махинда. Его келья — высеченная на вершине горы искусными мастерами узкая каменная терраса — самое царственное из всех виденных мною строений. Закрытая сверху навиг-

сающими грозными скалами, она крутым обрывом повернута к долине. Внизу же расстилаются бескрайние девственные леса, чье священное безмолвие лишь изредка нарушается трубными криками слонов. Только царь мог выбрать для своей обители такое орлиное гнездо. Даже от краткого пребывания в нем обретаешь духовную широту. Махинда невольно представляется моему воображению в типичной позе погруженного в размышления Будды, в виде гигантской фигуры, каким обычно изображали его древние; наверное так — безмятежно и кротко, он взирал сверху на кипящую жизнью долину, как тот, кто, обладая полнотой власти, отрекся от всего мирского.

Как точно легенда выбирает слова, сравнивая властителей со слонами и тиграми! Это именно то, чем они были. Оранжевый воздух этих краев, как правило, не порождает великих личностей, он неблагоприятен для их появления. Джунгли — это дебри, а не лес, и их фауна скорее богата и разнообразна в своей массе, нежели значительна в единичных проявлениях. Разумеется, там и сям виднеется дерево, чья крона, казалось бы, достигает до самого неба, но, приглядевшись внимательнее, ты замечаешь, что этот великан вовсе не одиночка: с ветвей свисают пущенные ими новые корни, и там, где нам мнилось отдельная особь, на деле обнаруживается родовое древо. Классическим примером может служить священное дерево Бодхи из Арунданапура, которое, как подтверждается документально, выросло из отростка, пожертвованного когда-то царем Ашокой из Буддх-Гаи; это древнейшее в истории растение предстает в виде тоненького молодого деревца; то, что живет и зеленеет сегодня, это потомки ветвей древнего дерева-пращура, когда-то пустившие в землю корни. На Цейлоне все растет с умопомрачительной быстротой; я видел годовалые побеги, которые выглядели как пятнадцатилетние европейские растения; деревья здесь растут как трава. Но с такой же скоростью они и отмирают; по-настоящему живет только молодежь, и это относится так же к животным и человеку. По своему типу они никогда не достигают взрослого возраста; они размножаются в пугающем количестве, с бешеной скоростью, и так же быстро одно поколение сменяется другим. Однако эта природа, не склонная, как правило, тратить время и силы на взращивание индиви-

дуальности, временами все же являет ее на свет. Это производит такое впечатление, как будто под колесо изменений подложили тормозной башмак. Благодаря приливу остановленной энергии возникают тогда существа столь могучие и великие, каких не знают другие широты: слон, носорог, тигр. Среди человеческого рода также происходили иногда подобные остановки потока явлений, когда его энергия аккумулировалась в одной человеческой личности; это вызывало появление индивидуальных такого масштаба, что народная молва недаром сравнивала их со слонами.

Теперь мне понятно, как на заре нашей планеты, когда ее полюса еще венчали пальмовые рощи, могли зародиться и существовать те гигантские создания, чьи скелеты поражают нас удивлением. Такие цари, как Махинда, Паракрама Баху, Дуттхагамини были существами совсем другого порядка, чем великие императоры Востока. Это были личности такой мощи, такой колоссальной воли, что их величие казалось независимым от внешних обстоятельств; они сами создавали соответствующие себе условия. Такие как есть, они были царями тропиков, ни в чем не уступая последним, а, может быть, даже превосходя их; однако основа их бытия заключалась не столько в них самих, сколько в природе, частью которой они были; только среди тропического богатства могли выжить подобные существа. Им требовался переизбыток питания, каковой они и получали, не прилагая к тому собственных усилий, требовалось минимальное сопротивление окружающей среды, которая гибко подчинялась им по желанию. Только в таких условиях они были возможны. И так же когда-то обстоит дело с динозаврами. Существование и этих гигантов требовало строго очерченных условий; только в условиях еще куда более щедрой природы, чем в нынешних тропиках, могли они появиться, существовать и благоденствовать. Очевидно, и тогда характер природы в основной массе отличался быстротой роста и гибели: следы ее канули в небытие. Тем более могучих размеров достигали отдельные единицы, призванные к долголетию среди остальной быстротечности.

Времена этого величия давно минули. Природа слишком обеднела для поддержания таких монументальных

форм жизни. Нынешним обстоятельствам, по-видимому, соответствует более то, что позаурядней. Что же касается человеческого рода, то мелкий подрост стал слишком самоуверен, чтобы уступать дорогу единичным гигантам. Возможно, это и к лучшему. Я не знаю, что «как такое» лучше — индифферентная масса, которая позволяет вырасти единичным колоссам, или возросший уровень большинства, который позволяет им возвыситься над собой лишь до определенного предела, заглушая любые побегι гигантской породы. Мне бы хотелось, чтобы высокий уровень большинства и гиганты в духе доисторических времен могли существовать рядом. Но, к сожалению, этого, по-видимому, не допускают какие-то скрытые законы природы. Хочешь не хочешь, но приходится выбирать между тем или другим злом. И тут уж я с радостью готов признаться, что отдал бы весь заячий род за то, чтобы вид атлантозавра позволил мне забыть об измелъчании четвертичного периода.

Бродя среди древних развалин, я сегодня нечаянно набрел на хижину, в которой обитает молодой англичанин в окружении сотен змей. Эксцентрическая личность, каких порождает один лишь Альбион. Укротителей змей, змееловов, любителей змей на свете предостаточно, к числу последних смею отнести и себя, ибо с давних пор мне полюбились совершенные извивы этих животных. Но для близкого общения с этими рептилиями необходим особенный, не свойственный человеку от природы душевный склад, как это видно по индийским укротителям змей. Так вот, этот англичанин держался в змеином обществе, населявшем его дом, как ни в чем не бывало, словно бы жизнь в таком окружении — это нечто само собой разумеющееся. Для него в змеях не было ничего необычайного; он не восхищался ими, не торговал, да и в научном смысле они, кажется, не вызывали у него интереса; эти извивающиеся животные были для него естественной средой обитания. Тут были громадные питоны и злобные кобры с полным набором ядовитых зубов; всех этих змей он сам изловил и, беря в руки, обращался с ними так вольно, что мне сделалось страшно от одного только вида этого. Туземцы с полной уверенностью утверждали, что у него есть волшебный талисман от змей;

он сам же спокойно говорил, что при некотором навыке и знании их привычек кобры совершенно не опасны. Его, кажется, заинтересовало мое сообщение о том, что существуют эффективные противоядия. Сам он о них еще не слышал и даже никогда не задумывался по этому поводу. Он записал адрес учреждения, в котором изготавливают сыворотку, но я сомневаюсь, что он туда когда-нибудь обратится.

Самое интересное в этом змеином приюте состоит в том, что ментальность его странного руководителя создала там такую обстановку, в которой змеи становятся безопасны в том смысле, в каком безопасны буйно помещанные и «беспокойные» сумасшедшие в хорошо поставленном сумасшедшем доме. Беспокойные на самом деле никогда не бывают безопасны, но в соответствующем заведении они могут ходить на свободе и действительно-таки не творят никаких бесчинств. Точно так же и кобры никогда не становятся по-настоящему ручными, они были и есть бессмысленные, беспричинно злобные животные, неспособные к пониманию и привязанности; и тем не менее мой англичанин спокойно брал в руки самых непокорных и подобно искусному и опытному психиатру умел быстро привести в чувство только что свирепо бросавшуюся в атаку змею, осторожно положив ладонь ей на голову и затем мягко пригнув ее к полу. Да, в его обществе даже я мог спокойно расхаживать среди змей, подвергая себя лишь незначительной опасности. Этот опыт я отношу к важнейшим событиям в моей жизни. В среде разумных существ, т. е. нормальных людей и высших животных, неудивительно то огромное влияние, которое оказывают на них окружение и воспитание, поскольку в их случае психические границы, осознаваемые ими как объективная данность, имеют для них такое же объективное значение, как и материальные. Тот, кто имеет какую-то возможность свободного выбора, обыкновенно реагирует на зло и на добро так, как это наиболее соответствует предложенным обстоятельствам. Только неразумные животные и умственно отсталые люди не подвержены в этом смысле никаким влияниям. Однако сумасшедший дом и змеиный приют, который я увидел сегодня, доказывают, что влияние вероятно и в том случае, где вряд ли может идти речь об

осознании каких-либо границ; в этом случае они оказывают чисто объективное воздействие, и лишь от интенсивности воздействия тогда зависит, изменится ли от этого явление или нет. Даже для кобры возможно представить себе такое окружение, в котором она выступает как безобидное животное. А беспокойные больные чувствуют себя гораздо счастливее в заведении, где они ведут себя хорошо, чем за его пределами; следовательно, то, что лучше в моральном отношении, должно, очевидно, каким-то образом соответствовать объективной целесообразности; я это могу объяснить себе только так, что моральное поведение (я говорю именно о поведении, а не о внутренних побуждениях!) представляет собой не что иное, как естественную форму приспособления к окружающим условиям. Преступники между собой обычно очень строго следуют собственным понятиям о чести; человек, очень хорошо разбирающийся в людях, найдет себе верных слуг даже среди самых ненадежных субъектов; довольный своим состоянием редко ведет себя зловредно; все это примеры того, что моральное поведение является способом приспособления к действительности. Если перенести все это на внутреннюю жизнь, то можно далее заключить, что постулируемый в XVIII веке «моральный инстинкт» выражается в том, что ощущение психического благополучия связано с приспособленностью к определенным условиям, а всякое существо стремится к ощущению благополучия. Впрочем, такой «моральный инстинкт» не имеет никакого отношения к этике; у змей нет никаких душевных установок; лишь начиная с более высокой ступени психического развития естественный инстинкт может рассматриваться в плане этических категорий (ведь и человека с психическими отклонениями считают «неспособным отвечать за свои действия»). Но совершенно определенно можно сказать, что этические стремления представляют собой лишь одухотворенный или одушевленный уровень развития того, что потенциально свойственно даже очковой змее.

В этом коренится истинный смысл представлений о рае. Несомненно, что возможен такой мир, в котором отсутствуют злодеяния по той причине, что для них нет злого умысла. Мы, европейцы, вопреки всему нашему показному милосердию, никогда не создадим рая, пото-

му что в нас слишком сильны животные инстинкты. Индийско-буддийский мир во многих отношениях выказывает райские черты. Поскольку вера там запрещает обижать животных, те не враждуют с человеком; они считаются с ним как с другим видом, памятуя о том, что для всех хватит места. В Индии люди не случайно меньше боятся тигра, чем в Европе боятся благородного оленя в пору гона. Здесь, кроме того, коренится истина, заключенная в хорошо знакомой всем христианским мистикам теории, которая, будучи первоначально выдвинута Платоном, получила свое законченное выражение у персидских мистиков; она гласит, что божественная любовь живет в каждом существе, и лишь от внешних обстоятельств зависит, проявится она или нет. Этими внешними обстоятельствами могут быть любовь к женщине, влияние конгениального окружения, тяжелая судьба, которая переворачивает душу, — но всегда речь идет о том, что инструмент под названием «человек» получает такой настрой, чтобы Бог мог на нем играть. И это воистину так.

В последний раз я обхожу гигантский город руин с его высящимися, как горы, ступами, колоссальными дворцовыми усадьбами, громадными искусственными прудами. Вечереет. Перед дагобой Руангвели молятся набожные паломники. Один монах протяжным голосом заводит литургию, миряне вторят ему в том же ритме. На алтаре благоухают цветочные жертвоприношения. Вокруг святилища, насколько хватило запаса у паломников, все уставлено зажженными свечами, и сейчас в наступающей ночной тьме они сияют на фоне каменистого основания, словно звезды на почерневшем небосводе. Сколько глубокой поэзии заключено в поклонении реликвиям! Набожный народ, возглавляемый набожным царем, посвятив годы тяжкому труду, воздвиг здесь над реликвией памятник в виде горы, дабы она устояла вовеки веков. Вероятно, реликвия вовсе не принадлежала Будде. Но какая в том важность! Главное, чтобы на ней зиждилось поклонение. Для любящего сердца часто незначительная вещица дороже любой драгоценности, поскольку она хранит память и в ней чище всего, без лишних примесей выражено это значение.

Особенно значительным представляется то, что поклонение реликвиям получило такое широкое распространение как раз в той религии, которая менее всего помышляет о бранных вещах. Чем мимолетнее обладание, тем дороже оно человеку; так, заверение Будды, что после смерти его навсегда не станет, привело к противоположному результату по сравнению с его ожиданиями; люди еще бережнее стали хранить то, что от него осталось. Сохранялись не только его слова, его учение, истории из его жизни, но и его бранные останки стали объектом культа, а сам он преобразился в Бога. Народ не может понимать учение о Нирване так, как его толковал Просветленный; для народа достигший Нирваны Просветленный, хотя и перенесся туда, где нет времени, в вечности тем более продолжает существовать. Правда, народ не уверен в этом убеждении, ведь монахи ежедневно заверяют его в обратном. Поэтому молитвы в святых местах носят характер панихиды. Литургия пронизана сладостной печалью, как оплакивание дорогого существа в уповании на то, что оно обрело вечное блаженство.

III. ИНДИЯ

Рамешварам

Когда опустилась ночь, брахманы знаками позвали меня в храм. Я повиновался, не зная, зачем это нужно. И тут я увидел несметное множество паломников, иерофанатов и служителей храма; толпясь вокруг нарядно убранных слонов, сверкающих золотом колесниц и носилок, они при свете факелов выстраивались в праздничную процессию. Я не успел опомниться, как очутился в первых рядах. Передо мной величаво вышагивали слоны — давние носители славной традиции; за мной ехала богиня, восседающая на роскошном паланкине. И так торжественное шествие по великолепнейшей в мире колоннаде, озаряемое мечущимися отблесками факелов, продолжалось под оглушительный грохот барабанов до глубокой ночи, сопровождаемое трепетно почтительными поклонами выстроившихся вдоль стен верующих.

Какое удивительное начало получила моя первая встреча с Индией! Храм Рамешварама, расположенный на южной оконечности полуострова, омываемый морем, окруженный пальмами, представляет собой здание, пожалуй, не уступающее по своим размерам самым крупным из наших раннесредневековых монастырей с коридорами, равных которым по красоте форм и красок, наверное, ничего не найдется на земле; по преданию его основал Рама, после того как отвоевал у Раваны похищенную им Ситу. Он является второй по значению святыней Индостана. Кто только может совершает туда паломничество после Бенареса. И действительно, здесь, кажется, представлена вся Индия. Я вижу тут все краски, все костюмы, все человеческие типы — от темных тамии-

лов до белых кашмирцев, от надменного раджпута до саньяси со спутанным, как войлок, колтуном на голове. В воздухе носится многоголосая смесь всех языков и диалектов, лица выражают всевозможные умонастроения, здесь сталкиваются все касты, все предрассудки. Подобного людского многообразия мои глаза еще никогда не видели.

Главное, что мне бросается в глаза, это то, что у всех этих столь разных паломников чувствуется какая-то духовная общность. В каком смысле? В смысле веры? Возможно, да, но я так не думаю. Я имею в виду нечто, чего я нигде еще не встречал. Я имею в виду не метафизическое сознание, которое объединяет все, что внешне кажется разделенным: как ни характерно оно для «обобщенного индийца», у тех, что здесь собрались (людей, главным образом, простых и немудрящих, не способных к спекулятивному мышлению), оно развито лишь в слабой степени. А вот что меня здесь особенно впечатляет, это наличие такого склада сознания, которое делает возможным особое восприятие действительности, недоступное для среднего представителя западных стран. Очевидно, что эти паломники умеют понимать символы. Причем речь у них идет не о той простодушной вере, с которой подходит к культу необразованный католик, и не об опосредованном понимании образованного человека, возникающем *a posteriori*¹ из рефлектирующего познания: этим паломникам, как мне кажется, присуще непосредственное понимание символов; священные слова (мантры) словно бы непосредственно прикасаются у них к душе. Это предполагает такой склад сознания, который существенно отличается от европейского. Я сам с ним несколько знаком. Тот, кто переносит акцент своего сознания из сферы предметов в область представлений и принимает последние более всерьез, чем первые, считая их истинной действительностью, невольно обнаружит, что тем самым перед ним открываются возможности нового опыта. В то время как соединение представлений получает смысл лишь при сопоставлении с чем-то существующим в природе помимо них, здесь они обнаруживают имманентный им смысл, существующий совершен-

¹ На основании опыта (лат.).

но независимо от внешнего мира. И тут оказывается, что представления могут иметь двойное содержание: с одной стороны, в общепринятом понимании, как образы или создаваемые познающим разумом схемы реальности, с другой же — как непосредственные проявления изначально присущего им смысла. Каждый, кто без внутреннего предубеждения принимал участие в религиозных церемониях, вероятно, ощутил на себе, что они могут производить различное впечатление, что одни не вызывают его вообще, другие же — очень сильное, причем происходит это, в зависимости от ритуала, в двух разных аспектах: очевидно, что, подобно законам природы, существуют также какие-то нормы внутреннего переживания. Определенные сочетания звуков и представлений, по-видимому, с четкой закономерностью отражают содержание каких-то психических процессов. Однако для того чтобы эта закономерность проявилась, сознание должно быть определенным образом настроено; современный европеец в нормальном для него состоянии психики мало что почувствует. Со своей точки зрения он в целом вправе ее отрицать, так как для него она действительно не существует. Она не существует для него подобно тому, как музыкальные законы гармонии не существуют для немзыкального человека. Возможно, он будет осознавать те особые отношения, которые имеются между звуками и содержанием психических процессов, лишь в связи с музыкой и поэзией: в этом случае он бессознательно отдается впечатлениям ритма и череды представлений и таким образом испытывает то, что иначе осталось бы для него недоступным; между тем как религиозные службы затрагивают его душу только тогда, когда вследствие сильного потрясения в его обычном сознании происходит некоторый сдвиг. Хотя все же и ему, скорее всего, известно, что в издревле принятой богослужбной символике связь значения и явления не всегда бывает исключительно произвольной. Но знать и понять на опыте собственного переживания — вещи разные. То, что умом понимают европейцы, представляет собой обыкновенное переживание для большинства паломников, стекающихся в Рамешварам. На их лицах написано несомненное понимание смысла происходящего перед ними действия. Когда они слышат про определен-

ную мантру, что она есть Девата (что определенное сочетание звуков представляет собой истинное тело божества), что представление воображаемых образов в определенной последовательности вызывает соответствующую реальность, что заклинания действуют, а духовное упражнение преобразует душу, то они, наверное, не только верят этому, но и понимают разумом. Очевидно, они понимают, о чем им говорят. Я тоже понимаю. Я знаю, что психические явления также объективны, как материальные, что представления могут быть таким же телом метафизически реального, как и материальные тела, что в принципе всегда возможно духовное воздействие на материю. Однако в том, что я это понимаю и знаю, нет ничего особенно интересного. Самое интересное то, что это знают те простые люди. Они не мыслители, им не до понимания. Они не могут заранее представить себе мысленно что-то реальное. Они, по-видимому, это реально переживают, так же реально, как еду или сон. Короче говоря, они должны так же относиться к психической реальности, как европейцы к физической.

На сегодня я закончу эти рассуждения; я не хочу предвосхищать будущий опыт в воображении. Но вот что мне еще хочется сказать: если нормальный склад сознания набожных индусов устроен действительно так, как мне это представляется сегодня, то, по-видимому, невероятные для нашего слуха утверждения их ритуальной философии (тантры) соответствуют действительности. Если принятые формы, церемонии и заклинания воспринимаются непосредственно в соответствии с их смыслом, то они легко могут творить «чудеса»; в таком случае они могут вызывать все те последствия, какие способны возникать в самом исключительном случае. Лично я несколько не сомневаюсь, что необходимые предпосылки для этого есть. Я присматриваюсь к паломникам рядом с собой: у всех у них взгляд мечтателей, до странности невнимательный, он устремлен на окружающую природу. Однако похоже, что они столь же внимательны там, где это касается отношений, которых не замечает ученый наблюдатель. Настоящая их отчизна находится в другом мире. Реальна ли она? На этот вопрос трудно ответить, потому что мерки, обычно применяемые для его решения, здесь, по-видимому, неприемлемы. Если психи-

ческая сторона считается первичной, а представление — самой что ни на есть осязаемой реальностью, то мечты и опыт оказываются равноценны; тогда то, что придумано, и то, что открыто, одинаково истинно, тогда почти стираются различия между ложью и правдой. С нашей точки зрения мы бы решили, что индийцы живут в нереальности, и, между прочим, в этом мире они почти всегда оказываются неудачниками. Но вопрос на этом нельзя считать закрытым. Всякий склад сознания открывает новый слой природы. Живущий с тем же складом восприятия, который наблюдается у индусов, подвержен влияниям и переживает опыт и события, незнакомые другим людям. В его случае в явлении обнаруживаются такие причинные ряды, которые нигде больше не прослеживаются. И вполне возможно, что на его уровне сознания путь, ведущий к последним глубинам самопознания, оказывается гораздо короче и удобнее нашего. Возможно, это и есть ключ к проблеме индийского мировоззрения: для индийца психический мир первичен. Для него он реальнее физического. С точки зрения абсолюта, сдвигая акцент таким образом, индеец заблуждается не больше, чем его антипод, считающий реальным только то, что принадлежит физическому миру. Но если человек Запада сумел так глубоко понять материю благодаря тому, что придает ей слишком большое значение, индеец, возможно, глубже всех проник в психический мир, потому что только его воспринимает всерьез.

Мадура

Храм Мадуры ночью пробуждает в моей душе представление ужаса. Гуляя по его проходам при тусклом свете масляных ламп и глядя на причудливые телодвижения молящихся перед облитыми маслом лингами, в то время как над головой с криками и стрекотанием носятся стаи летучих мышей, разглядывая многоруких богов, которые в неверном свете зажженных ламп смотрят особенно грозно, я невольно вспоминаю ритуалы финикийцев, которые так выразительно описал нам Флобер. Я отлично знаю, что здесь не происходит ничего страшного. Индуистский культ, обряды которого совершаются в свя-

тилищах южной Индии, носит мирный и кроткий характер. Но его традиционные формы сохраняют черты более свирепых времен, в которые он складывался. Кали требовала человеческих жертвоприношений, и по существу требует их поныне. А Кали — супруга Шивы, которому посвящен мадурский храм, да и сам Шива во многих отношениях весьма страшен... Ничего не могу с собой поделать: все представления, которые вызывают в моей душе предстающие перед моим взором ночные картины, связаны с ужасом. Но это ужасное меня восхищает. Сегодня я хорошо понял, почему самые ранние культы были страшными и иначе быть не могло. Мне вспоминаются слова, которые Достоевский вложил в уста Дмитрия Карамазова, олицетворяющего среди братьев первозданного человека: «Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей... Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».¹ Для человека прекрасно то, что усиливает в нем ощущение жизни. А у примитивного существа это происходит только под влиянием плотского экстаза. Только опьянение, сладострастие, жестокость насилия позволяет им вырваться за свои пределы, только так они познают то, что развитый человек постигает в спокойном созерцании Бога. Поэтому-то культы всех глубоко религиозных народов на своем раннем этапе отмечены чертами ужасного. В это время совершаются оргии, где царят сладострастие и жестокость, все предаются яростному наслаждению и страданию, в неистовом утаре сотворяется и уничтожается жизнь. Это неизбежно. Первобытные люди глубоки только в своих инстинктах, лишь восторг, вызванный чувственностью, соединяет их с их субстанцией; только в форме инстинктивных порывов они способны ощутить и выразить свою глубинную сущность. Да и к одним ли только первобытным людям это относится? Что иное означает то и дело возникающий в Европе культ любви между мужчиной и женщиной, приобретающий порой са-

¹ Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. М.: Художественная литература, 1958. Т. I, С. 163.

мую грубую форму, как не реакцию на слишком духовно возвышенное мировоззрение? Как многим по-прежнему еще требуются спиртные напитки, чтобы усилить свои ощущения, подхлестнуть плоть! Все они все еще остаются на той ступени, когда для того чтобы по-настоящему выразить свои религиозные ощущения, потребны оргии или человеческие жертвоприношения... У индусов нет потребности в человеческих жертвах; они чересчур женственно-кротки, для того чтобы разрушение вызывало у них сладострастное наслаждение. Но весь шиваитский культ насквозь пронизан анимальным духом прокреативности. Здесь я впервые в жизни вижу откровенную демонстрацию сексуальных процессов, понимаемую не как нечто нечистое, а как священнодействие, как символ божественного начала природы. Судя по всему, при виде воплощаемой куклами сцены соития Шивы и Шакти присутствующим на торжествах в храме Рамешварам верующим не приходили в голову никакие непристойные ассоциации. Никто из женщин, склоняющихся в эту ночь перед лингамом, очевидно, не испытывал каких-либо чувств, отличных от чувств какой-нибудь испанской монахини, обращающейся с молитвой к образу Непорочного Зачатия. Все верующие индусы почитают чувственную любовь как символ божественной творческой силы, они относятся к ней как к священному жертвенному сосуду, вместилищу набожных мыслей. Как учат шастры, мужчина и женщина, соединяясь вместе, никогда не должны забывать о том, что через них творит Брахма. Они должны почитать друг в друге божественное начало, если любят не ради наслаждения, а в духе божественного продолжения жизни; таким образом животный инстинкт освящается как выражение божественного начала.

Никогда в жизни не видывал я жестов более соответствующих духу плодородия, чем покачивающиеся движения баядерок во время торжественного обхода вокруг изваяний богов. И вот, глядя на странную гиперболизированность их стилизованных форм, я вдруг начинаю понимать и до моего сознания доходит идентичность духа, выраженного в обоих явлениях. Эти образы как нельзя лучше воплощают в себе опредмеченные образы наших инстинктивных стремлений. Что

представляют они собой вне соотнесенности с неким духовным началом, с тем, что мы называет нашим Я или душой? Некие могучие силы как таковые, истые демоны, которые, казалось бы, несоотносимы с человеческим образом. Кто видел берсерков или сатиров, невольников сладострастия или одержимых манией разрушения, вероятно, по опыту знает, что я имею в виду: такие существа — не люди; представляясь людьми, они лгут; они — живая персонификация стихийных сил природы. Но это относится не только к ним, а ко всем, кем когда-либо целиком овладевала сила того или иного инстинкта. Это относится к матерям, полностью сливающимися с инстинктом продолжения рода, к невестам, для которых супруг становится всем на свете, к праведным мужчинам и женщинам, чье сердце, охваченное божественным бескорыстием, готово одарить весь мир; каждый инстинкт изменяет человеческое лицо, придавая ему новое выражение, украшая или обезображивая его: один сообщает ему зверское выражение, другой — делает прекрасным, один награждает дьявольскими чертами, другой божественно преображает, причем настолько сильно, что недаром в этих случаях говорят о «трансфигурации». Однако выразительным возможностям физической природы зачастую недостает совершенства. Религиозный человек угадывает за явлением тот особенный дух, который временно овладевает личностью; художника невольно тянет облечь его в такую телесную форму, которая бы полностью выразила его сущность. Так на земле появились легионы изображений богов. Большинство из них олицетворяют собой совсем не то, что должны были представлять. Афродита — это не персонификация любви, Дева Мария — не персонификация материнства. Обе богини всего лишь человеческие изображения, но не самостоятельные воплощения первобытных инстинктов. Запад даже в период средневековья был слишком ориентирован на науку, чтобы в совершенстве выразить иррациональное. Именно это удалось сделать индусам. Образы индийского пантеона, воплощающие первобытные стихии, обладают такой убедительной силой, что сегодня я готов верить тому ясно-видцу, который мне когда-то сказал, что они истинно отображают божественную действительность.

Вероятно, такие творческие достижения доступны только людям, которые еще не выкристаллизовались в духовную личность, чья сущность множественна, которые одержимы то одним, то другим побуждением, не обладая четким сознанием объединяющей связи. Такие люди, с точки зрения атмана, поверхностны, ибо им совершенно неведома самость. Но как раз поэтому их глубинная сущность способна одухотворять поверхностный слой так, как этого никогда не получится у одухотворенного человека; вся глубина мира может заряжать своей взрывной силой бессмысленную страсть. В этом случае побуждения отдельных инстинктов собираются в плотную субстанцию, вырастают в такие могущественные ущности, что не приходится удивляться, когда даже у нас в наше время многие полагают, будто они глубоки в своей сущности. Именно в этом смысле индийский пантеон, будучи на самом деле поверхностным порождением, тем не менее есть нечто глубокое — такое глубокое, напряженное, исчерпывающее выражение поверхностного слоя человека и природы, какого не в состоянии было бы найти более содержательное человечество.

Меня не удивляет, что посетителям из Европы так трудно дается понимание дравидского искусства. К нему неприменимы никакие наши мерки. В храме Мадур, например, ничего нельзя понять при рациональном подходе. В основе этого здания не лежало единого плана, его строительство и украшения не подчинялись какой-либо общей идее, он не одушевлен единой мыслью. Его величие, его монументальность не несут в себе символического значения: оно явилось случайным результатом богатства использованных в нем средств. Его стены выросли ловно без всякого плана, подобно ответвлениям морского коралла, его декор появился на них, подобно буйным заростам. Из всех сравнений наиболее предметно характер этого храма выражает сравнение с агломератом разрастающихся побегов: отовсюду во множестве вырастают, сталкиваются, тесня друг друга, отдельные формы; общие очертания, угадываемые почти так же смутно, как готических соборов, воспринимаются словно причудливая игра природы, неожиданно возникающая перед глазами альпиниста в Риффских горах Тироля.

Но тот, кто поймет самобытные предпосылки этого искусства, тому оно покажется глубоко значительным. В нем воплощается высочайшее проявление физическо-го воображения. Вчера я писал о смысле индийских изображений богов: в них, как я говорил, первобытные инстинкты получили такое убедительное телесное воплощение, какого не порождала поэтическая фантазия ни одного другого народа; я добавил к этому, что такие творения могла создать только психика, не достигшая единства, такая психика, которой свойственна множественная сущность, которая еще не обрела духовной целостности, ведь индуистская скульптура в целом означает повторенное в общем сознании новое рождение неинтеллектуализированных жизненных сил. В жизни очень мало изначально рационального, в ней очень мало того, что можно связать с первоначально духовной основой; желания, ощущения и чувства, побуждения и воления, порывы роста и покорное увядание старости — все это в основном феномены иррациональные; пытаюсь их рационализировать, мы упускаем их своеобразие. Это своеобразие проявляется в индийском искусстве в неповторимо отчетливой форме. Храм Мадурь производит такое впечатление, как будто он, подобно примитивному организму, вырос сам собой: без плана, без цели, без самоконтроля, словно слепо следуя каждому органическому позыву, внезапно переходя из одной фазы в другую, ничем не удерживаемый в своих границах, кроме велений судьбы; но зато он тем непосредственнее предстает перед нами во всех своих настроениях, играя всеми красками и богатством полнокровной красоты, не умаляемой никакими самоограничениями и предрассудками. Поэтому в целом он неизбежно оказывается несовершенным, но в деталях, как правило, прекрасен. В этом коренится причина того, почему индусы проявляют такое мастерство в исполнении деталей и почему им так плохо удается монументальное целое.

На Цейлоне мои наблюдения часто приводили к выводу о вегетативном характере тропических созданий духовного творчества; и я высказал предположение, что и весь индуизм в его необозримом богатстве следует, вероятно, воспринимать как вегетативный процесс. В принципе я был прав; но в то время я еще не знал, какие ко-

лоссальные потенции заключены в этом духе: даже тогда, когда он овладевал людьми тропической зоны, он во всех позитивных фазах жизни в значительной степени сохранял свою определяющую силу; то, что в высшей степени справедливо для цейлонского буддизма, для индуизма справедливо в том отношении, что это составляет основу его телесной материи. Хотя и у него речь идет не о свободном духовном творчестве: речь идет об анимальном становлении, таком же природно-естественном, как у растений, только более активном, более самоопределяющемся, более целеустремленном. В основе роста здесь лежит энергичный дух, и это придает создаваемым им формам такую силу и напряженность, какой не обладают буддийские. Мне вспоминается колоссальная гиперболизация, свойственная всей индийской мифологии: тут тебе и мудрец, выпивающий целое море; там царский сын, за одну ночь овладевающий десятью тысячами дев; Гаутама, переживающий множество лакх перерождений, прежде чем сделаться Буддой; а Кришна размахивает миллионами рук. Мне вспоминается, какое множество богов составляет индийский пантеон, как неисчислимы предписания тантрического ритуала; безмерное количество слов, понятий и представлений, которыми оперирует мышление индийца, что, конечно, представляет собой излишества самопроизвольного роста, а следовательно, носит вегетативный характер, но какое же плодовитое воображение стоит за этими явлениями, которые к тому же отличаются такой живостью, такой подвижностью, что невольно для сравнения вместо растительности, какой бы она ни была бурной, тебе приходят на ум животные тела. Зрелище мира индийских форм вызывает у меня такое впечатление, словно они созданы фантазией плоти, словно это воображение великого поэта вселилось в клетки тела, и тело обрело творческую способность, которая обычно свойственна только духу. Что получилось бы, когда бы вольная фантазия оказалась неотрывно привязанной к плоти? Тогда появились бы именно такие творения, какие характерны для индийского мифа. Идея всематеринства предстала бы точно такой, какой она изображена в главном гопуре мадурского храма в виде нагромождения тесно прижатых друг к другу, растущих на нем, наполненных молоком груди, когда все-

держительная сила воплощается в ста тысячах органов и т. д. Так творило бы тело, если бы оно могло фантазировать. Так творил индуистский дух в эпоху своего высшего расцвета. В своем искусстве он предстает совершенно неинтеллектуализированным, не обретшим единства и не нуждающимся в нем, и поэтому ему нет равных там, где нужно выразить иррациональное. Может быть, только ему и удалось убедительно передать незримое, перенесенное в мир видимого. Именно в нем темные силы созидания творили с той же непосредственностью, с какой они действуют в глубинах тела, где потребность неизбежно ведет к соответствующей созидательной реакции органов. В танцующем Шиве заключено больше божественной сущности, чем во всем сонме олимпийских богов вместе взятых.

Все больше и больше душой моей овладевает дух политеизма. Как нечто само собой разумеющееся я надеяю субстанциональностью все силы, ощущаемые мною в себе самом и вовне, и с каждым часом мой пантеон становится все богаче. Соответственно, красочнее становятся и мои переживания. Признавая за каждым побуждением отдельную сущность, я начинаю внимательнее к ним присматриваться, и мое качественное восприятие становится более дифференцированным. Этот универсум представляется мне пестрым скопищем бесконечно-го множества монад, каждая из которых обладает отчетливой характерностью, не сводимой ни к каким другим и не управляемой идентичными нормами, однако, ни одна не вступает в противоречие с другими. Возможных противоречий я и не замечаю, ибо самое понятие о них для меня уже ничего не значит. Что могут значить единство, взаимосвязь, причины и следствия в мире, состоящем из одних только качеств? У качеств нет общего знаменателя. Таким образом, меня уж не заботят такие проблемы, которые так часто смущают богоискателя — проблемы зла, его сочетаемости с добром, проблема столь нередкой, к сожалению, невыгодности добродетельного поведения и другие тому подобные. Все просто: есть злые и добрые силы, моральные и аморальные; сила не обязательно сопряжена с любовью, знание — с доброй волей; единичная судьба отдельного человека, как и общая

судьба мира в целом, зависят от взаимодействия столь многих переменных, что даже Брахма в его математической ипостаси не сподобится вывести общую формулу всех процессов. Главное, что требуется, это зорко смотреть, чтобы охватить взглядом как можно больше отдельных моментов; давать дорогу благоприятным влияниям и по мере сил и возможностей предотвращать неблагоприятные. А на этот случай, спасибо богам, существуют свои правила. Не раз и не два они по своей милости открывали нам молитвы и ритуалы, вызывающие то-то или то-то, не раз и не два указывали, как следует человеку поступать в том или ином случае. И тогда, если исправно исполнять все, как учат нас шастры и тантры, да во все решающие моменты вовремя спрашивать совета у мудрых брахманов, жизнь в этом мире, так и кишасщем разными духами, покажется тебе не опаснее, чем она представляется тому, кто не верит в неземные чудеса. Зато, уж точно, гораздо интереснее. В каждый миг что-нибудь да происходит, что-то нужно принимать во внимание, учитывать, а это придает трансцендентное значение самым незначительным событиям; повсюду действуют сущности, по меньшей мере интересные. И вот, поверив в богов, я доволен собою как никогда. По восприятиям и переживаниям я стал богаче, красочнее, разностороннее, тоньше в оттенках. Я уже перестал удивляться тому, что великое искусство всегда процветало только среди политеистов (потому что католическая церковь представляет собой политеистическую систему, а большинство великих писателей и поэтов исповедовали в своем художественном творчестве политеизм): искусство может создавать великие произведения только там, где оно просто-душно принимает частное так, как есть, где воображение не тщится свести его к общему, а только воспевает и подчеркивает. И напротив, всякая художественная натура отличается теми чертами, которые являются характерными атрибутами политеистических народов, а именно: отсутствием упорядоченной цельности душевной жизни. Если бы Шекспир достиг той глубины, где начинается духовная личность, он никогда не создал бы так много одушевленных героев. Рано или поздно, при условии что этому не противодействуют какие-то другие моменты, монотеизм всегда приходит на смену более бога-

той вере; когда душа достигает единства, когда на смену многообразию инстинктивных побуждений приходит однозначное Я-сознание, тогда прежде рассеянная субстанция многобожия тоже сжимается в единое божество. И тем самым первозданная хаотичность сменяется порядком, закономерностью и воцаряется связность. Но вместе с этим вселенная становится противоречивой: тут-то, когда во всем должна наступить согласованность, и обнаруживается, как мало ее есть на самом деле. Кроме того, наступает оскудение: ибо теперь, когда надо всем творением царит один идеал, отрицается, игнорируется или отвергается все, что существует вне какой-либо мыслимой позитивной связи с ним, а поскольку всего такого имеется в переизбытке, это становится помехой естественному развитию природы. Мироздание укрепляется, утверждается на моральных основах; повсюду среди монотеистов характеры тверже, принципы прочнее, жизненные формы чище. Зато их души бесцветнее, более ригидны, а по большей части и суше. Один мой друг, прежде удачливый Дон Жуан, превратился в образцового супруга. Я спросил его: каким он видит теперь самого себя? Он со вздохом ответил: «В добродетели есть свои преимущества, однако я чувствую, что моя натура упростилась; слишком многие ее стороны оказались без употребления; боюсь, что мужчине не на пользу, если он служит только одной женщине».

Поли- и монотеизм противоречат друг другу; однако же мистик, чье понимание Бога обыкновенно называют пантеизмом, никогда не враждует с политеизмом; напротив, как раз в его атмосфере он в основном и процветает, как, например, это было в Европе в лоне католической церкви. Утверждать, что опыт мистика означает переживание единого божества, правильно лишь в условном смысле, его опыт лежит за гранью всего считаемого; говоря о единстве, он подразумевает нечто, не имеющее ни единства, ни множественности, но в то же время соединяющее в себе то и другое, он называет это единством, поскольку это понятие и в здешнем мире тоже обозначает как исчислимое, так и неисчислимое. Во всяком случае, он никогда не бывает атеистом в иудейско-пуританском понимании, хотя, разумеется, и среди тех, кто называет себя монотеистами, встречаются мис-

тики. Мистик — это погруженный в себя созерцатель, главное для него внутренний мир, сущность — то, чем и ради чего он живет; мистик — это тот, кто укоренен в атмане и кто, следовательно, совершенно правдив и непосредственно выражает то, что живет в его душе. Такой человек не может отвергать никаких проявлений жизни. В любом из них он видит действие божественной силы, каждое заслуживает в его глазах уважения, и непредвзятость в любом ее проявлении для него священна в гораздо большей степени, нежели обусловленность внешними нормами или предрассудками. Поэтому естественно, что для индийского сознания, мистически более чуткого, нежели какое-либо еще, между анимальным индуизмом и возвышенной мудростью риши нет никакого противоречия: для него это формы выражения одного и того же содержания на разных ступенях его развития. Ограниченный предвзятостью и действительно примитивный человек не может не ощущать себя как множественность инстинктивных побуждений; точно так же мудрец, не ограниченный предвзятостью, не может не ощущать своего превосходства над всеми внешними формами. Смысл переживаемого ими опыта один и тот же. Неверно, правда, было бы полагать (хотя это зачастую утверждается индийской схоластикой), будто бы все внешние формы изначально подразумевают в себе символ Единого: возникли они как ростки анимального; в основе индийского пантеона не лежало изначально единство. Но его многообразие выражает сознание единства, свойственное более зрелым стадиям; поэтому жречество право в метафизическом смысле, объявляя всякую веру ортодоксальной, не противоречащей ведам и упанишадам. С эмпирической точки зрения, можно, конечно, выдвинуть много возражений против их толкования: большая часть божественных мифов возникла, вероятно, помимо брахманской традиции, принадлежит к фольклору неарийских исконных обитателей Индии и лишь впоследствии была включена в брахманизм, который их переосмыслил по-своему. Все это впервые понял и объяснил сэр Альфред Лайал. Однако подлог, осуществленный брахманами, метафизически был вполне оправданным: боги действительно суть то, что говорят о них и об их значении брахманы; объявляя местного

божка какого-нибудь захолустного племени аватарой бога Вишну, а следовательно, и одной из ипостасей единого Брахмы, они провозглашают метафизическую истину, выражая ее в иносказательной форме мифа; в каждом инстинкте выражается божественная творческая сила, все внешнее одухотворяется глубинным содержанием, а значит, может рассматриваться как его выражение. И с такой точки зрения оно предстает как глубинная сущность. Народные верования благодаря толкованию носителей знания обретают глубину, и в результате то, что было лишь символической истиной, обретает эмпирическую истинность: они становятся выражением высшего знания.

Ни один индийский мудрец, даже сам Будда, не боролся с верой в божества; большинство из них, и в первую очередь основатель радикального монизма Шанкара, сами искренне ее исповедовали. Они так глубоко сознавали, с одной стороны, невыразимость божественного как такового, а с другой стороны, бесконечное множество его возможных манифестаций, что часто отдавали предпочтение множественному выражению перед единым. Как пример мне вспоминается знаменитый гимн во славу Махадеви «Чандипатха»: в нем она, богиня, прославляется как Ишвара, как Верховное Существо; в частности то как Ганга, то как Сарасвати, то как Лакшми; а в одной строфе, после слов о том, что она в форме Мира, Силы, Разума, Памяти, Мастерства, Изобилия, Милости, Смирения, Голода, Сна, Веры, Красоты и Сознания одушевляет все существа, говорится также, что она живет во всех своих творениях в форме Заблуждения. Мне кажется, что это многообразие в своей совокупности лучше выражает смысл того, что имеют в виду индийские верующие, чем это сделала бы какая-нибудь глубокомысленная общая формулировка.

Как могут наши выверенные понятия отразить находящиеся в непрестанном анимальном развитии индийские формы? Не случайно в санскрите существует чуть ли не больше слов для выражения философски-религиозных смыслов, чем в греческом, латыни и немецком вместе взятых; подобно тому, как в языке примитивных, но одаренных народов содержится больше слов для обо-

значения конкретных понятий, потому что на ранней стадии своего развития люди, еще не умея мыслить абстрактно, использовали множество специальных обозначений там, где на более поздней ступени они стали обходиться немногими общими понятиями, словарь древних индийцев, хотя и владевших абстрактным мышлением, тоже был очень богат и постоянно обогащался с каждым новым поколением, так как огромный мир их представлений невозможно было отразить даже с помощью очень умно отобранных общих понятий. Общие понятия пригодны только там, где объект познания принадлежит к области рационального или поддается рационализации; к индийским творениям это никак не приложимо. Все живое в этой удивительной стране возникало безответственно, вырастая, как растет плоть, появлялось нечаянно, без предварительного плана или определенной цели. Таким образом, не только в индийских храмах нельзя обнаружить общего плана, а в индийских верованиях единой идеи, но и в населении Индии мы не видим нации, там нет ни народного духа, ни народного самосознания; в Индии нет индусов в том смысле, в каком мы говорим о немцах и англичанах. Синтез такого рода возникает только там, где рассудок, хотя и незаметно для глаза, управляет развитием форм, где имеются потребность в обобщении и стремление к единству; в Индии же они отсутствуют. Отдельные формы растут здесь вперемешку друг с другом без всякого плана, порой оставаясь резко разграниченными, порой соединяясь самым неожиданным образом; за каждой формой признается право на собственное существование, никогда не делается попыток искоренить их самобытность; на свете для всего хватает места. Не стоит думать, будто бы брахманизм лежит в основе этого многообразия в качестве единственной идеи: во-первых, она не единственная, во-вторых, пропитывает своим духом не все формы, а в-третьих, даже там, где пропитывает, она делает это в таком неопределенном смысле, что между отдельными образованиями не возникает конкретной связи. О едином духе, пронизывающем все явления в том смысле и в такой степени, как это делает цейлонский буддизм, проникающий во все области жизни, в отношении брахманизма не может быть никакой речи.

В этом равнодушии к последовательной взаимосвязи и единству заключается причина необычайной многокрасочности Индии, которая с каждым днем все больше пленяет мое сердце. Я еще очень мало поездил по Индии и однако же повидал такое многообразие, какого мне еще никогда не встречалось среди людей. Нигде и ни в чем строгий рассудок не воспрепятствовал здесь бездумности бурного роста. Это тем примечательнее, что индусы ведь славятся именно своей диалектикой, логикой и скрупулезной систематикой. Все что только можно они привели в систему, начиная от поэтики и кончая разбойничьим ремеслом, от праведного пути, следуя которому приходишь к Богу, до распорядка брачной ночи. Так как же все это согласуется с их иррациональностью? А согласуется это таким образом, что страсть к систематизированию является одним из естественных побуждений, которое подобно всем другим идет своими путями и как и остальные развивается бурно и безответственно. Так же буйно и произвольно, как представления, вегетируют и их интерпретации; так же безудержно, как боги и духи, размножаются философские системы. В Индии логика никогда не претендовала на то, чтобы установить окончательные законы причин и следствий; исходя из правильной самооценки, она предоставила это на волю мистической интуиции. Она не систематизировала данности и не выстраивала на основе данностей далеко идущих спекуляций, не вдавалась в скрупулезный анализ имеющихся фактов. Ее достижения лежат в области типично схоластических трудов, не имеющих в большинстве случаев никакой научной ценности; из всех созданий индийской фантазии они оставляют, пожалуй, самое неутешительное впечатление. Однако было бы несправедливо упрекать Индию в том, что она не ставила перед собой высочайших целей; в том, что среди индийцев не появилось своего Парменида или Гегеля. В остроте логического ума индусы не уступают европейцам; наверняка, для них не составило бы труда сконструировать мировые системы, подобные этим. Они не сделали этого потому, что были слишком глубокими метафизиками; они знали, что для логического рассудка недостижимы коренные вопросы; они никогда не были рационалистами. Очевидно, великий пример, который в числе прочих индийцы

дают европейцам, состоит в том, что одаренный разум не обязательно должен порождать рационализм, что величайшая острота логики не обязательно ведет к уничтожению естественной непосредственности. В Индии одинаково ортодоксальными признаются три толкования Веданта-сутры — дуалистическое, монистическое и теистическое, а соответственно также и основывающиеся на них несколько сотен более или менее противоречащих друг другу систем. Что это значит? Это значит, что индийцы глубоко осознают случайность всех рациональных конструкций; что они знают — ни одна из них не в состоянии отразить подлинную картину метафизической реальности; что все они дают о ней лишь приблизительное — *à peu près*¹ — представление. Европейцы, придя к такому выводу, тотчас же объявляют войну рассудку. Индийцы же и тут проявляют больше мудрости, предоставляя ему свободу действия. Ни одну форму нельзя принимать всерьез в метафизическом плане; но все они в своем эмпирическом естестве имеют право на существование. А потому, дескать, коли телу угодно порождать из себя новые и новые формы, которые населяют богами небеса, то и рассудку нужно предоставить такое же право.

Я сижу возле одного из прудов в святилище и слушаю, как брахман читает на санскрите отрывки из «Рамаяны». Его чтение то и дело прерывает один из помощников, нараспев произнося пояснения на местном диалекте. Толпа внимает священным песнопениям с горящими глазами в состоянии близком к трансу.

Великие эпические поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата» значат для индусов примерно то же, что для евреев в изгнании значила Книга Царств, для них это хроника минувших времен, когда кроме земной славы им дано было каждодневное общение с небесными силами. Поэтому эти поэмы для них значат больше, чем все шастры. Ни один простой индус не подвергает сомнению их историческую правду, то же самое относится и к большинству индийских ученых. Последние охотно цитируют в своих трудах отдельные эпизоды в качестве науч-

¹ Приблизительно (фр.).

ного доказательства; нередко даже происходящее на небесах используется для объяснения земных событий. Индийцы совершенно не признают истории; они не восприимчивы к историческим истинам; миф и действительность для них едины. Поэтому они, с одной стороны, принимают легенды как действительность, а действительность предстает в виде легенды, причем это делается как нечто само собой разумеющееся. Не только мертвые и отсутствующие люди претерпевают превращения — сплошь и рядом аватарой провозглашается кто-нибудь живой и рядом присутствующий, и толпа поклоняется ему как богу. В остальном жизнь идет как обычно. Появление живого воплощения божества так же мало удивляет сегодняшних индийцев, как героев Гомера участие олимпийских богов в Троянской войне. Они во все верят с одинаковой готовностью: как в обычные вещи, так и в самые невероятные, и не придают особенного значения тому, что какое-то событие считается историческим фактом.

Лишь теперь, когда мне открылось, каков тип их сознания, я смог разобраться, как обстоит дело с этими вещами. Недостатки совершенно очевидны: для индусов не существует различия между правдой и фантазией, мечтой и действительностью, между воображаемым и происходящим в реальности. Поэтому на их высказывания редко можно положиться, их знания не обладают научной точностью, так же как их наблюдения. Но в каждом типе сознания есть своя положительная сторона; и в этом я постепенно все больше убеждаюсь. Еще в Рамешвараме я отмечал в своих записях, что такая установка, при которой акцент делается на представлении как таковом, а не на том внешнем предмете, к которому оно относится, позволяет нам, как правило, выявить такие стороны действительности, которые иначе ускользают от нашего внимания. В частности, это относится и к той, благодаря которой действительность и миф сливаются воедино. Каким образом миф преобразует действительность? Бессмысленным образом или же в соответствии с неким смыслом? Всегда осмысленно; в поэтическом видении мифа усиливается значимая сторона действительности; существенное проступает тогда особенно ярко. Хотя существенным не обязательно оказывается то, что

обозначает как существенное тот, кто выделяет предмет поэтического осмысления, но всегда то, что представляется существенным создателю поэтического переосмысления и его современникам. Современный восточный миф совершает преобразование с почти научной точностью: после каждой новой метаморфозы Гёте обретает еще большее сходство со своей метафизической самостью; индийский миф усиливает только те черты героя, которые представляются значительными в глазах народа. Когда рассматриваешь эти факты в связи с проблемой позитивного начала в индийском типе сознания, решение оказывается достаточно очевидным: при индийском типе сознания все значительное воспринимается непосредственно в этом своем качестве. При этом типе сознания подход к каждому событию приблизительно таков, как у верующих к религиозной мистерии. Или, если привести другое, более выразительное сравнение: это сознание воспринимает окружающее примерно так, как современники должны были бы воспринимать Гёте, чтобы с той же ясностью, как мы, ощутить его непреходящее значение. Так что же является ценностью, что существенно — значение или факт? Значение, и только значение, факты как таковые не имеют никакого смысла. Таким образом оказывается, что Индия в своем мифотворчестве, если судить о том с точки зрения жизни, избрала по сравнению с Европой лучшую часть.

Я пребываю в том состоянии сознания, для которого битва при Курукшетре, в которой бок о бок с людьми сражались принявшие зримый облик боги, представляется такой же реальной, как и сражение под Седаном. Разве этот мир, развертывающийся перед моими глазами, не субстанциальнее, чем тот, который видит ученый исследователь? Разве эта реальность не является реальностью в каком-то высшем смысле? Учения индийской мудрости все неудержимее завладевают моим умом, которому они уже не кажутся странными и чуждыми. Они говорят, что смысл первичен, в нем заключена вечная и высшая реальность; то, что зовется фактом, на самом деле — всего лишь его отражение, ненадежное как все, что порождается майей; субстанциальность явления измеряется тем, в какой степени оно отражает смысл. Соответственно получается, что и астральный мир реаль-

нее физического, а также и мир идей, ибо в каждом последующем из них смысл проступает отчетливее и чище. Поэтому-то в земном мире за вдохновенными мыслями следует признать право на высшую реальность по сравнению с событиями, которые, как нам кажется, их опровергают, ибо то, что принадлежит этому миру — бренно и преходяще, смысл же пребудет вовеки веков; а легенды прочнее любой истории, потому что они запечатлевают смысл в вечных символах, в форме, которая переживет множество кальп. Действительно ли жил такой Кришна, перед которым Арджуна до начала решающего сражения произнес ту речь, что ныне можно прочитать в Бхагават-Гите? Конечно да, если ты в это веришь. В высшем мире живет сам по себе смысл, без собственной формы, и как таковой он непостижим для ума. Он проявляется так, как ты сам пожелаешь; он являет себя соответственно твоей вере, желаниям и мыслям: в виде бога или богини, в виде философской системы, в виде образов прошлого, в виде легенды. Это он предоставляет на твое усмотрение. Но чем больше ты стараешься проникнуть в его сущность, тем более достойные образы встают перед твоим мысленным взором. Я веду диалог с духом этой мудрости. Он предстает мне в образе махагуру, великого учителя, дружелюбно и ласково указывающего мне путь. Не поддавайся иллюзиям злокозненной Майи, богини вашей западной науки! Ведь ее главная хитрость состоит в том, что ее создания всегда выдерживают критику разума. Но то, что доказуемо, не всегда бывает сущностным. Доказуемое проходит и пропадает или превращается в иное доказуемое и во всех своих формах с одинаковым успехом обманывает неумудренного опытом человека, не давая ему разглядеть сущность. Разумеется, образы воображения — это тоже майя, однако перед физическим миром у них есть то преимущество, что они более откровенно проявляют свою сущность, а кроме того, представляют собой более гибкое средство для выражения смысла. Как далеки ваши ученые от сердца реальности! Такого мозга, как у них, может быть, никогда не бывало ни у одного индийца. Но вместо того чтобы использовать его для поисков смысла, они растрачивают драгоценное время своей земной жизни на изучение

ничего не значащей нереальности и мнят великим достижением объективность своих познаний! Разумеется они объективны, но в то же время лишены смысла. А теперь взгляни, напротив, на моих индусов: они не имеют представления об объективном исследовании; майя для них — темный лес, чаще всего они терпят неудачу в этом мире. Зато их души широко открыты для всевозможных влияний смысла, и все они идут путем, ведущим к освобождению. Меня окликает хранитель храма; пора покидать атриум. Действительно, все купальщики уже ушли. Чтение Рамаяны закончилось. Только несколько нагих йогов неподвижно сидят, погруженные в медитацию.

Танджур

Сегодня я много часов подряд смотрел на танцовщиц храма. Они плясали передо мной под музыку того странного оркестра, который в Индии сопровождает все священные церемонии, в полутемном зале; и чем дольше длилась пляска, тем больше она меня зачаровывала. Рассказывают, что приказав перерезать английских пленных, Нана-Сахиб велел привести к нему четырех девушек-танцовщиц, исполнительниц науч, и всю ночь напролет неподвижно просидел как замороженный, любуясь их плавными движениями. Когда-то я думал, что выбрать для отдыха такое развлечение и наслаждаться им с такой выдержкой можно только обладая каким-то особенным темпераментом; сегодня я знаю, что для этого требуется всего лишь понимание; созерцая науч, я тоже забыл о времени и был совершенно счастлив. Идея этого танца имеет мало общего с нашей. Здесь отсутствуют крупные, широкие линии, отсутствует какая-либо композиция с началом и концом; все жесты можно сравнить с легкой зыбью на водной глади. В некоторых участвуют только кисти рук, другие мягко перетекают к спокойному, ненапряженному туловищу, и если где-то возникает заверченный рисунок, то он исчезает так быстро, что вызывает лишь мимолетное внимание, не ведя к длительному напряженному ожиданию. Мерцающие одежды скрывают и смягчают выразительную игру мышц, каж-

дый резкий всплеск затухает в золотых волнах, в которых, словно отражение звезд, вспыхивают отблески всех драгоценных украшений. В этом искусстве, хотя оно все состоит из движения, нет никаких ускоряющихся мотивов. Поэтому им можно любоваться бесконечно. Наш танец по своему характеру представляет собой определенную конечную форму, у него есть начало во времени и конец; зритель в своем воображении сам воспроизводит эти линии и сам напрягается, он отождествляет себя с их смыслом, а по завершении рисунка возвращается в себя, отдыхая от напряжения, ибо никто не может выходить из себя надолго. Даже самым совершенным мимическим представлением западного толка невозможно любоваться беспрерывно. Иное дело науч: его созерцание не заставляет зрителя выходя из себя переселяться в чужое состояние, он помогает ему осознать движение жизни в себе; этот танец экстрагирует, он, словно стрелка часов, выносит вовне его собственный интимный жизненный процесс, а это никогда не надоест ни одному человеку. Все порывистые движения, едва выплеснувшись, сразу же перетекают в пафос спокойно текущего русла жизненного потока, что превращает его в непосредственное переживание. Ибо жизненный поток как таковой мы не ощущаем; мы не замечаем процесса кровообращения. Свое существование мы осознаем благодаря мелким инцидентам, которые раз за разом возникая на поверхности, проникают в глубинные слои, вызывая в них легкое возбуждение. На решение именно этой задачи и направлены движения индийского танца. Они как раз достаточно отчетливы для того, чтобы помочь человеку осознать самого себя, облегчить ему возможность почувствовать в себе жизнь.

Таков смысл индийского танца. Это тот же самый смысл, который вообще лежит в основе всех индийских формообразований. Но только в науке он проступает ярче всего. В скульптуре богатство форм производит такое ошеломляющее впечатление, что зритель зачастую не замечает того, что лежит в основе. И здесь и там темным фоном, который служит основой, является жизнь по природе своей бесформенная, непостижимая, невнятная. Это не рациональное начало, не идея, а чистое состояние. С точки зрения такой первозданной основы, как со-

стояние, все предметное представляется случайным, бессмысленным, бессвязным, лишенным закономерности и цели. Как явление это можно воспринимать за реальность. Но тому, кто захочет постигнуть смысл, индеец укажет путь, ведущий прочь от реальности в бездонные глубины бытия, из которых на поверхность пузырями всплывают формообразы.

Кондживерам

Во все помещения храма, в которые меня допускают, для моего тамильского слуги доступ закрыт. Он — христианин, а потому — пария. Его узнают с первого взгляда. У индийцев словно бы имеется особый орган, с помощью которого они непосредственно распознают кастовую принадлежность любого человека, как бы он ни врал и ни притворялся.

На этот раз молодой священнослужитель, выполнявший роль моего проводника по святилищу Кондживерама, спросил меня напрямик, как случилось, что я согласился взять себе в слуги неприкасаемого? Неужели, мол, я не побоялся себя осквернить? Я не нашелся, что ответить, ибо слишком хорошо научился уже понимать индийское мировоззрение. Если первично психическое начало, если в сравнении с доказуемым воображение обладает большей реальностью, если предметный мир порожден представлениями, то предрассудки проводят такие же четкие границы, какие в материальной природе разделяют отдельные виды; в этих условиях представители различных каст несомненно становятся существами разных видов. В этом случае колоссальное значение приобретает вопрос о том, с кем ты общаешься, с кем вкушаешь пищу, дурная компания несет с собой угрозу не менее опасной заразы, чем тифозные бактерии. Причем в буквальном смысле и даже более того. Психика легко подвержена заразе, любое влияние проникает в нее и может поколебать ее изначальное устройство. Отсюда неизбежно следует вывод, что если определенное состояние психического равновесия считается единственно возможным в том смысле, в каком здоровье считается единственной альтернативой болезни, то, значит, нужно самым энергичным

образом предотвращать любые влияния, которые грозят нарушить это равновесие. Так поступает все человечество, если речь идет о поддержании здорового духа какой-либо школы, корпорации или армии. В Индии это происходит в самом широком масштабе, потому что там вся жизнь определяется «духом» того или иного рода. Эти «духи» имеют две особенности, делающие их трудно управляемыми: во-первых, в них заложена склонность к беспредельному дифференцированию, во-вторых, они крайне подвержены болезнетворным влияниям. Первая особенность привела с течением времени к тому, что индийская кастовая система усложнилась настолько, что непосредственное поведение стало для индуса просто невозможным; на каждом шагу он натывается на какой-нибудь предрассудок. Вторая заставляет его постоянно быть на чеку, он все время должен быть настороже, неустанно соблюдая строжайшие меры безопасности, какие у нас вводятся при вспышках чумы. Предрассудки искореняются с невероятной легкостью; немного лишнего знания, какое-нибудь научное открытие, и им уже конец. Так, например, в Европе на отмирание большинства предрассудков, которыми на протяжении тысячи лет определялся весь колорит жизни, потребовалось немногим более одного столетия. В Индии же, стране, где доминирует психическое начало, вся действительность определяется воображением; вместе с предрассудками исчезла бы и кастовая система — тот освященный временем костяк, на котором держится вся жизнь индийцев. И эти предрассудки так хрупки, что могут жить только в оранжерейных условиях. До недавнего времени всякий брахман, покидавший Индию морским путем, утрачивал свою кастовую принадлежность. Что совершенно справедливо, поскольку едва лишь брахман выйдет за рамки очерченных для него пределов существования, как неизбежно должна порваться вся сложная вязь представлений, фантазий и предрассудков, являющихся его атрибутом. А тем самым прекращается его кастовость.

Для индийца существует всего лишь один путь выхода за пределы, обозначенные его кастовой принадлежностью, — это путь познания. Постигнув свою идентичность с брахманом, он освобождается от всех воплощений; отрешившись от мира ради высшего просветления

нет больше до него дела. Саньяси, йог, риши свободен от кастовых предрассудков. Какая мудрость видна в этом учении! Действительно, познание переплавляет все естественные оковы; обладающий знанием уже ничем не связан. Но лишь обладающий знанием может позволить себе свысока смотреть на все предрассудки. Тот, кто слишком поторопился отбросить их, не обретает таким образом свободу, а, напротив, ставит себе преграду на пути к освобождению. Наше время иллюстрирует эту истину с ужасающей отчетливостью. Современное человечество разбило формы, строгое соблюдение которых придавало их предкам глубину, а поскольку оно не придумало вместо них новых, то оно год от года становится все поверхностнее и хуже. Исповедуемые им великие идеи свободы оно внутренне еще не постигло; таким образом, они идут ему во вред, а не во благо. *Quod licet Jovi, non licet bovi.*¹ С точки зрения жизни не имеет значения, какую идеальную и теоретическую ценность представляет данное состояние; единственное, что важно, это его соответствие или несоответствие данной душе. Насколько мудрее наших народных радетелей был араб Хаджи ибн Йокдан (Hadjji Ibn Yokhdan), который, достигнув просветления, все же воздержался от того, чтобы просветить своих собратьев и даже просил у них прощения за предпринятую было попытку этого рода! «Он просил у них прощения, — пишет ибн Туфайл (Ibn Tufail), — за сказанные при них слова, заверил их, что совершенно с ними согласен, и настоятельно им советовал оставаться при своих мнениях. Он говорил, чтобы они не поддавались чуждым влияниям, следовали бы примеру своих предков и ни в коем случае не допускали никаких новшеств. Для не обладающих знанием и слабых людей иного пути к спасению нет. Если они отбросят традиции, им будет только хуже; они утратят остатки душевной уверенности, их будет бросать из стороны в сторону, и все это для них плохо кончится». Однако насколько можно судить, Запад наконец решил тоже вернуться к более глубокому отношению к жизни. Ведь прагматизм представляет собой не что иное, как современное переложение мудрой мысли, высказанной арабом Хаджи Ибн Йокданом.

¹ Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (лат.).

Махабалипурам (Семь пагод)

Таким образом, пожалуй, мое паломничество по святыням южной Индии получило самое впечатляющее завершение, какое только возможно. На этом песчаном острове, скудно украшенном редкими казуаринами, чуть ли не каждый утес и камень превращены в художественные произведения. Из каждой скалы вытесаны то могучие слоны и быки, то изящные мандапамы, вершины увенчаны монолитными храмами, другие вырублены в склонах, а в ветреную погоду волны, перекатываясь через великолепные ступени, доплескиваются до дремлющих богов. Кто были те люди, которые создали эти миры? Следы их занесло песком. Когда-то весь Махабалипурам по мимолетной прихоти какого-нибудь раджи представлял собой, по-видимому, огромную мастерскую, где тысячи людей работали, не покладая рук, одни орудовали молотками, другие бурили, пробовали что-то новое, исправляли, редко доводя что-либо до конца, и также внезапно все было заброшено. Так предполагают, на самом деле никто ничего не знает. Сегодня здесь живут только бедные рыбаки и небольшая горсточка брахманов; тощие овцы ищут пропитание среди руин.

До глубокой ночи я просидел в воротах посвященного Вишну храма, который некогда располагался в глубине суши, ныне же с трех сторон омывается ненасытными волнами моря, я ушел лишь тогда, когда прибывающий прилив подступил к моим ногам. Рассказывают, что уже пять храмов поглотило море; дни этого храма тоже уже сочтены. Мое ожившее воображение торопит грядущие события. Я вижу, как наша состарившаяся планета, покрытая сплошными развалинами, остывшая и мертвая, продолжает свой бег в космическом пространстве. И эта картина не вызывает у меня печали. Ведь временное — это сокровище, которое хранит вечность. Если бы люди и все созданное их руками не были единственны, незаменимы, неповторимы, их существование не имело бы никакого значения. Конец чего-нибудь никогда не вызывал у меня душевного горя, зато как часто я испытывал его, сталкиваясь с тем, что, казалось бы, давным-давно должно было быть похоронено! Неужели люди никогда

не поймут, что все долговечное — временно, даже когда оно длится дольше того времени, которое потребовалось на его осуществление? Что тот, кто хочет удержать прошлое, совершает святотатство? Что он тем самым покушается убить вечное?.. От великого индийского искусства сохранились теперь лишь отдельные фрагменты; индийские художники, забывая о разрушительных силах, создавали свои композиции в основном из дерева. Они отлично понимали, что дело не в долговечности. Мне нравится думать, что они жили в духе Бхагават-Гиты: твори неустанно, но заведомо жертвуй плодами своих трудов.

Адьяр

По приглашению миссис Анни Безант я приехал в Адьяр, в расположенную в прекрасной местности штаб-квартиру Теософского общества. Как бы ни относиться к теософскому движению, невозможно отрицать заслугу теософов как первооткрывателей восточной мудрости. Хотя они, правда, трактует ее очень субъективно, в такой форме, которая искажает ее истинный характер. В соответствии с западным, а в частности англосаксонским темпераментом, теософия делает основной акцент на том, что для Востока считается несущественным, вследствие чего одно и то же учение фигурирует в теософии, по сравнению с индийским, как бы с обратным знаком. Так, например, перспектива бесконечных перерождений не представляется теософам чем-то ужасным, а, напротив, воспринимается как радостная весть; за редчайшими исключениями они нисколько не стремятся вырваться из круга перевоплощений. По своему жизнеутверждающему в практически-эмпирическом плане настрою они мечтают о том, чтобы подниматься по иерархическим ступеням живых существ подобно тому, как это происходит при карьерном росте. Все теософы, которых я встречал, в противоположность к индийцам, ценят индивидуальность. Такое смещение акцентов — вполне оправданное, поскольку очевидно, что приятие и неприятие жизни зависит от разности темпераментов — оказывает модифицирующее влияние на самое учение, при-

чем несомненно во вред философскому содержанию. С одной стороны, индийский спиритуализм в значительной степени преобразился в направлении английского материализма; в теоретических сочинениях уделяется такое подчеркнутое внимание формам проявления духа (которые в этом своем качестве, разумеется, носят материальный характер), что большинство доверившихся им читателей должны прийти к убеждению, что в этих формах и заключается существо дела, каковое убеждение характерно как раз для материалиста. Далее, в руках теософов индийское учение о сущностной самостоятельности индивида, усиливающейся с переходом на каждую последующую ступень, настолько отодвинуто в тень другим представлением, согласно которому индивид нуждается в руководстве со стороны, что теософская религиозная община, несмотря на все заверения противоположного толка, все больше и больше кристаллизуется в своего рода католическую церковь, в которой за главные добродетели признаются вера в авторитеты, служение и послушание. Но, вероятно, это было неизбежно. Очевидно, в ходе популяризации индийской мудрости среди представителей западного мира она не могла не подвергнуться значительному переосмыслению; католицизация объясняется веяниями времени; к тому же цель теософов состоит не в распространении индийских учений, а в борьбе за победу их собственной личной веры. Они — приверженцы новой религии. А в этом случае указание на научные ошибки не относится к существу дела.

Хотя в том что касается философии и метафизики теософы в качестве адептов индийской мудрости и не слишком преуспели, зато в одном отношении они оказались ее истинными апостолами, а именно — в оккультизме. И в этом смысле они для меня чрезвычайно интересны. Вот уже много лет я интересуюсь тайными учениями древности; из важных сочинений на эту тему я прочел все, что есть доступного для человека, не состоящего в оккультных обществах, и пришел к философскому убеждению, что в отношении утверждаемых фактов там содержится много истинного. Мы слишком высоко оценили бы человеческое воображение, если бы поверили, будто оно измыслило все то, что рассказывается об иных, «высших» мирах; огульно отрицать поразительное

совпадение того, что говорится во всех тайных учениях всех времен и народов, значило бы поступать вопреки всем правилам критики; было бы недопустимым упрощением безосновательно обвинять в сознательном мошенничестве людей, известных своей честностью. Вполне вероятно, что в тайных учениях сохранилось много ошибочного, многое в них идет от богатого воображения, много фантасмагорий. Но если, как это сделал я, взять на себя труд серьезного их изучения, то приходишь к убеждению, что не все там пустые фантазии, что многое определенно лежит в сфере возможного и с большой степенью вероятности существует в действительности.

Реальное существование многих странных феноменов, которые до недавнего времени считались невозможными, сегодня уже доказано; в реальности телэстезии, телекинеза, в существовании фактов материализации, что бы ни крылось за этими понятиями, сегодня может сомневаться только невежда. Я был убежден в их существовании еще прежде, чем они были доказаны; я знал, что они в принципе возможны, и, кроме того, полагал невозможным, чтобы такое множество не отличающихся богатым воображением людей могло так сходно описывать наблюдаемые ими странные явления, если бы они не основывались на существовании реального объекта. Серьезно углубившись в проблему взаимодействия между телом и духом, жизненной материей и жизненным началом, нельзя не прийти к заключению, что между движением нашей собственной руки и движением отдаленного предмета нет принципиальной разницы; то же самое относится ко всякому близкому или дальнему взаимодействию. Если я могу передать свои мысли соседу (с помощью слов, жестов, взгляда или психо-техническим путем — это в данном случае безразлично), то в принципе то же самое может происходить и между антиподами, ибо непонятность заключается в самом вопросе влияния духа на материю как таковую; если таковое возможно в том или ином случае, то подобное воздействие возможно в неограниченных пределах, так как между всеми точками универсума происходит взаимодействие каких-то сил. Именно в этом смысле я совершенно уверен в том, что еще ждет своего объективного подтверждения: в существовании различных уровней реально-

сти, соответствующих астральному, ментальному и т. д. мирам теософии. Несомненно, что процессы мышления и ощущения связаны с образованием и передачей образов и излучений, которые, не являясь материальными с точки зрения их фиксирования средствами современной физики, тем не менее безусловно должны рассматриваться как материальные. Любое явление *in ipso facto*¹ материально, т. е. в его понимании следует исходить из категорий силы и материи, к идеям это относится так же, как к химикатам: ибо форма, в которую облекается идея, в любом случае принадлежит царству феноменов, хотя содержание ее, несомненно, представляет собой ноумен, но опредмечивает ее именно форма, в которую она облекается, которая реализует ее и обуславливает возможность ее передачи. В случае устного или письменного слова материальный характер этих мысленных образований очевиден; но то же самое можно определенно отнести к ним и тогда, когда они существуют только в уме, поскольку и субъективные представления тоже представляют собой явления чего-то, ранее не существовавшего в мире наглядного, а следовательно, являются примерами материализации, относительно которых уже доказано, что они передаваемы, соответственно, объективно реальны. Продолжим нашу конструкцию: представим себе, что существует возможность непосредственного восприятия материальных образований, возникающих и исчезающих в процессе мышления и ощущения: это уже приводит нас в высшие сферы оккультизма. Практическая возможность такого процесса наукой еще не установлена; в принципе она, конечно же, существует, а если прочесть то, что рассказывает об этих сферах Ч. У. Ледбитер, уже не остается сомнений, что он знаком с ними не понаслышке, ибо все свидетельства, поддающиеся нашему контролю, поскольку они непосредственно связаны с нашей жизненной сферой, настолько правдоподобны, настолько соответствуют известному характеру психики, что было бы даже странно, если бы оказалось, что Ледбитер не прав. Однако главными доводами, убеждающими меня в справедливости утверждений оккультистов, являются соображения из области

¹ По самому факту (лат.).

критики познания. Несомненно, что та реальность, с которой мы, как правило, сталкиваемся на опыте, является лишь квалифицируемым фрагментом реальности в целом, чья таковость обусловлена нашей психической организацией (в этом и заключается истинный смысл учения Канта о том, что «мой мир — это представление»). Из этой достоверности вытекает следующая: если бы нам удалось приобрести иную организацию, то исключительно человеческие ограничения и нормы стали бы недействительны. Природа, которую мы воспринимаем своими чувствами и осмысливаем разумом, представляет собой, как сказал бы Икскуль (см.: Uexküll. Innenwelt und Umwelt der Tiere. Berlin, 1909), всего лишь «замечаемый нами мир» (Merkwelt); установленные Кантом и его последователями формы познания намечают только общий структурный план специфической психики (см. мои «Пролегомены к натурфилософии»), следовательно, если его границы подвижны, то возможно не только расширение намеченных Кантом рамок, но и выход за их пределы. Возможно ли это *de facto*¹, наукой не установлено; но мне представляется очень значительным то, что утверждения оккультистов от начала и до конца соответствуют постулатам критики: все они гласят, что опыт расширения и изменения познания зависит от развития новых органов; что обретение ясновидения — явление такого же порядка, как прозрение слепого, а переход на «высшие» уровни реальности означает не что иное, как частичный выход за кантовские рамки опыта. Во всяком случае, всем философам, психологам и биологам полезно было бы наконец-то серьезно заняться штудированием литературы. Среди прочих авторов, с которыми полезно было бы ознакомиться, я указал Ледбитера, хотя этот провидец даже среди своего круга не пользуется всеобщим признанием: я отметил его, потому что из всех сочинений такого рода его работы, несмотря на их зачастую наивный характер, представляются мне наиболее инструктивными. Среди остальных его, как мне кажется, отличает естественнонаучный подход к наблюдениям, он единственный, кто умеет описывать их просто и без затей. Кроме того, он в

¹ На деле, фактически (лат.).

обыденном смысле не достаточно одарен, чтобы выдумать описываемые им факты или, подобно Рудольфу Штейнеру, перерабатывать их в своем уме настолько, чтобы потом было уже трудно отделить конкретные наблюдения от домыслов автора. Интеллектуально он не справляется со своим материалом. И тем не менее я то и дело наталкиваюсь у него на утверждения, либо обладающие внутренним правдоподобием, либо соответствующие философским истинам: то, что он по-своему видит (зачастую не понимая, что это такое), выглядит чрезвычайно убедительно. Так что, вероятно, увиденное им существует в действительности.

Это отнюдь не значит, что я собираюсь отстаивать теософское учение в его нынешнем виде или иные дошедшие до нас оккультные системы. Что касается предлагаемого ими истолкования наблюдаемых фактов, то они вызывают у меня серьезные сомнения, что же касается самих фактов, то сам я не имею возможности проверить что-либо недоступное нормальному сознанию. Я не знаю, обитают ли на этом уровне фавны, есть ли там духи, стихийные духи и боги, каких более или менее единогласно приписывают этой сфере ясновидящие. Возможно, это и так; природа наверняка гораздо богаче, чем это представляется нашему ограниченному сознанию, а честный человек, утверждающий, что он чувствует присутствие астральных существ, в любом случае заслуживает нашего внимания больше, чем все критики вместе взятые, которые из соображений эмпирического или рационалистического характера отрицают такую возможность. И наконец, если взять самый исключительный пример, то с уверенностью можно сказать также, что один лишь медицинский подход не может до конца объяснить видения, возникающие у погруженных в экстаз боговидцев. Опыт этих людей говорит о таких переживаниях, которых даже приблизительно не может представить себе человек «нормального» склада, а о том, что их опыт нельзя отнести целиком к области фантасмагорий, недвусмысленно свидетельствует хотя бы то, что боговидцы в духовном отношении несомненно стоят на более высокой ступени, чем большинство остальных людей, и что именно они в древнюю историческую эпоху воплощали в себе не только самые мощные, но и самые благо-

датные силы. Самое распространенное возражение против боговидчества давно опроверг еще Аль Газали (Al Ghazzali). «Бывают люди, — пишет он, — слепые или глухие от рождения. Первые не имеют представления о свете и цвете, и им невозможно объяснить, что это такое, вторые не могут понять, что такое звук. Так же люди рассудочные лишены интуиции: разве это дает им право отрицать ее существование? Те, кому она дана, видят божественное духовными очами. Можно, конечно, сказать: «Расскажите нам, что вы видите!» Но какой прок описывать зрячему человеку местность, в которой тот никогда не бывал, даже от самого живого описания он все равно не сможет составить себе о ней правильного представления, не говоря уж о слепорожденных». Для того чтобы пережить опыт сверхнормального, по единогласному утверждению всех оккультистов, требуется переход на другой уровень сознания; следовательно, проверка оккультного опыта на нашем уровне сознания является a priori безнадежной затеей. Радикально скептический взгляд был бы оправданным в двух случаях: во-первых, если бы переход на другой уровень сознания, являющийся условием обретения нового опыта познания, в принципе был бы чем-то немыслимым; и во-вторых, если бы не указывались средства, которые вызывают этот переход. И та и другая предпосылка отсутствует. Существование различных уровней сознания с различными возможностями познания — действительный факт. Стрекоза видит не то, что видит морская звезда; мир человека богаче, чем мир осьминога. Между познавательными способностями разно одаренных людей, очевидно, существует не меньшая разница. Прирожденный метафизик непосредственно воспринимает духовную действительность, о существовании которой другие люди могут узнавать лишь опосредованно, все метафизики знают об этом по собственному опыту. Умный человек может познать больше глупого, ибо «понимание» есть такое же непосредственное восприятие специфических реальностей, как «видение», а глупый человек не способен понимать. Наконец, в состоянии гипнотического сна человек, как известно, обретает способности, которыми он не обладает в нормальном, бодрствующем состоянии. Таким образом, можно уверенно сказать, что разные уровни созна-

ния существуют. Что же касается пути, которым можно достичь такого его уровня, который необходим для оккультного опыта, то он описан с такой точностью, какая не оставляет желать ничего лучшего; причем между различными сектами в этом случае царит полное единодушие. Значит, отпадает и второе принципиальное возражение. Желая проверить утверждения оккультистов должен пройти тренинг, развивающий органы ясновидения. Только имея за плечами соответствующую выучку, но так ничего и не увидев, можно оспаривать правоту их высказываний. Если же это делают люди вроде нас, то это выглядит так же смешно, как если бы человек вздумал невооруженным глазом проверить правильность наблюдений астронома, произведенных с помощью телескопа.

Методика тренинга, ведущего к расширению и углублению сознания, больше всех прочих разрабатывалась индийцами. Как признают сами теософы в лице своих руководителей, своими оккультными умениями они больше всего обязаны индийской йоге. Об этом вопросе я имел подробные беседы с миссис Безант и Ледбитером. Оба, без сомнения, были искренни; оба утверждают, что обладают возможностями познания, из которых некоторые известны, так как встречаются при выходящих за рамки нормы состояниях, однако большинство неизвестны совсем; и оба утверждают, что выработали у себя эти способности. В частности, у Ледбитера изначально вообще не было никаких «психических» способностей. Что же касается Анни Безант, то с уверенностью я могу сказать только то, что эта женщина управляет своей личностью, опираясь на особый центр, власть над которым, насколько я знаю по своему опыту, доступна лишь очень немногим. Ее особое значение заключается в той глубине существования, из которой она управляет своим даром. Человек, хорошо умеющий обращаться с несовершенным инструментом, достигает с его помощью большего, чем неумелый с помощью очень хорошего. Миссис Безант так хорошо владеет собой — своими умениями, мышлением, чувствами, волей, что способна достигать больших успехов, чем иные, более одаренные. Этим она обязана йоге. Если йога может дать такие результаты, то, очевидно, способна и на большее; в таком

случае из всех путей, ведущих к самосовершенствованию, за ней следует признать право первенства.

Пользуясь богатствами адьярской библиотеки, я пополняю свои знания о йоге.¹ Сопоставив все, что содержится в индийских сочинениях, с йогическими предписаниями античных авторов, египтян, китайцев, христианской церкви и современной науки (а это вполне возможно сделать), я прихожу к выводу, что, за исключением еще неясного процесса выработки новых психических органов, по-видимому такого же недоступного для нашего познания, как возникновение самой жизни, появлению которой можно способствовать, но которую нельзя искусственно создать, главное здесь — выработка способности к концентрации; вторым условием является умение совладать с самопроизвольной психической деятельностью; третьим — витализация тех душевных процессов, которые должны стать преобладающими. В отношении конечной цели этого обучения между разными системами, естественно, возника-

¹ Классическим сочинением о йоге является Йога-сутра Патанджали (die Yoga-Sutras des Pataenjali), неоднократно издававшаяся в английском переводе; лучшим из них мне представляется перевод Рамы Прасада, хотя бы по той причине, что в нем содержится также лучший английский комментарий Вьясы (von Vyasa). Ряд важных трактатов по той же проблеме древне-индийской литературы содержится в книге Раджарама Тукарама (Rajaram Tookaram.) Compendium of the Raja-Yoga philosophy (Bombay, 1901. Theosophical Publication Fund series). Кроме этой книги можно обратить внимание на следующие сочинения индийской литературы: Chankarâchârya. Crest Jewel of Wisdom, Vijnana Bhikhu. Yogasara-Sangraba, Swami Sri Vidyâranyasaraswati. Jivanmukti-Viveka и Swatmaram-Swami. Natha-Yoga Prâdipika (все эти сочинения можно приобрести в Теософском обществе в Лондоне и у Отто Харрассовитца в Лейпциге). Из новейших работ можно рекомендовать в первую очередь сочинения Свами Вивекананды и превосходную книжку Кишори Лаи Саркары (Kishori Lai Sarkara. The Hindu System of Selfculture). Достойны внимания работы Анни Безант (Annie Besant. Thought-Power и ее же An Introduction in Yoga), а также гуманитарные («geisteswissenschaftlichen») работы Рудольфа Штейнера, хотя последние и не относятся, собственно говоря, к литературе о йоге. (См. об их особенностях мою статью: «Für und wider die Theosophie» в кн. «Philosophie als Kunst». Darmstadt, 1920. Otto Reichl. Verlag). Хороший общий очерк различных методов самосовершенствования дается в книге: J. Flagg. Yoga or tranformation, London, William Rider & Son.

ют расхождения; иногда в качестве ожидаемого эффекта выдвигаются волшебные способности, иногда — соединение с Богом, растворение в абсолюте или земное благополучие; в этом вопросе все учения сходятся только в одном — в том, что йога многократно усиливает жизненные способности. В вопросе техники расхождения сводятся к тому, что иногда акцент делается на психических, иногда на физических упражнениях, и предпочтение отдается то одним, то другим. Но смысл учения всеми понимается одинаково.

Этот смысл в своей истине настолько очевиден, что я даже удивляюсь тому, что практика йоги до сих пор не вошла в планы обучения всех воспитательных учреждений. Несомненно, что усиление всех жизненных сил является функцией их концентрации; несомненно, что концентрация составляет основу всякого прогресса. В любви, в любой страсти, способной «творить чудеса», психические силы выступают в концентрированном виде; сильная личность более собрана, чем слабая. Всякий прогресс в области познания основывается на обостренном внимании, прогресс в развитии характера — на концентрации разрозненных способностей вокруг некоей идеальной точки, духовный — на одушевлении психического комплекса глубинной самостью, что становится возможным только благодаря погружению в ее глубины, то есть благодаря концентрации. Концентрация, несомненно, представляет собой путь к совершенствованию; и если, как утверждает философия йоги, существуют такие средства, которые лучше всех других нам известных позволяют развить эту способность, то ими, очевидно, следует воспользоваться. Ценность второй цели йогических упражнений — подчинение самопроизвольной психической деятельности — представляется такой же убедительной. Каждое ненужное движение означает расходование сил. В нашем распоряжении есть только ограниченный запас энергии; чем меньше энергии растрачивается понапрасну, тем больше остается нам для разумного применения. Между тем обыкновенный человек растрачивает непростительно много сил на автоматическую игру воображения; в его сознании с бешеной скоростью один импульс бесполезно сменяет другой. Остановить этот процесс, значит сэкономить много сил, ко-

торые иначе были бы растрачены впустую; таким образом сила накапливается. А приучив себя останавливать автоматическую смену представлений подобно тому, как мы приучаем наше непоседливое тело вести себя спокойно, мы, очевидно, добиваемся полезного результата, потому что накопившаяся сила вызывает в организме такую перестройку, которая порождает в нас новые способности. В полезности спокойствия вообще не может быть никакого сомнения. Существенной особенностью всех сильных духом людей является то, что им не свойственна суетливость; что они по собственной воле включаются в работу и расслабляются и способны дольше концентрировать внимание на одном и том же предмете, чем те, кто слабее. Все дело в том, что такой человек сам распоряжается потоком своих представлений как хозяин, а не подчиняется его рабскому автоматизму; энергию, которой они обладают, они не расходуют непрерывно, а накапливают для нужного момента. Большинство упражнений йоги как раз способствует тому, что мистики называют успокоением души. Все виды медитации, независимо от того, фиксируется ли внимание на каком-либо внешнем предмете, на определенной идее или представлении или на пустоте, заключаются в том, чтобы принуждать сознание к сохранению неподвижности. С одной стороны, это представляет собой упражнение на концентрацию, но в основном это упражнение на сохранение неподвижности, и я по собственному опыту могу сказать, что именно эта, на первый взгляд бессмысленная и не раз осмеянная задача, является самой важной; ибо, не говоря уже о том, что поначалу для удержания в узде потока представлений требуется немалая концентрация, вызванный сознательным сохранением покоя приток сил вызывает усиление концентрации. Невозможно себе представить, какое большое значение для внутреннего роста могут иметь пускай и краткие, но регулярно проводимые упражнения в медитации. Несколько минут сознательного сохранения спокойствия по утрам дают для внимания больше, чем самая усердная работа по его воспитанию. На этом, кстати, основано и укрепляющее воздействие молитвы.

Третий существенный момент всякой практической йоги заключается в витализации желаемых представле-

ний. Его значение не вызывает никаких сомнений, ведь всем известно, что всякое воспитание в конечном счете основывается на суггестивном внушении. Но философия йоги кроме того утверждает, что влияние суггестии способно вызывать гораздо большие результаты, тем те, что доказаны наукой: якобы суггестия не только влияет на изменение психического равновесия, но способна привести в него новые элементы. Она предполагает, что если ты будешь внушать себе, будто бы обладаешь каким-то желательным свойством, которого у тебя раньше не было, то вскоре по твоему настоящему желанию оно у тебя появится. Если ты достаточно долго будешь мысленно представлять себе, что ты обладаешь неразвитыми у обычного человека органами астрального тела, они действительно у тебя появятся. Йога утверждает, что в психическом мире желание превращается в действительность. В принципе это положение отражает истину и вполне возможно, что дело обстоит так, как утверждают йоги. И склоняют меня к такому предположению те колоссальные, почти невероятные изменения, которые, как достоверно известно, происходят с теми, кто энергично занимается духовными упражнениями Игнатия Лойолы. Эти упражнения, разработанные выдающимся психологом, воздействуют через воображение; упражняющийся должен переживать в воображении то, что хотел бы по достижении цели испытать в действительности. Постепенно он действительно изменяется в направлении воображаемого идеала. Прошедшие школу медитативных упражнений (а к ним относятся отнюдь не одни лишь иезуиты) на деле в значительной степени обладают теми качествами, которыми должны обладать. Так что те, кто последовательно и неуклонно занимаются духовными упражнениями, воспитывая посредством их превосходные навыки концентрации и спокойствия, приобретают такие способности, которыми издавна славилась все члены иезуитского ордена и благодаря которым они недаром вызывали у окружающих суеверный страх: они становятся виртуозами по силе воли, акробатами разносторонности, мастерскими психологами, и как никто другой умеют управлять людьми. Потому что они — йоги; они научились владеть собственными душами, как атлеты своими телами; в этом их сила. Тип иезуитского патера в

его высшем проявлении воплощает в себе яркое доказательство достижений практической йоги.

Пример с орденом иезуитов заставляет меня вспомнить такую одну связанную с многочисленными недоразумениями сторону вопроса о йоге: веру в то, что потенцирование и перестройка жизненных сил непременно должны идти рука об руку с моральным и спиритуальным развитием. Сама по себе йога — это всего лишь особая техника и, как всякая гимнастика, может идти на пользу какому угодно духовному качеству, каким угодно настроениям. Неправы те, кто считает, будто бы моральное поведение и облагораживающий труд сами собой становятся необходимым условием приобретения «окультурных» сил; они лишь создают условия для спиритуализации, а это еще далеко не то. Правильнее, скорее, народное представление, которое считает мага духовным калеккой, своего рода Альберихом, который ради способностей к чародейству отрекся от всего человеческого. Ибо серьезные занятия йогой ради развития уже имеющихся и пробуждения новых психических сил (а не спиритуализации) требуют от человека такой степени отрешенности от всего, что дает душевную широту, такого исключительного сосредоточения на самом себе, что, пожалуй, немногие могут пройти такую школу без внутреннего ущерба. Все зависит от того, в каком духе, каким способом и ради какой цели человек занимается йогой. Так, например, иезуиты, в лице избранных своих представителей, пожалуй ничем не уступающие индийским йогам, упражнялись в духе предуказанной догматики посредством искусственного возбуждения заданных настроений, под знаком послушания и отказа от собственного мнения, с целью сделаться действенными орудиями церкви. Вследствие этого они не приходили к самостоятельному познанию, а вопрос убеждения, метафизической истинности вставал перед ними все меньше, и они все более превращались в обезличенные орудия того, чему посвятили свой обет послушания, достигая невероятной степени пригодности для исполнения предназначенной им роли. Тот, кто берется за йогу в духе предрасположенной веры, все более слепо в нее верует, тот, кто занимается ею с ярко выраженной эгоистической

целью, тот пестует свой эгоизм так, что он достигает огромных масштабов. Потому что йога потенцирует любые тенденции, которые ее последователь принимает как положительные. Среди прочих возможны и другие — высокие и благородные. Тот, кто без предубеждений стремится к познанию, с ее помощью все более к нему приближается, а тем самым и к моральному совершенству, святости и самореализации. Тот же, кто ставит себе наивысшую цель, редко попутно достигает магических способностей; эти силы лежат в другой области, и все великие святые считали их сторонними и уводящими от истинного пути. Дело в том, что они относятся к области «природы», которую необходимо преодолеть, если ты стремишься к спиритуализации. А поскольку овладение этой природой в той степени, какая недоступна обычному человеку, требует еще более исключительного внимания, чем земные интересы, то неудивительно, что успехи в ясновидении и т. п., как правило, сочетаются с инволюцией человеческих качеств. В сочинениях Ледбитера или Рудольфа Штейнера можно найти целый перечень указаний на то, что должен принимать во внимание человек, посвятивший себя духовному ученичеству, «чтобы не нанести ущерба своей душе; тот, кто будет следовать этому учению без должной защиты, неизбежно станет себялюбцем, если не был им изначально». Это не включает в себе упрека: ведь и художник, и поэт, и мыслитель, для того чтобы достигнуть выдающихся успехов в своем творчестве, должен в первую очередь думать о самом себе, о том, что полезно для его творчества и что вредно. Так вынужден поступать каждый, для кого собственная личность — инструмент, на котором он должен играть. Но художник, поэт и мыслитель, подчиняющие свою жизнь требованиям соответствующего ремесла, не утверждают подобно тем, кто посвятил себя «духовному ученичеству», что хотят спиритуализироваться. Поэтому нужно особенно подчеркнуть, что познание высших миров и спиритуализация отнюдь не связаны между собой неразрывной связью. Напротив, согласно народному представлению оккультист, как правило, в человеческом отношении неполноценен.

Йога представляет интерес в метафизическом смысле лишь потому, что, углубляя человека (ибо усиление

свойств всегда означает их углубление), она делает его все более однозначным. Компромисс — всегда продукт поверхностности; когда в процессе углубления поверхностное все более обездушивается, вся сила концентрируется в корневых чувствах, а они носят радикальный характер. На какой-то ступени йог становится либо любящим, либо ненавидящим, знающим или верующим, крайним эгоистом или альтруистом. На этом основана древняя вера в две школы магии — белую и черную, а в последней — вера в Ормузда и Аримана; сюда уходят корнями идеи радикального добра и радикального зла. На каком-то из низших уровней душа действительно видит перед собой две как бы равноценные альтернативы; она может излучать с одинаковой силой идущую от глубинных корней стихийную энергию как с положительным, так и с негативным знаком; компромиссы кажутся невозможными. Но это еще не означает крайнего предела. Крайним такое положение может казаться с точки зрения воли, ибо воля слепа, но познание проникает дальше ее предела. Обретшему познание открывается истина, что различие между добром и злом в корне совпадает с различием между жизнью и смертью, что только за позитивными силами стоит жизнь, непрерывно питаемая из неиссякаемого источника. Тот, кто по-настоящему это понял, будет руководствоваться этим в своих волениях и действиях; как говорит Гюйо (Guyaux): *...celui qui n'agit pas comme il pense, pense imparfaitement*. Человек неизбежно делает то, что позитивно. Здесь мы как бы в луче прожектора видим, насколько правы индийцы, полагая спасение в познании; здесь нам открывается причина неистребимой веры человечества в абсолютные ценности. Эти ценности просто мыслятся позитивно; негативные абсолютные ценности немыслимы. Само собой разумеется, они выражают существующие в сознании экспоненты самого глубинного и изначального желания духа, а изначальное и глубинное желание духа — это воля к жизни, т. е. его воля направлена на то, чтобы излиться с чистой, бескорыстной спонтанностью. На более высокой ступени — той, где воля как таковая выступает в качестве *primus movens*¹ — изна-

¹ Первичное побуждение (лат.).

чальный импульс раздваивается на две противоположные тенденции; они, в свой черед, продолжают разветвляться, то же самое и их ответвления, множась все больше по мере приближения к поверхности, они соединяются, сочетаются друг с другом, образуют анастомозы, невзирая на свой характер и происхождение, пока гуща переплетающихся ветвей не перепутывается до такой степени, что ни разобрать, ни различить ничего уже невозможно. Таким образом, все поверхностные образования можно истолковать как в позитивном, так и в негативном смысле; лишь очень редко можно с уверенностью судить о том, отнести ли какое-то действие к числу «добрых» или «злых». Так, всякая определенная жизнь обречена смерти. Но самая жизнь ничего не ведает о зле и о смерти.

В момент написания вышеприведенных рассуждений я еще не уяснял себе, до какой степени недоразумение, давшее им толчок, владеет умами теософов. С тех пор я узнал, что среди них очень многие стремятся главным образом к обретению «высших» способностей, в обладании которыми они видят признак успешного спиритического развития. Тем самым они как раз в том, что полагают достижением индийского идеала, проявляют всю европейскость своего мышления; ими владеет истинно западный дух экспансионистской устремленности, погони за богатством, за внешним успехом; ибо не что иное, как именно это, означает стремление овладеть сиддхами.

В действительности между теософами, стремящимися подняться в высшие миры, и американскими охотниками за полезными ископаемыми не больше разницы, чем между этими охотниками и древне-индийскими риши: экстенсивное расширение сознания представляет собой прогресс в чисто биологическом смысле. Не более того. Оккультист, чьи органы позволяют ему заглянуть в гиперфизические сферы, в биологическом смысле имеет перед обычным человеком такое же преимущество, как инженер с техническим образованием обладает перед доисторическим человеком эпохи свайных построек. Если бы теософы признавали свои изыскания светскими, против них нечего было бы возразить; лично я отношусь к ним вполне сочувственно, так как считаю весьма

отрадным тот факт, что наконец-то значительное число людей, пускай даже исходя из ошибочных представлений, систематически занялось оккультизмом. Однако нельзя отрицать, что наивная вера этих людей, будто бы они идут путем, ведущим к спасению, тогда как в действительности это всего лишь погоня за светскими благами, делает их немного смешными.

Странно, что люди до сих пор так и не поняли, что прогресс и спиритуализация лежат в разных измерениях, хотя все великие религиозные учителя, начиная от Будды и кончая Христом, твердили о том, что их нельзя путать. Я попытаюсь изложить в ясных словах, в чем состоит их разница. Спиритуализация означает самореализацию; в ее ходе явление пронизывается своим глубочайшим смыслом; оно одушевляется живым глубинным содержанием, которое можно назвать как угодно: атманом, мировой душой, Богом, жизненным началом и т. д. Из этого определения недвусмысленно явствует, почему никакой биологический прогресс как таковой не вызывает спиритуализации: в ходе прогрессивного развития расширяется сфера того, что может быть одушевлено духом; однако произойдет ли такое одушевление — это уже другой вопрос. Как правило, этого не происходит, пока длится процесс развития, ибо, хотя расширение и углубление в принципе не являются чем-то взаимоисключающим, на практике одно исключает другое, ведь никакой, кроме разве что из ряда вон выходящей, витальности не хватит на то, чтобы во всей полноте проявить себя одновременно в обоих направлениях. (В этом заключается причина того, почему из всех земных существ самым неспиритуальным оказывается устремленный к прогрессу западный человек). По окончании пароксизма прогрессивного развития, когда эволюционный импульс сменяется закрепительным, спиритуализация некоторое время тоже не торопится начинаться. Естественно, новосозданное тело не может служить духу послушным средством выражения; последнему не удастся сразу же его одушевить; человек остается поверхностным, не умея еще пробиться сквозь неизученные и непознанные области к своим живым глубинам. Этим объясняется, почему многие пророки провозглашали блаженными простодушных, нищих духом, слепо верующих: по сути дела это неспра-

ведливо, так как одаренный и образованный человек всегда стоит выше, чем глупец. Однако первому из-за его богатой и сложной природы труднее пробиться к глубинным основам, чем простаку, который на этом пути встречает меньше препятствий; поэтому-то среди простоватых людей действительно чаще встречаются проникнутые духом, нежели среди одаренных. На этом основана правда, заключенная в христианском прославлении тружущихся и обремененных в противоположность счастливым. Как таковое оно тоже включает в себе ошибку: все великое проистекает из радости, живущий в духе — сам воплощенная радость. Однако несчастный человек, у которого нет причин радостно принимать внешние обстоятельства, скорее отыщет путь к своим душевным глубинам, чем счастливчик, который на каждом шагу встречает соблазн остановиться и задержаться; по этой причине печаль и горе на практике становятся лучшими путеводителями на пути к Богу.

Что же является показателем спиритуальности, ежели прогрессивное развитие его не обозначает? Совершенство. Степенью совершенства, и только ею измеряется степень одухотворенности. Если совершенство означает наполнение явления его глубинным смыслом, то одновременно оно означает наиболее полную реализацию его возможностей. Не я первый понял, что «единственное, что необходимо», — это совершенство, прежде так сказал еще Будда, назвав себя «совершенным»; главным признаком китайского «мудреца» и «благородного человека» называется совершенство, и еще на раннем этапе христианства идея совершенствования в достижении идеала была признана как главная цель на пути к святости. Идея совершенства действительно включает в себя все; ведь реализовать в себе бога означает не что иное, как реализовать в действительности имеющуюся в себе возможность. Отсюда должно быть ясно, почему стремление к прогрессивному развитию и стремление к духовности практически исключают одно другое: тот, кто стремится к дальнейшему развитию, ведет поиск новых возможностей, тот, кто ищет Бога, стремится осуществить те, что имеются. Тому, кто стремится к совершенству, не нужно ничего отвергать или изменять; если идеал заключается в совершенстве, то по идее равноценны все

возможности. В подтверждение того, что совершенство действительно означает идеал духовности, можно привести еще одно критическое соображение. Все спиритуальные ценности — красота, истина, доброта — отмечены признаком абсолютности; этого их существенного качества невозможно оспорить никакими скептическими доводами. Что же это значит? Объективность рационалистического понятия абсолютного можно подвергнуть сомнению; оно держится на *petitio principii*¹, поэтому если мы, доказывая красоту художественного произведения, приведем в качестве довода то, что оно причастно идее абсолютно прекрасного, это мало что добавит к познанию. Существо или предмет воплощают в себе абсолютную ценность в том случае, если заложенные в нем возможности получили предельно законченное, совершенное воплощение. И не следует думать, что в слове «предельное» в свою очередь в завуалированном виде присутствует *petitio principii*; о «предельной» законченности можно говорить вполне объективно, ибо все конкретные возможности ограничены; для каждого существа имеется предельная степень самореализации. Если она будет достигнута, то, как по мановению волшебной палочки, оказываются вдруг выражены и абсолютные ценности: когда полностью реализованы физические возможности, мы видим прекрасное, при полной реализации способностей духовно-интеллектуальных — истину; при законченной реализации человечески-нравственных возможностей получаем богочеловека. Совершенство — это спиритуальный идеал.

И тут явственно проступает ошибочность всякого прогрессизма там, где речь идет о спиритуальной реализации. Поскольку совершенство является показателем спиритуальности, поскольку степень совершенства выражается степенью спиритуальности, то становится очевидным, что завершенность более низкого состояния ближе к Богу, чем незавершенность более высокого. Совершенная физическая красота более духовна, чем несовершенная философия, совершенное животное более

¹ Логическая ошибка, заключающаяся в том, что вывод делается из такого положения, которое само еще требует доказательства (лат.).

спиритуально, чем несовершенный оккультист. Атман полностью выражается в самом малом, когда он обладает законченностью. Вообще внешняя ограниченность не означает внутренней, поскольку спиритуальность есть начало и как таковое не имеет фактора экстенсивности. Мировое начало или принцип с такой же полнотой выражается одной манерой, как и стотысячекратным брахманом. Принцип же — это то первоначальное, вечное, что переживает весь круговорот рождений и смертей. Отчего многие высказывания античных мудрецов мы находим более глубокими, глубокомысленными, чем все сказанное позднее, несмотря на то что многие их представления впоследствии оказались ошибочными? Оттого что они, обладая очень несовершенными средствами, умели в совершенстве выразить принципиальный смысл своих воззрений. Эти высказывания верны по существу; какими бы ошибочными они ни казались на поверхности и каких бы успехов ни достигло познание, выработанные ими понятия никогда не будут опровергнуты. Так спиритуальность побеждает до самой смерти. Форма за формой исчезали на протяжении истории познания, а вместе с ними дух тех, кто целиком растворился в этих формах. Но те немногие, для кого эти формы служили лишь средством выражения скрытого в глубине смысла, те, что сумели без остатка воплотить в них этот смысл, они продолжают жить. Время никогда их не уничтожит. А порой я даже готов верить, что и человек как личность также может обрести бессмертие в этом смысле. Тело его, конечно, обречено смерти; душа его, разумеется, тоже когда-то рассеется. Принцип же существует нерушимо. Он объективно пронесет свою действенность через все воплощения, как по эту, так и по ту сторону могилы, в каком-то неведомом смысле. Его носитель меняется; он не догадывается или догадывается лишь смутно, что вечен в своей сущности. А те редчайшие из людей, кому удалось закрепить своим сознанием в сущности, те знают о себе, что они бессмертны. Для такого человека смерть более не означает конца...

Может быть, прогрессивное развитие (в биологическом смысле) вообще никак не связано со спиритуализацией? Так что стремление теософов вырабатывать у себя оккультные в их понимании силы означает радикальное

недоразумение? Такая связь действительно существует, но в другом, чем они думают, смысле. На каждой последующей биологической ступени дух приобретает новые возможности самовыражения. Разумеется, не в абсолютном масштабе, ибо любое приобретение оплачивается в природе, хотя и не чрезмерными, но все же утратами; у человека отсутствуют многие способности присущие животному; мудрец в каких-то вещах уступает мирянину. Но, тем не менее на каждой последующей ступени дух выражается все более свободно. В этом отношении, если судить по человеческим меркам, он лучше проявляет себя на каждой более высокой ступени. Таким образом, мы как эмпирические существа не только с темпоральной, но и со спиритуальной точки зрения заинтересованы в том, чтобы двигаться вверх по ступеням творения. Для нас не имеет значения, в форме ли прекрасного достигли мы совершенного одухотворения, ибо только то, что мы осознаем, получает для нас значение; для нас существует только тот опыт, который мы как субъекты пережили и поняли. Возможности познания действительно расширяются и обогащаются благодаря психическому развитию. Но здесь встает вопрос: что же в конечном счете важнее — видеть или быть? Очевидно, важнее быть. Познание — это предварительное условие для обретения духовного значения, которое еще предстоит претворить в жизнь. Таким образом, желательность психического совершенствования выражает лишь неизбежность окольного пути для существ определенного рода; оно не способствует сокращению этого пути. А как показывает опыт, следуя этим путем, люди реже достигают цели, чем без него. Отсюда, повторим это еще раз, проистекает спиритуальное преимущество простоты и тот поразительный недостаток спиритуальности, которым отличается большинство людей, одаренных психическими способностями. Так как же тут быть? Путь указан древнеиндийской мудростью, согласно которой «лучше следовать пускай самой низкой, но собственной дхарме, чем самой возвышенной, но чужой». Каждое существо должно стремиться только к собственному специфическому совершенству, в чем бы оно ни заключалось. Призванный к деланию должен достигнуть совершенства как делатель, художник — совершенствоваться

в своем искусстве; к святости же должен стремиться только тот, для кого она является его предназначением, и только тот, кто рожден ясновидцем, должен совершенствоваться в оккультизме. Стремясь к совершенству в той области, которая не соответствует твоим внутренним возможностям, ты только понапрасну будешь терять время и никогда не достигнешь желаемой цели. Зато ее несомненно достигнет в конце концов тот, кто неизменно следует собственной дхарме, куда бы она его ни вела. Причем не только в смысле спиритуального, но также и биологического совершенства. Каждая до конца исчерпанная возможность, словно феникс, сама порождает новые возможности. Подобно тому как, исчерпав все, что может дать юность, человек приобретает способности, свойственные зрелости, совершенное воплощение в жизни всего, за чем стоит некое живое начало, открывает перед нами новые жизненные возможности. Вовеки будет истинно то, что мифическим языком выражено в изречении Иисуса Христа: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». Стремиться только к совершенству, и биологический прогресс явится сам собой. Это единственно возможный способ, в котором соединяются стремление к прогрессу и стремление к спиритуализации; стремясь в первую очередь к прогрессивному развитию, никогда не достигнешь совершенства. Замечательно выпукло выражено истинное положение дел в мифе о переселении душ: тот, кто, занимая в жизни низкое положение, честно исполняет свою дхарму, переродится в более высоком воплощении; тот, кто избрал путь святости, в каждом новом воплощении будет обретать все более благоприятные жизненные условия. Тот же, кто совершенно бескорыстно стремится к спиритуализации, может не только на протяжении всего одной жизни пройти все стадии, но может даже во время телесного существования обрести окончательное освобождение (стать дживанмуктой), это действительно возможно, потому что это освобождение, независимо от случайностей жизни и смерти, состоит в единении сознания с основой жизни.

Я выслушал множество рассказов о том, что происходит в иных мирах и как они выглядят. Некоторые из моих собеседников просто верят в то, что рассказывают, но

некоторые из них убеждены в том, что все это знают, и повествуют о невероятных вещах с таким же деловитым спокойствием, с каким естествоиспытатель докладывает о проведенных недавно экспериментах. Я попадаю в несколько странное положение: мне неизвестно, что в их утверждениях объективно истинно, и не имею возможности это проверить. Однако я не могу отвергать это как совершенно невозможное и даже не могу с уверенностью сказать, что это лежит за пределами вероятности, поскольку не владею критериями, по которым можно судить о потусторонних сферах. Впрочем, у меня и не возникает такого желания: я то и дело сталкиваюсь с высказываниями, поражающими меня своей внутренней достоверностью; то и дело я в душе невольно с ними соглашаюсь, чувствуя, что это и не может быть иначе, и что я сам знаю — это именно так. Однако я не решаюсь серьезно принимать этот анамнез, поскольку сказки, будучи порождением человеческого духа, всегда воспринимаются человеком как правда, гораздо более достоверная, чем все, что происходит в нечеловеческой природе, да к тому же во всякой душе живет жажда чудесного. Поэтому ради собственного спокойствия я на время отключаю в себе ученого, чтобы с детской непосредственностью предаться новым впечатлениям. Я впускаю в душу каждое сообщение; некритично воспринимаю любые идеи и охотно предоставляю хиромантам изучать линии моей ладони, френологам — форму моего черепа, а астрологам мой гороскоп.

Как же богата должна быть жизнь тех людей, которые верят в такие вещи, о существовании которых толкует теософия! Люди просто банально-суеверные иной раз под настроение вызывают у меня искреннюю зависть; одно время я даже сам приучил себя на время моего пребывания перенимать суеверия тех мест, куда меня заносила судьба, ибо признание мистических связей придает жизни удивительную красочность. У теософской же системы есть еще и то преимущество, что она доставляет удовольствие не только воображению, но и разуму. Если допустить, что она истинна, это бы в значительной степени оправдало существующий мир перед судом рассудка. Хотя меня-то как раз смущает чрезмерная рациональность теософского представления о мироустройстве.

Ведь чаще всего разум так неглубоко проникает в суть вещей, все существенное обыкновенно так иррационально, а в теориях обнаруживается тем больше слабых мест, чем существеннее объекты, о которых они трактуют. Так неужели же столь упрощенная схема может отражать смысл действительности? Если да, то лично мне было бы жаль... Решить этот вопрос вряд ли возможно... Быть может, теософия, вопреки моим философским сомнениям, все же права. Не все ведь так складно в этом мире. Мне же остается только надеяться, что теософские теории представляют собой всего лишь приблизительные аллегории.

Впрочем, я бы и сам рад побывать в шкуре тех, кто произвольно переходит с одного уровня существования на другой; их жизнь должна быть очень богата разнообразием. Сколько раз в своей жизни я мучился оттого что вынужден все время обретаться в одном и том же теле, сообщаться с миром с помощью одних и тех же органов! Насколько лучше тому, кто научился выходить из своего тела и воспринимать картины природы с помощью других чувств. Таким людям не скоро наскучит существование! К сожалению, среди моих знакомых люди, которые, как мне кажется, могут претендовать на такие способности, позволяющие им изменять форму своего существования, страдают болезнью всех специалистов: они слишком переоценивают значение своего искусства; они ошибочно полагают, что могут приблизиться к атману, меняя место своего пребывания, и утверждают, будто чем недостижимей эта сфера, тем более высокая степень реальности в ней воплощается. Поэтому у них не найдет должного понимания мой вопрос: истинно ли возвещенное Иисусом пророчество о том, что первые однажды станут последними, в том смысле, что каждая сфера предлагает особые возможности выражения, благодаря которым тот, у кого в земной жизни все получалось лучше, чем у других, в астральном мире может оказаться самым беспомощным, зато тот, кто по земным понятиям слыл мечтателем и неудачником, лучше всех будет чувствовать себя в этой тонкой сфере? Я сильно склоняюсь к тому, что это так, с той оговоркой, что мне неизвестно, существует ли этот астральный мир. Но я никогда не поверю, пока мне этого не докажут, что люди не от мира

сего непременно лучше других: либо одна предрасположенность стоит другой, либо же достоинство определяется тем, что получило свое выражение на земле. Лично я твердо убежден, что главный выбор происходит на земле, а те, кто ставит посмертную жизнь выше, пребывают в заблуждении. Поскольку мне ничего об этом неизвестно по собственному опыту, я ничего не могу уверенно утверждать. Но я внимательно изучал, что сообщали об этом другие, а их слова говорят в пользу моего мнения. Наша многожды порицаемая земная жизнь имеет все же то преимущество, что она оказывает серьезное сопротивление. Только из обладающих сопротивлением материалов могут формироваться субстанциальные образования, только там, где имеется сопротивление, возможно прогрессивное развитие; в этом отношении земная жизнь предоставляет нам для этого наилучшие условия. В священных книгах индийцев также говорится, что из всех рождений самое благоприятное — это рождение в образе человека, и даже боги для того чтобы преодолеть свою божественную стадию, должны родиться людьми, в своем слишком текучем мире они вечно пребывали бы богами; человек же, если захочет, может прямоком перейти в Нирвану. Я вполне могу представить себе таких людей, которые лучше чувствуют себя в иных мирах, нежели здесь, но это слабые, бессильные люди. Тот, кто может выразить себя отчетливо, в абсолютном смысле стоит выше того, кто только витает в мыслях и бормочет что-то несвязное. Для того чтобы витать в мечтах, что-то смутно чувствовать, предаваться своим чувствам и настроениям, не много надо. Лишь когда слово воплотится, оно полностью реализуется. И эта реализация лучше всего возможна на земле. Поэтому что до меня, то, чем больше я узнаю о других возможностях жизни, тем решительнее стою на том, чтобы хорошенько использовать эту. То, чего можно достигнуть в этой жизни, настолько значительно, что представляется неважным, если человек, способный сполна выразить себя в земной своей жизни, затем оказывается несостоятельным в иных сферах. Если бы Одиссей спросил оплакивающую свою участь тень Ахилла, согласен ли он во имя улучшения посмертной жизни отказаться от своего героического прошлого, тот отвернулся бы с презрением.

Большинству теософов такие рассуждения не по душе. Они сами верят и хотят, чтобы все верили так же, к любым попыткам критиковать их догмы они относятся не менее враждебно, чем какое-нибудь религиозное общество. Как мало влияет на основы человеческого характера даже самое широкотерпимое вероисповедание! Большинство теософов не сознают, что среди прочих форм религии их собственная тоже может претендовать лишь на частичную правоту. (Ведь теософия, несмотря на все уставы этого общества, это тоже своего рода религия, иначе она не имела бы живого начала.) Неужели человечество никогда не повзрослеет и не преодолет представления о том, что какая-то определенная религия является единственно истинной? Опасаюсь, что это так, ведь такое представление всегда напрашивается само собой, а его мнимая истинность кажется такой очевидной. Вероятно, теория о том, что только верующий может обрести спасение, соответствует истине лишь постольку, поскольку только тому, кто осознал свою бессмертную сущность, кто возжег в себе божественный свет, открывается надежда обрести жизнь после смерти. А так как всякий основатель религии по своему опыту знает только один способ зажечь этот свет, нельзя удивляться, когда он говорит: кто мне не верит, тот будет осужден.

Во многих, слишком многих, отношениях стародавние человеческие заблуждения не снимаются, а напротив возрождаются в теософской вере. Сегодня, под впечатлением от большого числа психопатов и невропатов в рядах теософского общества, я обратил внимание на старинное обыкновение преувеличивать роль различных болезненных состояний. В этом, разумеется, нет ничего удивительного: несомненно, что болезнь представляет собой позитивное состояние, являясь не столько отрицанием гармонического равновесия, сколько особой его формой, которая для выполнения многих задач бывает полезнее нормы. Недавно я имел случай вновь в этом убедиться, когда мне (по вполне уважительным причинам) показалось, что я заразился чумой. Как это всегда бывает со мной, мне достаточно было вообразить такое, чтобы по-настоящему заболеть, причем настолько серьезно, что я почувствовал себя на грани смерти; все эгои-

стические интересы исчезли, как не бывали, я был совершенно свободен, все душевные силы устремились в бесконечность, и это придало моему восприятию реальности такую интенсивность, какая мне обыкновенно не свойственна. Так называемое нормальное сознание не так уж богато, хотя бы потому, что оно по преимуществу является сознанием тела. Пока жизненная энергия одушевляет его в полной мере, направленность психических сил по большей части сосредоточена на едином центре — биологически это, несомненно, представляет собой оптимальное состояние, — душа же делает, желает и познает то, что соответствует физическому организму. Когда же тело как носитель жизни по каким-либо причинам не справляется со своими задачами или когда оно намеренно лишается этих возможностей, сознание расширяется у всякого, в ком заложена такая вероятность. Тут уж душа живет в собственном мире, не стесняемая физическими границами тела. Отсюда удивительная умиротворенность, наблюдаемая у многих умирающих и тяжело больных людей, отсюда так часто встречающееся сочетание могучего духа и слабого тела, отсюда идет идея умерщвления плоти, искусственного ослабления тела при помощи поста, бдения, бичевания и прочего тому подобного. Несомненно, что насильственные меры такого рода способствуют расширению и потенцированию сознания. Тут возможно и множество других средств, которые, насколько мне известно, никогда не применялись. Так, например, у натур с богатым душевным миром к замечательным результатам ведет такое, по-видимому, никогда еще не применявшееся с этой целью средство, как ослепление. Однажды после глазной операции я некоторое время побыл слепым и должен сказать, что этот период относится к числу самых богатых в моей жизни; он был настолько богатым, что, вновь обретя зрения, я почувствовал себя обедневшим. Во время слепоты моя духовная жизнь не нарушалась никакими внешними и посторонними впечатлениями, так что я мог непрестанно наслаждаться ее самостоятельной деятельностью. Осознание этой деятельности было у меня гораздо более интенсивным, чем обыкновенно: внезапные мысли, которые обычно бывает так трудно ухватить, являлись мне словно высвеченные на темном фоне, проступая на нем

необыкновенно выпукло. Отсутствие какого-либо важного органа не только обостряет все остальные, но вынуждает их взять на себя новые функции, а это со временем так изменяет общую картину, что вскоре у меня пропало ощущение какой-то утраты, а возникло чувство, как будто у меня появилось новое, чрезвычайно интересное мировосприятие, подобное тому, какое может быть у безглазого животного.

Таким образом, та точка зрения, которая усматривает в болезненном состоянии нечто высшее, достаточно подкреплена фактами; тем более так должны думать теософы, видящие свой идеал в способностях, выходящих за рамки того, что считается нормой. И тем не менее она в корне ошибочна; обладание высшими способностями в состоянии, отклоняющемся от нормы, ничего не значит, оно никоим образом не доказывает внутреннего прогресса; то, что выходит за рамки нормы, достигнуто здесь ценою утраты или ухудшения нормальных способностей, и, следовательно, если не куплено (в большинстве случаев) с переплатой, то, по крайней мере, не принесло чистой прибыли. Благочестивые души нередко изумляются неоспоримым моральным изъясам знаменитых «святых»: а все дело в том, что их необычайные способности частенько являются не нормальным проявлением высшего бытия, а всего лишь случайным продуктом болезненного нарушения обыкновенной уравновешенной психики. От таких «святых» всего лишь один шаг до обычного медиума, который, как правило, никуда не годится в человеческом отношении. В болезненном состоянии буквально ничего не стоит быть умиротворенным, отрешенным, сверхвосприимчивым и даже ясновидящим; попробуйте вылечить такое существо, и в нем тотчас же обнаружится человек среднего пошиба. Именно это они и есть, такими они выглядят перед Богом. Коли человек занимается магией как ремеслом, тут вообще нечего говорить; ему просто необходимо поддерживать в себе то состояние, от которого зависит достижение требуемых результатов. Таланты, проявляемые психопатами, тоже не умаются фактом их человеческого убожества: ведь и жемчужина появляется в результате болезни устрицы. Не следует также всякого человека, у которого необычайные способности сочетаются с болезненными

чертами, объявлять патологическим случаем; если Магомет и святой Франциск страдали истерическими припадками, то подобное можно также сказать о Наполеоне и Цезаре; сложнейшие механизмы, работающие в условиях повышенного давления, часто дают сбой, но это еще ничего не значит. Цезарь не был эпилептиком по существу, и только чудовищное духовное напряжение, с которым он жил, получало таким образом естественный для него выход, то же самое можно *mutatis mutandis*¹ отнести к очень многим духовным гигантам. Однако следует все же покончить с суеверным представлением, будто бы чудесные способности, приобретенные ценою болезненного перенапряжения, делают их обладателя существом высшего порядка. Расширение сознания и его сферы действия может служить признаком биологического прогресса. Но лишь в том случае, когда новое добавляется к старому, а не вытесняет его. Всякое болезненное состояние — это абсолютный недостаток; высшим существом может быть признан только сиддха, который в остальном представляет собой не что иное, как нормального человека; только он может считаться примером.

Все, что я здесь сказал всем индусам, обладающим, в отличие от их европейских последователей, знанием, вероятно, показалось бы чем-то само собой разумеющимся. Можно только восхищаться тем, насколько правильно они всегда разбирались в этом вопросе. У древних гуру хорошее здоровье, крепкая нервная система и надежная моральная конституция всегда считались основным требованием, предъявляемым к будущему ученику. Заложенная от природы способность к духовидению считалась у них симптомом заболевания мозга (не потому что не бывает духов, а потому что их зримое появление перед глазами не прошедшего соответствующего обучения человека означает патологический сдвиг нормального сознания). Они принимали в обучение только совершенно здоровых людей; но из таких учеников, как сообщают предания, не все проходили обучение до конца, так как в большинстве случаев их нервы не выдерживали такого напряжения, и им приходилось бросать учение. В любом случае ни одно движение, возникшее под

¹ С известными оговорками (лат.).

влиянием индийской йоги, не должно забывать ее основной постулат: для йога существенно здоровье; йог полный хозяин над своими нервами, он всегда сохраняет душевное равновесие, он во всех отношениях совершенно нормален. Кроме того, им не следует забывать, что индийский йог — и в первую очередь тот, который более других продвинулся на этом пути — не признает умерщвления плоти. Хотя он и ведет аскетическую жизнь, т. е. такую, какая более всего способствует духовному развитию, однако он никогда не занимается умерщвлением плоти. Он не признает ни неумеренного поста, ни бдения, ни строгого соблюдения правил; в питании он выбирает такую диету, которая укрепляла, а не ослабляла бы его естество, и культивирует в себе постоянно радостное, жизнеутверждающее, оптимистическое душевное настроение. И наконец, никогда нельзя забывать еще и того, что даже если человек действительно стоит на более высокой биологической ступени развития, это вовсе еще не значит, что он представляет собой существо высшего порядка. Человек в биологическом отношении стоит выше животного, однако среди нас хватает глупцов и негодяев, а низкий человек зачастую стоит ниже обезьяны. Таким образом, к сожалению, очень многие среди тех, кто выработал в себе высшие способности, являют собой, по-видимому, представителей более высокой ступени природной иерархии, но не слишком достойных. Почитать их как богов было бы неправильно. Правильно оценив их существо, мы скорее отдадим должное их особенностям; тогда мы уберемся от опасности нанести вред своей душе слепым подражанием и не впадем в искушение из-за обнаруженных слабостей отвергать заодно и все положительное. Несомненно, что не только Будда и Христос, но и Магомет, и Уолт Уитман, и Сведенборг, и Уильям Блейк и еще многие из менее великих стояли, в биологическом смысле, выше нас. Но они не были ни совершенными, ни всеведущими, а также не были свободны от множества серьезных недостатков. Они были средними представителями более высокого биологического вида.

Повнимательнее присмотревшись к основной массе теософов, невольно захочешь усмехнуться над их заяв-

лениями, будто бы они составляют ядро новой «расы», которой суждено положить начало великой культуре будущего. В своем преобладающем большинстве это люди весьма посредственного умственного уровня, склонные к суеверию невротизма, радеющие о собственном спасении с некоторым затаенным злорадством, которым всегда отличались люди, верящие в свою избранность. Хотя и не исключено, что история докажет оправданность их заносчивых притязаний. По всей вероятности, зерно тех учений, которые наряду с прочими религиозными общинами разделяют и теософы, в скором времени сделается вероисповеданием миллионных масс (не забудем, как много среди приверженцев теософии женатых людей!); под каким знаменем произойдет официальное пришествие этой религии (если таковое состоится), заранее не предскажешь; возможно, это будет теософия. Какое религиозное сообщество не началось сперва с людей простых и незаметных? Ни Павел, ни Августин, ни Кальвин, как и никто другой из светочей позднейшего христианства, никогда бы не примкнули к Иисусу при его жизни. Люди значительные не могут становиться учениками, для них это физиологически невозможно. Хотя они очень даже способны подчиниться какому-либо идеалу, институту, объективному духовному течению, но стать последователем живого человека без признанного авторитета, а просто такого, как он есть, и подчиниться ему мешает им не только гордость, но, главное, внутренняя правда их природы; видя перед собой всего лишь человека с человеческими недостатками и слабостями, они не могут поверить в его божественность. Ведь даже в Индии, стране веры *par excellence*¹, ни один из известных мне основателей религий не имел при жизни последователей из числа выдающихся людей. Первыми сплываются вокруг центра новой веры исключительно нищие духом, суеверные, психопаты, ибо как раз у них-то есть потребность в руководителе; за ними приходят простые люди практической жизни, как правило под влиянием женщины, и лишь тогда, когда история принимает тона мифа (что, впрочем, на Востоке иногда происходит с

¹ По преимуществу (лат.).

молниеносной скоростью), когда уже никакие реальные факты не мешают процессу идеализации, вслед за ними приходят первые выдающиеся характеры. Таким образом, может случиться, что члены нынешнего теософского общества, если им улыбнется удача, действительно войдут в историю как пионеры этого движения.

Более или менее вникнув в механику религиозного исторического развития, ты уже ни о каких явлениях не станешь уверенно утверждать, что они невозможны. Здесь ни в чем не действуют те необходимые причинно-следственные отношения, без которых нельзя обойтись при рациональном конструировании. Я уже указывал на то, что нельзя делать выводы относительно какой-либо веры, исходя из значительности верующих. Но точно так же нельзя, исходя из значительности идеи, делать выводы относительно выдвинувшей ее личности. Давно известно, как редко человеческое величие совпадает с духовным; не только невзрачный человечешко, но и очень сомнительная личность может, тем не менее, выдвигать идеи мирового значения. Такое же соотношение наблюдалось до некоторой степени и у создателей большинства религий. Чего бы ни рассказывали легенды о всепобеждающем обаянии их личности, но также известно, что при жизни они могли влиять только на весьма убогую публику; а это довольно убедительно доказывает, что они никак не были сильными личностями в общепринятом смысле этого слова, поскольку сильная личность всегда добивается признания. Необходимая связь между энтелехией идеи и энтелехией того, кто ее породил, настолько необязательна, что о некоторых основателях религий даже невозможно с уверенностью сказать, существовали ли они вообще на свете. Разумеется, возникший впоследствии миф прикреплялся к какой-либо исторической личности, но были ли эти личности действительными создателями этих мировых идей, зачастую остается под вопросом. Южный буддизм, правда, ведет свое происхождение от Будды; зато учение махаяны, возобладавшее в Северной Индии, как достоверно известно, возникло лишь в первом веке после Р. Х., оно сложилось на границе между Индией и Центральной Азией, в области, где смешивались греческие и брахманские идеи, и оно по своему духу настолько ближе к хри-

стианству, чем религия сына царя шакьев, что представляется даже правомерным усомниться в ее номинальной принадлежности к буддизму. Первоначальное учение Иисуса представляет лишь один из элементов в том христианстве, которое получило распространение в мире; его имя стало символом, в котором фокусируются все те многообразные тенденции, чьи безымянные глубинные течения определяют судьбы Запада; отсюда проистекает его колоссальное историческое значение, совершенно несоизмеримое с реально достигнутыми результатами в деле осуществления этого учения. То же самое мы видим повсюду. Ницшеанство во многом прямо противоречит учению Ницше; вокруг имени Бергсона объединяются тысячи людей, у которых его истинное учение, буде они бы его поняли, вызвало бы одну лишь досаду. Человек может стать гигантской исторической величиной, никогда не живши на свете; не проповедавав тех идей, на которых основано его значение, может — даже не высказав ни одной идеи, может — не быв никогда значительным человеком и т. д. Как говорится — пути Божьи неисповедимы. Конечно же, пути истории не укладываются ни в никакие даже самые широкие рамки рациональных конструкций. При всей глупости антисемитизма как мировоззрения, он, вероятно, все-таки в чем-то оправдан, если евреев одинаково презирают и издревле презирали повсеместно во всем мире. И все же: если какой-либо народ вправе называть себя «избранным», то это именно евреи. Их вера лежит в основе христианства и ислама и таким образом господствует в мире; вопреки всем унижениям и угнетению этот народ не зачах, а сегодня к нему принадлежит большинство духовных вождей Европы. Так и у теософского общества, несмотря на проблемный характер ряда его ведущих представителей, несмотря на неудовлетворительность многих положений его учения, несмотря на недостатки его нынешних руководителей, возможно впереди его большое будущее.

Немного выше я затронул один вопрос, заслуживающий более пристального рассмотрения: вопрос о неспособности многих, кого последующие поколения превозносили как выдающихся личностей, подчинить своему влиянию своих современников, за исключением небольшого числа незначительных людей. Всех пророков ос-

меивали. Это, как я уже говорил, служит подтверждением того, что они были неспособны воздействовать на людей так, как это делают великие люди, ибо великий человек всегда пользуется всеобщим признанием еще при жизни. При ближайшем рассмотрении оказывается, что в этой неспособности нет ничего удивительного. Сила таких людей проявляется в иной сфере, чем сила великих исторических деятелей, и на тех, кто чужд этой сфере, они не могут воздействовать. Подобно тому, как мощь абстрактного интеллекта воспринимается только теми, кто способен к такому мышлению, подобно тому, как только гений узнает гения, даже гиганты спиритуальности не имеют власти над теми, кто чужд духовности. Разумеется, возможен и такой случай, когда он одновременно силен и в мирском понимании (это в значительной мере относится к Августину, Савонароле, Лютеру и немногим другим), но как правило, он этим могуществом не обладает, ибо спиритуальность, с одной стороны, требует, с другой стороны — порождает по мере своей сублимации все большую тонкость натуры. Гении спиритуальности требуют к себе изначально безусловной веры, чего, как правило, не делают гении мирские, уверенные в том, что вера придет вслед за опытом. Почему так происходит? Потому что первые могут влиять на родственно настроенные души лишь настолько, насколько те сами идут им навстречу. Следовательно, для них типично то, что в общепринятом смысле считается слабостью. Тем не менее их сила не подлежит сомнению. Менее всего она проявляется в немедленных обращениях в свою веру или вызываемых ею обновлениях — их объекты редко можно принимать всерьез; она проявляется в том, что она на долгое время задает направление и определяет содержание исторического процесса. Идеи христианства, воспринятые поначалу маленькими людьми, которые так же мало ведали, что творят, как и палачи, распявшие Христа, впоследствии на протяжении дальнейшей истории все более пронизывали собой все формы жизни, так что ныне, в сущности, на Западе все живые тенденции ведут свое начало от Христа; то же самое относится и к Будде, и к Магомету. Повсюду спиритуальные силы в долговременном плане оказываются самыми могущественными. Их воздействие протекает

скрытно: редко случается, чтобы учение доносилось до будущих поколений, облеченное в аутентичные слова Просветленного, почти никогда его носителем не бывают оригинальные записи, и вся традиция по большей части носит характер легенды. Здесь действуют неуловимые импульсы, которые, передаваясь от учителя, пройдя через тысячи умов, тысячекратно преобразованные, пересмысленные, перепутанные, тем не менее сохраняют свою магическую силу, задают направление событий. Может быть, в наше время такой импульс заключен в теософии? Кто может это сказать? Только время покажет. Они утверждают, что ими руководят духовные учителя, всеведущие сверхчеловеческие существа, обитающие отрешенно от мира и управляющие отсюда историей человечества. Над этой верой в учителей часто насмеваются: зачем, мол, они прячутся? Почему не хотят непосредственно вмешаться? Почему ни одно из великих достижений человечества не принадлежит им? Почему для достижения своих целей выбрали таких неуверительных глашатаев? Я не знаю, есть ли такие учителя. Но теоретически существа, подобные тем, как их описывают, возможны. Если они превосходят людей в смысле спиритуальности, то к ним может быть в высшей степени отнесено то, что сказано обо всех людях, великих в духовном плане: во всех низких сферах они бессильны настолько, что вообще не способны в них действовать, и это составляет уважительную причину, для того чтобы скрываться. В природе всегда приходится платить за подъем на высшую ступень: хрупкость всегда уступает грубой силе, спиритуализированный человек — грубияну, мудрец часто беспомощен там, где мирской человек вполне может справиться и т. д. Хотя, конечно: если учителя существуют, то утверждение теософов, будто они могут все, но ни во что не вмешиваются, потому что по их неисповедимому решению так будет лучше, не может быть правильным. Они не могут сделать того, что можем мы. Бог тоже не может делать то, что мы можем, иначе он не позволил бы нам поступать по нашей воле. У каждой ступени существования есть свои специфические пределы. И они тем более удивительны с точки зрения среднего человека, чем более это существо духовно.

Постоянно приходится сталкиваться с мнением, что учение о перевоплощении — это не интерпретация, а непосредственное выражение достоверного факта. Я не могу проверить это утверждение, поэтому воздержусь от суждения: учение это как-никак теория, а теории — это не факты. Мне странно, что никто из верящих в реинкарнацию еще не обратил внимания на то, что его вера практически сводится к тому же самому, что и противоположная ей вера в единственность и неповторимость богом определенного места всякого живого существа, о котором говорится в конфуцианстве и лютеранском христианстве. Он ведь тоже не утверждает, что одна и та же личность развивается, переходя от одного воплощения к другому (хотя, вероятно, в этом отдают себе отчет очень немногие приверженцы этой веры, которые в большинстве своем перешли в нее, движимые инстинктом самосохранения), а лишь констатирует, что между различными формами жизни объективно существует внутренняя взаимосвязь. Поэтому в качестве критического философа я склонен предположительно признать за этими взаимоисключающими теориями равную степень истинности. Одна выражает этот факт на языке кинематики, другая — статики.

Кинематическое понимание жизненного процесса несомненно имеет очень большие достоинства. Оно, как ни одно другое, служит рациональным оправданием этого процесса, снимает его пессимистичность, дает сердцу упование и надежду. Я бы не удивился, если рано или поздно оно возобладало и на Западе. Тем не менее, воочию познакомившись с людьми, верящими в реинкарнацию, я готов приветствовать как величайшую удачу западного человечества то, что ему не пришлось жить многими тысячелетиями в этой вере. Подавляющее большинство ее приверженцев инертно. Не удивительно: имея впереди тысячелетия для своего развития, притом что мировой процесс сам ведет их вперед (ибо процесс, по их представлениям, объективно представляет собой движение вверх), они не видят для себя повода для спешки. Вместо того чтобы самим проживать жизнь, они проживаются жизнью, откладывают на послезавтра то, что надо бы сделать сегодня, во всем полагаясь на время, которое все за них завершит. Христианин же, у которого есть только одна жизнь, краткий срок, то или иное ис-

пользование которого необратимо решает его посмертную судьбу, так как от этого зависит предстоит ли ему спастись, либо вечно жариться в аду, гораздо более расположен к тому, чтобы как следует постараться и в каждый данный миг делать все, что в его силах, потому что секундой позже это может быть уже поздно. Его представление о мироздании, конечно, ужасно, зато как же оно закаляет! Как оно отшибает всякую сентиментальность! Как подхлестывает жизненную силу! Как ускоряет развитие! И какой пафос придает оно существованию! Вся собранность и деловитость западного человека, сила его характера, волевая энергия, все его упорство и мужественная гордость проистекают из того воспитания, которое ему дала его вера, научившая его брать на себя всю тяжесть ответственности и без промедления принимать решение. Европейец (как, впрочем, и мусульманин) представляет собой по сравнению с индийцем потенцированный жизненный материал более высокого напряжения, более витальный. Этим он не в малой степени обязан вере своих отцов в Страшный Суд. Я тоже считаю, что она свое уже отработала, теперь ей пора уступить место другой, более мудрой. Отныне и впредь пускай христианский мир, если ему угодно, перейдет к вере в перевоплощение, ибо теперь уже свойства, порожденные прежней жизнью, так прочно закрепились в нашей наследственности, что сохранятся у нас и без посторонней поддержки. Однако маловероятно, чтобы такая смена представлений прошла для нас без урона: тот пафос, который обусловлен убеждением в единственном и неповторимом характере данной конкретной жизни, будет утрачен.

Но хотя учение о переселении душ имеет в будущем большие шансы, надо надеяться, оно никогда не будет играть той роли, какая ему сейчас отведена в сознании теософов. Вместо того чтобы, подобно индийцам, спокойно принимать этот предполагаемый факт, в остальном же думать о других вещах, теософы непрестанно заняты возможностями прошлого и будущего. Они изучают свои оккультные родословные с таким тщеславием, что порой это производит пренеприятное впечатление, с мелочной предусмотрительностью заботятся о своей будущей жизни, а в том, что касается оккультизма, тут их

любопытство доходит до такой степени, что на уровне откровений это просто кажется неприличным... Здесь невольно вспомнишь Платона, который тоже верил в переселение душ; насколько же уместней кажется та улыбка светского человека, с которой он подходил к этому предмету, по сравнению с земной тяжеловесностью теософов! Платон говорил: душа, конечно, возродится вновь — но, быть может, и нет. Кто может знать? Я сам не знаю, что я знаю; наверное, эта теория просто оборот речи или красивая сказка, в которую хочешь верь — хочешь не верь, смотря по настроению...

Самое удивительное для меня в жизни Адьяра — это атмосфера ожидания прихода Мессии. Среди его обитателей есть индийский юноша, о котором говорят, что Святой Дух однажды воспользуется им как своим сосудом; так, дескать, возвестили Учителя. Он станет спасителем грядущего века. На несколько дней я принял эту веру, чтобы, по возможности, испытать то, что из нее следует. И признаюсь, я потом неохотно от нее отказался. Как же это весело жить с такой перспективой! Какой впечатляющий фон это создает для самого невзрачного существования! Как она повышает чувство собственной значительности! Как вдохновляет и оживляет все силы! Я убежден: если бы я всем существом навсегда принял эту веру, то смог бы сделать в десять раз больше и, как бы это ни казалось беспочвенно, в десять раз скорее приблизился бы к моей внутренней цели. Ибо что он такое? Объективированный идеал. Спасение всегда исходит не от самого Спасителя как такового, а от идеала его верующих, который он для них воплощает. Подобно тому, как созерцание креста или святого образа облегчает и усиливает концентрацию внимания на божественном, в точно таком же смысле, но только в еще большей степени этому помогает живое воплощение идеала. Всякий в какой-то мере испытал это когда-нибудь на себе. Взгляд ввысь возвышает. Кем бы мы ни восхищались, кого бы ни почитали, пускай даже по недоразумению, тем не менее при искреннем чувстве это делало нас лучше. Ведь главное не в том, что представляет собой объект почитания, а в том, что он для нас значит. Этим объясняется и то, почему недостижимые идеалы (недостижимые не

только по причине их трансцендентности, но и потому, что их носители находятся от нас далеко или уже умерли) оказываются в конечном счете самыми действенными; их воздействие не умаляется от эмпирической ущербности; по этой же причине не имеет значения, действительно ли жил на свете богочеловек или нет. Вера в религиозном смысле означает не возможность поверить во что-то, а стремление к самореализации путем концентрации душевных сил на избранном идеале. А ни с чем не сравнимое воздействие живого богочеловека (в том случае, когда об этом может идти речь) основано на том, что богочеловек всегда отчетливее всего может продемонстрировать последователям их идеал, тем самым невероятно усиливая его формирующую силу. Таким образом, вера в мессию в среде теософов несомненно представляет собой продуктивный момент. Правда, во что это выльется в дальнейшем, остается под вопросом. Не сомневаюсь, что если этот юноша проживет долго и если не случится какой-нибудь беды, он станет основателем новой религии; под влиянием столь сильнейшей суггестии это сделали бы многие. Но если он окажется для этого мелковат, для того чтобы выстоять перед критикой, это может иметь катастрофические последствия. В древние времена, когда появление Спасителей было не то чтобы будничным, но достаточно частым явлением, сила веры в человечестве была так велика, что никакие неудачи и разочарования не могли нанести людям душевного ущерба; тем более, что настоящее разочарование вообще не могло с ними случиться: они верили вопреки всему и несмотря ни на что. Это было их счастье: вера — вещь априорная, самостоятельная творческая сила, и как таковая она сама в себе заключает свое оправдание. Такая вера незнакома современному человеку. Его вера — это нежное растение, которое может погибнуть от малейшей травмы, а среди пострадавших хуже всего придется тому, кого поразило разочарование, потому что утрата веры сильнее всего сказывается на витальности. Из-за того, что не стало веры, мы видим сегодня так много людей, мечтающих о новой религии; им требуется что-то, на чем они могли бы сфокусироваться, чтобы собрать воедино свои душевные силы, ибо очень мало кто способен достигнуть такого результата самостоятельно,

убережся от разочарования без какой-либо поддержки извне. Новейшее истолкование христианской веры в духе стиха, где говорится, что царствие небесное внутри нас, хотя имеет глубокий смысл, однако не подкрепляется соответствующим глубинным самоощущением, здесь мы имеем пример опередившего жизнь рационального понятия. Из этого следует, что и для Европы еще не прошло время, когда религиозные вожди могут понадобиться. Но, как уже сказано: вера сегодня слишком слаба, и внезапное разрушение какой-либо благополучно возникшей веры может послужить толчком к разрушению всякой веры вообще, что неотвратно приведет к нигилизму и разложению. Поэтому я с некоторой тревогой смотрю на будущее нового Спасителя мира, хотя смотрю на него со всяческой симпатией, как на любого, кто вносит в мир ускоряющий мотив.

Разумеется, ортодоксальные теософы так же, как и христиане, ни за что не признают, что эмпирическая фигура Спасителя не самое существенное в нем. Это кажется справедливым, поскольку без сомнения имеет значение, каков есть тот, к кому мы обращаемся с верой. Просветленный дух может озарить своим светом еще находящиеся во мраке существа, гений любви — смягчить сердца еще черствые, тогда как менее одаренные, как бы в них ни уверовали люди, этого не достигнут. Однако это не отменяет истинности того, что я сказал. Ни один учитель не может дать того, чего латентно не было бы в человеке заложено: он может только пробудить дремлющее, выпустить на свободу заточенное, извлечь на свет скрытое. Этого достаточно для того чтобы обеспечить ему то звание, которое всегда признавало за ним человечество, ибо крайне редко случается, чтобы человек осознал собственную сущность без посторонней помощи; лишь в исключительных случаях то, что латентно присутствует, может проявиться без помощи извне. Но никогда нельзя понимать это в том смысле, будто Учителя дают тебе то, чего у тебя раньше не было; они всегда действуют только как запускатели процесса, а не как что-то дающие. А то, что у тебя уже есть, может быть в принципе извлечено на свет тысячью способов. И люди издревле так и поступали, приходя к себе разными путями. Самые сильные обходились без посторонней помощи; тем, кто

послабее, она требовалась в незначительной степени, самым же слабым приходилось достигать этого напряжением всех сил; соответственно существуют разные системы аскетики, начиная от монументально простых и кончая крайне сложными, и разные формы религий, признающие и не признающие посредников, основывающиеся на авторитете или на самоопределении. Смысл и цель всегда остаются одними и теми же. Поскольку народ в своей массе никогда не бывает самостоятельным, все религии, желающие выступать как всеобщее Евангелие, всегда подчеркивали необходимость посредничества; в современном индуизме Шри Кришна выполняет ту же роль, какую в христианстве играет Иисус, а в северном буддизме это место занимает Ами табха-Будда. Один и тот же недуг требует одних и тех же средств лечения. Однако было бы суеверием полагать, что Спаситель как таковой, как определенный человек дает людям спасение; как личность он лишь запускает процесс. Притом о большинстве, может быть обо всех, даже этого сказать нельзя, так как по-настоящему их воздействие началось спустя долгое время после их смерти: они влияли на людей в качестве чистого воплощения идеала. В связи с этим я снова возвращаюсь к вопросу о преимуществе недостигаемого идеала перед достижимым: то, что фантазия вольна как угодно идеализировать, является самым надежным сосудом. На Востоке, где так сильна вера, даже слабого человека, невзирая на все его недостатки, люди могут почитать как аватару; так еще недавно случилось с Рамакришной Парамахамсой, экстатическим святым из Дакшинешвара. У современных европейцев, даже у теософов, такое вряд ли возможно. Ведь и Рамакришне при жизни поклонялся как богу только очень узкий кружок и лишь теперь, спустя более тридцати лет после его смерти, он начинает становиться католическим святым.

Из чего же, из какой метафизической основы протекает стремление посвятить себя служению кому-то высшему, то счастье, которое мы испытываем от лицезрения возвышенного величия, тот огромный подъем, который мы от него испытываем? Оно основывается на том, что человек видит в высшем существе более истинное выражение себя самого, чем представляет собой он

сам, такой как есть. Каждый человек слишком хорошо ощущает, сколь несовершенно в нем как в феномене реализована его истинная сущность. Его поступки не соответствуют его самости, он думает не те мысли, какие лелеет в душе, он не тот, каким внутренне себя ощущает. В каждом индивиде, за очень редкими исключениями, сочетаются такие противоречивые задатки, что его сил не хватает на то, чтобы во все проникнуть душой. Так, красавцы, как правило, глупы, люди действия редко бывают отзывчивы, люди духовно одаренные лишь в исключительных случаях способны совершенствовать свою человечность. Но каждый знает, что в его сущности содержится больше задатков, всю совокупность которых он не способен в себе выявить, а потому скорее узнает себя в совершенном человеке, чем в собственном несовершенном облике. Подобным образом мы моментально схватываем новую истину, до которой никогда не додумались бы сами, и говорим себе: вот так я и думал. Подобным же образом мы испытываем чудесный подъем, широту при встрече с совершенной красотой, ибо лишь в совершенной форме сущность получает соответствующее ей выражение. И в этом смысле слабый человек радуется, увидев вдруг в чужой великой душе истинное выражение своей самости. Всякий, кому доводилось встречать великого человека, говорил себе: я всегда его знал. Так оно и есть. На этом и основано в конечном счете огромное воздействие, которое на нас оказывает самый факт существования такой личности. Оно показывает человеку, кем могли бы быть все люди, каковы они в глубине своего существа, показывает их истинными. И подобно тому, как ясная выраженность смутно угадываемого в темной глубине сознания, неизменно не только вызывает ощущение счастья, но и ускоряет процесс развития, так и предвосхищение истинного выражения нашей самости, которое дает нам великий человек, ускоряет ее развитие. В этом корень той старой истины, что святой самым своим существованием приносит больше блага, чем все добрые дела на свете; в этом в конечном счете коренится значение Спасителя. Он дает человечеству пример; к этому стремился и Христос. Но в этом и заключается то главное, более чего ни одно существо не может сделать для другого. Он показывает людям зерка-

ло, в котором они видят свою глубинную самость; он помогает им уяснить себе их идеал. Он служит его зримым воплощением, давая тем самым желанный образец и указывая цель тем созидательным силам нашего существа, которые каждого заставляют стремиться ввысь к небесам. Теперь люди знают, куда им нужно стремиться, знают, чего могут достичь. Таким образом, получается, что бесцельное существование великого человека дает всему живому новый поворот.

И все же, все же! Нужен ли еще человечеству новый Спаситель? Может ли он обрести для людей то значение, которое и делает его Спасителем? Не сказано ли видением Ивана Карамазова о пришествии Христа и Великом инквизиторе последнее слово в этом вопросе? Постольку, поскольку еще нет гомогенного человечества, очевидно — нет. Большинство еще стоит на такой ступени развития, где, по-видимому, появление Спасителя в принципе будет уместным. Тем более, что таковые то и дело появляются не только на Востоке, но и в нашем мире, и люди с готовностью им верят. Пока что ни один из них не сделал выдающейся посмертной карьеры (за единственным исключением миссис Бейкер-Эдди, которая, правда, судя по имеющимся на сей день достижениям, вряд ли поднимется до статуса Спасительницы мира), однако, что будет дальше, предсказать невозможно; даже во времена Диоклетиана ни один римлянин еще не мог бы предположить, что весь Запад когда-то перейдет в христову веру. И лишь одно, как мне кажется, можно с уверенностью утверждать: те круги, от которых бы все зависело, поскольку они являются носителями исторического движения, вряд ли нуждаются в новом Спасителе. Из чего следует, что если только не нагрянет новое варварство, как это случилось после падения Римской империи, никакой основатель новой религии, по всей видимости, не поднимется до положения Спасителя мира.

Я не буду говорить о технических препятствиях, которые ныне встают на пути такой карьеры, к которым относятся высокий престиж научной критики, рост просвещения, ослабление веры, публичности — все это преодолимо. Главное, что выбивает почву из-под ног претендентов на мессианскую карьеру, — это все возрас-

таящая склонность передовых людей самим становиться своими спасителями. Невозможно отрицать — дух протестантизма побеждает. Чрезвычайно интересный и характерный момент представляет то, во что превращается Христос в ходе новейшего развития. Исторический Иисус уже совсем отходит на задний план; об объективном спасении уже нет и речи; уже игнорируется вся теодицея средневековья. Что остается, это внутренний Христос, которого первым из людей пробудил в себе Иисус и которого теперь каждый должен сам на свой лад поставить в своей душе господином. Тот, кто не признает Христа как личность, вряд ли признает нового Спасителя. И этим независимым умам принадлежит будущее; тут не может быть никакого сомнения. Можно как угодно судить о сложившемся положении — лично я очень хорошо вижу недостатки чрезмерной протестантизации: не подлежит никакому сомнению, что «объективный дух» неудержимо развивается в сторону такого положения, когда отдельный человек, обходясь без посредников, захочет сам, лично и непосредственно, решать все вопросы, относящиеся к его духовной жизни. Такой результат можно было предвидеть еще со времен Реформации; то, что тогда было начато, будет осуществлено до конца. И пока этого не произойдет, пока не станет ясно, чего объективно стоят такие условия, до тех пор не предвидится успешного развития каких-либо других тенденций.

Так что мечты теософов о грядущем Спасителе мира вряд ли осуществляются в действительности. Однако Спасителем сектантского значения их Мессия, пожалуй, может стать; и этого было бы достаточно. Давно пора раз и навсегда оставить в покое идею «мировой религии», как и всевозможные попытки обобщения конкретного материала — эти последние пережитки примитивных стадий мышления. Мировые религии были возможны, да и сегодня еще существуют, пока человечество было слабо индивидуализированным и в то же время существовали замкнутые объединения. Но процесс индивидуализации человечества с каждым днем набирает силу; оно все больше это осознает и все более гордится своими личными особенностями. Таким образом, в вопросах духовной жизни идея универсальности с каждым днем все больше теряет свое значение и влияние, обобщающие формулы

все больше обнаруживают свою недостаточность. Все более индивидуальными становятся формы, в которых открывается смысл отдельному человеку, и это хорошо, потому что, как говорит Адель Камм: могущество бога таким образом возрастает. Теософское общество попыталось спасти идею универсальности и поставить ее на службу своим задачам тем, что хочет объединить в своем учении все религии. Но это их отнюдь не укрепляет, а только ослабляет. Такая широта не может вписаться в монаду. Она никому не может дать внутреннюю форму, что, собственно, и является целью всякой конфессии. Правда, теософия не желает признавать себя конфессией, однако она невольно нарушает этот принцип; иначе она долго не продержится как живое учение, в качестве научного объединения она станет бессильна. Если действительно появится ожидаемый Мессия, то часть нынешнего теософского общества, вероятно, сгруппируется вокруг него. Но тем временем из последователей Анни Безант, Кэтрин Тингли, Рудольфа Штейнера и некоторых других незаметно выкристаллизовываются отдельные секты. И это хорошо. Только в такой форме теософия как конкретное образование может иметь какое-то будущее. Разумеется, нынешние руководители не хотят видеть, что грандиозная мечта мадам Блаватской не может быть устойчиво реализована. И не беда, что они за нее упорно цепляются, так как это придает их деятельности масштабность. Но рано или поздно им все же придется признать, что их стремление к католической всеохватности является ошибкой, и они будут даже благодарны за то, что самая природа вещей воспрепятствовала ее осуществлению. В том виде, в каком оно было задумано, теософское общество никогда не смогло бы достигнуть того значения и влияния, какого может достичь в своей настоящей форме.

Конечно, было бы несправедливо в отношении теософского общества утверждать, что весь круг его идей целиком связан с мессианскими ожиданиями адьярского кружка. Однако боюсь, что все, сказанное мною по поводу малой вероятности всемирно-исторической религиозной миссии теософии, не в любом случае справедливо. Вполне возможно, что их система гораздо больше, чем мне это кажется, соответствует реальным условиям, очень вероятно,

что когда-нибудь она по духу (хотя вряд ли и в полном соответствии с буквальным содержанием) будет признана большинством человечества, ибо и сегодня уже это в значительной степени имеет место, хотя и под разными названиями. Теософия и антропософия, Новое Мышление (New Thought), Христианская Наука, Новый Гнозис, ведантизм Вивекананды, новоперсидский и новоиндийский эзотеризм, не говоря уже об индуизме и буддизме, бахаизм, мировоззрение различных спиритуалистских и оккультских кружков, учение франкмасонов — все они ведь, по существу, исходят из одних и тех же основных положений, и несомненно, у всех этих движений больше будущего, чем у официального христианства. Однако теософии как живой энтелехии все это еще не гарантирует будущего. Ведь теософия стала сегодня тем, что она есть, не благодаря своей теоретической системе, которая в основных чертах признается миллионами людей, ни при каких условиях не желающих причислять себя к теософам, а благодаря определенному пониманию, толкованию и практическому применению этого учения. Словом «теософия» обозначается сегодня особая конфессия определенного религиозного объединения, а в том, чтобы ей суждено было выполнить миссию всемирного значения, я весьма сомневаюсь. Как религия теософия будет и впредь существовать на радость многим отдельным людям, давая содержательный смысл ограниченным сектам, однако как историческое движение она не будет играть в жизни заметной роли. Приведем перечень отдельных моментов, которые этому препятствуют.¹

Первое возражение против жизненности теософии касается ее склонности к оккультизму. Хотя я считаю очень желательным тщательное и подробное изучение оккультных сил, если таковые действительно существуют, его результаты принесут пользу науке, а не религии и жизни. В спиритуальном плане сверхчувственное познание ни на ломаный грош не стоит больше чувственного, а «тайное знание» как религия или как ведущий к ней путь стоит ничуть не больше энергетической карти-

¹ Дополнением к нижеследующему является статья: Keyserling H. Für und wider die Theosophie // Philosophie als Kunst. Darmstadt, 1920.

ны мира Вильгельма Оствальда. Даже косвенное влияние результатов, которые, возможно, откроет тайное знание, будет иметь для жизни меньше значения, чем полагают его адепты. Последние грезят о том, как телепатия заменит собой все внешние средства коммуникации, а человеческая воля сделает ненужными все виды физической энергии — все это пустые утопии. Каким бы сильным не было влияние психических сил на физическую природу человека, все равно и в грядущие века по-прежнему будет дешевле, а потому и целесообразнее применять, по крайней мере для лечения острых форм физических недугов, физические же средства. Для выполнения нормальных работ, которые требуются в этой жизни, нормальных сил всегда будет не только достаточно, но никакие другие и не понадобятся, а если так будет и не всегда, то, по крайней мере, до тех пор, пока в человечестве не произойдет существенных изменений. Скрытые области действительности, которые благодаря духовным силам будто бы станут доступными для познания, не представляют для нас насущного интереса, пока мы обретаемся в этом мире; чем меньше мы их замечаем, тем лучше. Наши успехи по сравнению со средневековьем объясняются в первую очередь тем, что мы утратили веру в мистические причинные связи, что служит явным доказательством их бесполезности для наших успехов. Они бесполезны, потому что означают не что иное, как оглядку на такие силы, которые, если и оказывают какое-то воздействие, то весьма незначительное по сравнению с теми, что явно присутствуют в данной сфере, и становятся вредоносными, когда, будучи изначально необнаружимыми, заставляют нас бросить все силы на их познание. Посвятив себя этому занятию, человек неминуемо нанесет себе ущерб, подобно человеку постоянно думающему о своем здоровье; в конце концов он утратит всякую внутреннюю непосредственность. Мы должны идти по жизни, по возможности, без лишней оглядки, как можно мужественней, как можно уверенней, не задумываясь над посторонними и чисто внешними предметами; чем лучше нам это удастся, тем мы становимся сильнее и чище. Чем меньше человек полагается на чуждые силы, чем больше он берет на себя, тем благосклоннее к нему при-

рода. Идеал состоит не в том, чтобы учитывать все обстоятельства, а в том, чтобы обладать такой прочной внутренней основой, чтобы привходящие обстоятельства были нам безразличны. Оккультист же все время косится по сторонам, заглядывает вперед и назад, он никогда не бывает по-настоящему непринужденным. Поэтому он не может быть в этой жизни водителем для других, как бы полезны ни были его особенные способности. А поскольку, как изложено выше, стремление к развитию психических способностей не только не способствует, но даже вредит спиритуализации, я вряд ли ошибусь, занеся наклонность теософии к оккультизму с точки зрения ее роли в жизни в чистый пассив.

Второй отрицательный момент, связанный с предыдущим, это неизбежное отвлечение религиозных стремлений на предметы внешнего порядка, которое происходит по вине теософии. Предположим, все, что говорится в теософии об иерархии духов, богов, полубогов и учителей, о водителях человеческого рода и т. д., правда — наверняка, для человечества вредно слишком погружаться в эти вопросы. Весь смысл любой религиозной веры состоит лишь в том, чтобы приводить человека к самореализации; она показывает имажинативные экспоненты бытия, отражение бытийного центра в сознании. Неразвившийся человек должен верить во второстепенные вещи внешнего порядка, потому что для него не существует другого средства сконцентрировать свои силы на главном, собрать их в динамическое единство; развитый человек верит в себя — в «Бога в себе» или же вообще ни во что не верит, а просто существует, ибо когда сознание бытия достигло полного развития, вера и бытие сливаются воедино. Какого рода те внешние детали, в которые верит первый, по сути дела не имеет значения; но поскольку это лишь средство, а не цель, поскольку религиозная вера в теории не имеет ничего общего с признанием достоверности чего-либо, а существование или несуществование объекта веры в реальной действительности не имеет значения, то хорошо, если оно недоказано. Не обязательно заходить так далеко, как Тертуллиан, которому принадлежит изречение *credo quia absurdum*¹,

¹ Верую, потому что абсурдно (лат.).

но для религии полезнее всего, чтобы вопрос о существовании ее богов вставал пореже. В индуизме он сознательно даже не ставится; его божества официально считаются манифестациями единого Всевышнего, независимо от их эмпирического существования или несуществования. Последователям же теософского учения их вожди внушают, что существование сверхчеловеческих существ научно доказано. Если они верят в богов, то преклоняются перед тем, что носит внешний характер, это поклонение сродни фетишизму, соответственно, это идет в ущерб истинной религиозности. Настоящая религиозность уступает место суеверию, ибо всякая вера в Не-самость есть суеверие, даже если ее воплощением служит сама абсолютная истина. Отсюда ясно, какую роковую ошибку совершает теософия, возрождая античный политеизм. Однажды сделав открытие (если таковое действительно сделано), что боги действительно существуют, ей следовало поступить прямо противоположным образом, если ее целью было основание новой религии или углубление ранее существовавшей. Любого бога, чье существование было бы научно подтверждено, ей следовало незамедлительно изгнать из своего пантеона как более не имеющего религиозного значения. Сколько бы ни было богов и высших существ, какой бы властью они ни обладали, но постольку, поскольку мы существа духовные, стремящиеся развиваться духовно, они не имеют к нам никакого касательства. Так, Новое Мышление — понимая это название не как наименование секты, а как собирательное обозначение тех духовных движений, которые ведут свое происхождение от американского New Thought — развило учения старого мистицизма, несомненно, в более удачном направлении, чем теософия. Новое Мышление видит во всех посредничающих инстанциях только подготовительную ступень; оно отвергает всякое тайное знание, отрицает значение оккультных образований для жизни и стремление вырваться за пределы земного, делая акцент исключительно на самореализации в этой жизни. И это действительно единственное, что необходимо. Как бы важно это ни было для научного познания, но для религиозной жизни нашего времени вновь возникший интерес к оккультизму представляет непосредственную опасность, вероятно, самую

серьезную из всех возможных, так как он угрожает привести к увлечению внешними вещами, которое может оказаться более роковым (поскольку с ним труднее бороться), чем все опасности, грозящие со стороны материализма. Бог, чье существование доказано и который стал предметом поклонения, это фетиш пострашнее золотого тельца. Чем больше мы узнаем о скрытых силах природы, тем более необходимо для нас понимание, что единственная цель это самореализация, что в спиритуальном отношении не имеет никакого значения, ясновидящие мы или слепые, есть ли боги или их нет. Сегодня больше чем когда-либо раньше важно прислушаться к тому, что сказали против чудотворцев Будда и Христос: оба они постоянно подчеркивали, что дело не в психическом развитии, а в чем-то другом, что лежит в другом измерении. Всякое поглядывание в сторону чудесного наносит вред. Только свободный от предубеждений человек идет вперед в своем развитии. А у теософов непредвзятость не только отсутствует, ее просто не может у них не быть. Для этого их руководители слишком настойчиво напоминают им, чтобы они всегда следили за тем, чтобы угодить своим Учителям, чтобы правильно обращались с оккультными силами, избегали дурных влияний. Поэтому, как правило, средний теософ, как бы он ни приблизился к истине, в спиритуальном отношении стоит ниже верующего христианина. На мой взгляд, единственным из религиозных движений, основанных на мистицизме, которое может стать полезным для большинства, является Новое Мышление именно в той форме, которую придала ему Адела Кертис.¹ Только оно разумно и методично ведет работу, направленную на душевное разви-

¹ Могу рекомендовать всем желающим работы Аделы Кертис (Adele Curtis) *The new mysticism, Meditation and Health, The Way of Silence* (за которыми можно обращаться в The School of Silence, 10 Stardale Villas, Kensington W., первая из названных работ имеется также в немецком переводе издательства Anthropos, Prien, Oberbayern). Полностью оценить их, правда, не сможет даже очень внимательный читатель, а только тот, кто некоторое время практиковал изложенное в них учение; впрочем, это вообще единственный путь к пониманию любого мистика. К сожалению, в дальнейшем автор этих книг, как это часто бывает, сама стала доводить до абсурда свои мысли. Читать ее более поздние сочинения я не советую.

тие и спиритуализацию, только там имеется ясное понимание того, что существенно, и выбираются соответствующие пути и средства, только там, насколько мне известно, не делают психологических ошибок. По философскому содержанию его, пожалуй, превосходит движение, возглавляемое Йоганнесом Мюллером, представляющее собой по сути дела его лютеранский эквивалент, однако здесь отсутствует ускоряющий мотив, который является единственным условием, вызывающим духовное развитие. Оно не дает непосредственного указания, что нужно делать, как претворить понимание в жизненную практику. С точки зрения Запада, Новое Мышление имеет еще одно преимущество перед теософией, и хотя это преимущество носит характер эмпирического и случайного, оно как раз поэтому может иметь решающее значение для достижения эмпирического успеха: это учение намечает логически возможный путь развития христианства и, опираясь на мудрость Востока, остается по духу чисто христианским, не используя почти никаких чужеземных представлений. Самореализация возможна только в рамках привычных представлений; невозможно выразить себя на чужом языке, и вдобавок приходится уделять слишком много внимания средствам. (Поэтому-то ни Будда, ни Христос не хотели «отменить», а лишь «исполнить» существующий закон.) Для нас, людей Запада, индийские представления чужды; большинство из нас (чему служат доказательством сами теософы) не в состоянии усвоить их душой как что-то родное. К тому же мы, как бы ни относилось к этому наше сознание, физиологически остаемся христианами. Поэтому каждое учение, развивающееся в христианском духе, имеет больше шансов овладеть нашей душой, чем глубочайшие учения чуждых народов. Лично я не верю, что христианство когда-нибудь отомрет; переосмысливаясь и развиваясь, оно в новых воплощениях будет жить на Западе до скончания веков. Я также не верю в необходимость и даже возможность какой-то новой религии. Мы принципиально вышли из той стадии, когда форма имела для нас серьезное метафизическое значение, мы убедимся в этом, когда на арену выступит какое-нибудь новое образование. Лучшие среди нас уже не способны обратиться в новую веру. Зато большинство, причем как раз в лице самых умных его пред-

ставителей, еще долго будет готово сохранять и использовать традиционные представления и формы выражения, потому что они облегчают процесс самореализации. Раздающиеся в наше время голоса, требующие новой религии, вряд ли следует принимать всерьез; как правило, такая шумиха означает недостаток самопонимания. Наиболее продвинувшиеся в своем развитии все больше и больше будут обходиться без религии, нуждающиеся в какой-то конфессии по-прежнему будут находить наилучшую для себя среду в прежних разновидностях. Насколько я могу судить, громче всех требуют новых форм веры люди арелигиозные. Став более зрелыми, они поймут, что на самом деле речь идет не о новых религиозных формах, а о новых формах бытия; поймут, что такое стремление не обязательно должно носить религиозную окраску и что они скорее найдут себя, постаравшись выразить свою сущность без оглядки на бога. В наши дни слишком многое стали называть религией; поэтому всякий, кто хочет как-то себя проявить, воображает, что выражает какое-то религиозное чувство. Религиозно только такое стремление к самореализации, которое направлено на то, чтобы одухотворить явление. Тот, кто лишь хочет проявить энергичную активность, всего лишь заняться какой-либо созидательной деятельностью, представляет собой энергичного человека, организатора, возможно, поэта, но только это и составляет его сущность и ничего более.

Третий и, пожалуй, самый важный момент, составляющий препятствие на пути развития теософии на Западе, это отстаивание идеалов, которые исторически себя уже изжили. Новый Спаситель заранее прославляется как «Господь милосердия», в качестве высших добродетелей выставляются кротость, послушание, услужливость, сострадание, смиренная любовь. Возможно, это высшие женственные добродетели, будущее же принадлежит в обозримом будущем только мужским. Мы уже преодолеваем сострадание, роковое суеверие, утверждающее, будто осчастливливать людей — это само по себе уже добродетельно, уже начинаем заменять представление о том, будто альтруизм как таковой является ценностью, привязанность — признаком спиритуальности, а терпение лучше, чем попытка что-то изменить, пониманием того, что этически оправданным является только то, что носит про-

дуктивный характер: т. е. что заставить страдать — лучше, чем сострадать при условии, что страдание поднимает человека в его развитии, что не считаться с чужими чувствами лучше, чем считаться, если эти чувства глупые и т. д. И все это не из-за черствости, а потому что мы начинаем вырастать из тех условий, когда определяющее значение для нас имели эмоции, потому что мы перестаем идентифицировать себя с эмпирическими явлениями и начинаем признавать абсолютно ценным не то, что удовлетворяет данного человека, а то, что, пускай и очень болезненно, помогает ему преодолевать самого себя. Это — мужественная, продуктивная форма гуманизма в противоположность к женственной, консервативной, идеалы которой в их крайней форме выражает теософия. Мужское и женское начала не могут актуализироваться одновременно. Западное человечество на протяжении вот уже почти двух тысячелетий официально исповедовало женские идеалы, и это было хорошо, потому что только благодаря такому воспитанию на женской половине дома оно более или менее укротилось. Средневековому культу Богородицы, этому удивительному порождению христианства, которое вобрало в себя как особое божество Деву Марию, мы, северяне, возможно, более, нежели чему-либо еще, обязаны нашей нынешней цивилизованностью. Ей поклонялись тогда не как материнскому началу и не как персонификации вечно-женственного, а как царице, как благородной даме, аристократической *grande dame*¹, не терпящей никакой грубости, никакого нарушения придворных правил куртуазного поведения. В особенности в XIII веке женский идеал царил с такой абсолютностью, что, зная только, каковы были идеалы, а не дела этого времени, можно было бы с полным правом назвать его эпохой изнеженной женственности. Западное человечество с подсознательным самопониманием выстроило для себя тогда такое мировоззрение, которое лучше всего могло способствовать его облагораживанию. Сегодня оно уже, подобно Ахиллу, когда Одиссей отыскал его среди девушек, осознало свой подлинный характер, и теперь, сохраняя женский образ мыслей, оно только обманывало бы самое себя; теперь оно тем скорее достигнет своего со-

¹ Женщина с изысканными манерами и внешностью (фр.).

вершенства, чем осознанней будет проявлять свою мужественность.

Так на фоне теософии я отчетливей, чем когда-либо прежде, понимаю содержание нашего западного своеобразия и судеб западного человечества. Наше стремление к прогрессу основано на том, что в нас впервые в истории во всей своей чистоте проявилось нераздельное господство мужского начала. А поскольку мы устремлены к прогрессивному развитию, нам ничто не мешает достигнуть в мире господствующего положения; в конкуренции между традиционализмом и прогрессизмом последний не может не победить, потому что это начало занимает господствующее положение над эмпирическими случайностями. В области идей католицизм как господствующая историческая сила был повержен, как только появился на свет голый протестантизм. Он один, независимо от формы, будет впредь задавать направление развития, будь то к добру или не к добру. Все попытки воспрепятствовать этому бесполезны; никакое понимание недостатков такого пути ничего в нем не изменит. С идеей абсолютной автономии на свет родилась сила, которая сильнее всего, что ей противостоит и которая будет действовать, сметая все препятствия. Теософский идеал подчинения (всеведущим учителям), если не будет ею низвергнут, то все же будет приостановлен в его развитии, как это уже произошло с католическим идеалом (характерно, что во всех католических странах ведущие умы стали фанатичными антиклерикалами). Мы, люди Запада, являемся носителями этой силы. Мы должны ее идейно принять. Мы должны понять, что мы целиком и полностью представляем мужское начало и ничего другого не желаем. Неописуемо жалкое впечатление производят все современные западные апостолы женственно-сентиментальных идей (когда в этой роли выступают не женщины), но иначе и быть не может; если они обладают женскими чувствами, то они неполноценны. Все хорошее, что приходит сейчас с Запада, носит на себе печать мужского духа. В этом, и только в этом духе мы и впредь будем творить великие и добрые дела.

Указав на женственный характер теософии в противоположность ярко выраженной мужественности всех

духовных сил, являющихся носителями современного исторического движения, мы затронули самую сердцевину вопроса о том, что может и что не может для нас значить мудрость Востока. Было бы принципиальной ошибкой думать, что теософия будет играть у нас историческую роль; она не содержит ускоряющего мотива. Она проповедует выжидательно-пассивную позицию по отношению к высшим силам, которые в своем мудром всеведении управляют судьбами человечества, а в тех случаях, когда человечество решается поступить самостоятельно, процесс принимает непредсказуемый и неуправляемый характер. Мы видим, как западный дух все мужает от эпохи к эпохе. Он все меньше мирится с роковой неизбежностью, добровольно возлагая на себя все больше ответственности, и соответственно, идея предопределения все больше утрачивает свою истинность. Теософия не признает возможности возникновения чего-то нового, согласно ей, все будущее изначально предопределено, все новое, что случается, обусловлено старой кармой, все якобы происходит согласно предначертанному плану. Западный дух все больше исходит из того положения, что творческая воля не связана никакими предначертаниями: каждый свободный поступок вызывает к жизни нечто абсолютно новое. С точки зрения атмана, обе эти теории, возможно, и не противоречат друг другу: возможно, они выражают различные аспекты одних и тех же абсолютно существующих условий и отражают один и тот же смысл. Но в мире явлений и в свете наших понятий между ними имеется самое радикальное различие, какое только можно себе представить: в нашем мире провидение буквально ушло в отставку, уступив место свободно принимающему решения индивиду. В мифах действительность зачастую отражается более достоверно, чем в научных положениях; так, можно сказать, что личное вмешательство Бога происходит только тогда, когда ему не остается ничего другого, когда кроме него никому взять на себя ответственность, теперь же, когда западный мир так охотно берет ее на себя, Бог спокойно удался от дел. Теперь человек действует вместо Бога и по тому же непререкаемому праву суверенитета, и весь ход вещей доказывает, что человеческие притязания не беспочвенны. Для завоевавшего это суверенное право чело-

века идеалы, порожденные духом зависимости, все более утрачивают прежнее значение и силу. Суверенная личность не мечтает о мире и милости, об утешении и милосердии, ибо все зависит от нее; терпя поражение, он винит только себя и спокойно и гордо несет последствия. Так ведет себя мужчина. Женщина надеется, терпит, ждет, принимает ниспосланное. Соответственно, она мечтает о мире, милости, жалости. При таких условиях она вправе верить во власть рока. Мужчина же может не бояться ни Бога, ни дьявола, потому что его инициативность вывела его из-под их власти. Когда инициатива находится в руках одного из двоих, второй оказывается не у дел. Поэтому с тех пор как пробудился мужской дух, все женские формы религии вышли из игры и перестали быть действенными факторами.

В этом в конечном счете заключается глубинная причина превосходящей успешности Запада по сравнению с Востоком. Западный дух сейчас неудержимо шествует на своем пути вперед, с каждым днем становясь все увереннее в себе. Он все решительнее выражает свою мужественную натуру. Потребовалось долгое время, прежде чем он решился отказаться от женственных идеалов. В один короткий промежуток он создал себе такую форму, в которой мог искренне быть самим собой и в то же время склоняться перед женщиной: то было в период, когда господствовало поклонение Деве Марии и прекрасной даме. Но из этой формы скоро ушла душа. Столетия спустя после этого он еще нес на себе бремя убеждений, которые находились в кричащем противоречии с его заветными желаниями, а зачастую также с его делами и поведением. Да и по сей день мало кто, вероятно, готов сознаться в том, что ему совершенно не хочется мира и нет никакого желания покинуть нашу юдоль страданий; что любовь и милосердие вовсе не представляют собой его идеал, а решительность в действиях он в любом случае ценит выше, нежели терпеливое несение того, что ниспослано свыше. Тем не менее именно так обстоит дело на самом деле; но все больше и больше, зачастую через судорожные кризисы, в западном человеке укрепляется сознание своей истинной сущности. Пример самого тяжелого борения дает Ницше. Возможно, он был последним, а дальнейшее развитие будет протекать без

заторов. Однако с уверенностью этого сказать нельзя. Всякий раз, наблюдая внутренние брожения нашего времени, я удивляюсь, как мало у людей до сих пор ясности в понимании собственной сущности и воли. Они вслепую пытаются нащупать новое содержание и новые формы веры, ищут по всему свету новые идеалы. Истинное же положение вещей состоит в том, что они сами как лично активно действующие существа заступили место всех возможных идеалов; что время внешних экспонентов прошло, что фокусы эллипса начинают сближаться, чтобы слиться в центре окружности, и уже настала пора всерьез заняться собственным самоопределением. Если бы мы бессознательно не были уже самоопределенными, мы не пытались бы вести тщетные поиски идеалов во вне. В настоящее время мы, как говорил Гегель, находимся в состоянии «несчастливого сознания». Но если мы, наконец, всерьез постараемся быть правдивыми, найдем в себе мужество на принятие решений и ответственности, то рано или поздно оно само собой сменится «счастливым». Когда это будет сделано, то окажется, что нам, вопреки тому что говорил Ницше, не нужно отказываться от старых идеалов, что мы, напротив, гораздо лучше будем им отвечать. Есть мужские эквиваленты женского сострадания, женской любви и милосердия. Поэтому не стоит опасаться, что наша культура понесет урон из-за сознательного поворота в сторону мужского начала.

Хотя, конечно, люди, которые делают историю и которые одни только, возможно, и имеют значение для ее хода, представляют собой лишь часть человечества. Было бы ошибкой считать, будто в эпоху, когда развитие идет в сторону усиления мужского начала, женское должно отмирать; достаточным доказательством этого может служить огромная притягательность религий Востока, завоевывающих среди нас все больше последователей. Многих влечет к ним, как мужчину к женщине; хотя в большинстве случаев скорее как женщину к женщине, которая ее понимает. Чем мужественней оказывается дух времени, тем сильнее женская половина сознает свое духовное своеобразие. И это хорошо. Ибо так она приближается к глубинам своей женской основы. Женская натура более благоприятствует пониманию; она глубокомысленней в истинном смысле слова. Труд понима-

ния будет до скончания века выполнять женственное человечество. Наша не имеющая аналога в истории устремленность к познанию вызвана не тем, что мы от природы мудры, а как раз тем, что не мудры; наука возникает не там, где уже есть знание; мы, люди действия, стремимся к свету из нашей тьмы. Поэтому, несмотря ни на что, нужно приветствовать проникновение теософии во все более широкие круги Запада. Познанию это безоговорочно пойдет на пользу: как теоретическое учение о бытии индийская мудрость, представленная, пускай и в искаженном виде в теософии, стоит по ту сторону противоположности между мужчиной и женщиной; это учение, бесспорно, несет в себе максимум того, что достигнуто в наши дни в деле познания сущности, и это все лучше будет понимать Запад по мере его продвижения на своем пути; говоря о его женственности, я имею в виду не самую мудрость, а выводимые из нее следствия, сделанные индийцами и теософами для применения в жизненной практике. Эти выводы мужчины не могут, да и не обязаны признавать; они не являются неизбежными, а лишь возможными; женщины же пускай их делают. Тем более что женские идеалы имеют мало шансов вновь возобладать у нас на Западе.

Мужчина и женщина... Может быть, будет полезно, если, воспользовавшись поводом, я выскажусь о том, как в конечном счете обстоит дело с соотношением между ними. Нельзя долго задерживаться на их противоположности; иначе истинное его зерно растекается, как облачное образование; да впрочем, ведь и всякая мысль представляется истинной только при условии определенной дистанции и в пределах ограниченного временного отрезка.

На первый взгляд, полярная противоположность полов кажется абсолютно реальной. При ближайшем и более глубоком рассмотрении не только вкладываемый в это смысл, но и самый факт не выдерживает проверки. Не годится усматривать в полярных координатах нечто абсолютное, как это постоянно делалось, начиная с Эмпедокла до Шеллинга и далее после него. В чем же, действительно, проявляется основная особенность женского начала в отличие от мужского? В том, что первое становится созидательным, только зачав от мужского. Но если это так, тогда женщинами оказываются не только поголовно все худож-

ники, все мыслители и философы (поскольку им всем требуются некие импульсы), но и самые мужественные из мужчин — гении действия. Ведь и их дела всегда заключались в том, что они воспринимали какую-то идею и затем претворяли ее в жизнь. Не нужно возражать, будто бы они не воспринимали, а сами порождали эту идею; во-первых, так бывало лишь в редких случаях, так как все великие исторические деятели были носителями предсуществующих тенденций, во-вторых же, там, где идея действительно была их сугубо собственной, речь идет не о зачатии, а о партеногенезе, ибо у мужского семени как такового отсутствует тенденция развития. Как представителя чисто мужского начала можно рассматривать разве что Бога, поскольку он творит без предшествующего зачатия. Но Бог стоит над различием полов, и если мы хотим понять совершенный им акт творения, нам придется, если мы никак не хотим приписывать ему женские свойства, признать за материей как пресуществование, так и все свойства, присущие материнскому лону.

Суть в том, что полярное различие полов не есть нечто абсолютное, а лишь формальная схема, в рамках которой совершается творческий процесс. Мужским мы называем переменное начало, женским — сохраняющее; мужским — побудительную силу, женским — формообразующую; мужским — деятельное начало, женским — восприимчиво-понимающее. Мужчина создает форму явления, женщина воплощает в себе почву и основу. Эти два полюса проявляются самым различным образом, и в каждом индивидуе присутствуют оба в самых разных аспектах. Каждый человек представляет собой синтез мужского и женского и может, смотря по обстоятельствам, выступать то как мужчина, то как женщина. У человека, правда, дело не заходит так далеко, как у Echinodermen, у которых мужское начало меняется под воздействием химикатов, или у Scyphopoda и Daphiden, у которых под влиянием погодных условий происходит смена пола; у человека здесь, как и во всем остальном, изменчивость ограничивается психической сферой. Зато в ней она проявляется тем отчетливей. В художественном творчестве, в созидании формы, в понимании самый мужественный мужчина становится женщиной. Таким образом, в условиях, когда в мировой истории, как сегодня, наблюдается преобладание

какого-то одного начала, это событие носит менее экстремальный характер, чем мы думаем: даже в нашей насквозь, казалось бы, мужской культуре голос вечно-женственного не умолкнет и будет слышен.

Эллора

Перенестись из влажной духоты южно-индийской равнины в прозрачный воздух высокогорья, значит испытать чувство счастья. Здесь же кругом можно видеть такие чудеса, от которых испытываешь подъем духа. В скальных храмах Эллары слышатся голоса, пробуждающие у меня воспоминания юности. Я снова становлюсь геологом и погружаюсь в мертвые камни, для того чтобы ощутить смысл живого.

Как красноречивы окаменелости! В священных пещерах Эллары не веет живой дух религиозности; здесь давно умолкли последние его отзвуки, некогда пробуждавшиеся богослужением, лишь изредка с большими промежутками сюда тянутся верующие паломники. Пещеры служат прибежищем от непогоды или солнечного зноя лишь пастухам; иногда используются под караван-сарай; окрестное магометанское население устраивает в них даже овечьи ярмарки. Только мертвое живет в окаменелостях. Дух веры, прорывший горы, высекавший в скалах соборы, навеки застыл зачарованный в своих творениях. И в монументальной простоте, в которую облеклись в горных шахтах его формы, сокровенные черты веры проступают с необычайной силой.

Три великие религии бок о бок запечатлели свой дух в этих горах: индуизм, буддизм и джайнизм — вторая и более суровая сестра буддийской религии. В брахманистских формах дышит дух Махабхараты, колоссальной эпопеи Индостана. В них чувствуется поразительная мощь, безграничное богатство фантазии, творческая сила божественного масштаба. Так же, как Бог в своем творении соединил в необходимом единстве мудрое и прекрасное с безобразным, и небесное с дьявольским, в формах брахманистского искусства сочетаются в неразрывной взаимообусловленной связи чудовищное и изящное, отвратительное и красивое, разумное и безумное,

гротескное и возвышенное. Это творение так всеохватно, что недостающее кажется скрытым нарочно, оно так глубоко обосновано в своей сущности, что зритель даже на непонятное смотрит с восхищением и почтением, зная, что это выше его разума. Куда до этого духам протестантских сект, джайнизма и буддизма! Как художны они, как убоги! В джайнистском искусстве все-таки еще ощущается первозданная сила. Здесь ты чувствуешь, как богатейший дух пожелал сжаться, стеснив себя простотой, подобно тому, как пляшущий бог Шива порой являет себя в обличье аскета. Так бедность все же выражает сдержанное богатство, и простые линии дышат силой. Однако насколько здесь все-таки меньше силы, чем в брахманистских творениях! Невозможно втиснуть целый мир в узкие границы небольшой провинции. Джайнизм являет, хотя и крепкое, но всего лишь ответвление гигантского ствола индуизма. А вот и буддизм! Выйдя из храма Кайлы, этого собора, высеченного в скале с удивительным разнообразием, и вступив в пустынные пещеры, которые служат святилищем сына царя шакьев, я почувствовал, как по телу пробежал холодок. Куда исчез дух? Только ценою величайшего усилия мне удалось так напрячь внимание, чтобы различить связь этого мира с только-что виденным, заметить, что и в нем коренится исконный индийский дух. Но каким больным, каким хилым предстает он в этом конечном воплощении! Сегодня я впервые до конца понял, почему буддизм, завоевав целый мир, не смог удержаться в Индии, почему все индийцы, которых я встречал, с пренебрежением говорят о буддизме; сегодня мне впервые стало ясно, насколько неповторимо великий Гаутама, величайший сын Индии, как никто другой заслуживший, казалось бы, почитания на своей родине, пришелся здесь не ко двору и не к добру и потому пользуется здесь меньшим уважением, чем иные, куда менее значительные фигуры: как ни велик буддизм сам по себе, в нем выразилось вырождение индийского духа.

Нельзя отрицать: в буддизме народ философский *par excellence* вообще отрекся от философствования, народ, влюбленный в богатство и разнообразие форм как ни один другой на земле, обратился в приверженцы единообразия, народ, более всех отличавшийся любовью

к спекулятивному размышлению, обратился за спасением к эмпиризму. Это не могло привести ни к чему хорошему. С природой шутки плохи, она не терпит насилия над собой; закрой выход ее добрым началам, и тем разрушительнее она вырвется, разметав все преграды. Индеец не может отказаться от философствования. Так, отказ от философии привел к тому, что буддизм превратился в сосуд, куда стекаются все распространенные в Индии нигилистические, поверхностно-скептические или грубо материалистические умственные течения, которые все более подтачивают буддистскую общину изнутри.¹ Индийцев нельзя стричь под одну гребенку; иначе теряется все самое лучшее; буддизм банализировал индийцев. Индийцы скорее отличаются богатой фантазией, чем склонностью к научной точности: стоило им принять мировоззрение чистого опыта, как следствием этого явилось то, что мифотворчество стало происходить *terre à terre*²; покинув сферу духа, где оно уместно, оно себе на беду спустилось в мир материи. Будда положил в основу своей теории познания феномен страдания и, ориентируясь на него, построил свою теорию спасения; такое мировоззрение подходит для эмпириков, спекулятивные умы оно только портит, так как они непременно гипостазируют страдание в субстанцию. Психология Будды самая научно-точная, какую я знаю; в головах индийцев она превратилась в фантазмагорию, поскольку в силу своей натуры они не могли не истолковать ее в духе метафизической теории бытия. Нравственные предписания Будды удивительно эффективны, если их просто выполняют, не умствуя лукаво и не рассматривая их как откровение; в противном случае, как это имело место в Индии, наружу проступает нефилософский дух, нанося вред мышлению и нравственным устоям тех, кто тщился вникнуть в него чересчур глубоко. Таким образом, буддизм оказывается уродливым, вредным наростом на древе индийского духа. И ему повезло, что он благополучно переболел этой болезнью. Спустя несколько столетий после того, как индийские цари возвели его в ранг господствующей религии, первоначальный буддизм в Ин-

¹ См.: *Dahlmann J. Buddha*. Berlin, 1898.

² Заурядно, приземленно (*фр.*).

дии исчез. То, что с тех пор называлось в Индии буддизмом, на самом деле было брахманизмом со всеми его типическими антибуддийскими признаками: спекулятивным духом, ритуальностью, метафизическим осмыслением и иерархичностью внешнего оформления. Но даже этот брахманизированный буддизм сохранился только на окраинах Индостана. Вся остальная страна вернулась к индуизму. Только индуизм представляет настоящее, полноценное, всеохватное выражение индийской религиозности. О чем и вещают величественные, монументальные письмена скальных храмов Эллары.

Никогда еще мне не открывалась так ясно связь религии с национальным характером. Совершенно невозможно вынести правильное суждение о достоинстве той или иной религии без учета душевных особенностей ее носителей. Как правило, считается, что власть веры так велика, что перед нею бледнеют и могут казаться иррелевантными все остальные факторы, такие как раса, национальные особенности, исконный дух народа. Пример Индии показывает, что это мнение ошибочно. Буддизм — замечательная религия, в некоторых отношениях она стоит выше всех остальных. Но Индии принятие буддизма не принесло добра, индийцам он не помог продвинуться на пути своего развития. Точно так же индийское вероисповедание, несмотря на всю его глубину, не принесет никакой пользы не склонным к философии обитателям Запада, для которых их христианская вера является самой подходящей религией. Все автохтонные религии обладают перед импортными тем абсолютным преимуществом, что они соответствуют национальному характеру, а потому являются наилучшим средством, способным выразить все лучшее и идеальное, что ему присуще. Разумеется, «автохтонность» не следует понимать в абсолютном смысле; вернее, может быть, было бы назвать эти религии «издревле прижившимися»; ведь давно прижившаяся религия доказывает тем самым свою изначальную или приобретенную адаптированность, поскольку не отвечающее местным условиям никогда бы не прижилось. Не выдвинут ли против меня как возражение факт победоносного шествия христианства и буддизма? Но как раз это в каких-то пределах может служить доказательством того, что существу-

ет необходимая связь между национальным характером и конфессией. Первоначально христианство, конечно, не имело ничего общего с духом европейских народов; но оно с огромной скоростью развивалось в сторону сближения с этим духом. Уже во времена раннего средневековья в реальном (неофициальном) христианстве Запада почти не ощущалось следов исконного восточного духа; и с каждым шагом своего развития оно принимало все больше западных черт. Уже великая схизма, разделившая его на западное и восточное, в основном объясняется различиями народного духа. Окончательно же этот момент приобрел доминирующее значение при территориальном разделении протестантства и католицизма: чем больше тевтонской крови, тем сильнее протестантские настроения. А теперь о буддизме. В Индии он не смог долго устоять, потому что не соответствовал характеру народа. В своей первоначальной форме он сохранился только в тропическом поясе: в Цейлоне, Бирме и Сиаме, где буквально понятое учение Шакьямуни наилучшим образом подошло к условиям жизни инертного человечества. Среди северных варваров оно выродилось в чистое идолопоклонство. Брахманистский буддизм (учение махаяны) сначала завоевал Китай, однако так и не стал там формирующей силой, ибо его слишком спекулятивный характер так и остался чужд реалистическому духу китайцев; по-настоящему большое значение он имел только для художников, так что затем незаметно умер. Номинально тот же самый буддизм царит сегодня в Японии. Однако какую он там принял форму? Там он гораздо больше похож на христианство, чем на брахманизм, вследствие того, что практический, светский дух японского народа приспособил чужое учение к своим потребностям. Нет, обсуждая религию, нельзя упускать из вида национальный дух. Единственная религия, чье учение оказалось сильнее всех прочих моментов, это, по-видимому, ислам. Откуда такое исключительное положение? Этого я не знаю. Однако предполагаю, что об исключении здесь нельзя говорить, так как в Персии, единственной исламской стране с населением, имеющим живой духовный интерес, изначальный характер до сих пор получает свое выражение в суфизме и бахаизме.

Удайпур

В начале представления при княжеских дворах средневековой Индии на голые подмостки сцены обыкновенно выходил директор и рассказывал зрителям, что он видит перед своим мысленным взором; его слова вызывали в их сознании соответствующие картины, которые становились затем воображаемыми декорациями и кулисами. Предполагалось, что у зрителя достанет воображения, чтобы во все время представления удерживать перед глазами воображаемую обстановку в качестве рамки реального зрелища. Мне кажется, что вот так вызван к жизни Удайпур и таков характер его реальности. Красота Удайпура кажется такой невозможной, что я, словно во сне, видя и наслаждаясь ею воочию, в то же время не могу поверить, что все это происходит со мной в действительности.

Величественный и роскошный, словно обитель богов, красуется на заднем плане царский дворец. В расположенном террасами городе кишат толпы народа; скачут гордые всадники, женственно прекрасные эфебы, прислонясь к стене, обмениваются шутками перед лавками оружейников, то и дело темной громадой проплывает в пестрой толпе слон. В садах, где цветут невиданные цветы и мраморные фонтаны рассеивают в полдневный зной освежающую прохладу, дивными самоцветами порхают сказочные птицы. Озеро, в котором отражается Удайпур, населяют дружелюбные к человеку ибисы, Loeffler и марабу; доверчиво гуляют по берегу олени и газели. Острова украшены прелестными павильонами, зовущими к тайным наслаждениям. Золотые гондолы, с которых доносятся пение и звуки цимбал, скользят по озерной глади. А когда опускаются сумерки, когда солнце погасает на мраморных стенах дворцов и озеро из пурпурного становится фиолетовым, а затем невидимым, серебряные колокольчики возвещают городу, что настала пора ночного покоя.

Здесь я мог бы только предаваться покою, наслаждению, только любить и быть счастливым; здесь было бы смешно жить как-то иначе. Такой была, вероятно, атмосфера индийского *cour d'amour*¹. Прежде мне было труд-

¹ Суд любви (фр.) — обсуждал вопросы любви в средневековой Франции.

но представить себе любовный мир при дворах индийских правителей, описания которого встречались мне в средневековой поэзии; эта жизнь с ее пассивным томлением, с переизбытком чувств, где нет силы, с ее беспокойством посреди надежной устроенности казалась мне нереальной. Эта «нереальность» как раз и составляла действительность этого невообразимого мира; изысканная культура возобладала в ней над природой. Любви как искусства Запад в сущности никогда не знал. То что там называли «любовным искусством», было на самом деле не искусством, а дипломатией. В индийской куртуазности дипломатии не требовалось, ибо цель была изначально достигнутой; человек заведомо обладал тем, чего он желал, а к тоске по неведомому ничто не подталкивало и не давало повода. Такая удовлетворенность обыкновенно притупляет чувства. Однако в этих кругах утонченной чувственной культуры, где красота царила как самоцель, она преобразила любовь в настоящее искусство в том смысле, в каком искусством являются музыка и поэзия. В этой любви весь драматизм приходился на долю воображения. Фантазия должна была сама породить сюжет и действие, страдания и препятствия, тревоги и надежды, ибо в реальности они ни на чем не были основаны; здесь пробуждались чувства и сочинялось их развитие, как импровизация музыканта, играющего на лютне. И это чудо было возможно, происходило в реальности, потому что люди этого удивительного времени были на диво утонченными и глубоко образованными.

Эта культура принадлежит давно прошедшим временам. Но когда я бродил по этим блистательным покоям, павильонам и висячим садам, которые некогда были ее ареной, она представилась моей душе как живая, и горестная печаль наполнила мое сердце. Как же не хватает нынешней светской жизни самооценности художественного элемента! Не то чтобы ей недоставало эротического подтекста или фона — эротическое начало должно служить нейтральным холстом, несущей основой, на которой фантазия и вкус плетут нарядные узоры; а эти узоры сегодня, если даже имеются, то бывают плохонькими и непрочными. В северных странах они никогда не отличались качеством. Там редко случается, чтобы мужчина воспитывался женщинами, получал от них культуру;

без воспитания эротическое начало не развивается, а так как женщина, в свой черед, редко удовлетворяет требованиям выше тех, которые отвечают непосредственным запросам мужчины, то не получается никакого прогресса. Германский мужчина в делах любви знает, как правило, только две вещи: порок и брак; но и то и другое представляют собой очень плохие средства эротического воспитания; оба способствуют расхлябанности, оба не требуют напряжения. Эротическое напряжение, которое никогда не должно ослабевать, чтобы мужчина оставался на высоте как чувственное существо, поддерживается и усиливается только таким общением, при котором разрядка по идее предполагается всегда возможной, практически же всегда остается под вопросом, а такого общения не найдешь ни с женой, ни с девкой. На Востоке и по сей день, а на Западе во времена античности соответствующий женский тип встречался только среди гетер. Начиная с ренессанса он постепенно отделился от привязанности к определенной касте, а начиная с XVIII века слился с типом великосветской дамы. Античная гетера и современная гранд-дама действительно и по духу и по существу представляют одно и то же; только последняя, будучи более универсальной, стоит выше. Чем только не обязан мужчина общению с такими женщинами! И как же это заметно по нему, если его формировали эти нежные ручки! Особенное изящество (как физическое, так и эмоционально-духовное), отличающее воспитанного представителя романских народов от германца, объясняется именно тем, что первый в отличие от второго, как правило, испытал на себе такое влияние. Изгонять из жизни эротику, как это делает пуританство всех стран и эпох, большое заблуждение, которое сродни смертному греху против Святого Духа. Ведь эротика представляет собой самый стержень человеческой природы. Через эротику можно затронуть все струны в человеческом существе, и именно она заставляет звучать его самые глубокие струны. Но для этого женщина должна, конечно, владеть своим ремеслом. От нее требуется умение обращаться с эротическим началом как с канвой и так покрывать ее стежками, чтобы вышить по ней прекрасный узор; она должна заставить мужчину вышивать, изобретать все новые арабески, все более тонкие краски и оттенки. А если она достигла в своем умении со-

вершенства, то ей удастся даже сделать из дипломата художника, превратить грубое желание в тоску по прекрасному. Все это умели делать великие женщины эпохи расцвета романской культуры, чем и вызвано появление этой культуры. Но сегодня даже во Франции вкус к вышиванию почти угас. Всюду акцентируется, подчеркивается и преувеличивается значение само собой разумеющегося желания; и мужчины, вместо того чтобы блистать в обществе женщин остроумием, только грубеют. Это неизбежно, поскольку сами женщины все меньше увлекаются вышиванием и голую канву предпочитают гобелену. Как непохожа на это картина, которую можно видеть в древней Индии! Чары неопределенности здесь не действовали; женщины, за которыми ухаживали мужчины, уже им принадлежали. Здесь внешние условия так же мало способствовали активности, как в браке. Но подобно тому, как порой встречаются мужчины, которые, состоя в браке, способны преодолеть лень фантазии, удивительные люди этого времени умели без какого-либо внешнего подспорья, только своими силами, достигать этой цели и создали эротическую культуру, которая превосходила все, что можно наблюдать в лучшие времена Италии и Франции.

Может быть, кому-то покажется обидным то, что я отношу гетеру и гранд-даму к одному и тому же типу. Это факт, которого я не могу изменить. Дело обстоит так, что только у женщины полигамного склада, с широким эмоциональным горизонтом, питающей множество разнообразных симпатий и обладающей не слишком однозначным характером, есть призвание на роль повелительницы, музы и сивиллы. Добродетели домашней хозяйки исключают широкий масштаб деятельности; женщина, которая стремится к последнему, тем самым доказывает, что она не принадлежит к их числу. Пора наконец признать, что приверженность «морали» не является общим знаменателем всех идеальных устремлений человека; что некоторые высшие, незаменимые ценности могут реализовываться лишь в противостоянии основным правилам морали. Одна из немногих дам высшего света, которые в наши дни приближаются к типу Аспазии, спросила меня однажды, считаю ли я ее неверной женой? Отнюдь нет, сказал я, так как в ее случае вопрос о верности даже не

встает. Для того чтобы иметь то выдающееся значение, которое она способна иметь только в своем кругу, она не может не приносить в жертву отдельного человека. И она совершила бы большой грех, если бы пожертвовала своим высочайшим искусством во имя моральных соображений. Пора наконец понять, что не существует вообще никакого общего знаменателя для идеальных устремлений человека, разве что если мы выберем настолько абстрактное понятие, чтобы оно вместило в себя любое, какое только возможно, содержание. Так, например, все можно свести к стремлению к совершенству, что действительно является главным смыслом всех стремлений. Но кому же не ясно, что существуют бесчисленные формы совершенства, и, таким образом, мнимое обобщение представляет собой лишь иную формулировку той же проблемы? Действительно, один род совершенства может достигаться лишь за счет прочих. Дивные творения греческого искусства никогда не были бы созданы без насилия над маленьким человеком; высшая культура возможна только при аристократическом общественном устройстве, которое как таковое эксклюзивно; эстетическое совершенство лежит в иной плоскости, чем моральное, и нередко располагается перпендикулярно к нему; идеал демократии враждебен культуре, идеал всеобъемлющей любви исключает мужественные добродетели и т. д. Здесь можно, как это не раз делалось, выдвинуть утверждение, что по сравнению с нравственным идеалом добра все остальные представляются несущественными; но даже при таком упрощающем подходе невозможно представить себе всеобъемлющего конкретного идеала; я имею в виду такое состояние, которое означало бы совершенство всех добрых нравственных начал человека. В случае самого поверхностного осуществления морального идеала в форме всестороннего практического человеколюбия это проявилось бы в этической деградации отдельного человека; именно в силу того, что он постоянно деятельно трудится на благо других людей, он не мог бы углублять свою самость; впрочем, такое воплощение никогда не удовлетворяло ни одного думающего человека. Но и высшие разновидности представляют собой столь же ограниченные формы и тоже могли возникать только за счет других возможных

проявлений добрых начал. Монах вынужден умерщвлять в себе глубоко этические семейственные инстинкты, отказываться от дружбы, равнодушно относиться к земному совершенству; при внутренней же духовной аскезе, возникшей в протестантстве ввиду ограниченности монашеского идеала, никогда не достигается то внутреннее освобождение, в котором заключается высшая цель религиозных стремлений. Это происходит потому, что невозможно представить себе, а тем более сконструировать такую форму, в которой все лучшее в человеке могло бы получить полное воплощение. Идеалы воплощаются в жизнь один за счет другого, точно так же, как это происходит с живыми организмами. Разумеется, существуют низшие и высшие идеалы, подобно тому, как существуют низшие и высшие животные, но связывающие их таинственные узы не позволяют уничтожать одни ради других; борясь с тем, что нам представляется малоценным, мы подрываем корни более ценного. К тому же то, что мы считаем «малоценным», никогда не бывает таковым в абсолютном смысле, ибо всегда содержит в себе такие позитивные возможности, какие отсутствуют у того, что представляется нам более ценным. Так обстоит дело с эротической сферой. Хотя этот инстинкт и нельзя признать за явление высшего порядка и его высшие проявления в человеческом понимании не выдерживают сравнения с высшими ценностями, но формы его проявления, тем не менее, не только прекрасны сами по себе, не только их исчезновение обеднило бы мир, но они так тесно связаны с другими, высшими качествами, что без них те просто не могли бы существовать; художественная культура могла возникнуть и развиваться только на основе эротической культуры. Пуританская душа кажется бедной по сравнению с католической; в ходячей добродетели всегда чувствуется убожество; нечувственные натуры не способны развиваться в глубину. Что же до меня, то я удовольствуюсь констатацией факта и не возьмусь разрешать те духовные противоречия, которые, несмотря ни на что, существуют в действительности; все попытки затемнить с помощью сомнительных доводов рационалистического толка истинный характер мирового устройства я считаю недостойными образованного человека. И считаю, что главное — это не упустить из виду

позитивную сторону явлений. В каком-то смысле каждая тенденция ведет к добру; основная проблема, стоящая перед нами в жизни, состоит в умении уяснить себе этот смысл; а конечная цель человеческой мудрости состоит в том, чтобы понять свое место в контексте целого.

Читор

Читор — стратегический ключ к Мевару, важная крепость Раджастана, до прихода англичан в его истории редко выдавался год, когда бы там не лилась кровь. С Читором связаны самые славные воспоминания гордых раджпутов, а это означает, что трудно найти на земле место, которое сравнилось бы с ним как арена стольких героических подвигов, столь высокого рыцарского духа, благородного презрения к смерти. Здесь погиб Багх Сингх, глава der Deoliah Pratargarh, в сражении с Бахадуром, шахом Гузерата; здесь прекрасная царица Падмани, ради обладания которой Аллауддин Хильджи штурмовал крепость и которая, когда на победу уже не оставалось надежды, вместе со всеми женщинами Раджпута бросилась в костер и погибла в огне, в то время как Бхим Сингх со всем своим родом сложил голову под стенами крепости. Здесь плечом к плечу с супругом Джаималом Беднорским сражалась его невеста против легионов великого Акбара. Как это непривычно — оказаться в Индии в атмосфере, которая дышит историей! Индийцу, каким я его знал до сих пор, исторические события неведомы; его жизнь протекает в окружении мифов. А его вера в переселение душ, отнимающая у происходящего пафос неповторимости, тем самым отменяет смысл истории. Я и сам еще не в состоянии принимать ее как таковую вполне всерьез. И если Читор как-то воздействует на мою душу и чувства, то происходит это словно окольным путем, на котором историческое как бы превращается во внеисторическое. Для богов, размытое представление о которых составляет фон развертывания исторического процесса, по-видимому, не так уж и важно, сгустится ли он в «реальные» события. Только там, где идеальное получает свое совершенное воплощение в реальном, они начинают замечать

наш мир. Так, однажды они откровенно приняли участие в войне между сынами Куру и Панду. В таком же смысле меня привлекает Читтор: здесь реализовано едва ли не больше того, что до этого существовало в мире идей.

Считается, что великие времена индийского рыцарства миновали. Возможно. Но его дух по-прежнему жив. Глядя на раджпутов, я говорю себе: представься только такая возможность, и их героический дух вновь проявит себя. И в наши дни у них царит тот же настрой, что у наших предков одиннадцатого века, когда у всех на устах была «Песнь о Роланде». Это рыцари в душе; палadini без страха и упрека, существа таких благородных кровей, какие ныне встречаются разве что среди кровных скакунов. История учитывает не все, что происходит в живой действительности, она помнит только ту часть, которая непосредственно повлияла на картину материального мира; таким образом, она приходит к фиктивному представлению о смене эпох. В действительности все они существуют одновременно и одна в другой. Подобно тому, как ни одно состояние отдельного человека не проходит бесследно, а только сходит с арены в тень, условия, переставшие действовать в мировой истории, тоже продолжают существовать. Мне знакомы такие круги, в которых еще жив XVIII век, провинции, где до сих пор царит дух реформации. Наверняка по-прежнему есть еще и халдеи, шумеры, финикийцы; их только нелегко обнаружить... Призраки наполняют этот мир. И сильнее всего они дают о себе знать там, где их существование громче всего отрицают. Откуда проистекает неоднозначность современного исторически мыслящего человека, его неудовлетворенность, его вражда с окружающим миром? Он силится быть не тем, что он есть. Он насильно пытается встроиться в предложенную конструкцию. Из суеверного представления о своей историчности он пытается замолчать в себе то, что не отвечает духу времени. Удивительно ли, что вытесненные духи поднимают такой шум? Своими криками они уже изгнали из этой жизни не одного многообещающего гения. А вот раджпуты, чье время давно прошло, эти гомеровские герои, попавшие в индустриальный век, превосходно живут в нем как ни в чем не бывало.

Настала ночь, когда я на бесшумно ступающем слоне, покинув крепость на утесе, спускался в долину. Я лежал на подушках платформы, не видя под собою земли и устремив взор к звездам. Я утратил всякое ощущение какой-либо определенной формы существования. Кто я такой, где нахожусь, что делаю — ничего этого я не помнил. Я уже не помнил, что лежу на спине слона; привыкнув к ритму его поступи, я о нем забыл, для меня он не существовал. Это была не езда на колесах или верхом, не полет и уж точно не ходьба, земля подо мной исчезла из вида, меня окружали только небесные тела. Как бывает во сне, я не испытывал никаких сомнений, что летаю в беспредельном пространстве мироздания. В глубине души я вообще не чувствовал вокруг пространства. Это было то странное состояние отрешенности, которое мне доводилось испытывать раньше только на грани смерти, когда интенсивное чувство своего существования идет рука об руку с исчезновением всего земного. Ты не можешь с уверенностью утверждать, что еще существуешь; ты растворяешься вместе с окружающим миром. Но все равно ты есть и более, чем когда-либо, уверен в своей сущности.

Когда пришлось слезать и я при свете факелов, словно впервые, разглядел левиафана, которому доверил свою жизнь, я ощутил мистический трепет. Быть может, мир и вправду покоится на спине черепахи. Ибо я не более, чем ее обитатели, ощущал под собой несшего меня колосса.

Джайпур

Насколько же мое подсознание по-прежнему несвободно от европейских предрассудков! Меня раздражает (только так я могу описать это чувство), что в Индии есть такие люди, как раджпуты. Т. е. я все еще верю в обобщенного «индийца», абстрактный тип которого я вывел из образа брахмана как женоподобного, безвольного интеллектуала; и вот меня раздражает «несообразность» видеть вокруг индийцев, больше похожих на франкских средневековых баронов, чем на основную массу своих соотечественников. А ведь мне давно уже пора было бы отучиться переносить на Индию общие понятия нации,

расы, народа и т. д. Впервые познакомившись в Рамешвараме с разнообразием племен Индостана (а ведь там это были представители одной и той же конфессии!), я невольно вспомнил «Илиаду», и там, у Гомера, мирмидоняне отличаются от спартанцев и фокейцев не меньше, чем от троянцев; и у Гомера, несмотря на языковую общность, можно сказать, не существует такого народа, как «греки». Вся разница в том, что у племен Индостана не один, а сотня разных языков. Все, что я узнал с тех пор, должно было бы окончательно убить мою веру в обобщенного индийца; нередко за один дневной переход я мог встретить такие различные человеческие типы, как если бы вдруг из Исландии перенесся на Сицилию. Какое общее понятие вообще применимо к народам Индии? Только понятие «касты», в том смысле, в каком его употребляют в Индии. Понятие касты не включает в себе ничего однозначно-определенного: кастой называют любую общность, которая обладает той или иной эксклюзивностью. Иногда это может быть эксклюзивность по крови: потомки монголов принадлежат к другой касте, чем индусы; порой по вере, как, например, у сикхов; где-то понятие касты основано на географической замкнутости, где-то на роде занятий. Индийцы никогда не отличались научной точностью. Пафос кровного родства зачастую смягчался возможностью усыновления, зачастую религиозная общность вбирала в свои ряды иноверцев. Для индийцев различия существовали всегда в художественном понимании, т. е. с позиции данного момента. Но по-своему они умели наблюдать лучше и делать из своих наблюдений более далеко идущие выводы, чем какой-либо другой народ. За каждой группой признается неотъемлемое право на свой собственный тип, и делается это с удивительным великодушием. Стоит в недрах какой-либо веры зародиться новой секте, ереси и утвердиться ей настолько, что она образует свой собственный тип, как тут же она получает признание в качестве новой касты. Поэтому индус, для которого убийство живого существа — это кощунство и которому отвратительно мясоядение, не возмущается, имея среди иноверцев таких хищников, как раджпуты. Он относится к различным кастам приблизительно так же, как к разным видам животных: все они созданы Богом и имеют право

на существование; далее этого он, как правило, не задумывается. Если же задумается, то его вера тотчас же помогает ему понять, что данное мироустройство прекрасно: душа должна пройти через множество перевоплощений, чтобы испытать на опыте все, что только возможно. Есть, конечно, высшие и низшие формы существования; брахман стоит выше кшатрия. Однако и последний тип не менее необходим и угоден Богу, поскольку ни одна душа не может дозреть до знания, не побывав сначала в теле бойца.

Слабые места этого воззрения очевидны: ему Индия обязана тем, что не только никогда не достигала единства, но и не могла бы его достичь. Нет ни индийской нации, ни индийской веры, ни индийского духа. С другой стороны: как же богато и разнообразно индийское человечество! Как фантастически ярко выражен каждый тип! Всегда там, где, как на Востоке, отдельная личность не является ярко уникальной, она чаще всего становится самой собой, когда в ней законченно выражен ее тип. Так вот, индийцы различают у себя столько типов, сколько, по справедливости, только возможно различить, и готовы признать каждый вновь возникающий тип, а значит, для отдельного человека здесь не существует опасности, что каста подавит его своеобразие. И действительно: у меня все больше и больше складывается такое впечатление, что кастовая система, по крайней мере по идее, предоставляет отдельному человеку больше пространства для самовыражения, чем та, что сложилась у нас, поскольку наша отрицает типичность как таковую. Если бы каждый из нас сознавал свою истинную глубинную сущность и мог бы ее беспрепятственно выражать, тогда, пожалуй, наша система могла бы считаться самой совершенной; однако европеец, не сознающий своего типа, тем более рабски ориентируется на абстрактные нормы, чьи границы стискивают его жестче, чем какие угодно кастовые предрассудки. Европеец хочет быть просто «человеком», забывая о том, что такого явления не существует, вследствие чего его растущее сознание цельности вызывает не развитие вглубь, а унификацию того, что лежит на поверхности. Нигде, вероятно, сознание цельности не укоренено так глубоко и не является таким всеобщим, как среди индийцев; но так оно одно-

временно обуславливает исключительность феномена. Таким образом, индийское человечество, не верящее в личность, гораздо многообразнее и представляет собой более сложную систему, нежели индивидуалистически мыслящее человечество современного Запада.

Гулять по этому розовому городу великое удовольствие. Как великолепен вид этих раджпутов! Жизнь в Джайпуре течет совсем так же, как при дворах князей героической эпохи, так, как описал ее Вальмики в «Рамаяне». Послезавтра ожидается визит английской королевы. Во все ворота в город въезжают рыцари, бряцая оружием, сопровождаемые вооруженными всадниками, и дружины. Брат махараджи, исполненный царственного величия, разъезжает по улицам в пурпурном кафтане на сверкающем золотом слоне, надзирая за приготовлениями к торжественной встрече. Вот перед моими глазами проходят войска нага (змеи): знатная молодежь в зеленых облегающих доспехах, передние ряды исполняют на ходу воинственные пляски с мечами.

Мир раджпутов настолько средневековый, что при встрече с ним не испытал бы разочарования ни один мальчишка, воспитанный на романах Фуке. В Джайпуре всадники «не ездят шагом», а скачут галопом; культивируются все рыцарские искусства; ценятся только рыцарские добродетели, только рыцари что-то значат. Здесь царит та пассивная односторонность, которая только и может вести к выработке устойчивых и сильных форм.

Нет сомнения, что лучше, когда власть переоценивает наследственность, чем если она ее недооценивает. Более благородных типов, чем у этих раджпутов, невозможно себе представить; такую одинаково-равномерную красоту, как у этого типа людей, редко встретишь в самом благородном племенном стаде. Как жалко выглядят носители наших старейших фамилий, древнейшие из которых ведут свою родословную от вчерашнего дня в сравнении с индийскими, рядом с любым раджпутом! Здесь можно видеть величайшее достижение человеческой селекции, какое я когда-либо встречал; просто невероятно, что результат, пускай мудрейшей, селекции, продолжавшейся на протяжении веков, а быть может и тысячелетий, может отвечать наивысшим требованиям

и не несет ни малейших признаков дегенерации. Почему же он так успешен? Я не буду рассуждать о физически-биологической стороне этого вопроса, так как для ответа на него нет еще достаточных данных. Быть может, они меньше растрачивают себя, поскольку их основа здоровее, их вариабельность меньше (что способствует поддержанию и закреплению определенного типа), — ведь восточные расы, как правило, отличаются бóльшим долголетием, чем наши, но сохранению типа здесь, по-видимому, угрожает меньше причин. Однако, указав на физические условия, мы охватываем только одну сторону проблемы. Почему же законы наследственности действуют у человека далеко не так надежно, как у скота? Потому что у человека играют роль и психические обстоятельства, причем зачастую их роль оказывается решающей. Очевидно, та замечательная устойчивость, с которой у раджпутов наследуются типические черты, в значительной степени объясняется действием психических условий.

Все, что происходило и происходит в Европе, не оставляет у меня сомнений в правильности этого предположения. До начала Нового, антистатического, времени наши роды отличались гораздо бóльшим долголетием и наследственные типы были устойчивее, чем теперь; ведь до сих пор еще помещик и крестьянин (т. е. те, кто придерживаются статического мировоззрения) сохраняются наиболее стойко. Средневековый человек верил в себя как в носителя специфической формы. Каждый отпрыск рыцарской семьи считал чем-то само собой разумеющимся, что рыцарские доблести присущи ему, так как заложены у него в крови, и потому в большинстве случаев он ими обладал. Непокоримая вера сама собой создавала остальные предпосылки, которые способствовали закреплению типа: сознательное избегание общения с представителями других каст, быстрое и полное выбраковывание тех, кто пошел не в свою породу, выбор невесты исходя из оптимальных предпосылок для будущего потомства, непрестанное самовоспитание в духе сословного идеала и т. д. С тех пор как старые формы потеряли былой престиж, с тех пор как ни одна из них уже не считается обязательной, а подъем в социальной иерархии сменил собой былой идеал, заключавшийся в

том, чтобы наилучшим образом заполнить ту социальную нишу, которая тебе предназначена от рождения, с тех пор психические условия стали помехой для сохранения типа. Неудивительно, что он с тех пор начал неуклонно хиреть. Психические задатки человека изначально никогда не отличаются однозначностью, а могут принимать разные формы. Если форма не принимается ее носителем всерьез, это неизбежно приводит к бесхарактерности, которая медленно, но верно переносится с психики на физический облик. Только то, что человек считает идеалом, может стойко сохранять витальность. Королевские династии вырождаются медленнее, чем все остальные, так как они опираются на мощные идеалы; земельная аристократия вырождается медленнее, чем городские патриции, так как базис их идеалов лежит глубже. У людей решающими всегда являются психические условия; там, где они враждебны консолидации типа, не помогает никакая селекция.

Общее мировоззрение Востока соответствует нашему средневековому. Восток верит в свои формы. А то, что вера дает здесь бóльшие результаты, чем это когда-либо имело место у нас, то тут все дело в ее несравненно большей интенсивности. Наконец-то я подошел к проблеме, которая занимала меня с первого дня, как я ступил на индийскую землю: сила веры индийца превосходит все, даже самые экстравагантные представления, какие может только вообразить европеец. Вера индийца несокрушима. Сколько бы вы ни старались и что бы вы ему ни доказывали, он все равно крепко держится своих представлений, как осьминог за схваченную добычу. Он верит, например, в свою касту так же истово, как Лютер верил в Бога. Благодаря этому создается такое состояние сознания, при котором могут быть задействованы энергии, иначе не вступающие в игру: силы, которые «двигают горами». Благодаря этому наследственность достигает в Индии таких результатов, какие обычно лежат за пределами ее возможностей. Ведь даже у нас сохранение фамильных типов в значительной степени обусловлено предпосылками психического порядка: настойчивое желание уподобиться образцу, в конце концов, приводит к его осуществлению. Среди индийских рыцарей с их гигантской силой веры, значительной однозначностью их

природных задатков и достаточно простой психикой это достигается в наивысшей степени.

С таких позиций становится возможным правильно оценить пресловутую кастовую систему. Она покоится в основном на воображаемых причинах. Предположение о том, что изначально она возникла как разделение на основе кровной дифференциации, не выдерживает критики. Законы наследственности проявляются далеко не так однозначно, как полагают индусы; та многосложная, разветвленная, условная система, которая сегодня определяет структуру общества, не только несовершенна, но к тому же произвольна, а зачастую и противоестественна. Поэтому неудивительно, что все, кто знает Индию только с внешней стороны, единодушно возмущаются чудовищностью этой системы. В действительности же она работает в общем не хуже всякой другой, придуманной более рационалистическим Западом, и происходит это по той причине, что в Индии как важнейший фактор выступает явление, почти не действующее на Западе, а именно: почти безграничная сила веры. Индиец действительно верит в духовные таланты брахмана, в рыцарский дух кшатриев, в хозяйственные способности вайшьев и предопределенность подчиненного положения шудр; его вера в специфические добродетели всех низших каст почти так же сильна. Что же получается в результате? В результате создаются психические условия для свободного развития малейших зачатков всех предпосылок, которые заложены в вере, и быстрее отмирания всего остального; таким образом каста брахманов, например, действительно порождает из своей среды столько мыслителей и священнослужителей, сколько она способна дать при самых благоприятных обстоятельствах, между тем как все неспособные представители остаются незамеченными. Человек никогда не замечает того, что вступает в противоречие с тем, во что он верит. И постепенно вера создает соответствующую ей реальность. А предполагаемые специальные дарования, свойственные каждой касте, наследуются с постоянством, которое выходит за пределы природной закономерности, тем более что этих пределов никто не знает, т. е. воспитание довершает то, что было заложено природой. Поэтому, как я писал в начале

этого рассуждения, для пользы дела гораздо лучше переоценивать значение наследственности, чем недооценивать ее, ее сила необычайно повышается под влиянием творческой веры.

Исходя из этого, я мысленно возвращаюсь к основным положениям индийской философии. Ни один народ не был так сильно приучен к тому, чтобы гипостазировать духовные связи, как индийский. Здесь, как нигде, на характере материальной действительности сказывалось влияние психических условий, нигде мы не видим такого разнообразия; нигде в мире тип не приобретает такой субстанциальности, как здесь. И тем не менее индийским мыслителям никогда не приходило в голову поступать так, как с гораздо меньшим на то основанием делают их западные собратья, признавая за формой серьезное метафизическое значение. Они как к чему-то само собой разумеющемуся относятся к мысли, которая у нас воспринимается как парадоксальная, — к мысли о том, что нечто произвольно полагаемое, создаваемое в силу этого не является необходимым. Взглянув глазами индийского риши на пестрое зрелище, развертывающееся передо мною, я думаю: не потому ли мир таков, каков он есть, что он мог бы быть и другим? Как силен местный колорит Джайпура! И все же: стоит мне сконцентрировать на нем свою мысль, как он бледнеет, рассеивается, теряя свои очертания.

Лахор

Сейчас я уже в северном Пенджабе, а это совершенно иной мир, если судить о нем с точки зрения человека, знакомого с одной только Индией. Мне же он кажется даже слишком знакомым; в Лахоре в рождественскую пору все очень похоже на то, что можно встретить в это время года в умеренном климате Европы. По крайней мере мне, заезжему гостю, не удастся разглядеть заметных различий, поскольку моя жизнь протекает в совершенно европейских рамках. В душе мне очень досадно: для того ли я сюда приехал? Но «братец Осел», мое плотское Я, любящее все привычное, ужасно этому радо; я сам иногда хочу, наблюдая, как оно довольно здешней кухней, ком-

фортом и всей атмосферой. Даже подхваченная в момент приезда тяжелая простуда не умаляет, как мне кажется, его радости; ведь и простуда тоже неотъемлемая часть северной зимы. Так привязанная к мужу крестьянка, дождавшись мужа, бывает рада даже его побоям...

Пора уезжать. Нельзя разнеживаться. Как же трудно перебороть это состояние! Стоит где-то прижиться, как оно закрадывается в душу, а как только утнездится в тебе, то не успокоится, пока не вытеснит всякое напряжение. Самое худшее, что только можно сказать про те или иные условия, в которых ты оказался, это то, что они способствуют такому ощущению. Ведь ощущение привычного удобства означает не что иное, как подчинение всего твоего существования духу ленивой инертности. Я, право же, не отношусь к числу тех, кто призывает к умерщвлению плоти, зато я нетерпимо отношусь ко всему расслабляющему. Радости и удовольствия жизни как таковые во все не вызывают расслабленности; привычка — вот кто истинный враг. В этом отношении аскеты никогда не приходили к полной ясности. Они простодушно не замечали того, что привычное умерщвление плоти так же вредно, как и привычка к чревоугодию. Будь это не так, среди отказывающих себе в разного рода удовольствиях было бы гораздо меньше убогих людишек. По большей части они бывают еще бездуховнее, чем представители богемы, а это уже кое-что значит. «Ветхий Адам», с которым приходится ежечасно бороться, это раб привычек. Неправда, будто бы какая-то жизненная рутина может свидетельствовать о свободе духа. Рутинная святость уже не святость; только преданность, которую можно нарушить, обладает духовной ценностью. Как только какое-то действие становится привычным, из него улетучивается вызвавший его дух. Спонтанное творчество заменяется механической работой. И только разрушив механизм, человек откроет для себя путь, который ведет к творцу. Нужда в какой-то регламентированности жизни проистекает из того, что человек не может быть абсолютно свободным; для того чтобы оставаться свободным в каком-то плане, он должен тем сильнее ограничить свою свободу в других. Преимущество регламентированности состоит исключительно в том, что она является условием, позволяющим быть свободным, а не в том, что она налагает оковы, — и это свое пре-

имущество она теряет сразу, как только человек полюбит свои оковы.

Мне пора уезжать из Лахора; нельзя разнеживаться. Но я не могу не восхищаться тем, насколько белые обитатели этого индийского города наложили на него свой характерный отпечаток; кварталы туземцев выглядят здесь едва ли не такой же экзотикой, как нью-йоркские или амстердамские гетто. Непонимание — это великая сила. Если бы у англичан хватило душевной широты, чтобы не отгораживаться от всего неанглийского, они никогда не завоевали бы Индию и не правили бы в ней, как это происходит сейчас. И так, вероятно, обстоит дело всегда. Самыми успешными знатоками женщин всегда оказываются те, кто меньше всего считаются с их чувствами, лучшими воспитателями те, кто лучше других соблюдают дистанцию между наставником и учеником. Точно так же иудейско-христианское человечество преклоняется перед персонифицированным Богом-Отцом. Оно никогда бы не признало за ним безусловных качеств всеблагости и всепонимания, никогда бы человечество не положило на то, что он все направит к лучшему, если бы он своим равнодушием ко всем человеческим надеждам и желаниям не доказал, что несомненно стоит выше людей.

Пешавар

Нечаянно я действительно-таки попал за пределы Индии. Облетевшие деревья, в ясном воздухе зимний холод; широкие пыльные проселочные дороги, по которым бредут люди хорошо знакомого мне психического типа. Странно: между Афганистаном и Россией раскинулся целый мир. Каждая область Центральной Азии населена народом иного племени, с иной историей и культурой, где свои нравы и обычаи; и все же сегодня одна духовная атмосфера простирается от Кайбера до Урала, распространяясь даже за его пределы. В этой атмосфере рассеивается всякая значительность. В Пешаваре ежедневно происходят убийства и выставлены на продажу пестрые индийские ткани, но какое это имеет значение?

С таким же успехом там могло бы и ничего не происходить и все могло бы быть иначе. Одним событием больше или меньше, такое оно или другое — смысл происходящего от этого не меняется. Длинными, бесконечными вереницами тянутся по дорогам верблюды. Длинной, бесконечной чередой проходят века за веками. Миллионы одинаковых людей ритмически уходят из жизни один за другим, иногда умирая насильственной, иногда своей смертью, с одним и тем же стереотипным жестом пожимания плечами.

Меня охватывает та бездонная тоска, для которой только у русских есть подходящее название: уныние. Я ничего не хочу и ни о чем не жалею, у меня нет никаких видимых причин, просто у меня тоска. Душа у меня словно опустошилась. Этой Азии неведомы никакие побуждения духовного характера. Вибрации, которые исходят от меня самого, рассеиваются в безграничном пространстве, а у меня нет душевных сил, чтобы их удержать. Результат — ощущение пустоты, от которого я глубоко несчастен. Потом вдруг на меня накатывают чуждые, brutальные силы — такие мысли и желания, которые, быть может, живут в диких сердцах афганских овцекрадов. Я никак не могу их отогнать, так внезапно они на меня напали. И тут вдруг я с ужасом понимаю, что они вовсе не так уж и чужды моей душе, как мне только что казалось; во мне самом, где-то в самых глубинах тоже сидит дикий центрально-азиат, и я проклинаю тот воздух, который пробудил его от спячки.

Однако в этом мире заложена возможность ни с чем не сравнимого величия. Когда над пустыней разражается буря, ветер громоздит на ней настоящие песчаные горы и гонит, как морские волны. Мощь такой бури не раз получала свое воплощение в человеке. Это были существа бездушные и бессмысленные, лишенные цели и ощущения ценностей; почти лишенные человеческого сознания. Зато в них жила первобытная мощь песчаной бури. Они поднимали целые народы и гнали их перед собой, как песчинки, погребали под горами песка целые культуры. Но когда песок уносился, все оставалось так, будто бы ничего и не случилось, будто налетевшая буря была дурным сном. Эти завоеватели служат воплощением бездуховных сил; однако ни у Аттилы, ни у Чингис-

хана величия, причем сверхчеловеческого, все же не отнимешь.

Только подумать, что здесь не в такие уж баснословно давние времена, был когда-то центр буддийской культуры. Что долина Кабула была священной страной махаянской веры, куда стремились все ищущие от Пятиречья до берегов Японского моря, что она была ареной того слияния эллинистического и индийского духа в искусстве, культуре и религии, от которого ведут свое начало все позднейшие дальневосточные формы! На протяжении тысячелетий Центральная Азия была источником духовности целого мира. Но по мере того как истощались водные источники и сады заносило песком, из иссушенной атмосферы неудержимо улетучивался дух, и дикое варварство заступило место утонченной культуры. Мне вспоминаются дни, когда я занимался геологией, и то, какими глазами я видел тогда окружающий мир; в Альпах я видел море, в базальтах — потоки текущей лавы, в неподвижной окаменелости — живую жизнь. Примерно такими же глазами видит Центральную Азию археолог. Однако мне кажется, что оба не замечают самого значимого. А значимым является изменение как таковое. Тот, кто занимался когда-нибудь сельским хозяйством, знает, что такое «история». Годом больше или годом меньше имеет для культуры значение космического абсолюта; нельзя ни поторопить, ни вернуть назад то, что сделано. Такое время сказывается в вечности. Ибо это преобразующее время. Там, где целенаправленная воля руководит процессом, происходит развитие. Происходит движение вперед, постоянно вперед и все дальше вперед, и конца этому не видно. Если воля по какой-то причине отказывает, процесс начинает идти под другим знаком. Развитие отклоняется в сторону, разветвляется, а не то и останавливается вовсе, что угодно приходит на смену разумному. Так, вместо сада появляется пустыня, вместо культуры — одичание, вместо духа — бездуховность, вместо жизни — вечная смерть. Какая ерунда вера в провидение, извне направляющее земные процессы! Они могли бы развиваться целенаправленно, в принципе этому ничто не препятствует; быть может, когда-нибудь мы, люди, добьемся того, что так оно и будет. А Богу,

по-видимому, совершенно безразлично, что происходит на Земле. Вчера — дух, сегодня — бездуховность, завтра, быть может, снова дух; то сад, то пустыня, то девственные леса, то море: мне кажется, он, как усталый махараджа, развлекающийся созерцанием науча, забавляется беспорядочным разнообразием, чтобы не соскучиться от вечности.

Есть все-таки своя прелесть в том, чтобы пожить некоторое время среди таких бесшабашных ребят, как эти африди. В их звериной дикости, первобытности, в их зависимости от инстинктивных порывов и безответственности есть что-то великолепное. Правительство не приветствует, чтобы приезжие без охраны и проводника слонялись по местным базарам: человека могут неожиданно пырнуть ножом в бок, и правительству тогда придется принимать какие-то меры, что оно по понятным соображениям делает неохотно, так как убийство значит для этих людей не больше, чем для нас вежливое выражение несогласия. Стоит ли мне обижаться на африди, если тому вздумается покуситься на мою жизнь? Пожалуй что нет. По крайней мере, обижаться на него можно не больше, чем на тигра. И, пробираясь по кривым, узким улочкам, я внимательно присматриваюсь, не затевается ли рядом какая-нибудь ссора. В битве эти люди должны выглядеть великолепно. Пока все идет мирно, все лучшее в них дремлет так же, как оно дремлет в боевом испанском быке, когда он равнодушно пережевывает жвачку.

Неожиданно меня разобрал смех: ведь эти африди живое воплощение того идеала сверхчеловека, которому поклоняется значительная часть нашей поэтической молодежи! Великий человек, жестокий по необходимости; идущий до конца по пути, предначертанному судьбой, даже когда он ведет его к гибели; человек, чьи страсти не знают границ; который не поддается никаким рациональным рассуждениям — воистину такое описание к ним подходит. Забавно, как посмотреть, куда заводит гиперцивилизованного горожанина потребность в преклонении перед героическими образами. Естественность, разумеется, необходима; но неужели нельзя представить ее себе в более высоком воплощении, чем в образе дико-

го зверя? Вряд ли афиняне из окружения Платона видели в Ахилле и Диомеде недостижимые образцы для подражания; и только при современных декадентах человеческий идеал опустился так низко до животного уровня; даже Ницше, чувствительный пасторский сын, не это имел в виду, что бы он там ни говорил на словах. Но сегодня мы действительно докатились до того, чтобы отождествлять естественность с природой в чистом виде. Пожалуйста, я готов, если угодно, восхищаться простотой коровы, но тогда я ставлю условием, чтобы она не занималась писательством; такой способ выражения присущ только образованным людям. В таком же смысле я отказываюсь восхищаться дикарем как героем. Африди — это действительно те сверхчеловеки, которыми восхищается современная литературная молодежь. Мне представляется занимательным рассмотреть ее с этой точки зрения. Некогда считалось: тот, кто владеет собой, может называться сильным человеком; сегодня: силен тот, кто не может с собой совладать. Разумеется, для того, у кого вообще нет страстей, одно уж их существование представляет собой идеал. Однако ведь неправда, что у всех современных людей они истощились; как правило, это относится исключительно к пишущей братии, к тем, кого Вольтер назвал *«canaille écrivante, cabalante et convulsionnaire»*¹, т. е. к самым пустяковым людишкам, и главная беда сегодня в том, что они обладают такой властью. Идеал изможденного, не способного ничего создать, да просто слабого человека заставляет здоровых людей обратиться в варварство. Пишущих коров превозносят до небес, в дикарях почитают героев; в результате все больше коров берется писать, и все большее число тех, кто способен воспринимать культуру, идут в дикари. Ах, как же полезно было бы нынешним молодым воспринять немного индийской мудрости! Узнать, что неспособность преодолеть в себе жестокость, подчинение року, неумение владеть своими страстями и прислушиваться к доводам рассудка — это признаки слабости, а не силы, что не только нынешний сверхчеловек, но и трагический герой классического образца воплощают варварский идеал! Несомненно, что современное состояние че-

¹ Вульгарный писака, интриган и припадочный (фр.).

ловечества не бог весть какое достойное; но идеал, к которому нам следует стремиться, лежит в направлении одухотворенности, а не животного начала. Не только королева, но и Бог свободен, ему, а не ей нам следовало бы подражать. Тем более что к нему мы гораздо ближе. Наблюдая за африками, я отчетливо вижу, как далеко мы от них ушли. Возможно, именно этим сдвигом перспективы по сравнению с античностью объясняется то, что животное представляется нам таким же достойным почитания, как людям античности — Бог...

Дели

Из варварства я внезапно перенесся в город, который еще несколько столетий назад считался недостижимым культурным центром, тем не менее я не ощущаю никаких духовных вибраций: среди красот этого города я чувствую какой-то холодок. Все они лишены самобытного содержания, глубокой выразительности, в особенности это относится к мечетям. Мохаммед был прав, когда он, подобно своему духовному кузену Кальвину, изгнал из божьих домов все, что прельщает наши чувства; этому богу не соответствует ни одно произведение искусства. Его живой дух являет себя в дикой природе, в битве, во власти и справедливости халифа; «художественная красота» не может его выразить. И здесь, где индийские художники поставили всю свою тонкость и гибкость на службу мусульманству, это проявляется с болезненной отчетливостью. Это искусство, несмотря на все его очарование, здесь ничего не значит; оно не имеет здесь того фона, которым обладало в резиденциях индийских царей. Духовное значение магометан в Индии ограничивается их ролью властителей. Поэтому только монументальные памятники обладают той атмосферой, которая выражает имперское начало: это крепости, городские стены, мавзолеи; в остальных произведениях искусства — роскошь как таковая, их размеры, их внешние возможности. «Художественная красота» сама по себе не может служить непосредственным выражением имперского начала; как таковые дворцовые строения Великих Моголов не выражают ничего, кроме

того, что в их власти было выполнить подобные работы. По-настоящему содержательным имперское искусство становится только там, где оно выступает под знаком законченной целесообразности. Отсюда проистекает громадная выразительность римских акведуков, в каждой арке которых заключается больше души, чем в самых прекрасных, возведенных в соответствии с греческими образцами монументах; отсюда же и то обстоятельство, что в наши дни живая художественная ценность присуща только железным конструкциям: вокзалам, мостам и туннелям. Поэтому в Дели мне, как и в Риме, больше всего удовольствия доставляют долгие прогулки по окрестностям, во время которых я не слишком вдаюсь в детали. Эта местность, несмотря на конкретные различия, сродни Кампанье. Здесь и там веет дух широты, законченности, величия, притом что все крепко связано, — это дух империи.

Но когда я (поступая, в сущности, недозволенным образом) соотношу красоту делийских мечетей и дворцов не с исламским господством, а с отдельными выдающимися личностями, которые его в себе воплощали, тогда она приобретает глубинный смысл. А когда ты сводишь мировое господство и красоту к душе отдельного человека, он предстает в такой величии, равного которому, пожалуй, трудно отыскать во всей истории. Тут, конечно, трудно прийти к правильному суждению, но сегодня мне все-таки кажется, что великие представители династии Великих Моголов как типы были самыми великими властителями, каких когда-либо порождало человечество. Это были природные властители, какими и должны были быть потомки Чингисхана и Тимура, изоощренные дипломаты, опытные знатоки человеческой природы и в то же время мудрецы, эстеты и мечтатели. Такое сочетание никогда не встречалось на Западе, по крайней мере, оно никогда не приводило к добру. Так, например, в фигуре прославленного Марка Аврелия отчетливо заметна комическая черта из-за того, что он некстати и не к месту облачался в плащ философа (конная статуя на Капитолии, при виде которой я всякий раз не могу удержаться от смешка, наверняка похожа на свой прообраз); а Фридрих II Гогенштауфен, единственный европейский монарх, которого можно поставить с Моголами в сравне-

ние, хотя и был чрезвычайно интересной личностью, однако как властитель далеко уступает им по значению. Для всех богатых натур, которые когда-либо занимали престолы на Западе, многогранность выливалась в многоделание; один талант накладывался на другой, так что поэт, замечтавшись, проигрывал свои войны или силился воплотить в жизнь свои поэтические мечты, мудрец парализовывал человека действия, дипломат накладывал отпечаток на философа и человек (т. е. самое важное, что есть в натуре властителя), в конце концов, утрачивал единство своего действительного начала. У Акбара же, например, это единство оставалось по ту сторону всего, что он делал, что он познавал и что происходило на его жизненном пути; его богатство всегда хранилось в собранном виде. Как император он стоял выше поэта, мечтателя, богоискателя, скептического мудреца. Поэтому каждая внушенная им арабеска носит на себе печать имперской власти. Подобного совершенного человеческого синтеза не воплощал в себе ни один из властителей Запада. Его можно встретить лишь у нескольких пап. И великолепные дворцы папского Рима действительно дышат тем духом, который напоминает Дели. У римских пап их внешнее положение дало результат, напоминающий тот, что мы видим у потомков Тимура, достигших его благодаря своим природным качествам. Если папа, будучи наместником божьим на земле, неоспоримым властителем христианства, непогрешимым судьей во всех спорах, более или менее соответствует своему папскому призванию, он невольно обретает какую-то долю того всевластия и душевной силы, которые отличали Акбара. Ведь и его величие было обусловлено не одними лишь природными задатками, большая часть тех средств, которыми среди западных властителей обладает один только папа, в особенности его неоспоримая власть и беспрекословное повиновение подданных, является принадлежностью всех самодержавных властителей Востока. И тем не менее на протяжении истории существовала только одна династия Великих Моголов, а среди них встретилось лишь несколько великих властителей и один величайший, так что я вправе почитать в Акбаре самого великого императора из всех мне известных. Поразительно, как все мыслимые выражения власти Моголов

сфокусировались воедино в душе этого человека. Суровое величие, универсальность, непоколебимое чувство справедливости, и рядом с этим — нежные краски почти женственной салонной культуры, всепонимание философа, вибрирующая чувственность поэта. Да, величие этого человека кажется сверхчеловеческим, когда узнаешь, что прежде всего он был любящим человеком: нежная, ранимая душа, обладавшая необычайной способностью сочувствования. Это напоминает идеальный образ христианского Бога: всемогущего, всесправедливого отца, который железной рукой управляет судьбами мира и в то же время весь — сплошная любовь, сплошное милосердие; отец, для которого грех согрешившего тяжелее, чем для самого раскаявшегося, и для которого вся жизнь протекает, как бесконечная трагедия, так как грехам, требующим прощения, нет конца.

Такого рода величие неизбежно требует от властителя, чтобы он был выше национальных различий, что, между прочим, получает свое выражение в том, что многие индийские цари, подобно императорам и понтификам Рима, могли быть людьми какого угодно происхождения. Грандиозная толерантность Акбара представляется после того, как мы признаем за ним его сущность, чем-то само собой разумеющимся, таким же естественным, как относительное великодушие аристократов по сравнению с плебейской мелочностью. Точно так же и терпимость, обыкновенно проявляемая мусульманами (если только они не принадлежат к какой-нибудь фанатической секте) по отношению к иноверцам, основана ни на чем ином, как на их большем аристократизме. Чем больше я наблюдаю ислам, тем сильнее поражаюсь тому, какое чувство превосходства дает эта вера своим приверженцам. Очевидно, ничто не может быть более полезным для человека, чем вера в свое избранничество. Всякий, кто верит в себя, всегда, кем бы он ни был, стоит выше того, кто в себе не уверен. Отсутствие благородного чувства превосходства у типичного, верящего в букву Писания христианина вытекает из его тревожной неуверенности. Не составляет труда доказать это от противного: первые кальвинисты считали себя избранными, подобно мусульманам, и среди них можно найти самые независимые типы, каких только когда-либо порождало христианство.

Конечно, они никогда не достигали аристократической независимости мусульман; поэтому они и были так непереносимы. Где найдется пастор, который мог бы сравниться по душевной широте с Магометом, среди высказываний которого есть и такое: «Разногласия в моей общине служат знаком Божьего милосердия»? Однако они все же стояли гораздо выше лютеран, живших в непрестанном страхе перед неизвестностью, и, пожалуй, настолько же выше католиков, у которых церковь узурпировала чувство ответственности. Да, что касается благородной терпимости, то в этом отношении не только брахманский и буддийский Восток, но, в частности, даже ислам стоят выше Запада. Чем объясняется тот факт, что исламский Восток никогда не теряет своей характерности в отличие от европейцев, которые всегда становятся бесхарактерными, стоит им только отказаться от своих национальных предрассудков? Этого я пока не сумел себе объяснить. В свете полумесяца национальный характер, правда, всегда оказывается размытым, что особенно заметно в Индии, где все типы обрисованы очень четко. Но на его место приходит более универсальный, хотя и не менее четко выраженный характер, а именно — мусульманский. Каждый отдельный мусульманин на вопрос, кто он по крови, отвечал мне: «Я мусульманин». Почему только эта религия смогла заменить национальность более широкой общностью? Причем не менее сильной и ясно очерченной? Почему так случилось, что ислам, не выдвигающий соответствующей догмы, смог реализовать идеал всеобщего братства, в то время как христианству, несмотря на его идеалы, это не дано? Очевидно, это как-то зависит от скрытых внутренних связей между основными линиями этой удивительной веры и основными чертами человеческой натуры, которые пока еще остаются для меня неясными.

Формообразующая сила ислама огромна. Даже на лицах верующих, которые несомненно по крови принадлежат к индусам, лежит то уверенное, гордое и спокойное выражение, которое везде отличает мусульман. Эти индийцы — не мечтатели, над ними не властвуют галлюцинации, они не чужаки в этом мире. Соответственно и вид у них очень реальный. Их мускулы крепки, взгляд смел,

осанка энергична; их физический облик гораздо выразительнее. Как правы англичане, относясь к исламскому элементу Индии как самому решающему.

Меня непрестанно занимает вопрос, откуда ислам черпает свою формирующую энергию, которая в нем, по-видимому, сильнее, чем во всех других религиях. Значение крайне демократичных магометанских объединений наконец-то вывело меня, кажется, на правильный след. Демократизмом ислама объясняется его особая притягательность в условиях Индии, где переход в ислам означает единственный способ уйти из-под власти кастовой системы; причем здесь речь идет об истинном равенстве в гораздо большей степени, чем, например, в Соединенных Штатах Америки, ибо мусульмане не только называют, но и на самом деле считают друг друга братьями, независимо от расы, достатка и положения в обществе. Но этот демократизм еще не главное; он сам является следствием более глубокой причины, и она, кажется, дает мне ключ к разгадке всех преимуществ магометанской веры. Ислам — это религия абсолютной самоотдачи. То, что по Шлейермахеру является сущностью всякой религиозности, на самом деле относится к магометанской вере. Мусульманин постоянно чувствует себя во власти своего божественного повелителя, причем в его личном подчинении, а не под началом его министров и слуг; он все время находится с глазу на глаз с Богом. Этим определяется и демократичность ислама: во всех абсолютных монархиях вплоть до ступеней трона царит дух всеобщего равенства; из всех стран Европы самой демократичной была вчерашняя Россия, потому что перед абсолютной властью царя все различия между его подданными становились ничтожными. Но автократии могут отличаться по духу; в зависимости от характера государя они могут быть сильными или слабыми. Так, уникальная формирующая сила ислама основана на уникальном характере его бога. Аллах с гораздо большим правом, чем Иегова, с гораздо большим правом, чем христианский Бог, может именоваться повелителем небесного воинства, он — автократ в том же смысле, как генерал, а не как тиран. Вот оно, в чем заключается главная особенность: магометанская вера — единственная на свете подразумевает военную дисциплину. С Богом нель-

зя спорить, его нельзя ни о чем просить, нельзя торговаться, нельзя ничего выманивать; молиться с определенной целью — это уже смертный грех; человек должен по-солдатски выполнять приказы, повинуюсь команде. Никто не будет спорить, что сознание хорошо вымуштрованного солдата наиболее пригодно для исполнителя, но не для мыслителя. Исламский мир представляет собой армию, объединенную общим, нерассуждающим духом. Такой дух, в конце концов, перемалывает все различия, он объединяет всех в солдатское товарищество. В исламе он переплавил в одну массу все расовые различия. Ритуальная сторона этой веры имеет другой смысл, нежели ритуалы индуизма или католицизма; в ней объективируется дисциплина. Когда верующие ежедневно стройными рядами в определенный час читают в мечети молитвы, выполняя одни и те же движения, это служит не для самореализации, как в индуизме, а совершается в том же духе, в каком прусский солдат марширует на параде перед своим императором. Этот воинский дух, лежащий в основе ислама, объясняет все достоинства мусульманина. Вместе с тем он также объясняет и его основные недостатки: отсутствие стремления к прогрессу, неспособность к адаптации, недостаток изобретательности. Солдат должен только выполнять команды; все прочее — дело Аллаха.

Исходя из этого, может быть, удастся дать справедливую оценку религиозному требованию послушания, которое в наше время оценивается чисто негативно. Среди военных считается общепризнанным положение, что только тот, кто умеет повиноваться, может быть командиром. Почему? Потому что командование и повиновение предполагают идентичную внутреннюю собранность. Так что тот, кто учится послушанию, одновременно учится быть настоящим начальником. Таким образом, крайне неразумно осуждать, как это делается сегодня, требование послушания, объявляя его школой слабости; напротив, ничто так не воспитывает силу. Только школу послушания нельзя растягивать до бесконечности; она может продолжаться лишь до тех пор, пока человек не научится сам собою руководить; будь это иначе, идеальный тип человека воплощался бы в нижних чинах, а иезуита ставили бы выше мудреца.

Ислам — это по преимуществу религия рядового солдата. Ею она возносит выше, чем это делает какая-либо другая со времен пуританства кромвелевского толка. Мне приходят на ум северо-африканские арабы: их жизнь ясна как воздух пустыни. Их идеал — это блюсти здоровье и чистоту, прожить жизнь, не ведая сомнений, не испытав душевной борьбы, спокойно и бесстрашно ожидая, когда тебя призовет вечность; и этот простой, ясный идеал они осуществляют. Это кое-что значит, ибо задача стоит немалая, как бы она ни казалась проста; только душевно независимый человек способен ее выполнить. Фатализм мусульманина, подобно фатализму кальвиниста и в отличие, к примеру, от фатализма русского человека, является выражением силы, а не слабости. Он не испытывает трепета перед всемогущим Богом своей веры и не питает надежд на его особенное благоволение, также он не идет безвольно туда, куда поведет его судьба: гордо и с душевной свободой он смотрит в лицо стоящей над ним силе, одинаково спокойно относясь к вечности и к смерти. Магометанин не косится исподтишка на небеса, хотя уверен в них гораздо больше. Он слишком горд для того чтобы мысленно опережать то, что уготовано ему судьбой. Пусть будет, что будет: mekhtuh (так написано).

Вера в предопределение творит грандиозные вещи, когда ее исповедуют гордые души. Греки такими не были, и она не способствовала их величию. Царь Эдип не вырастает в наших глазах оттого что его преследует злой рок, он только вызывает в нас все больше жалости. Магометане — гордые люди. Ислам делает гордым каждого, кто его исповедует, как королевская мантия, которая тоже всякого делает гордым. Поэтому жизнь магометанина отмечена высочайшим пафосом. Однажды мне пересказали слова верующей египетской принцессы, испытавшей в жизни много горя и теперь спокойно ожидавшей своей кончины. Она сказала: «Нам, женщинам, пророк не обещал, как мужчинам, райского блаженства. Но разве это причина, чтобы горевать? Разве что только о неисполненном долге на земле. Мы, женщины, поступаем праведно ради любви и не требуем за это награды». Это очень исламская мысль, выражение истинно исламского величия. Величия, подобного которому нигде больше не

встретишь. Буддист ведь тоже не спрашивает, жить ему или умереть, и спокойно идет своим путем. Но он не доживет жизнью; он стремится к Нирване; в его смирении отсутствует пафос. У магометанина — мирские помыслы; ему совершенно не свойственна интеллектуальная трансцендентность. Тем возвышенней кажется его гордое смирение.

В христианстве была только одна форма, порождавшая таких независимых людей: протестантство, возникшее под влиянием реформации. Как уже было замечено, кальвинизм и ислам роднят многие черты. Обе религии исповедуют догму о предопределении; пуритане, как и магометане, чувствуют себя избранныками Божьими и соответственно уверены в себе, их боги одинаковы по характеру. И как Магомет, так и Кальвин были против богословских спекуляций, а были за то, чтобы завоевывать землю. Сходные причины и сходные следствия. Но если пуританство благодаря своим прогрессивным тенденциям доказало свое преимущество перед исламом в том, что касается влияния на земные дела, то в пользу ислама можно сказать, что пуритане никогда не могли сравниться с мусульманами в том, что касается внутреннего благородства. Причина этого та, что кальвинизм так и не смог освободиться от рабского сознания своей греховности — этого первородного греха всего христианства в целом, из-за которого оно всегда трепетало перед своим господом. В то время как мусульманин непоколебимо доверяется своему богу, как солдат своему военачальнику.

Когда я стою перед усыпальницами царей и военачальников, чьи могучие купола отовсюду виднеются на фоне ясного неба высоко над развалинами старого Дели, и размышляю над отношением мусульман к смерти и вечности, мне порой чудится, что изнутри до меня доносится лютеровский хорал «Оплот надежный наш господь». Его настроение очень соответствует духу магометанства, больше, чем нынешнему лютеранству. Тон гордой веры, бодрой воинственности, который звучит в этом гимне отчетливей, чем, пожалуй, в каком-либо другом творении христианского духа, содержит истинные цвета веры, основанной пророком Аравии.

Сегодня я весь нахожусь под таким впечатлением сурового величия монотеизма, какого мне давно уже не приходилось испытывать. Какое грандиозное зрелище являет собой человек, когда он, нагой и ни от кого не зависимый, без каких-либо посредничающих инстанций, предстает перед своим Богом — Богом, который, не зная ограничений в виде законов и норм, чисто по своему произволу решает его судьбу, это придает жизни отдельного человека неповторимый пафос. Насколько же больше силы предполагает упование на такого Бога по сравнению с теософской верой! И, с другой стороны, какую же силу эта вера должна придавать человеку! То, что это действительно так, история доказывает с редкостной однозначностью; нигде никогда не бывало, да и по сей день не встретишь таких сильных характеров, какие можно видеть среди магометан и протестантов! Радикальный монотеизм заставляет человека полагаться абсолютно только на самого себя (говоря, что он, напротив, целиком подчиняет человека Божьему промыслу, мы высказываем в другой форме ту же самую мысль); монотеизм учит ответственности. Поэтому душа человека поневоле настолько укрепляется, насколько позволяет ее природа. Соответственно, она становится непластичной, тяжело-весной, косной, а возможно и усыхает; по красочности душевной жизни монотеисты не могут состязаться с политеистами. Но душа становится сильной. Монотеист — это прежде всего характер. И он блюдет его как высшую ценность, требуя, чтобы тот не изменял себе.

Среди изречений арабской мудрости есть такое: «Если услышишь, что кто-то сдвинул гору, верь этому; если услышишь, что человек изменил свой характер, то этому не верь». Какой бы индийский мудрец сказал нечто подобное? Ведь тут речь идет не о само собой разумеющемся факте, что отдельные элементы характера существуют как данность, здесь утверждается неизменность их сочетаний. Такое утверждение мог выдвинуть только монотеист, только тот, кто верит в противостоящего ему во вне личного Бога, чей Бог и сам прежде всего — характер. Только такому человеку характер представляется последней инстанцией. Индийская трактовка более глубока, но нельзя не согласиться, что исламско-протестантская лучше выдерживает испытание на эффектив-

ность — *the pragmatic test*¹ — в условиях этого мира. У монотеиста самосознание концентрируется в его личности; она для него крайний предел, нечто непреодолимое, за что он будет призван к ответу в день Страшного Суда. Поэтому все глубинное, что в нем есть, встраивается в его личные свойства. Каким же слабым предстает самый выдающийся индус в сравнении с любым мусульманином! Или, скажем, самый великий мыслитель Запада (в том случае, если его самосознание укоренено в его личности) по сравнению с ограниченным прусским офицером! В метафизическом смысле это не придает последнему большей ценности; «характер», как его ни поверни, всегда означает ограниченность; все высшее в человеке начинается над его пределами. Но поскольку там, где речь идет о массе, никакой высшей человечности быть не может, то, наверное, неплохо, если бы у нее хотя бы был характер, если бы все простые, необразованные люди верили в Бога, как мусульмане.

Если бы я перенесся в Дели прямо из южной Индии, я, вероятно, непосредственно ощутил бы то, что сейчас открывается мне в рассуждении: как мало в этом мире для меня чуждого; европейцу, вероятно, не нужно особенно перестраиваться, чтобы понять его изнутри. Думаю, что итальянцы, очутившись при делийском дворе, освоились бы там без особенных трудностей и легко начали бы творить в его духе, так как царившая здесь культура была проникнута тем же духом, что и придворная культура романских стран. Отличие индийской заключалось разве что только в одном нюансе: у нее был характер фата-морганы. Великие Моголы, по сути дела, не были погружены в тот феерический мир, который создавали вокруг них их художники, они любовались им, как театральным праздником. Их настоящая жизнь была суровой и грубой, гораздо суровее, чем жизнь итальянских пап и князей. Но подобно тому, как изящные молочно-белые статуэтки красуются над делийским фортom, словно они вырастают из его массивных стен, эта суровая действительность была прикрыта тончайшим покровом неземной, волшебной красоты. Тимур, самый грозный завоеватель своей эпохи,

¹ Практическая проверка (англ.).

был в то же время утонченным эстетом, в нем жила потребность видеть вокруг себя прекрасное, а в его внуках эта потребность еще усилилась. Вероятно, люди были бы не в силах создать искусство такой неземной красоты как выражение своей собственной сущности; жемчужная мечта могла бы отражать душевную сущность разве что эльфов. Очевидно, те чудеса, которые создали здесь художники Индостана, им удалось осуществить как раз потому, что они выражали в них мечты. Эти люди никогда целиком не принадлежали реальности, у них была необычайно богатая фантазия. А фантазия свободнее всего творит в сказке.

Нет, этот мир для меня не чужой. И дело тут не только в его общем духе: отдельные его формы мне также близки, хотя в большинстве своем они раньше никогда не попадались мне на глаза. Чем больше я вижу и узнаю, тем отчетливее понимаю, насколько не свободен человек в своем духовном творчестве. Когда его ум рождает новые формы, это вовсе не значит, что он их произвольно придумывает: он лишь предоставляет форме, от которой отталкивается (ибо начинать с бесформенного может один только Бог), возможность нового развития, предначертанного заложенным в ней изначально законом. Творческие натуры — всего лишь медиумы, посредующие звенья, исполняющие ту же роль, что родители для зародыша, чье развитие, однажды начавшись, продолжается затем по собственному закону. Когда-то у меня невольно вызвали усмешку историки культуры, объяснявшие становление того или иного стиля какими-то определенными моментами внешнего порядка; так, например, утверждалось, будто бы одна статья Дидро вызвала в свое время решительный поворот в стиле французской живописи. Я сказал себе: будто бы творческие люди так уж сильно поддаются влиянию критиков! Будто бы внешний момент может послужить причиной глубоких внутренних изменений! Относительно фактов я был совершенно прав. Но с тех пор я все-таки понял, что такого рода конструкции при всей их ошибочности отчасти имеют право на существование, так как они задают схему, правильно описывающую действительность. Развитие и смена одних форм другими — это процесс, настолько обусловленный необходимостью, что тут все

способствует его протеканию, а потому в этом случае подходят любые причинно-следственные координаты. То есть если Дидро и не оказал решающего влияния на художников, он, тем не менее высказал в своей критике то, что выражало бессознательную творческую тенденцию художников, и, следовательно, ради простоты допустимо сказать и так, что, мол, Дидро явился родоначальником этого движения. Каждому направлению свойственны его имманентные границы, каждая форма таит в себе все свое возможное потомство, вследствие чего в принципе всегда возможно реконструировать или предвидеть события. Без Рихарда Штрауса не было бы штраусовской музыки, но ее идея является «производной» от музыки Рихарда Вагнера (что с таким изяществом математически доказал Виктор Гольдшмидт), так что оригинальность Штрауса, как и оригинальность всякого творца вообще, заключалась лишь в актуализации и эмпирической реализации идеально необходимого. Поэтому все философы одинаково согласны между собой в том, что тот, кто обладает основной идеей, при условии достаточно широкого обзора, мог бы а priori конструировать философские убеждения любой эпохи, если бы ему были известны прочие ее элементы... С наибольшей очевидностью необходимая взаимосвязь всех форм проявляется в изобразительном искусстве, потому что в нем законы формообразования проступают наиболее отчетливо. Этим обусловлены, с одной стороны, самая возможность критической истории искусства, а с другой стороны, огромное значение, которое приобретают памятники изобразительного искусства в качестве исторических ориентиров. Поскольку все формы выражения по своей природе необходимы и в них явственно видно их происхождение, это дает нам возможность непосредственно изнутри понять чуждое нам явление, если оно является порождением чего-то знакомого. Это и происходит со мной в связи с искусством Моголов. Изначально это искусство было порождением Запада, точнее говоря, сближением Запада и Востока, характерным для Восточно-Римской империи, формы которой мне хорошо знакомы. Дальнейшее развитие протекало закономерно, его легко охватить взглядом. А поскольку не только содержание неизбежно порождает определенные формы, но и

формы в свою очередь влияют на содержание, то само заимствование византийских выразительных средств привело к сближению Запада и Востока, вследствие чего делийский дух оказывается ближе духу Константинополя, чем духу Удайпура. Постепенно человек уподобляется средствам своего выражения. Постоянно говорящий и думающий по-французски немец со временем духовно превращается во француза. Тот, кто достаточно долго занимался Кантом, становится в каком-то смысле его отпрыском, как бы далеки ни были его первоначальные задатки от кантианства.

Этот мир близок мне в гораздо более широком смысле, чем я сначала мог предполагать: исламская культура как таковая мне не чужда; она служит выражением того же духа, которым обусловлен и мой душевный строй. Тот, кто знает одну лишь Европу, может видеть в исламской культуре нечто чуждое, «восточное»; тарасконец видит в жителе Бокера особый вид, не имеющий с ним ничего общего. На фоне Индии отличия исламского мира от христианского представляются уже не такими существенными, по крайней мере не более существенными, чем отличия православной церкви от католичества.

Иудеи, христиане и мусульмане — братья. Поскольку эти три религии ведут свое происхождение от моисеевой веры, они в конечном счете проникнуты одним и тем же духом. Сегодня я отчетливо понимаю: говоря о ныне существующих формах, неправильно противопоставлять арийскую культуру семитской — несмотря на отсутствие у семитов германской тяги к трансцендентному, которая так сближает германцев с индийцами, унаследованная ими культура имеет средиземноморское происхождение, то же самое относится к романским народам, семитам и тюркам. Задолго до появления Магомета «духи» античности и Ближнего Востока, последователей Моисея, христианства и тех кельто-германцев Севера, которые к тому времени романизировались или эллинизировались, слились воедино. Таким образом, ислам стал всего лишь новым выражением того, что относится ко всему западному миру.

Сравнение этого западного духа с индийским миром очень ясно показывает мне, в чем он, в сущности, состо-

ит. Для него характерны два момента: его обращенность вовне и та энергия, с которой он формирует явления. Этим он радикально отличается от восточного духа, который в Индии получил свое наиболее яркое выражение. Сознание индуса сосредоточено на сущности; поэтому он отворачивается от мира явлений. Пренебрежительное отношение к индивидуальности, неумение формировать свою жизнь, презрение к земным успехам, научному знанию, техническому мастерству, стремление к Нирване, необычайная степень духовности — все это выражает его типичную жизненную позицию. Все представители Запада (включая сюда и магометан) придерживаются прямо противоположной ориентации; их характерные идеалы наиболее ярко выражены в христианском представлении о бесконечной ценности человеческой души и в завете, согласно которому рай должен быть осуществлен на земле. Как магометане, так и христиане рассматривают этот мир как поле, на котором им должно трудиться; мировоззрение тех и других индивидуалистично в том смысле, что ни те, ни другие не признают никакой наиндивидуальной реальности (что, как мы понимаем это сегодня, может, хотя и не обязательно, выливаться в собственно индивидуализм); и те и другие гораздо больше идеалисты, чем индусы, ибо только тот, кто полностью принимает мир явлений, может исповедовать его идеалы. Но, с другой стороны, и те и другие настроены гораздо более материалистически, поскольку имеют в виду не столько сущность, сколько ее выражение, что, хотя и не обязательно, но с большой легкостью порождает материализм в истинном смысле этого слова. Из всех представителей Запада магометане питают наиболее материалистические представления; так, например, в исламском стремлении к небесам вообще отсутствует какая бы то ни было трансцендентальность. Однако о них нельзя сказать, чтобы они в человеческом смысле были материалистами; материализма в них меньше, чем у большинства современных христиан. Духовными их назвать нельзя, однако идеализм свойствен им в высочайшей степени; идеал веры стоит для них выше любого успеха. Но их идеал статичен и находится в состоянии покоя; отсюда отсутствие у них прогрессивных тенденций, из-за чего создается впечатление, будто бы они бли-

же к индийцам, чем к нам. Тем не менее эта видимость обманчива, ибо их покой связан не с пассивностью, а с собранностью. Это наша, западная, энергия, принявшая вид напряженности. Если на чей-то взгляд это противоречит христианству, достаточно вспомнить о характере греко-православного христианства: он явно ближе к характеру ислама, чем к характеру методистского исповедания.

Да, ислам тоже одно из проявлений западного духа; с индийским у него не больше общего, чем у нас. И христианину он очень понятен. На самом деле для нас нет ничего чуждого в ментальности мусульманина. В Индии, правда, ислам в ходе своего развития все больше сближается с индийским духом; голос крови надолго не дает себя заглушить. Так же, как это уже давно происходит в Персии, в индийском исламе с каждым новым религиозным учителем все сильнее проступает мистическая наклонность этой расы. С другой стороны, в христианстве с каждым веком все меньше остается семитического. Оно все больше и больше становится вместилищем чисто германского стремления к бесконечному. Уже сегодня можно сказать, что дух, которым проникнут Запад, обнаруживает специфические отличия от той средиземноморской культуры, которая была его колыбелью. Однако это не мешает тому, чтобы все уже готовые формы брали свое происхождение из ее духа — того общего духа, который лежит в основе всех образований Запада и Ближнего Востока и тем самым находится за пределом всех расовых различий. Вот почему исламский мир на индийской почве вызывает у человека Запада ощущение чего-то родного и близкого.

Агра

Никогда бы не подумал, что такое возможно. Массивное мраморное здание, не имеющее тяжести, словно воздвигнутое из эфира; совершенно рациональное и в то же время чисто декоративное; без определенного содержания и все же в высшей степени осмысленное: Тадж Махал — не только одно из величайших произведений искусства, но, возможно, самое великое из всех творений,

когда-либо созданных человеческим духом. Тот максимум совершенства, который в нем достигнут, неизмерим никакими мерками, ибо ничего полузаконченного такого же масштаба не существует на свете. Здания подобного плана десятками рассеяны по обширным равнинам Индостана, но ни одно из них не идет ни в какое сравнение с тем синтезом, который достигнут в творении шаха Джехана. Остальные — это рационально спланированные строения с добавлением нарядных украшений; рациональное воспринимается как рациональное, декоративное как декоративное, а судить об общем впечатлении можно на тех же основаниях, что и обо всяком другом архитектурном сооружении. В здании же Тадж Махала происходит переход на какой-то другой уровень. Рациональное вплавлено в декоративное, а это означает, что сила тяжести, использование которой представляет собой реальный мотив всей прочей архитектуры, здесь исчезла; и наоборот — декоративная сторона утратила свой характер арабески, так как арабеска впитала в себя здесь всю рациональность и прониклась тем же содержанием, которое обыкновенно свойственно рациональному началу. Поэтому Тадж Махал не только прекрасен, но, как ни странно это может звучать, он миловиден: это изящная безделушка. При совершенной красоте, при недостижимом очаровании и изяществе в нем нет ни намека на величественность. А теперь о том, что касается смысла: выразительности в том значении, как это понимается, когда говорят об архитектурных средствах выражения, у него нет никакой — ее здесь так же мало, как в ювелирной безделушке. В нем нет ни одухотворенности, как у Парфенона, ни компактности и силы, как у типичных магометанских строений; в его формах нет одушевленности готических соборов, не чувствуется и анимально-эмоционального фона, как в дравидских храмах. Тадж Махал не обязательно воспринимается как усыпальница, с таким же успехом в нем можно было бы видеть парковый павильон, если отвлечься от растущих вокруг кипарисов и, не слушая красноречивых комментариев, посмотреть на него непредвзятым взглядом. Конечно, очень трогательно думать, что это здание воздвигнуто как памятник верной супружеской любви, и что под его куполом покоятся соединившиеся после смерти супруги.

Но мертвая царица совсем не душа Тадж Махала. У него нет никакой души, нет привнесенного откуда-то смысла. Именно поэтому он представляет собой самое абсолютное произведение искусства, какое когда-либо создавалось в архитектуре.

Архитектура слывет несвободным искусством; она несвободна постольку, поскольку духовная красота может выражаться в ней лишь посредством эмпирической целесообразности. То, что прекрасно без целесообразности, именно по этой причине лишено смысла и содержания: арабеска просто есть, и она приятна для глаз, но она ничего не означает. Из этого вытекает достопримечательный антагонизм между рациональным и декоративным: там, где мы видим искусство, совершенное в своей рациональности, как это, например, имеет место в искусстве древнегреческом, декоративный элемент вообще кажется излишним: чем меньше украшений и аксессуаров, тем лучше. Декоративное же, напротив, обязательно требует наличия объекта, который придавал бы ему смысл. Наиболее существенным оно выглядит там, где оно обусловлено соответствующим образом жизни, как, например, в дворцах Италии и Индии; чем больше оно претендует на самостоятельное значение, тем более пустым и бессмысленным кажется его вид. В Тадж Махале же дух не связан никакими эмпирическими условиями, и декоративный элемент в нем не носит отпечатка внутренней пустоты; это здание абсолютно лишено целесообразности, несмотря на его законченную рациональность, и совершенно с точки зрения содержательности, несмотря на его арабескный характер. Все дело в том, что оно принадлежит к особой сфере. Обычные категории в ней не действуют. Декоративность обладает там такой же одушевленностью, какая обычно бывает свойственна прекрасной целесообразности, а рациональное начало в ней всего лишь поверхностный блеск. Тадж Махал — самое абсолютное произведение искусства, какое только можно найти на свете; он так эксклюзивен, что его душа, подобно его телу, совсем не имеет окон. Мы можем только угадывать ее, только восхищаться ею, но к ней нет пути.

Чем же именно обусловлена эта уникальность? Дело во взаимодействии множества мелочей; в существовании

таких нюансов, от которых, казалось бы, невозможно ожидать огромного значения. Общий план Тадж Махала лежит в основе сотен индийских мавзолеев, которые не производят никакого особенного впечатления; его цветочное решение использовалось в подражаниях сотни раз, и результатом всякий раз оказывалось, что украшенные подобным образом здания производили впечатление кондитерского изделия. Достаточно слегка сдвинуть пропорции, чуть-чуть изменить размеры, использовать другие материалы, перенести Тадж Махал в другую местность с иными условиями влажности и иным преломлением света в атмосфере, и получился бы совсем не тот Тадж Махал. На примере этого произведения искусства особенно отчетливо видно, что значит индивидуальность. Сколько бы мы ни выстроили причинных рядов, сколько бы ни выявили соотношений, это не объяснит самой сути; достаточно упустить какое-то, на первый взгляд незначительное обстоятельство, как меняется самая сущность. По-видимому, это говорит не в пользу индивидуума: ведь разве может быть метафизически истинным то, что так очевидно зависит от эмпирических условий? Однако, с другой стороны, это доказывает абсолютность феномена. Феномен совершенно уникален, он никак не сводится к чему-то другому и внешнему. И порой, в платоническом настроении, я склоняюсь к тому, что он все-таки может быть причастен к метафизической реальности. Какой-то определенный аспект вечного духа может проявиться только в определенных эмпирических условиях. Сами по себе эти условия не представляют собой чего-то сущностного, и в них исчерпывается индивидуальное. Однако дух, который в них живет, существует как таковой, независимо от того, как и в чем он проявляется. Поэтому прообраз Тадж Махала, возможно, извечно украшал собой мир идей.

Почему моя мысль устремляется к далекой Италии? Потому ли, что к чуду Тадж Махала причастны итальянские архитекторы? Или из-за ренессансного характера культуры эпохи Моголов? Вероятно, по последней причине. Эта культура по сути дела имеет то же значение, что культура итальянского *rinascimento*¹ в период XV—

¹ Возрождение (итал.).

XVII веков, т. е. она представляет собой такую же великую загадку. Мне всегда казалось немного странным, как вполне рассудительные люди могут считать, что разобрались в Возрождении, сказав, что оно представляет собой продолжение античной традиции. Как же могло получиться, что какое-то продолжение традиции вызвало вдруг такие колоссальные последствия только в то время (ведь связь с этой традицией никогда не обрывалась), только на несколько веков и никогда больше? Как получилось, что итальянцы только в ту эпоху оказались способны на такие великие достижения? В биологическом отношении они по сей день остались прежними, они нисколько не выродились; сегодня можно с тем же правом повторить то, что сказал Альфиери — нигде на свете растение под названием «человек» не развивается лучше, чем в Италии. Нынешние итальянцы отличаются той же художественной одаренностью, что и их предки. Так почему же они были великими только в эпоху ренессанса? Очевидно, как и у индийских художников эпохи Великих Моголов, это произошло под наитием какого-то «духа»; эмпирические условия складывались таким образом, что «дух» мог использовать их как средство своего выражения.

Что это значит, я и сам не знаю. Вот уж который год я бьюсь над этой проблемой. Но факты несомненны: такие взлеты культуры, как ренессанс, невозможно объяснить, исходя только из известных нам причинно-следственных отношений. Они качественно отличаются от того, что им предшествовало и что последовало после них. В конечном счете они обязаны своим появлением некоему духовному влиянию, которое явственно носит характер «благодати». Эта благодать временно меняет всю природную данность. Но вот родник иссякает, и тут уж напрасными оказываются все усилия и таланты. Начиная с высокого ренессанса художественная культура Италии пошла на спад, невзирая на то, что время от времени продолжали рождаться гении, а в наши дни итальянцы, быть может, менее всех других народов могут похвастаться художественным вкусом, хотя они по-прежнему остаются самыми художественно одаренными. Что это значит? Я не знаю. Но с тех пор, как я повидал Тадж Махал, у меня стали появляться всякие странные мысли по поводу соотношения между явлением и его смыслом.

Достаточно было эмпирическим условиям чуть-чуть иначе сдвинуться, и Тадж Махал не стал бы тем чудом, какое мы в нем видим. Правильные соотношения, может быть, появились в результате чистой случайности. Крошечное изменение в выборе слов и синтаксиса превращает тривиальность в Слово с большой буквы и наоборот. Какая-нибудь случайная линия, нечаянное красочное пятно придают картине неподражаемое выражение. И это выражение составляет самую суть того, на чем, например, основаны все достоинства «Джоконды». Неужели существует какая-то тайная связь между необходимостью духа и эмпирической случайностью? Может ли быть, что случайное появление гения, который в определенное время вмешивается в ход истории, нечаянно проводит определенную линию, перед Богом является необходимостью? Я ничего не знаю наверняка, сколько бы ни угадывал. Но чудеса ренессанса и искусства эпохи Моголов могут, на мой взгляд, объясняться только непосредственной манифестацией самостоятельного смысла.

Я хорошо могу понять, почему европейцам главными достопримечательностями Индии кажутся резиденции императоров из династии Моголов. Ведь большинству из них интересно только то, что имеет непосредственное отношение к их индивидуальности. Этот мир доступен непосредственному пониманию, в нем ты чувствуешь себя как дома; вдобавок в нем на редкость много всего привлекательного. Меня же тянет отсюда прочь. На что мне эти сокровища? Их вид не дает мне новых импульсов, для этого их дух мне слишком близок. А для того чтобы просто буднично прозябать среди всей этой красоты, в ней слишком много величия. Она отвлекала бы меня на моих путях. Точно так же я не мог бы жить во Флоренции, где перед совершенным духом кватроченто гаснут все волевые порывы века новеченто. Но во Флоренцию я возвращаюсь снова и снова, и всякий раз она становится мне все милей, потому что ее зримая красота знаменует собой расцвет духа, означая именно то, что платоническая философия той же эпохи. Любуясь колокольной Джотто, я вижу в ней то же качество разума, которое получило свое абстрактное выражение в гуманизме, а вступая в часовню Медичи, ощущаю присутствие гения, который при других

условиях был бы способен сотворить мир. Во Флоренции все искусство обладает глубоким метафизическим смыслом, которым проникнуты даже самые странные его ответвления. В магометанском искусстве Индии таковой отсутствует. Поэтому оно ничего не может дать моей душе.

Чем больше я вижу искусства, которое представляет собой одно лишь искусство и ничего более, тем сильнее сознаю заложенную во мне склонность ценить искусство только за непосредственно выраженную в нем метафизическую реальность. Поэтому истинно великое искусство говорит мне, очевидно, больше, чем преобладающему большинству его поклонников, а с мелким искусством я как-то не знаю, что делать, причем мелкими мне представляются многие шедевры. Меньше всего меня трогает декоративное искусство. За изяществом, прелестью арабески не кроется никакого глубокого основания, кроме изысканного вкуса его создателя; а меня в общем-то мало волнует тот факт, что тот или иной представитель рода человеческого обладал хорошим вкусом. Разумеется, это не доказывает ничего, кроме моей ограниченности, и вовсе не значит, будто декоративность не заслуживает внимания. Несомненно, декоративные достоинства носят поверхностный характер, и было бы смешно сравнивать Сансовино с Микеланджело. Но не только глубокое имеет право на существование. В других областях я и сам ценю поверхностное, но только не там, где речь идет об искусстве, а это доказывает, что у меня отсутствуют соответствующие органы восприятия. В первую очередь это доказывает недостаток культуры. Причину этого легко обнаружить: пожалуй, в Европе трудно найти другое место, где климат был бы так враждебен искусству, как на моей родине; так что дело в недостатках моего раннего воспитания по сравнению с тем, какое с детства получали флорентийцы, и благодаря которому там люди моего положения и сословия без труда умели наслаждаться видимым блеском. Так что тут дело обстоит так же, как с любым другим преимуществом, которое дает человеку его происхождение; это преимущество носит абсолютный характер, и наверстать упущенное помогают только продуктивные способности. Итак, я рад, что скоро приеду в Бенарес. Там я буду чувствовать себя больше в своей стихии.

Бенарес

Когда Брахма положил на одну чашу весов небеса с их богами, а на другую — Каши (Бенарес),

Чаша с Каши перевесила и опустилась к земле.

Небо, что оказалось легче, поднялось ввысь.

Невольно мне снова и снова вспоминаются эти стихи из «Маникарникастотрамы» Шанкарачарьи, ибо над Гангом веет дух божественного присутствия, здесь я ощущаю его сильнее, нигде больше я не ощущал его так сильно, как здесь. В особенности утром, когда тысячи молящихся заполняют гаты, когда молитвы по золотым волнам текут навстречу солнцу и откровение смысла являет себя в нежнейших чувственных красотах, вся атмосфера словно пронизана божественностью. Как хорошо, что индийцы на протяжении тысячелетий почитали эти места как святыню: таким образом, они благодаря чудотворной силе молитвы действительно стали святыней. Бенарес посвящен черношеему богу Шиве; но не как персонифицированному богу, а как одному из ликов надличностного брахмана, всеобуславливающего и ничего не исключającego. Поэтому вся Индия, не обращая внимания на принадлежность к той или иной секте, участвует в паломничестве в Бенарес. Да и все человечество могло бы участвовать в таком паломничестве. Стройная мечеть фанатичного мусульманина Ауранг зеба не кажется здесь чужеродной среди индийских храмов. А когда ветер из-за Ганга занес из дальнего кэнтонмента¹ отзвук хора, у меня появилось чувство, что и он здесь нужен.

Бенарес — священное место. Поверхностная современная Европа плохо понимает такие истины. Скоро уже никто не будет совершать паломничеств, и рано или поздно, т. е., к сожалению, очень скоро, у христианства не останется святынь. Как же оно от этого обеднеет! Зачем задаваться вопросом, действительно ли святыня — это святыня. Если достаточно долго относиться к ней как к святыне, в ней неизменно поселяется божество. Паломник, попадая туда, поразительно легко приходит в мо-

¹ Cantonment (англ.) — военный городок.

литвенное настроение, а это настроение способствует обретению широты и глубины. Конечно, ничего не может быть выше способности где угодно ощущать присутствие Бога, не завися от внешних подспорьев. Но на это способен разве что один человек из миллионов. Не каждый год рождается на свет дитя человеческое, которое могло бы, подобно Иисусу, сказать о себе: «Как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе», чья спонтанность была бы такой великой и самодовлеющей, что не нуждалась бы во внешних побуждениях. Здесь действует то же правило, что и везде — в искусстве, философии и морали: человек может внутренне пережить только то, что дано ему увидеть вне его самого или возникло в нем рефлекторно под влиянием однозначного внешнего импульса. Иначе незачем были бы никакие места паломничества и не было бы причины с благодарностью почитать великих людей, ибо почему им поклоняются, как не потому что они дают нам то, чего мы не получили бы без их помощи? Подавляющему большинству людей требуется какое-то побуждение, чтобы вступить в общение с высшей силой. Когда такое побуждение отсутствует, они обезбоживаются. В повседневной жизни такое побуждение приходит от чтения Священного Писания, от участия в отправлении культа. Однако повседневная рутина может всего лишь поддерживать нормальный процесс роста, предотвращая регресс; и только нечто выходящее за рамки обыденного вызывает в человеке, этом рабе привычки, существе различающем, ускоренное развитие, переход на новый уровень. Ради этого все религии вводили праздники; рекомендовали общение со святыми мужами; и в особенности советовали совершать паломничества. Ибо в паломничестве все способствует тому, чтобы в человеке непрестанно звучали все душевные струны. Перемена мест на время заставляет его забыть привычные обстоятельства, заставляет постоянно помнить о цели странствия, тем самым выключая воспоминания, которые снижают его настрой; и наконец, ожидание так усиливает воображаемое заранее воздействие святыни, что на реальную встречу с ней душа приходит в состоянии величайшей восприимчивости. Но не только этой субъективной стороной обусловлено целительное воздействие

святых мест: целительное качество накапливается в них объективно благодаря кумулятивному эффекту благочестивых помыслов всех людей, посещающих эти места. С течением времени святыни приобретают атмосферу, которая действует даже на тех, кто пришел не настроенный на святость. Эта освящающая сила со временем только растет. В конце концов такие места действительно становятся источниками благодати. Если с верой пройти весь путь к месту паломничества, то в конце его порой оказывается, что человек достиг за это время в своем душевном развитии большего, чем иной раз давали ему годы внутренней работы. Индия же вся покрыта сетью подобных дорог; она вся усеяна святыми местами; и все снова и снова странник в различных условиях, в новой и потому особенно стимулирующей форме получает напоминание о присутствии Божьем. Однако нигде оно не производит такого сильного впечатления, как на берегах Ганга. Эта святейшая из рек берет свой исток в рае Шивы, у подножия снежной Кайласы в Гималаях; кто попадает туда, тот физически оказывается в присутствии Бога. Дальше Ганг протекает через величавые горные леса, где обитают муни и риши, сверхчеловеческие существа, дживанмукты, для которых жизнь и смерть уже едины; того, кто добирается к ним, они иногда принимают в свои ученики. Катя свои волны к югу, из опаленного зноем Пенджаба к плодородной равнине Бенгалии, он освящает одно за другим встречающиеся на его пути места. На Кайласу еще никто не взбирался; редко кто добирался до махатм. Но Бенарес доступен для всех. Таким образом, этот город стал центром, в котором фокусируются все верования, связанные с Гангом, что дает этому святилищу уникальную силу.

Что кроется за этой «психической атмосферой», со всей очевидностью обладающей объективной реальностью, существование которой я с годами ощущаю все яснее? Не знаю. Полагаю, что дело в вибрациях некоего «эфира», и хотя вряд ли он соответствует тому, что понимают под этим словом физики, но, тем не менее, характер этих вибраций вполне материален. Можно с уверенностью сказать, что мысли так же «предметны», как предметы окружающего мира, они не менее реальны и, вероятно, даже более устойчивы, чем мы предполагаем.

«Дух времени» не менее объективная данность, чем физический воздух. Если бы представления не были материальны, они не были бы заразительны. Не знаю, как бы я иначе мог непосредственно чувствовать психическую атмосферу, как бы я мог испытывать такое сильное влияние тех мест, где мне доводилось находиться, причем всякий раз ощущая разницу в зависимости от существ, которые их постоянно населяют или населяли раньше. В реальности психической атмосферы может сомневаться только человек, чьи чувства так притупились, что он не способен ее ощутить. Однако ее теория еще не написана. Единственная, насколько мне известно, попытка связно ее объяснить принадлежит древним индийцам: я имею в виду темное учение о таттвах.¹

Прекрасное зрелище, когда над горизонтом поднимается солнце и толпы верующих на гатах склоняются перед ним, вознося молитвы дарителю жизни. В индуизме нет бога солнца; ничто материальное никогда не служило в нем предметом почитания в качестве духа. Но индуизм велит возносить молитвы перед солнцем, потому что в нем представлена главная физическая манифестация божественной созидающей силы. Что делал бы человек без солнца? Его бы вообще не было; все его существование — порождение солнца, солнце поддерживает в нем жизнь и он увянет, если этот источник жизни от него отвернется.

Чем больше я постигаю на пути познания, тем решительней готов отстаивать культ солнца. Всякий раз в те ужасные месяцы, в которые солнце, едва удостоив Эстонию лишь мимолетным небрежным приветом, и, словно исполнив на том малоприятную обязанность, спешит удалиться в более любезные ему широты, кривая моей жизни тоже устремляется вниз. Тело мое заболевает, витальность снижается, душа становится вялой. Периоды же наивысшей производительности у меня, напротив, приходятся всегда на время, когда наступают самые продолжительные дни. Но что такое солнечный жар север-

¹ Единственная подробная работа об этом учении, которая мне известна, представлена небольшой книжкой Рамы Прасада (*Rama Prasad. Nature's finer Forces. London, 1907*).

ных стран по сравнению с индийским! Едва теплящаяся свечка. Как не страшиться индийского солнца! Я и сам чувствую, что готов, подобно паломникам на Ганге, благодарно склоняться перед ним каждое утро, ибо дары его безмерны. Никогда еще я не чувствовал такой близости к сердцу мира, как здесь; здесь меня ежедневно охватывает такое чувство, словно скоро, быть может прямо сегодня, меня посетит великое просветление. Меня уже не удивляет, что вся глубокая мудрость пришла с Востока: она пришла от близости к солнцу. Любая манифестация носит телесный характер; откровение духа происходит там, где есть сила, способная его выразить, а всякая сила материальна и в конечном счете идет от солнца. Солнце Индии не благоприятствует мышлению, как не благоприятствует оно никакой сознательной деятельности; его сила здесь слишком велика, чтобы проявить себя посредством слабой человеческой воли. Она действует непосредственно как в добре, так и в зле. Так солнце убивает неосторожный мозг, слишком долго пробывший под его лучами; так внезапным озарением оно одаривает смиренно открытую для восприятия душу. Здесь ей вдруг становится ясно многое из того, чего на Севере она не постигла бы никакими усилиями ума. Здесь ей вдруг становится ясно, что все первоначальные силы ее существа окрылились и проникли в самые потаенные глубины сознания. Метафизическое познание есть не что иное, как такое осознание самого глубинного содержания существа. Как правило, на него наслаиваются тысячи влечений, образующие рябь на поверхности жизни; чем дальше исток, тем их больше. Так, европеец, с одной стороны, более деятелен, а с другой стороны, более поверхностен, чем индеец. Индеец не любит действовать, мыслит, как правило, несовершенно, кинетической энергии у него немного: палящее солнце сжигает все, что лежит на поверхности. Зато неопалимое обретает под его воздействием такую яркость свечения, что становится очевидным даже для самого скудного сознания.

Правильно ли то, что я здесь пишу? Рассуждения такого рода никогда не бывают «правильными», но по сути они могут быть верными, а это важнее. Так, все солнцепоклонники правы перед богом. Для верящего в мифы не существует фактов в нашем понимании; ему неизвестно

солнце, о котором говорят физики. Он молится тому, что сам непосредственно ощущает как источник собственной жизни. Человек позднейших времен, чей эмансипированный рассудок в первую очередь поднимает вопрос о правильности, не может, конечно, не отвергать культ солнца; ведь для него существует только факт астрономии, а это никак не божество. Духовный человек заново постигает античную веру. Он узнает в ней прекрасную форму, отразившую в себе глубоко переживаемое осознание Бога. Он знает, что всякая истина в конечном счете символична и что солнце верней выражает характер Божественного, чем даже идеально сформулированное понятие.

Благоговейная атмосфера, царящая над рекой, выражена необычайно сильно, сильнее, чем в каком-либо из храмов, в которых мне доводилось бывать. Я бы посоветовал каждому начинающему христианскому священнику, отложив на годик занятия теологией, провести это время на берегах Ганга; здесь он узнал бы, что значит настоящая набожность. Потому что в Европе от нее осталась только слабый отблеск. Кто там еще умеет истово молиться? Кому там еще знакома настоящая благочестивая сосредоточенность, когда человек сам, без помощи специальной обстановки, отключается от влияний окружающего мира? В Европе, пожалуй, таких найдется один на миллион; в остальном же те, кто относит себя к числу самых благочестивых, на деле очень далеки от истинного благочестия; верить для них значит признавать что-то достоверным, а молиться значит о чем-то просить, из чего следует, что они не имеют представления об истинной набожности. В непонимании таких элементарных вещей нельзя, кажется, заподозрить ни одного, даже самого простоватого индуса. Ни для одного индуса вера не сводится к признанию достоверности, ибо сколько богов и богинь ни почитал бы индус, он никогда не ставит вопроса относительно их существования. И никто из них не понимает молитву как прошение. Он знает, что в просьбе нет никакой святости, даже если ты просишь не за себя, а за другого человека, поскольку в конечном счете просьба исходит от человеческого Я. Таинство молитвы выражает собой то, что проявляется в жертве, в хвале

Богу, в культе, в хорале, а лучше всего — в молчаливой медитации: оно открывает сознание для тех глубинных душевных течений, которые ждут там своего раскрепощения и, выпущенные на свободу, дают духу непосредственную связь с Богом. Средства как таковые не имеют здесь решающего значения. Индусу это известно и придает всем проявлениям его религиозности, как наивным, так и одухотворенным, одинаково сакраментальный характер. Откуда ему дано это знание? Он получает его с пеленок. Первое, чему индийская мать учит свое дитя, это искусство медитирования, произвольного погружения в самое высокое из всего, что он может себе представить. Наученный этому искусству он уже не нуждается во внешнем аппарате, ему для того, чтобы прийти в соприкосновение со своим Богом, не требуются уже ни воздух церкви, ни догматы веры, ни уединение. Так, на берегу Ганга среди шума, деловой суеты, можно видеть детей, которые в час молитвы, невзирая на множество проплывающих мимо и бессмысленно глазеющих на них иностранцев, истово молятся, не обращая ни на что внимания. Выработанное в детстве умение человек с годами начинает понимать, если не разумом, то душой. Ведь по опыту он уже знает, что здесь главное; ему знаком тот подъем, который вызывается высвобождением глубинных жизненных сил; поэтому он не смешивает цель и средства, как это делает большинство современных христиан. Тем более что все его воспитание было направлено на то, чтобы научить его отличать существенное от несущественного. Его мать, учившая его дышать и медитировать, предоставила ему полную свободу в выборе наставника. Если бы он выбрал учителя, чья конфессия отличалась бы от остальных так же сильно, как лютеранская от католической, его мать не пыталась бы удержать его от этого шага: ведь у индийцев считается смертным грехом любая попытка насильственно повлиять на веру другого человека, потому что каждому свойственна особая сущность и каждый должен идти к Богу присущим ему путем. И в том же духе наставляли его в дальнейшем и брахманы, если он выказывал жажду знаний и способности к учению. Они говорили ему, что на самом деле есть только один единственный Бог, а все множество божеств представляет собой лишь его манифестации, все

назначение которых заключается в том, чтобы облегчить человеку его реализацию; ибо сам Бог невообразим; а тот, кто достаточно проник в глубь своего сознания, тот может обходиться и без ритуалов. Вдобавок ему приходилось встречать на своем пути мудрых мужей, не принадлежавших ни к какому культовому сообществу. Как же индусу не знать, в чем состоит главная суть? Как он может остынуть, если он однажды испытал блаженство религиозной реализации? В Западной Европе, некогда столь похожей на Индию, сегодня почти невозможно встретить истинной религиозности нигде, кроме разве что захолустных уголков, где еще сохраняется дух прошлых веков. Только в России это явление еще встречается как норма. Действительно, очутившись в Индии, я уже не раз вспоминал русского человека. До странности похожий на индийца, он относится к миру с тем же всепониманием, с тем же чувством всеобщего братства и с той же непрактичностью. А главное, это странное сходство религиозности. Вся разница между многочисленными паломниками, которых мне довелось видеть, с одной стороны, на берегах Ганга, а с другой — в Троице-Сергиевой лавре, ограничивается конфессиональными отличиями. Их сердца пламенели не только одинаковой ревностностью, но даже и одинаковым качеством этой ревностности. Да, Россия — Россия простых крестьян — сегодня остается, пожалуй, единственным близким к Богу царством христианского мира.

Близким к Богу по крайней мере в том смысле, в каком к этому ведет путь сердца, бхакти-йога. Душевность, что бы там ни говорили, у европейцев развита слабо. Мы воображаем о себе, будто, исповедуя на протяжении вот уже полутора тысяч лет религию любви, мы все преисполнены любовью. Но это не так. Наша крайне активная натура немедленно претворила пришедшие с Востока импульсы в действия, в образ жизни, в жизненные пути, институты, в которых любовь выразилась гораздо сильнее, чем в соответствующих установлениях Востока, однако душа как таковая оказалась опустошенной. Душа европейца беднела чувствами в той же пропорции, в какой его дух творил высокие чувства. Очевидно, невозможно в одинаковой мере удержать дух в его исконном качестве и одновременно закрепить его в каких-то внеш-

них органах. Как жалко выглядит Фома Кемпийский рядом с Рамакришной! Как бедна европейская бхакти по сравнению с бхакти хотя бы персидских мистиков! Западное чувство сильнее восточного в том отношении, что содержит в себе большую кинетическую энергию; но не идет с ним ни в какое сравнение в том, что касается его богатства, тонкости и дифференцированности. Сан-Хуан-де-ла-Крус, несмотря на неподдельную любовь к Богу, зачастую производит впечатление непристойности, потому что его грубая испанская душа не способна была выразить себя тоньше; Франциск Ассизский, несмотря на всю его сладостность, скорее вызывает впечатление какой-то стихийной силы, нежели просветленного духа. Давно пора отказаться от суеверного представления, будто бы христианство имеет монополию на любовь. Христианство на высоте там, где речь идет о том, чтобы трудиться во имя любви, но сама любовь как душевное переживание знакома ему гораздо меньше, чем более кроткому человечеству Индостана. Теперь я очень хорошо понимаю, какими грубыми должны казаться образованному индусу сердца европейцев; а в том, что они грубы, в этом нет никакого сомнения. И навряд ли они когда-нибудь станут способны на истинное бхакти; мы движемся в другом направлении. Мы становимся все менее и менее набожными. Не нужно обманывать себя тенденцией, направленной к благочестию, которая царит сейчас во многих религиозных обществах Запада, и в первую очередь в инспирированном индийским духом теософском обществе; даже среди женщин она всегда будет конгениальна лишь меньшинству. И меньшинство это будет непрестанно убывать по мере того, как сознанию западного человечества будет открываться характер его истинной души. Тут, как это бывает со всем, природная данность проводит такую черту, перейти которую на самом деле оказывается невозможно. Для благочестия в духе индийцев нужно родиться индийцем или русским. Потребность в почитании должна быть у тебя в крови, способность к почитанию должна быть высоко развитой. В душе должна быть тяга к поклонению, к отказу от собственной воли, к тому, чтобы пассивно принимать события, она должна быть женственной по своему складу. Лучшие европейские души отнюдь

не женственны, они до крайности мужественны. Поэтому отсутствие набожности у европейцев, их грубое непонимание смысла веры и молитвы в конечном счете основано на том, что тот путь к Богу, который указывает бхакти-йога, для него не очень подходит.

Каждый день я по многу часов провожу в лабиринте улочек, ведущих от одного храма к другому, где тоже по обе стороны стоят изображения богов и алтари. Такого скопления святынь, как в Бенаресе, в христианском мире нигде не встретишь, и почти у каждой почитание божества имеет особую форму в какой-нибудь особой его ипостаси. Разумеется, наиболее популярны те идолы, которые рассчитаны на понимание маленького человека; так, в Бенаресе, городе Шивы, люди больше всего жертвуют слоголовому богу Ганеше, покровителю земного успеха. Образованные люди ничего не имеют против; их мировоззрение приветствует и поощряет все формы набожности. Согласно ему, все верования имеют одну цель — они служат человеку средством к познанию своего глубинного существа. Чем простодушнее и необразованнее человек, тем грубее и проще должны быть образы, предлагаемые его вниманию, ибо более тонкие не достигли бы в случае него своей цели. От крестьянина нельзя требовать, чтобы он обращался непосредственно к Брахману. Поэтому пускай уж он молится богам, созданным фантазией необразованного народа, ибо если он будет верить, если предмет поклонения действительно трогает что-то в его душе, то он помогает простому человеку достигать того же, чего риши, муни достигает путем созерцания абсолюта. Кстати, умудренных не так уж и много; лишь немногие поднимаются выше требования соблюдать предписанную дисциплину, поддерживать традиционные культы. Задача состоит в том, чтобы действительно реально осознать божество, а не просто вообразить себе, будто ты это делаешь: а много ли найдется людей, которые могли бы это исполнить без «имени и формы»? Шанкара этого не смог, не смог и Рамануджа, иначе они не усердствовали бы так в жертвоприношениях; оба остались верны освященным временем верованиям и не пошли на то, чтобы придумать что-то новенькое, более соответствующее их философским воззрениям,

ибо решили, что прирожденные или с детства воспитанные в человеке представления служат наилучшими соудами для восприятия Святого Духа. А Рамакришна, сладостный святой Дакшинесвара, которого считают дживанмуктой, преодолевшим все земные привязанности, и которому, следовательно, лучше чем кому-либо другому, было известно, что считать необходимым, а что излишним, не так давно вновь убедительно наставлял свой народ, чтобы тот придерживался той практики, которая предписывается ритуальными правилами, поскольку без духовных упражнений (садханы) невозможно достигнуть просветления, а наилучшими и самыми действенными из них являются традиционные. И действительно, все образованные индусы, которых я встречал, искренне верили в богов (что, однако, не мешало им в философии быть приверженцами адвайты или висиштадвайты); все они были практикующими верующими. Не участвуя в примитивных ритуалах, из которых и по сей день в основном состоит индуистское богослужение, все они, однако, принимали участие в каком-нибудь ритуале.

Дух индуизма, понимаемый как некая совокупность относящихся к этой вере представлений, идентичен духу католицизма. Только в первом сильнее выражена интеллектуальная составляющая. Практические правила, предписываемые верующим обеих религий, в обоих случаях совпадают по смыслу, они одинаково мудры, одинаково отличаются психологической глубиной, одинаково целесообразны. Но только индусы все это лучше понимают. Если католическая церковь рекомендует почитание святых на том основании, что те действительно живут на небе, действительно выступают как заступники перед Богом, который устроил все так, чтобы люди обращались не непосредственно к нему, а через посредство соответствующей промежуточной инстанции, то индийцы знают, что поклонение специфическим божествам нужно по той причине, что иначе человеку было бы слишком трудно реально осознавать божество, ибо в осознании его и заключается главный смысл, и этому лучше всего способствует какая-то специфическая форма, соответствующая специфическим ожиданиям. И в католицизме и в индуизме существует поклонение образам; но если в

католицизме оно на практике зачастую выливается в настоящий фетишизм, в грубейшее идолопоклонство, то у индусов каждый знает (или, по крайней мере, может знать), что вся ценность образа заключается в том, что он помогает молящемуся сконцентрировать внимание; большинство людей способно душевно сосредоточиться только на каком-то зримом предмете. И так далее. В католической церкви глубокие знания древних продолжают существовать в неправильном истолковании, в индуизме же они обыкновенно истолковываются верно. В принципе в этом состоит единственное различие между этими двумя религиями.

Индийская религиозная и ритуальная философия представляет собой кладезь психолого-метафизической мудрости. В ней содержатся такие сокровища познания, которые, будучи извлечены и пересмотрены заново, по всей вероятности, заставят модифицировать научное понятие психической реальности. Ибо индийцы имеют великие достижения сразу в двух, обыкновенно взаимоисключающих, вещах — в вере и в понимании веры. При всей своей чуткости к форме и ее воздействию они, как правило, верно оценивают ее объективное значение. Величайшую важность имеет уже то, что индийцы, продвигнувшиеся на пути самопознания далее каких-либо других народов, сознание которых в огромной степени высвободилось из сложных пут имени и формы, в своей религиозной практике сохранили формы католического толка; все величайшие индийские философы, такие, как Рамануджа, Шанкарачарья (о чем я уже упоминал), придерживались той же практики, что Фома Аквинский. Конечно, среди индийцев, как и повсюду, появлялись реформаторы протестантского толка. Например, Будда, сикхские гуру, а в наше время — основатель «Брахма самадж». Но, во-первых, ни один из них не заходил так далеко, как наш Лютер, а во-вторых, они никогда не захватывали индуистский дух в большом масштабе, никогда не приобретали широкой популярности. Буддизм исчез из Индии, как только лишился опоры со стороны царской власти, а все прочие протестантские религии так и остались ограниченными сектами. Что это означает? Это означает, что католицизм, по мнению индусов, воплощает в себе такую систему духовной гигиены, мудрее кото-

рой ничего невозможно придумать; что каков бы ни был конечный смысл религии, католическая форма более всего способствует его реальному осознанию. Технически существенной чертой всех протестантских реформ является упрощение духовного аппарата, способствующего духовному развитию. В то время как католицизм пускает в ход все средства, которые должны способствовать стимуляции религиозного чувства, протестантство санкционирует лишь немногие из них, в остальном же предоставляет душе без внешней поддержки, самой, как умеет вступать в общение с Богом. Все было бы очень хорошо, если бы таким незамысловатым способом достигалось полное и совершенное общение с Богом. По мнению индусов, это не так. Их опыт говорит о том, что идти путем протестантства имеет внутреннее право только человек, достигший высшего совершенства, ибо только он имеет возможность прийти к Богу путем, выбранным по своему усмотрению. Остальные его не находят. Для них лучше, если они используют весь подсобный аппарат, выработанный мудростью поколений, и будут идти тем широким путем, который намечен для всех людей.

Было бы ошибочным задаваться вопросом о том, абсолютно ли правы индусы, отстаивая свою точку зрения: конечно же, они правы в отношении самих себя. И путь католиков, и путь протестантов одинаково ведут к Богу, но каждый из них пригоден для определенного душевного склада. Тот, кто лучше всего осознает какой-то смысл, погружаясь в его объективированную форму и воссоздавая эту форму в своей душе, тот предрасположен к католичеству, к какому бы вероисповеданию он ни принадлежал *de facto*. Точно также является по существу протестантом тот, кто идет от смысла к форме. Что касается успешности в мирских делах (к числу которых относятся и научное познание), то можно утверждать, что для этой задачи объективно целесообразными оказываются протестантские воззрения. С другой стороны, католическая вера обладает абсолютным преимуществом там, где речь идет об осознании Бога путем созерцания. Такое созерцательное познание представляет собой не единственно возможную форму религиозного опыта; тому, кто стремится не узреть, а осуществить на земле Царствие Небесное, больше подошла бы протестантская

душа. Католик не чувствует призвания к преобразованиям, он по своей сущности не настроен на прогресс. Но так ему легче дается задача узреть Бога. Таким образом, естественно получается, что индийский народ, стремящийся исключительно к высшему познанию и совершенно равнодушный к практическим вопросам, при его крайне созерцательном настрое отличается крайне католическим характером своих мыслей и чувств. Ибо было бы большой ошибкой соглашаться с распространенным мнением, будто бы протестантизм углубил религиозное познание; в действительности дело обстоит совсем наоборот. Действование в религиозном смысле он углубил, но познанию он не мог пойти на пользу, ибо направленная вовне протестантская установка сознания отворачивается от божественных излучений. Бога нельзя выдумать, его нужно принимать как должное. Он нисходит на тебя, его нельзя представить, выведя из себя; он является в откровении по своей воле, а не по нашей; поэтому в вопросе религиозного познания тот, кто стремится к выражению своей личности, чей дух направлен на изобретение новых форм, находится в невыгодном положении по сравнению с верующим, признающим авторитеты, настроенным на восприятие. Мне могут возразить, что Лютер как раз и был таковым; ведь он-то как раз ставил веру и смирение выше всякого стремления к знанию. Конечно; во многих существенных отношениях он оставался личностным до конца; т. е. на мой взгляд, католиком. Но самый принцип, победе которого он споспешествовал, враждебен вере и смирению; истинный дух протестантизма проявляется сегодня не в лютеранской церкви, а в критической науке. Будь это не так, протестантские общины во всем мире не разъедало бы сегодня неизлечимое внутреннее разложение, и, в частности, лютеранство не было бы смертельно больным. Дело в том, что существует альтернатива: либо вера, либо свободная воля; либо ты католик, либо протестант. И тот, кто желает созерцать Бога, должен всегда выбирать первое. Все мистики в мире были настроены на католический лад; все созерцательные натуры развиваются в сторону католицизма. Все великие религиозные откровения получены католически настроенными людьми, и так будет впредь во все времена.

Тем самым я не собираюсь, правда, утверждать, что какая-либо из ныне господствующих католических систем неизменно сохранится в этом качестве. Нынче, когда я побывал при стольких отправлениях культа, я более чем когда-либо раньше сознаю, насколько развитие человечества все дальше отходит от ритуалов; магия все больше утрачивает свое бывшее значение. В этом смысле мир все более сворачивает в сторону протестантизма. Все меньше и меньше образованных индусов точно следуют предписаниям тантр, католическая церковь все меньше и меньше настаивает на благодатном действии ритуалов. Очевидно, их действенность все более ослабевает. Уже начиная с XVIII века католицизм в Европе не добивается тех успехов, которых он, очевидно, мог бы и должен был достигать, и сегодня создается такое впечатление, что это вероисповедание приносит больше вреда, чем пользы. Почему так? Конечно, никак нельзя считать, будто бы тантры воплощают в себе одно сплошное суеверие и что будто бы только теперь люди поняли то, что существовало всегда; нельзя также считать, будто бы современное человечество, как утверждают теософы, отказалось от одного из важнейших средств, ведущих к спасению; конечно же, отказ от веры в магию не может быть истинной причиной такого положения дел. Лично я убежден, что тантрическое учение в основе своей правильно, и тем не менее отход от него вполне объясним. Действенность магии возможна только при определенном состоянии сознания, а это состояние возможно только при определенном равновесии психических сил, когда критический разум не мешает возникновению образов, создаваемых фантазией и верой. В условиях необходимого равновесия магия действует; в этих условиях тантрические церемонии также могут служить надежным средством для душевного развития. Но когда равновесие нарушено, эти средства перестают действовать. Между тем сейчас это равновесие все больше и больше сдвигается у всего человечества в ту сторону, когда разум начинает преобладать над фантазией. Это приводит к успешному продвижению во всем, что касается овладения внешним миром; но одновременно с этим люди перестают различать другую сторону действительности. Человек, преодолевший стадию тантрики, перестает зависеть от многих

влияний психической сферы, которые во многом оказывались помехой, но, с другой стороны, утрачивает и связанные с нею положительные моменты. Самое главное он может осознать и в том и в другом случае, причем в последнем он это гораздо лучше поймет. В то время как последователь тантризма чаще всего интерпретирует переживаемое в действительности в духе абсурдных теорий, человек с ясным разумом при знакомстве с таким событием способен правильно его истолковать. Но дело в том, что оно гораздо реже бывает ему знакомо. Несомненно, что душа последователя тантризма открыта для влияний, которые абсолютно не затрагивают человека другого уровня сознания; так что перерастая этот уровень, он несомненно что-то теряет. Нам, европейцам, людям ясного рассудка, не знакомы многие переживания, с которыми сталкивается суеверный индус. И вероятно, наш душевный склад не только ограждает нас от многих впечатлений, не имеющих важного значения, но и от некоторых из величайших, какие только доступны человеческой душе. По крайней мере, я только так могу себе объяснить, почему все самые высокие откровения исходят от людей не только простых духом, но еще и неразвитых, незрелых, несостоятельных, некритичных и неразумных, как дети.

Психологической тонкостью индуизм, конечно, в сотни раз превосходит мудрейший христианский католицизм. Я не могу назвать ни одного душевного состояния, которое он не мог бы правильно объяснить, исходя из его внутренних предпосылок. Счастлив народ, чьи пророки и духовные наставники были мудрецами! Христианские наставники отнюдь ими не были; они безнадежно завязли в «именах и формах»; самые великодушные положения их учения отказывали в возможности спасения большей части человечества. Это и не могло быть иначе, поскольку это были обособленные учения; поскольку они в какой-то определенной форме веры усматривали субстанцию истины. Это заблуждение из заблуждений чуждо индуизму. Индийцы давно уже не придают метафизически серьезного значения той или иной форме; они знают, что к любой конфессии нужно подходить с прагматической меркой. Разумеется, для человеческого

понимания абсолютная истина должна принимать какую-то форму; вещь в себе недоступна его восприятию. Но эта форма всегда бывает человеческим порождением, это земной сосуд, который в удачном случае целиком заполняется Божественным духом. Как иначе можно было бы выводить ту или иную форму конкретных религий из исторических и психологических предпосылок? Как иначе можно было бы объяснить, почему видения, явленные в экстазе святым, соответствовали тем представлениям, которых придерживалась их церковь? Божественное откровение человек всегда получает в рамках своих интимных предрассудков. По этой причине Рамакришна настоятельно советовал своим последователям не изменять своим верованиям: пускай кришнаит остается с Кришной, вайшнава — с Вишну, христианин — с Христом, потому что, мол, новые представления никогда не закрепляются так прочно, как врожденные, а следовательно, не так хорошо подходят для воплощения Святого Духа. Поэтому и сам он, давно слившийся в экстазе с парабрахманом, в обычном состоянии продолжал по-прежнему поклоняться богине Кали — материнской ипостаси божества.

Можно и впрямь только удивляться тому, до какой степени в индийцах развита вивека — способность к различению в вопросах религии. В среде образованных индийцев, насколько я видел, не встретишь ни одного представления, которое не было бы рационально осмыслено. Здесь нет такой вещи, как *credo quia absurdum*, нет непостижимых постулатов; вообще-то такое качество признается, но почему это так, там всегда стараются определить. И опять я возвращаюсь к тантрам: как бы странно ни звучали порой отдельные положения, в них всегда можно отыскать смысл; исходная идея всегда бывает рационально объяснимой.¹ Как много заблуждений, в которые по сей день еще впадает христианство, пре-

¹ В связи с этим можно рекомендовать «Принципы Тантры» Артура Авалона (Arthur Avalon. Principles of Tantra) и в первую очередь превосходное введение к его переводу книги «Maharaga — nirvana — Tantra» (London, Luzac & Co.). Насколько мне известно, это первая действительно серьезная работа, посвященная духу ритуальной философии. Ни один мыслящий христианский теолог, в особенности католический, не должен пройти мимо этого сочинения.

дотворщено в Индии благодаря разумному пониманию! Половое воздержание и здесь и там считается полезным в духовном отношении. Чем объясняется и в какой степени действует это правило? Христианская церковь этого так и не выяснила. Поэтому она провозглашала самые невероятные доктрины: якобы любовь это вообще грех, а женщина — дьяволица, девственность объявлялась единственно богоугодным состоянием; т. е. противоестественное возводилось ею в идеал. Индийцы же попытались установить, в чем состоит смысл проблематической ценности отказа от любовных утех; выяснилось, что тому, кто созрел для святой жизни, воздержанность помогает, поскольку у него энергия, направленная на продолжение рода, способна превращаться в духовную; для него она становится техническим средством. Но такое превращение одной энергии в другую происходит только у тех редких натур, которые мы обыкновенно и называем святыми, из чего следует, что обычному человеку воздержание не помогает совершенствоваться. Его душе лучше, когда он дает телу то, что тому требуется, так как иначе его вытесненные потребности загромождают психику. Таким образом, то, что в христианстве на протяжении веков почиталось как идеал, в действительности оказывается всего лишь технически оптимальным условием для натур определенного, исключительно редкого склада. Смысл духовной любви индийцы тоже понимали лучше, чем мы. Как я уже замечал раньше, истовая любовь к Богу в Индии распространена более широко, чем у нас, сегодня она представляет собой главную форму богослужения. Древние различали три пути, ведущих к Богу: путь познания (джняна-йога), путь любви (бхакти-йога) и путь дела (карма-йога). Первый считался высшим, поскольку спасение (мукти) заключается в познании, а следовательно, философ изначально идет путем, который озарен светом всевышнего; последний из трех считался низшим, так как в нем почти что не участвует автономный дух и успех достигается благодаря слепому следованию правилам, т. е. как бы автоматически; путь любви — самый легкий. В каком смысле? А в том, что это чувство по своей природе направлено вовне; тот, кто любит, не думает в это время о себе; его душа раскрывается по закону природы; тот же, кто совершенно освободился от себя,

тем самым обрел Бога. Из этого достоинства, свойственного чувству любви, основатели христианства сделали вывод, что любовь как таковая стоит превыше всего. Индийцы же в силу их глубокого познания не могли признать за эмпирическим чувством метафизической реальности, в силу своей проницательности не могли усматривать в нем нечто надэмпирическое и в силу своей критичности не могли возводить даже очень хорошее средство в ранг конечной цели; они просто сделали вывод, что путь любви должен быть для человека самым легким. Поэтому они в первую очередь рекомендуют именно этот путь. Каждый следующий святой всячески подчеркивал достоинства бхакти-йоги и трудности пути познания, так что в наши дни то, что христианская церковь считает своим, только ей присущим достоянием, на самом деле представляет собой сердцевину индуизма. Но и в наши дни так же, как во времена великих мудрецов, путь познания считается высшим и любви придается индийцами далеко не то значение, что у нас. Бог — это действительно любовь, считают бхакты, поскольку он есть квинтэссенция всего позитивного; но то чувство любви, которое знакомо людям, как ни устремляйся оно к небесам, тем не менее не имеет божественной природы. Может ли мечта о чем-то быть бескорыстной? Стремление соединиться — неэгоистичным? Сущность человеческой любви не бескорыстна. Тому, кто в этом сомневается, достаточно вспомнить историю христианства; это человечество, воодушевленное идеей любви, положило начало эры небывалого, безудержного эгоизма; из всех приверженцев высших религий христиане самые несвободные. Обожествление человека никогда не приводит к добру: не будь этого культа любви, которым охвачена вся Европа, мы в духовном плане продвинулись бы гораздо дальше, чем это можно видеть сейчас. Мы были бы менее агрессивными, менее жестокими, мы были бы более понимающими и отзывчивыми; не будь у нас этого прикрытия, мы бы не поддавались так безудержно своим эгоистическим побуждениям. Любовь как определенная настроенность чувства не имеет в себе ничего Божественного; она относится к миру чисто эмпирического и может вести как вверх, так и вниз, в зависимости от того, как мы обращаемся с этим чувством, как воспитыва-

ем его в себе, как его судим и одушевляем. От природы в ее сущность входит несправедливость, предвзятость, эксклюзивность, *akkaragierend* и отсутствие милосердия; т. е. сплошь атрибуты, характеризующие ее как чувство слишком человеческое. В нечто Божественное — хотя, увы, очень и очень редко! — любовь превращается тогда, когда ее одушевляет высшее начало. Когда в ней поселяется дух чистого, бескорыстного дарения, когда она хочет давать, ничего не требуя взамен, тогда она и впрямь делается Божественной. Однако этот дух не присущ ей изначально, он переплавляет все, что нам обыкновенно так «любо», и способен с одинаковым успехом вселиться в познавательные стремления, в деятельную энергию, в творческие порывы художника. Жаль, что этот дух вот уже на протяжении двух тысяч лет отождествляют с любовью. Платон дал этому первый толчок. При своей любви к мифологической образности он, основываясь на том, что эта первоизданная сила спонтанности конкретнее всего выражается в образе зачатия, произвел ее название от имени Бога любви. Однако он никогда не отождествлял того и другого. Это случилось позже, во времена христианства, когда на рождение новых понятий все больше стали влиять чаяния слабых. Сегодня любовь вообще ставят превыше всего, и все считают это чем-то само собой разумеющимся. Все высшие устремления определяются в соответствии с этой догмой. Против этого нельзя было бы ничего возразить, если бы удалось расширить понятие любви настолько, чтобы оно включало в себя всю творческую спонтанность. Любовь без личного расположения, без эмоционального поведения, без сердечности — всего лишь пустое понятие. Поэтому, исходя из догматического положения, большинство людей усматривают в эмпирической стороне любви ее трансцендентный аспект. Тот, кто не любит отдельного человека, при самых идеальных устремлениях представляет собой медь звенящую или кимвал звучащий: так понимают они высказывание апостола. Благодушность считается у них выражением душевной глубины, хотя ни один святой не отличался благодушием, в привязчивости видят доказательство духовности. — Увы, таково суеверие! — Человечеству понадобится еще не один Ницше, не один враг христианства, прежде чем

оно научится отличать дух от буквы, жить в духе и в истине.

Истинного понимания того, в чем состоит значение веры, достигли пока что, насколько я могу судить, тоже одни лишь индийцы. Относительно того, какое значение вера в Бога имеет для спасения души, учение индуизма говорит практически то же самое, что и христианское. Индийское человечество на протяжении своего развития все более и более училось уповать на слова Кришны (в Бхагават-Гите) о том, что вверившего себя ему человека он спасет, даже если тот не сумел безупречно следовать ни путем познания, ни путем любви, ни путем деяний. Однако оно никогда не истолковывало присущую вере чудотворную силу в том смысле, чтобы сводить ее к простому доверию, а главное, никогда не доходило до безумной идеи, будто слепая вера стоит выше познания, а стремление к знанию означает святотатство. С гениальной интуицией, достойной великих психологов, индийцы поняли, что и вера способна привести к познанию того, кому по недостатку других талантов недоступны иные пути. Познание не приводит к спасению, но заключает его в себе. Тот, кому по-настоящему (т. е. не только теоретически, одним лишь разумом) дано живое знание своего единства с Брахманом, тем самым уже свободен от всех уз. Каждая последующая ступень в иерархии существ состоит в изменении уровня сознания; эти изменения составляют основу всех существующих различий; они отличают дикаря от мудреца, а мудреца от Бога. Когда говорят, что достигший более высокого развития человек стоит выше каких-то вещей, это выражает буквальную истину: какие-то реальные данности его больше не связывают; в силу того, что он смотрит на них иначе, иначе воспринимает, в силу того что сам он — иной, они больше над ним не властны. Но это инаково-видение включает в себя лучшее понимание, то есть познание не только обуславливает, оно и есть самое спасение. Нет силы большей, чем сила знания. Не существует никакого другого развития, кроме познания. Тот, кто желает добра, превосходит в познании зложелателя, тот, кто стремится к познанию, мудрее того, кто гонится за золотом. Даже тогда, когда на первый взгляд речь идет о вещах не ин-

теллектуальных, а о моральном, этическом развитии, когда человек, достигший определенной высоты, сам этого не сознает, по сути дела речь идет о приобретении мудрости, так как любое внутреннее развитие направлено в сторону сознания и духовности. Вера в неодолимость естественной предопределенности представляет собой грубейшее суеверие. Природа, разумеется, какова есть — такова есть, ее фактическое содержание действительно непреодолимо; но все силы действуют только на определенном уровне, и тот, кто поднялся выше его, тем самым выходит из-под их влияния. Он освобождается от этих влияний не просто в своем воображении, а в самой настоящей реальности, так как прибавление знания предполагает изменение человека в целом. По своей глубинной сущности человек — это дух, и чем лучше он это понимает, чем крепче в это верит, тем больше освобождается от разных уз. Поэтому возможно, что прав индийский миф о том, что совершенное познание означает даже преодоление смерти.

Всякое спасение заключается в познании, но вера прокладывает к нему путь. Она способна это сделать благодаря тому, что вера в какой-то познанный смысл позволяет ему задействовать свои имманентные силы. Всякое представление, воспринятое без сопротивления, усвоенное с верою, с почтением зафиксированное, воздействует в свой черед на сознание. На самом деле человек гораздо восприимчивее, чем это может показаться; его подсознание вмещает больше того, что задерживается в сознании; то, что отмечено верой, запечатлевается в нем и побуждает его к дальнейшему развитию, которое, следуя естественному закону, протекает под знаком усвоенного с верой образца. Если последний выбран правильно, как это действительно имеет место в случае конкретизированных идеалов всех высших религий, то это служит к ускорению прогрессивного внутреннего развития; это ведет к познанию. Причем у неодаренных людей таким путем оно всегда протекает быстрее, чем при самостоятельных изысканиях. Идея — это такая организующая, стимулирующая, порождающая сила, которая вызывает присущее ей действие с такой же необходимостью, как любая из сил природы, при условии, что она была воспринята с верой. Необходимым медиумом для

нее служит верующая душа. Поэтому-то все религии правы, утверждая, что требуется только вера, остальное же приложится само собой. Автоматизм психических процессов приводит к цели скорее, чем бессмысленно работающая автономия. Итак, вера является средством ускоренного познания; никакого другого значения она не имеет. Поэтому, в сущности, безразлично, во что именно человек верит, реально ли то, во что он верит, выдерживает ли оно рациональную критику. Непросвещенные люди, вероятно, всегда будут способны верить только в то, что по их убеждению представляет собой нечто объективно реальное: что Кришна — это действительно аватара, что Библия — действительно слово Божье, что Христос в историческом смысле спас человечество от смерти. Просвещенный человек знает, что вера в религиозном смысле и научная достоверность не имеют между собой ничего общего, что вопрос о том, существовал ли на самом деле Христос, в религиозном смысле не имеет никакого значения. А человек просвещенный в высшей степени, духовный человек, пользуется верой по своему желанию как инструментом. Этого достигали самые великие из индийцев. Они достигали соединения с Брахманом; они знали, что все формы религии являются творениями человека. Однако они приносили жертвы тому или иному богу и веровали всем сердцем, понимая, что это упражнение полезно для души. Рамакришна в какое-то время побыл христианином и мусульманином, он хотел посмотреть, как действуют эти идеалы, но в эти периоды он веровал так сильно, что мог духовно узреть и Магомета и Христа. В остальном он придерживался культа богини Кали, Божественной Матери, считая, что этот культ наиболее соответствует его природе, и сознавая, что никакая форма не свойственна Божественной сущности.

Для того, чтобы какая-то форма религии могла соответствовать всем без исключения, оказывается необходимым делать главный акцент на вере; только вера соответствует всем. Путем познания к Богу приходит только одаренный человек; путем любви только тот, чья натура отличается богатством эмоциональных возможностей; путем делания только тот, кого отличает физическая энергия. Каждый из путей соответствует только како-

му-то определенному темпераменту, а изменить то, что заложено в нем природой, не может ни один человек. Зато верить, уповать может в принципе каждый. Этим объясняется, почему заповедь веры в конечном счете вышла на первое место и заняла господствующее положение даже у последователей Будды, учение которого более всех других делает акцент на самостоятельном познании; это не означает победы высшего принципа над низшими (если только мы не решили считать стремление к католицизму высшим принципом). Но когда-то вдруг наступает момент, когда вера начинает терять свою спасительную силу. Он наступает при эмансипации рассудка. В начале своего самостоятельного пути рассудок выступает как разрушительный и разлагающий элемент; лишь с достижением зрелости он приобретает способность к созидательной деятельности. Заняв в душе доминирующее положение, рассудок изменяет ее сознание. Душа утрачивает способность осознавать то, что скрыто в ее глубине, непосредственным образом, теперь она может это делать лишь опосредованно при помощи интеллекта, а поскольку рассудок на начальном этапе еще не способен справляться с глубинными проблемами, то душа утрачивает связь с тем, что заключено в ее глубине. Она становится поверхностной. Так стали поверхностными люди наших древнейших времен после того, как их рассудок вырвался за пределы, установленные их верой, и то же самое все больше происходит с нами нынешними, начиная со времен реформации. Что тут можно сделать? Худшим выходом была бы попытка подавления интеллекта и возвращения к наивной вере: усиление роли разума — преимущество, а не недостаток. Теперь нужно стремиться к углублению интеллекта.¹ Когда он разовьется настолько, чтобы понять смысл веры, глубокое значение всего того, что он прежде принимал за бессмыслицу, он снова станет религиозен. Не ранее этого. Современный человек по сути своей — интеллектуальное существо. Только то, что понято его разумом, становится для него жизненной силой. Так пусть же он как можно скорее

¹ См.: Was uns nottut, was ich will (Что нам нужно, чего я хочу). Darmstadt, 1919. Перепечатано в: Philosophie der Kunst (Философия искусства). Darmstadt, 1920.

поймет как можно больше из того, что составляло величие наших нерелефлирующих предков.

Ничто нельзя услышать среди молящихся на берегу Ганга так часто, как священный слог ОМ. Считается, что он воплощает в себе конечный смысл мира, альфу и омегу всей мудрости; кроме того, у него есть и то достоинство, что благодаря особенной иннервации, возбуждаемой при его произнесении, этот звук при достаточно настойчивом его повторении вводит человеческий организм в состояние, благоприятное для осознания атмана. Возможно, в этом есть доля правды. Я попытался наглядно поучиться, как нужно произносить такое ОМ; это оказалось не просто. Очевидно, никому не удастся сразу научиться делать это единственно нужным образом; очень возможно, что и здесь сочетание определенных телодвижений с определенными представлениями тоже служит толчком к устойчивому изменению психофизического равновесия.

Но даже если вера в физическое воздействие произнесения слога ОМ оказалась бы беспредметной, она оправдывается полезностью повторения. Здесь «суеверие» оказывается правильнее рационализма: есть смысл в том, чтобы вслух повторять некое духовное содержание, когда хочешь, чтобы оно тебя охватило. Наполеон говорил: «la seule formule rhétorique sérieuse, c'est la répétition»; он знал, что повторение в конце концов оказывает влияние на подсознание, из которого рождается все глубокое и стойкое. В этом же смысле для верующего полезно повторять вслух то, что он хочет себе представить, используя для этого по возможности короткие слова. Такое повторение действует сильнее, чем думание; оно непосредственно воздействует на подсознание, которое автоматически соотносит с этим словом все значения, с какими его ассоциирует наша сознательная мысль.

Впрочем, работает этот метод только в том случае, если человек вкладывает в это слово живой смысл и серьезно озабочен тем, чтобы претворить его в жизнь. Большинство молящихся на берегу Ганга только «бубнят как язычники» и, какой бы ни была побудительная идея их действий, добиваются только того, что, убаюкав себя повторением одинаковых звуков, погружаются в приятную

гипнотическую дрему. Да и найдется ли такое средство, предназначенное для молитвы и снискания благодати, которое избежало бы того же постепенного обесмысливания? Думаю, что нет. Тем более что по своей сути эти звуки действительно бессмысленны, воплощая в себе лишь тот смысл, какой способен вложить в них тот, кто ими пользуется. Вероятно, этого не понимал ни один из религиозных вождей, за исключением только Будды; большинство полагало, что полезное для них должно быть так же полезно любому другому. Все великие индийские бхакты считали самой действенной из всех духовных практик простое повторение имени божества. Для них самих это было справедливо: в их экзальтированных душах его имя лучше всякой молитвы вызывало все связанные с ним представления, в то время как молитва, с одной стороны, заставляла уделять гораздо больше внимания ее словесному содержанию, с другой же стороны, не могла выразить и малой доли того, что значило для них имя Божье. Их последователям эта практика давала уже гораздо меньше, так как их души не пламенели таким же огнем, а ученикам учеников она уже почти совсем не помогала. Совершенно невероятно, чтобы когда-нибудь была изобретена такая формула, которая сама собой выразила бы какое-либо религиозное содержание. Ритуалы всегда полезны, так как они спешествуют возрождению этих смыслов; догмы всегда вредны, так как они эти смыслы фальсифицируют. Самый показательный пример дает нам Лютер. Немного можно назвать религиозных переживаний, сопоставимых по своей силе с его «оправданием верой». То, что он понимал под «оправданием верой», представляет собой такой глубокий, такой огромный по своему масштабу религиозный опыт, какого во всей истории христианства, вероятно, никому не дано было пережить, кроме разве что Августина. Если же говорить о самой формуле «оправдание верой», то она представляется одной из самых неудачных, которые когда-либо придумывали люди, самой, быть может, поверхностной из всех возможных формулировок! Она неизбежно приводит к такому пониманию, будто бы самого факта признания определенных догматов достаточно для оправдания и спасения души, а все глубокие устремления либо излишни, либо даже

вредны. Формула Лютера соответственно повлияла на его приверженцев. Лютеранская религиозность очень скоро свелась к тому, что она представляет собой в наши дни: к дешевому признанию достоверности определенных догм в сочетании с еще более дешевым упованием на доброту Бога, эта религиозность исключает всякую возможность более глубокого опыта. Последующее влияние лютеровского переживания Бога отмечено истинным трагизмом, который особенно потрясает, когда понимаешь его неизбежность: переживание Лютера носило уникальный характер; его нельзя было сделать всеобщим и вряд ли возможно было превратить в нечто плодотворное. В Мартине Лютере было слишком мало универсального, для того чтобы он мог стать добрым примером. Но именно ему выпало открыть собой новую эпоху...

Вчера, ближе к закату, я повидал образцового индийского святого, о котором мои индийские друзья говорят, что он представляет собой что-то серьезное. Он мне очень импонировал. Не потому, что вот уже семь лет сидит в постройке, напоминающей голубятню, из которой выходит один раз в день для омовения в Ганге, и не потому, что за все это время не произнес ни одного слова; не потому, что существование гимнософиста, которое он ведет, представляет собой завершение успешной карьеры школьного учителя, — в этом отношении можно восхищаться почти всяким индийцем, поскольку почти что каждый из них способен неожиданно отречься от мира, с тем чтобы завершить свои дни в бедности и отшельничестве; импонирующее впечатление у меня вызвало его лицо своим выражением ума и одухотворенности. В его глазах нет ни следа того влажного блеска, который присущ эмоциональным натурам, склонным к галлюцинациям, в его лице нельзя было обнаружить той отрешенности, которая одновременно служит отчетливым признаком нарушенного душевного равновесия. Его сознание, конечно, целиком обращено к внутренней жизни, однако очевидно, что оно отражает ее истинные глубины, иначе выражение его лица не могло бы быть таким реальным; оно выражает ту же сдержанную силу, какую можно наблюдать у человека действия. Если бы он поже-

лал заговорить, то, что он поведал бы, стало бы немалым откровением. Потребность делиться своими мыслями с другими уходит по мере углубления во внутреннюю жизнь, и если такой человек не обладает темпераментом ученого, если он, как бы далеко ни была его цель от всего мирского, не сохраняет по крайней мере этой мирской черты, то становится все более односложным, пока не умолкает насовсем. Причина тут в том, что все внешнее эксклюзивно. Тот, кто углубился буквально в подпочву своих мыслей, тот знает, что истинная мысль непередаваема словами, потому что индивидуальное единично и может быть понято в одинаковом смысле только одним человеком, подобно тому как бытие определенной личности может быть прожито только ею одной. Цель, к которой стремимся мы, с точки зрения атмана означает компромисс. Что делаю я, когда хочу объективно определить нечто, представляющее собой метафизическую реальность? Я подыскиваю схему, которая со всех сторон обрисовала бы его границы, такую схему я мог бы найти. Но таким образом я не выразил бы самый предмет как таковой, а только обозначил бы его внешние очертания. Правда, тут могло бы возникнуть впечатление, что я сделал больше, ибо если контуры обрисованы правильно и отчетливо, то всякий другой способный к рассуждению человек сам вложит в них соответствующее содержание и ему покажется, будто я показал ему предмет в целом. Однако на самом деле я этого не сделал, поскольку это невозможно. Всякое научное выражение обозначает лишь рамки того, что и так должно осознаваться для того, чтобы стало возможно его познание. Тот, кто не обладает самостью или хотя бы самоощущением, подобным моему, никогда не поймет мою мысль, как бы хорошо ни было данное мною определение. Поэтому святой, равнодушный к прогрессу науки, предпочитает держать свое знание при себе, ибо высказать его вполне он все равно не может.

С точки зрения современных европейских понятий, жизнь такого человека бесполезна; ведь он ничего не делает, даже не поучает, живет только для себя и пользуется тем, что другие люди жертвуют на его содержание. В глазах индийцев такая жизнь стоит больше, чем жизнь самого деятельного филантропа. Они благодарны ему за

то, что он есть, считают счастьем, что он находится среди них, и считают почетной обязанностью жертвовать средства на его содержание. В этом-то и сказывается тот духовный идеализм, о котором я уже говорил в связи с Цейлоном: для благородного человека служить своему идеалу — это потребность, для него потребность делать это без всякой корысти. Но как понять то, что именно бездеятельный святой служит для индийца воплощением его идеала? Тут я подхожу к коренному мотиву его мировоззрения. Несомненно, что дело обстоит не так, как думают теософы. Неспособные отбросить свои западные представления, они приспособили к своему пониманию этот факт, объяснив его тем, что йог, дескать, трудится больше мирского работника, только его труды лежат в другой сфере; он, дескать, неустанно испускает астральные и ментальные вибрации, приносящие остальному человечеству больше пользы, чем какие бы то ни было земные труды. Быть может, оно и так, однако индийцы думают иначе. Они считают, что важно, в сущности, не делание и даже не благое делание. По-настоящему важно бытие. Зачем осчастливливать, поучать, исправлять человечество, если каждый и без того стоит точно на той ступени, до которой он поднялся на пути своих перевоплощений, и получает ровно столько добра и страдания, сколько он заслужил? Непосредственно помочь другому человеку вообще невозможно; никакая, даже самая энергичная, даже самая организованная, благотворительность не уменьшит греха и страданий этого мира. Поскольку несчастье и счастье зависят от внутреннего состояния души, то даже от самой благоприятной перемены внешних условий в сущности ничего не изменится. Людям, правда, заповедано творить добро, трудиться на благо других, быть благожелательными, самоотверженными, но ради какой цели? Дабы благотворитель духовно поднимался на высшую ступень, а не по той причине, что это поможет другим. Человек должен творить добро ради себя самого; это часть садханы, которая ведет к совершенству. Достигший совершенства или близкий к совершенству человек уже не нуждается в этой практике. Ему уже не нужно действовать, не нужно трудиться; он уже достиг цели всех трудов. Он освободился от своей самости, вырвался из пут своего Я; что бы он ни делал,

это уже не имеет для него значения. Ну а для других? Другие тут не при чем вопреки тому, что думают в своем заблуждении люди Запада, мнящие, будто можно существенно помочь другим. Альтруизм ни на йоту не лучше эгоизма, но может быть даже вреднее, поскольку успех того, кто его практикует, может быть куплен ценою ущерба для многих других. Почти невозможно помочь другому человеку, не укрепив его в его себялюбии; последний ведь видит, что его эгоистические желания принимаются всерьез, и это оказывает на него пагубное влияние. Это заставляет его думать преимущественно о своем счастье, мешает ему освободиться от своего я, а единственная важная цель — это освобождение (мукти). Истинную пользу можно принести другим людям, только служа им своим примером. И самый высокий пример дает им йог, освободившийся от всех земных уз, ставший выше труда и деяния, эгоизма и альтруизма, симпатий и антипатий. Поэтому самый факт его присутствия среди людей ценнее существования самого полезного работника.

Не буду выяснять, насколько это представление соответствует действительности в целом. Очевидно, оно включает в себя две общепризнанные истины. Первая заключается в том, что труд это не цель, а средство. Несомненно верно, что наличие у человека внутренней потребности в труде доказывает молодость его души. Без труда простой, необразованный человек останавливается в своем развитии, перестает двигаться вперед; гранд-сеньор может не делать ничего и оставаться при этом на высоте; мудрец тем более стоит выше необходимости занимать себя каким-либо делом. Ведь все вечные ценности относятся к бытию, а не к достигнутым успехам; достижения имеют существенное значение лишь в той мере, в какой они представляют собой опредмеченное бытие. Ничто не иллюстрирует это положение так ярко, как западная цивилизация, опирающаяся на противоположную точку зрения. Представители Запада живут ради труда, видят в нем самое важное, существенное, они судят обо всем сущем с точки зрения его эффективности. В результате их достижения превосходят, казалось бы, все, что когда-либо создавалось на земле, зато жизнь теряет от этого так много, как никогда раньше. Чем больше я знакомлюсь с Востоком, тем менее значительным в

своей сущности представляется мне тип современного западного человека. Потому что ради средств жизнеобеспечения он отказался от самой жизни. Вторая абсолютная истина, заключенная в индийском мировоззрении, состоит в том, что благими деяниями мы приносим существенную пользу только самим себе, а не другим людям. По плачевному недоразумению вера, на которой основана западная благотворительность, свидетельствует о невероятном самомнении. Хорошо, конечно, что она есть; она помогает благотворителям подняться на более высокую ступень; не подлежит сомнению, что она наносит большой вред тем, кто является ее объектом, однако, несмотря на сопряженные с нею недостатки, польза, получаемая благотворителями, пожалуй, все-таки перевешивает ее вредные последствия. Хотя пользы было бы во много раз больше, если бы они не жили во власти иллюзии, воображая, будто они делают добро другим, видя себя дающей, а не получающей стороной, находясь в убеждении, будто бы они вправе рассчитывать на благодарность. Эта иллюзия зачастую лишает их заслуженной награды. Посмотрите на наших типичных благотворителей: большей частью это фарисеи самого худшего пошиба, любующиеся собой, самодовольные, агрессивные, высокомерные, бестактные и невнимательные, в моральном отношении они сущая мука для своих клиентов. Если бы они понимали, что, делясь своими излишками, в сущности, действуют на благо самим себе, а не другим людям, и за это должны сами благодарить бедняков, вместо того чтобы ожидать от них благодарности, их деятельность была бы по-настоящему полезна. Это помогало бы им скорее подняться на более высокую ступень, делало бы их более приятными людьми; но главное, это не порождало бы в душах бедняков того внутреннего сопротивления, которое в большинстве случаев возникает у них вместо требуемой благодарности и которое так часто порождает то душевное очерствение, что так часто наблюдается среди наших бедняков; и наконец последнее: в суждениях о жизненных ценностях у нас тогда не акцентировалось бы так сильно то, что на самом деле несущественно.

Среди туземцев Индии, как и всего Востока в целом, *de facto* существует гораздо больше благотворительно-

сти, чем у нас. Чувство взаимосвязанности там так велико, сознание единичности так мало, что человеку не нужно проявлять какую-то необычайную решимость, для того чтобы поделиться с ближним своим достоянием. За исключением тех случаев, когда происходят какие-то катастрофы или бывает массовый голод, бедняку на Востоке гораздо реже угрожает опасность умереть от голода, чем у нас на Западе. Каждый по мере возможности делится с нуждающимся, поддерживает бедных родственников, больных, паломников и странников; он делает это как нечто само собой разумеющееся без лишнего шума, не думая, что совершает нечто выдающееся, а главное, не рассчитывает на вечную благодарность. Он знает, что делает это для своего же блага. Поэтому на всей обширной территории Востока среди бедняков чувствуется несравненно меньше враждебности к богатым, там гораздо меньше неумеренного почитания богатства и люди гораздо спокойнее относятся к тому, что касается материальных потребностей и их удовлетворения. Там ни один нуждающийся не видит ничего ужасного в том, что ему понадобилось вспомоществование; ни одному священнику не придет в голову выражать особую благодарность за жертвования; там никого не удивляет образ жизни святого, который, ничего не делая, существует за счет помощи окружающих. Так следовало бы жить всем людям. Но вряд ли отягощенный материальностью Запад в скором времени сумеет подняться до таких высот.

Бенарес переполнен больными и немощными. Не удивительно. Ведь значительная часть паломников приходит сюда специально для того, чтобы умереть на берегах Ганга. За эти дни я больше чем когда-либо насмотрелся на то, что некогда заставило царевича Сиддхартху удалиться от мира. И однако же я менее чем когда-либо испытывал здесь жалость. Эти страждущие так мало страдают, а главное, в них так мало страха смерти. Большинство из них совершенно счастливы оттого что они могут окончить жизнь на берегах священной реки. Ну а что до тех или иных невзгод, то их надо перетерпеть, благо ждать осталось уже недолго. Зато наверняка будет искуплена старая вина. А еще говорят, что вера индийцев пессимистична! Да менее пессимистичной, чем эта, я просто ни-

где не встречал. Эта вера утверждает такой порядок вещей, при котором все существа неизбежно переходят от низшей ступени к высшей, при котором опуститься на шаг среди миллиардов удается разве что одному. Весь мировой процесс поддерживает его в движении вперед, все сопротивление которого придется преодолеть, для того чтобы погибнуть. Цель этого направленного ввысь движения, правда, не такова, чтобы понравиться человеку Запада; его душа еще слишком молода, чтобы жаждать освобождения. Однако можно не сомневаясь сказать, что для индийца она обещает такое же блаженство, какое христианину сулит рай.

Этот день я провел с членами здешней миссии Рамакришны. Миссия устроила здесь приют, где получают кров и уход те, кто пришел в Бенарес умирать. Мало кто из больных, вероятно, догадался бы сам попросить пристанища в приюте, слишком мало значения придают они телесному страданию. Но некоторое число из членов миссии ежедневно обходит улицы города и подбирает там тех страждущих, чье состояние кажется тяжелее всего. Никогда еще мне не доводилось видеть больницу, где царило бы такое радостное настроение; уверенность в спасении у всех снимала горечь страдания. И любовь к ближнему, жившая в душах тех, кто ухаживал за больными, качественно была высочайшей пробы. Эти люди и впрямь истинные последователи упоенного божественной верой Рамакришны. Исполненные любви, но притом всепонимающие, нефанатичные, ненавязчивые. Такие, какими должны быть все человеколюбцы.

Общение с ними показало мне со всей отчетливостью, чем индийская набожность отличается от христианской даже в том, в чем они особенно близки друг другу: индийцу неведомо чувство вины. Хотя слово «грех», если верить переводам, и в их религиозной литературе встречается достаточно часто, однако смысл, вкладываемый в него, совершенно иной. Индийцу незнакомо то, что у нас называется грехом. Оно и не может ему быть знакомо, поскольку все проступки (равно как и добрые дела) он относит к майе, так что ни то, ни другое не имеет метафизического значения. Согласно закону кармы, каждое деяние влечет за собой естественно вытекающие из него последствия; эти последствия каждый должен брать на

себя, от них не может избавить никакая благодать. Спасение же заключается в освобождении от какой бы то ни было естественной детерминированности, а по его достижении все следы деяний стираются без остатка. Но, констатируя это, мы еще не подошли к самой сути проблемы. Христианское сознание греховности основано не столько на вере в греховность, сколько на заповеди, которая велит не забывать о ней ни на минуту. Индийскими же учениями о спасении души это вообще запрещается. В них говорится: каким человек себя мыслит, таким он и становится; если он постоянно мыслит о себе как о дурном и низком человеке, он и станет дурным. Человек должен мыслить себя не в худшем, а по возможности в лучшем качестве; не в том смысле, чтобы восхищаться своим настоящим состоянием, а в том, чтобы никогда не сомневаться в своей способности стать лучше. Ничто так не способствует развитию к лучшему, как оптимизм, и нет ничего более пагубного, чем недостаток самоуважения. Тот, кто не верит в себя, и есть атеист в полном смысле слова. Самое лучшее для человека — это представлять себя в своих мыслях не самым грешным из людей, как учит делать христианское учение, а постоянно представлять себя совершенным: такому человеку еще в этой жизни суждено достигнуть совершенства.

И тут индуизм опять-таки абсолютно прав; запрет останавливать свое внимание на греховности свидетельствует о совершенном знании психологии; нет ничего более неудачного, чем христианские воззрения. Многочисленные недостатки христианского человечества, без сомнения, проистекают из этой психологической ошибки. Сегодня, правда, ее можно считать уже преодоленной. Не только эмансипированные умы среди нас отвергают сейчас это традиционное положение, но в том же духе поступают и сохранившие в себе жизнь, а следовательно не остановившиеся в своем развитии, ответвления христианской церкви. Это понятие греховности является пережитком представлений неискушенных эпох. В те времена оно было достаточно полезно: лишь страх перед Божьей карой мог держать в узде наших склонных к насилию предков, и развитие от низшего к высшему могло происходить у них только через кризисы раскаяния. И по сей день для многих бывает полезно сознание

своей греховности. Немало еще остается людей, которым оно так дорого, что они, сознавая его ошибочность, готовы культивировать его дальше. Мазохизм вошел человеку в плоть и кровь; мысль о подчинении насилию до известной степени в каждом человеке вызывает прилив жизнеутверждающих чувств; в большинстве случаев в христианском покаянии можно расслышать нотку сладострастия. Тем не менее всякий человек духовного типа когда-нибудь должен будет отказаться от понятия греховности; начиная с определенного момента в нем не остается ничего, кроме вреда, так как оно неправильно по своей сути. Грех, конечно же, существует: грехом называют те помыслы и деяния человека, которые противостоят живущему в нем богу; в этом смысле всякому глубоко мыслящему человеку до скончания веков всегда будет ведомо сознание греха; и чем яснее будет это сознание, тем больше ему от него будет пользы, ибо только познание может послужить толчком к исправлению. Однако греховность в христианском смысле не существует, не существует греха, который по своей сущности был бы только оковами. Человек в своем нынешнем состоянии есть продукт своих деяний и деяний его предшественников. В каждый момент своего существования он испытывает на себе то возмездие, которое христианская вера относит к иному миру. И что бы он ни делал, ничто не обрекает его на вечное проклятие. Пока жива душа, она способна подняться выше; и более того: из крошечного мрака она тем сильнее взмывает к сиянию дня, потому что ужасы тьмы скорее, чем смутные сумерки, дают ей понимание того, как и в чем она ошибалась. В этом, как и в очень многом другом, индийцы оказываются старше и мудрее нас. Однако не только у мудрости, но и у глупости есть свои преимущества. В Адьяре я, кажется, останавливался на том, как полезна оказалась для нас бредовая вера в вечное проклятие, и сколько вреда принесла основной массе индусов их более глубокая вера. Так же обстоит дело и с сознанием греховности. Оно порождает особый, ничем другим не заменимый пафос, придает переживаниям специфическую глубину, которая только от него и зависит. Из всех людей самым сильным характером обладают пуритане и мусульмане, индусы же, по-видимому, самые бесхарактерные. Это происходит из то-

го, что первые верят в массивный, неотвратимый рок, внешний по отношению к человеку, последние же, напротив, верят в безусловную автономность человека. Индийская вера соответствует действительности; во вполне образованном человеке она формирует высшую человечность. Необразованного же человека она расслабляет; она побуждает его к вялому приятию жизни. Такому человеку, очевидно, полезнее, чтобы целительный страх перед некоей, пускай совершенно фиктивной, внешней силой побуждал его к постоянному самоконтролю.

Впрочем, тот, кто ожидает от Бенареса одних лишь впечатлений святости и мудрости, только выражений истинной религиозности и глубочайшего понимания, испытает там горькое разочарование: нигде на свете не встретишь так много проявлений суеверия и глупости, так много меркантильного поповства и расчетливого мошенничества, как в этом городе. В своей основной массе люди не могут не быть суеверными там, где такое множество наглядных и осязаемых вещей подталкивает их к суеверию; только развитый человек может уверенно различать символы и эмпирическую действительность. И если бы при том не нашлись люди, которые пытались бы делать на этом непонимании деньги, это противоречило бы человеческой природе. Среди йогов есть великое множество таких, которые практикуют свои упражнения не для того чтобы возвыситься до Бога, а для того чтобы опуститься до животного уровня; ибо если человек начинает управлять мышцами, как правило, не подвластными сознательной воле, выучившись, например, регулировать скорость своего сердцебиения, это означает, что он возвращается в состояние червя; то же самое происходит, если он без вреда для здоровья может несколько недель оставаться погребенным в могиле, т. е. достигает того, что еще лучше удастся способному впасть в зимнюю спячку зверю. Эти люди, владеющие хатха-йогой, все как один тупы и ограничены, каковыми они и славут; вся энергия, которая могла бы пойти на совершенствование интеллекта, у них сосредоточена в теле. Паломники же в большинстве своем более или менее суеверны. Так и должно быть там, где психическое начало считается первичным, ибо только одаренный и образованный чело-

век обладает достаточной самокритичностью, чтобы без внешней помощи различать истинные и ложные представления. Основной же массе для успеха на жизненном поприще грубо реалистический настрой помогает в этом гораздо лучше; потому-то христиане и магометане производят более реалистическое впечатление, чем индусы. Первые признают только то, что можно осязать; это реальные, а не воображаемые вещи, пускай они и представляют лишь очень малую часть реальности; в то время как вторые, зачастую сосредоточенные исключительно на нереальном, сами становятся нереальными.

Но вся глубина индийского мировоззрения выражается как раз в том, что оно всегда понимает заблуждение как выражение истины и потому не исключает ничего, что встречается в жизни. Индийский дух давно понял условность всех эмпирических образований; он понимает, что правильность или неправильность мышления, добрый или злой характер деяний, вера в истинное или неистинное зависит от внешних условий; он понимает, что (если смотреть на это с точки зрения данной жизни, вне соотнесенности с совокупностью предыдущих существований) только от случайности зависит, принял ли человек облик святого или преступника: в конечном счете все явления сводятся к одному и тому же. Стоит сдвинуться какому-то колесу в мозгу, и мудрец превращается в глупца; при особо благоприятных обстоятельствах маленький человек является нам великим; по случайности не выпавший ему опыт не дает богоискателю достигнуть высшего просветления. Кто может тут утверждать, что форма явления необходимым образом связана с его сущностью? В таком случае метафизическое приравнение ложной веры к истинной не представляет собой чего-то искусственно сконструированного: неспособный к пониманию должен подступаться к Богу в иной форме, чем это делает тот, кто приходит к нему путем познания. В Индии связь экзотеризма и эзотеризма носит более существенный характер, чем это имеет место в католицизме. Последний полагает между высшими и низшими формами проявления только прагматическую связь; т. е. экзотерические и эзотерические истины считаются равноценными постольку, поскольку выполняют одну и ту же цель. Такие же отношения, разумеется, постулирует

и индиец; но сверх того он еще и знает, что заблуждение может быть равноценно познанию не только в прагматическом, но и в онтологическом смысле: в определенных эмпирических условиях (при недостаточной способности к разумению, недостаточном воспитании, ярко выраженной эмоциональности) метафизическое сознание действительности проявляется в форме веры в нереальное, тогда как великому духу оно открывается в чистом познании. В принципе совершенно безразлично, изначально ли существовала связь между частными представлениями и их глубинным объективным смыслом или же она установилась впоследствии; почти всегда имеет место, скорее, последнее: метафизические связи существуют независимо от их истории. Что бы ни происходило, оно независимо от причин и момента времени: всегда и всюду события подтверждают ту истину, которую познали риши.

Таким образом, между индийским заблуждением и индийской мудростью нет непреодолимой пропасти; всюду остается возможность перехода от одного к другому. У нас это не так, потому что мы все еще придерживаемся субстанциальности имени и формы, и мы все еще желаем постичь интеллектом целостную картину жизни. Поэтому нам кажется, что истина опровергает заблуждение, совершенное выражение снимает несовершенное, а если два представления логически противоречат одно другому, мы мним, что только одно из них может быть верным. В этом отношении мы, как и во многих других, находимся еще на рудиментарной стадии развития. Поэтому большинство из нас еще не в состоянии постигнуть всю глубину индийской мудрости. Так, например, Бхагават-Гита, это, быть может, прекраснейшее творение мировой литературы, многим представляется мало-значительным компилятивным философским сочинением по той причине, что в нем одновременно выражаются разные направления мысли. Индеец воспринимает его как очень цельное по духу произведение. Шанкарачарья, основоположник философии адвайты — самого радикального монизма, какой только был на свете, всю жизнь практически оставался дуалистом, то есть приверженцем санхья-йоги, а в религиозной практике был политеистом. Как такое могло быть? Компетентность Шанкары в

вопросе логики не подлежит сомнению. Но он был не просто логиком. Поэтому для него было делом само собой разумеющимся, что для различных целей следует применять различные средства. На практике никто не может вырваться из рамок дуализма; невозможно ничего помыслить, пожелать, сделать так, чтобы при этом имплицитно не возникло представления о двойственности. Так зачем же это отрицать? От этого все равно ничего не изменится. Но, с другой стороны, практическая непреодолимость дуализма отнюдь не доказывает, что она свойственна сущности; по всей вероятности, она зависит лишь от характера инструмента познания. Сущность, не взирая на это, может быть единой, без чего-то «второго»; что, однако, в свою очередь не мешает тому, что она манифестируется в множестве. Так, приверженец крайнего монизма все же может молиться многим богам, коли это помогает ему осознать единого Бога. Есть и другие воззрения, противоположные взглядам Шанкары: есть школы, которые и сущности приписывают двойственность, есть другие, которые представляют ее и как единство, и как двойственность; есть теистические, пантеистические, атеистические толкования. В качестве непосредственного выражения метафизической действительности все они признаются как равноправные и ортодоксальные, поскольку ведь невозможно найти правильное решение там, где речь идет о чем-то, лежащем за пределами сферы рассудка; тут все философии могут быть только формами выражения. В целях практического познания признается только санхья-йога, поскольку практическое познание предполагает наличие двойственности. Наконец, в качестве верующего каждый волен выбирать то, что его устраивает, ибо здесь речь идет только о прагматическом понимании истины. Так что же? Получается, что индийцы — эклектики? Вот уж нет! Просто они — прямая противоположность рационалистам; они не страдают суеверным представлением, будто метафизические истины могут получить исчерпывающее воплощение в какой-либо логической системе; они знают, что духовная действительность никогда не может быть детерминирована одной единственной, а только несколькими интеллектуальными координатами. Противоречие между монизмом и дуализмом имеет здесь так же

мало значения, как противоречие между метрической системой измерения и системой измерения в футах. Разумеется, среди людей встречаются ярые приверженцы той или другой системы измерений, но это сугубо их личное дело. Бесспорно и то, что для той или иной цели использование одной из них может быть предпочтительно, так что глупо было бы этим не воспользоваться. Но никогда, никогда индийские мудрецы (а я говорю только о мудрецах, здесь речь идет о них, а не об ученых пандитах) не впадали в типичную для нас ошибку придавать каким-либо интеллектуальным формам серьезное метафизическое значение. Эти формы не весомее и не существеннее любого другого образа майи. Они могут отражать истинный смысл в виде более или менее четких и убедительных символов (причем их ценность зависит от того, делают ли они это в большей или меньшей степени), но сущностного характера они никогда не имеют. Индийцев же интересует одна лишь сущность. Они видят ее во всем, сквозь все оболочки, несмотря ни на что. Они не дают сбить себя с толку, даже если это не удовлетворяет интеллектуальным требованиям, не смущаются противоречиями. Гиту они буквально читают как «возвышенную песнь», как выражение Божественного духа, ибо именно он говорит с ними из этого, пускай даже очень немоощного, тела.

Чем объясняется то обстоятельство, что истинный смысл индийской мудрости до сих пор остается недостаточно понятым в Европе, несмотря на множество работ, посвященных этому предмету? Если тут вообще может идти речь о каких-то общих причинах, то скорее всего в этом главным образом виновато то обстоятельство, что наши ученые, если и бывали в Индии, то очень мало и не прикоснулись к ее живому духу. Конечно, бывает и так, что человеку удастся, даже не владея знанием персоналий и местных условий, понять дух того или иного выражения, например постигнуть дух языка или буквальное содержание какой-либо философии; и тут следует отдать должное Западу в том, что в этом смысле он сумел лучше понять Индию, чем она сама себя понимает. Однако понять, что хотел сказать тот или иной человек или народ данным выражением, что он под ним подразумевает,

можно только тогда, когда это выражение признается законченным воплощением смысла. А такое случается крайне редко; даже в отношении самого четкого философского учения — философии Канта — вряд ли можно с уверенностью утверждать, что она будет полностью понята человеком посторонним, далеким от нашего круга представлений. Творения же индийского духа едва ли можно отнести к числу получивших самое совершенное воплощение, хотя бы потому, что их создатели совсем не стремились выражаться с такой же отчетливостью, как это принято у нас. Они не стремились ни к научной, ни к образной точности изложения. В своих сочинениях они преследовали совершенно иную цель: с одной стороны, они хотели создать костяк живой традиции, с другой стороны, эти сочинения должны были служить средством для осознания духовных истин и, наконец, в них в виде легко усвояемой и запоминающейся символики должны были быть зафиксированы эти истины на потребу уже владеющих знанием, а не для тех, кто еще только хочет это знание обрести. Т. е. они заведомо не были задуманы как адекватное в нашем понимании выражение этих истин. Спрашивается, каким образом можно при таких обстоятельствах извлечь из буквального содержания его смысл? Как ни жаль, но вполне понятно, почему в таких условиях при изучении индийской философии возникли ошибочные параллели с греческой и тем более с кантовской философией: на ошибочно истолкованных фактах невозможно построить правильных теорий.

Начнем с самого существенного момента: индийская философия (если к ней вообще применим этот термин) совершенно несопоставима с нашей хотя бы по той причине, что она строится не на мыслительной работе. Вспомним традиционную индийскую методику обучения в том виде, как она представлена в некоторых упоминаниях Упанишад: когда ученик задает вопрос, учитель не дает ему прямого ответа, а только говорит: «Приходи и поживи у меня десять лет!». И в течение этих десяти лет он не учит его в том понимании, как это принято у нас, он только предлагает ему для размышлений одно положение. От ученика не требуется размышлять над ним или анализировать услышанное, развивать его дальше, возводить, исходя из него, какие-то конструкции, он дол-

жен погрузиться в него так, чтобы оно целиком овладело его душой. Кант говорил своим ученикам: вы должны изучать у меня не какую-то определенную философию, а должны учиться мыслить. Как раз этому индийский гуру никогда не учил своего челу¹. Из всех известных у нас видов учения он занимался только заучиванием наизусть, т. е. занимался тем делом, которое у нас признается наименее полезным. Вспомним также знаменитый стиль, в котором написаны индийские сутры: важнейшие мысли и положения индийцев представлены в них в таком невразумительно кратком виде, что без комментария они просто не поддаются пониманию: так делается для того чтобы ученик не поддавался соблазну штудировать их так, как это принято у нас. Согласно убеждению индийской философии, брахмавидью, т. е. познание сущности (единственный вид познания, к которому нужно стремиться), нельзя обрести мыслительным путем. Считается, что всякое мышление развивается в пределах своей сферы, не выходя за ее границы, поэтому оно, как и чувства, неспособно привести к метафизическому познанию. Подобно тому, как никакое обучение не дает перейти от восприятий к мышлению, никакое мышление в мире не приводит к метафизическому познанию. Метафизическое познание обретает только тот, кто достиг нового уровня сознания. На этом новом уровне метафизическое знание обретается как такая же непосредственная данность, какой является для зрения природа и для разума мир понятий. Следовательно, для учения требуется не мыслительная работа, а погружение в себя; речь идет не об исследовании действительности посредством предлагаемого инструмента, а выработка нового инструмента лучшего качества. Таким образом, методы учения, используемые у нас и в Индии для приобретения философских знаний, совершенно несопоставимы; у нас человек думает, экспериментирует, критикует, вырабатывает определения; индиец занимается йогой. Идеал, к которому он стремится, состоит в преобразовании своего организма таким образом, чтобы проникнуть за те пределы, которые, как установил Кант, являются пределами достижимого опыта.

¹ Чела (санскр.) — ученик.

Из несопоставимости этих двух методов вытекает и несопоставимость их результатов. Западный человек движется от мысли к мысли, пользуясь дедукцией, индукцией, дифференцирующим и интегрирующим подходом; индеец движется от одного состояния к другому. Европейец поднимается по ступеням абстракции от частного к общему, от общего к идеям и так далее; индеец же непрестанно изменяет форму своего сознания. Обретенный на различных уровнях опыт индеец, разумеется, объективирует, давая ему названия, выражая в форме понятий; и эти понятия зачастую совпадают по звучанию с нашими. Индеец тоже говорит об абсолюте. Но если для нас это понятие представляет собой ступень абстракции, то для него в нем объективируется пережитый им опыт. Следовательно, речь идет не об идентичности, а о несоизмеримости. Для индийца атман не рассудочное понятие, а обозначение достижимой конкретной ступени сознания, пуруша для него не воображаемая душа мироздания, а принцип переживаемого опыта, и так далее. Таким образом, мы имеем, с одной стороны, в западном мировоззрении связную систему, подчиняющуюся законам разума, ограниченную снизу данностью явлений, а сверху крайними абстракциями; с другой же стороны, в представлениях индийца эмпирическое описание возможного восхождения души от низших конкретных форм существования к более высоким. И как ни сходны понятия, используемые в обоих случаях для обозначения различных этапов, в конечном счете философия Индии и философия Запада совершенно несопоставимы. Между ними нет никакой связи.

Конечно, порой приходится наблюдать, как живое зерно индийского мировоззрения оказывается скрытым под жесткой оболочкой схоластики. Но тот, кто усматривает в этой оболочке его существенную и даже необходимую часть, заблуждается еще больше, чем тот, кто думает, будто существо учения Фомы Аквинского состоит в его логических конструкциях: в обоих случаях речь идет о попытке выразить в виде рациональной системы то, что в действительности представляет собой некое живое состояние. Такие попытки никогда не бывают и не могут быть удачными, а следовательно, их и нельзя принимать всерьез. Если хочешь разглядеть сущность, нуж-

но смотреть сквозь них на то, что находится за ними. Уловить же существенное в индийской схоластике никогда не составляет труда; обыкновенно оно лежит на поверхности. В отличие от наших средневековых философов индийцы никогда не были такими убежденными рационалистами, поскольку на них не лежал груз греческого наследия; поэтому у них логическая сетка всегда слаба и прозрачна. Все глубокие мыслители всегда знали, о чем они говорят. Поэтому даже у индийских схоластиков путем к познанию считалась практическая йога. Нигде в Индии пандиты не считаются мудрецами, а только теми, кто они есть, т. е. грамматиками и антикварами.

Я упомянул здесь Фому Аквинского: действительно, если что-то из западной литературы и можно сравнить с индийской философией, то в первую очередь это будут сочинения великих докторов теологии. Но и это сравнение верно не до конца, потому что западные теологи, ступив изначально на один путь с индийскими философами, свернули с него в другом направлении. Католическая церковь всегда использовала йогу только для укрепления утверждаемой ею веры и для того, чтобы в духе этой веры вести людей по пути совершенствования. Она никогда не пыталась учить их самостоятельному познанию. Целью высокого и трудного искусства раджа-йоги было научить людей самостоятельному, истинному познанию.

Все рационально-систематическое в индийской философии всего лишь ее плевелы, это схоластика в самом плохом смысле слова. С тех пор как люди стали создавать картину мира, духовное знание и схоластическое мышление шли у них рука об руку: там, где дух непосредственно постигает (или мнит, что постигает) то, что стоит выше всякого разума, ему требуется необычайная развитость, для того чтобы предоставить разуму самостоятельность. Как правило, он заставляет разум *coûte que coûte*¹ доказывать то, что и без того уже известно, а поскольку он уверен в истине и, следовательно, по-настоящему не нуждается в доказательствах, то удовлетворяется первым попавшимся, каким бы оно ни было сомнительным, лишь бы оно доказывало его предполо-

¹ Во что бы то ни стало (фр.).

жение. Только этим можно объяснить тот факт, что человек такого высокого ума, как Фома Аквинский, так и не осознал недостатков своей системы.

Индийская же схоластика еще во много раз хуже западной (как, впрочем, и пандиты представляют собой самый худший образчик начетничества, какой только можно себе представить), поскольку понятия, которыми она жонглирует, в сущности изначально не носят рационального характера, а только обозначают конкретные состояния, так что их конструкции не имеют под собой прочного основания. Однако вся индийская философия является более или менее схоластикой. Как бы мы ни защищали Шанкару или Рамануджу, все равно они были и остаются схоластами, потому что они исходили из определенных убеждений, которые их рассудок должен был излагать и доказывать; в этом они уступают каждому критическому мыслителю Запада. Ольденберг и Тибо без сомнения правы в споре с теми, кто превозносит индийскую философию до небес. Однако полагать, что она целиком и полностью воплощается в какой-либо системе и вообще в каком бы то ни было мировоззрении, значит совершенно не понимать индийского духа. Кроме адвайты есть противоположные ей двайта и висиштадвайта; монистическую метафизику дополняет дуалистическая теория бытия и познания; уравнительный, на первый взгляд, смысл изречения *tat twam asi*¹ снимается тончайшим чувством различения, опустошающему действию экстремального сознания единства противостоит влияние густонаселенного пантеона и богатейшей мифологии. В Индии вообще нет монизма, нет пантеизма, нет рабочих теорий и сознания единства в западном понимании; их понимание единства нисколько не препятствует безусловному признанию многообразия. Отнюдь не разрушая богатства мира явлений, учение адвайты представляет собой еще одно выражение этого богатства; это еще одно ответвление свержвительного древа индийского духа. Именно так, а никак не иначе, ее понимали индийские риши. И если объявляли себя сторонниками не какого-то иного, а именно этого учения, то делали это в том смысле, что каждой сущности по соображениям

¹ Ты есть то (санскр.) — изречение Вед.

эмпирического порядка более всего отвечает данная эмпирическая форма. Никому не нужны досужие споры о том, что такое брахман как таковой, да и есть ли он вообще, представляет ли собой нечто простое или множественное. Существование какой-либо абсолютной действительности представляется очевидным; на это указывает самое название «Брахман». То, как мы его себе представляем, зависит он нашей наклонности. Бхакта всегда будет склоняться к теизму, джняни, напротив, к учению, в котором подчеркивается единство. Ибо чем глубже мы проникаем в себя, чем больше осознаем свою сущность, тем сильнее становится в нас чувство единства: таким образом, у нас есть все основания предполагать, что с точки зрения познания учение о сущностном единстве является наилучшим выражением метафизической действительности. В качестве ученых риши были крайними эмпириками; они доверяли только опыту переживания. И если их мировоззрение вообще можно подвести под какую-либо из принятых рубрик, то правильнее всего его будет назвать прагматическим. Действительно, они были идеальными прагматиками. Они бы с удовольствием согласились с Уильямом Джеймсом и Ф. К. С. Шиллером в том, что всякая живая истина *in concreto*¹ сводится к постулатам; ни одна форма не является сущностной, всякая есть продукт эмпирических обстоятельств, это означает, что в каждом отдельном случае познания истина зависит от характера человека, его предрассудков и желаний. Однако, добавили бы они с улыбкой, это еще не значит, что такая теория представляет собой последнее слово; она относится только к выражению того, что мы называем истиной; смысл же не поддается прагматическому формулированию. Существует «иной мир» форм, царство чистого смысла, которое недоступно ни для каких постулатов, которое, однако же, само одушевляет все постулаты и придает им субстанциональность. Тот, кто поднялся сознанием в эту сферу и способен в ней оставаться, стоит выше прагматизма; он видит то, что скрыто за всеми постулатами; его познание отражает в незамутненной чистоте самодостаточную созидательную силу, на которой зиждется существование всех

¹ В реальности (лат.).

явлений. О таком человеке можно сказать, что он обладает «истиной», но это выражение не является подлинным; прагматисты, мол, совершенно правы, объявляя это понятие пустым (там, где речь идет о живой, а не логической истине); ибо его можно определить только как выражение некоего смысла, а не как самый смысл, а всякое выражение по необходимости является относительным. Правильно было бы сказать, что «обладающий знанием» стоит выше как истины, так и заблуждения, что для него это различие уже не существует. Он живет в царстве чистого живого смысла, который может выступать как в виде истины, так и в виде заблуждения. Этот смысл представляет собой чистую динамику, чистую интенсивность, и как таковой его невозможно себе представить и невозможно сформулировать; где бы и когда бы ни делалась попытка его поймать, мы всегда ухватываем вместо вечного смысла его преходящую, не отражающую его полностью форму. Поэтому и риши, когда ему приходится высказаться, вынужденно прибегает к помощи какой-либо относительно правильной системы, которую можно определить через постулаты. Но этим смыслом можно жить, исходя из него можно мыслить и действовать, и в таком случае уже не имеет значения, что ты думаешь и какие совершаешь действия...

Главное достоинство, вечную ценность индийского мировоззрения представляет дух глубины, из которого оно родилось. Все его проявления можно помыслить более совершенными; не думаю, что можно глубже проникнуть в сущность; мне кажется, что здесь достигнута предельная глубина. Индийцы преодолели статическое понятие истины и заменили его динамическим, которое преобразило его содержание: мы тоже когда-нибудь к этому придем. Мы тоже рано или поздно поймем, что сущностного познания невозможно достигнуть ни с помощью самого усовершенствованного понятийного аппарата, ни с помощью самого исчерпывающего изучения нашего сознания во всей его полноте, а только путем достижения нового, более высокого уровня сознания. Человек должен подняться над своим бранным инструментом познания; выйти за пределы своих биологических границ, классическое абстрактное выражение которых содержится в критических сочинениях Канта; он

должен перерасти свои прежние мерки; его сознание должно вместо поверхностных образов отразить глубинный дух, лежащий в основе его бытия. Это движение ввысь уже началось в Индии; отсюда те чудеса, которых она достигла в познании бытия и жизненной мудрости. Теперь наш черед продолжить начатое.

Мудрецы, интуиция которых положила начало всему ценному, что содержит в себе индийская метафизика, достигшие этого глубокого уровня сознания, обязаны этим, как известно, йогической практике. Йога практически представляет собой краеугольный камень всей индийской мудрости. Если мы все надежды возлагаем на гениальные озарения, индийцы, главным образом, полагаются на обученность. Недавно один индус сказал мне: «Если вам для того, чтобы открыть истину, требуются гениальные люди, это показывает, как мало вы образованы; вам нужно надеяться на чрезвычайно редкий случай. Но истина ведь тут, она для каждого доступна и содержится в самом незначительном явлении; при соответствующем обучении каждый способен ее разглядеть. Какая же глубокая ирония заключается в том, что вам, таким нетерпеливым, нужно дожидаться рождения необыкновенного человека, для того чтобы осознать нечто само собой разумеющееся (ибо каждая истина — это вещь сама собой разумеющаяся)!». И, конечно же, он в принципе прав. В нашей зависимости от таланта есть что-то унижительное. Но можно ли от нее освободиться? Чудеса индийской мудрости доказывают это самым фактом своего существования: в тех случаях, где можно указать авторство, речь идет отнюдь не о великих гениях в нашем понимании. По стилю и общему тону можно всегда с уверенностью определить уровень гениальности, оригинальности, силу и богатство талантов автора; так вот, за единственным исключением самого Будды я не знаю во всей индийской истории ни одного философа, которого можно было бы признать гением в западном понимании, ни одного, кто мог бы в этом сравниться с нашими великими мыслителями. И Шанкара, и Вьяса, и Рамануджа были в лучшем случае философами второго ряда. И однако же многие глубочайшие открытия сделаны ими, а не древними риши; тем не менее индийская

мудрость в целом — самая глубокая из всех, какие существуют на свете. Это утверждение отнюдь не голословно; чем дальше мы продвигаемся, тем более наши воззрения сближаются с индийскими. Шаг за шагом психологические исследования дают новые подтверждения теоретически, казалось бы, так неубедительно сформулированных выводов древнеиндийской психологии; то и дело результаты философской критики совпадают с интуитивными прозрениями древних риши, выраженными в мифологизированной форме; а благодаря Бергсону и метафизика сделала поворот в ту сторону, в которую она всегда двигалась в Индии. Ибо его метафизика ни на что не похожа так сильно, как на метафизику индийца Ашвагхоши.

Никто не отрицает, что Индия обязана своей мудростью той школе, которую дает система йоги. Ее основная идея заключается в том, что, потенцируя с ее помощью умение сосредоточиваться, человек получает в свое распоряжение необычайно могущественный инструмент. Овладев им в совершенстве, он может входить в непосредственный контакт с любым предметом на свете, обладая телепатией, он может творить подобно Богу и достигать всего, чего пожелает. Ему достаточно сконцентрировать внимание на какой-то точке, чтобы узнать о ней все, достаточно обратиться к какой-то проблеме, чтобы понять ее и разгадать. Достигшему совершенства йогу не требуются никакие материальные инструменты для того чтобы воздействовать на мир, для познания ему не требуется научного аппарата; он постигает все и совершает воздействие непосредственно. Вопрос о том, достигал ли когда-либо кто-то совершенного владения йогой, не имеет значения. Существенным и решающим моментом, как я уже объяснял это в Адьяре, является очевидная правильность основного принципа теории йоги и внутренняя вероятность того необычайного, которое она полагает достижимым. Несомненно, что способность к концентрации представляет собой главную пружину всего нашего психического механизма. Ничто так не повышает его эффективности, как она, и любой успех в какой угодно области можно объяснить толковым ее использованием. Перед исключительной, т. е. предельно концентрированной, волей в конечном счете

не может устоять ни одно препятствие; концентрированное внимание справляется с любой проблемой, заставляя ее раскрыть все свои стороны, доступные для постижения соответствующим талантом. Философия же йоги утверждает, что достаточно высокая степень концентрации может заменить собою талант. Чем в конечном счете отличается специфический талант математика? Йоги говорят, что он отличается способностью настолько пристально и внимательно вглядываться в условие математической задачи, что, в конце концов, проясняется ее характер и то, что из него вытекает. Ибо в мире духа они ведь существуют как данность, подобно любой другой вещи в природе, так что дело остается за тем, чтобы их постигнуть. Если бы речь шла о чем-то другом, а не об объективной данности, существующей независимо от ее познанности или непознанности, то невозможна была бы никакая наука математики. Всякое познание есть перцепция; рефлексия, индукция, дедукция суть лишь средства на пути к перцепции. Недаром в отношении вещей, не воспринимаемых зрительно, тоже говорят: я вижу, как обстоит дело; потому что абстрактные отношения мы тоже перцепируем. Неправоммерно усматривать принципиальное различие между зрительным восприятием предмета внешнего мира, видением визуального образа в воображении художника и мысленным представлением и духовным созерцанием какой-либо идеи; во всех этих случаях речь идет об одном и том же — о перцепции. Разница только в объектах и органах восприятия. Идея же как феномен есть такая же внешняя данность, как дерево, которое находится перед нами; его либо замечают, либо не замечают. Понимание в мире идей, как и восприятие в мире чувственном, зависит от того, насколько отчетливо мы что-то видим. Отсюда следует два вывода. Во-первых, объективный смысл того, что мы обычно называем талантом: талант — это идиосинкразия отдельного человека, заключающаяся в том, что он перцепирует преимущественного какой-то один род явлений; плохой математик — это тот, кто не способен сосредоточиться на абстрактных символах и их отношениях; правильность такого понимания подтверждается тем фактом, что под гипнозом человеку можно внушить такие способности, которыми он не обладает в обычном

состоянии. Второй же и важнейший вывод из сделанного выше утверждения состоит в том, что если человек в совершенстве владеет своим психическим аппаратом и умеет так управлять своей способностью к концентрации, чтобы на длительное время полностью сосредоточивать свое внимание на любом предмете, любой проблеме, то при условии достаточно сильной концентрации он сможет мгновенно понять любые причинно-следственные связи, какие он выбрал своим объектом (поскольку он может увидеть их с полной отчетливостью); в этом случае человек всюду может непосредственно разглядеть истину. Очевидно, для такого человека нет необходимости в научном аппарате, он вообще может обходиться без какой бы то ни было логики и рассуждений, ибо они представляют собой лишь средство перцепции; ему не потребовались бы даже какие-то исключительные таланты, ибо человек, в совершенстве овладевший пускай даже несовершенными средствами, может с их помощью достигнуть выдающихся результатов. Впрочем, и здесь на помощь теории приходит аналогия, почерпнутая из опыта: не в том ли заключается сущность гениальности, что она позволяет мгновенно воспринимать то, к чему другие приходят долгими окольными путями через ряд промежуточных стадий? Действительно, соответствующая школа может заменить собой природные таланты и в конечном счете позволить достигнуть большего, чем это может сделать талант. Поэтому нет ничего удивительного в том, что индийские мудрецы, несмотря на меньшую одаренность, достигли более глубокого знания, чем величайшие гении Запада.

Вот все, что касается философии йоги. Я не берусь утверждать, что ее учение буквально соответствует тому, что здесь сказано в моем изложении, однако считаю, что я передал ее основной смысл. А против него я не нахожу никаких доводов; я уверен, что он соответствует истинному положению вещей. Далее, я убежден, что открытое индийцами фундаментальное значение способности к концентрации и, что самое главное, найденный ими способ ее повысить, имеет первостепенное значение и представляет собой одно из важнейших открытий в истории человечества. Мы поступили бы глупо, не попытавшись его использовать. Ведь мы намного витальнее индийцев,

наш психический капитал гораздо богаче, и кто может сказать, какие нам суждено сделать открытия, когда мы пройдем обучение в этой школе? Я говорю не о смутных предположениях, а основываясь на своем опыте. В самом начале моего пребывания в Индии в беседе с одним йогом у нас зашла речь о вдохновении. Я рассказал ему, что понимают под этим словом у нас на Западе и какая это трагедия для всех, кого оно когда-либо посещало (а именно под его влиянием они создавали свои лучшие творения), что оно так мимолетно. Тут йог прервал меня вопросом: а почему же оно так мимолетно? Очевидно, потому, что вы не умеете его удержать. А удержать его можно; ведь оно представляет собой всего лишь особое и вовсе не какое-то сверхъестественное состояние сознания, которое может стать такой же нормой, как и всякое другое. Я бы на их месте, поскольку все лучшее, что они создали, вызвано вдохновением, не успокоился бы, пока не добился бы, чтобы вдохновение стало моим обычным состоянием. — Этот совет меня тогда очень поразил. Я начал упражняться по методам раджа-йоги; вместо того чтобы немедленно переводить вспышки вдохновения в мысли и слова, я старался зафиксировать ту область, из которой оно приходило и, насколько возможно, подниматься на ее высоту. И — о чудо! — у меня получилось. Возможным оказалось не только довольно долго удерживаться в таком состоянии, которое обычно продолжалось какие-то секунды, но забрезжила вероятность и более высоких взлетов. Я испытал на себе то, о чем говорили йоги: что каждый уровень сознания феноменологически эквивалентен любому другому. Подобно тому, как всякий без труда может мысленно путешествовать в мире чувственно воспринимаемых вещей, представляющемся ему устойчивой данностью, точно так же, после того как наступит тишина в мире представлений и усмирится «пьяная обезьяна» твоего воображения, можно разгуливать по этому психическому миру, так же спокойно разглядывая свои представления, как мы разглядываем деревья. А продолжая занятия, ты учишься не переводить возникающие идеи тотчас же в мысли и слова, а фиксировать их сначала в первоначальном виде, т. е. тому, из чего родилось учение Платона об идеях. Однако мир идей — это еще не высшая ступень; высоко над ним

царит мир чистого смысла, и тот, кто постоянно в нем обитает, очевидно, становится всеведущим... Вероятно, излишним будет пояснять, что я до этого уровня не поднялся. Однако я уже неоднократно переживал опыт, знакомый Платону, разглядывая идеи как объекты. Во время такого разглядывания я перцепировал их взаимосвязь, их истоки, их смысл; мне не нужно было думать; и порой мне буквально удавалось проникнуть в их подоплеку, увидеть, что кроется за ними. Я упражнялся в способности делать то, что у философов, начиная от Платона и кончая Шеллингом, называется «интеллектуальным созерцанием» (хотя это созерцание не интеллектуально, а так же эмпирично, как и всякое другое, только производим мы его, находясь на другом уровне сознания), я непосредственно созерцал то, что мы обычно постигается опосредованным путем. После этого опыта я уже не удивляюсь глубине познания индийских философов. Познание неизбежно осуществляется после того, как ты научаешься наблюдать за психическими процессами с полным вниманием. Ибо то, что представляется нам последней инстанцией, в свой черед превращается в новую основу для наблюдений, и тогда понятия и представления фиксируются так же легко, как предметы внешнего мира, а идеальные причинно-следственные связи проступают с такой же ясностью, что и эмпирические. Этим объясняется, почему индийцам без предварительной критики и несмотря на скудость научного аппарата удастся сразу же правильно постигать отношение метафизической действительности к миру идей и явлений; почему их психология, при всех недостатках ее выражения, оказывается несравнимо более глубокой, чем та, что существует у нас. Этим объясняется в конечном счете и уникальная глубина индийской мудрости в целом. Великие риши постоянно жили в глубинном слое. Этого нельзя сказать ни об одном из мудрецов Запада. Платон, вероятно, был способен созерцать идеи, однако далее его взор не проникал, и потому, наверное, он не понял их истинного характера; он переоценил их значение. Кроме того, ему лишь временами удавалось их разглядеть: поэтому он только постоянно указывал на них или в моменты вдохновения освещал, исходя из них, мир явлений. Плотин только опускался из мира атмана; в его воззре-

ниях он играет роль фона. Фихте и Гегель пытались, со своей стороны, представить явления, исходя из глубинного смысла, и делали это успешно; Ницше освещал их спорадически; никто из них не жил на глубине. Дело в том, что при всей своей одаренности, они не развили в себе в достаточной степени способность к концентрации; у них сохранялась зависимость от эмпирических случайностей. Ни один из мыслителей Запада не обладал достаточной концентрацией, чтобы постоянно пребывать в глубине своей самости. Отчетливее всего, может быть, этот недостаток проявляется у Гёте. Пожалуй, он облек в слова больше молниеносных проблесков глубины, чем кто-либо другой из представителей Нового времени; но в то же время он менее, чем кто-либо другой из великих, был способен оставаться продолжительное время в той сфере, откуда они исходят. Его обычное существование протекало на поверхности, а после каждого погружения в глубину он был вынужден тем дольше отдыхать на поверхности. «Фауст» дает нам в преображенном виде отражение этого недостатка. В этом произведении мы видим целый ряд состояний, однако никогда последующее не знаменует собой существенного углубления по сравнению с предыдущим, а последний акт не представляет собой завершающего итога жизни в целом, но лишь дает еще одно состояние, которое случайно оказалось последним и лишь случайно оценивается как некая вершина.

Все духовное развитие с того момента, когда образовались органы, действительно основано на концентрации; мое собственное развитие это полностью подтверждает. В двадцать лет я был не глупее, чем сегодня. Но мои способности были не скоординированы, а так как ни одна из них сама по себе не была выдающейся, то я не мог создать ничего значительного. Когда же литературно-философская тенденция заняла доминирующее положение, у меня появился идеальный центр, в котором могли сфокусироваться все излучения моего духа, и чем больше они концентрировались, тем успешнее становилась моя работа. Из республики я постепенно перерастал в монархию, с каждым годом я все больше становился хозяином самому себе и соответственно крепили мои духовные возможности. Долгое время вследствие нервной

слабости я с трудом добивался сосредоточенности, довольно рано поняв, что в этом состоит главная задача: за каждым усилием следовало истощение, что до известной степени вынуждало меня быть поверхностным. Конечно, «*Мироздание*» — сочинение не поверхностное, ибо тогда мне помогала юношеская страстность; но в «*Бессмертии*» есть бездонные провалы, однако лишь потому, что во время его написания мои нервы были не в порядке. Если бы я был тогда здоров, то это сочинение, особенно дорогое моему сердцу, получилось бы не хуже, чем «*Прологомены*»; поскольку задуманы они были в один и тот же год, но работа над последними, по счастью, началась три года спустя. Глубинное мышление как движущая пружина является непосредственной функцией нервной энергии: тот, кто не может напрягать свой мозг, не может и глубоко мыслить, какими бы глубокими не были его интуитивные догадки. Наверное, это рискованная затея — измерять глубину мысли с помощью динамометра, однако такой подход возможен, поскольку проницательность духовных лучей зависит от степени их сфокусированности, а та в свою очередь от имеющегося запаса нервных сил. Однако этим наблюдением еще не исчерпывается значение концентрации для духовного развития. Чем собраннее становится ум, тем он спокойнее и тем производительнее действует как рабочий инструмент. Пока поверхность находится в постоянном движении, глубинная интуиция сквозь нее не просвечивает; как бы часты ни были ее вспышки, световая экспозиция слишком мала, чтобы произошла трансфигурация поверхности. Собранный интеллект не только пропускает сквозь себя интуицию, но и становится ее послушным органом, так что в конце концов вся психика становится выражением внутреннего света. Таким образом, я вижу, как с каждым годом все больше им наполняюсь. Вместо того чтобы с годами охлаждающий ум все больше перевешивал во мне живые силы души, я развиваюсь в обратном направлении от рационализма к конкретности; интеллект, некогда управлявший мною, становится для меня все более послушным средством выражения. Все эти успехи являются непосредственным следствием возрастающей концентрации. Во всех областях, исключая в какой-то степени разве что искусства, старость знамену-

ет собой создание самых значительных произведений, хотя наибольший подъем творческих сил человека, вероятно, у всех приходится на тридцатилетний возраст. Так происходит потому, что дух лишь к старости достигает той степени концентрации, которая позволяет ему полностью осмыслить все ранее открытое.

Образцовое значение индийской культуры заключается в том, что она, как никакая другая, подчеркивала роль концентрации. Ведь те соображения, которые я только что приводил, говоря о йоге, охватывают лишь какую-то часть всего того, что вкладывают в это понятие индийцы: для них она вообще означает квинтэссенцию всего образования. Ведь когда мы говорим о развитии познавательных способностей, речь по сути дела идет о задаче технического характера; хотя все усилия индийцев направлены в другую сторону, однако они лежат в той же плоскости, что и наши усилия, направленные на подчинение сил объективного мира. Мы занимались тем, чтобы посредством данного инструмента изменять окружающий мир, индийцы же посвятили себя в первую очередь усовершенствованию самого орудия, так что решить, какому из альтернативных подходов следует отдать предпочтение, можно только исходя из предполагаемой практической цели. Абсолютное превосходство Индии перед Западом коренится в понимании того, что настоящая культура достигается не путем расширения, а только путем углубления, углубление же зависит от концентрации. Сосредоточенный человек никогда не бывает поверхностным; в том направлении, в котором он сосредоточивал свои силы (а это не обязательно подразумевает все сразу или самые существенные), он по необходимости достигает глубины. Поэтому индийская мудрость утверждает, что религиозность и мораль вырабатываются человеком; они не являются результатом научения в сократовском смысле, но достижимы для каждого на пути сознательной работы над личной культурой. Согласно ее представлениям, только поверхностный человек может быть атеистом; как только глубинная душа высвечивается на поверхности, возникает осознание Бога. Только поверхностный человек может усомниться в различии между злом и добром, потому что это различие существует объективно, его можно воспринимать или не вос-

принимать; а человек достигший совершенной глубины может хотеть только добра. Индийская мудрость считает, что в принципе безразлично, с чего человек начинает свой путь — с атеизма или теизма, с аморализма или скептицизма; воззрения и мнения всегда иррелевантны; требуется знание. Знание же приходит само по мере углубления в свою душу.

Не вызывает сомнения, что степень религиозного сознания (в самом широком смысле) и морального различия зависит от глубины, в которой укоренено человеческое сознание. Также неоспоримо и то, что человек способен становиться глубже. Лучшие люди Запада тоже всегда это понимали. Но только Индия сумела сделать так, чтобы это открытие могло плодотворно использоваться для самого широкого практического применения. В этом, как уже сказано, заключается образцовое значение индийской культуры. Для нас будет полезно, если мы как можно скорее последуем ее примеру. В чем заключается главное, что кажется нам достойным порицания в нашем нынешнем состоянии? В том, что наши силы настолько дифференцировались и превратились в настолько обособленные сущности, что уже не поддаются никакой централизации, вследствие чего все, что только может исходить из центра, прекращает свое существование. О представителе современной культуры на пике его развития говорят, что он разучился любить. Разумеется, он это не умеет. Хотя он обладает всеми элементами, которые необходимы для любви, причем их палитра достигла небывалого прежде богатства, эти элементы никак не хотят соединяться воедино. Чувственность идет своими особыми путями, то же самое происходит с идеальными устремлениями, то же самое — с эмоциональной привязанностью и т. д. Цельная любовь не складывается даже в пароксизме страсти. Вследствие этого в наше время логично появилось воспевание страсти как таковой, как никогда прежде сейчас высоко ставится стихийная сила; снова над стогами громко несется клич «назад к природе!». Словом, сплошное недоразумение! Страсть даже у животных означает некий кризис, и все подвиги, которые совершаются под ее влиянием, совершенно ничего не значат; под влиянием страсти слабые люди показывают себя сильными, трусы — храбрыми, но их сущность

от этого нисколько не меняется. Что же касается призыва «назад к природе!», то нельзя превзойти достигнутую степень культурного развития, опустившись на ступеньку ниже. Конечно, хорошо бы снова обрести непосредственность, однако непосредственность и возвращение к животному состоянию не могут считаться равнозначными понятиями. Но вернемся к выбранной нами для примера любви: анимальная чувственность зачастую понимается как ее целостное выражение по той причине, что она непосредственна, а непосредственность приписывается высшим формам любви. Действительно, чувственность начинает выражать любовь в целом тогда, когда культурная нация подходит к периоду своего упадка; так случилось с поздними римлянами, это же наблюдается у все более и более вырождающихся кругов Европы. Но там, где жизненная сила еще не исчерпала себя, имеется и лучший путь к непосредственности: путь, ведущий через дифференциацию к концентрации. Это путь, которым шла Индия, и это путь, которым мы должны идти дальше.

Этот путь, только он один, выведет нас из нашего нынешнего состояния. Нам нужно при помощи концентрации направить эмансипированные силы в сторону жизни, превратить их из забастовщиков в работающие органы. Нам не нужно отказываться ни от чего из того, что свойственно нашему теперешнему состоянию. Небывалую для всего предшествующего развития человечества широту души нельзя ограничивать, ибо она представляет собой абсолютный плюс; необычайная дифференцированность нашего существа является преимуществом. Единственное, что нам нужно сделать, это одушевить столь дивно богатое тело той же глубиной, какая свойственна индийцам; поверхностный слой, который, как правило, один только и осознается современным человеком, мы должны превратить в зеркальное отражение глубины и сделать так, чтобы самодостаточные ныне органы вновь стали средствами выражения. Если мы сумеем этого добиться, то несомненно станем представителями высшего состояния, какое до сей поры когда-либо достигалось человеком. Чем богаче средства выражения, тем лучше в них может манифестироваться смысл; Бог, средством выражения которого служит все мироздание,

именно поэтому есть в большей степени Бог, нежели человек. Но с другой стороны: чем средства богаче, тем большая сила требуется, чтобы ими управлять. Поэтому наша задача гораздо труднее, чем задача, стоящая перед индийцами. Сколько раз уже я, глядя на них, завистливо вздыхал: насколько легче вам быть глубокими! Ваша плоскость так мала, ваше тело так тоще, что не так уж, наверное, и трудно сделать всю вашу природную сущность средством выражения духа. Нам же, жирным, богатым европейцам, придется немало потрудиться, чтобы пройти хотя бы какую-то часть вашего пути... Но тут я себе сказал: разве, проделав то, что проделали вы, мы не достигнем сверхчеловеческих возможностей? Сверхчеловек, о котором говорит Ницше, обозначает только границы физиологической базы и, следовательно, представляет некий путь — возможно путь западного человека, — но не цель. Сверхчеловек в понимании теософов, т. е. тех, кого они называют учителями, слишком надмирен, слишком далек от всего человеческого, чтобы их пример мог стать для нас путеводным. Я не знаю, каким окажется сверхчеловек. Но с уверенностью можно сказать, что если ему суждено появиться, то он возникнет благодаря концентрации всех наших сил.

То, что значение индийской культуры не сразу было понято, а там, где его осознавали, это не всегда приводило к хорошим последствиям, объясняется неспособностью большинства воспринимать смысл независимо от явления. Перенос явления на другую почву никогда не обходится без вредных последствий; он всегда бывает продуктом каких-то определенных, единичных условий и потому соответствует только определенному состоянию. Если уж англомания никому не приносила пользы, то что же говорить об индомании и тем более относительно самого значительного достижения Индии — ее культуры концентрации. Характерно, что индийские дыхательные упражнения, ставшие столь популярными благодаря прочитанным в Америке лекциям Вивекананды, не помогли ни одному американцу достичь высшего состояния, но зато, как говорят, очень многих довели до больницы или сумасшедшего дома. Хатха-йога и в самой Индии считается небезопасной, многие упражнения давно уже за-

клеймены всеми авторитетами как безусловно вредные и продолжают практиковаться только благодаря неистребимой склонности человека отдавать предпочтение опасному, а не безопасному. Но даже про самые безопасные упражнения никто не может сказать, насколько они соответствуют европейскому организму; очень может быть, что для большинства они скорее вредны, чем полезны. При всей полезности дыхательных упражнений в целом (правильность идеи о том, что дыхание является как бы главным маховиком психофизического организма, а контроль над дыханием ведет к полному самоконтролю во всех смыслах слова, не подлежит никакому сомнению), какие именно рекомендуются упражнения зависит, однако, от эмпирически обстоятельств. Образцовое значение имеет для нас основная в индийской культуре идея концентрации, а не ее специфические формы проявления. Что касается последних, то нельзя отрицать, что с точки зрения наших идеалов в них многое заставляет желать лучшего; большая часть того, что составляет предмет нашей гордости, в Индии отсутствует. Но индийцы никогда и не преследовали наших целей; следовательно, им нельзя ставить в вину их недостатки.

Для того чтобы осознать те особенности индийской культуры, которые могут служить примером для подражания, лучше обратиться не к индийским, а к западным проявлениям той же идеи (хотя на западе она никогда не осознавалась как ведущая и определяющая развитие); возьмем, например, англичан как нацию или некоторые чисто американские типы делового человека. Характер англичан от природы отличается большей ограниченностью по сравнению с немцами или русскими; однако своими малыми возможностями они достигают большего, чем другие — неограниченными. Люди часто поражаются разносторонности английских аристократов, которые сегодня могут быть журналистами, завтра — вице-королями, послезавтра, например, министрами торговли, а в свободное время еще и писать хорошие сочинения исторического или филологического содержания. Надо сказать, что в отношении разносторонности Германия или Россия могли бы дать британцу изрядную фору; но только британец умеет так организовать свое богатство, чтобы каждый его элемент заработал продуктивно.

Англичанин владеет собой лучше кого бы то ни было из европейцев; именно поэтому он производит впечатление стоящей за этим большей глубины; т. е. он оказывается глубже всех с точки зрения своего человеческого характера. Несмотря на достигнутую им культурную высоту, он сохранил всю свою целостность, в нем нет надлома, он прочно укоренен в жизненной почве и как никто другой отличается независимостью. Это происходит благодаря йоге. Правда не индийской, а той, что сложилась под влиянием пуританских и методистских идей. Достигнутая ими культура концентрации, хотя и носит совершенно иной характер, по своей интенсивности не ступает индийской. Другим наблюдаемым на Западе примером, свидетельствующим о том, какое значение имеет основополагающая индийская идея, могут служить первые американские денежные тузы. Всякий, кто встречал их и спрашивал, в чем состоит формула их успеха, вероятно, слышал в ответ: «В своей работе мы действуем только по интуиции»; рефлексия не дала бы таких быстрых результатов, т. е. они постоянно оперируют той способностью, которую обычный человек использует лишь в исключительных случаях — чаще всего, когда он строит планы или когда нужно принимать безотлагательно важные решения. А это значит: они достигли такого уровня развития, на котором исключительное становится нормой и чрезвычайное становится исходным базисом. Именно это относится и к индийским йогам. Это подтверждает их абсолютное первенство в том, что касается самой идеи, и поэтому перед лицом вечности не будет ошибкой говорить о западных формах проявления индийской основополагающей идеи, ибо только йоги поняли смысл и значение своих действий. Познание — главное в этом мире; лишь познанная истина становится в полной мере продуктивной. Для нас неважно, многого ли достигли индийцы или нет. Но мы должны быть им вечно благодарны за то, что они поняли и открыли нам смысл того, что издревле, еще до того, как это было осознано, уже было душой всякого внутреннего развития. Благодаря этому знанию мы все — каждый народ и каждый человек в отдельности — станем в десять раз скорее, чем прежде, продвигаться вперед в том направлении, которое нам указывают наши естественные задатки.

Все высшие, все особенно сильные выражения жизни являются результатом концентрации; концентрация же неизбежно знаменует собой углубление. В каком смысле она вызывает углубление, зависит от того, в каком духе и с какой целью ее практикуют; она способствует всякому воспитанию, о каком только можно помыслить. Однако же тот, кто стремится к познанию сущности и к освящению, тот в любом случае должен идти путем, проложенным индийцами. То же относится и к художнику, который, подобно им и их ученикам на Дальнем Востоке, стремится создать нечто существенное. Уже сейчас мы более или менее осознаем то, что наше искусство по ценности выраженного в нем психического содержания не может сравниться с искусством древних культурных народов Востока; нам также известно, что это каким-то образом связано с ненатуралистичностью последнего. Однако большинство не отдает себе отчета в том, в чем же заключается самая сущность восточного искусства; это можно утверждать с уверенностью, так как иначе им не взбрело бы в голову сравнивать буддийское искусство с греческим, а молодежь подумала бы дважды, прежде чем пытаться выражать какие-то свои мысли с помощью формальных средств Востока. Ибо это никогда не приведет к добру: смысл восточного искусства совершенно иной, чем смысл западного, и только для Востока его специфические формы могут служить адекватными средствами выражения.

В чем состоит смысл особой «стилизованности» (не очень удачное слово), проявляющейся во всех произведениях изобразительного искусства Востока? Он состоит не в упрощении рационалистического толка. Идущая от греков типизация, которая с тех пор более или менее явственно проступает в основе всего западного искусства, вызвана рациональным началом. Из всех возможных линий, связывающих две точки, прямая — самая короткая; из всех возможных движений, направленных к какой-то цели, наилучшим является наиболее целесообразное; из всех возможных архитектурных построений самое совершенное то, в котором полнее всего учтены внутренние законы взятой за основу математической фигуры, используемого материала и той идеи, которую должно воплощать здание (задуманное как храм, как дворец

и т. д.): таковы аксиомы рационального искусства. Эти аксиомы сохраняют свой смысл, лишь внешне изменяя свое обличье, и тогда, когда центр тяжести переносится на эстетическое восприятие зрителя: в этом случае предпочтение отдается тем формам, которые создают образ, в наибольшей степени передающий то из вышеуказанного, что было реализовано в самом произведении. Исходя из этого понимания были созданы очертания Парфенона, микельанджеловский контрапост и сложнейший ритмический рисунок произведений Родена. Это понимание в духе чистого разума. Его плодотворность порождена концентрацией. Подобно тому, как концентрация разума на каком-либо естественном процессе приводит к открытию формулы, в которой его закон и тем самым его сущность предстает более умопостигаемой, чем это было в конкретном воплощении, точно так же концентрация разума приводит художника к изобретению такой формы, которая благодаря упрощению помогает глазу разглядеть то, чего он зачастую не замечает, наблюдая природу. И пускай нас не смущает то обстоятельство, что художники, как правило, не склонные к рассуждениям, утверждают, будто творят под влиянием чистого чувства, что чувство удовлетворения от художественного произведения гораздо богаче того, что может дать нам исполнение одних лишь требований рассудка: ведь наличие какого-либо процесса отнюдь не зависит от его осознания, а многосложность воздействия вовсе не доказывает того, что причина не являлась простой. Человек по существу разумное существо, и потому все рациональное, проявляясь в приятном воплощении, пробуждает к жизни все душевные силы, а с другой стороны, в создании чего-то рационального так же могли принимать участие все душевные силы. Все формы, создаваемые в специфическом западном духе, в принципе основаны на концентрации разума.

Однако таким путем можно постигать лишь те области жизни, которые схватываются при движении от внешней стороны к внутренней. По этой причине наше изобразительное искусство никогда не выражало того, что могли высказать наши музыка и поэзия. Задача двух последних состоит в том, чтобы воплощать чувства; поэзия способна воплотить те из них, что поддаются артикули-

рованному выражению, все неартикулированные, самые живые, самые глубокие выражает одна лишь музыка. Почему это субъективное не удастся объективировать в образах? Потому что самая сильная концентрация разума никогда не проникает вглубь души. Поскольку в изобразительном искусстве мы всегда оставались рационалистами, мы никогда не могли непосредственно выразить в образе «душу», притом что в музыке нам это замечательно удавалось. Наши мадонны, наши святые, наши образы Христа все время остаются совершенно земными существами; несмотря на то, что их жесты выражают душевное волнение, это не прибавляет им духовности. Единственные исключения, насколько я знаю, представляют разве что некоторые произведения раннего средневековья, впрочем, они и появились как порождение совершенно иного духа, да еще картины Перуджино. Однако у последнего религиозный характер образов основан, как доказал Беренсон, не на непосредственном воплощении религиозного духа, а на особом изображении пространства, которое вызывает у зрителя религиозные ассоциации. Для того чтобы непосредственно выразить душу, зримая форма должна была бы быть непосредственным выражением души, а следовательно, основываться на чем-то ином, нежели концентрация разума. Концентрацией такого рода художники Запада никогда не владели.

Именно это сумели художники Востока, благодаря чему создали такие произведения, похожих на которые у нас нет. С точки зрения разума, конечно, ни одно произведение Востока не может сравниться с греческими, но о них и нельзя судить с позиций рациональности. Они вышли из тех глубин жизни, из каких у нас родились музыка и поэзия. Это означает сдвиг всех масштабов. Непосредственно о рациональности здесь не приходится говорить (хотя, конечно, и тут она присутствует, поскольку человек вообще существо разумное); зримая форма становится непосредственным выражением сущности и как таковая особенно убедительна там, где смысл просто невозможно охватить разумом, как если бы, например, мы хотели понять смех ребенка или женский каприз. Мне все время вспоминается танцующий Шива из музея в Мадрасе: в этой многорукой, анатоми-

чески невозможной бронзовой фигуре реализуется такая возможность, которая невообразима для греческого искусства — это веселящийся Бог, который из озорства расплясывает мир. Как можно прийти к созданию такого творения? Только осознав Бога в себе и будучи способным непосредственно родить это внутреннее переживание из себя в виде зримого образа. С этой, казалось бы невозможной, задачей могли справиться художники Востока. И удалось это им благодаря тому, о чем все эти дни шла речь в моих записках: благодаря их культуре концентрации. О великих художниках Индостана мы почти ничего не знаем или знаем очень мало. Но об их наследниках, художниках Китая или Японии, нам известно, что они были йогами и в йоге видели единственный путь к искусству. Разумеется, в свои ученические годы они сначала много рисовали и писали красками с натуры, занимаясь этим серьезно и терпеливо, чтобы в совершенстве овладеть выразительными средствами; но у них это считалось лишь пропедевтикой; главным для них было погружение. Они погружались в себя, или в водопад, или в пейзаж, в человеческое лицо, смотря по тому, что собирались изобразить, до полного слияния со своим объектом, а затем творили из себя, совершенно не заботясь о внешних нормах. О Ли Лунь-Мене (Li Lung-Mien), мастере суньской эпохи, рассказывают, что своим главным делом он считал не работу, а медитирование на горных склонах или на берегу ручья. Художнику Дао-Цзы (Тао Тзе) император однажды велел нарисовать определенный пейзаж. Побывав в этой местности, Дао-Цзы вернулся оттуда без набросков и на удивленные вопросы ответил: «Я принес с собой натуру в сердце». В своем трактате о пейзажной живописи Куо Хси учит так: «Главное, чтобы художник душой почувствовал связь с холмами и ручьями, которые он хочет изобразить». Внутренняя собранность была для этих художников важнее, чем внешние ремесленные навыки. Действительно, тот, кто умеет жить в ладу со своим внутренним миром, стоит выше разума, ибо его законы — это законы, имманентно присущие духу; ему уже незачем им следовать, так как обладающий знанием находится по ту сторону добра и зла. Подобно тому, как его знание невольно управляет всеми его поступками, знание художника-йога произ-

вольно направляет его руку в самых причудливых рисунках. Ритмика восточно-азиатского рисунка проистекает не из рационального источника: так же как в музыке, здесь действует внутренний ритм души. Если сравнить этот рисунок со схематизмом Леонардо или Дюрера, мы тотчас же увидим, в чем состоит их различие; если последний возник путем концентрации разума, которая неизбежно ведет к открытию объективных правил, то восточная ритмика есть результат самопознания, это вылившаяся в форму чистая субъективность. Так Востоку удалось то, что никогда не удавалось Западу: зримое изображение божественного. Я не знаю ничего более возвышенного, чем изображение Будды; оно являет нам совершенное воплощение духовного образа визуальными средствами. И достигается это не благодаря выражению спокойствия, одухотворенности, погруженности в себя, которыми этот образ отмечен, а как бы само по себе, независимо от соответствия чему-то, существующему в природе.

Вероятно, если мы хотим по-европейски изложить главную мысль учения йоги, то в соответствии с духом нашего времени (ведь в каждый отдельный период одной и той же идее соответствует свое специфическое воплощение) для этого лучше всего подошла бы такая формулировка: предназначение человека состоит в том, чтобы выйти за пределы природной предопределенности, и только от него самого зависит, насколько он его выполнит. Из всех грехов самый страшный — это лень: человек никогда не должен ей поддаваться. Дело не в том, чтобы в соответствии с западным императивом любой ценой непременно трудиться (какой нелепостью показалось бы индийским риши наше обожествление труда!), а в том, чтобы неустанно стремиться выразить вечный дух, который нас одушевляет, потенцируя в себе все позитивное и преобразуя негативное в позитивное. А что касается остального, то каждый путь ведет к цели, и всякий может ее достигнуть. Как говорит Шри Кришна в Бхагават-Гите Арджуне: Как бы люди ни приходили ко мне, я одинаково их принимаю; ибо все пути, какими они могут идти, — мои. И это так. Одна изначальная сила пронизывает весь универсум, определяющая, одушевляющая все

последующие формы, манифестирующаяся во всем; так каждая форма становится не просто выражением, но возможным совершенным выражением божественного, и совершенство является целью. Каждая форма способна не вопреки, а в соответствии со своим своеобразием реализовать божество; осуществление этой возможности зависит от того, каким духом проникнута ее жизнь. Если она проникнута глубинным духом, духом предельной внутренней правдивости, тогда даже преступник придет к Богу, ибо перед Его лицом различие между состоянием добра и состоянием зла ничтожно. Преступник, совершающий злое дело в духе правдивости, рано или поздно приходит к пониманию своей ошибки, и в нем происходит превращение, как это случилось с разбойником, распятым рядом со Спасителем, и маркизом де Бренвилье на эшафоте, и превращение снимает прежнее состояние. Такое превращение всегда заключается в постижении истины. Все пути приводят к нему. Самыми короткими являются издавна рекомендуемые пути любви, бескорыстного труда, желания понять, но также и пути эгоизма и нежелания понимать, если человек выбрал их в духе правдивости, ибо рано или поздно идущие по ним обращаются на другой путь. И все они приводят к познанию. Спасение есть познание. Как только создание пришло к пониманию своей истинной сущности, оно становится средством выражения Бога, и все озаряется божественным светом. Тогда нет больше добра и зла, счастья и несчастья; никакие невзгоды не тяготят больше душу; тогда жизнь становится, подобно солнцу, неиссякаемым дающим источником. Добро и зло являются противоположностями лишь с точки зрения незнания. Правда, все факты действительности, на которых основано суждение о них как о противоположностях, существуют и будут существовать, покуда стоит мир, ибо иначе не происходили бы никакие события. Какое ослепление питать хотя бы надежду на то, что когда-нибудь это объективно будет иначе! Измениться может только уровень человеческого сознания. Когда человек наконец-то научится идентифицировать себя со своей истинной сущностью, тогда он увидит в превратностях жизни не большее зло, чем то, какое представляет собой сопротивление сосудов, благодаря которому возможно кровообращение в нашем теле.

С детства я во многих существенных отношениях наивно мыслил по-индийски; а когда мне попались в руки Упанишады, я очень обрадовался и сказал себе с гордостью: все, что знают они, знаешь и ты. Свое незнание обнаруживаешь только тогда, когда сам обретаешь знание. Поэтому лишь недавно, после того как я сам непосредственно смог ощутить дух Индостана и почувствовал на себе его живое воздействие, я смог в полной мере оценить всю неполноту своих представлений о том, о чем действительно идет речь у индусов. Я узнал в Упанишадах себя лишь потому, что вкладывал в них свои мысли. Конечно, глубинный дух по существу всюду един; поэтому все глубоко мыслящие люди в основном мыслят сходно; поэтому Яджнявалкья, Лао-Цзы и Экхарт, наверняка, поняли сразу друг друга, встретясь в Элизиуме. Однако одинаковость в существенном не исключает различий на уровне явлений; то, что я сейчас написал, представляло собой перевод с оригинала; как явление индийская мудрость так же специфична, как и всякая индивидуальная форма жизни. Иначе она никогда не породила бы ничего живого; живое порождается только индивидами, а не всеобщностями. Недавно я узнал, что семейный гуру дает каждому индийскому ребенку при посвящении особое имя, под которым он будет обращаться к Богу во время молитвы. Это имя — его сугубая собственность; он ни с кем им не делится, никто не должен спрашивать у него это имя; предполагается, что он — единственный человек на свете, которому известно это имя, и через него он вступает в единственную и неповторимую связь с Богом. Это может служить еще одной иллюстрацией той же истины. Только единственное в своем роде, индивидуальное, личное, исключительное может быть живым сосудом универсальности. Таким образом, индийская мудрость, несмотря на ее универсальность, это монада, в которую не может проникнуть никто, кто ею не владеет.

Мне кажется, что теперь она мной владеет. Все больше и больше я воспринимаю пережитый опыт по-индийски, мир и жизнь открываются мне в свете духовного солнца Индостана. Последние оставшиеся мне в Бенаресе дни я хочу посвятить тому, чтобы уяснить себе особенность индийской мудрости. Но сегодня начинать это поздно. Весь город уже уснул. А завтра я с рассвета уже

в который раз снова буду на берегу Ганга, чтобы встретить там благодатные солнечные лучи.

Ни одно мировоззрение на свете не отстаивает положение о том, что в области жизни факты создаются смыслом, с таким радикализмом, как это делает индийское. Не имеет никакого значения, что именно делает человек; важно только, в каком духе это делается. Так обстоит дело. Можно проследить вытекающую отсюда логическую цепочку вплоть до самых далеких последствий: повсюду мы обнаружим подтверждение исходного принципа. Как многих европейцев поражал тезис Бхагават-Гиты о том, что от познавшего свою самость отпадают все поступки, так что для него уже не существует добра и зла! И тем не менее это высказывание говорит истину, что со всей очевидностью явствует из более современной редакции этой же мысли; тот, кто всегда действует в соответствии со своей сущностью, неизбежно поступает правильно, какое бы впечатление его действия ни производили на окружающих. Ведь, казалось бы, действия богочеловека всегда и всем должны видаться добрыми, однако это не так и не может быть так. Это могло бы так быть, если бы все люди были такими же глубоко духовными, как он; но поскольку эта предпосылка отсутствует, то его поступки часто кажутся людям достойными порицаниями, что подтверждается обычным фактом преследований, которым так часто подвергались духовные вожди. Возьмем самое банальное различие — различие между эгоизмом и альтруизмом. Как правило, способность считаться с чувствами и желаниями других людей оценивается как нечто положительное; кто этого не делает, заслуживает порицания. Но истинно глубокий человек никак не может быть альтруистом в таком смысле, так как чужие, как и свои собственные, склонности он не может признать достаточным мотивом; он ведет себя в отношении других людей так, как требуется для того, чтобы способствовать их развитию; а это, к сожалению, зачастую оказывается для них неприятно; он чаще делает их несчастными, чем счастливыми, чаще попирает, а не исполняет их желания. Раз он уже не ведает эгоизма, то и альтруизм ему неизбежно неведом. Другим примером, хорошо иллюстрирующим истинность индийского учения, может служить государст-

венный деятель. О таком человеке, как правило, по крайней мере после его смерти, говорят, что он стоял по ту сторону добра и зла. А почему? А потому что, как все смутно догадываются, значение даже самых его кровавых дел ими не покрывается. Человек, который среди водоворота событий, пользуясь мирскими средствами, преследует свой идеал, не может пройти по жизни, оставшись таким же чистым, как анахорет; он будет вынужден в зависимости от эпохи, в которой живет, в большей или меньшей степени причинять людям зло по той причине, что ему, как бы там ни было, приходится иметь дело со злыми силами, которые его окружают в действительности. Однако зло, которое он творит, не имеет отношения к его глубинной сущности; оно затрагивает его только в смысле первородного греха, расовой кармы (поскольку ведь каждому приходится отвечать за пороки своего времени и каждый несет часть общей вины); запятнав себя кровью, он тем не менее остается чист в своей сущности. Сущностный характер человека зависит от духа, в котором он проживает жизнь. Если у кого-то еще остаются в этом сомнения, то пусть он вспомнит, что и у преступника, и у святого мы видим то же самое соотношение факта и значения, что и у того, кто убивает по обязанности. Никто не станет осуждать судью за то, что он выносит смертный приговор, или военного, сколько бы врагов тот ни застрелил в бою. Наличие обязанности меняет все дело. То же самое относится и к духу, из которого вытекает поступок: в конечном счете дух имеет решающее значение, а не факт. Индийцы поняли это с непревзойденной ясностью.

Они сделали это знание настолько определяющим в своей жизни, что факты для них вообще не существуют, а существуют только символы. Значение становится настолько первичным по отношению к факту, что факт как бы вообще лишается всякого содержания. Однако у фактической стороны содержание есть, и оно оставляется без внимания. Поэтому неудивительно, что факты за себя мстят. Непризнание фактических причин и следствий (которое в наше время сознательно и систематически проводится учением *Christian Science*¹) было бы приемле-

¹ Христианская Наука (англ.).

мо, если бы душа действительно обладала силой преобразовывать все иные реальности. Но этой силой она не владеет; она может воздействовать на них, только признавая их существование. Мы подчинили себе природу, потому что научились не игнорировать, а использовать ее законы. Индийцы же их совершенно игнорируют. Они живут в мире чисто психических связей, которые как таковые действительно достаточны и почти всегда глубокомысленно сконструированы, так что, подумав, ты всегда признаешь их внутреннюю истинность. Но эти психические связи не так сильны и прочны, как объективные связи, существующие в природе; когда между ними возникает разлад, то верх одерживают природные. Таким образом, в жизни индусов ты постоянно сталкиваешься с одним странным противоречием: вещи, в высшей степени разумные и обладающие внутренней истинностью, на практике, однако, оборачиваются суеверием; что-то, глубоко обоснованное с точки зрения психики, фактически оказывается произвольно сопряженным. В результате заблуждается тот, кто полагает, будто бы можно делать заключение о смысле, исходя из понимания фактов, которые сами по себе недостаточны; но, с другой стороны, и смысл мало что дает для практической жизни. Жизнь индийцев никогда не имела образцового значения. Водители народа не понимали, что смысл только тогда может полностью выразиться в явлении, когда он полностью учитывает его законы. Поэтому метафизическое знание слишком часто выливается у индийцев в форму неудовлетворительных теорий, истинная религиозность — в форму суеверия, а глубочайшая нравственность — в форму сомнительного поведения.

Я уже неоднократно упоминал о католическом характере индийской религиозности. Встречались среди индийцев, правда, и протестанты. Так, например, Девиндранат Тагор, *Махарши (der Maharshi)*¹, отличался ярко выраженными пуританскими взглядами; если не знать, что его автобиография написана индусом, то можно подумать, что ее написал какой-нибудь странствующий проповедник из Новой Англии. Однако общий дух ин-

¹ Махарши (санскр.) — Великий мудрец.

дийской религиозности носит строго католический характер; все лучшее и самое глубокое носит его отпечаток; и в первую очередь это относится к учению о пути, ведущем к познанию.

На всякий случай я еще раз вкратце напомню, что я понимаю под «католическим» в отличие от «протестантского». Католицизм учит, что признание объективного порядка и покорное следование авторитетным предписаниям указывают путь к спасению; протестантизм же, напротив, что каждая душа должна стремиться к Богу своим личным путем. Последнее, разумеется, не соответствует учению Лютера или Кальвина, но это соответствует взглядам сегодняшних протестантов, точно также и в отношении католицизма моя дефиниция учитывает его живую сторону. Индиец, какова бы ни была его особая вера, в вопросе о пути к спасению придерживается того же взгляда, что католик. Он отвергает поиски собственных путей; в том, что касается духовного пути, он полагается на авторитет. Ни один из великих индийцев, за исключением протестантов Будды, Махавиры и др., никогда не сомневался в том, что Веды представляют собой откровение, и все они осуждали сомнения как нечто вредное и пагубное. Это значит, что даже те из индусов, что достигли высших ступеней познания, были глубоко проникнуты убеждением, что средством познания является вера. Тот, кто сомневается, не может достигнуть знания; а так как вера возможна лишь в твердо установленные догмы и нормы, все они постулировали неизменность этих догм и норм. Далее, все они требовали от ученика послушания своему гуру, т. е. духовному руководителю (и на деле все они, включая самых просветленных, были послушны своим учителям до самой смерти); это делалось по той причине, что поучение из уст учителя, к которому ты относишься с абсолютным доверием, воздействует на подсознание сильнее, чем то же самое поучение, внушаемое себе самому.

Это полностью соответствует католическому мышлению. Все доктора теологии нашего средневековья проповедовали то же самое, отчасти это можно сказать и о Мартине Лютере. Хотя индийцы все же лучше понимали смысл тех же самых требований, и потому индуизм никогда не поработал души, в отличие от католичества,

которое делало это слишком часто. Правда, не следует переоценивать степень этого порабощения; по идее, католицизм предоставляет мыслящему человеку не меньшую свободу, чем ортодоксальный протестантизм; хотя на практике это по большей части оказывается не так. По идее, христианин католического толка волен задавать вопросы и размышлять во всех областях, входящих в компетенцию разума и рассудка, а большего нельзя и требовать, ибо вне этих областей разум не может вести к познанию. Пускай эту идею лишь редко правильно понимали, тем не менее она присутствует и рано или поздно, очевидно, возобладает во всей своей чистоте, когда церковь поймет, что иначе она никак не сможет уже существовать. Однако внешний аппарат католической церкви — ее ритуалы и церемонии — составляют ее абсолютное преимущество, и протестантизм, причем как раз в самых крайних и антидогматических его ответвлениях, начинает это все больше осознавать. Но вернемся снова к индуизму! Здесь формы проявления веры, соблюдаемые с не меньшей строгостью, чем у христианских католиков, считаются не субстанциями, а формами выражения божественного и одновременно средствами его реального воплощения. Соответственно, к ним, с одной стороны, относятся не так серьезно, как у нас, поскольку они не воспринимаются как метафизическая реальность, с другой же стороны, отношение к ним здесь в каком-то смысле даже более серьезно, так как ни один индус не сомневается в их целесообразности. По той же самой причине и отношение к самой вере здесь тоже серьезнее, чем где бы то ни было в Европе; потому что они понимают, что значит вера: это наилучшее средство для осознания своего бытия. Поэтому, хотя среди полубразованных людей нередко можно встретить вольнодумцев, среди высокообразованных индусов их не встретишь, и даже люди очень острого ума решительно отвергают самую возможность сомнения в основополагающих истинах религии, кроме разве что тех случаев, когда не верят по той причине, что пришли к знанию на собственном опыте. Индусы настолько развиты в духовном отношении, что четко отличают веру от признания чего-то за достоверное, настолько, что могут верить во что-то, не требуя, чтобы это было чем-то объективно су-

ществующим. Вера для них средство, главное и самое важное средство; поэтому глупец тот, кто не верит. В остальном же он может думать, что угодно. Мередит Таунсенд рассказывает об одном индийском астрономе, который, будучи настоящим ученым, мог предсказать любое солнечное затмение с точностью до секунды; однако каждый раз, как наступало затмение, он брался за барабан, чтобы прогнать демона, который хочет проглотить солнце, а на удивленный вопрос Таунсенда он ответил, что вера и знание — это две разные вещи. Он не отказывался от мифических представлений, хотя хорошо понимал их ошибочность, так как по опыту знал, что благодаря ассоциациям, связанным с детством, они помогают ему осознать божественное.

Для индусов важно только осознание; все прочее является лишь средством для достижения этой цели. Поскольку они так акцентируют осознание, у них почти совсем отсутствуют две тенденции, всегда игравшие на Западе выдающуюся роль: стремление к точности формулировок (правильность определений) и стремление к новациям; одно это уже придает индийской метафизике ярко выраженный индивидуальный характер. Действительно, какое значение имеет правильность или неправильность формулировки с точки зрения науки, если все дело только в переживании, а формулировка нужна лишь для того чтобы вызвать его и выразить словами? И потом: зачем изобретать новые формы, если старые выполняют все задачи, для которых, возможно, пригодились бы новые? Поэтому мы видим метафизику, недостижимую по своей глубине, истинность которой находит все больше подтверждений в нашей точной науке, метафизику, облаченную в форму традиционных теорий, которые нередко ведут свое происхождение от примитивнейших стадий мышления. Индийцы просто знают, что они думают; а их методика обучения служит залогом того, что смысл, заложенный в нее старинными гуру и чела, сохраняет свое живое содержание; поэтому находить новые формы выражения они считают излишним. Поэтому они в своей божественной толерантности в практическом отношении ничем не отличаются от узколобых христиан и порой даже еще враждебнее христиан относятся ко всяким новациям, поскольку вообще не призна-

ют самоценного значения представлений. Настоящая наука отмечает такой подход в самом зародыше, и с наукой в Индии издревле дела обстояли плачевно; зато он способствует духовному развитию.

Лежащая в основе индийского мировоззрения католическая тенденция обуславливает ту его особенность, которая, может быть, больше всего поражает человека Запада: это полное отрицание всякой возможности самостоятельно открыть какую-либо истину; истина постигается путем откровения, ее может открыть учитель, который тоже, в свою очередь, ее откуда-то получил. Не нужно думать, что это какая-то брахманская уловка вроде тех предписаний, которые служат для преумножения престижа индийских гуру: она представляет собой одно из основополагающих воззрений индийцев и имеет под собой хорошее психологическое основание. Там, где труд, направленный на достижение познания, заключается не в мыслительной работе, а в погружении в заданное изречение, там действительно возможно озарение, которое вдруг «пришло», его не добиваются своими усилиями; воспользовавшись христианской фразеологией, можно сказать, что оно дается не по заслугам, а по благодати. Но индийцы предполагают существование некоей иерархии существ; они привыкли никогда не заниматься йогой без руководства учителя, не имеют понятия «безусловного исследования»; поэтому для них естественно видеть во всяком познании откровение, пришедшее из высших сфер, причем, как правило, они считают его источником некие конкретные существа. Это тоже совершенно совпадает с католической идеей авторитета. Только здесь эта идея носила универсальный характер, так что она никогда не превращалась в неотразимое оружие жречества и, что еще важнее, никогда не приводила к победе какой-то определенной конфессии. Всякое познание есть откровение; отсюда следует, что ни один человек и ни одна институция не могут делать на откровении капитал. Это воззрение в значительной мере стало причиной неоригинальности индийских мыслителей; их ничто не побуждает стремиться к оригинальности, ибо среди их понятий отсутствует представление об оригинальности в нашем смысле; в этом коренится унылая скучность их схоластики; в этом коренится гипертрофи-

рованная вера в авторитеты, царящая в Индостане; такой гипертрофированности, очевидно, не встретишь больше нигде в мире; поскольку всякое познание *par définition*¹ «достается даром», то немыслима никакая другая инстанция, стоящая над авторитетом. Но, с другой стороны, на этом понимании основывается необычайно существенный характер индийского понятия истины, которое само по себе является наилучшим ключом к познанию. Действительно, оригинальность не имеет в связи с вопросами знания никакого значения; оригинальность и познание истины не находятся в необходимой связи друг с другом. Истина просто есть, она существует для каждого как солнце, которое всем светит; если у зрячего есть преимущество перед незрячим, то оно в этом неповинно, не будь его, оно бы тоже светило. Приписывать познание на западный лад гениальному уму и тем самым его обожествлять, это в принципе так же смешно, как видеть сверхчеловека в ком-то, кто нажимает кнопку, после чего зажигается электрическая лампочка. Познание — это восприятие, открытие, использование имеющихся возможностей; гениальность — это хороший инструмент, данный тебе природой; так при чем тут абсолютная оригинальность познающего? Индийцы действительно правы, утверждая в своем учении, что открыть истину на самом деле нельзя. И это их понимание является одной из главных причин их необычайных достижений в области метафизики. Непосредственно на этом воззрении основана также несравненная индийская духовность. Там, где принято за аксиому, что самостоятельно невозможно достигнуть познания, у человека, стремящегося к знанию, не зарождается чувства высокомерия, не возникает зазнайства и тщеславных предрассудков; он предается ему со смирением. Таким образом, духовные истины, воплощенные в священных книгах, встречают в его душе лишь минимальное сопротивление и легко им завладевают. По той же причине и католическое христианство в тех случаях, где можно говорить о неподдельной религиозности, намного превосходит протестантское в отношении духовности. И если оно все же намного уступает религиозности индийской, то это вполне объяснимо,

¹ По определению (фр.).

учитывая, что священные книги индийцев являются самыми священными на свете по причине глубины отраженного в них познания, а благодаря психологической культуре индийского народа они менее всех прочих пострадали в своем спасительном содержании от искажений, неверных толкований и неправильного использования.

Индийские риши издревле стремились только к духовной реализации; они продвинулись в этом дальше кого-либо другого на свете. Многие из них действительно достигли такого уровня сознания, который можно назвать сверхчеловеческим — уровня, на котором ничем не смущаемый дух живет в сфере чистого разума, воспринимает все и все понимает с точки зрения чистого смысла. Но именно этим объясняется, почему они высказывались с таким странным безразличием и никогда не дарили миру идей, которые по жизненной силе могли бы сравниться с идеями таких философов, как Платон или Гегель. Тому, кто стоит на той ступени сознания, на которую поднялись величайшие индийские мудрецы, смысл вещей понятен так непосредственно, как среднему человеку — окружающий его физический мир; ему не нужна оригинальность, для того чтобы его осознать. Но именно поэтому он уже не способен на духовное творчество. Всякое творчество рождается из глубин бессознательного; нельзя родить то, что уже есть перед тобой. Это можно разве что лишь копировать. В качестве писателей и мыслителей индийские риши выступали всего лишь как копировальщики; этим объясняется тривиальность их стиля и недостаток витальности в идеях. Наши великие мыслители никогда не достигали того уровня сознания, с которого можно обозревать истину как раскинувшийся перед глазами ландшафт: поэтому они могли ее рождать. Так их открытия превращались в творческие идеи и оказывали такое воздействие, какого никогда не могли оказывать индийские.

Индийские мудрецы стремились только к осознанию: поэтому они не могли ценить оригинальность. То, отражение чего в человеческом сознании называют истиной, и без того уже, мол, существует; ни о каком придумывании не может быть речи. Открытие же чего-то не состав-

ляет чьей-либо личной заслуги, поскольку человек может открывать только то, что явлено ему в откровении природой или высшими силами: «только теми, кого он избирает, он может быть понят» (Рейсбрук (Ruysbroek)). Что же касается воплощения истины, то ему подлежит лишь та, что установилась; те же, что находятся в процессе изменения, для этого не годятся; вдобавок для того, чтобы настроиться на новое, требуется большая затрата энергии, которой всегда найдется лучшее применение. В том, что касается представлений, то как люди веры, так и люди действия просто физиологически неизбежно настроены против оригинальности. Творчество тех и других протекает в другом измерении, нежели творчество духовных творцов. Первые претворяют идеи во внутреннюю действительность, вторые — во внешнюю; как таковые идеи для них ничего не значат; а служат лишь планами, схемами, отправными точками и обладают ценностью лишь постольку, поскольку реализуются в действительность. Таким натурам теоретизирование представляется досужим занятием. Не только Наполеон, но и Бисмарк от души ненавидели идеологов, и оба твердо верили в провидение. Эта вера была для них физиологической потребностью: без надежного тыла они не могли бы спокойно идти вперед. То же самое, что сказано здесь о людях действия, относится и к людям веры. Быть религиозным означает стремиться к реализации, к претворению в жизнь духовных ценностей. Для того чтобы беспрепятственно посвятить себя этой задаче, сами ценности должны быть несомненными. Следовательно, религиозный человек должен верить в догмы, неколебимо придерживаться определенных представлений; фанатичность или толерантность такого человека зависят от уровня его духовной культуры, от широты его духовных горизонтов. Ортодоксальный христианин, который мнит, что догма сама по себе является воплощением спасения, во что бы то ни стало желает обратить всех инаковерующих в свою веру и смотрит на них сверху вниз. Я не встречал еще ни одного индуся, который бы не был твердо убежден в какой-либо догме, но, с другой стороны, я не встречал еще ни одного, который пытался бы кого-нибудь обратить в свою веру или презирал других за их суеверия. Индусы достаточно культурны для того чтобы

знать, что главное не в догме как таковой, а в том влиянии, которое она оказывает на жизнь.

Но неприятие оригинальности имеет у индусов еще и другую, более глубокую причину, чем те, что мы уже рассмотрели. Из глубины достигнутого ими уровня сознания, позволяющего им непосредственно созерцать истину, индийские риши думали: для чего придумывать и добавлять к существующим явлениям еще одно новое, когда их и без того в жизни такое множество? Что такое творческие идеи, как не цветочки, выросшие на лужайке? Какая разница от того, насколько расцветет какая-либо из них? Так они думали не в силу скептицизма, а в силу своего всезнания. Не раз уже отмечалось, что скептицизм и глубочайшие метафизические истины совпадают на поверхности; так оно и есть. Как скептики, так и мистики видят относительность формы, а следовательно, их оценка совпадает, но только мистики, в отличие от скептиков, знают, что действительность не исчерпывается относительностью. Они признают сущность, которая выражается посредством явления. В какой-то степени это относится к каждому человеку действия, каждому творцу, вообще к каждому, кто смотрит на что-то очень серьезно; и человечество, подчиняясь безошибочному инстинкту, издревле ставило такого человека выше любого скептика. Однако к этим людям это относится только в незначительной степени; отсюда ограниченность всех людей действия, их односторонность, их неполнота и предрассудки, против которых скептическому наблюдателю так легко выдвигать возражения. В большей степени это относится к мудрецам: мудрец принимает все явления не одинаково пренебрежительно, а одинаково серьезно. Таким образом, он, подобно Богу, выходит за рамки всякой узости.

Но может ли такое познание плодотворно претворяться в жизнь? У Бога — может. Ему известна относительность всякого явления, и все же он в каждом во всей полноте проживает всю его односторонность; он знает неполноту каждого частного проявления, но и это никогда не ослабляет его энергию. Ибо он творит в плане общего целого. В области понимания человек, очевидно, может достигать божественной универсальности, но как деятель он строго ограничен; как живой человек он никогда не

выходит за рамки одностороннего частного бытия. Поэтому чересчур глубокое понимание парализует его силу. Это не является чем-то неизбежным, однако так происходит в большинстве случаев; так случилось с индийцами. Против истинности их понимания ничего нельзя возразить. Несомненно, что идеи Александра для космоса всего лишь цветочки; то и другое — это явления природы, каждое в своем роде. Порождение идей в принципе ничем не отличается от того, что происходит, когда телится корова; развитие познания и его проникновение в жизнь — это всего лишь один из многих процессов природы. Борьба художников за признание, борьба государства за власть, борьба человечества за идеалы суть в числе прочего формы всеобщей борьбы за существование, а прогресс есть биологический процесс, имеющий параллели во всех других областях. Любое честолюбие по сути дела не более, чем анимальное стремление к росту, любой идеализм это не более, чем одна из экспонент всеобщего стремления всякой жизни к набирающему силу развитию, а что при этом происходит — возникает ли художественный шедевр, новое знание или подвиг в плане общего целого — не имеет особого значения. Тем более, что смысл всюду один, а умножение или улучшение форм его выражения с этой точки зрения ничего к нему не прибавляет. Даже идеи Александра в глазах Бога значат не больше какого-нибудь цветочка. Но какой прок был бы Александру так думать? Только, если бы он был так велик, что и тогда исполнил бы свою судьбу Александра; но вряд ли в таких условиях он смог бы это сделать.

Индийцы знали, что никакое познание не должно препятствовать действиям в согласии с законами кармы; эта мысль даже стала основной идеей Бхагават-Гиты. В ней Шри Кришна наставляет Арджуну, что он должен бороться, несмотря на все, что он узнал и что постиг, так как он рожден для борьбы. Та же основная идея пронизывает учение о непривязанности; убей в себе честолюбие, но действуй так, как будто тебя воодушевляет огромное честолюбие; задуши в себе весь эгоизм, но проживи свою жизнь, действуя со всей энергией заядлого эгоиста; люби одинаково все живые создания, но никогда не забывай за этим делать то, что надлежит именно сейчас. Индийцы действительно знали все. Но знать и

жить — две разные вещи, и нигде это не проявляется так отчетливо, как у них. Мы не найдем среди индийцев ни одного примера, когда бы кто-то из них в человеческой жизни осуществил эту мудрость по большому счету; а среди тех, кто осуществлял ее в малом, вероятно, найдется гораздо меньше индусов, чем турок и китайцев. В этом состоит проклятие, которое несет в себе примат психического начала, как нигде более ярко выраженный в индийском сознании. Индийцы издревле, говоря о существовании, делали акцент на психическом переживании, т. е. на реализации жизни в сфере психического. Благодаря этому они необычайно продвинулись в деле познания и созерцания Божественного начала; но именно благодаря этому они никогда не становились в жизни хотя бы отчасти тем, что постулируется их теорией. И это только естественно. Когда дух концентрируется на мире представлений, то его открытия возникают как самостоятельные сущности, не связанные с жизнью личности; в жизни личности от этого ничего не меняется. Для появления великого человека требуется другая установка. Так индийцы дают нам пример, который с идеальной отчетливостью иллюстрирует как преимущества, так и недостатки существования, направленного на чистое познание. Такое существование лучше всякого другого приводит к познанию; более того — святых и мудрецов оно приводит к такому совершенству, какое, очевидно, недостижимо при каких-либо других предпосылках; но для жизни всех прочих людей оно дает мало хорошего. В последнее время владеющие английским индусы, раздраженные неодобрительными суждениями европейцев, все чаще указывают на то, что положения индийского учения вполне могут соответствовать требованиям практической жизни и отнюдь не проповедуют квиетизма. Это определенно не так. Его положения как никакие другие отличаются предельной истинностью и глубиной, всеобщим и исчерпывающим характером. Но они никогда не имели влияния на индийскую жизнь. Для среднего человека не полезно так много знать; услышь Александр однажды, что в глазах Бога он всего лишь цветочек, он сам откажется от того, чтобы быть Александром. Он решит для себя, что ни одно определенное бытие не имеет смысла, и будет делать только то, что необходимо, более

или менее выполняя требуемое от него рождением и положением. Он преждевременно откажется от всякого честолюбия. Правда, священные книги учат, что к высшей жизни готов только тот, кто стоит выше всех; остальным нужно бороться, жить деятельной жизнью, быть честолюбивыми, ибо только это поможет им внутренне подняться выше. Но кто из не самых образованных удовольствуется скромной долей, согласившись, что не рожден для самых великих целей? Когда какое-то состояние объявлено наивысшим, всякий будет стараться на свой лад представиться именно тем, кому следует в нем оказаться. На Востоке честолюбие, как правило, считается недостойной чертой: и в этом его беда. Разумеется, это свидетельствует о большом величии, когда могущественный человек лишен честолюбия, однако маленький человек без честолюбия ничего не достигнет. Индусы, подобно Христу, считают кротость высшей добродетелью: и в этом беда. Только человек, обладающий страстями Петра Великого, имеет право на то, чтобы исповедовать идеал кротости: слабых же (а индусы принадлежат к слабым) этот идеал делает еще слабее. Всепонимание считается высшим достоинством; когда этот идеал провозглашают непонимающие, он как ни один другой мешает их развитию, так как делает их вялыми скептиками. Так именно необычайная глубина познания обернулась для индийцев как для народа пагубным качеством. Она сделала их вялыми и слабыми. И это имеет чрезвычайно важное значение, так как представляет собой еще один урок, преподанный Индией всему человечеству. Он показывает, как это невыгодно, если все философы стремятся к совершенству. Этот путь годится лишь для очень немногих, принадлежащих к этому сущностному типу; всех остальных он ведет к гибели. Таким образом, индийская теория, согласно которой риши, йог, и даже саньяди является высшим типом человека, значит совсем не то, что может показаться на первый взгляд. Она означает не то, что эти типы являются высшими из всех возможных, не то, что в этих рамках все люди могут достигнуть наивысшего самоосуществления; они означают, что в индийских условиях стать совершенными могут только прирожденные философы и святые. В то время как все прочие люди могут только хиреть.

Вот в чем заключается истинная причина того, почему мировоззрение индийцев не без основания считается квиетистским: дело не в том, что само учение как такое перед деланием отдает предпочтение неделанию, апатию предпочитает энергии, а в том, как оно повлияло и как направило всю жизнь. Не одни только теософы извлекли некоторые практические выводы из теоретических положений древнего учения, которое в общем и целом имеет право претендовать на общезначимость, то же самое сделали и сами индийцы. В деле познания индусы как ни один другой народ сумели высоко подняться над случайными явлениями эмпирического плана; но практическая жизнь оказалась неспособна последовать за духом в его высоком полете; своей выраженной спецификой она разоблачила его как выражение той гордыни, которую боги никогда не оставляют безнаказанной.

Нечто всеобщее не может обрести силу в реальной жизни, на это способно только нечто определенное; для мировоззрения это означает определенность взглядов и их истолкования, определенное практическое применение. Так, даже самые универсальные познания, к которым пришли риши, изначально понимались специфически. Атман, как учат Веды, находится по ту сторону явлений, покоясь в себе, он — не имя, не образ, не страдатель и не деятель. Высшая цель существования — слиться с ним, т. е. настолько углубиться в себя, чтобы сознание укоренилось в жизненном начале. Из этого учения можно вывести ряд практических выводов. Высшей целью индусы считали уйти от жизни в божество, тем самым эскамотировав творение. *Plus royalistes que le roi*, перемудрив самого Брахмана, который почел за благо претвориться в мироздание, они все свои усилия направили на то, чтобы выйти за грань становления. Поэтому отрেকшихся от мира они должны были рассматривать как абсолютно высший человеческий тип и не могли признавать за ценность формирование земной жизни. Я мог бы с тем же логическим основанием сделать из этого же учения совершенно противоположные практическим выводы. Мы должны познавать атман в себе и реализовывать его в этом мире; мы должны помогать Брахману, частичным выражением которого мы являемся, достигнуть совершенства в явлении. В таком понима-

нии ведическое учение ведет не к утрате, а к чрезвычайному повышению продуктивности. Разум постигает, что наши поступки не находятся в необходимой связи с нашей самостью: нужно добиваться того, чтобы все они отражали атмана! Сознание, которое соответствует синтезу рассудка, как таковое не представляет собой самого глубинного Я: следует развить его так, чтобы оно стало выражением этого Я. И так далее. Перед тем, кто достиг бы этого, кто полностью осуществил бы воплощение своей божественной сущности в условиях земного существования, уже не вставал бы вопрос о различии между абсолютным и относительным, ему не нужно было бы давать на него ответ, выбирая между «да» или «нет», поскольку он жил бы в явлении как сущность. А если индийцы не выбрали это решение, несмотря на то что у них не раз высказывалась мысль о том, что оно представляет собой наилучший выбор, и несмотря на то, что все, очевидно, говорит в его пользу, объясняется эмпирическими обстоятельствами, главным из которых, вероятно, является влияние тропической природы. Тропики постепенно все больше превращали арийских пришельцев из энергичных существ в пассивные, все больше и больше придавая их жизни растительный характер, получивший затем свое законченное выражение в буддизме. Преодоление буддизма, к которому они пришли, вероятно, из бессознательного ощущения того, что он ведет к дегенерации, их уже не спасло; заложенная в нем тенденция уже вошла в их плоть и кровь.

Спрашивается: смогли ли бы индийцы как созерцатели и познаватели божественного достигнуть такой необычайной ступени при других человеческих качествах? Смогли ли бы они так ясно понять необходимое, если бы обладали способностью претворить его в жизнь? Вероятно, нет. Для великого моралиста типично быть аморальным, так как свобода от предрассудков влечет за собой отсутствие внутренних преград; для того, кто велик в понимании, типична бесхарактерность, так как ни одну форму он не может признать абсолютно лучшей; напротив, для великих деятелей, как правило, типична ограниченность. Исключения здесь лишь подтверждают правило, если только тот, о ком идет речь, не принадлежит к иной, высшей ступени существования, на которой уже

не действует человеческий закон компенсации. Индийцы, конечно, догадываются об односторонности своей натуры, и подтверждением этого может служить их наклонность к католицизму и неприятие всякого протестантизма: они чувствуют, что при своей слишком большой внутренней свободе нуждаются в твердых внешних нормах, чтобы сохранить свою целостность. Подтверждается это и тем, что они в необычайной степени настаивают на том, что для всех способных к познанию главной целью в жизни должно быть приобретение совершенного знания (а не благородного характера, возвышенных убеждений и т. п.): человек, являясь по своей сути познающим, может принимать решения только исходя из разумного понимания. Однако, независимо от того, знали они это или нет, факт имеется налицо. Для достижения высшего совершенства в сферах познания и религиозного самоосуществления требуется такая природная основа, которая, если не исключает, то крайне затрудняет совершенствование в другом направлении. Народ это понимает, поскольку он удивляется, если «умный» оказывается в то же время «добрым»; известно это и науке, которая отмечает, что повышенная религиозность очень часто бывает связана с такими прирожденными свойствами, которые она относит к разряду «патологических»; а в том, что касается художников, это считается общеизвестным фактом. Художники чрезвычайно редко бывают полноценными личностями в человеческом плане. Если обратиться к аналогии из области биологии, хотя, возможно, тут речь идет о чем-то большем, чем аналогия, то создается впечатление, что в познающем человеке, в поэте вступают в действие какие-то «гены», которые препятствуют проявлению качеств, необходимых для человека действия, для крупного характера, для этика. У первого главная жизнь протекает в сфере психического; перенос ее и воздействие на то, что у других считается «настоящей» жизнью, для их сущности почти не имеет значения. Чтобы достигать совершенства в познании, нужно не только жить ради познания, а нужно как бы самому быть познанием; нужно себя целиком вкладывать в познание, подобно тому как женщины целиком вкладывают себя в любовь. Поступая так, человек уже не может использовать свою первичную энергию

для применения своего знания к жизни, потому что она уже обращена на другое дело.

Таким образом, было бы в конечном счете ошибкой упрекать индусов за то, что они не проявили себя в мире практической, деятельной жизни так же ярко, как в мире познания и религиозного чувства. Их слабости это цена, заплаченная за их достоинства. Конечно, не все индусы познаватели, и, соответственно, их непознаватели намного уступают в достоинствах европейским. Но с этой точки зрения все европейские лентяи несравненно хуже индийских. Каждая культурная система ориентируется на среднего представителя того народа, который ее создал, и воспитание в духе и в рамках этой культуры идет не на пользу тем, кто отличается от принятой нормы. Тут может, пожалуй, возникнуть вопрос, обладает ли какое-то направление в формировании человека абсолютным преимуществом по сравнению с каким-нибудь другим? Например, христианско-европейское по сравнению с индийским? Многие считают, что да; я же в этом вопросе не могу сделать выбор. Если судить по совершенству в массовом масштабе, то, возможно, мы выбрали тут лучшую долю. Но имеет ли количество решающее значение там, где вопрос идет о качественной стороне? Я ограничусь констатацией того факта, что не Европа, а Индия создала самую глубокую на сегодняшний день метафизику и самую совершенную из доселе существовавших религиозных систем.

Поелику для индийцев первостепенное значение имеет психическая сторона, то поскольку у них ее реализация в представлении биологически эквивалентна практической реализации у нас, ясно, что те, для кого важно познание, понимание, созерцатели и экстатики должны почитаться у них высшими типами. В их условиях они таковыми и являются. И нет ничего странного в том, что они только удивляются, когда европеец спрашивает их, нельзя ли представить себе более высокие формы существования.

Так значит, индийские риши, эти тихие мудрецы из Гималаев, может быть, и не представляют собой высший тип человека вообще? Можно ли представить себе что-либо выше? — На оба вопроса следует ответить «нет»; в

первом случае решительным «нет», во втором потому, что в этом вопросе заключено недоразумение.

Высший в познании не может одновременно быть высшим человеком вообще, это совершенно недвусмысленно явствует из предыдущего рассуждения. Достижение наивысшей степени познания предполагает наличие определенной естественной основы, которая, будучи как таковая ограниченной, исключает множество ценных возможностей. Вопрос же о том, можно ли представить себе тип выше этого, заключает в себе недоразумение, поскольку он предполагает, что возможен тип высший в абсолютном смысле. Но такого не существует и не может существовать, потому что каждый определенный тип связан с границами, которые снижают его достоинства с точки зрения универсальности. Ограниченность никогда не бывает достоинством; нехорошо, когда подавляются какие бы то ни было возможности; абсолютно высшим человеком был бы тот, который в совершенстве воплотил бы в себе все человеческие потенции; но это неосуществимо, потому что каждая воплощенная возможность уничтожает или исключает множество других. Все подлежащие конкретизации идеалы существуют в связи с определенной естественной основой; так, можно представить себе совершенных англичан или французов, совершенных мудрецов, святых, королей, художников, только не совершенного человека вообще. «Совершенный человек», мыслимый в качестве типа, представляет собой несообразное понятие. Не сумев вовремя это понять, человечество нанесло себе невообразимый вред. Как дорого обошлись нам последователи Христа! Ведь и он тоже представляет лишь один определенный тип (хотя и менявшийся в зависимости от того, как представляли себя Иисуса), а его гипостазирование в общезначимый идеал человека миллионы раз становилось препятствием на пути развития превосходных задатков. Отсюда столь низкая во многих отношениях культура христианского человечества по сравнению с античной. Отсюда и некоторые возникшие в результате вытеснения нечистоплотные черты, которые до сих пор так невыгодно отличают христиан от всех инаковерующих. В теории индийское мировоззрение, правда, предлагает меры для предотвращения этой опасности; но, как уже сказано, это в

теории. На практике же идеализация человека, стремящегося к познанию за счет отказа от всего мирского, сковывает энергию людей действия, отвергая какое бы то ни было влияние на формирование внешней жизни, понижает весь тонус существования. Тем не менее теория эта удивительна. С одной стороны, она учит, что каждому типу присуща его собственная дхарма и только к ней он и должен стремиться, с другой же стороны, утверждает в качестве нормального следствия, что из дхармы шудры возникает дхарма вайшьи, из дхармы вайшьи — дхарма кшатрия, из дхармы кшатрия — дхарма брахмана, и тот, кто исполнит ее в совершенстве, воплощает в себе высший тип человека. Т. е. она выставляет состояние риши как высший идеал человека, но с другой стороны утверждает, что это состояние достижимо только при определенных задатках, которые в свой черед зависят от возраста души. Таким образом, высший идеал оказывается, согласно этому учению, высшим не в смысле его общезначимости, а в том смысле, что он является последним в череде возможностей. Тем самым индийцы действительно уловили истину, сохраняющую свою истинность и в том случае, если полностью отбросить от нее мифическую конструкцию, на которой она держится. Мудрость несомненно несет на себе отпечаток старости, она несомненно не подходит молодости; несомненно она придает черты старости тому, кто овладел ею в юном возрасте. Но так же несомненно и то, что она представляет собой достижение, которое венчает жизнь. Мудрость — это наивысшее достижение, дальше которого ничего нельзя достигнуть. Если бы индийцы понимали в практике так же много, как в теории, о них можно было бы сказать, что они разрешили загадку жизни. Однако эта предпосылка как раз отсутствует. Несмотря на то что они постигли так много, они сочли тип мудреца общезначимым образцом. Этим можно объяснить, почему современное европейское человечество при всей его грубости, приземленности и душевной слепоте и даже благодаря его материалистическим идеалам, естественным для его ступени развития, в целом оказалось на более высокой ступени, чем индийцы.

Представление о том, что какое-либо состояние может выступать как воплощение идеала, являет собой

такого толка суеверие, отказ от которого особенно сегодня стал, пожалуй, насущной задачей. Ни одно существо не живет как одиночное создание; с точки зрения универсума вся живая природа — это нераздельное целое, где все между собой связано, каждое отдельное явление не более чем элемент, и немислимо, чтобы один элемент заключал в себе суть всех остальных, как это требуется для того, чтобы он мог стать образцом всех прочих. Каждый — это орган жизни, не более того, и потому может быть понят лишь исходя из общего целого, он оправдывает свое существование только в своем взаимодействии с другими органами, обладающими другими качествами. Однако значение отдельных элементов различно; значение одних больше, других — меньше. От самых важных зависят все остальные. Те типы, которые издревле почитались человечеством как высшие, воплощают в себе основные тоны симфонии; чем правильнее они распределены, чем полнее и чище их звучание, тем прекраснее музыка. Святые и мудрецы воплощают в себе основные тоны, в то время как остальные служат воплощением средних и обертонов; и только в этом смысле первые типы стоят выше всех прочих. Из этого определения естественно вытекает, каким должно быть соотношение тех и других. Обертоны не должны стремиться к тому, чтобы стать основными, но должны подстраиваться к этим последним; в этом смысле всем людям полезно почитание мудрецов и святых. Поскольку они представляют собой основные тоны, их существование необходимо — даже более необходимо, чем полезная деятельность людей действия; не только негромкий, но даже не прозвучавший основной тон оказывает воздействие: если вся музыка настроена в согласии с ним, он уже приносит пользу. Поэтому не беда, что святые встречаются редко, что тот Христос, которого мы почитаем, быть может, и не жил на свете. Таким образом, совершенно в порядке вещей, что почитаемые людьми святые с течением времени претерпевают различные метаморфозы: когда мелодия переходит в другую тональность, основной тон тоже должен меняться. Но изменения касаются не их одних; контрабас не заменяет собой целого оркестра, и только в общем оркестре он звучит так, как следует. Поэтому существова-

ние святого не значит, что миряне не нужны, и тот и другие необходимы друг другу.

Исходя из этого, можно считать решенным вопрос об абсолютных ценностях. Такие разумеется существуют, но только в плане основных тонов. С ними соотносится целостность жизни; их всегда можно выделить как то, что существенно. Однако основываясь только на них, не удастся ни дать теоретическое объяснение жизни, ни выстроить ее формы. Каждая попытка доказывает, что мы ее тем самым обедняем; получается так, как если бы пасторальная симфония исполнялась одними лишь контрабасами. Пуританское мировоззрение всегда приносило один только вред; когда в качестве ценности признавалась только моральная или духовная сторона, это всегда шло в ущерб человеческому совершенству. Это и понятно. Разумеется, абсолютные ценности как таковые находят свое воплощение в типах святого или мудреца, но сами по себе они ничто; они предполагают наличие рядом всех остальных. Поэтому-то стремление, исходя из абсолютных ценностей, отменять какие-то по-своему совершенные явления оказывается делом нелепым, неправильным и даже кощунственным; каковы бы они ни были, они не противоречат абсолютным ценностям; напротив, абсолютные ценности по самой своей сути предполагают их присутствие подобно тому, как основной тон предполагает наличие дискантов. Таким образом, и эти наши рассуждения приводят к тому же выводу, который так часто уже получал последнее слово: совершенство, специфическое совершенство есть единственный идеал, который подходит всякому. Предназначен ли ты от рождения быть основным тоном или обертоном — зависит от Бога, твое же дело — дать чистое звучание.

Теперь нам ясно, в каком плане не только Будда и Христос, но и великие индийские мудрецы-риши, могут служить общезначимыми образцами: важны не самые типы, а их совершенство. Как типы они представляют собой частные явления, полезные в качестве идеала только для тех, кто принадлежит к одинаковому с ними типу. Но как достигшие совершенства, как существа, в совершенстве исполнившие в рамках того или иного типа заложенные в них возможности они могут и должны служить примером для всех.

Сегодня на заходе солнца я перед тем, как распрощаться с Бенаресом, еще раз побывал в Сарнате, развалины которого стоят на месте, где некогда Будда произнес свою первую знаменитую проповедь. Присутствовало несколько приезжих с Цейлона, среди них двое облаченных в желтые одеяния бхикшу. Собравшись возле возведенной Ашокой ступы, они в своем узком кругу проводили там богослужение. Какая противоположность индийским ритуалам! Как непритязательно, просто, незамысловато буддийское благочестие! Я позволил сарнатскому настроению овладеть моей душой и затем представил себе все, что видел и пережил в Бенаресе. Да, буддизм может быть благой вестью для того, чья душа утомилась богатством и многообразием, для того, кто выдохся от множества перерождений, кто не хочет продолжать путь, кто желает только конца. В буддизме происходит закат солнца Индии; ему свойственна вся полнота сумеречного настроения, вся сладость надежды на скорый покой, вся целительная сила с любовью данного обещания: скоро, скоро всему настанет конец!

Я еще нахожусь под впечатлением Сарната. Только покоя желаю я сегодня ночью, покоя любой ценой. И тут мне подумалось, как чудесно было бы, если бы прав был в своем обещании Будда, сказавший, что можно угаснуть навсегда. Но возможно ли это? Не скрыто ли за этим представлением еще больше гордыни, чем в учении о тысячекратных перерождениях? Как гордыню восприняли боги то, что затеял Будда; и сам он ведал о чудовищности своего подвига. Все творение, начиная от Брахмы до самых ничтожных созданий, должно вечно участвовать в становлении, и только он, сын человека, смог вырваться из круговорота... Нирвана Будды отличается от Нирваны индуизма; в индуизме она считается самым позитивным состоянием, Будда в сущности воспринимает ее как конец. Он не поведал, что она собой представляет, оставив открытыми все возможности. Но главный упор он, без сомнения, делал на конце. Это придает буддизму его совершенно своеобразный настрой, его сладостную предзакатную окраску. Из всех мифов о сумерках богов, какие только были на свете, тот, что родился из бенаресской проповеди, больше всех похож на сумеречный закат.

Буддх-Гая

Эта величайшая святыня буддизма овеяна воздухом дивной духовности. Это не атмосфера буддизма вообще, какую я позавчера ощутил в Сарнате; не атмосфера набожности как таковой, которая царит на берегах Ганга или в Рамешвараме; и не та атмосфера торжественности, которой окружен каждый памятник; это особенный дух такого места, где определенный человек, обладающий небывалым величием, обрел самого себя. Вероятно, многое способствовало тому, что этот дух сохранился здесь в такой чистоте и величии — в таком величии и такой чистоте, что они всякий раз заново рождаются в каждой наделенной восприимчивостью душе. В первую очередь это, конечно, тот факт, что именно тут, в тени дерева бодхи, которое и ныне здесь зеленеет, Будда обрел свое просветление — просветление такой интенсивности, что оно поныне продолжает озарять души миллионов людей. В таком случае Буддх-Гая представляет собой историческую монаду такой исключительности, что с ней могут сравниться лишь считанные места на земле; я мог бы поставить с ней рядом только Дельфы. Замкнутая в искусственной долине, покоится святыня — целый мир в себе, в котором каждая деталь напоминает о великих днях прошлого; говорят, будто бы многие части каменных ограждений, дагоб, стоят здесь еще со времен Ашоки. И наконец, непрерывному оживанию, сохранению угасающих вибраций способствуют паломники. Буддх-Гая расположена вдалеке от тех царств, где сейчас процветает буддизм; приходят сюда немногие. Но те, кто не убоился дальнего пути, приходят не ради пустяков; из простого любопытства сюда никто не поедет. Сегодня я застал здесь нескольких бирманцев, двух-трех японцев, да дюжину тибетцев; все они проникнуты глубоким сознанием того, что значит Гая для человечества, и потому их души вибрируют в одном ритме с вибрациями здешней святыни. Кругом царит глубочайший, священный покой; все голоса сами собой приглушаются. А древние деревья тихим-претихим шепотом рассказывают друг другу великие были далекого прошлого.

На мое восприятие, Буддх-Гая — самое священное место на земле. Учение Иисуса было глубже учения

Гаутамы, но первый не был таким царственно независимым человеком. Он был одной из тех солнечных натур, которые невзначай появляются там и сям на темной земле, родившимся в сорочке счастливецом, на которого дух снизошел чистым даром, который, по человеческим понятиям, сам не отвечал за то, каким он родился и кем стал. Он действительно был Богом среди людей. Однако Бог от рождения значит для нас меньше, чем тот, кто достиг Божественности, а таким человеком был Будда.

Буддийская легенда повествует о том, что боги склонились с молитвой перед Буддой, человеком; и брахманы не находят ее недостойной доверия. Индийцы, в отличие от нас, всегда правильно понимали и истолковывали, как соотносятся друг с другом благодать и заслуга. Несомненно, все, что выходит за рамки обычного, дается человеку только как благодать, но и благодать нужно сперва заслужить: она венчает собой его заслуги. Что же касается мистического выражения, описывающего переживание неожиданно снизошедшей благодати, то оно означает прохождение критической точки, то мнимое *solution de continuité*¹, которое всегда присутствует в природе между двумя качественно различными состояниями. Состояние благодати возникает в результате заслуги подобно тому, как после постоянного повышения температуры вода вдруг превращается в пар или после постоянного ее понижения внезапно превращается в лед. Конечно, речь не обязательно идет о заслуге в нашем понимании этого слова: пути Бога не всегда соответствуют постулатам разума и морали; простодушные грешники зачастую бывают ближе к спасению, чем осмотрительные праведники. Однако благодать никогда не нисходит на тех, кто бы «в своем смутном стремлении» не осознавал правильного пути, она никогда не выпадает на долю мелкого, трусливого, подлого человека; благодать предполагает некое качество воли и ту внутреннюю правдивость, которые даже самого несовершенного в остальном человека ставят выше всех добродетельных. В своей основной массе человечество догадывается о том, что существует путь ввысь, однако не знает, как к

¹ Скачок (фр.).

нему подступиться; когда на его горизонте появляются такие сыны солнца, как Иисус, оно преклоняется перед ними и верит в пророчества, но не отваживается следовать за ними, так как слишком уж далекой кажется поставленная цель и путь к ней не ясен. Когда же появляется кто-то из его среды и, будучи таким же человеком, как все, поднимается на небывалую высоту, то это вдохновляет людей и, окрыленные, они с надеждой пытаются следовать его примеру. Так было всегда. Один лишь пример Христа никогда не подвиг бы западное человечество на то, чтобы устремиться ввысь, слишком уж это была несоизмеримая величина; он и не стал отцом христианства. Если бы не выступил Павел, человек как все, простой и понятный для всех мирянин, в конце концов, достигший святости, мы бы и не запомнили Иисуса. А в том, что христианство стало мировой религией для всего Запада, главная заслуга принадлежит Августину. Самая могучая этическая натура, какую когда-либо порождал Запад, он оказался тем человеческим образцом, благодаря которому стало возможно воспринять пример Христа. Его жизнь доказывала, что грех — это не только препятствие, но и помощь, и что именно границы, накладываемые природой, помогают ее преодолевать; что само несовершенство есть тот материал, который нужен Богу для того чтобы обрести свое воплощение в человеке. Поэтому его пример имеет значение для каждого человека. Но Будда был еще более велик, чем Августин. Он начинал с еще больших человеческих высот, пережитый им опыт глубже и богаче; и, в конце концов, он достиг таких высот, каких не достигал ни один персонаж человеческой истории. Он был так велик, что данного им толчка хватило, чтобы запущенное им колесо доброго закона до сего дня продолжало свое движение. У буддизма не было своего Павла или Августина, и Самбудда стал для него всем и вся.

Богословы зачастую с наивностью, которая составляет их божественное право, задаются вопросом о том, чем объясняется особенное значение Христа и Будды, которые превосходят в этом отношении всех великих людей как среди предшественников, так и среди тех, кто жил позже, притом что первый не учил ничему такому, что не было бы сказано уже раньше, а второй, не-

сомненно, уступал своим предшественникам в глубине высказанных им мыслей: причина их огромного значения состоит в том, что слово у них не осталось словом, а облеклось в плоть; а большего достижения невозможно себе представить. Для того чтобы казаться мудрым, не требуется ничего, кроме актерского таланта; для мудрости в обыкновенном смысле слова достаточно обладать необыкновенным умом; для того чтобы стать Буддой, сперва нужно, чтобы высшее достижение познания стало центральной, движущей силой в жизни, оно должно обрести способность непосредственно управлять материей. Как легко привести в движение материю мысли! Как легко творить из нее прекраснейшие образы! Сформировать же в этом смысле все свое Я так, чтобы каждое его побуждение стало глашатаем идеала, — эта задача предполагает такую силу энергии, которая, по-видимому, превосходит человеческие возможности. Латентно эта энергия, конечно, заложена в каждом, подобно тому, как в самой малой молекуле заключено достаточно энергии, чтобы, высвободившись, она могла взорвать на воздух целое царство. Однако человек не имеет над ней власти; только сверхчеловек способен ею распоряжаться. Человек, чье познание, пусть даже меньшее, чем познание, которым обладал Вьяса, стало созидательным центром его существа, превзойдет всех бывших прежде мудрецов.

Знаменательно то, что величайший из индийцев не остановился на йоге, что, начав с традиционного идеала, он затем от него отказался. Единственный из индийцев он понял, что ни одно состояние, каким бы оно ни было возвышенным, не воплощает в себе абсолютного идеала; что йог как таковой к этой цели не ближе, чем *der Netaere*; что единственное, к чему нужно стремиться, это совершенство. И поскольку эта мысль претворилась для него в жизнь, «слово» претворилось в «плоть», причем это не было ему даровано, а появилось у него благодаря естественному росту, ускоренному путем усиленной работы над собой, Будда стал величайшим в истории образцом. Лишь в его лице сделалась по-настоящему плодотворной основная идея индийской культуры, которая гласит, что только от нас зависит, остаться ли нам людьми или вырасти за рамки всякой

детерминированности именем и формой. Индийские риши пользуются ею для того, чтобы вырваться из мира явлений, йоги по большей части для того, чтобы достигнуть в этом мире более высокой ступени. И только Будда один из всех индийцев правильно понял ее и совершенно правильно применил к себе: отсюда проистекает огромная порождающая сила его примера, обещающего сегодня оказать еще более плодотворное влияние, чем когда-либо раньше. Учение Будды, правда, совсем не свободно от влияния имени и формы; оно представляет собой лишь одно из многих толкований основной индийской идеи, будучи, может быть, самой поверхностной из всех действовавших ранее. Но Будда вообще не был мыслителем. Было бы неправильно судить о нем с точки зрения истинности буддийского учения. Для него оно означало нечто другое и существенно большее, чем подсказывается его буквальным содержанием, и это значение по сей день во многом определяет характер буддизма. Четыре благородные истины, почти тривиальные по своему содержанию, таят в себе духовное зерно, просвечивающее даже сквозь сколь угодно убогую оболочку. Буддийское учение на самом деле — это всего лишь невнятный лепет, как и многие другие из высших сокровищ человечества, — лепет, который, однако, вновь и вновь находит у людей понимание и загадочным образом оказывается животворнее многих отчетливо выраженных премудростей. Но уникальное величие Будды основано не на буддизме: главное — это его живой пример. Этим объясняется, почему в Индии, где рассыпается всякая реальность, где все исторические фигуры вмиг рассеиваются, как сны, этот единственный человек продолжает жить в воспоминаниях, в слове и в изображении таким, каким он был на своем земном пути.

Здесь я возвращаюсь к той мысли, которую записал в Бенаресе, сравнивая святых и мудрецов с основными тонами. Я забыл тогда остановиться еще на одном моменте: на том, насколько основной тон, воплощаемый Буддой, лежит ниже и глубже всех риши. Он настолько глубже, насколько жизнь глубже познания. Слово, претворенное в плоть, означает нечто большее, чем слово само по себе. Поэтому святой стоит выше мудреца.

Сегодня на рассвете, задолго до того, как на небе показалось солнце, я увидел, как гиганты Гималаев засветились в его лучах. Невидимая земля покоилась в объятиях ночи; на уровне облаков плыли в неверном сумеречном свете бледные клочья тумана. Гиганты же, высившиеся над облаками, озарились приветственным светом начинающегося дня.

Вчера, в день моего прибытия, небо было затянуто тучами, но резкий ветер то и дело разрывал серую пелену, и мне сказали, что на короткий миг перед глазами может показаться Кинчин-йонга. Я искал его там, где по своему предыдущему альпийскому опыту ожидал бы увидеть находящуюся в ста с лишним милях от меня горную вершину, но ничего не находил; пока не обратил взгляд ввысь; там, где по моим предположениям могли быть только небесные светила, блестили его вечные снега... Никогда еще я не сталкивался с такой поражающей своим величием материей. Гималаи — не такие горы, как все прочие; здесь кажется, будто на земле лежат обломки развалившейся луны, такое неземное впечатление космического величия, не укладывающегося ни в какие земные рамки, производит вид этих гор. Далеко, далеко от той точки, где я стою, мой взгляд уносится через горы и долины, через горные цепи, высящиеся на уровне самых больших альпийских вершин, и долины, уходящие в глубину чуть не до уровня моря. Формация громоздится на формацию, флора на флору, фауна на фауну; субтропическая растительность постепенно переходит в арктическую, за царством слона следует царство медведя, а за ним — снежного леопарда. А уже где-то выше этих миров начинается настоящий Химават. Где же, как не там, должно находиться царство богов! Мне вспоминается рельеф в Эллоре, на котором изображено, как великан Кайласа пытается уничтожить Шиву, колебля Гималаи: разбуженный испуганной Парвати бог спускает с ложа одну ногу и спокойно раздавливает титана. Мне кажется, что здесь не требуется необыкновенной фантазии, чтобы вызвать в воображении могучие образы: среди этой природы само собой возникает непомерное. Образованная преувеличением она и нас подталкивает к преувеличению, и даже самое огром-

ное кажется здесь слишком маленьким. Ликующий дух преодолевает все препятствия и, торжествуя, вырывается из границ. Какая, если не первая, то вторая мысль пришла мне в голову, когда я узрел этого гиганта? — Что дух может двигать горами! Всякое сомнение в этом показалось мне просто смешным. Всякий раз, как в мозгу у меня мелькала человечески-ограниченная мысль, мне казалось, что от вечных снегов, заглушая ее, до меня доносится металлический хохот Шивы, и обыкновенный стыд заставлял меня смеяться вместе с ним...

Немудрено, что среди природы, нагромодившей такие горы, возникла «Махабхарата», в которой заложен прообраз всего величия индийских мифов! Как хорошо я понял сегодня значение Химавата для индийского сознания! В его царстве находится рай Шивы; из него берет свой исток самая священная река. В Гималаях живут муни и риши, а жаждущие мудрости нескончаемой чередой стремятся к ним ввысь. В Гималаях возникли Веда, Упанишады, и в них, как говорят, черпается вдохновение еще и в наши дни. Так оно, вероятно, и есть. Никогда еще даже я, иноземец, не чувствовал себя в душе таким окрыленным. Вокруг мне чудится присутствие тысяч гениев, сверкающих в утреннем свете, как сияние вечных снегов, смеющихся подобно пробудившимся от сна детям, знакомых мне, словно бы с самого рождения, избавляющих душу от груза предубеждений. И вот, позвав меня: «Иди за нами!», они уже спешат в бесконечное пространство. «Ты не можешь?» — Иду, иду! Но мне Божественная свобода дается не так легко, как вам. Вы делаете это, радуясь и играючи, меня же охватывает благоговение. У меня кружится голова от такой высоты, с которой все, что недавно меня еще связывало, видится таким далеким где-то внизу. Я еще не могу осознать, как такое стало возможным. — Они смеются: «Чего же тут не понять? Это же само собой разумеется!». — Неужели в этом заключалась тайна? — У меня такое ощущение, будто бы в душе все таинственным образом озарилось внезапным, неопишуемым светом; будто бы передо мной открылись новые, небывалые пути познания, отпали все земные границы, будто привычный человеческий мир сменился иным, новым. Моему взору открылось то, что прежде было невидимым, какие-то другие взаимосвязи,

отличные от тех, что я замечал прежде, и вместе с окружающим миром меняюсь и я сам. Я ощущаю себя теперь солнечным источником бесконечной энергии, непрестанно дающим, неустанно источающим ее, не ведая препон и сопротивления. Меня не тревожат уже никакие проблемы, и я уже сам не понимаю, чего я еще недавно допытывался. Небесный свет угасает так же внезапно, неожиданно и загадочно. И вновь проступают прежние проблемы, столь же неразрешимые, какими они были прежде. Но теперь я догадываюсь о причинах. Когда в душе зажигается свет Брахмы, эти проблемы перестают существовать, и в этом заключается решение мировой загадки. На вопросы же земного сознания нет ответа. Эти вопросы по своему существу представляют собой задачи с неправильными исходными данными, которые не имеют решения. Человек, находящийся в плену земного, относится к знающему, как муравей к человеку, с которым случайно скрестились его пути; несмотря на свой безошибочный инстинкт, муравей ничего не может поделать, очутившись перед задачей, которая по самой своей организации носит трансцендентальный характер. То же самое и исследователь, стремящийся разгадать тайну мироздания. Ее загадка неразрешима с точки зрения человеческого разума. Не хватает слишком многих данных; он не может охватить ее во всем объеме. И человек оказывается в еще худших условиях, чем неразумное насекомое, потому что он может задать вопрос, ответить на который не в силах, потому что его сознание представляет собой злополучную ступень между слепотой и всезнанием. Однако в нем заложена возможность превзойти самого себя, живущий в нем бог близок к своему пробуждению. Когда-нибудь нежданно-негаданно в уме его зажжется свет Брахмы, но этот свет гасит все человеческие проблемы. Отблески его еще брезжат в моей фантазии; свое человеческое начало я еще ощущаю как нечто чуждое, тягостное, и, словно сам принадлежу к сонму витающих вокруг меня гениев, я готов смеяться над убожеством этого мира. Неужели вы не видите? Взгляните ввысь! Поймите!... Но как они могут понять? Ведь и я тоже понимал тогда, теперь же у меня сохранилось в памяти лишь смутное воспоминание понятого. А пытаюсь высказать то, что понял, вижу, что не могу.

Нужные слова уходят, мысли разбегаются. Они не могут вместить то, что я знаю, и страшатся, что это их взорвет. Если же я насильно добиваюсь своего, то моя мудрость звучит как глупость. Зла не существует... Это бессмыслица, с точки зрения человеческого сознания это не имеет смысла; а потому, видимо, бесполезно говорить это человеку. Это было бы совершенно напрасно, если бы в сознании каждого, даже погруженного в самый глубокий мрак, не жило предчувствие света — того света, который медленно, от рождения к рождению, изничтожает мрак. Будь это иначе, человечество никогда не поверило бы в парадоксальное учение Иисуса, индийский народ никогда бы не стал превыше всего превозносить отречение от мира, буддийское человечество не стремилось бы к Нирване, в которой угаснет все, что составляет жизнь... Мы все знаем больше того, что считаем познаваемым. Это знание диктует нам наш идеал, вдохновляет наше стремление. Как бессознательно знающие, мы храним приверженность парадоксам религии и останемся приверженными им до скончания света, когда наконец-то свет Брахмы воссияет для всех.

В Гималаях человек удивительно близко подходит к Богу; эта природа более всякой другой на земле расширяет границы сознания. Все мелкие связи рвутся, а самые широкие, запредельные кружат, витая в воздухе, как мыльные пузыри, готовые в любую минуту раствориться в солнце высшей истины. И в возникающую таким образом громадную пустоту мощным потоком вливаются горние силы. С безграничной тоскою я взираю на вздымающуюся твердыню *Химавата*¹. Если бы мне подняться туда! Разве в этом чистом божественном воздухе не отпали бы все завесы? Разве не вздохнул бы я тогда свободно с блаженным чувством исполнения чаемого — я ведь знал это! От года к году я все сильнее ощущаю, как во мне оживает нечто новое, высшее, сияющее появиться. Я физически ощущаю, как оно тянется вверх; никогда еще я не ощущал этого так сильно, как здесь. И мне хочется благодарно молиться перед раем Шивы, вид которого дает такую благодать.

¹ Химават (санскр.) — отец реки Ганг, являющийся олицетворением Гималаев.

Всякий раз, как мой взгляд падает на высящихся передо мной гигантов, у меня в голове рефреном возникают слова: «дух может двигать горами». Никогда еще я так ясно не сознавал непреложную истинность этих слов, как здесь, где материя обладает такой мощью. Вместо того чтобы придавить во мне чувство свободы, она его подымает; впрочем, так же обстоит дело со всяким сознанием — оно возникает от сопротивления.

Дух может двигать горами. (Общепринятая формулировка, признающая такую способность за верой, здесь слишком узка да и к тому же допускает превратное понимание: это чудо вызывает не вера в значении чаяния, а самая вера придает духу нужную силу.) Разумеется, он на это способен. Смешно было бы сомневаться в этой истине, почти так же смешно, как доказывать это утверждение. Что я делаю своей волей, мыслью, действием? Я в своем духовном качестве оказываю влияние на материю; между банальнейшим обыденным жестом и чудом волшебника нет принципиальной разницы. Мир моих представлений является по отношению к моему Я чем-то таким же внешним, как самая далекая звезда во вселенной; дух простирает свою власть на такие пределы, на какие это позволяют законы материи. За эти границы, правда, невозможно переступить, ибо с их уничтожением исчезла бы и природа; но внутри этих пределов для духа нет ничего принципиально невозможного, а внутри них находится мир.

Таким образом, в отношении Химавата я занимаю такое же место, как в отношении собственного тела, которое вот уже тридцать лет служит мне подручным инструментом. Но даже это верно лишь в том смысле, что физически я нахожусь от него дальше, чем от самого себя: своим взглядом же я непосредственно с ним соприкасаюсь, мысленно я рядом с горами, я на их вершинах; ибо если в связи с мыслями вообще можно говорить о пространстве, то они всегда там, на что обращены. Нет ни одной точки мироздания, к которой я не мог бы приблизиться так же, как к самому себе. Приблизусь ли я, зависит от направленности моего внимания: можно ведь буквально отдалиться от самого себя, можно выйти из себя. Поэтому индийская мудрость, вероятно, в буквальном смысле права, утверждая, что отъединенность в конечном

счете вызывается эгоизмом (аханкара) и исчезает после его преодоления: если бы все мои духовные энергии изливались наружу, как солнечные лучи, и ни одна бы не возвращалась ко мне под влиянием интереса к собственной особе, то я был бы свободен и не имел бы пределов. И такое освобождение возможно, ибо между духом и природными процессами не существует нерасторжимой связи (хотя с другой стороны, нет такой связи, которую нельзя было бы установить). В этом, по единогласному утверждению всех высших религий, и заключается суть того проклятия, которое связано с интересом к самому себе: своим самолюбием человек себя умаляет. С каждой мыслью, не направленной в бесконечность, а вернувшейся к телу, которое ее послало, человек отторгает себя от собственной, более широкой действительности.

Я направляю свой взгляд вовне, в прекрасный окружающий мир, которым я мог бы ощутить себя, когда был бы свободнее от собственной личности. Объективно, в своем природном качестве, я ведь прочно с ним связан; я всего лишь один из центров энергии бесконечного континуума. Но я мог бы сознать себя единым с ним, быть центром, от которого он зависит, осознанной самостью, если бы достаточно глубоко укоренился в своей сущности. Почему я этого все еще не достиг, хотя давно уже знаю, что самое главное? Поскольку моя природа все еще остается непроницаемой. Мое духовное сознание все еще не встроилось в тело моих страстей. Они как ни в чем не бывало продолжают жить собственной жизнью. Вместо того чтобы умереть, они, напротив, растут в своем плуто-ническом царстве, и всякий раз как я замечаю, что сделал новый шаг на пути духовного развития, я также вынужден отмечать, что и они тоже окрепли. А они слепы. Но не обязательно должны оставаться слепыми. У меня должно получиться связать их с глубинами моего существа, сделать их стихийную силу своим послушным орудием. Но пока что я еще не знаю, как этого можно достигнуть: пока что я еще пребываю на той стадии, когда жизнь духа, как у индийцев, протекает в вышине над материей.

Временами еще бывает, что я мечтаю о земном величии. Но здесь, перед лицом такой грандиозной природы, ничто мелочное не может устоять. Посылая свой взгляд к снежным вершинам, порозовевшим в свете вечерней за-

ри, я чувствую, как во мне загорается несказанная тоска, зовущая меня прочь за пределы личного существования.

Итак, здесь, в этих горных лесах, обитают тихие, неведомые махатмы, сверхчеловеки, бескорыстно направляющие судьбы человечества. Они освободились из-под власти материи. Сходные наружно с нами, обремененные человеческим телом, на внешний взгляд уступающие в силе великим людям человеческого мира, они, однако, стоят выше людей, потому что обладают совершенной свободой. Они несвободны лишь в той мере, в какой сами того пожелали, они могли бы не умирать и не возрождаться вновь; куда захотят попасть, они уже там, на что обратят свое внимание, то уже знают. Их сознание обнимает весь мир; их дух переносится со звезды на звезду, как мы переносимся от одного воспоминания к другому. Они действуют незаметно, тайно. Лишь очень редко они зримо вмешиваются в события. Но втайне воспитывают себе помощников, которым суждено открыто осуществлять их планы. Если устремленный к совершенству человек достаточно созревает для перехода на высший уровень, его встречает любящий учитель и провожает на новый, высокий путь.

Не знаю. Истинно ли это предание; но сегодня мне хочется в него верить. Бродя в одиночестве по лесам и устремляя взор через реки и долины к снежным вершинам и ледникам, я представляю себе это сверхчеловеческое существование и за каждым поворотом надеюсь увидеть неожиданно возникшего передо мной махатму. Ужели он меня не заметит или не пожелает силою мысли перенестись ко мне? Он так мне нужен. Как раз теперь я снова оказался в точке, в которой не знаю и не могу решить, куда мне двигаться дальше. Конечно, мое бессознательное всегда знало, где лежит правильное направление, и, конечно, сегодня тоже оно меня не подведет. Юношей, еще не родившись духовно, я не раз уже, казалось бы вопреки рассудку, поступал так, что оставался в ладу со своей судьбой; я отказывался от всех родов деятельности, которые в будущем не пошли бы мне во благо; не питая к таким занятиям особого интереса, я не один год провел в лабораториях как экспериментатор, словно бы понимая, что такая школа мне совершенно не-

обходима, а затем, сам толком не зная почему, отвернулся от естественных наук в тот момент, когда почувствовал, что они больше ничего мне не дают. В периоды физического неблагополучия я, подобно перелетным птицам, инстинктивно отправлялся в незнакомые широты, и это оказывалось для меня благотворным, и точно так же я всю жизнь безошибочно предотвращал исполнение самых сокровенных своих желаний, которые в дальнейшем сломали бы мою жизнь. И все же без посторонней помощи я бы не достиг даже нынешней своей, промежуточной, стадии, если бы во все критические моменты мне не встречались добрые люди, помогавшие мне сделать следующий шаг. Есть что-то чудесное в наглядном примере и влиянии сказанного слова. Как бы ты ни старался, сколько бы ни приложил волевых усилий, но никакая аутосуггестия все равно не действует на подсознание так сильно, как что-то сказанное другим человеком; будь это иначе, нам не требовались бы никакие учителя или врачи, не нужны были бы ни школы, ни больницы. Особенно это проявляется тогда, когда речь идет о том, чтобы начать что-то новое или сменить исходную базу. Для того чтобы идти уже известным путем, не требуется руководителя, сознанию и без того уже все ясно и внутреннее знание направляет наш путь. А вот у грешника, как бы близко он ни подступил к вратам спасения, этого знания нет, ибо его сознание находится под влиянием греховности; лишь превратившись в бабочку, гусеница почувствует, где произошло ее превращение. Но когда человек, идущий путем развития, подступает к моменту кризиса, то при готовности к обновлению он, видя перед собой существо, достигшее той цели, к которой он стремился, узнает его, и это узнавание тотчас же пробуждает в нем то, что дремало в его душе, и неосознаваемое ранее становится вдруг осознанным. Теперь он понимает, куда он желает и должен двигаться; все, на что иначе потребовались бы большие промежутки времени, в таких условиях порой совершается в один миг. Это заслуга учителя, спасителя. И мне кажется, что я сейчас как раз подошел к такой точке. Мои прежние цели представляются мне ничтожными. Все начинания в духе моего прошлого вызывают во мне такое ощущение, что на самом деле я хочу чего-то другого. Но чего? Не знаю.

В таких обстоятельствах мне очень нужен учитель, кто, кто уже пришел к тому, к чему я стремлюсь.

Сегодня у меня такое ощущение, что моя цель — состояние махатмы; мне кажется, будто бы я созрел для того, чтобы выбраться из человеческой оболочки; ведь уже ничто человеческое меня не связывает. Такими, какими описываются, махатмы и должны бы, наверное, быть, такими-то и бывают люди, достигшие сверхчеловеческого состояния. Когда Йегова обещал явиться Илии, тот ожидал, что он явится ему бурей. Он же явился ему веянием тихого ветра. Какое же ослепление представлять себе сверхчеловека в виде Геббелева Олоферна! Чем выше стоит существо, тем оно духовнее, а чем духовнее оно, тем меньше его непосредственная материальная мощь. Бог совсем не проявляет своего действия в физическом процессе; его почти нельзя проследить, почти нельзя выявить. Махатмы оказывают свое воздействие лишь опосредованно. В их сфере не действуют нормы, ответственные за земные величины, там само собой разумеется то, чему учили спасители и святые всех времен и стран, но что вечно будет представляться парадоксальным для человека: что смирение паче гордости, честолюбие — это зло, всякое стремление к земному счастью представляет собой недоразумение, и что жизнь обретает только тот, кто ее утратит... Махатмы требуют от всякого, кто хочет идти их путем, отказа от всего, что в нашей юдоли почитается желанной целью. Естественно. Так достиг ли я уже способности отречения? Сегодня мне кажется, что да; словно во мне умерли все желания, все тщеславие, все стремления к возвышению и славе. Приди ко мне сегодня учитель и скажи мне: «Пойдем за мной!», я бы пошел, не оглядываясь.

Махатма мне не является. Ни в душе, ни вовне не раздается голос учителя. Но воздух Гималаев действует удивительно возбуждающе. Давно уже мне не думалось так легко, давно уже у меня не было такого ощущения, что мне не приходится прилагать ни малейших усилий к тому, чтобы удерживать внимание на занимающей меня проблеме. Итак, я каждый день, не испытывая заметного утомления, провожу по несколько часов за йогическими упражнениями.

Во время этих занятий мне вспомнилось высказывание одного биолога, что природа нашего мозга носит характер протоплазмы; мозг, дескать, единственный орган, по-прежнему сохраняющей пластичность, свойственную всему телу протозоа. Это неверно. Ведь как трудно установить структуру мозга; мозг — дифференцированный орган, чья изменчивость, как у мускула, зависит от упражнения; в нем не образуется ничего существенно нового. А особенность протистов заключается в том, что у них из бесформенной массы под влиянием определенных условий образуются формы, которые рано или поздно вновь исчезают в общей аморфной массе. Человек же, чье физическое тело, за исключением семени, имеет сформированную структуру, тоже имеет протоплазменную природу, но у него она свойственна не физическому, а психическому организму. Занимаясь протистами, я могу описать особенность их организации, только прибегнув к сравнению с человеческой психикой: появление их органов можно сравнить с возникновением мыслей у человека. Перевернув сравнение, я, отталкиваясь от протистов, должен сделать вывод, что материя, из сгустков которой рождаются мысли и образы восприятия, по своему характеру совершенно подобна протоплазме. В состоянии покоя содержание психики представляет собой, насколько показывает нам наше сознание, нечто аморфное, но как только пробуждается наше внимание и направляется на какой-то предмет или как только его масса просто приходит в движение, то возникают структуры: мысли, звуки, образы и т. д., которые вновь улечиваются, когда сознание перестраивается на что-то другое. Я попытался рассмотреть эти образования чисто как таковые, что не так-то просто сделать, поскольку они не стоят на месте, и каждая мысль на поводу у наблюдаемой картины тотчас же порождает новый образ, накладывающийся на первоначальный; вывод, к которому я пришел, совпадает с тем, о чем говорят индийцы: психические образования представляют собой реальные предметы, то есть объекты, которые следует истолковывать в категориях энергии и материи. Разумеется, они принадлежат к явлениям иного порядка, отличного от внешней природы, однако, было бы неправильно отрицать факт их материального существования, поскольку они все же являют-

ся предметами эмпирического опыта и не могут быть поняты в рамках «духовного». К чему же сводится в конечном счете различие между природой и духом? Как мне представляется, реальное различие здесь маловероятно, и вопрос этот никак нельзя разрешить; в сфере метафизической невозможно делать уверенные заключения, пользуясь средствами рассудка. Определенно можно сказать, что антитеза природы и духа носит всего лишь эпистемологический характер и представляет собой *ratio cognoscendi*¹. Все, что существует как данность, актуальность, есть природа, всё подчиняется ее неизменным нормам. Созидательное начало, существование которого мы должны предполагать, обретает в природе свое выражение, но оно не есть природа. Я свободен, поскольку у меня есть воля, но как только я проявил свое воление, я оказываюсь в условиях строгой детерминированности; как только какая-то форма возникла, спонтанности больше нет места. Так, свобода может быть заложена в основе тела, а Бог в основе природы, но пытаться непосредственно увидеть деятельность Бога так же бессмысленно, как судить о ногтях, исходя из понятия свободного волевого решения. Моя трактовка, в которой я отождествляю метафизическую реальность с понятием жизни, представляется мне самой объективной, так как только жизнь постоянно возвращает нас к созидательной первооснове. Возможно, что вся природа была в этом смысле изначально живой, возможно, что сонмы звезд обязаны своим возникновением творческой мысли Бога. Кто знает! Но то, с чем мы сталкиваемся в реальности, это не воля Божья, а процесс, подчиняющийся механическим законам, т. е. природа; точно так же готовый организм подчиняется не каким-то иным, а только физиологическим законам, социальная жизнь — обычаям и правовым нормам и т. д. Из всего этого следует, что в каких бы отношениях друг к другу ни находились природа и дух, рассудок не может не проводить между ними различия, а поскольку основа этого различия лежит в нем самом, он может переносить его на все что угодно. Таким образом, я вправе понимать факт сознания как материю. Какого рода эта материя, я сказать не могу; сам я

¹ Предмет познания (лат.).

не пришел относительно этого к какому-либо удовлетворительному заключению, а утверждения индийцев и теософов еще не могут быть проверены. Однако самое существование некоей материи мысли не вызывает у меня сомнения, а из такого определения, а также тех возможностей, которые оно в себе содержит, вытекают довольно интересные следствия.

Так, например, сфера свободы по мере продолжающегося развития, по-видимому, отодвигается все дальше. У протистов она еще включает в себя все тело; у них физическая сторона жизни сохраняет ту же степень и тот же характер пластичности, какие у человека свойственны уже только психике. Чем более определенную форму принимает физическая организация, тем она несвободнее. Морские звезды способны регенерировать половину тела, рептилии — хотя бы конечности, у высших же животных от безграничной некогда телесной фантазии сохранились лишь те остатки, которые позволяют им, как правило, быстро и без лечения восстанавливать свое здоровье. У взрослого человека свобода тела уже почти никак не выражена. Зато в нем открывается новая сфера реальности. В психическом плане он не меньше протоплазма, чем любой протист в плане физическом; тут он совершенно бесформен, но способен принимать любые формы. Но и здесь развитие направлено в сторону упрочения; чем более развита психика, тем дифференцированное ее органы и образования и тем больше они склонны к кристаллизации. Так, у нас имеются не только законы, социальные системы, религии, твердое мировоззрение: ум каждого отдельного человека рано или поздно кристаллизуется в твердое образование, которое, приняв окончательную форму, оказывается в дальнейшем неспособным на какие бы то ни было изменения и уже только растет и меняет свое вещество, подобно тому, как это происходит в физическом теле. Но тут-то и возникает парадокс: величайшим умом признается у нас не тот, который облечен в самую твердую форму, а, напротив, тот, который обладает наибольшей пластичностью; тот, который никогда не приобретает законченного вида (не становится *figé*¹). Так что, очевидно, протоплазмический

¹ Застывшим (*фр.*).

характер обозначает более высокую ступень, хотя заложенная в нем тенденция, несомненно, устремлена к обретению твердой формы.

В данный момент я могу объяснить себе этот факт только тем, что в сфере жизни существует ступень более высокая, но нет наивысшей. Выше неопределенного стоит определенное, но выше этой ступени опять-таки идет новая неопределенность, которая в свой черед стремится к определенности и т. д. *ad infinitum*¹. Определенность представляет собой некий максимум для данного момента; когда момент превращается во время, максимум все больше и больше принимает вид минимума. Таким образом, вообще невозможно представить себе абсолютное совершенство, если только не понимаешь под ним, как у Гегеля, конечный продукт бесконечного процесса — эмпирически воображаемую величину, реальную только в математическом смысле. Какие практические выводы можно сделать из этого рассуждения? Я вижу только одну возможность, представляющую мой всегдашний лейтмотив: во всем стремиться к совершенству, но никогда не принимать достигнутое за нечто окончательное. Это что касается теории. Практически вопрос стоит гораздо проще. Для амебы недостижима человеческая законченность, для нас — совершенство Будды. Поскольку каждый воплощает в себе определенные ограниченные возможности, то для каждого (в данном существовании, учитывая, что впереди нас ждет еще целый ряд, но мне это неизвестно) существует свой абсолютный максимум. Целью нашей жизни должно быть его достижение. К этому идеалу следует стремиться, даже заметив, что в тебе живут более высокие возможности, чем это казалось сначала, ибо путь к более высокой ступени совершенства всегда ведет через стремление к низшей, и никаким другим способом к этой цели вообще нельзя прийти. В этом заключается истина, лежащая в основе эволюции, хотя как ее индийское, так и дарвиновское представление служит лишь очень несовершенным выражением реальных условий: ступенчатый порядок, иерархия существ на самом деле существует в действительности, и непосредственный идеал каждого из них

¹ До бесконечности (лат.).

представляет собой следующую ступень. Мы должны стремиться к совершенству, хотя будучи достигнуто, оно при взгляде со следующей ступеньки будет казаться ограничением. Если говорить о чем-то ином, то кроме этого я вижу только одну другую возможность, но я сомневаюсь, что она выполнима для человека: это, отказавшись от всякого самовыражения вовне, так глубоко погрузиться внутрь себя, чтобы жить только своими чистыми возможностями. Это означало бы преодоление всяких границ, поскольку означало бы предвосхищение...

Продолжу развивать прерванную мысль в другом направлении. Если внутренний принцип жизни способен порождать любые формы, то от чего же зависит та форма, которая имеется как данность? Очевидно, от внешних условий, к которым относятся наследственность, карма, природные задатки. Таким образом, как мне это видится сегодня, с одной стороны, может получить исчерпывающее объяснение эволюция мира организмов, а с другой стороны, судьба отдельного человека. Всюду возникают, с одной стороны, возможные, а с другой стороны, необходимые образования. Если, исходя из этого, вспомнить тот протеический идеал, который я отстаивал, то можно увидеть, что для его реализации требуется только неограниченная пластичность и возможность подвергаться бесконечному числу различных обстоятельств. Мысленное существо могло бы принять буквально любую форму; материальные же были бы привязаны к своему роду и типу.

Чем больше я занимаюсь этой проблемой, тем больше удивляюсь тому, как могли философы с такой серьезностью относиться к духовным формообразованиям, хотя то и дело убеждались на опыте в их скоротечности, в поверхностном и случайном характере основы, на которую они опираются. Люди кристаллизуются в профессиональные типы, из религиозных объединений образуются нации, условия жизни несомненно влияют на физическое тело. Но отчего это происходит? Исключительно от инерции. Если бы у людей было чуть побольше фантазии, все эти классы не могли бы сохраняться; вернее, они сохранялись бы по причине их полезности, но к ним не относились бы так серьезно. Что до меня, то я даже самые упро-

ченные формы не могу рассматривать иначе, как создания подвижной фантазии, и вместо того чтобы радоваться, только огорчаюсь устойчивости некоторых из них. Но большинство людей смотрят на это по-другому, и, вероятно, так даже хорошо; ведь иначе эта планета так и не обзавелась бы прочными принадлежностями. Конечно, если бы это зависело от меня... Признаться, что зачастую под влиянием настроения, которое то и дело меня охватывает, я рассматриваю свое стремление к совершенству как *pis-aller*¹. При существующих условиях, при непреодолимости инерции, к сожалению, невозможно стремиться к чему-то лучшему. Но мне больше хотелось бы существовать вне навязанной детерминации и неуловимо для себя появляться как придется — то как Кайзерлинг, то как животное или Бог, а то как мироздание.

Нет, сущность моя не человеческая, мое человеческое бытие — это случайность... или необходимость, как посмотреть, но не более того, это уж точно. В воздухе Гималаев, который как ни один другой окрыляет дух, я с болезненной ясностью осознаю странную трагедию моего существования.

Еще в детстве я удивлялся тому, что неизменен как индивид; я так мало ощущал свое тождество с «самим собой», чувствовал в себе такую безграничную переменчивость, что на мой взгляд было бы естественнее, если бы мое тело вело себя подобно моим представлениям, которые менялись так и сяк под влиянием моего настроения. А когда мне прочли про Протея, я подумал: вот существо, которое производит естественное впечатление. Мне бы следовало быть таким переменчивым, как Протей, потому что в своей сущности я к этому способен. В своей «сущности» я такой же Герман Кайзерлинг, как дерево или животное, или любой другой человек, а если видимость говорит за другое, то я в этом не виноват. Это детское удивление никогда не покидало меня; оно только все более углублялось. Никогда на протяжении всей моей жизни я не ощущал себя идентичным со своей личностью, никогда не ощущал личность как нечто существенное, никогда не ощущал причастности своей «самости» к

¹ Крайнее средство (фр.).

тому, каким я казался другим, чем я был и что делал, что происходило со мной и что я встречал на своем пути. Годы я стремился к тому, чтобы разорвать узы определенного существования, предстать таким, каким, как я знал, я был. Скоро мне пришлось понять, что то, как я это себе представлял, недостижимо: человеческому телу несвойственна пластичность Протея. Тогда я попытался достигнуть этого в отношении души, но и она оказалась на это неспособна. Перевоплощаясь, актер не изменяет «себя», а лишь изображает другого человека; поэт лишь меняет свой способ выражения, а не свою личность. Я понимал, что это еще не предел, что должна быть возможность так же поменять свое реальное бытие, как актер меняет роли, поэт — свое имажинативное воплощение; мой непосредственный внутренний опыт показывал мне, что моя личность не идентична мне, что она меня ограничивает, что я мог бы быть чем-то гораздо большим, если бы сумел как-нибудь вырваться из ограничивающих меня рамок. И я вынужден был признать, что здесь на земле это невозможно. Мне пришлось отказаться от самой сокровенной мечты.

Так, волею судьбы, я обратился к глубинам внутренней жизни. Поняв, что не только тело непригодно для моих устремлений, но и душа слишком инертна, чтобы их осуществить, я отказался от стремлений вовне и все глубже и глубже погружался в свои основы, чтобы там реализовать свою свободу. А поняв далее, что внешней экспонентой внутреннего осуществления является совершенство, я кончил тем, что отказался от протеического идеала и стал стремиться только к тому, чтобы усовершенствоваться в рамках своей природы. Но во мне до сего дня живо сожаление о том, что пришлось отказаться от моего заветного желания. Изначальная цель моего существования состоит не в том, чтобы совершенствоваться в узких рамках человеческого состояния, я рожден для свободной деятельности в более свободных сферах. И в те часы, когда моя странствующая вера останавливается на учении о карме, мне порой кажется, что нынешняя моя судьба есть наказание за слишком вольные странствования в демоническом воплощении.

Наверняка можно сказать, что я иду путем, в сущности несвойственным моей натуре; и то, что я поставил

себе конечной целью, потребует от меня больших усилий, чем от кого бы то ни было другого на моем месте. Протей, стремящийся к совершенству в определенности. ...В этом есть что-то трагикомическое. Ну будь я хотя бы бхактой, имей я в своем распоряжении те внутренние средства, которые даются в связи с неким эмоционально-религиозным настроем: у меня они отсутствуют, я не ощущаю жадного стремления к спасению. Или будь я способен к вере в авторитеты! Углежогу просто достигнуть своего специфического совершенства. Он подчиняется традиционным представлениям, которые он в силу своего малого разума не подвергает сомнению, и если они более или менее разумны, то соответственно формируют душу. Я же как человек отношусь к крайнему выражению такого типа, которому его главное достоинство — его интеллектуальность, служит помехой на пути к самореализации. Я не способен неизменно сохранять слепую веру, мне требуется сперва достичь понимания, прежде чем духовная реальность станет для меня реальной, способной оказать на меня глубокое духовное влияние; для того чтобы мною могли овладеть мои порывы, я сначала должен их осмыслить. Центр моего сознания лежит в сфере разума, подобно тому как у животного он лежит в сфере чувственных ощущений, а у женщины в сфере эмоций. Это замедляет мое развитие. Рассудок либо отстает, либо бежит впереди переживания, сокращая его и искажая в худшую сторону опыт, который оно могло бы пробудить. Сколько времени потребовалось мне, чтобы перешагнуть через состояние радикального скепсиса и оказаться на дальних подступах раскованной свободы! В дни моей юности я ни в чем не был уверен, так как «человек» во мне еще не успел пробудиться, а моя способность к познанию еще не созрела, и поскольку правдивость мешала мне признавать то, чего я не знал, я производил впечатление бесхарактерности. Я не мог сделать выбор. Эту горькую стадию я миновал. Но я до сих пор не накопил достаточного знания, которое нужно мне для полной раскованности. Повторяю: как легко живет душевным натурам, обладающим низким интеллектом! Им не требуется понимания для того, чтобы то, что живет в их душе, стало реальным для их сознания. Наш брат остается в неуверенности, покуда не об-

ретет знания, а знание приходит так трудно. И конец настаивает его чаще всего задолго до того, как он достигнет познания, в котором заключается его спасение.

В моем случае это обстоятельство предъявляет огромные требования к моему терпению, поскольку я не чувствую себя идентичным своей личности; по сути дела, я страдаю за кого-то другого. Но здесь меня утешает сознание первопроходства. Мой путь действительно все больше и больше будет становиться всеобщим, поскольку неудержимо развивается процесс интеллектуализации. Времена слепой веры остались позади. Так же позади остались и времена, когда всякая форма принималась совершенно всерьез. Мне вспоминаются идеи Поля Дюбуа о самовоспитании; он очень справедливо рассуждает в том смысле, что воля к добру или злу является вопросом познания, но предлагаемое им практическое решение этой проблемы состоит в том, что нужно связать себя добрыми привычками — запустить в себе такой процесс кристаллизации, чтобы сделать из себя доброго и дельного члена общества. Это представляет собой всего лишь новый, приспособленный для вольнодумных кругов вариант старинного средства, которое заключалось в том, чтобы связать человека догмами. Ни один человек, достигший того уровня сознания, при котором жизненный центр лежит в понимании, не согласится его принять; такой человек действительно стоит «по ту сторону добра и зла», поскольку ни одна форма не означает для него крайнего предела. Он стремится к уверенности высшего рода: уверенности, существующей не в условиях скованности, а в условиях свободы. Его воля будет стремиться к добру, которое основано не на привычке, а лежит за пределами всего привычного. Он хочет укорениться в основе своего существа, которое, будучи источником всех зависимостей, само остается независимым и свободным, он хочет чистого познания, безусловной чистоты, чистоты без определенности существования. Это высшее состояние достижимо. Однако оно ведет через множество неопределенностей, множество опасностей, которые многих приведут к крушению. Но сущностные достижения никогда не давались без потерь. Личностный идеал перестал быть высшим. Авангард человечества уже подошел к пониманию того, что ему, если оно не

хочет пропасть, необходимо исповедовать нечто высшее. Когда кончилась вера в абсолютную ценность каких-либо форм, авторитеты утратили свое безусловное значение, ритуалы стали бесполезны, когда действительным оказывается один лишь рассудок, остаются только две возможности: одна из них — это возможность гибели. Мы погибнем от саморазложения, если не откроем чего-то нового, ибо старые средства спасения уже не действуют, а усиленно проповедуемое движение вниз от достигнутой естественной ступени означает падение в бездну. Вторая, позитивная возможность, причем единственная, заключается в том, чтобы мы признали новую естественную ступень и, основываясь на ней, выдвинули бы более высокий идеал. Как ни мало тех, кто достиг этого уровня, решающее слово за ними; от их примера будет зависеть, низвергнется ли основная масса в бездну или двинется вперед к высотам большей свободы. Новая естественная ступень состоит в том, что человек уже не может верить без понимания, что он не признает больше случайных ограничений, что он, судя по всему, неспособен по-прежнему всерьез принимать имя и форму. Отсюда вытекает соответствующий идеал: нам нужно совершенное понимание, мы должны полностью освободиться от догм и предрассудков. И достигнуть надличного синтеза человечности. Такого синтеза, в котором совершенно одушевленный человек, живущий в духе и в истине, использует эмпирическое только как средство выражения.

В эту ночь я еще раз съездил на вершину, с которой открывается самый широкий обзор, чтобы посмотреть восход солнца. К сожалению, он прошел незаметно, потому что туман к тому времени успел подняться слишком высоко. Но зато я в рассветные часы мог вдоволь налюбоваться гигантами, которые алебастровой белизной проступали на фоне черного неба. В эти часы душе моей было удивительно привольно. Снова меня посетило такое чувство, словно бы я уже достиг своей цели и выбрался из кокона человеческого существования. И тут при мысли о действительности, которая так далеко отстоит от того, как все должно бы и могло бы быть, моя давешняя горечь сменилась вдруг радостью. Как хорошо,

подумалось мне теперь, что я еще не достиг цели! Так мне есть, что делать; так мое земное существование получает смысл. И как хорошо, что мои природные задатки неблагоприятны! Зато я смогу порадоваться на проделанную работу. Ведь радость жизни дает не сознание достигнутой цели, а преодоление трудностей. Уж я постараюсь добиться чего-то при этой индивидуальности, которую в земных условиях мне никогда не дано будет преодолеть до конца.

Именно так и следовало бы и мне, и вообще каждому человеку, ставить проблему своей жизни. Природные задатки невозможно изменить. Да и зачем это нужно? Ни один из них не воплощает в себе никакой ценности, каждый представляет собой лишь возможный способ выражения, и посредством каждого можно достичь предела возможного. Чем больше трудностей представляет эта задача, тем скорее она будет выполнена. Никогда еще никто не достигал величайших успехов в той области, где ему все давалось легче всего; ничто так не мешает гению, как его талант. Почти никогда праведник не становится святым. Крайнее напряжение сил чаще всего вызывает неблагоприятными обстоятельствами. Поэтому у меня есть все основания радоваться.

Я уж постараюсь, и посмотрим, как далеко я продвинулся на своем пути; сейчас дело должно пойти исполинскими шагами и, во всяком случае, гораздо быстрее, чем тогда, когда у меня еще не было ясного понимания, в чем заключается самое главное. Тогда я впустую терял много времени на сомнения, на то, чтобы оглядываться назад и по сторонам; я упрекал себя за то, что неудовлетворительно проявляю себя во многих отношениях и не отвечаю тем требованиям, которые встают передо мной в различных сферах, например в области альтруистической деятельности. Этим я мог бы и не отягощать себя понапрасну. В качестве определенной, ограниченной личности я ведь только орган самости, отражающей мою сущность; и этому органу надлежит функционировать в соответствии с его природой; только для этого он и существует. Добываясь от себя предельно возможного, слепо, не отвлекаясь ни на что, думая только о своей особой цели, он поступает более правильно в отношении целого, во имя целого, чем если бы пытался служить ему непо-

средственно. Последнее — предназначено кому-то другому. В словах Шри Кришны о том, что лучше исполнить свою собственную, пускай и низкую, дхарму, чем самую возвышенную, но чужую, содержится квинтэссенция всей этики. Объективный идеал, абсолют может только тогда до конца проникнуть собой явление, если он сфокусируется на сердцевине его личности. Глубины личности, недоступные для внешнего мира, одновременно являются той точкой, которая непосредственно связана с центром мироздания. Благодаря этому для манифестации Бога может послужить существо какого угодно природного склада, но лишь в той мере, в какой оно живет в соответствии с самим собой. Так ни одному из них незачем отчаиваться в себе. Я же оказываюсь в особенно выгодном положении, поскольку теперь совершенно ясно понимаю, в чем состоит главное. Теперь я могу всем чем угодно заниматься в духе «одного единственного», и все что угодно неизбежно придется мне во благо. Чего мне бояться теперь, когда я знаю? Что может мне помешать на моем пути? Ничто: ни болезнь, ни несчастье, ни собственные, ни чужие неудачи, ни добродетель, ни порок. Все в жизни служит на пользу тому, кто знает...

Мне хорошо. Сегодня я ощущаю свое счастье с такой интенсивностью, что готов поделиться его лучами со всем человечеством. Пускай мой пример его ободрит! Пускай, глядя на меня, люди поймут, как мало у них причин для уныния! Человечество все еще мучается суеверным убеждением, что все зависит от природных задатков, все еще в определенных условиях преклоняется перед идеалами; оно все еще мнит, будто существуют избранные натуры. От этого оно не радуется, а смущается, когда при созерцании высшего не находит в себе достаточно любви, чтобы подавить зависть. Однако образцовых натур нет и не может быть. Как бы ни был велик человек, от природы он не достоин поклонения. Если Будда и Христос воспринимаются нами как образцы всего высшего, то это вызвано не их природными свойствами, а тем, что они сотворили из своей природы, тем, что они возродились в духе. Но эти величайшие из великих были от рождения так одарены, что нам нелегко отвлечься от их прирожденных свойств; вспоминая их, каждый невольно ощущает всю невыгоду своего положения. Я же

как личность совершенно необразцовая. Моя дхарма требует такого существования, которое вряд ли кому-нибудь, кроме меня, было бы полезно, она требует отказа от всех привязанностей, которые по праву считаются самыми важными для формирования, так что ничего из того, что я делаю и что собой представляю, никому не может служить добрым примером. Со стороны я должен казаться просто аномальным явлением, поскольку на уровне человеческого существования Протей должен представляться не универсальным, а скорее крайне специализированным явлением. Именно это делает из меня хороший пример. Ни один человек в качестве создания природы не является образцом, так что не следует опасаться того, чтобы кто-то выбрал меня в образцы для подражания; но каждый становится образцом в том случае, если он в своих естественных границах достигает высшей степени совершенства; а этого я мог бы, должен буду достичь. И пускай я не достигну этой цели, пускай смерть настигнет меня на полпути, но если вся моя жизнь будет одушевлена стремлением к совершенству, если это будет ясно выражено в каждом, пусть очень малом, моем свершении, все равно каждый стремящийся вперед человек сможет чему-то научиться на моем примере. На моем примере он увидит, что природа на самом деле не ставит нам препон, а открывает путь к свободе, что дух способен трансформировать все явления; что сущность наша принадлежит царству духа, где царят совершенно иные законы, чем в земном мире, все значение которого состоит в том, что он может служить средством для первого. Значение вообще существует только духовное; и только значение придает смысл фактам. Таким образом, от того духа, в котором живет человек, зависит, послужат ли ему неудовлетворительные природные задатки, неудачи, горести или, напротив, счастье ко благу или ко злу.

По вечерам тибетцы любят собираться и, нарядившись в маски, устраивать пляски при свете факелов. Наделенные большим чувством юмора, они настоящие мастера пантомимы. Когда они пляшут, изображая драконов, каждое их движение выглядит таким естественным и правдоподобным, что перед нами словно бы ожи-

вает дух мелового периода, и я присоединяюсь к громким аплодисментами толпы. Эти ночные игрища среди гималайских гор представляются мне ожившим мифом. Мне вспоминаются индийские предания о начале и конце мира. В них говорится, что брахма создал мир словно играючи; без всякой натути, без цели, без обдуманного замысла, а так, как это бывает в детской игре. И игрой он когда-нибудь кончится. В последний день Шива заплещет, его буйная, вакхическая, ликующая пляска будет кружиться все бешеней, пока в ней не исчезнет вся вселенная.

Какая тонкость в этом мифе! Насколько величественней он рассудительного старца, который шесть дней планомерно трудился, а на седьмой остался собою так доволен; который в завершение запланировал произвести генеральный расчет, когда проверка будет подведена по каждому пункту вплоть до последней мелочи. По мне, так куда лучше играющий Брахма. Вероятно, индийский миф прав. Если мир имеет начало, если в основе его лежит разумная причина, то она должна была появиться непреднамеренно и без заранее назначенной цели, подобно тому, как в воображении художника возникает произведение. Только в этом случае оно может считаться шедевром; с точки зрения иной, посторонней цели, не заключающейся в нем самом, оно оказалось бы неудачным. Если же брахма создал мир играючи, то его творение достойно всяческих похвал. Как разнообразен этот процесс! Как неожиданно одно сцепляется с другим! И как осмысленно задуманы правила игры!

Не ошибается ли человек, когда воспринимает мир трагически? Не достиг ли бы он высшего состояния, если бы мог вести себя как Брахма? Ибо чем игра отличается от работы? Не тем, что работа серьезна: я не знаю ничего серьезнее детской игры. Жизнь ведь как таковая бесцельна и непреднамеренна. Она вся — течение, рост, отдача, чистое стремление к наибольшей полноте выражения, для нее соображения целесообразности, представления о цели являются лишь помехами. Таким образом, чем непосредственнее существо, чем оно искреннее, живее, естественнее, тем больше его существование напоминает игру. Так, существование Бога можно представить себе только как игру.

Я переносюсь в состояние сознания, которое бы ему соответствовало: чего не хватало бы мне, если бы я достиг этого состояния? Я был бы выше судьбы, выше забот, выше себя самого, выше всего, что имеет ко мне касательство. Как бы зорко я ни всматривался в мир, я не мог бы обнаружить в нем ничего дурного. Так видел его Шекспир в том настроении, в котором писал свои комедии. Они суть произведения не человека; а Бога, для которого уже не существует трагического, для которого закон и судьба — это пустые слова, поскольку для него существуют только правила игры.

Калькутта

Это было у Тагоров, в старинном дворце. На шелковых коврах расположились музыканты, исполнявшие на старинных лютнях древние напевы. Их музыку невозможно было втиснуть ни в рамки одной мелодии, ни соотнести с определенными гармониями, ни рассчитать согласно структуре определенного ритма; неопределенным был даже контур отдельных тонов. И тем не менее все, что подавалось как одно целое, действительно представляло собой некое единство: единство состояния, которое длится, пока не перейдет в какое-то другое. Теория, я бы даже сказал мифология, этой музыки странна и удивительна. Начиная с доисторических времен определенные последовательности тонов соответствуют определенным живописным темам; для каждого образного мотива у знатока находится соответствующий раг. А каждый раг соответствует определенному времени года и может исполняться только в определенный час. Для каждого часа дня и ночи есть свои раги. Вчера, когда по моему настойчивому желанию зимним вечером решено было исполнить напев, относящийся к середине лета, музыканты забеспокоились; они не представляли себе, как такое возможно.

Непросто изложить словами, что значит индийская музыка, так мало у нее общего с нашей: ее сущность совпадает с сущностью индийского танца. Лишенная преднамеренности, ясно очерченных форм, не имеющая ни начала, ни конца; сплошное колыхание вечно текущего

потока жизни. Отсюда ее сходное воздействие на слушателя: она не утомляет, могла бы длиться вечно, ибо жизнью невозможно пресытиться. Но то, что в общих чертах характерно для науча, в музыке проработано до тончайших, интимнейших подробностей. Не время вообще, а определенные состояния жизни проецируются в ней на экране вечности.

Программная музыка Европы делает ошибку, пытаясь изобразить в звуках качества, не принадлежащие музыке. Для музыкальных качеств не существует эквивалентов в других сферах; музыка может быть только непосредственным выражением. Нам кажется, что в увертюре «Тристана» ощутимо передано движение волн, набегающих на песок, но это потому, что перед глазами слушателя находится берег, или потому, что он знает, что должен себе представить; сами по себе эти гармонии с таким же успехом могли бы изображать шорох леса. Реально эта музыка выражает лишь определенное состояние, которому нельзя дать никакой объективной дефиниции. Точно так же и раг летнего полдня не будет неизбежно вызывать представление о гнетущем зное. Но индийцы никогда этого от него и не требовали: раг летнего полдня должен соответствовать своему предмету лишь в той мере, чтобы как в зеркале усиленно отразить то реальное состояние, которое человек в это время переживает, а это требование музыка может выполнить. Один французский художник выразился однажды об индийской музыке, которая способна сделать это лучше любой другой, так: *c'est la musique du corps astral*. Именно это она и есть (если только существует астральный мир, соответствующий привычному представлению): это огромный, безграничный мир, в котором вместо предметов существуют состояния. Внимая ей, мы переживаем что-то неопределенное, неосязаемое, и все же чувствуем, что живем чрезвычайно интенсивно. Слушая сменяющие друг друга звуки, ты на самом деле вслушиваешься в себя. Ты чувствуешь, как вечер переходит в ночь, а ночь в день, как утренняя свежесть сменяется гнетущим полднем, и, вместо того чтобы видеть перед глазами череду стереотипных картин, которые лишь раздражают, ты улавливаешь своим сознанием в зеркале звуков все новые нюансы, которыми жизнь реагирует на пленитель-

ные впечатления мира. Разве тут заскучаешь? Разве может наскучить такая музыка? Когда я был слеп, меня поразило открытие, что незрячему человеку, оказывается, неведома скука. Время, которое мы обычно меряем по поведению предметов, которые редко меняются так быстро, как нам бы хотелось, теперь начинает измеряться по смене представлений. Поскольку творческая работа души происходит непрерывно и она непрерывно нагромождает новые образы, не может возникнуть ощущение однообразия. И это утешение, которым природа одарила слепых, индийская музыка делает достоянием всех людей, которые имеют уши, чтобы услышать.

На каждый раг существуют разные вариации; они называются рагини — женскими рагами, и таковых приходится сразу несколько на один мужской раг. Складывающиеся между ними отношения выражаются в музыке удивительным образом. Отчасти речь тут идет о музыкальном родстве, но главная суть того, как раги соотносятся с рагини, проявляется в вызываемом ими специфическом впечатлении, в особенных состояниях, которые они вызывают. Ведь женщины производят иное впечатление, чем мужчины. Что касается сокровенной сущности индийской музыки, то о ней можно сказать, что она живет в другом измерении по сравнению с нашей. Наша объективность для нее просто не существует. Стоящие рядом звуки не обязательно связаны между собой гармонически, отсутствует деление на такты, тональность и ритм непрерывно меняются; истинный характер индийской музыкальной пьесы невозможно было бы объективно отразить в нашей нотной записи. Объективностью индийской музыки, единственным, что является для нее определяющим, оказывается то, что в Европе предоставлено на усмотрение субъективной трактовки: выразительность, манера исполнения, туше. Эта музыка — чистая непосредственность, чистая субъективность, чистая, как сказал бы Бергсон, *durée réelle*¹, не связанная внешними ограничениями. Объективно понять ее можно только со стороны ритма, ведь ритм представляет собой как бы точку индифферентности между объектом и состоянием. Таким образом, музыка, с одной стороны, по-

¹ Длющаяся реальность (фр.).

нятна всем, а, с другой стороны, доступна только высоко-развитому в душевном плане человеку. Каждому — постольку, поскольку каждый человек живет, а музыка воплощает в себе непосредственную жизнь; только высоко-развитому — постольку, поскольку понять ее духовный смысл может только йог, знающий свою душу. Музыкальный человек не обладает в отношении этого искусства никакими преимуществами. Преимущество дано метафизику. Ведь метафизик — это человек, чей дух отражает жизнь в ее непосредственности, и то же самое делает индийская музыка. Внимая ей, он слышит собственное знание, обретшее дивное второе рождение в мире звучания. Эта музыка действительно лишь иное, более красочное выражение индийской мудрости. Тот, кто хочет понять ее до конца, должен сперва достичь осознания своей самости, должен знать, что отдельный индивид — это лишь мимолетный тон мировой симфонии, что все составляет единое целое, ничто неотделимо от другого; что все предметное — всего лишь состояние, а всякое состояние — это всего лишь мгновенный образ темной, неустанно текущей жизни. Он должен знать, что его сущность существует по ту сторону всяческих форм, которые являются лишь ее выражением или отблеском, и что спасение состоит в том, чтобы закрепить свое сознание в сущем. Так ощущали и так понимали эту музыку индийцы, у которых я гостил. Исполнители казались экстатиками, общающимися с богом. А слушатели внимали с таким набожным выражением, с каким внимают божественному откровению.

Это была памятная ночь. В высокий зал, увешанный старинными картинами, замечательно вписывались своим благородным видом облаченные в ниспадающие живописными складками тоги Тагоры с их тонкими, одухотворенными лицами. Абениндранат, представляющий живопись, напоминал мне типы, некогда украшавшие собой Александрию; поэт Рабиндранат производил на меня впечатление гостя из иного, духовного высшего мира. Никогда еще я, кажется, не встречал человека, представлявшего собой такой сгусток одухотворенной душевной субстанции... А теперь я еще раз окину взглядом индийскую форму жизни, индийскую мудрость и индийскую музыку. По сравнению с нашей эта музыка монотонна;

зачастую длинная композиция бывает построена на нескольких тонах, зачастую все настроение выражено в одной-единственной ноте. Сущность этой музыки заключается в чем-то другом; в масштабах чистой интенсивности; тут и не требуется широкой поверхности. Индийская метафизика также монотонна. Она все время говорит только об одном, в ней нет чего-то второго; бог, душа и мир сливаются в ней в единое целое, которое представляет глубинную сущность всего многообразия. Она тоже имеет в виду чистую интенсивность, самую жизнь, ту последнюю беспредметность, из которой, подобно внезапным мыслям, рождаются все предметы. На языке экстенсивности о неэкстенсивном можно говорить только в форме простоты, экстенсивность как таковая его не интересует. Но ничья мудрость не познала единое яснее, чем она. И наконец, сами индийцы. Стремясь только к сущностному, они уделяли мало внимания явлению. Последнее то заполняло все вокруг, подобно буйной растительности, то влачило убогое существование, поддерживаемое сознательным духом. Так, индийской личности поразительно не хватает широты и пространственности. В самом удачном случае она кажется бедной по сравнению с равными ей представителями Запада. Зато ей, как никакой другой, знакомы вариации интенсивности, разнообразие глубинных измерений. Среди лирики этого времени в лирике Рабиндраната Тагора глубина представлена самыми яркими и богатыми красками.

IV. НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

В Бенгальском заливе

После того как я в течение нескольких месяцев был занят только духом, мое тело, не вынеся таких условий, прибегло к крайнему средству для того чтобы напомнить о своих правах: я тяжело заболел, последние недели в Индии я провел в лежащем положении. Время это в своем роде не было лишено интереса. Это довольно-таки своеобразное состояние сознания, когда ощущаешь себя не столько действующим лицом, сколько неким полем сражения, на котором воют микробы. Кроме того, в периоды физической слабости переживаешь психические осады, которые ради разнообразия тоже казались мне нелишними. Во время болезни на первый план проступают такие черты моей сущности, которые в обычных условиях незаметны; женский аспект начинает преобладать, вследствие чего ты видишь мир в ином свете, более благоприятном для личного начала. В такие периоды у меня нет ни воли, ни желаний, и о своих привычных устремлениях, связанных с напряжением и усилиями, я вспоминаю с той кроткой, сочувственной улыбкой, с которой глядит жена на безрассудное тщеславие своего мужа.

Теперь я уже пребываю в состоянии выздоравливающего, а оно всегда вызывает у меня интенсивное наслаждение. Обыкновенно я ощущаю свое тело как нечто чуждое, относящееся к духу, как неотъемлемая материальная данность, внутренне не имеющее отношения к моей самости. Сейчас дух ведет себя совершенно пассивно, в то время как регенерирующие физические силы трудятся тем усерднее; и сознание, сконцентрированное на теле, переживает блаженное чувство непрестанной творческой деятельности.

Вероятно, таков характер ощущения счастья, испытываемого ребенком. Взрослому человеку ощущение подобного удовольствия знакомо только в периоды физической слабости, причем в тем меньшей степени, чем более он духовен. Теоретически нормальное психо-физическое равновесие, при котором центр сознания расположен ровно посередине между психический и физической стороной, так что обе части реализуются в одинаковой мере и смысле, для нашего брата не является и не может быть нормальным. Пускай телесная и духовная жизнь относятся к совершенно различным измерениям, однако на обе сферы работает одна и та же энергия, и для того чтобы она могла удовлетворять повышенные запросы одной из этих сфер, другая соответственно должна недополучать энергию. На первый взгляд может показаться, что англичане умеют соединять успехи в обеих областях сразу, ведь они всегда сочетают спортивную и умственную деятельность. На деле же они как раз доказывают невозможность такого соединения. Их духовный уровень в отношении глубины почти всегда бывает ниже, чем у немцев, как раз потому, что их калокагатия забирает часть той силы, которая могла бы достаться душе.

Да, вести какое-то время чисто физическое существование, быть пассивным и ничего не делать, и впрямь приятно. Такие периоды, кроме всего прочего, означают реакцию на периоды повышенной духовной деятельности. Йоги, правда, утверждают, что передышки недопустимы: стоит позволить себе на один день забыть о цели, к которой стремишься, и это отбросит тебя назад к такой точке, которую ты уже считал преодоленной. Они, наверняка, правы, если цель заключалась в том, чтобы окончательно перенестись в иные миры. Если же ты не собираешься преодолевать свои нормальные способности, а хочешь их поддерживать и развивать, то тебе лучше, напротив, следить за тем, чтобы не переусердствовать в йоге, ибо насилие над природным процессом может привести к неисцелимому параличу. Индийцы не были бы так непродуктивны, если бы они поменьше преуспели в йоге, ибо в способностях у них нет недостатка; постоянная фиксация духа лишает его самостоятельной подвижности; он перестает работать сам по себе. Продуктивная же деятельность состоит как раз в том, что

незаметно совершающий свою работу дух время от времени освобождается от созданий своей деятельности, выпуская их на волю. Поэтому тот, кто в наших земных условиях хочет чего-то достигнуть, никогда не должен насиловать природу, памятуя о том, что ее нормальный путь ведет вперед не по прямой, а по спирали. Чередование различных уровней сознания, ритмическая смена интересов так же полезны и необходимы, как смена бдения и сна. Я давно перестал мучиться в период депрессии и приходить в ужас от периодов поглупения: я знаю, что временное поглупение по сути дела является предпосылкой грядущих озарений.

Рангун

Как хорошо выдержан контрапункт в этом мире! Когда ты усталый покидаешь какую-то страну, тебе неизменно кажется, что ты уже неспособен что-либо воспринимать; но стоит попасть в другую, как тебя ждет приятная неожиданность, потому что оказывается, что ты столь же восприимчив, как раньше, так как новые впечатления воспринимают другие органы, чем те, что требовались в предыдущем случае. Так, например, Бирма прямая противоположность Индии, потому что здесь все живет ради чувственного восприятия и посредством органов чувств.

Индия прекрасна, местами величественна; однако ни один типичный брахман не присоединился бы к Теофилю Готье, который сказал: «*je suis de ceux, pour lesquels le monde visible existe*»; для брахмана все видимое — майя или, по крайней мере, не стоит того, чтобы на него смотреть. Воодушевляющая его огромная тяга к сверхчувственному виновата в том, что мир для него превратился в блеклую игру теней. Он мало или даже совсем не замечает своеобразия гор, джунглей, моря; разве что обратит внимание на сады в душные часы томительного сна. А там, где впечатления природы так сильны, что он не может их не заметить, он переводит их содержание в область трансцендентного, где собственный смысл явления опять-таки улетучивается. Такой подход несвойствен нормальному человеку; и он мстит за себя всем, кто не

создан исключительно для сверхчувственного (эти последние имеют божественное право не замечать чувственного), мстит тем, что они не только выглядят, но и на самом деле оказываются более тупыми, чем даже менее одаренное большинство; поскольку чувственного они не замечают, а сверхчувственное им недоступно, они вообще ничего не воспринимают. Того, кто временно избрал для себя такой подход, он гнетет, как кошмарный сон. Менее восприимчивые натуры могут не почувствовать на себе влияния индийской атмосферы: пейзаж действует на них непосредственно, они видят вещи, оказывающиеся у них перед глазами, так, словно мир не трансфигурировался под влиянием тысячелетних размышлений. Я же непрестанно ощущал присутствие духов. Я тоже мог воспринимать природу Индии только как майю; у меня было такое чувство, что я бы согрешил, если бы воспринял ее буквально. Поэтому я сегодня испытываю какое-то чувство освобождения, попав в такой мир, который целиком и полностью живет чувственными ощущениями и ради чувственных ощущений.

В Бирме это наблюдается в очень сильной степени. Больше чем во Франции или Италии, даже больше чем в древней Греции, развалины которой по сей день овеивает все тот же воздух. В Европе слишком силен интеллектуальный дух. Эллыны все время грезил вечною красотой, и с тех пор все западное искусство остается под знаком идеала, даже в том случае, когда в качестве идеала превозносится самая грубая природа. Так, французская чувственность по сути дела метафизична, ибо она основывается на духовных предпосылках: отними у француза воображение, и его эротика улетучится без следа. В Бирме духовный фон отсутствует. Буддизм, который мог бы его создать, на самом деле выстроил лишь нейтральное обрамление, в рамках которого чувства могут неограниченно жить ради себя самих.

Тон в Бирме задает бирманка, бессознательно уверенная в себе девушка. Народная жизнь окрашена ее очарованием, в ее цвета окрашена природа, она — добрый гений искусства. Когда я люблюсь на причудливые изгибы храмов и пагод, на изящную деревянную резьбу, отличающиеся блеском колонны, мои мысли невольно возвращаются к девушкам, которые танцующей походкой про-

ходят под ними: в подвижных формах бирманского искусства отражается тот же дух, что в походе дочерей этой страны, стеклянные украшения отражают их улыбки, хроматизм их своеобразных красок. Кажется даже, что единственная цель устрашающих драконов и змей, которых мы видим на коньках крыш и флагштоках, состоит в том, чтобы поугаать невзначай разыгравшихся шалуний. В этом мире девушка правит всем как царица. Сочувствие к ней — основная черта, оживляющая приветливые лица стариков; и кажется, что монахи только потому смотрят так строго и важно, чтобы не дать молодежи совсем забыть о суровой стороне жизни: ведь именно девушки настаивают на том, чтобы каждый парень, хотя бы недолго, но побыл не солдатом, как в Германии, но настоящим монахом.

До наступления ночи я просидел на площади перед пагодой Шве-Дагон. Я смотрел, как медленно меркнул блеск солнечных лучей на золотых крышах; смотрел, как девушки с цветами в руках приходили совершить вечернюю молитву, а старики, мирно попыхивая трубками, глядели на молодежь. Передо мной двое нищих играли странные мелодии на сделанных в форме джонки деревянных клавицимбалах. Вокруг меня змейкой вились любопытные вороны; пестрые петухи, красуясь, принимали геральдические позы, чем выказывали свое безошибочное чувство стиля. Временами показывалась полумертвая от голода собака, такая мерзкая, такая невообразимо безобразная по своему виду и выражению, что я невольно обменивался понимающими взглядами с деревянным драконом у меня над головой.

С наступлением ночи я уехал обратно в город. Один из бирманских домов гостеприимно отворил передо мной дверь. И под сладкое храпение матери я курил и шутил с ее дочерьми, четырьмя резвыми и несказанно очаровательными девчушками. Им был непонятен мой язык, я не знал того, на котором говорили они. Но мы очень хорошо объяснялись на общечеловеческом языке веселья, символика которого каждому понятна от рождения.

Возможно ли при наличии некоторых художественных наклонностей удержаться и не идеализировать эту

страну и народ, населяющий Бирму? Все, что ты видишь и что попадаете тебе здесь на пути, то и дело заставляет вспомнить миф о золотом веке. Тогда не было ни забот, ни потребностей; все люди любили друг друга, не знали войн и распрей; жизнь протекала, как у детей в зеркале взрослого сознания. Кажется, именно так протекает жизнь в Бирме.

Это состояние — заслуга буддизма. Его колоссальная формирующая сила в условиях тропиков проявляется в Бирме с еще более впечатляющей силой, чем на Цейлоне, потому что здесь церковь обладает еще большим значением, чем там, и почти не сказываются возможные преимущества картины перед рамкой. В человеческом плане бирманец во всех отношениях стоит не высоко; он не отличается ни глубиной, ни талантами, ни настоящей сердечной добротой. У детей эти добродетели еще не выработаны. Даже о монахах, не в пример цейлонским бхикшу, при всей их величавости нельзя сказать, что они внутренне сформированы буддизмом: они, подобно среднему католическому монаху, сформированы только внешне. Мудрость правил католических монашеских орденов велика, но их действенность проявляется лишь в особых, чрезвычайных условиях. Буддийский канон представляет в своей грандиозной простоте такую форму, которая соразмерна каждому обитателю тропиков и неизбежно ведет его к совершенству.

Как скудны и ребячливы представления, связанные в сознании бирманца с религией! С одной стороны, религия для него — это жизненная рутина, традиционная форма психофизической гигиены, а с другой, легкое и простое средство, чтобы обеспечить себе существование в потусторонней жизни или следующем земном воплощении. Достаточно построить пагоду, дать средства на устройство колодца или ратуши, уделять от избытка кое-что бедным и принимать участие в религиозных праздниках, похожих на наши веселые храмовые праздники, чтобы накопленных «заслуг» хватило на обеспечение будущего благополучия. Это как раз тот тип религиозности, который господствует среди народа в Италии и Испании — быть может, самый низший из всех возможных. Однако на этом утверждении еще рано останавливаться, оно еще не решает проблему в целом. Можно ли

ожидать от поверхностных детских душ глубокую религиозность? Нет; для этого они недостаточно самостоятельны. Для них религия может обозначать лишь внешние рамки, ценность которых измеряется по тому, в какой степени они воспитывают людей. В деле же воспитания достижения буддизма в Бирме таковы, что среди этих безответственных детей царят условия, напоминающие золотой век; учитывая предпосылки, обусловленные их природными данными, надо признать, что они не могли бы подняться на более высокую или лучшую ступень, чем та, на которую они поднялись благодаря буддизму. И причина лежит, конечно, не во внешней форме как таковой, а в имманентной глубине буддизма. Его форма является непосредственным выражением его содержания, а поскольку оно изумительно истинно, то даже при непонимании содержания самая форма его способна творить чудеса. Потому что в вопросах практической жизни человеку вовсе не обязательно понимать всю мудрость правил, которым он следует; мудрые правила доказывают свою магическую силу даже тогда, когда они остаются неосознанными. Древняя вера в силу магических формул включает в себе больше истинности, чем это кажется людям нашего времени; в словах и заклинаниях живут добродетели, передающиеся даже тому, чей дух способен воспринимать только их буквальный текст.

На берегах Иравади памятников святости еще больше, чем по берегам Ганга. Вершины холмов так и пестрят пагодами, не перечесть осененных цветущими деревьями монастырей, окруженных зеленеющими садами и оживленными песчаными площадками. Но Иравади — не священная река; с этой рекой не связано глубокой символики, за исключением квантитативной грандиозности. Серьезность бирманских паломников это, судя по их виду, не более, чем серьезность школьников, которые, не ведая усталости, хотят сполна насладиться всеми возможными радостями воскресной экскурсии.

Пенанг

Растительность Малайского полуострова поразила меня так, словно я никогда еще не видел ничего подобного.

Я с восторгом любовался самоуверенностью молодых побегов, умной гибкостью выющихся лиан, той мягкой настойчивостью, с которой листья борются за местечко под солнцем — всей этой тропической вегетацией, в тиши которой ты ощущаешь более бурное движение, чем среди волнуемой толпы. Правда, здесь благодаря сильнейшей освещенности пропадают те оттенки цвета и формы, от которых зависит красота северного леса, лишь с трудом можно выделить из сплошной зелени отдельные формы. Но именно поэтому все вместе живет так сильно; в общем целом растворяются отдельные существования. Подобно тому, как тысячи ручейков образуют могучую реку, природа в тропиках ощущается как одно грандиозное живое целое. Эта флора невероятно богата, она роскошнее, чем даже на Цейлоне. Кроме того, она еще и красивее, потому что там и сям среди зарослей джунглей возвышаются высоко возносящиеся к небу стволы, благодаря чему густая чаща как бы играет роль фона графически четкого рисунка. Светло серая окраска отмирающих деревьев-великанов помогает глазу лучше ориентироваться в окружающей зелени. Смерть здесь как бы разделила на такты чересчур запутанную партитуру.

Каким удивительным очарованием обладает мир растений! Тихое, словно бы неизбежное, совершенство, естественность гармонического сосуществования, бессознательная красота растений, да и вообще это беспроblemное существование как таковое всегда воспринимались мною как подтверждение того, что и я уже недалеко от моей цели. Ведь я и сам глубоко укоренен в растительной жизни, так я это понимаю; она составляет устойчивую основу моей подвижности. И чем больше я это осознаю, тем сильнее чувствую себя укрытым в этом прибежище. Здесь же дружественные растения почти страстно обнимают меня со всех сторон атмосферой своей сущности. Они говорят мне, что я уже получил надежное обещание обрести то, что все еще продолжаю искать в слепых борениях, что я уже у цели и все обстоит наилучшим образом. И как же деятельному человеку не любить растение, если в нем он находит то главное, чего ему недостает? Князь Бисмарк нигде не отдыхал так хорошо, как в мирной тишине саксонского леса. Говорят:

«стойкий дуб», «величественная сосна»; эти выражения необъективны. Самое существенное в растении для нас как раз то, что ни одно слово из области деятельной жизни мужчины к ним нельзя отнести. Зато возможно сравнение с жизнью женщины, а точнее говоря, жизнь женщины имеет сходство с жизнью растения; притяжение мужчины-воина к тихой женщине и к равнодушному растению объясняется одним и тем же мотивом. В них обоих проявляется та разновидность жизни, для которой цель изначально достигнута; и вот к ней-то и тянется его беспокойная душа. И потому мы, мужчины, пока это было в нашей власти, всегда подчеркивали в женщине вегетативное начало. Активная, энергично действующая женщина нам не нужна.

Вероятно, наша планета была чудесна в былые времена, когда на ней доминировало царство растений. Нужно ли было вообще, чтобы жизнь вступила на тяжкий путь деятельного становления? По сути дела, ни один сверхчеловек с его достижениями никогда не превзойдет розу. Для чего эта трудная спираль? Этот вопрос, который я не раз печально себе задавал, оглядываясь с достигнутой вершины на распластавшийся внизу пейзаж, я и сегодня повторяю с грустью. Я знаю: наша судьба — взбираться вверх; я и сам пришел бы в отчаяние, если бы вынужден был остановиться. Но вспоминая тот вид, который открывался передо мной с самых первоначальных ступеней, о радостях, которые мне тогда предвещала жизнь, я все равно сожалею о том, что пришлось подниматься выше.

Сингапур

Растительный мир настолько доминирует в характере малайской природы, что я не замечаю ничего другого; мой взгляд то и дело обращается на растения.

После Цейлона я больше не углублялся в эту форму жизни, поэтому интерес к ней обновился. Я снова прихожу к той же мысли: для того, кто в совершенстве понял бы растение, не осталось бы в жизни никаких тайн. А ведь растительная форма так дружески перед ним раскрывается. Искреннее, чем она, правдивее, честнее быть невозможно; только она, возможно одна из всех существ

в мире, предстает такой, какова она есть. Как редко так поступают люди, да и то разве что на какой-то миг! Они, может быть, и хотели бы быть правдивыми, но всегда на передний план выступает что-то случайное, и общая картина, то, что составляет в ней самую сущность, искажается. Это относится даже к высшим животным, в то время как растения, блаженные, кроткие, никогда не подвержены расстройству чувств и всегда отражают на поверхности свою глубинную сущность. В феноменологическом плане они тоже дают нам не меньше, чем более подвижные существа: разнообразие их форм так велико, что обогатить его могла бы только божественная фантазия. Очевидно, открытие психической сферы, добавившее человеку по сравнению с животным такое широкое поле деятельности, не привело к появлению таких новых образований, дух которых не был бы уже реализован растениями на их уровне. На определенном уровне флора представляет собой не только законченное выражение духа, но вдобавок еще и совершеннейшее из всех, какие он где-либо еще получил. С точки зрения совершенства, величайшие из людей выглядят по сравнению с любым растением жалкими уродцами. Таким образом, флора не только ставит проблемы, но и дает ответ на все, какие только может выдвинуть человек. Созерцание растений сегодня опять заставило меня осознать эмпирический смысл свободы. Что такое свободный поступок? Спонтанный процесс, совершающийся согласно строго предначертанным законам. Элементарные понятия данного определения с замечательной пластичностью иллюстрирует жизнь растений. Я не знаю ничего более немеханического, чем прорастание растительного побега в тропиках; что можно назвать спонтанным, как не этот торжествующий рост вверх. Тем не менее нигде законы природы не проявляются так отчетливо, как здесь. Я вижу перед собой один из тех причудливых гигантских листьев, которые, словно по какой-то прихоти, висят на стебле нарочито неправильно; какая напряженность в форме, как они вибрируют от переполняющей их жизни! Тем не менее их устройство можно без труда объяснить с физико-математической точки зрения, возможно, его мог бы сконструировать какой-нибудь техник. А мы? Свободны ли мы на практике в каком-либо ином смысле,

чем растения? Навряд ли. Основой эмпирического понятия свободы является возможность произвола. Между тем в действительности тот, кто действует произвольно, больше всех связан в своих действиях; как бы тиранически он ни управлял миром, он — раб самого себя, своих страстей, элементов своей души и отличается от растения только тем, что его природа как таковая обладает большей текучей подвижностью. Но и тот, кто владеет собой, не обладает настоящей свободой, а свободен лишь тот, кто свободен от себя, кто ни в каком отношении не ограничен своим эгоизмом; а это, выражаясь на языке мистики, означает: тот, кто совершенно покорен Богу, или, выражаясь научным языком: тот, чья индивидуальная воля совпадает с наиндивидуальной, определяющей его место в мире явлений, а это, в свою очередь, означает, что свободен тот, кто пассивен, как лилия. Свободны в конечном счете оба — растение и человек, т. е. одушевляющая их жизнь в существе своем есть свобода. Но эмпирический процесс в обоих случаях имеет один и тот же смысл; это закономерное самопроявление вовне. А совершается ли это посредством бессознательных порывов, слепых инстинктов, индивидуальной воли, сознательного согласия или инициативы в чем-то, что по своим целям выходит за рамки личности, это по существу безразлично; рост растения, произвол, жертва человека означают одно и то же. Если бы растения могли поставить вопрос о свободе, они ответили бы на него так же, как мы.

Я мог бы с меньшим трудом понять смысл инстинкта бессмертия, если бы вместо того, чтобы заниматься анализом собственного ощущения самости, попристальнее взгляделся в зеленый мир. Все представления о бессмертии представляют собой разрастание коренного сознания того, что человек — это не последний предел, что смысл жизни лежит глубже. Флора демонстрирует нам эту истину *ad oculos*¹. Растения не знают, что такое индивидуальность, и лишь в виде исключения знают о смерти. В каждом, даже самом своеобразном, единичном существовании главный акцент лежит на том, что переживает смерть.

¹ Зримо (лат.).

А красота? Глядя на растения, ты сразу видишь ее смысл. Прекрасно каждое явление, в котором имеющиеся возможности получают свое совершенное выражение; поэтому растения всегда прекрасны, если только внешние обстоятельства не помешали их росту. Кроме того, они надевают праздничный наряд, когда настает время увековечения; тут они красуются во всем цвету. Ученые пытались объяснить это соображениями полезности. Как же слеп разум! Красота всегда есть самоцель; она является крайним выражением возможного. Все творение становится прекрасным в период любви, поскольку тут в индивидуальном проявляются бесконечные, сверхиндивидуальные возможности, потому что бренное преобразуется тогда духом вечности. У человека он вызывает душевный расцвет; его красота делает прекрасным самое невзрачное лицо. У растений, у которых все растворено в телесности, дух вызывает появление телесных цветов.

И даже самую темную, трагическую проблему позволяет понять созерцание растений: проблему односторонности любого направления развития. Сущность — это либо монада, либо элемент; как монада она обречена на смерть, как элемент — бессмертна, но неиндивидуальна. Дерево достигает совершенства либо в цветении, либо как носитель плодов, либо своей вышиной, либо тенистостью, быстрым ростом или прочностью древесины. Быть всем сразу оно не может. Самое большее, чего оно может достичь своими усилиями, это поочередно выполнить на протяжении своей жизни все заложенные в нем возможности совершенствования: сначала быстро расти, затем стать прочным; сперва жить ради цветения, затем ради плодов; сперва вытянуться ввысь, затем отрастить развесистые ветви. Однако лишь немногие так богаты, чтобы стать совершенными более, чем в одном смысле.

Гонконг

Пейзаж Гонконга напоминает Ривьеру; тропики я оставил позади. Напряженность атмосферы ослабла, солнечные лучи уже не гнетут, все оттенки смягчились. Тропические закаты и восходы солнца разочаровывают того,

кто многого от них ожидал: утром оно встает из моря, подобно дрожащему пузырю пламени... и сразу же становится светло; вечером оно падает в море каплей расплавленного металла... и сразу наступает ночь, никаких симфоний красок ни до, ни после, за исключением таких дней, когда плотные скопления облаков искусственно создают условия для преломления света, как это бывает в умеренных широтах. В контрастных эффектах они не могут состязаться с тропиками; но возможности тропиков небогаты, а сильные контрасты смазывают все нюансы. Поэтому сегодня, глядя с Пика на плоскую поверхность Китайского моря, я словно бы ощущаю прилив новых сил: я вижу тонкости и постепенные переходы в красках и формах, которых еще несколько дней назад не замечал. Для этого природа Дальнего Востока как никакая другая дает много поводов: линии в ней такие чистые, а переходы так аккуратно обозначены, как у нас это можно представить себе только при способности к художественному абстрагированию; эта природа стилизована самим Богом. Многие пленительные особенности китайской живописи подсмотрены у нее. Когда я взглянул на вечернее море, мне сначала показалось, что над ним стоят длинные белые полосы тумана. Как же я удивился, разглядев плавающие над ними острова! Сколько бы я ни смотрел, непосредственное наблюдение никак не могло убедить меня, что эти острова не висят в воздухе; перед лицом этой природы требуется такая же фантазия, чтобы уловить перспективу, как при рассматривании восточно-азиатских картин.

Я уже вижу: в Китае я должен буду переориентироваться в основном на зрительные восприятия — все явления здесь до краев полны смысла. Я предвижу такой синтез сущности и видимости, какого я до сих пор еще никогда не встречал.

V. КИТАЙ

Кантон

К сожалению, мое пребывание в Китае начинается при неблагоприятных обстоятельствах: в стране сейчас разгар революции. Такие периоды часто называют «великими», и некоторые потом всю жизнь живут воспоминаниями о том, что «были тогда свидетелями»; тому, кто умеет смотреть глубже, эпохи насильственных политических переворотов представляются самыми неинтересными из всех возможных. Ибо в виду чрезвычайных внешних событий подавляющее большинство теряет душевное равновесие; люди живут поверхностной жизнью, которая, в свою очередь, ненормальна и не символична для сущности; их истинный характер никак не проявляется. Что объясняют акты насилия периода террора или июльской революции в мирных парижских буржуа, которые их совершали? Ничего. Под влиянием массовых импульсов они просто исполняли соответствующую роль. Встречаются, конечно, и исключения. Настоящие буревестники, которые только в такие эпохи полностью проявляют свою самость, и они представляют в этом случае большой интерес; но буревестники встречаются реже, чем это кажется; у большинства людей их поведение в исключительных ситуациях не имеет ни малейшего символического значения. В минуту опасности мужество проявляет почти каждый джентльмен и почти каждая мать, когда опасность грозит ее детям, в Германии же, в частности, храбрость выказывает почти каждый перед лицом типических опасностей, которым он подвергается в силу своей профессии: капитан тонущего корабля, генерал во время битвы, бургомистр во время эпидемии

и т. д. Но только в героических поступках самость этих людей проявляется не более, а скорее менее обычного или вовсе отсутствует, ибо тут они действуют не как индивиды, а как представители чего-то; и очень, даже слишком часто в этом типичном поведении, по сути дела, выражается такая же попытка спрятаться от собственного Я, какую представляет собой риторика преступника на эшафоте. Если Наполеон ценил в своих генералах только то, как они ведут себя *in extremis*¹, то это объясняется лишь тем, что в его случае все решающие события происходили *in extremis*, а сами люди как таковые были ему глубоко безразличны; если бы для него важна была их человеческая сущность, он судил бы о людях иначе. Впрочем, вопреки тому, что утверждает Метерлинк, она не обязательно проявляется в рамках обыденного существования, поскольку оно не всегда соответствует конкретному человеку; сущность выражается только в соответственных рамках, а таковыми, *par définition*, не могут быть чрезвычайные обстоятельства. Тем более в Китае, стране вечного мира и порядка! Эту революцию я вообще не могу принимать всерьез, и, если не ошибаюсь, ее не принимает всерьез ни один коренной китаец в том смысле, в каком это привычно для европейцев; как мне кажется, он рассматривает эту революцию так, как и следовало бы рассматривать любую из них, т. е. как кризис организма. Через некоторые стадии развития тело не может пройти без насилия: начинается болезнь, лихорадка, температура поднимается до кипения; в этом смысле революции иногда неизбежны (хотя, по-видимому, такой характер должны бы носить менее половины из тех, которые отмечены в новейшей истории); в частности, французская, несмотря на ее, как выяснилось в дальнейшем, малоприятные последствия для Франции, несомненно, отвечала внутренней необходимости, поскольку другим способом невозможно было переломить закоснелый *ancien régime*² с его упроченными формами и инстинкциями. И тем не менее детская болезнь при всей ее неизбежности не может считаться героическим подвигом. Я с трудом удерживаюсь от улыбки, слыша, как восхва-

¹ В последний момент (лат.).

² l'Ancien Régime (фр.) — старый режим, королевский строй.

ляют «подвиги народа». Такого конфуза Китай у себя никогда не потерпит. Там не станут долго превозносить как героя Сунь Ят-Сена, как это, наверняка, случилось бы в Европе; возможно, ему будут благодарны за то, что он затеял, в целом же дадут ему оценку, соответствующую его истинному значению добропорядочного, хотя и небезобидного идеолога.

Не только во временном, но и в пространственном отношении мое китайское путешествие начинается менее удачно, чем мне бы того хотелось: в Кантоне тебя так захлестывает внешняя сторона жизни, что за ней кажется психически невозможным различить что-то другое. Между тем общественная жизнь в целом здесь совершенно неинтересна, поскольку ее формы отражают не душу, а служат лишь для выражения объективной необходимости или для удобства общежития, и потому в них незаметно не только тех отличий, которые характерны для разных народов, но, по сути дела, даже тех, которые свойственны человеку в противоположность животному. Очень много написано о своеобразии китайских общественных институтов, я нахожу их даже слишком похожими на европейские; каковы бы ни были отличия *de facto*, их суть мало чем разнится от наших. В этом огромном торговом городе, который славится своей непохожестью ни на какие другие, я вообще не почувствовал, что нахожусь в непривычной обстановке. Что нового (если повернуть дело обратной стороной) увидел бы китайский метафизик в Берлине или Франкфурте? Духа, который там действительно отличен от здешнего, среди суеты большого города он бы вообще не почувствовал. Он отметил бы, что усердия и труда там заметно поменьше, гораздо больше хлопотливости, и, вероятно, пришел бы к выводу, что мы, европейцы, точно такие же люди, только стоим на более низкой ступени культуры.

Чтобы не уйти с пустыми руками, я временно отключаю метафизика и занимаю позицию чистого наблюдателя. По деловитости Кантон, кажется, превосходит все, что я когда-либо видел; бездельничающих людей здесь, похоже, вообще не встречается. И самое поразительное, что все эти люди, которые только и делают, что ищачат, смотрят весело. Я начинаю понимать, почему европейцам всегда чудится в китайцах что-то нечеловеческое.

Если кто-то сравнивает их с обезьянами, то я советую ему вспомнить, в чем заключается черта, которая придает обезьянам такой гротескный вид: она заключается в контрасте умных, человеческих глаз и животного лица; по этой причине очень умный и в то же время живой взгляд физиогномически воспринимается как что-то обезьяноподобное даже при таком лице, как у Канта. В кантонах видится не столько звериное, сколько нечеловеческое из-за ощущения, что за их, по нашим понятиям, недостойным человека существованием кроется не природная дикость, а культура. Эта веселость — продукт культуры. В чем состоит причина чрезвычайной антипатичности этого города? Мне никак не удастся получить чистые впечатления. Виноваты, кажется, не грязь и вонь: в Италии их тоже хватает. Эти черты неотъемлемы здесь от специфического характера и даже специфического очарования этого города. Да и весьма неприятные запахи Бенареса я под конец едва ли не полюбил. Не виновата, по-видимому, и чисто китайская специфика, потому что она, скорее, даже привлекательна. Очевидно, дело здесь в предельно коммерческой атмосфере. Побыв некоторое время среди мелких торговцев, я всегда испытываю от этого нарушение внутреннего равновесия. Но и это соображение не дает окончательного ответа... Наконец я понял — вот оно в чем дело: противное ощущение, которое я испытываю от Кантона, вызвано бездушной машинальностью здешней жизни! Люди трудятся здесь в буквальном смысле слова бесполезно и бесцельно. У них совершенно отсутствует то, что составляет идеальную сторону коммерсанта: широта и размах; они копошатся, словно муравьи. А когда муравьи, оставаясь муравьями, ходят с разумнейшими лицами и несомненно носят на себе отпечаток культуры, такое зрелище просто пугает.

Не может быть, чтобы Кантон, как мне не раз пришлось слышать, действительно был сердцем Китая. Кантон не более типичен для этой огромной страны, чем Марсель или Неаполь для Европы. Однако некоторая типичность в нем, вероятно, все-таки есть, и, наверное, это даже хорошо, что с этой стороной Китая я познакомился с самого начала в такой ярко выраженной форме, так как иначе я бы ее не заметил, ослепленный всеми красотоми, которые мне предстоит еще встретить. Китаец, оп-

ределенно, больше всех людей похож на муравья; и в этом отношении он наверняка стоит ниже, чем мы. Но именно в этом коренится его необъяснимое превосходство: в социальной культуре низших народных слоев. У муравьев ни одна работница в своей области не уступит в культуре никакому гранд-сеньору.

Ну вот я уже обвыкся настолько, что негативные ощущения, которые во мне вызывает Кантон, перестали мешать моим отвлеченным размышлениям. Как же хорош, несмотря ни на что, этот город! Все декоративное отличается таким совершенством, какого я нигде до сих пор не встречал. Ювелирное дело, искусство резьбы по дереву и по слоновой кости — словом все, что относится к художественным ремеслам, стоит на необычайной высоте; здесь самый жалкий ремесленник, кажется, обладает вкусом в самом высоком смысле слова. И при виде сухого и будничного выражения этих удивительных мастеров я всякий раз прихожу в смятение. Очевидно, вся эта культура в отношении отдельного человека вообще ничего не значит; все их совершенство основано на рутине. Невольно я задумываюсь о древних временах, когда застывшая форма еще дышала трепетной жизнью... Но затем я спрашиваю себя, а существовали ли прекрасные формы вообще до того, как отделиться от своего содержания? Вероятно, Флоренция тех времен, когда в ней творили Леонардо и Микеланджело, была далеко не так прекрасна, как во времена своего упадка; в эпоху своего возникновения форма ведь еще не существовала. Также и Китай, вероятно, сегодня представляет гораздо больше интереса для зрителя, чем в эпоху Танской династии...

Китайцы, некогда бывшие великими творцами, очевидно, утратили свои творческие способности. Тем более значителен тот факт, что они, по-видимому, не пришли в упадок (как в сфере искусства, так и в жизни), что почти всегда происходило в периоды стагнации на Западе; для них, судя по всему, следование традиции биологически эквивалентно изобретению нового. Все неоформленное в Китае уже достигло своей кристаллизации, и тем самым, по крайней мере на какое-то время, наступил конец творческого обновления. Но когда одно и то же с той же силой возникает снова и снова, это никак нельзя на-

звать бесплодием: это путь природы, которая на протяжении огромных отрезков времени сохраняет старое, прежде чем решится создать что-то новое. Для того чтобы понять культуру китайцев, к ней, очевидно, нужно применять мерку геологических эпох. Вероятно, этим можно объяснить их неприятие всяческих новшеств: их сущность, очевидно, вовсе не враждебна новшествам, ибо на протяжении истории Китай испытал не меньше перемен, чем Европа; только он с ними меньше спешил. Как правило, чрезмерная торопливость — это вовсе не добрый, а скорее дурной знак. Это может быть признаком того, что человек поставил перед собой слишком высокую цель, что он не может терять ни минуты, если хочет ее достигнуть; но по большей части это означает всего лишь то, что он предчувствует свою кончину...

Невиданные формы и красочность кантонских улиц все больше поражают мое воображение; все формы дышат высочайшей чувственной культурой; чуть ли не каждая арабеска драгоценна своим художественным замыслом, даже в тех случаях, когда исполнение оказалось не на высоте. А после захода солнца город представляет собой феерическое зрелище колоссальной симфонии черного и золотого. Повсюду на фоне ночного мрака горят красивые светильники, повсюду светятся огненные идеограммы.

Ими я все время люблюсь и не могу налюбоваться. Они так прекрасны по форме, что китайские улицы радуют глаз уже одними лишь рекламными щитами и вывесками. Письмо и живопись ценятся одинаково высоко, и разве это могло быть иначе? Уже по самой идее иероглифа в нем заключено высочайшее искусство; а для того чтобы выписать иероглифы так, как это требуется и как делается по большей части, нужна рука настоящего художника. За красивую рукопись знатоки иной раз платят не меньше, чем за произведение живописи.

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что высокий уровень китайской культуры в области видимой формы в значительной степени выработался благодаря форме их письменности. Ведь они не только с детства живут среди такого окружения, которое способствует развитию чувства формы, но внимание к форме является для них жизненной необходимостью. В устной форме китайско-

го языка как такового не существует; в каждой области говорят на своем особом диалекте, и эти диалекты порой отличаются один от другого не меньше, чем английский язык от немецкого. Однако все китайцы пользуются одними и теми же знаками письменности и с их помощью могут понимать друг друга даже в тех случаях, когда устное общение было бы невозможно. Как же им в таком случае не заниматься тщательным изучением письменности? После овладения письменностью сами собой появляются новые преимущества. Красота, присущая идеограммам, невольно воспитывает вкус, тем более что плохая каллиграфия считается признаком невоспитанности, а необходимость мгновенно различать большое число идеограмм, отличающихся одна от другой мельчайшими деталями, обостряет зрение и видение. Неспособность образованных китайцев сделать что-то безобразное и недостижимо высокое чувство формы, присущее подавляющему большинству китайцев, без сомнения, выработаны под влиянием этой системы письменности.

Однако достоинства этой письменности не ограничиваются вышепречисленными; я восхищаюсь ею главным образом за ее духовное значение. Мысль как таковая, как правило, может быть выражена только символически, но не объективно или сама по себе; рисуют символ отношения, из связи которого с рядом стоящими символами проясняется смысл написанного. В таких условиях невозможно читать, не думая; из этого рождается поразительная комбинационная способность китайцев даже самого низкого положения, поскольку они умеют читать и писать. Кроме того, посредством идеограмм можно выразить гораздо больше, чем при помощи членораздельных средств коммуникации. Только люди, которым никогда не приходили в голову глубокие мысли, утверждают, будто возможно при любых обстоятельствах определенно выразить свою мысль. Нет такого языка, который был бы способен на это чудо. У каждой эпохи есть свои специфические пределы, за которые не может вырваться ни один гений, вдобавок свои пределы существуют у каждого языка. Трудно предположить, чтобы когда-нибудь был изобретен такой язык, на котором все можно было бы выразить объективно, тем более что всеобщая тенденция

развития направлена в сторону эксплицитности, а следовательно к обеднению; на французском можно выразить меньше, чем на немецком, на современном английском меньше, чем на языке елизаветинского века. Это можно сказать о том, что в принципе поддается эксплицированию; так что же тогда говорить о том, что выходит за рамки всех средств выражения и в то же время представляет собой реальнейшую реальность — об объектах метафизического смысла и глубинного религиозного переживания? Это на наших языках вообще не поддается выражению. А в китайской письменности поддается. Там можно расставить символы отношений таким образом, что они будут включать в себя и в то же время квалифицировать бесконечное содержание, подобно тому, как открытый угол служит определением бесконечного пространства. Когда «обладающий знанием» видит эти знаки, он тотчас же понимает выраженную ими мысль и извлекает из них, в том случае если это не было ему уже наперед известно, больше того, что могло бы ему рассказать длиннейшее рассуждение. Один пример: все конфуцианство можно изобразить в трех (читаемых связно) символах, из которых первый означает «концентрироваться, делать усилие», второй — «центр», а третий — «гармонию, направленную вовне». Этим действительно сказано все, что содержится в четырех книгах, а кроме того еще и то, что по идее лежит в основе конфуцианства, но было, вероятно, неизвестно его основателю. Может ли смертный сделать что-то большее, чем полностью

致
中
和

углубиться в себя посредством крайнего напряжения всех душевных сил и запечатлеть достигнутую углубленность вовне в гармоничности явления? Здесь не только сущность конфуцианства, здесь даже больше того, о чем догадывался сам Конфуций, здесь выражен высший идеал человеческих стремлений вообще. О, если бы я мог писать по-китайски! Ради этого я бы с радостью отказался от всех других средств выражения. Когда развеются все слова, блаженные духи еще будут созерцать лик истины во фрагментах китайской графики...

Китайский способ выражения не предметен, а суггестивен, т. е. предполагает симпатически настроенного слушателя или читателя, подобно тому как это обстоит в опосредованном способе выражения женщин. Во многих отношениях это недостаток, вызывающий неудобства: он только усложняет достижение практической договоренности — нет сомнения, что намек представляет собой меньшее, чем четкое высказывание того, что ты думаешь; наши поэты, стремящиеся к суггестивному воздействию, тоже стоят не выше, а ниже тех, кто выражается эксплицитно, так, например, Стефан Малларме ниже Бодлера. Особенно сильно этот недостаток сказывается в философии, исконная задача которой состоит в том, чтобы отчетливо объяснять то, о чем другие, может быть, смутно догадываются. Соответственно, научные знания можно выразить китайским письмом лишь в несовершенном виде. Однако было бы неправильно ставить в упрек китайской письменности то, за что мы заслуженно упрекаем женственный способ выражения Малларме, потому что идеограммы представляют собой способ выражения иного рода, чем наши слова или наша письменность: их можно сравнить с математическими формулами. Назвать их слишком бедными может лишь тот, кто по недомыслию стал бы требовать, чтобы в них определялся каждый в отдельности результат того закона, который они формулируют: на самом деле в них больше точности, чем в любом возможном словесном определении, и вдобавок сфера их действия гораздо шире. То же самое можно сказать о китайских формулировках, нужно только уметь их читать. Они, конечно, не дают непосредственного определения, зато так четко определяют возможное, что из сочетания с другими возможностями однозначно прочитывается действительное. Таким образом, китайский письменный язык для решения многих задач может служить не хуже, а лучше нашего именно потому, что он подобно математике непосредственно выражает такие отношения, которые не поддаются языковому выражению. Какой смысл существует обособленно? В каждом звучит столько обертонов, столько всего подразумевается, и все это мы вынуждены умертвить ради ясности выражения; китайская письменность сохраняет однозначность смысла,

не заглушая ни одного обертона. При этом она не отнимает у действительности ее многокрасочности, как это делает математика. Все высказывания китайских мудрецов отмечены некоторой склонностью к парадоксальности. Это отчасти вполне понятно хотя бы по той причине, что всякая истина должна казаться незнающему человеку парадоксальной, тем более что отвлеченные можно представить только при условии сильного контрапунктирования, но в то же время чрезвычайно любопытен характер этой парадоксальности: она окрашена в юмористические тона; я не могу назвать ни одного высказывания китайской мудрости, над которым в определенном настроении мне бы не хотелось от души посмеяться. В чем тут причина? Отвлекаясь от особенностей национального склада или сводя ее к общим принципам, я обнаруживаю, что в этих высказываниях оттенок житейской благожелательности как бы переносится на космос. Юмор — вещь очень глубокая; юмором обладает тот, кто умеет выразить глубоко понятое противоречие с точки зрения благожелательности. Так китайская иероглифическая письменность охватывает собою весь космос, и из *mécanique céleste*¹ получается эпиграмма.

Пока Китай сохраняет свою письменность, нам, по крайней мере в одном отношении, не грозит опасность, что смысл будет уничтожен буквой: ибо здесь само значение порождает реальный факт. И я не думаю, что она когда-нибудь будет вытеснена какой-то другой, современной, хотя можно ожидать, что Китай, как и Япония, обзаведется для деловых целей какой-нибудь более простой и удобной. Во всяком случае, было бы глупо думать, что замена китайской письменности нашей означала бы шаг вперед в прогрессивном развитии, ибо то, что зовется прогрессом, означает не победу духа над материей, а прямо обратное явление. Возможно ли большее торжество материи, чем если бы дух вынужден был полностью к ней приспособиться?

Сегодня я побывал на площади, на которой еще недавно ежедневно производились казни, чудовищные по сво-

¹ Небесной механики (фр.).

ей жестокости. Этому внезапно положен конец: пытки отменены и, по всей вероятности, навсегда. Похоже, что это новшество (по европейским понятиям событие огромного значения) было принято и введено, словно какая-нибудь денежная реформа: некий член комиссии вычислил, что в сложившихся обстоятельствах человечность должна оказаться выгоднее. Никто в Китае как будто бы не видит в этом изменении юридической практики ничего особенного, включая самых непосредственных участников, т. е. осужденных. Недоволен, как говорят, только цех палачей, так как его умельцы теперь оказались в незавидном положении.

Находясь на арене стольких мучений, я, естественно, задумался над тем, каков смысл жестоких истязаний при умерщвлении, и пришел к выводу, что они, по идее, имеют очень основательные причины, во всяком случае не уступающие утонченным ухищрениям любовного поцелуя. В обоих случаях речь идет не о непосредственном, а о косвенном усилении ощущений; они усиливаются благодаря связанным с ними представлениям. Поскольку здесь, как и везде на Востоке, смерть человека сама по себе никого не пугает, легко напрашивается идея обставить ее таким впечатляющим образом, чтобы сохранить что-то от устрашающего эффекта казни. В любом случае смысл мучительного убивания нацелен не на того, кто его претерпевает, а на того, кто наблюдает его и мог бы претерпеть, т. е. на того, кто только представляет его себе в своем воображении, тем более что даже под самыми ужасными пытками жертва, по всей вероятности, мучается все же не так ужасно, как это кажется сострадающему зрителю. Ведь у жертвы абсолютная величина боли вскоре переходит за грань всякого воображения и тем самым лишает человека способности связывать ощущения данного момента с прошлыми и предстоящими; после того как это произошло, сознание целиком заполняется настоящим, и тогда самая ужасная пытка должна ощущаться не более страшной, чем лечение больного зуба у грубого врача. Мне довелось порядком поэкспериментировать в области болевых ощущений, и я обнаружил, что почти невыносимую боль можно без особого труда вдвое ослабить, центрируя свое сознание на чем-то другом, т. е. отвлекая свое внимание или выключая уси-

ливающую впечатление работу воображения; к этому добавляется второе смягчающее обстоятельство, заключающееся в том, что человек привыкает даже к боли, да и неспособен ощущать ее сверх определенной меры: если он не теряет сознания, то, по крайней мере, у него притупляются чувства. Эти соображения подтверждаются всем опытом пыток. Во-первых, простые люди страдают меньше утонченных и это именно потому, что у них слабее воображение; во-вторых, особенно китайцы выказывают под пытками необычайное спокойствие, потому что не видят в пытках ничего ужасного; и наконец, в средние века несомненно тонко организованные натуры удивительно хорошо переносили пытки. Итак, если все-таки смысл пыток заключается в их нацеленности на осужденного, а не на того, кто на них смотрит или о них думает, то их изобретение и введение основано на недоразумении.

Этим объясняется то обстоятельство, почему так много высококультурных наций столь долго не отказывались от жестоких видов казни; там, где принята теория, что наказание прежде всего служит для устрашения (а где она не принята?), пытка в принципе получает свое оправдание, а ее отмена происходит не столько из соображений человечности, сколько из соображений целесообразности. Поэтому между нами, которые предприняли этот шаг сто лет назад, и китайцами, которые лишь на прошлой неделе последовали нашему примеру, различие не так уж велико, что в значительной мере снимает впечатление парадоксальности их отношения к этой реформе, о котором я говорил в начале моего рассуждения. В Европе гуманизация тоже больше относится к системе, чем к человеку. Сторонники прогресса не проводят с должной четкостью разделения между этими двумя факторами: исходя из системы нельзя делать выводы о человеке, который действует согласно ее правилам. Средневековый судья, назначающий исключительную пытку, в человеческом отношении может быть не хуже более человеческого судьи нашего времени, в то время как гуманность последнего, напротив, может ничего не говорить о его человеческой сущности; даже палачи нередко бывают добродушными людьми. Для среднего человека всегда оправдано то, что привычно; человек, впервые указав-

ший на бесчеловечность пытки, не обязательно был ангелом, но он, наверняка, был большой оригинал. Марк Аврелий не имел ничего против того, чтобы присутствовать на жестоких боях в цирке, даже восприятие Лютера не было окрашено современным гуманизмом; святая Тереза, одна из прекраснейших душ, когда-либо живших на земле, не видела ничего плохого в отправлении правосудия при Филиппе II и замечала одно благородство в истребительной войне против ацтеков, которую мы сегодня считаем одним из самых позорных преступлений в истории человечества. Но одно, вероятно, правда: все азиаты, и в особенности китайцы, отличаются поразительной неспособностью к сочувствию. Даже «сострадание» Будды не было сочувствием в нашем понимании; оно не побуждало к помощи; ни один из сегодняшних индийцев, если только он не воспитан в западном духе, по-видимому, не обладает тем сердечным воображением, которое делает для нас мучительным зрелище чужих страданий; а уж китаец и тем более не способен на сочувствие в духе христианства. Может быть, здесь дело в физиологических различиях? Вероятно лишь в том смысле, в каком восточное самосознание меньше, чем у нас, сосредоточено в индивидуальности, вследствие чего индивидуальное страдание представляется сравнительно безразличным. В основном же это различие имеет свое основание в сфере психики. Оно проистекает из того, что сознание солидарности со всякой жизнью, которое у них как таковое развито в очень высокой степени, там меньше, чем у нас, охватывает область чувства; из того, что их *tat twam asi*, не закрепленное ни в каких заповедях, законах и установлениях, меньше, чем у нас, определяет произвольные душевные импульсы. Все люди от природы безучастны ко всему, что не касается их личности, а мужчины в особенности больше склонны к жестокости, чем к человечности. Жестокость эта основана на анимальном инстинкте злорадства, который в свою очередь является первой производной функцией признания закона борьбы за существование. Каждое существо объективно живет за счет других; уже на ступени сознания собаки это обуславливает субъективный подъем чувства жизни при виде того, что другим приходится хуже, чем тебе самому; отсюда недалеко и до намеренного причи-

нения мучений. Поэтому даже гуманные народы регулярно совершают жестокости на войне, когда животное начало в них одерживает верх. Удастся ли когда-нибудь преодолеть тягу к жестокости? Я не решаюсь делать какие-либо прогнозы. Из всех европейцев одни только англичане зачастую оказываются настолько продвинутыми в своем развитии, что испытывают естественное отвращение к причинению мучений другим людям или к зрелищу их страданий, но и у англичан это проявляется лишь в благоприятных для их нервов условиях; в тропической Африке они тоже дичают. В общем и целом, наша тяга к жестокости представляется скорее вытесненной, чем преодоленной. Но однажды мы, может быть, и придем к тому, что человеческое сознание полностью переориентируется с того плана, при котором каждое существо живет за счет других, на более высокий план, где страдание одного разделяется всеми, а его благополучие оказывается благополучием для всех. Тогда, но только тогда, зверь будет побежден.

В большинстве храмов солдаты разбивали статуи, изображающие богов, и народная масса не видит в этом святотатства. Правда с точки зрения церкви, китайцы иррелигиозны; будучи ярко выраженными рационалистами, они относятся скептически ко всем мифам о потустороннем мире. Основной настрой, в котором выражается отношение большинства образованных китайцев к богословским вопросам, соответствует взглядам Конфуция, который считал, что заниматься трансцендентными вопросами вредно для человека; смысл мироздания проявляется, дескать, в естественных и осязаемых вещах. Утверждение об иррелигиозности китайцев в глубоком смысле слова, конечно, не соответствует истине, и об этом я еще поговорю позже. Однако можно с уверенностью сказать, что в богослужении для них нет ничего религиозного; в нем проявляется только суеверие и магия. Меня очень удивляет тот факт, что в этой стране, где общественное мнение *in ecclesiasticis*¹ отличается такой свободой, даже образованные люди до известной, причем отнюдь не малой, степени участвуют в храмовых ри-

¹ В церкви, церковное (лат.).

туалах и в отправлении религиозных обрядов; и я очень старался понять, что это значит. Выяснилась странная вещь: храм для китайцев значит примерно то же, что для нас бюро по культуре или консультационные пункты по экономическим вопросам, а священники воспринимаются как что-то вроде инженеров. Это специалисты, обязанность которых заключается в регулировании отношений с миром духов.

Эту идею я нахожу вовсе не поверхностной, а, напротив, глубокой, хотя и немного гротескно выраженной, как это вообще, на наш взгляд, очень часто бывает в Китае. Ведь и для индийцев боги тоже не трансцендентные существа вроде христианского Бога, а естественные явления высшего порядка, а ритуалы существуют для того, чтобы поддерживать с ними хорошие отношения. Однако индеец так религиозен в церковном смысле, что невольно признает за богами больше того, что положено согласно строгим представлениям; поэтому даже культ богини Кали ни в чем существенном не отличается от христианского богослужения. Китайцы же, люди практичные и рассудочные, сделали из этих предпосылок все соответствующие выводы, какие только было возможно из них извлечь: если существуют демоны и если есть возможность переменить их нежелательную деятельность так, чтобы она повернулась в желательном направлении, то бесспорно это следует сделать; должны существовать институты и люди, которые профессионально проводили бы эту работу. В этом и должен быть смысл церкви.

Трудно представить себе, как много работы у техников, которые заняты умилованием демонов. Китай буквально кишит духами в таком количестве, что это приносит китайцам множество неудобств из-за того, что каждый шаг приходится делать с оглядкой на них. Нельзя ни похоронить человека, ни жениться тогда, когда хочешь, и там, где тебе хочется, нельзя и выбрать того, кто тебе нравится, потому что нужные условия никогда не сходятся. Один миссионер, с которым я беседовал, рассказал мне, как он однажды спросил одного высокопоставленного чиновника, желая избавить его от веры в духов, отчего, мол, в Европе никаких духов нет? И услышал в ответ: раз в Европе никто не верит в духов, то, понят-

ное дело, их там и нет. Сам он, мол, был бы непрочь, чтобы духи покинули Китай. Но вряд ли на это можно надеяться. Поскольку вера в духов здесь повсеместно распространена в народе, она так скоро не отомрет. То есть он считал, что в Китае духи объективно реальны потому, что люди в них верят. Действительно, похоже, что это так и есть: такие вещи, которые можно истолковать как влияние духов (как, например, одержимость, околдованность и т. д.), встречаются в Китае чаще, чем где бы то ни было еще. Как тонко мыслил этот китайский мандарин! Он был не менее тонок, чем тот брахман, который на вопрос о том, для чего нужно молиться богам и какая в том польза, если они сами — такие же явления природы, как и все прочие, если они не являются сущностями и не вечны, ответил так: польза молитв в том, что они придают силу богам. Тем самым он как бы хотел сказать, что независимо от того, представляют ли они собой объективную или субъективную реальность, молитва, произнесенная с верой во всяком случае создает как бы некий проводник, через который представление может в свой черед оказывать ответное воздействие на молящегося. Нет, в том, в чем упрекают китайца посещающие Китай и проживающие в нем европейцы, я отнюдь не вижу признаков поверхностности. Напротив, китайцы проникают глубже в смысл вещей, чем французские прогрессисты, чье преследование христиан иначе как глупостью назвать нельзя; китайское суеверие глубже по мысли, чем современное неверие. Хотя, конечно, из такого глубокого понимания можно было бы извлечь более полезные и интересные выводы, чем те, что сумели сделать китайцы.

У Гёте есть где-то упоминание о том, какой важный толчок он однажды получил от одного-единственного остроумного высказывания. Со мной сегодня произошло нечто похожее: случайное знакомство с, казалось бы, не слишком важным фактом помогло мне сильно продвинуться в понимании всего китайского.

В этом народе меня все больше и больше начинала смущать его необычайная невозмутимость, непонятное равнодушие. Спокойствие индийцев меня не удивляет, оно не удивляет меня и в благородных турках: первым

недостает витальности и энергии, вторые флегматичны по темпераменту. Но китайцы вовсе не флегматичны, хотя ведут себя чрезвычайно спокойно, и витальностью они проникнуты до кончиков ногтей. Отчего же получается, что в своей массе они производят такое невозмутимое впечатление? — А тут вдруг я слышу про такие неукротимые вспышки ярости, в каких с ними не могут сравниться никакие скандинавские берсерки. Случается, говорят, что кто-то из них вдруг впадает в ярость, и этот припадок продолжается долго, иногда требуется несколько дней, чтобы человек успокоился и снова пришел в свое обычное ровное состояние; все это время он ярится, как бык, и это не зависит от объекта, вызвавшего его ярость. Китайцы объясняют этот феномен скоплением материи ярости, называемой чи; они считают, что она является причиной многих болезней, и европейские врачи подтверждают, что в общих чертах эта теория права; по их словам, многие расстройства организма у китайцев, среди которых есть и смертельные, происходят от сдерживаемой ярости.

Отныне душевное спокойствие китайцев перестало быть для меня загадкой. Всем известно, что гиганты дела, такие люди, как Цезарь, Наполеон, Магомет, Александр, Петр Великий и даже Бисмарк, с более или менее четкой периодичностью были подвержены нервным припадкам, принимавшим характер то эпилепсии, то приступов ярости, то нервного коллапса со слезами и рыданиями, однако их издавна правильно истолковывают как «реакцию» на что-то. Натурам, наделенным вулканической энергией, но вынужденным непрестанно держать себя в руках, необходимо бывает, чтобы не взорваться, через определенные интервалы времени приоткрывать предохранительный клапан, выпуская лишний пар, и чем больше его скопилось, тем сильнее бывает выброс. То же самое в известной мере справедливо и для китайского народа. С одной стороны, он отличается необычайной живостью, с другой же стороны, выделяется среди всех народов необычайным самообладанием. Поэтому а priori можно было бы ожидать, что в чем-то природа должна взять свое и что национальному характеру китайцев, вероятно, должны быть присущи приступы ярости, причем они должны далеко превосходить по силе те, что мы наблюдаем у на-

родов Южной Европы, которым не свойственна сдержанность. Дело действительно обстоит так, как это постулирует разум. Поэтому мой ум успокоился. Этим чи следовало бы хорошенько заняться психологам. Сегодня взаимосвязь между телом и духом находится в центре внимания, а на Дальнем Востоке, где наиболее развита самодисциплина и где ее границы (т. е. границы, которые ставит воспитанию природа) проступают отчетливее всего, эту связь можно изучить как нигде лучше. В первую очередь мне бы хотелось проверить на фактическом материале следующую гипотезу. Из всех людей китайцы, если я не ошибаюсь, обладают самой сильной физической витальностью. Как отдельные индивиды, так и нация в целом отличаются, по-видимому, чрезвычайной выносливостью. Они переносят такие болезни, от которых всякий другой на их месте бы умер; выдерживают рабочие перегрузки (включая и перегрузки умственного труда), сохраняя здоровые нервы; самые ужасные излишества не наносят им ощутимого вреда. Нация в целом также не понесла значительного ущерба ни от чрезмерной культурной утонченности, ни от близкородственных браков, ни от опиума или сифилиса — короче говоря всего того, что оказывается губительным для других народов, и в ней не заметно вырождения. Единственная вырожденческая черта, которую можно обнаружить среди образованных классов — это увеличивающаяся *Philostrositaet*, которая в Европе с полным на то основанием вообще не считается патологией. Не может ли быть эта удивительная физическая витальность следствием психической культуры? Давно известно, что образованный человек переносит тяготы войны лучше необразованного, что храбрый болеет меньше и с меньшими последствиями, чем трусливый, что нервы человека, приученного к самодисциплине, крепче, чем у того, кто позволяет себе распускаться, короче говоря что определенные психические навыки могут защитить от физических опасностей; в наше время существуют целые школы, направленные на то, чтобы укреплять тело посредством душевной культуры. Не в этом ли коренится наследственная витальность китайцев? Вынужденные внешними обстоятельствами и поощряемые мудрой системой морали китайцы на протяжении тысячелетий упражнялись в уме-

нии собою владеть; быть может, вследствие этого то, что у нас вырабатывают в себе отдельные выдающиеся личности, у них стало наследственной чертой? Нельзя, правда, забывать, что в Китае, как нигде в мире, в процессе образования расы участвовал и естественный отбор, и это уже объясняет многое; слабые натуры в Китае не выживают.

Макао

Из деловой суеты шумного Кантона я попал в самый идиллический, мирный город Восточной Азии: в прелестно расположенный Макао, где сам Камюэнс завершил «Луизиаду». Как овладела мною атмосфера Китая! С какой естественностью моя душевная реакция на деловую суету выражается в том, что мне сами собой приходят в голову квиетистские мысли à la Лао-Цзы и Чжуан-Цзы; ибо можно с уверенностью сказать, что та крайняя форма, которую у них принимает квиетизм, представляет собой реакцию на крайнюю развитость общественной и деловой жизни, которая уже в то время отмечалась в Китае. Когда я сейчас читаю их сочинения, мне кажется, что я слышу отзвук собственных мыслей. Подобные настроения индийской или европейской окраски показались бы мне чуждыми и даже бестактными.

Так что же придает китайской мистике ее особенный характер? Без сомнения тут дело не в смысле, не в содержании; в этом отношении она совпадает с мудростью всех времен и народов. С одной стороны, это способ выражения. На нем здесь незачем останавливаться подробно, поскольку он является непосредственной функцией китайской системы письменности. Как и вообще их письменность в целом, даосская философия выражает не столько определенные мысли, сколько их предельный смысл. Поскольку же лишь этот смысл причастен бессмертию, в то время как все воплощающие его понятия рано или поздно обречены смерти, то этим обстоятельством обусловлено абсолютное превосходство китайской формулировки последних истин: только в том виде, в каком они даны нам китайцами, эти истины будут жить вечно; то, что во всех других литературах можно сказать

только о единичных вечных речениях, в случае китайской мудрости принципиально относится ко всем ее выражениям. Но эти объективные вещи сегодня меня не касаются: я слишком устал от Кантона, слишком нуждаюсь в отдыхе. К тому же Макао слишком прекрасен, чтобы мне хотелось заниматься абстрактными вопросами. Думая сегодня о Лао-Цзы, я представляю себе не мыслителя, провозгласившего вечные истины, а приветливого старичка *with a twinkle in his eye*¹, человека с неиссякаемым юмором, обаятельного и благодушного; говоря же об особом характере его мудрости, я имею в виду ее конкретный характер, то что в ней есть специфически китайского. Это выражается у него главным образом в общей тональности, которая являет предусмотрительность и осмотрительность и слышится во всех, даже самых возвышенных, положениях китайской мудрости. Только чтобы не было неприятностей! Чтобы все рассчитать заранее, заранее организовать! Лучше скрыть свой талант, чем привлекать его блеском лишние взгляды; лучше казаться слабым, чем сильным; в любых обстоятельствах лучше уступить. Это так же типично для китайца, как для индийца стремление к миру любой ценой и деятельный оптимизм для европейца. Вообще-то эта окраска не может вызывать моей симпатии. Но, побывав в Кантоне, я понимаю ее так хорошо, что в настоящий момент почти что готов и сам встать под эти знамена. Как можно быть гордым и свободным подобно греческим мудрецам или безмятежно-отстраненным подобно индийским риши, когда буквально невозможно отгородиться от общей массы? Затесавшемуся в нее мудрецу, если он мечтает о мало-мальски сносной жизни, не остается ничего другого, как только прибегнуть к хитрости. Человек Запада в этом случае чаще всего надевает личину шарлатана; поскольку наша чернь с ее пристрастием ко всему новому и необычному охотно прощает эксцентричному человеку то, чего никогда не спустила бы мудрецу, то лучшая политика для него — это позволить окружающим воспринимать его мудрость как чудачество. В Китае, где все исключительное при любых обстоятельствах подвергается осуждению, выдающемуся человеку не остается ничего

¹ С блеском в глазах (англ.).

другого, как вообще избегать любых столкновений, что, однако, удастся только за счет гордости. Отсюда те крайности, до которых доходят в своем неприятии культуры и общества те немногие, которым все-таки удалось вырваться из общей массы: если бы они преодолели в себе последние следы обиды, это выходило бы уже за пределы человеческих возможностей. Как много вещей в Китае объясняются перенаселенностью! И как поучительно для нас, белых людей, которым тоже рано или поздно предстоит разрастись в такую же компактную массу, то влияние, которое она оказала на темперамент китайцев! Благодаря ей, несомненно, возникла та огромная моральная культура, которой он до сих пор превосходит все остальное человечество! При таком тесном общении, какое, как правило, имеет место в Китае, невозможно достигнуть успеха, будучи невоспитанным; неотесанный грубиян воспринимается там почти как такое же зло, каким у нас был бы представляющий опасность для общества преступник. Но с другой стороны, какие недостатки! Как развиться оригинальной личности в условиях такой колоссальной массовой суггестии? И главное, как ему себя проявить? Даже у нас гений не обязательно исполняет свое предназначение; в Китае же это может произойти только благодаря неслыханно благоприятному стечению обстоятельств. Какой огромный талант ни родился бы где-нибудь в захолустной деревне, как ему выбиться в люди среди таких-то миллионов? Тут, пожалуй, лучше не придумывай, как заведомо смириться с судьбой...

Китайцы нравятся мне здесь несравненно больше, чем в Кантоне. Разумеется, торговцы обшчитывают меня здесь с таким же успехом, как и там, но не это главное: в Китайском квартале Макао царит та обаятельная атмосфера, которая так очаровывает нас в стиле Кун Фу-Цзы — атмосфера милого мещанского существования, где все очень чутки к правилам приличного поведения. Как, в сущности, мало значения имеет то, что люди на самом деле делают! Христос больше всего любил общаться с мытарями и грешниками. Вероятно, то, что реально происходит в мире, совсем не важно. Непрестанное грохотание гонгов в китайских театрах воспринимается, когда к нему привык-

нешь, как безмолвная тишина: так что само по себе, очевидно, совершенно все равно, где жить — в пустыне или в большом городе. Парижский воздух всегда живителен для ума, как бы по-дурацки ни вели себя его жители, а воздух Петербурга сужает мысли, с кем бы вы там ни общались. Психическая атмосфера города — это результат такого множества компонентов, что влияние отдельных составляющих не играет роли; как раз эта множественность компонентов усредняет их, создавая нужный общий характер. И здесь мне сегодня бросилось в глаза то, чего я нигде еще не ощущал с такой отчетливостью, хотя я очень хорошо понимал это теоретически: то, что между поступком и сутью человека изначально не существует необходимой связи.

У индийцев это — один из основополагающих принципов. Однако, как это случилось со многими другими вещами, открытыми и лучше всего понятыми в Индии, эта мысль была лучше воплощена в жизнь в Китае; к тому же в Китае она легче воспринимается, поскольку, что ни говори, в культурном отношении китайцы к нам гораздо ближе, благодаря чему тут проще правильно оценить различия. У нас, европейцев, чья жизнь направлена исключительно вовне, поступки человека неизбежно отражаются на его существе, из-за чего у нас приятными в человеческом отношении могут быть лишь те люди, чья деятельность связана с благородной профессией. В Европе правитель стоит выше всех в человеческом плане, так как его дело — бескорыстно трудиться над решением крупных задач; художник, придерживающийся, как правило, сомнительных идеалов, не очень приятен в общении, а коммерсант крайне неприятен во всем, за исключением тех моментов, когда он под давлением обстоятельств, *malgré lui*¹, забывает о присущих его профессии бандитских замашках. На Востоке, как правило, отсутствует необходимая зависимость между профессиональной деятельностью и существом человека, и здесь я ощущаю это отчетливее, чем где-либо еще. Я внимательно наблюдал за торговцами, которые так ловко выманивали у меня деньги из кошелька: сколько бы мне ни говорили о том, что любезность является техническим

¹ Против его воли (фр.).

элементом торговли, я все же убежден, что многие из этих мелких торговцев хоть и занимались торговлей, но по своей сути не были торговцами; они могли быть людьми в самом высоком смысле слова.

Немцу трудно понять такое соотношение. Тут ему надо поучиться у русского, единственного европейца, который знает путь естественного и непосредственного общения с душой своего ближнего. С какой стати тот, кто тебя, может быть, и обманывает, и без зазрения совести надувает, непременно должен быть дурным человеком? Разумеется, против этого нужно принимать меры защиты; твое дело не давать себя надувать, а если тебе не справиться с противником, то подавай на него в суд, чтобы власть его окоротила. Однако судить о человеке по его поступкам, это дикость. Кто может похвалиться тем, что его дела являются зеркалом его души? Я таких еще не видал. А там, где человеческая суть и поступки не совпадают тютельница в тютельку, тот, кто лжет и обманывает, потому что это дозволяется обычаем, и тот, кто ведет себя порядочно, следуя общепринятой условности, стоят один другого во всех отношениях. Для умудренного знанием нет разницы между каким-нибудь «столпом общества» и нечестным маклером, если их сущность не покрывается тем, что они делают; последний все-таки стоит выше первого, поскольку, не имея идеалов, не может им изменить. Я знаю, что высказывать такие мысли небезопасно; тем более что добродетельное поведение постепенно как-то влияет на душу и возвращает ее на истинный путь; индийцы продвинулись бы дальше нашего, если бы не были так проницательны, проводя четкую разделительную черту между сущностью и действием. Но это уже соображения из области практической политики, которая в данный момент меня не касается.

Лао-Цзы говорит:

Wer sein Licht erkennt
Und dennoch im Dunkeln weilt,
Der ist das Vorbild der Welt.¹

1

Кто нашел свой свет
И все же остается во тьме,
Тот — образцовый пример миру.

(Пер. И. Стребловой.)

Я не знаю, насколько точен этот перевод Рихарда Вильгельма, но не удивился бы, если он действительно верен. Именно тут особенно четко видна пропасть, разделяющая даосское мировоззрение и наше (в котором считается за грех прятать свои таланты под спудом).

Если бы вместо «образцового примера» стояло «зеркало», это изречение было бы безупречным. Бессознательное творчество без намерений, движение по пути без желания продвигаться вперед, довольствоваться заданными рамками — это действительно путь природы; и человек, сознательно идущий по ее стопам, может быть назван ее «зеркалом». Но «образцовым примером»? Только в том случае, если немыслимо представить себе нечто, что было бы выше пути, указанного природой. В этом действительно заключается предпосылка всей китайской мудрости. В то время как мы признаем стоящее выше царства природы царство свободы, в то время как мы считаем своей задачей примирить царство свободы с причинной зависимостью природы, вследствие чего естественное статическое равновесие предстает уже не в качестве идеала, а в качестве того, что подлежит преодолению, и высшими ценностями оказываются не следование предначертанному, а творчество, не подчинение, а преодоление, в общем и целом не отсутствие воли, а воление, китайцы придерживаются прямо противоположного взгляда. Таким образом, в крайнем выражении дело доходит до такого парадокса, когда просветленный считает своей задачей прятать свою свечу под спудом.

В связи с этим даосскую мудрость неоднократно упрекали в бесплодном квиетизме, не в последнюю очередь этот упрек раздавался со стороны конфуцианцев, которые в конечном счете являются ее духовными братьями. Несомненно, что она становится препятствием на пути сознательного устройства жизни, и вообще творческая работа противоречит ее принципам. Но все же нельзя отрицать, что в сочинениях классиков даосизма содержатся, вероятно, самые глубокие изречения жизненной мудрости, какие только вообще существуют на свете, причем именно с точки зрения нашего идеала — идеала творческой автономии. Как такое возможно? Это возможно потому, что дао, смысл (как это непревзойденно переведено Вильгельмом), выражается в деятельности

природы более совершенно, чем под наисвободнейшей властью свободы, так что жизнь, отражающая власть законов природы, не может не вести к совершенству.

Der Himmel ist ewig und die Erde dauernd.
Die Ursache der ewigen Dauer von Himmel und Erde ist,
Dass sie nicht sich selbst leben.
Darum können sie dauernd Leben Geben.
Also auch der Berufene:
Er setzt sein selbst hintan,
Und sein Selbst kommt voran.
Er entäussert sich seines Selbst,
Und sein Selbst bleibt erhalten.
Ist es nicht also:
Weil er nichts Eigenes will,
Darum wird sein Eigenes vollendet?¹

Это замечательное изречение Лао-Цзы правильно, несмотря на постулируемые этим мудрецом мифические связи между небом и человеком, потому что здесь он понимает созидательную деятельность природы в самом глубоком смысле, а по его мысли нет разницы между вегетативной и божественной жизнью. В таком понимании призыв «назад к природе!» всегда способствовал дальнейшему развитию человека. Даже при том неправильном понимании, какое мы видим у Руссо и у некоторых из позднейших даосов, он редко вредит по той именно причине, что природа в своей сфере совершенна, а потому даже ее поверхностное копирование, возврат к ее состояниям как таковым помогает скованному понятиями человеку вновь приблизиться к ее живой сердцевине.

¹ Небоечно, и земля постоянна.
Причина вечного существования неба и земли в том,
Что они живут не для себя.
Поэтому они могутечно давать жизнь.
То же и призванный;
Он ставит свое Я на последнее место,
И его Я выходит на первое.
Он освобождается от своего Я,
И его Я сохраняется.
Не так ли происходит:
Потому что он не желаетничего своего собственного,
Поэтому его собственное становится совершенным?

(Пер. И. Стребловой.)

Вот все, что я хотел сказать о смысле даосской мудрости. Об уникальном значении ее выражения я уже говорил: из всех до сих пор найденных формул метафизически-реального, вероятно, только китайские являются вечными. Что же касается формируемого ею человеческого типа, то этому типу свойственно то двойственное положение, которое характерно для художника: в высших проявлениях он достигает вершины того, на что способна человеческая природа, во всех остальных воплощениях, кроме высших, он уступает другим типам. Как ни велик был мудрец Лао-Цзы, но средний даос, по-видимому, всегда представлял собой довольно убогое зрелище.

По крайней мере, так должны его оценить мы, поскольку видим предназначение человека в том, чтобы выйти за пределы одного лишь природного начала. А если и мы чтим Лао-Цзы как одного из самых великих людей, то делаем это потому, что он проник в явление так глубоко, что вырвался сквозь него за пределы детерминированности как природы, так и человека. Я уже упоминал недавно о том, что конфуцианцы тоже рассматривают тип даоса как низший, в то время как нам разница между конфуцианской и даосской мудростью представляется не такой уж большой: в этом проявляется китайская особенность этих двух школ. Вот я и вернулся снова к той точке, на которой вчера прервал свои рассуждения. Все-таки эта мудрость — сугубо китайская, и, следовательно, не носит наднационального характера, а потому нам трудно оценить ее по достоинству. Поэтому, говоря, что средний даос представляет собой довольно убогое зрелище, я в этом безапелляционном суждении, возможно, лишь выразил свою европейскую ограниченность.

В часы сиесты я развлекаюсь чтением, «Станных историй Ляо-чжай-чжина» («Seltsame Geschichten aus dem Studierzimmer Zuflucht») Пу Сун Лина, последнего из бессмертных Китая. Юмор, который царит в этой книге, изумителен; реальные или возможные события изображены совершенно спокойно и даже несколько суховато, в изложении не чувствуется никакой преднамеренности, и в то же время события эти рассказаны так, что неволь-

но производят комическое впечатление. По качеству этот китайский юмор можно, пожалуй, сравнить с юмором Гоголя, но вот чему во всей европейской литературе, по крайней мере со времен греков, нельзя найти ничего равного, так это то мастерство, благодаря которому достигается такой результат, когда при помощи одной лишь формы, почти без комических положений, возникает юмористическое впечатление. Ведь на первый взгляд кажется, что в слишком строгой форме невозможно изобразить комическое. Китай доказывает ошибочность такого представления.

Такое впечатление я получаю от чтения плохого, по всей видимости, перевода. Каким же высоким достоинством должен был обладать оригинал, чтобы его особенности не пропали даже в переводе! Теперь мне уже стало вполне понятно, отчего образованные китайцы, владеющие европейскими языками, признают настоящим искусством только древнегреческую литературу и ставят ее почти наравне с китайской: одни только эллины умели, сохраняя строгость стиля, одновременно делать его и богатым. Строгость латино-романской формы (единственной на Западе со времен Греции, за которой можно признать право на предикат строгости) работает путем исключения: форма же должна включать в себя, вбирать, создавать сплав и уплотнять, не обеднять, а усиливать, для того чтобы ее строгость была превосходного качества. В каком-то отношении, правда, китайские великие мастера работали в более благоприятных условиях: они могли соблюдать строгую форму, не устанавливая конечных границ. Этим они обязаны своей чудесной системе письменности. В Китае, как уже отмечалось, тремя иероглифами можно сказать больше, чем на наших языках множеством длинных страниц; нашим мастерам пришлось о многом умалчивать. На стороне китайских мастеров были все те преимущества, какими в науке чистый математик обладает по сравнению с физиком. А недостаток, свойственный этой системе, заключающегося в том, что стихи пишутся для глаз, а не для ушей, и плохо поддаются устному чтению, китайцы, очевидно, просто не замечают, так как привыкли к своей условной традиции. Но какой толк говорить о более трудных и более легких условиях? Человек создает себе те условия, кото-

рых он заслуживает. Первенство Китая в области формы в любом случае неоспоримо.

В ночное время я иногда захожу в один из знаменитых «игорных притонов» и развлекаюсь фан-таном [Fan-Tan]. Нельзя представить себе ничего более тихого и мирного, чем эти притоны. На лицах игроков, как правило, видишь серьезное и деловитое выражение, но такого безмятежного спокойствия, как в Макао, я, пожалуй, нигде больше не встречал. Сама по себе игра на редкость бессодержательна; в удачном случае от игрока зависит очень мало, банк при любых обстоятельствах должен получать большой выигрыш. Китаец же, проиграв свой дневной заработок, уходит домой с мирным и спокойным выражением. В крайнем случае, после слишком уж большого проигрыша, он утешается сладкими грезами, накутившись опиума.

Глядя на игроков, я вдруг невольно вспомнил то место из Бхагават-Гиты, где Кришна говорит о себе (в качестве бога, Ишвары): «Я — игра игрока». Действительно, азартность, что бы против нее ни говорили, означает присутствие витальности. Выставить по собственной воле случайность в качестве единственного условия переживания означает, с точки зрения атмана, в принципе то же самое, что заявить о своей способности справляться с превратностями жизни. Ведь жизнь — это не что иное, как способность сохранять внутреннее равновесие перед лицом меняющихся внешних обстоятельств. А тот факт, что игроки, вступая в противоречие с самими собой, стараются найти систему, является неотъемлемой частью живого процесса, сопровождающей его как контрапункт: мы всегда одновременно делаем то, что снимает смысл нашего истинного воления. Чем же тогда объясняется, что тип игрока (каковы бы ни были его ставки) не может быть признан высоким? Это объясняется тем, что, подчеркивая в корреляции «жизнь — внешний мир» ее случайную сторону, мы ставим бессмысленное выше смысла; а это означает отказ от права на свободу и ответственность. Игрок — антипод героя; если для героя его жизнь глубоко значительна и он жертвует ею с этим сознанием, потому что признает нечто еще более высокое, игрок ставит ее на кон, потому что она кажется ему не имеющей никакого значения.

Я начинаю с благодарностью относиться к революции: благодаря ей в маленьком Циндао, спасаясь от западных пришельцев, собралось большое число выдающихся китайцев, среди них ряд экс-генерал-губернаторов и экс-вицекоролей. Рихард Вильгельм выполняет роль посредника между ними и мною; так я начинаю знакомиться с высшими возможностями китайского человечества.

Действительность превзошла все мои ожидания; эти господа, каковы бы ни были их человеческие качества, как типы стоят чрезвычайно высоко; особенно большое впечатление производит на меня их внутреннее достоинство. Мало того, что они доминируют над своей судьбой в смысле того, как она складывается внешне, а складывается она сейчас очень печально: они вообще возвышаются над своими мыслями, действиями и своей личностью в целом, причем не так, как это бывает у йогов, вырвавшихся из мира явлений, а более сложным способом — путем философа, который, находясь среди суеты и сам в ней участвуя, сохраняет внутреннюю свободу. В Индии люди меня разочаровали; они меньше своей литературы. То высокое и глубокое, что в них есть, нашло у них свое выражение в познании, живые же индийцы в своем большинстве не столько воплощают в себе, сколько как бы разыгрывают перед нами свой идеал; поэтому из общения с ними получаешь мало нового. В отличие от них живые китайцы, несомненно, представляют собой нечто большее, чем их мудрость, и я почти готов утверждать, что они также больше своей литературы. Я начинаю понемногу понимать смысл конфуцианства. Кун Фу-Цзы казался мне до сих пор рационалистическим моралистом, и меня в некоторой степени даже удивляет, за что его так высоко ставит Мэн-Цзы, поскольку в его мировоззрении, на мой взгляд, все очень разумно, однако оно не казалось мне глубоким. Теперь мне становится понятно, что конфуцианскую философию следует воспринимать совершенно иначе, чем индийскую да и немецкую тоже: как философия она вовсе не представляет собой истинного, самостоятельного выражения, а только абстрактную схему прожитой или предполагаемой в будущем действительности; слово Кун-Цзы, скорее, нужно

понимать как плоть или указание на имеющуюся плоть. При этом условии его учение выглядит совсем иначе, и обнаруживается, какая пропасть отделяет его от философии морали нашего XVIII века, на которую она так похожа внешне; в таком случае уже не так важно, глубоки ли мысли как таковые; я не думаю, что Бог мыслит глубокими мыслями, ибо он — сама глубина; когда совершенная глубина полностью выражается в конкретном бытии, глубокомыслие, очевидно, оказывается излишним. И вот что поражает меня в тех господах, с которыми я общаюсь в Циндао: они проживают конфуцианство; то, что я до сих пор принимал за теоретический постулат, для них является формой существования. Всем этим государственным деятелям представляется чем-то само собой разумеющимся, что государственный организм зиждется на моральной основе, что политика является предельным выражением этики, а справедливость есть нормальное проявление благожелательности; и для них это является чем-то само собой разумеющимся совсем в другом смысле, чем для христианина истинность восхваляемой им святой праведности: для них это не долженствующее быть, а нечто неизбежно происходящее. Отсюда вытекает и принципиальное различие. Если ты в чем-то не сомневаешься, ты это совершаешь. Не знаю, насколько хорошими правителями были на деле губернаторы, с которыми я познакомился: но я уверен, что они управляли в духе конфуцианства, т. е. исходя из моральной основы. И это неизбежно возвысило даже их несовершенство.

Впервые я встретил тип человека, глубочайшую основу которого составляет мораль. На Западе такого не существует. Возможно, наши чиновники проявили себя за последние сто лет лучше китайских (ибо даже в Германии нравственно порядочный функционер как типическое явление появился не более ста лет тому назад), но по духу, который лежит в основе их деятельности, они наверняка уступают китайцам, хотя те в практической деятельности зачастую оказываются хуже немцев. Наша политическая культура обусловлена внешними факторами; она является результатом системы, понуждающей отдельного человека поступать хорошо, она возникла независимо от души и продолжает существо-

вать независимо от нее. Китайская же основана на воспитании душевных свойств. Принимая во внимание, что великая китайская империя вот уже на протяжении тысячелетий управлялась не хуже современной Европы, причем без опоры на такой механизм, который автоматически держал бы людей в порядке, а лишь благодаря достойной морали ее граждан, мы вынуждены будем признать, что средний уровень моральной культуры литературно образованных китайцев должен быть необычайно высоким. Во всяком случае, он необыкновенно высок у тех, с кем я здесь познакомился. А в их чрезвычайно вежливых высказываниях о Западе можно слышать нотку удивления, что, оказывается, у нас там нет ничего похожего. Они считают нас в моральном отношении варварами. Системы наши, дескать, достойны всяческого восхищения, однако люди и их моральные убеждения... Боюсь, что эти господа правы. Мы, люди Запада, рассудком опередили жизнь. Наша высокая мораль, которой мы так похваляемся, означает пока всего лишь функционирование в рамках умной по замыслу системы; а поскольку это так, то мы уже бунтуем и против морали вообще. Какие экстремальные проявления общественной жизни на Западе коренятся в том, что все внешнее не имеет внутреннего, душевного основания? С одной стороны, толстовство, анархизм, с другой — национализм и расовый фанатизм одинаково представляют собой движения, которые под нечто искусственное хотят подвести естественную основу. У нас система главенствует над человеком, китайцы, напротив, стоят выше своей системы. Это результат воспитания в духе конфуцианства.

Меня очень наводит на размышления то обстоятельство, что столь простые принципы, как конфуцианские, могут давать людям такое высокое чувство достоинства. Среди европейских фанатиков морали я еще не встречал никого, кто был бы настоящим человеком в полном смысле слова. Однако причину такой разницы понять нетрудно: для нас моральные принципы всегда означали нечто навязанное извне — либо заповеданное Богом, либо предписанное нам начальством, либо обязательное в силу требований абсолютного практического разума, совершенно противоположного природе. Для конфуцианца

они представляют собой правила поведения, следовать которым естественно для воспитанного человека. По его представлениям, в самой природе вещей заложено, чтобы между отцом и сыном, мужем и женой, между друзьями, между государем и его подданным царили отношения преданности и благожелательности; достаточно развивать в себе то, что заложено природой, и мораль появится сама собой. Таким образом, акцент делается на воспитании человеческой природы. Что же! Такой категорический императив ни у кого не вызовет внутреннего сопротивления; всякому хочется быть воспитанным человеком. Поэтому китаец охотно берет на себя труд, за который с тех пор, как умер дух античности, не берется, пожалуй, ни один европейский юноша: он старается вникнуть в смысл морали. При серьезных стараниях и терпении ему в конце концов открывается правильность конфуцианской теории: и тогда уже от способности различать добро и зло, которая усиливается под влиянием обучения, зависит, к чему он склонится. А затем уж больше невозможны никакие отклонения — пробуждена естественная мораль. Как важны в деле воспитания правильный подход и техника! По сравнению с нами китайцы размышляли о морали куда как меньше; также они никогда не усматривали в морали ничего столь возвышенно идеального, как наши (в первую очередь протестантские) этики. Но в практическом отношении они достигли куда больше нашего.

Конечно же, эти господа консервативны. А как же иначе, когда речь идет о политически образованных людях? Тот, кто обладает историческим чутьем, кто знает, что только органический рост ведет к успеху, никогда не бывает «прогрессистом» в радикальном смысле. В истинном смысле слова только к такому человеку и можно отнести это понятие, ибо только он почтительно обращается с явлением, которое радикал без раздумий принесет в жертву ради абстрактных принципов. Разве это не характерный факт, что рабочие Бельгии и Франции уже отказались от идеи «прав человека» и теперь признают право на существование только за своими организованными (технически «сознательными») товарищами по классу?

Правда, сановники, о которых я тут говорю, настроены не только консервативно, но и откровенно реакционно. Однако как может конфуцианец старой закалки приветствовать новшества? Если действительно только кодифицированная Конфуцием традиционная китайская форма государственности находится в полной гармонии с мирозданием, то всякое стремление к новшествам означает безумие; в таком случае самое мудрое для народа — это строжайше следовать старым нормам; тогда то, что мы называем «застоем», по сути дела означает то же самое, что и вечное обновление природы, которое ведь тоже протекает в неизменных рамках; в таком случае искоренение всякой ереси равносильно уничтожению всего негодного в борьбе за существование...

Однако против той формы государства, на которой настаивает учение дао, можно привести целый ряд возражений; еще более весомые аргументы можно привести против основополагающего принципа статического (неизменного) характера мироздания, при котором все новшества противоречат здравому смыслу. В действительности мир находится в процессе становления; в основе его не лежат какие-то готовые идеалы — на каждой новой стадии возникают новые идеалы. По этой причине идея абсолютно лучшей государственной формы как таковая заключает в себе ошибку: покуда мир продолжает свой процесс становления, т. е. покуда он существует, «лучшая из всех возможных форма государства» представляет собой ложное понятие; каждый конкретный идеал действителен только для определенного места и определенного времени. Но как раз тот, кто это понимает, с величайшим восхищением отнесется к китайскому мировоззрению. Мало сказать, что универалистская идея, лежащая в его основе, согласно которой между процессами, происходящими в природе, и человеческой жизнью существует неразрывная связь и они составляют законченную единую систему, представляет собой совершенно грандиозную теорию; мало сказать, что та последовательность, с которой прослеживается связь каждого явления с мировым порядком, представляет собой уникальный пример серьезного понимания этой теории и серьезного к ней отношения; это еще не все: глядя на китайцев, какими они предстают перед нами на протя-

жении последних тысячелетий, поневоле видишь, что лучшего мировоззрения они не могли бы себе выбрать: их мировоззрение как, вероятно, никакое другое на свете выдержало the pragmatic test. Китай — единственное государство, которому удалось на протяжении такого длительного периода разрешить «социальный вопрос»; единственное, где население в своей массе было счастливо; и тем самым единственное, которому когда-либо удалось претворить в действительность абсолютный социально-политический идеал. Поелику же нынешние китайцы схожи со своими древними предками как две капли воды, то как же тут образованному человеку не быть реакционером?

Мои чувства здесь на стороне реакционеров. Тем более что я вижу много оснований опасаться того, что все, делавшее Китай достойным почтения и восхищения, будет утрачено вслед за крушением старого порядка. Конечно, китайцев нельзя назвать народом мыслителей; их сознательное мышление, очевидно, более, чем у всех культурных народов подобной же одаренности, в основном занято поверхностными вещами. Однако жить соответственно глубинным вещам, по-видимому, значит больше, чем мыслить о глубоком, а это китайцы вплоть до наших дней делали гораздо лучше, чем кто-либо другой; их традиционное общежитие является по содержанию тем же, что возвышенная философия у индийцев; их жизнь была непосредственным выражением дао. Как совершенно решали они издревле проблему счастья! Каждый кули воплощает своей жизнью вечную истину, которую самые великие наши учителя проповедовали для глухих ушей, — что счастье есть вопрос внутренней установки и как таковое не зависит от внешних обстоятельств. Теория не поддающегося никакому влиянию мирового процесса, конечно, неправильна; благодаря тому, что мы не придерживаемся принципа Мэн-Цзы, учившего: «Вместо того чтобы обзаводиться хорошими сельскохозяйственными орудиями, лучше дожидаться благоприятной погоды», мы покорили природу. Но как дорого мы заплатили за этот успех! С тех пор, как мы знаем, что внешний мир поддается изменению, мы вместе со всеми прочими проблемами стали связывать с ним и проблему счастья, и до тех пор, пока мы не свернем с этого пути,

он обрекает нас на беспросветное несчастье. И так далее. Каждый китаец, как бы поверхностно он ни мыслил, какими бы нецелесообразными ни были его поступки, всегда вел глубоко философскую жизнь; он считался с внешним миром как с чем-то действительно внешним и искал истинного смысла в другом измерении. В Европе так поступают в наше время одни только женщины, которые на деле доказывают, что обладают гораздо более глубокой жизненной философией. И что типично — женщина оказывается при этом консерватором. Действительно, если на том, что по-настоящему важно, отнюдь не сказывается влияние внешних условий, то гораздо целесообразнее жить в неменяющемся мире, к которому ты раз и навсегда приспособился, чем то и дело приспособляться заново, не достигая этим лучшего результата.

Все долговременное реакционно, разве не так? Реакционна сама природа как таковая; мало того, что ей неведомо целеустремленное прогрессивное развитие, но, предоставленная самой себе, она еще при каждом удобном случае норовит избавиться от навязанных ей извне новшеств и возвращается к первоначальному состоянию, и только оно одно оказывается бессмертным. Возможно, в этом кроется причина того, почему азиатские народы в целом живут дольше европейских: либо в них господствует физиологическое начало, либо их духовная сторона благодаря консервативным убеждениям так неразрывно связана с физиологической, что стала как бы второй природой.

Как совершенна вежливость образованного китайца! Общение с ним доставляет эстетическое наслаждение, несмотря на необычайные технические трудности, сопряженные для него с китайским кодексом вежливости. Но дело в том, что этикет *per se*¹ уже облегчает общение: он устанавливает между разнородными элементами некую формулу равенства, которая всегда имеет возможность решения; он уравнивает грешника с божеством, нищего с царем, проторенным путем приводит к взаимопониманию незнакомых друг с другом людей. Прежде чем встречаться с китайцами, я ознакомился с основны-

¹ Сам по себе (лат.).

ми правилами их кодекса поведения; теперь я стараюсь им следовать и с радостью убеждаюсь, что это, оказывается, возможно.

Кажется, что в лице китайца из образованных кругов достигнута та утонченная форма совершенства, при которой простая любезность, не выходящая за строгие рамки обычая, становится верным выражением его личности. Как редко встретишь такое в Европе! Только у немногих французских аристократов я наблюдал нечто подобное, а это были запоздавшие вовремя родиться дети XVIII века; в наше время человек с хорошими манерами обычно бывает поверхностным, он весь уместается в рамках условностей. Для того чтобы реализовать содержание своей личности в объективной форме, требуется лучшее воспитание, чем то, которое способна дать нынешняя Европа. В Китае такое воспитание еще возможно, и потому выдающиеся люди этой страны стоят на более высокой ступени, чем наши. Ибо типическая форма не помеха для выражения индивидуальности, в то время как индивидуальная форма обычно исключает возможность такого результата. Чем больше совершенствуется искусство, тем более классические формы оно принимает, а это означает, что индивидуально-случайное сублимируется в нем в общезначимое. То же относится и к человеку. Чем больше он живет внутренним миром, углубляется, потенцируется, тем больше все индивидуальное в нем отступает на задний план, и тем больше общечеловеческих черт проступает в его характере. Так, все истинно великие люди были скорее типами, чем индивидуальными личностями. Толстой больше русский, чем индивидуальная личность, Вольтер был больше французом, чем самим собой; а уж величайшие из великих, те, кто не вмещаются ни в какие сословные и национальные рамки, типичны еще в более широком смысле: они — просто люди, стилизованные по самой общей схеме: по схеме святого, деятеля, мыслителя. Так, Христос называл себя «сыном человеческим», а Будда — «совершенным». В таком же смысле и вежливость, следование наиболее общей норме, обеспечивающей удачное общение между людьми, во все времена оказывалась наилучшим средством, с помощью которого могла выразить себя высокообразованная личность.

В чем причина, что таких высот образованные китайцы достигают не в виде исключения, а как правило, в то время как у нас законченные аристократы даже в XVII веке были редкостью? Это результат действия двух сочинений, на которых вот уже две тысячи лет основывается все воспитание в Срединном Царстве: «Книги почитания», автором которой был Hiau ging и «Книги церемоний», которую можно назвать катехизисом китайской цивилизации. Первая из них выстраивает всю мораль (которая по здешним понятиям вообще объемлет всю жизнь) на принципе почтения. Подобно Гёте, китайская мудрость усматривает в морали, «которую никто не приносит с собой от рождения, то главное условие, благодаря которому человек во всех отношениях становится человеком»; подобно ему, она также представляет мораль в тройном аспекте: в виде почтения к тому, что выше нас, что ниже и что стоит наравне с нами; и более того: в китайском понимании почтение ко всему сущему является основой всяческой добродетели и всей мудрости. И это действительно так: отдавать должное чему бы то ни было можно только, когда относишься к нему со всей серьезностью. Поэтому вежливость по своей сущности не есть только внешнее проявление, а представляет собой элементарное выражение нравственности: если добродетели и доброты нельзя безусловно требовать от каждого, то формальной уважительности к чужой личности можно требовать в любом случае.¹ Это придает вежливости глубокий смысл. Этот смысл разработан во второй из упомянутых выше книг — «Книге ритуалов» (которая его предполагает как предпосылку), в чудесное теоретическое учение. Она утверждает: человек может стать внутренне совершенным, только если он внешне выражает себя совершенно, он только тогда может соответственно выявить свою личность, если будет следовать нормам, которые в ходе истории доказали свою типичность для китайцев. Как же это должно способствовать развитию человека, если тебя с детства учат таким мыслям! Так как считается чем-то само собой разумеющимся, что форма символизирует содержание, что внешний вид слу-

¹ Это положение глубже всех мыслителей Европы понял Владимир Соловьев.

жит его выражением, то такое тождество устанавливается действительно: у одаренного человека в результате творческого понимания, у среднего срабатывает способ прусской муштровки. Достижению такого результата способствуют еще и следующие обстоятельства: китайцу присуще врожденное чутье этикета, и следование обычаю редко вызывает у него то сопротивление, которое так часто бывает свойственно современному европейскому юноше; во-вторых, привычка считаться с другими становится жизненно важной в условиях, где человек связан с общиной такими многосторонними узами, что ни в каких отношениях не может быть хозяином самому себе, а, следовательно, вынужден поступать «объективно» даже в тех случаях, когда, по нашим представлениям, возможна только субъективность. Но независимо от того, какие в этом замешаны эмпирические условия, здесь благодаря внешним обстоятельствам достигается то, что образованная личность оказывается в Китае более развитой душевно, чем где-либо еще.

Удивительная вежливость, которой я в настоящий момент наслаждаюсь в Китае, является высшим достижением конфуцианства, а всестороннее моральное развитие человека — составляет то основание, в котором оно коренится. Разве это не великолепное мировоззрение, способное вызвать на поверхность всю глубину? Мировоззрение, устанавливающее формулу равенства между моральной и формальной культурой, и не только между грацией и достоинством, но и между грацией и серьезностью, грацией и мудростью? Конечно, это предполагаемое равенство реализуется в явление только у самых высокообразованных людей, у массы здесь, как везде, где культура достигла такого уровня развития, доминируют внешние формы. Из всех европейских народов французский — самый образованный в плане общежития, но даже у него форма все больше и больше начинает вести обособленное от содержания существование; подобно тому как в Китае господствуют хорошие манеры, не имеющие никакого отношения к этическому содержанию, во Франции глупый француз может выглядеть остроумным по той лишь причине, что остроумием блещет язык. Так что же считать предпочтительным: совершенно внешнюю

цивизованность, которая существовала бы сама по себе и совсем не обязательно оказывала бы влияние на отдельного индивида, или откровенную прямоту каждого отдельного субъекта, которая при нынешнем уровне людей привела бы ко всеобщему варварству? На этот вопрос будет дано два разных ответа в зависимости от того, преобладает ли в отвечающем католический или протестантский дух. Настроенный в католическом духе подчеркнет, что даже внешнее соблюдение объективно лучшей нормы постепенно оказывает влияние на внутренний мир человека, а потому, дескать, не беда, если временами человек может казаться не вполне искренним, поскольку на этом пути он поднимется на более высокий уровень; а на возражения протестанта католик ответит, что слишком большой упор на сиюминутную искренность на какое-то время, конечно, делает человека свободным, но по сути дела отнимает у него будущее, так как тот, кто не ориентируется на что-то, стоящее выше себя, закрывает перед собой возможности внутреннего роста. Тот же, кто придерживается протестантских взглядов, скажет, что искренность представляет собой абсолютно лучшее, поэтому не имеет значение, как дорого за нее придется платить, потому что развиваться к лучшему можно только, опираясь на собственный опыт, а самостоятельно добытое знание, пускай даже несовершенное, в любом случае более ценно, чем самые правильные поступки, совершенные под влиянием чужого авторитета. Ни о каком отказе от будущего ради настоящего тут, мол, не может быть и речи, поскольку, как показывает опыт, протестантские народы являются самыми прогрессивными. Католики-де и ныне не сдвинулись с той точки, на которой были и сотни лет назад, в то время как пуритане, двести лет назад бывшие варварами, сегодня, как всякому известно, идут в передовых рядах цивилизации. Это верно. Без сомнения, культура искренности представляет собой более дальновидную политику, чем культура совершенной формы. Но с точки зрения того или иного настоящего, последняя оказывается более плодотворной. Ибо только она создает картину достигнутого совершенства, в то время как первая обещает его лишь в будущем.

Можно ли назвать китайскую формальную культуру образцовой? Если понимать ее исходя из ее духа то, несомненно да. Из всех людей китайцы, одухотворив поверхность, достигли в этом наибольшего совершенства, добились полнейшего слияния смысла и формы. Я снова и снова вспоминаю предложенный Конфуцием образ благородного мужа, глубокий смысл которого, как он говорит, проявляется в его изяществе: более совершенным не может быть никакой полубог. В большинстве случаев глубина и приятность взаимно исключают друг друга, как исключают друг друга первозданная сила и грация, легкость и основательность; почти невысказано представить себе, чтобы в одном человеке соединялись достоинства француза и немца. У китайца в его высшем проявлении они объединены. И если он не вполне достигает немецкой глубины, если он не так подвижен, как француз, не так блестящ и тонок, если его натура от природы не так богата, как бывает у нас, то присутствующая в нем воспитанность, тем не менее, представляет собой такой синтез человеческих свойств, какого в такой полноте не удавалось осуществить еще никому.

По духу она, несомненно, являет нам образцовый пример; во всяком случае, я не знаю другой, которая была бы более достойна подражания. Но вот я спрашиваю себя: не может ли быть так, что осуществление привязано исключительно к китайской разновидности человечества? Мир устроен так странно, что зачастую достаточно какой-то случайной конstellации, чтобы явление приобрело вечный общезначимый смысл. Подобно тому, как поэт отнюдь не представляет собой «единственно истинного человека», как думал Шиллер, человека, способного на самые сильные переживания, величайшие страсти, а является всего лишь человеком, которого случайное сочетание талантов сделало рупором того, чем другие обладают в гораздо более сильной степени; подобно тому, как «гений» не является особым самобытным существом, а возникает вследствие совпадения определенных природных данных с определенными историческими условиями, из которых ничто в отдельности не привело бы к созданию гениальных творений, точно так же, возможно, и китайское совершенство, означающее по своему содержанию нечто абсолютно-высшее, тоже может быть пред-

ставлено только в одном лишь китайском варианте. Но этот вариант не может служить для нас образцом. Ведь для того чтобы, следуя строго очерченным ритуалам, оставаться совершенно естественным, для того чтобы держаться в незыблемых рамках, но притом действовать, не изменяя своей природе, требуются какие-то особые задатки. Такой человеческий склад не должен нам казаться таким уж диковинным: англичане не так уж сильно от него отличаются. Они тоже поступают большей частью одинаково, думают одинаково, стремятся к одинаковым вещам, но притом остаются оригинальными; британец высказывает банальности с той же силой убежденности, с какой Галилей когда-то воскликнул: «*errur i tuove*»; соответственно, он среди европейцев представляет собой самого совершенного человека. Однако обнаружив принципиальное сходство китайского и британского характеров, мы как раз ощутим сильные сомнения в том, что идеал абсолютного совершенства возможно реализовать как всеобщий. Ты можешь стать кем угодно, но только не англичанином, если ты им не родился. Данная таковость строжайше обусловлена и зависит от тысячи мелочей, случайностей, ограничений и предрассудков, причем в гораздо сильнейшей степени, нежели любое другое выражение европейского человеческого типа; и только при наличии этих условий проявляются достоинства англичанина. Подобным же образом и индивидуалистическая ренессансная культура держалась только на преобладании исключительных индивидуальностей. Так что возможно, что и пример Китая не годится для подражания.

Что касается меня, то я об этом не жалею, так как мало верю во всеобщее и всестороннее движение человечества к прогрессу, да и не верю в его желательность. Ибо к чему бы оно привело? К прогрессирующей унифицированности. Для нас гораздо лучше, что наши идеалы вспыхивают тут и там, в древности, сейчас, или когда-нибудь еще, то в Китае, то в Элладе, то в Германии, ненадолго воплощаясь в действительность, так что мы все время высматриваем, где бы они еще появились; лучше, повторяю, чем если бы мы, убаюканные дешевым оптимизмом, безвольно плыли в потоке времени, ожидая, когда он механически вынесет нас к желанному идеалу.

Теперь я должен остановиться на оборотной стороне китайской культуры форм: на том чудовищном преобладании чисто внешней стороны, которая характерна для ее нынешнего состояния.

То, что она вообще носит внешний характер, заведомо ясно: невозможно, чтобы совершенная форма выступала в качестве истинного выражения, пускай даже высочайше образованной, массы. Масса может быть любезна, вежлива, предупредительна, и все же искренна, но не может быть одновременно искренней и куртуазно вежливой; заполнить такую форму для нее непосильно. Но откуда происходит эта крайняя степень китайской приверженности внешним формам? Ибо она и впрямь доходит до крайности. Память о приличиях так сильна в китайце, что он лишь в виде исключения выказывает себя без задней мысли; только в очень надежной обстановке он покажет себя со всей непосредственностью; он до глубины своего существа на протяжении всей своей жизни выступает в качестве собственного церемониймейстера. Соответственно, он чувствует себя в ответе только за то, что делается напоказ и проявляется вовне, за «гладкость» церемониала; что касается убеждений, то они не относятся к его ведомству, представляются ему чем-то несущественным. То, что возникает в ходе живого развития, ни к чему не сводимо; существенное не поддается обоснованию. Однако все же не будет вреда, если я *in abstracto*¹ подытожу относящиеся к делу общие причины: крайняя степень внешней направленности китайского поведения проистекает оттого что народ со слабым сознанием индивидуальности, наделенный необычайным чувством формы и ярко выраженной общительностью, вот уже на протяжении тысячелетий живет в условиях, когда он представлен слишком большим количеством экземпляров.

Вообразите себе, что тысячи тысяч миролюбивых, практичных людей набиты в тесном пространстве как сельди в бочке и никогда не могут из него выйти. Единственная возможность как-то ладить друг с другом состоит в этом случае в том, чтобы вести себя так, как всем кажется правильным. В общении главными явля-

¹ Отвлеченно (лат.).

ются всегда не взгляды как таковые, а их выражение, не то, что ты есть, а то, каким ты кажешься; к общежитию описанного рода это относится в наибольшей степени. Тут уж вообще не остается места для всяких личных капризов, прожить можно, только если строго придерживаться нормы. Если бы сверх того имелась врожденная склонность к выполнению неизбежного, это еще больше подняло бы престиж обычая, что еще больше поддерживало бы чувство формы. Таким образом очень скоро получилось бы так, что все общежитие стало бы регулироваться объективными нормами, и тем самым все подчинилось бы внешним правилам. Как мы видим, существующее состояние китайского общества можно конструировать априорно. Что это доказывает? Что это для него совершенно естественно. В действительности мы сами не так уж далеки от китайцев. Мы часто любим шутить над китайской заботой о том, чтобы не потерять «лицо», над их стараниями в первую очередь сохранить видимость; такой парадокс, который являет собой человек, готовый безропотно переносить последствия своего проступка при условии, что он будет выглядеть безвинным страдальцем или сумеет притвориться, что страдание ему нипочем, можно также наблюдать и у нас. В нашей общественной жизни важно то же самое: главное — это добрая слава, общественное мнение, внешний ореол, миф; наша общественная жизнь также порождает преобладание внешних форм. Если оглядка на окружающих как-то влияет на поведение человека, то искренность, верность самому себе невольно отступают на второй план; когда все решает оглядка, об этих качествах вообще не приходится говорить. Если среди ценностей ставка делается на чужое мнение, это уже в принципе снимает вопрос о единстве между сутью человека и его делами или между сутью и внешней видимостью. Только не надо приводить в качестве аргумента христианскую любовь: уж она-то по самой своей сути ни с чем не считается, до чувств ближнего ей вообще нет никакого дела; она желает ему добра ради добра; а до чувств ближнего ей нет никакого дела. Принимая во внимание чувства своих ближних, мы поступаем не совсем по-христиански. Итак, в китайском обществе получает свое крайнее — если угодно, даже карикатурное

выражение только типическое; китайцы как народ во все не эксцентричны, просто человеческое выражено в них в самом отчетливом и последовательном виде. А в каком-то смысле они также и самые искренние люди на свете. Все мы постоянно актерствуем перед собой; все мы сознательно обманываем себя, принимаем себя за что-то другое, чем то, что, как нам известно, мы есть на самом деле; все мы рады в душе, когда путем даже весьма сомнительных ухищрений нам удастся сохранить перед самими собою лицо. Только перед другими мы стесняемся ложной видимости. Саморазвитие идеи, как сказал бы Гегель, привело к такой забавной вещи, что перед другими мы выказываем бóльшую прямоту, чем перед самими собой; что мы из-за отсутствия правдивости ведем себя правдиво. По сравнению с нашим, поведение китайцев, актерствующих перед другими так же, как перед самими собой, несомненно, является более искренним. Не думайте, что я говорю это в шутку; я и вправду так считаю. Если вы не верите в искренность китайцев, то загляните как-нибудь в газеты, в которых они обсуждают свои внутренние дела; нигде больше я не встречал столь мало тщеславия в подходе к этим вопросам, нигде не видел большей объективности. Когда они искренне этого хотят, то говорят искренне, в другом случае — нет; мы же все время притворяемся искренними.

Типично, а вовсе не эксцентрично также и то, что китайцы придают церемониалу такое громадное значение, которое современному человеку кажется невозможным. В Китае действительно форме придают больше значения, чем содержанию, но такое положение можно наблюдать всюду на определенной стадии развития. Чем больше у народа присутствует «первобытное» начало, т. е. чем он, согласно представлениям XVIII века должен быть проще и естественней, тем на деле большее значение имеет у него ритуал. В ходе развития эта черта сначала становится все изощреннее; ритуалы все усложняются, совершенствуются, пока наконец не доходят до такой точки, когда индивид начинает бунтовать против норм, созданных обществом, и тогда историческая форма ломается. Мы, европейцы, находимся на последней из описанных стадий, образованные же китайцы на предпоследней, ко-

гда объективная норма уже достигла крайней степени оформленности. У китайцев это типическое явление представлено в своей классической форме, еще более классической, чем это было у французов XVII века, который поразительно напоминает то, что еще вчера наблюдалось у китайцев; форма, в которой что-то делается, воспринимается у них как существо дела. Психологическая причина такого восприятия заключается в том, что человек еще не дорос до изобретенных им форм и соответственно переоценивает их значение как там, где речь идет о ритуалах, так и в отношении машин (современное механистическое мировоззрение в психологическом плане эквивалентно ритуалистскому); человек видит в формах самостоятельные сущности, а не только органы и средства выражения себя самого. В биологическом же плане это связано с неиндивидуализированностью отдельного человека на этой ступени. В условиях, когда класс означает в сознании человека нечто большее, чем он сам, общественно значимые нормы естественно первенствуют по отношению к личному; тут строгое следование обычаю имеет такое же метафизическое значение, как у нас искренность и прямота. В зависимости от особенностей умственного развития и культуры это интерпретируется по-разному: предрасположенные к мистическому направлению индийцы приписывают ритуалам магические возможности, для народов с более бедной фантазией, таких как, например, французы, конечной инстанцией остается обычай. Самую же глубокомысленную теорию, какую только можно измыслить для этого явления, причем глубокомысленную не столько в смысле понимания, сколько в смысле ее влияния на реальную жизнь, придумали китайцы: согласно созданному и принятому ими учению следование объективной норме неизбежно приводит отдельного человека к личному совершенству. Масса тем не менее осталась на уровне внешнего ритуала, но для среднего представителя более высокого уровня это указало путь, который ведет к цели, хотя и не быстро, однако надежнее, чем все остальные, которые мы выбирали.

Значение церемоний представляет собой для Китая не исключительное, а типичное явление. Оно типично для общества с низким уровнем индивидуализации, но при-

том с высокоразвитой культурой. Европейцу трудно принимать всерьез формы, характерные для такого общества. Но если вообще следует принимать формы всерьез, то значит, они имеют серьезное значение. Для метафизика нет разницы между формами, порожденными природой, и формами, которые придуманы изобретательной фантазией. Как явления действительны и те и другие, а по своему содержанию они едины. И если даже на него *chinoiserie* производит порой впечатление чего-то гротескного, вроде карикатуры на человеческий род, то он одновременно видит в ней и нечто большее — карикатуру на все творение в целом. Любую определенную форму можно считать предрассудком; каждая с той или иной точки зрения представляется гротескной. И если нам невольно хочется усмехнуться над человеком вообще и его двойственной природой, то это уже дело нашего настроения и его прихотей.

По Шаньдуну

Все больше меня поражают огромные размеры Китая. Это целый отдельный мир, его размеры так существенны, так впечатляющи, что ничего подобного я не видел ни в одной стране, в которых я побывал; и я уже хорошо понимаю, почему его жители не склонны принимать всерьез весь остальной мир. Иногда Китай мне напоминает Россию — такую же гигантскую империю, которая всегда, что бы с ней ни случилось, будет производить грандиозное впечатление. Так в чем же то общее, которое я все время ощущаю, невзирая на все различия? Мне трудно это понять; но, кажется, дело в тех огромных просторах, которыми Китай так же отличается от всех прочих стран Востока, как Россия от стран Запада. Нет ничего более обширного, всеобъемлющего, чем «бурая равнина», и даже в малом видно ее отражение; каждый коренной русский по своей сущности (хотя это и не всегда проявляется в конкретном случае) — широкая, крупная натура. Ясный и четко очерченный китайский ландшафт тоже однообразен, ритмичен и велик, и его обитатели носят его отпечаток. Китаец тоже вызывает впечатление широкой натуры, каким бы он ни

был сухарем и филистером, ибо в основе того, что мы называем *chinoiserie*¹, лежит могучее величие. Выразительное по своему содержанию слово *chinoiserie* вызывает в первую очередь представление мелкости, которую мы действительно наблюдаем в соответствующих вещах в Бирме, Сиаме и Японии. В Китае же за каждой арабеской чувствуется субстанция могучей народной души. И эта мощь необыкновенно притягательна. Я точно знаю: со временем она бы меня окончательно пленила, как пленила уже очень многих. Субстанциальность китайцев тем более бросается в глаза, оттого что внешние формы здесь носят такой характер, который мы, европейцы, не привыкли связывать с чем-то глубоким; все изящное, грациозное, вычурное производит на нас впечатление чего-то поверхностного. Китаец же глубок; быть может, он самый глубокий из людей. Нет никого, кто был бы так же сильно укоренен в естественном порядке природы, чей морализм был бы таким сущностным, ни для кого внешние формы не значат так много, как для него. Только глубокие люди способны серьезно относиться к форме.

Однако уникальная весомость, присущая китайской глубине, объясняется тем, что их глубина — это глубина, обретшая кровь и плоть; она представляет собой как бы одухотворенную силу тяготения. В шедеврах древнекитайского искусства дух облекся в такое мощное тело, какого он не имел больше нигде. Какая мощь исходит от древнекитайских статуй Будды! Они дышат той силой, которой должен был обладать Бог, чтобы, явившись на Землю, выглядеть Богом. Доля этой силы живет в каждом китайце; а Китай в целом одушевлен ею до предела.

Если хочешь по достоинству оценить Китай, нужно одновременно держать в уме пресловутое *chinoiserie*, огромные размеры этой империи и корневую мощь ее обитателей. Китайскую вежливость нужно воспринимать в сочетании с величием природы. Как же мало сущностное величие зависит от случайных способов его выражения! Это величие определяется единственно лишь бытием! Китай оставался великим, несмотря на то что в войне

¹ Произведение в китайском стиле (фр.).

чаще всего терпел поражение, хотя он редко бывал единственным политическим образованием, и останется великим, даже если когда-нибудь будет разделен.

Сейчас я в Азии. Я уже не на том Востоке, который мы называем словом *Orient* и который включает в свое пространство Грецию, Египет, Малую Азию и Персию вплоть до Индии и Южного Китая; я в той Азии, которая начинается в России и объединяет в огромное единство народы этого обширного континентального пространства. В психологическом плане русский человек больше сродни индийцу, чем китайцу; во многих отношениях русская душа звучит в унисон с древнеиндийской, у обоих этих народов, в сущности, одинаковое отношение к Богу и к природе. Однако общий фон, на котором протекает существование русского и китайского народа, одинаков. Общий фон существования всех азиатов — это конкретная бесконечность, бесконечность пространства и времени. Такого фона нет ни у кого из европейцев или индийцев. Если сравнить выдающегося немца и выдающегося русского, то первое, что бросается в глаза, это тот широкий фон, который есть за спиной у русского: в этом заключается его азиатская черта. За европейцем никогда не стоит ничего, кроме истории, которая, конечно если она была богатой и великой, придает ему такую значительность, какую не найдешь ни у кого другого. Но этот фон как-никак конечен, и даже самые четкие очертания никогда не заменят широты. За спиной жителя ориентального Востока стоит легенда или сказка: это уже нечто большее, поскольку возможное всегда больше действительного, но, с другой стороны, одновременно и меньше, так как допускает вероятность сомнения. Поэтому жителю ориентального Востока присуще что-то ирреальное, он производит впечатление некоего *quasimodogenitus*, одновременно бесконечно старого. Азиату же служит фоном безмерная природа, бесконечность мирового процесса. Так, индеец зорко разглядел человека, но не претворил свое знание в жизнь; природа, которую он столь глубоко постиг, *in concreto* для него как бы не существовала. Зато как же ярко она существует для русского! Никто так не чувствует своего единства с нею, как простой русский мужик, ни один художник не умел так

пластически изображать человека в условиях реальной жизни, как Лев Толстой. Мягкая, чувствительная душа славянина имеет непосредственную симпатическую связь со Вселенной, которая служит ему фоном. Симпатическим чувством в этом смысле китаец при его сухом и трезвом уме, пожалуй, не обладает; однако фон существования у него тот же, что у русского. У китайца, этого гения социальности, смысл мироздания проявляется в порядке жизненного устройства. Кому еще, кроме него, приходило в голову увидеть общую связь между церемониями, которые проводит Сын Неба, сменой времен года и общественной жизнью? Кто может сравниться с ним в глубине ее постижения? Китаец тоже, по-своему, видит самоочевидность всеобщей связи. Азиат никогда не противопоставлял человека природе, но рассматривал его как ее часть. Как потрясает нас в «Анне Карениной» рассказ о ее смерти, когда мы видим, что эта смерть описана так же, как смерть благородной скаковой лошади в начале книги! Какой великий стиль порождает в китайском искусстве его неантропоморфный характер! Запечатлев природу на плоскости так, как это умели делать Гомер и Гёте, мы, конечно, получим прекрасную картину. Однако когда человека не отделяют от природы, постигая его изнутри в нерасторжимом единстве с нею, — это, пожалуй, выражает более глубокую мысль.

Цзи Нан Фу

Таких удивительных картин сельской жизни, как те, что разворачивались перед моим взором во время поездки по Внутреннему Китаю, я еще никогда не видал. Вся земля окультурена, тщательно удобрена, чисто и со знанием дела вспахана от подножия до самой вершины холмов, которые вздымаются искусственными террасами, словно египетские пирамиды. Выстроенные из глины деревни, окруженные глиняными стенами, выглядят среди этого ландшафта природными образованиями: настолько мало они выделяются на буром фоне. Повсюду видишь работающих в поле крестьян, они трудятся методически, вдумчиво, весело и спокойно, вся обширная равнина оживлена их фигурами; синий цвет курток так же неот-

делим от общей картины, как зелень обработанных полей и яркая желтизна высохших речных русел. Равнину невозможно представить себе без живого желтокожего человека. Вся она одновременно представляет собой и сплошное, громадное кладбище. Здесь редко найдешь делянку, на которой не высились бы многочисленные могильные холмики; плуг то и дело виляет из стороны в сторону, почтительно объезжая надгробные камни. Такого впечатления коренной исконности, привязанности к земле не вызывает никакое другое крестьянство. Вся жизнь и смерть здесь сосредоточены на родимой пашне. Человек принадлежит ей, а не она ему; неотчуждаемая сама, она никогда не отпускает от себя своих сынов. Как бы ни возрастала их численность, они все равно остаются при ней, кропотливым трудом вырывая у нее ее скудные дары; а умерев, они доверчиво возвращаются в ее материнское лоно. Там они продолжают жить вечно. Китайскому крестьянину, подобно доисторическим грекам, в покойнике мнится продолжающаяся жизнь. В пашне он чувствует дыхание предков, это они вознаграждают его за труды, наказывают за упущения. Поэтому наследственная делянка в то же время олицетворяет для него его историю, память, воспоминания; он не может изменить ей, как не может изменить самому себе; ведь он сам — лишь ее часть. Какие сельские идиллии, начиная от «Георгик» и кончая «Германом и Доротеей», могут сравниться с этой эпопеей?

Мне невольно вспоминаются стихи Лао-Цзы:

Der Mensch hat die Erde zum Vorbild,
Die Erde hat den Himmel zum Vorbild,
Der Himmel hat den Sinn zum Vorbild,
Und der Sinn hat sich selber zum Vorbild.¹

Согласно китайскому мировоззрению небо и земля, события в мире и человеческая жизнь, мораль и нор-

¹ Для человека — земля пример,
Для земли — небо пример,
Для неба — смысл пример,
Для смысла — он сам пример.

(Пер. И. Стребловой.)

мальный ход природных процессов прочно связаны в единое целое. Небо возвышается над землей, а земля над человеком. Крестьянин — человек, находящийся в ее строгом подчинении. Но вследствие этого он является основой этой всеобщей связи. Если он не будет добросовестно выполнять свою обязанность, пошатнутся и государство и небеса. Поэтому он имеет такое значение, каким не обладает ни одно другое существо. Его значение признается всеми политическими мировоззрениями; повсюду высшее опирается на низшее, самое дифференцированное — на аморфную массу; это закон, лежащий в природе вещей. Но для китайца его значительность имеет особенный, удивительный смысл; в его духовном мире заложена мысль о существовании не только механической, но и живой связи между всеми элементами мира, вследствие чего все высшее не только основывается на низшем, но и находит в нем свое отражение; если бы китайский крестьянин рассуждал, он мог бы чувствовать себя столпом, поддерживающим небо. Где еще в мире глухое существование массы освящено представлением о том, что она является зеркалом мудрости? Где еще инстинктивно воспроизводимая рутина жизни служит символом глубочайшей идеи гармонии? Здесь мы видим такую организацию жизни, которая по заключенному в ней смыслу никогда не знала себе равных. И этот великий смысл, как это всегда бывает, если он истинно велик, при всей его непонятности для большинства проникнул собой явление. Связь, постулируемая мифом, в жизни китайцев воплотилась в действительность. Дифференцированные органы, в частности императоры, зачастую оказывались не на высоте положения, но китайский крестьянин искони был и до сих пор остается таким, каким он должен быть. На этом примере видно, насколько дух может поднять мир на недостижимую для того высоту и как слепы натуралисты, отрицающие и отвергающие идеалы, чье соответствие природе на их взгляд ничем не доказано: ведь и несоответствующие идеалы могут, в конце концов, стать такими же, как изначально соответствующие. Дух бросает свои идеалы в почву материи, а когда семена всходят и созревает урожай, оказывается, что мироздание изменилось.

В том, что касается власти над природой, мы, европейцы, далеко обогнали китайцев, но представление о жизни как о ее сознательной части получило наивысшее выражение у них. В конечном счете мы действительно — часть природы; повелеваем мы ею или подчиняемся ей — основополагающий синтез остается одним и тем же. Этот основополагающий синтез глубоко осознан китайцами, нами же — нет; в этом они стоят гораздо выше, чем мы.

Пекин

Эти первые предвечерние часы в Пекине я провел возле храма Неба. Одинокó выситсá среди широкой песчаной площади окруженный редкими темными соснами громадный мраморный алтарь. Время от времени каркает ворона; вокруг царит безлюдье. В этом месте ты чувствуешь: история вступает здесь в действие только в переломные моменты процесса. Все здание отличается чрезвычайной простотой, однако, его пропорции удивительно благородны; среди сурового окружения его чистая, одухотворенная красота потрясает; оно неудержимо увлекает человеческий дух к небесам, прочь от всего физически мощного, придавливающего к земле; повсюду на белом мраморе вырезана эмблема дракона. Дракон служит символом начала творения, это первый эфирный образ, в который воплотился смысл. Дракон символизирует собой всепроникающую текучесть, всеприсутствие; вечное обновление, вечное преображение; это символ души и тем самым бесконечности. Дух дракона воздвиг храм Неба. Воздвиг его как трамплин к небесам, а не в знак земной тяжести.

Я очутился там в нужном настроении. Картины крестьянской жизни, встреченные по пути, подготовили меня к пониманию того, в чем состоит значение последнего, высшего человеческого звена в общей картине космоса. Император на троне с драконами — это больше чем человек; он — связующее звено между небом и землей, подобно тому как крестьянин — это звено, соединяющее землю с человеком. Так, он несет ответственность за природу. Тщательно соблюдаемый ритуал точно

соответствует нормальной последовательности времен года; если дождь, необходимый земледельцу, слишком долго не приходит, император обязан совершить покаяние. Его власть и положение хорошо отражают гармоническое единство творения, его характер — характер его министров, его поведение — поведение его подданных. Таким образом, его самодержавная власть одновременно представляет собой всеобъемлющую ответственность, которая ставит ему строгие рамки и условия. Он ответствен не только перед Богом, как это некогда было у европейских автократов, которые в отношении людей могли поступать по своему произволу, но он ответствен и не только перед одними людьми, как это принято в современном смысле; его ответственность — это ответственность в смысле главного часового механизма. Если часы идут плохо, то вина лежит на них, но не в том смысле, что ведущее колесо может отказать и при этом часам ничего не сделается: если часы не в порядке, они и пострадают от этого в первую очередь; механизм сам собой остановится и сломается. Так династия, не сумевшая хорошо управлять, рано или поздно должна сойти со сцены — либо она сама собой вымирает, либо изгоняется из страны.

Какая чудная концепция! Насколько выше она концепции власти по божьей милости, когда правитель считается наместником Бога, а не то и самим Богом, как это было у римских цезарей! Пожалуй, это единственная концепция, в которой удовлетворительно решается вопрос сочетания абсолютной суверенности и абсолютной ответственности. Сын Неба могущественнее любых царей, так как он стоит даже выше природы. Но, с другой стороны, его положение не менее условно, чем положение какого-нибудь министра в современном демократическом государстве, ибо он представляет собой лишь определенный орган в составе скрепленного многосторонними связями единого организма и не может занимать свое место и выполнять свои функции независимо от всех остальных. Поэтому самодержец должен пользоваться советами мудрейших людей его нации, должен учитывать волю народа и неуклонно стремиться к добру. Если он захочет управлять в эгоистическом духе, он сам отрежет себе вся-

кую возможность существования. Это чудесное понимание призвания и положения того, кто поставлен властителем над людьми, является логическим следствием того мировоззрения, которое мы называем китайским. Согласно этим воззрениям, законы морали и природы входят в состав единой, цельной системы. Нормы, управляющие моральным поведением человека, временами года и сменой дня и ночи, едины; они составляют цельное, объединенное всеобъемлющими связями единство, в котором гармонически сочетаются человеческий, органический и неорганический мир, естественное и нравственное начала. Но моральному началу принадлежит главенствующее место. Мораль в самом глубоком смысле означает самореализацию. Поэтому природе грозит опасность вернуться из состояния космоса в первоначальный хаос, если люди не будут выполнять свои обязанности — отец не будет хорошим отцом, супруг — супругом, царь — хорошим царем, подданный — хорошим подданным, забыв о пяти главных добродетелях (справедливость, великодушие, вежливость, понимание и добросовестное выполнение долга). Поэтому никакому императору не дано права изменять что-нибудь в существующем порядке, если его нравственный характер не отвечает соответствующим требованиям. С другой стороны: если его характер отвечает должным требованиям, все само собой входит в правильную колею. В Tschon-Yong сказано: «Достаточно императору привести в порядок себя, как сразу начнут выполняться все обязанности перед ним; когда он будет оказывать должное почтение мудрецам, он будет безошибочно различать заблуждение и правду, добро и зло; когда он будет выказывать должную любовь к родителям, прекратятся все распри между его дядьями, старшими и младшими братьями; когда он будет по заслугам оказывать почет своим министрам, дела государства будут процветать; когда он будет правильно обращаться со своими младшими чиновниками, литераторы будут с должным рвением выполнять свои функции во время церемоний; когда он будет любить свой народ как сына, этот народ будет стараться ему подражать; когда он привлечет к своему двору ученых и художников, его богатства получат должное употреб-

ление; когда он будет приветливо принимать чужеземных гостей, в его государства устремятся люди с четырех сторон света, дабы причаститься его благ». Мораль представляет собой основополагающую силу, на которой держится мир; когда правит мораль, все остальное улаживается само собой. Кант называет две вещи, которые всегда наполняют сердце благоговением: звездное небо над головой и законы, живущие в душе. Для китайца сам небесный космос является выражением морального закона.

Европею кажется нелепым подводить под один знаменатель законы природы, которые в силу необходимости исполняются при каждом событии, и моральные законы, которые должны выполняться, но в большинстве случаев нарушаются. По поводу этого следует напомнить, что китайцу, исповедующему такое мировоззрение, неведомы законы природы в нашем понимании; он судит с точки зрения крестьянина, а согласно его типическому мнению природа тоже редко делает что-то правильно, чаще она поступает неправильно; неживые процессы для него детерминированы не больше, чем одушевленные поступки, которые со всей очевидностью могут совершаться и так и сяк в зависимости от характера человека. А следовательно, он поступает не так уж иррационально, сводя мировой порядок и порядок среди людей к одной и той же причине.

Моральное начало как изначальная мировая сила оказывает свое воздействие непосредственно, для этого не требуется специальных действий. Поэтому о самых великих китайских императорах сообщается, что они не правили. Конфуций сказал: «Высоким был способ, которым Шун и Ю правили земным миром, хотя они для этого ничего не делали». Лао-Цзы:

Herrscht ein ganz grosser, so weiss das Volk nur eben,
dass er da ist.

Mindere werdebn geliebt,
Noch mindere werden gefuerchtet,
Noch mindere werden missachtet.

Vertraut man nicht genug,
Sj findet man kein Vertrauen.

Wie ueberelegt waren jene im Waehlen ihrer Worte!
Die Werke wurden vollbracht, die Arbeit wurde getan,

Und die Leute im Volk dachten alle:
«Wir sind selbstaendig».¹

Единственное, что нужно настоящему правителю, чтобы править, это — хорошая нравственность. Даже сейчас, при царящей ныне разрухе, Китаем правит один лишь моральный престиж и всеобщее почтение народа к тому, что стоит выше них. Как небогата машина власти! В распоряжении мандаринов для подкрепления их приказов нет ни военной силы, ни полиции и тем не менее приказы эти послушно выполняются. Для этого достаточно престижа высокого звания мандаринов; предполагается, что оно соответствует их моральной высоте и служит гарантией того, что они уважают нижестоящих. Как замечательна идея такого правления! Выше нее вообще ничего невозможно представить. Если бы воспитанность народа была совершенной, не нужны были бы вообще никакие институты, ибо все улаживалось бы само собой. Чем воспитанней народ, тем больше он может полагаться на соответствие исполнителей своему месту, тем меньше деталей в государственной машине. В Англии судьи — настоящие самодержцы; они в прямом смысле слова творят законы; и эта система себя оправдывает именно благодаря тому, что люди оказываются на высоте положения. В Германии еще нельзя дать судьям такие же властные полномочия, там требуются четко установленные нормы; в России кроме того требуется контроль в каждом отдельном случае применения и толкования. В Китае нравственное чувство имеет на данный момент самое высокое развитие; оно действительно составляет основную черту нации. Поэтому

¹ Когда правит очень великий властитель, народ знает о нем только то, что он существует.

Тех, что меньше его, любят и хвалят,
Еще меньших боятся,
Еще меньших презирают.
Если ты не доверяешь,
То и тебе не будут доверять.
Как обдуманно выбирали они слова!
Задуманные дела исполнялись, работа делалась,
А в народе все думали:
«Мы самостоятельны».

(Пер. И. Стребловой.)

там, по крайней мере по идее, возможны такие условия, которые Западу кажутся недостижимыми для человеческой природы.

Неужели там вообще нет той государственной машины, которая требуется правителю, чтобы править? Она есть; роль этих форм выполняют ритуалы. И в этом удивительная глубина, извечно человеческое вновь выражается в виде *chinoiserie*. Нет нужды в администрации, почти не нужны законы; вся жизнь организуется сама собой. Но если бы император во время великого жертвоприношения перед алтарем Неба вдруг совершил ошибку против этикета, удивительная упорядоченность этого мира немедленно бы рухнула, сменившись беспорядком.

Улицы Пекина не так красивы и живописны, как улицы Южного и Среднего Китая. Зато они просторнее (не только в смысле физической ширины), и в них веет ветер степей. Дух Чингисхана, великого манджурского и татарского завоевателя, а не дух китайских литераторов определил характер этого города, поэтому в нем чувствуется мощь и суровость. Пекин — это в первую очередь императорский город, что делает его более похожим на Дели и Санкт-Петербург, чем на соседние Тяньцзинь и Цзи Нан Фу (*Tientsin und Tsi Nan Fu*).

Эти гигантские ворота, эти могучие стены, эти высоко вздымающиеся дворцы и пагоды — все здесь указывает на то, что это резиденция властителей. Проходя длинные расстояния, которыми здесь один памятник отделен от другого, и проникаясь духом императорской мощи, я чувствую, как во мне растет враждебность к новой республиканской государственности. Как мало она здесь уместна! Зачем китайцам было ее вводить? Свободнее они от этого не станут; такой свободы, какая была у них, не найдешь и в Америке. Община, этот социальный атом Китая, пользовалась в управлении совершенной независимостью. Она сама избирала своего главу, сама ведала своими делами и почти не платила никаких регулярных налогов; суммы же, которые вымогали у нее наезжавшие время от времени мандарины, были совершенно незначительными по сравнению с теми, которые ей теперь придется регулярно отдавать государству. В частную

жизнь граждан старое правительство вообще не вмешивалось; оно пребывало в бездействии, пока не возникала неизбежная необходимость принимать меры. Тогда оно, правда, показывало себя несправедливым, жадным и жестоким, но тут уж дело было в определенном чиновнике, а не в принципе как таковом, который сам по себе замечателен. Кроме того, в монархическом Китае не было привилегированных каст, не было аристократии; на протяжении тысячелетий там каждому человеку был открыт путь к высшим должностям. Ни в одной стране мира гнет правительства не ощущался так слабо, не был так мало заметен, как в Китае, нельзя найти ни одной страны, где бы частная инициатива встречала так мало препятствий со стороны власти. Если же в Китае отдельный человек все же был менее свободен, чем в нашем мире, то вина здесь лежала на общественном строе, а не на системе правления, и если требовалось ее переменить, это с таким же успехом или неуспехом можно было сделать и при старом режиме. Так зачем же тут революция? — Пожалуй, она все-таки была необходима, так как маньчжурская династия отжила свой срок; она дошла до той точки, когда дух китайского государственного устройства уже требовал смены династии. При такой системе, пригодность которой гарантируется исключительно высокими качествами ее представителей, все условия неизбежно должны изменяться в самую худшую сторону, когда эти качества перестают отвечать требованиям. Как бы там ни было насчет правильности того убеждения, что на службе хорошего государя всегда бывают хорошие чиновники, но можно с уверенностью сказать, что при китайской форме правления плохой император непременно заведет государство в тупик, ибо здесь нет устойчиво сложившейся государственной машины, которая служила бы противовесом личным обстоятельствам. Таким образом, дело неизбежно шло к перевороту. Но то, что последствия этого переворота оказались гораздо значительнее, чем это бывало обычно при прежних кризисах государственного организма Китая, что он привел к краху всей системы в целом, это было вызвано внешними обстоятельствами, и в первую очередь заразительным

примером Запада. И если *common sense*¹ китайского народа и его глубокая социально-политическая культура не помогут ему удержаться от повторения ошибок Запада, это несомненно будет для него большой бедой.

Я не враг республиканской идеи. И я, безусловно, согласен с тем, что будь люди вполне образованны, республика была бы для них наилучшей формой правления. Однако на той стадии, на которой сейчас находятся даже самые развитые народы нашего времени, республика вместо желаемого результата приводит к прямо противоположному: вместо господства лучших, она приводит к господству некомпетентности; вместо освобождения — к порабощению; а вместо повышения общего уровня — к его понижению.

К господству лучших она не приводит потому, что необразованный человек никогда не склонен признавать чье-либо превосходство. Он выберет в правители скорее всего такого человека, которого сочтет равным себе; так, например, американцы с очаровательным прямотушием открыто заявляют, что не желают видеть в своем конгрессе выдающихся людей, поскольку те не могут представлять народ. Только те из выдающихся деятелей, которые превосходят своих избирателей не столько умом, сколько хитростью, т. е. демагоги, интриганы, карьеристы, имеют шанс стать у руля правления при республиканском режиме. Поэтому при таком устройстве у главы государства отсутствует то, что составляет главную добродетель правителя: независимый взгляд. Правители в этом случае всегда внутренне несвободны, никогда не обладают способностью охватить все спокойным взглядом, характерным для прирожденного правителя. У них нет самостоятельности, они всегда вынуждены заискивать перед своими избирателями и перед прессой. И уж если таковы главы правительств, то члены общества и тем более не лучше. Как недавно показал Робер де Жувенель, парламент нынешней Франции вовсе не представляет интересы народа, а, напротив, являет собой совершенно самостоятельный, паразитирующий на его теле организм, части которого находятся в абсолютной зависимости друг от друга, а потому вынуждены в пер-

¹ Здравый смысл (англ.).

вую очередь считаться друг с другом, и лишь в виде исключения они иногда вспоминают о благе государства: в принципе то же самое относится ко всем республикам, и актуализация этого принципа является лишь вопросом времени. Независимость и самостоятельность не имеют никаких шансов на долговременное существование, пока люди остаются теми, каковы они есть сегодня.

Далее, я говорил, что республиканская форма государственного устройства ведет не к освобождению, а к порабощению. Хотя ее введение всегда означало освобождение от какого-либо вида порабощения, но только для того, чтобы заменить его новым и еще худшим. Все современные республиканцы исходят из ошибочной предпосылки, что все люди от рождения равны; тем самым в гражданах такого общественного устройства искусственно уничтожается чувство превосходства. Мудрец пользуется не большим престижем, чем средний представитель общества, аристократ не большим, чем плебей. Ответственные посты поручаются не тем, кто от природы призван их занимать, а первому попавшемуся или же хитрецу. Таким образом, личность перестает быть гарантом должного функционирования государственной организации. Что тогда остается делать? Приходится усиливать аппарат; он должен обеспечивать то, что при других обстоятельствах зависело бы от качеств человеческой личности. Поэтому оказывается, что для высоко развитой демократии характерно ярко выраженное механическое устройство ее организации. Вчера я записал, что значение политической системы непосредственно связано с недостаточной образованностью ее подданных; в то время как английский судья создает законы, немецкий может вводить только их применением. Соответственно, в условиях высокоразвитой демократии, при которой лучшим людям редко предоставляется слово, государственная машина обладает неограниченной властью. Особенно ярко это выражено в северо-американской республике. Там *saucis*¹ обладает такой властью, какой не может похвастаться ни один азиатский деспот. А поскольку машина бездушна, то ее тирания страшнее, чем тирания самого безжалостного автократа.

¹ Предвыборное партийное собрание (амер.).

Третий пункт касается понижения уровня, к которому неизбежно приводит республиканская форма правления; он почти полностью выводится из вышеизложенного. В результате того, что некомпетентность ставится наравне с компетентностью, отчего притупляется чувство независимости, и того, что каждый готов отдать руководящую роль только равному себе человеку, чувство независимости и самостоятельности действительно сходит на нет, и общий уровень выравнивается в сторону понижения; тем паче, что примеры более высокого человеческого уровня начинают встречаться все реже и число гражданственно настроенных идеалистов среди молодежи все более уменьшается. Такое сильное чувство независимости, как в аристократические эпохи, в демократических странах (а сегодня к ним относятся и те страны, которые имеют монархическое правление), очевидно, вообще невозможно, ибо там, где есть хоть какая-то оглядка на массы, слишком крупные личности оказываются вообще нежизнеспособными; однако в монархиях общий уровень все же никогда не опускается так низко, как в республиках, где каждый может высказать свое мнение. Здесь же масса постепенно вырабатывает дух времени, и поскольку этот дух в первую очередь передается молодому поколению, то каждое последующее поколение неизбежно оказывается тривиальнее, чем предшествующее. И еще одно веское возражение можно выдвинуть против республики; оно связано с правом каждого участвовать в решении политических вопросов. Интерес к политике поднимает на более высокую ступень только того, кто подходит к ней как к идеальной задаче, т. е. прирожденного властителя, того государственного деятеля, который занимается своим делом по призванию, и встречающегося, увы, так редко гражданина, искренне пекущегося об общем благе; всякого другого он увлекает на низшую ступень. Почему? В мелочах каждый подл; в своих поступках он руководствуется личным интересом. Как соправитель республики он становится таким же и в крупном. Тут уж он во всем начинает видеть личный интерес и действует соответственно. При абсолютистском режиме частному лицу невыгодно заниматься большой политикой, поэтому в этих условиях его корыстный интерес проявляется меньше всего; в самой что ни на есть кон-

ституционной монархии все же остаются какие-то вопросы, которые его не касаются. В республике же каждый принимает участие в решении всех вопросов.

Китай был свободен, а станет порабощенным, уровень народа понизится, и место интеллигенции займет всякая сволочь, если только Китаю не посчастливится больше, чем Европе и Америке, и опасность не будет в последний момент предотвращена. Как глупо ожидать от введения республики поднятия общего уровня! Конечно, расстояние между каким-нибудь кули и мандарином огромно, и положение первого следует поправить. Однако этого не добьешься, незамедлительно эмансипировав этого кули и дав ему победить при голосовании мандарина. И даже если получится выигрыш в интеллектуальном образовании, моральное воспитание наверняка окажется в проигрыше. А между тем моральное воспитание — это главное для каждого народа, а для китайского в особенности. Насколько выше, кажется, в этом отношении китайский кули по сравнению с высокомерным иностранцем, которого он носит и возит на себе, голодающий земледелец — по сравнению с миссионером, который берется читать ему проповеди! Насколько выше, в первую очередь, старорежимный мандарин по сравнению с наглыми молодыми людьми, которые сегодня стали во главе государства! Я вспоминаю дни, проведенные в Циндао среди знатных изгнанников; среди них, пожалуй, нельзя было встретить ни одного, кто при всех своих моральных недостатках не был бы нравственно глубоко образованным человеком и который вследствие этого оказался бы непригоден для руководящей должности. Некогда богатые и могущественные, они теперь стали бедными и бесприютными изгнанниками, однако несли свою судьбу со спокойной улыбкой. Бывало, конечно, что я видел их в отчаянии, даже в слезах, но они горевали оттого, что видели близкий конец великой китайской культуры.

Свирепствует ужасная песчаная буря, на дорогах гуляет штормовой ветер. Монголы нещадно погоняют своих мулов, чтобы скорее очутиться под крышей; китайцы в повозках рикш прикрывают платками глаза, которые под напором отягощенного песком ветра облепляют их лица, как слой грязного грима. Осматривать достоприме-

чательности нет никакой возможности. Я провожу время за чтением истории великой вдовствующей императрицы Цы-Си (Tsu Hsi).

Эта властительница, свирепствам которой, по нашим понятиям, можно только ужасаться, для которой человеческая жизнь была не более священна, чем жизнь мухи, которая однажды без колебания приказала утопить одну придворную даму только за то, что та своим приходом помешала ей писать картину, эта властительница слывет среди ее народа добросердечной; такое суждение я только что услышал сегодня от одного мандарина, который при ней служил. Несомненно, она была натурой большого масштаба, а такие никогда не бывают плохими; она хотела добра, добросовестно исполняла свои обязанности правительницы; великие традиции древнего Китая были очень живы в ее душе. Она была выдающейся правительницей, замечательно разбиралась в людях, была в то же время настоящей художницей и была превосходно образована в области классической литературы. Но доброй она все-таки не была; она была драконом, а не агнцем. То, что в памяти людей она продолжает жить окруженная ореолом доброты, является очень важным знаком, ибо, наверняка, это вызвано более глубокими причинами, чем та обыкновенная метаморфоза, которую проходят воспоминания, превращая порой даже Наполеона в некоего «*prud'homme*¹» и очень душевного человека.

Объясняется это, очевидно, главным образом психологической интуицией, чуткостью к человеческой сущности, которой отличаются все азиаты и в первую очередь китайцы. Начиная с Индии, я не раз с восхищением наблюдал, как точно восточные люди инстинктивно умеют мерить каждого человека соответствующим ему масштабом. С одной стороны, это умение (если отвлечься от конкретных эмпирических условий) основывается на вере в типы; ведь и мы тоже были лучшими психологами, пока исходили в первую очередь не из частных элементов, а из общего душевного типа. Ибо поступая таким образом, человек должен действовать синтетически, должен рассматривать отдельные черты в их общей взаимо-

¹ Безукоризненно честный (фр.).

связи, на первом месте у него должно стоять общее целое, а не частное. Для одаренного азиата само собой разумеется, что при оценке поступков другого человека нужно рассматривать их не как таковые, а в связи с тем, что они значат для данного человека. Убеждения Цы-Си, несомненно, были благородны. Она убивала либо потому, что считала это политически необходимым, либо потому, что не видела в этом ничего особенно страшного (ни один китаец не видит ничего особенного в том, чтобы предать человека смерти), или потому, что она не привыкла подавлять свои порывы. Ко всем этим причинам ее подданные относились с полным пониманием. Они понимали, что вспышки насилия у людей высокого и самого высокого общественного положения значат не больше, чем раздраженный жест у простого человека. Кроме того, они знали, как трудно всегда владеть собой тому, кто обладает большой властью, и потому предъявляли к своим императорам меньшие требования, чем к обыкновенным людям. Китайцы толерантны в силу своего убеждения, толерантны до бесхарактерности. Этим объясняется тот факт, почему именно этот народ, чье мировоззрение как никакое другое определяется ориентацией на моральные ценности, народ, который ни за одним правителем не признает юридического права занимать это положение, если тот не отвечает соответствующим моральным требованиям, тем не менее на практике терпит такие злоупотребления, каких не потерпел бы ни один другой народ одинакового с ним культурного уровня. Китайцы не верят в возможность человеческого совершенства; они сомневаются в вероятности идеального функционирования какого бы то ни было института, крайне скептически относятся ко всем улучшениям. Они заранее предполагают у высокопоставленных чиновников склонность к насилию, у нижестоящих — ко всяческим каверзам, и уже довольны, когда злоупотребления и недостатки (молчаливо признаваемые за неизбежность) не переходят за определенный предел. Очень показательным в этом отношении то, что я недавно услышал от одного высокого чиновника о пресловутом сквизе.¹ Он сказал, что нужно различать *pure squeeze* и *dirty*

¹ Squeeze (англ.) — вымогательство, шантаж.

*squeeze*¹; того, кто вымогает лишь столько, сколько ему требуется для поддержания приличного уровня жизни (ибо официального жалования для этого недостаточно), нельзя за это упрекать; плохо поступает лишь тот, кто переходит меру. При всей коррумпированности своего режима китайцы находят его терпимым именно потому, что они такие понимающие люди и немногого ожидают от человека. Смысл они всегда ставят выше реальных фактов. Поэтому и их система, как бы она ни была плоха, кажется им все-таки лучше нашей, хотя они и не отрицают ее преимуществ, поскольку по своему смыслу она представляет более высокую ступень. Их система опирается на основу морали, наша — нет; и это соображение имеет для них решающее значение. А то, действительно ли чиновник является нравственным человеком, не имеет для них особого значения, как бы это ни было желательно. В конечном счете они требуют от своего правительства только одного: авторитетности. Просто авторитетности. Это — логическое следствие их идеала ничегонеделания. Любой авторитет лучше, чем никакой, и оказывающийся на практике плохим лучше хорошего, если он лучше обоснован по своему смысловому содержанию.

Безграничным уважением китайцев к порядку и закону одновременно обусловлена их готовность мириться с отдельными нарушениями. Нельзя не согласиться, что опыт говорит скорее за, чем против целесообразности их точки зрения. В этой колоссальной империи, в которой еще никогда не принималось радикальных мер против существующих злоупотреблений, было в общем и целом больше порядка и продержался он дольше, чем во всех государственных системах с более энергичными методами управления; в этой стране без полиции, с администрацией довольно сомнительной честности в общем и целом воруют, убивают, мошенничают, ссорятся и враждуют гораздо меньше, чем в хорошо организованной Германской империи. И тем не менее я вынужден согласиться с теми, кто именно эту черту китайцев, обеспечивающую функционирование государственного организма, находят самой несимпатичной. Китайскому среднему

¹ Чистое вымогательство и грязное вымогательство (англ.).

сословию недостает морального мужества, кажется, что оно совершенно неспособно на героизм: оно никогда не рискует собственной шкурой; оно скорее солжет, чем скажет правду, которая могла бы вызвать для него неприятности. Китаец — образец утилитарно мыслящего человека. Он поступает так сознательно и даже гордится этим. И это относится не только к буржуазии, Лао-Цзы говорит о мастерах древности:

Zögernd, wie wer im Winter einen Fluß durchschreitet,
Vorsichtig, wie wer von allen Seiten Nachbarn fürchtet,
Zurückhaltebd, wie Gäste,
Einfach, wie unbearbeiteter Stoff,
Weit waren sie, wie die Tiefe,
Undurchsichtig waren sie, wie die Trübe.¹

И далее:

Ihre Art war es, den Rückzug zu lieben.²

Так называемые аристократические добродетели не могли появиться там, где мир считается неизменным, а гармония *à tout prix*³ является идеалом. Тот, кто исповедует статическое мировоззрение, не пойдет ради идеала на смерть, не будет стремиться преобразовать мир, он во всех обстоятельствах принимает во внимание только данность. Того, кто мыслит и поступает таким образом, никак нельзя назвать аристократом. Разве не заключена глубокая ирония в том, что китаец именно благодаря своим несимпатичным качествам создал наилучший образец социального строя, достиг наивысшей социальной культуры, решил социальный вопрос буквально на долгое время вперед? Не случится ли так, что и наш «прогресс»

¹ Нерешительны, как тот, кто зимой переходит вброд реку,
Осторожны, как тот, кто со всех сторон опасается соседей,
Сдержанны, как гости,
Просты, как необработанный материал,
Широки были они, как глубина,
Непрозрачны, как сама мутность.

(Пер. И. Стребловой.)

² В их натуре было любить отступление.

(Пер. И. Стребловой.)

³ Любой ценой (*фр.*)

по мере его развития будет все менее благородным, поскольку с прибавлением порядка и жизненных гарантий должен усиливаться идеал надежности?

Нет, сама новая система как таковая не приведет к возрождению Китая. Нам уже продемонстрировано на примере Франции, как мало там, несмотря на все революции и смены режимов, изменились условия со времен Людовика XIV, а главный историко-психологический тезис Гюстава Ле Бона «*les peuples sont gouvernés, non par leurs institutions mais par leurs caractères*» выражает всеобщую основополагающую истину. Недостатки в устройстве Китая можно преодолеть только в духе его совершенства — его собственного специфического совершенства, а не в духе совершенства чуждой культуры. Конечно, он может позаимствовать у нас нашу технику, наши институты. Наши инструменты, наши методы; Китаю они также пойдут на пользу, как и нам. Но только в том случае, если их сумеют приспособить к глубинному духу старокитайской культуры.

Я все отчетливее понимаю, что необходимость реформ в Китае вызвана не особенностями старой системы как таковой, а тем, что из них улетучился прежний дух. Независимо от того, существовали ли на самом деле или нет те идеальные условия, которые приписывают эпохам Яо, Шун и Ю (Yao, Shun, Yu) (еще Конфуций и Мэн-Цзы горевали о наступившем упадке), Китай все же на протяжении столетий неизменно был ближе к своему идеалу, чем какой-либо другой исторический народ, и еще сегодня в нем жив тот дух, благодаря которому это было тогда возможным. Только дух этот очень ослаб. Китайцы самых благородных взглядов стали нежизнеспособными от утонченности; им недостает свежих сил и активности; они горюют и жалуются, вместо того чтобы действовать. И все же: какая огромная разница по сравнению с теми людьми, которые в результате революции выдвинулись в руководители государства! У этих последних полностью отсутствует какая бы то ни было моральная основа, они в буквальном смысле слова лишены корней. Подобно русским анархистам и нигилистам, они не ощущают ценности исторически сложившихся традиций, и потому они очень даже способны разрушать, но

никогда не построят ничего нового. Возрождение Китая возможно, по моему убеждению, только если опираться при этом на дух конфуцианства. Дай-то бог, чтобы в нем еще была жива необходимая для этого потенция.

К сожалению, дух конфуцианства, как никакой другой способный поддерживать на высоте существующую традицию, мало пригоден для обновления. Вчера я завтракал в обществе старого священнослужителя, пламенного поклонника своей древней религии, выдающего в ней спасение всего человечества и считающего, что упадок Китая объясняется единственно упадком конфуцианства. Я сказал ему, что ему нужно выступить и пламенным словом пробудить китайский народ от мертвого сна. Он ответил мне, что это не его дело; это дело императора и высшего начальства; люди его общественного положения обязаны только выполнять свой долг перед родителями и семьей. «И если бы все сыновья оказывали должное почтение своим отцам, — добавил он к этим словам, — остальное все само собой бы устроилось». Это еще один пример того безнадежно-статического взгляда, согласно которому все в мире находится в гармоническом равновесии, взгляда, в котором совершенно отсутствует представление о моменте ускорения, способном перевести состояние низшей гармонии на более высокую ступень! Как можно при таких предпосылках вводить в мире новшества? Этот мир может сам себя регенерировать. В результате того, что каждый выполняет свои непосредственные обязанности, происходит молекулярная перестройка мировой системы, которая медленно приведет к высшей ступени гармонии. Этот путь характеризуется всеми преимуществами естественного роста: когда он наконец приведет к оптимальному состоянию, оно будет покоиться на более прочном основании, чем при каком-либо другом способе развития; в этом причина необычайной продолжительности эпох расцвета Китая, причина и поныне еще сохраняющейся прочности основ китайского государства. Но для такого процесса требуется страшно много времени — так много, что в обстановке, когда благодаря рекордам, которые ставит Европа, и изменившимся под их влиянием условиям любое развитие должно происходить очень быстро, возможность его завершения оказывается под вопросом. Так что же нуж-

но делать? Мне представляется несомненным, что, несмотря на все изложенные соображения, обновление должно основываться на духе конфуцианства; этот дух так прочно и глубоко укоренился в народе, что его просто невозможно заменить каким-то другим. Кроме того, было бы преступно его искоренять, ибо выраженная в нем идея выше любой, когда-либо выработанной тем или иным обществом. Нельзя представить себе ничего более идеального, чем общество, чей внешний порядок обеспечивается нравственным воспитанием его членов, не требуя для своего установления никаких механических средств; этот идеал имеет значение не только для Китая, но и для всего человечества. Если богу будет угодно, то и мы когда-нибудь достигнем в этом отношении того, что будем иметь право назвать себя конфуцианцами. Однако для этого, конечно, необходимо внести в традиционное конфуцианство новые, ускорительные мотивы.

Эта задача не представляется невыполнимой, если ведущие представители Китая проявят к ней понимание. В глазах народа Конфуций уже стоит на такой недостижимой высоте, что тот не будет противиться его еще большей идеализации. Народ будет даже очень доволен, если ему покажут, что новые идеи, в положительном влиянии которых он поневоле, в конце концов, должен будет убедиться, заложены в священных книгах, и с готовностью примет новое, увидев, что оно опирается на старую традицию. Поэтому задача руководителей младокитайцев, очевидно, должна заключаться в том, чтобы, начиная новые реформы, ссылаться на авторитет Конфуция. По причине афористического характера его изречений это технически легко выполнимо, а относительно конкретных вещей вряд ли должны возникать какие-то сомнения, потому что, с одной стороны, идеи Конфуция получают углубленное осмысление благодаря новому истолкованию с привлечением индийско-христианской мудрости, а с другой стороны, западный практицизм обогатится моральными основами, которых у него прежде не было. Конечно, подобное переосмысление должно означать некоторую фальсификацию истории, но так ли уж это страшно? Какая эпоха исторического прогресса не совершала такого подлога, выбрав верность старым идеалам? Каких только изменений не пережило

христианство на протяжении истории! Из религии терпения она превратилась в религию активного действия; из образа сладчайшего и милосердного спасителя получился прообраз современной самодостаточной личности! Каждая эпоха старалась привести свой истинный идеал в согласие с традиционными, а это всегда достигалось только при помощи фальсификации истории. Все новаторы, желающие восстановить «истинного» Христа, начиная со св. Иоанна и кончая пророками из New Thought, действуют как настоящие фальсификаторы истории, когда вопреки собственным намерениям приписывают свои убеждения беззащитному прошлому. Я отнюдь не ставлю им это в упрек, напротив — человека не так-то просто лишить его исторических корней; тот, кто родился и воспитывался в атмосфере христианства, становится по сути своей христианином, какова бы ни была его вера; ему никогда не дано освободиться от представлений, сформировавших его душу. Но, отстаивая свою личность, он неизбежно дает им собственное толкование, приводит их в согласие со своим мировоззрением в целом.

В этом смысле, вероятно, было бы возможно реформировать китайское государство, основываясь на духе конфуцианства. Но для этого ему, как уже сказано, нужно придать мотив ускорения. Удастся ли это сделать, учитывая, что существенной чертой китайского мировоззрения является его статичность? Европейская история доказывает, что такие метаморфозы иногда происходят. Мне с самого начала бросилось в глаза ярко выраженное сходство староконфуцианского человеческого типа со старолютеранским; на мой взгляд, оба они — порождения одного и того же духа. Задумавшись над этим впечатлением, я увидел, что оно вполне обоснованно: оба эти мировоззрения действительно имеют много общего. Лютеранское тоже по существу статично, оно также гипостазировало существующие классы как метафизически обоснованные и «богоугодные»; для него страдательное отношение к жизни тоже стоит выше деятельного, терпение значит больше, чем инициативность, а стремление выйти за пределы того общественного состояния, к которому человек принадлежит от рождения, считается кощунством; лютеранство тоже является религией тер-

пеливого постоянства. Поэтому оно также вызвало к жизни и сходные достоинства и недостатки. К его достоинствам относится культура семейной жизни, вообще патриархального существования; его недостатки — склонность к реакционности, неспособность к новаторскому преобразованию жизни, неумение приспособляться к новым обстоятельствам, превращать с помощью свободной инициативы естественный застой в действительную энергию. Однако от Лютера ведет свое начало по крайней мере одно направление, свободное от всех недостатков лютеранства: протестантство кальвинистского толка. Это — религия дела *par excellence*, лучшее средство для пробуждения инициативы, развития прогресса, самостоятельного жизнеустройства, какое когда-либо знало человечество. Ни один человеческий тип по своей эффективности не идет ни в какое сравнение с реформированно-протестантским. Сегодня он, пожалуй, чужд лютеранскому; однако ведет от него свое происхождение; а в самом глубинном они все же и сегодня едины. Есть все-таки общий дух протестантства, к которому причастны обе конфессии. По аналогии с этим развитием я не исключаю того, что дух конфуцианства еще раз породит такую форму, благодаря которой китаец, не отказываясь от своей истории, сможет стать не менее энергичным и предприимчивым, чем американец или шотландец.

Сходство между конфуцианским и протестантским человеком и впрямь поразительно. Трезвый ум, рассудительность китайца, его пластичность, его душевную сухость мы можем наблюдать в слегка измененном виде в протестантской Европе и Америке. В обоих случаях мировоззрение основывается на странном сочетании веры в авторитеты и самоопределении; оба типа отмечены ярко выраженной душевной недифференцированностью и столь же ярко выраженной формирующей силой, направленной вовне. Ведь душевная жизнь образованного католика, как ни парадоксально это звучит для «просвещенного» человека, гораздо богаче, чем душа протестанта; воспитание в системе католицизма, который считается со всем многообразием душевных движений и ко всем относится с пониманием, чьи формы, с одной сто-

роны, способны порождать содержание, а с другой развивают чувство формы, не может не способствовать душевному развитию; в то же время упрощенная и грубая догматическая основа протестантства, хотя и дает человеку крепкую моральную опору и служит мощным побуждением к действию, не способствует самопознанию и совсем не воспитывает психику. Китаец настолько же проигрывает в сравнении с индийцем, насколько протестант проигрывает рядом с католиком. Рассуждать с китайцем о проблемах психологического и метафизического толка чрезвычайно скучно. Он только снова и снова повторяет тебе основные положения конфуцианства, как какой-нибудь пастор аугсбургской конфессии; создается впечатление, что они неспособны не только замечать психические факты как таковые, но и воспринимать метафизический смысл формы как возможную проблему; восприимчивость к религиозным вопросам у них вообще минимальна. Как и обычная лютеранская религиозность, китайская означает всего лишь твердую веру в определенные истины откровения и неуклонное следование определенной жизненной рутине; истинно религиозное переживание китайцам неведомо. Конфуцианская церковь (если позволительно применить такое название) так же, как и лютеранская, во всем согласна с «начальством». Хотя, конечно, китайцы превосходят индийцев в таком же смысле, в каком протестанты превосходят католиков. Я не знаю ничего более грубого, более непригодного в качестве духовной пищи, чем представления, выражающие кальвинистскую веру; вера католического угольщика в духовном отношении стоит выше, чем вера образованного пуританина; и однако же последний породил такой человеческий тип, который по своим моральным достоинствам превосходит все остальные христианские типы. Дело в том, что для деятельной жизни важна не глубина понимания, а как можно более однозначный характер, который легче всего создается под влиянием упрощенного учения. Вот и китайцы обладают такой поразительной нравственной воспитанностью, потому что кроме нравственности ни над чем не ломают себе голову, а вместо этого постарались целиком и полностью проникнуться конфуцианскими истинами, в которых действительно выражены вечные принципы. Такая метода не

придает человеку интересности, зато делает его приспособленным к жизни.

Вот все, что касается проблемы веры. Что же касается постулата о самоопределении, то в Китае он так же присутствует, как и у нас. Только, как мне кажется, в конфуцианском мире его участие в жизни проявляется на более высокой ступени. У нас наличие постулата автономии зачастую выражается в том, что человек отказывается признавать то, чего он не понимает, вследствие чего он отрицает иерархическое построение общества и авторитеты даже тогда, когда последние заведомо компетентнее его. Хотя такая психическая установка очень способствует развитию инициативы, она сильно вредит культуре; тот, кто не верит никому, кроме себя самого, лишается всякой возможности расширять свое образование за счет чужого опыта; кроме того, он закрывает себе путь к совершенствованию тем, что выламывается из рамок, поставленных природой его стремлениям (ибо редко случается, чтобы призвание человека было выше тех дел, которые он может совершить в рамках того круга, который очерчен условиями его происхождения), между тем совершенствование возможно только в заданных границах. Поэтому самый суеверный католик в культурном отношении зачастую стоит гораздо выше просвещенного человека. В Китае же самоопределение всегда означает самоопределение внутри каких-то заданных рамок. Китаец думает сам за себя, судит сам по себе, поступает так, как ему кажется правильным, но всегда только в определенной сфере. Если кто-то еще сомневается в том, что в китайском сознании присутствует постулат автономии, я советую ему посмотреть, что у него получится, если он попробует покомандовать китайскими слугами так, как у нас обычно командуют европейскими: вряд ли у него из этого что-то выйдет. Он обнаружит, что китайский слуга при всем уважении к хозяину, при всем его усердии и преданности делает только то, что сам считает правильным; у него нет послушания в нашем понимании; занимая подчиненное положение, он внутри этой сферы ведет себя автономно; в частных вопросах он сам решает, как ему лучше всего поступить. То же самое, *mutatis mutandis*, относится и ко всем прочим профессиям. На мой взгляд, таким образом достигается в принци-

пе наилучшее соотношение между автономией и гетерономией. Только Богу приличествует настоящая автономия. Человек может самоопределяться только в известных границах, чтобы не нанести вреда своей душе, и эти границы сужаются по мере продвижения вниз на всем протяжении иерархической лестницы.

Не нужно только, продолжая параллель между конфуцианством и протестантством, заходить в этом слишком далеко. Возможно, я уже продолжил ее больше, чем следует. Ку Хун-Мин (Ku Hung-Ming), с которым я в последнее время часто встречался и который имеет особенное пристрастие к сравнениям такого рода, должно быть, заразил меня этим увлечением. Поэтому в заключение я приведу несколько пунктов, по которым конфуцианство и протестантство представляются совершенно несопоставимыми. У конфуцианства отсутствует тот пафос, который жизнь протестанта приобретает под влиянием веры во всемогущего личного бога. Как бы героически ни вели себя конфуцианцы, у их героизма нет того оттенка грандиозности, который отличает верующего протестанта и мусульманина; конфуцианец в лучшем случае не поднимается выше педантического упорства, жертвенность великой веры ему чужда. Это различие так велико, что изменило бы всю картину, если бы протестантам наших дней этот пафос не был так же чужд, как китайцам... Второе радикальное различие между конфуцианством и протестантством проистекает из неартистического характера последнего; протестантство не признает связи между религиозным и художественным переживанием, не создает необходимой связи между формой выражения и содержанием. Поэтому у истинного протестанта, как правило, отсутствует чувство формы. У конфуцианца же оно, пожалуй, развито больше, чем у кого бы то ни было другого. Так, с мандарином, который недавно был моим провожатым по буддийским монастырям и почти довел меня до отчаяния полным непониманием религиозных проблем, у меня тотчас же вернулось утраченное взаимопонимание, когда мы, вернувшись назад, стали обсуждать у него дома за чашкой чая проблемы стиля.

Живу я сейчас совершенно по-китайски; обедаю большей частью за пределами посольского квартала. Сама

смена обстановки уже идет мне на пользу; постоянно неизменный образ жизни развивает филистерство в физическом организме, делает ум ленивым и малоподвижным. Я уверен: если бы индийцы не питались трижды в день рисовыми блюдами, они были бы не так стереотипны, если бы перемены сами по себе не были целительны, многие виды лечения тоже перестали бы помогать; наверняка то, что мы, европейцы как никакая другая раса на свете испытываем потребность в разнообразном питании, тоже связано с нашим беспокойным воображением и тягой к изобретательству. Кто избегает чувственности, любит растительную пищу; кто хочет сделать чувственность более изысканной, предпочитает животную и пряную. И так далее. То, что верно в общем смысле, не менее справедливо и для частных случаев. Я всегда убеждался, что во время изучения какого-нибудь народа полезно по возможности разделять его образ жизни. В Китае это настоящее удовольствие.

Мои друзья водят меня в укромные ресторанчики, где готовят особенно вкусно. Для Пекина они так же характерны, как и для Парижа. Хотя здешние помещения отличаются более изысканным стилем. Это совсем маленькие *cabinets particuliers*¹, где из окна обыкновенно открывается вид на окрестные горы, а стены украшены картинами и стихотворными надписями. В той комнате, где нас угощали вчера, это были стихи Ли Тай-Пе. Этот ресторан существует со времени династии Мин. Как бы то ни было, там царит такая атмосфера культуры, которая даже меня превратила в гурмана. Сначала я внимательно выслушал предложения мэтрдотеля, который подходил к подбору блюд как поэт к выбору слов, и, слушая его, я тоже заразился его поварским идеализмом. С какой стати отводить небу низшую роль по сравнению со зрением и слухом? Работа великого повара — это творчество в высшем смысле этого слова. Откуда он, изобретая новое блюдо и соединяя не очень вкусные ингредиенты в каких-то новых, никем еще не испробованных пропорциях, заранее знает, что его стряпня порадует незнакомых ему людей? Откуда он знает, что нужно для каждого блюда? Откуда у него берется догадка, что то-то

¹ Отдельные кабинеты (фр.).

не подходит к тому-то, хотя как едок он не может похвастаться большим опытом? Что это, как не гениальность! Великие кулинары, как правило, придерживаются теории *l'art pour l'art*.¹ Такого взгляда держался старик Фредерик из «Tour d'argent», который ныне пришел в полный упадок. Он не соглашался обслуживать персонально никого, кто не явился со специальной рекомендацией, и вообще относился к клиентам свысока, как художник к публике; принимая меня в первый раз, он сообщил мне, что вчера выставил за дверь одного посетителя за то, что тот к какому-то блюду посмел заказать бургундское... Что же касается гурмана, то разве и он не знаток искусства в идеальном смысле этого слова? Человечество, несомненно, чересчур высоко ставит зрение и слух. Чем одно чувство лучше другого! Главное — это то, чего ты с его помощью достигаешь. Я могу представить себе, что с помощью обоняния и вкуса можно выработать совершенное мировоззрение, которое на своем языке будет выражать то же самое, что мистика Мейстера Экхарта. Нам, людям, это не дано, потому что даже у самого великого кулинара вкус бывает не главным чувством. Зато животные, у которых он имеет первенствующее значение, у которых, как например у собак и оленей, обоняние — способ восприятия предметов на расстоянии, в принципе должны быть на это способны. Не будем допускать ошибки в понимании того, как здесь обстоит дело: если гурман как определенный тип ставится у нас ниже мыслителя, то это происходит не потому, что он живет ради вкусовых ощущений, а потому, что вкусовые ощущения дают слишком ограниченное познание. Но и мышление лишь в исключительных случаях позволяет достигнуть высшего результата, в большинстве же случаев оно делает людей даже более поверхностными, более материальными, чем это было бы без его помощи.

В этих ресторанах я провел приятнейшие часы. Китайская кухня очень изысканна и, с артистической точки зрения, стоит наравне с французской. Однажды нам три раза подряд подавали утку, и ее приготовление было так богато контрапунктировано, что у нас не возникло впечатления однообразных повторений; а как наивысшее

¹ Искусство ради искусства (фр.).

достижение кулинарной техники я должен назвать здесь кушанье из маринованных медуз. Я просто не понимаю, как удалось повару фиксировать эти столь эфемерные создания... Китайцы, правда, используют совершенно непривычные для нас продукты. Но это нельзя поставить им в упрек: всякая привычка — вещь условная, а исключительная приверженность к привычному означает ограниченность. Так, например, мне теперь стыдно, что сначала я испугался кушанья из личинок, которое затем оказалось чрезвычайно вкусным.

Если бы только не приходилось так много пить! Но мне никогда не удастся разгадать шарады, задаваемые за столом, а по здешним обычаям неудачный отгадчик должен за это каждый раз выпивать до дна целый стакан рисовой водки. И так продолжается часами. Одно блюдо сменяется другим, шарада следует за шарадой, а гости за столом неустомимо соревнуются в остроумии. Нашему брату с ними не потягаться. Разгадывание китайских загадок требует тонкости ума и такой способности ухватывать по отдельным намекам общий смысл, какой, вероятно, не обладает никто, кроме людей, чей комбинационный талант развился до чрезвычайной степени благодаря постоянному занятию китайской письменностью. Мои сотрапезники играючи справлялись с такими задачками, что можно было просто диву даваться. Зачастую разгадка кроется в каком-то как бы случайно брошенном слове, которое имеет отношение к не очень известному изречению какого-нибудь классика. Ее находят моментально, причем часто сразу несколько человек из присутствующих. Тот, кто так хорошо владеет материалом, будь он хоть трижды ученым литератором, несомненно обладает очень живым умом. Да, эти господа, почтенные члены Ханьлинской академии, в то же время отличаются необыкновенной живостью. Их выразительные глаза весело блестят, а их смех так заразителен, что я поневоле тоже смеюсь вместе с ними, даже когда не понимаю, о чем идет речь.

Один знаменитый ученый рассказал, как он однажды влюбился в девушку-певунью, влюбился до того, что жизнь без нее стала ему не мила; и когда его почтенная супруга вскоре умерла, он женился на этой девушке. Те-

перь его дом — сущий рай. В то время, когда он занят своей мудреной наукой, вокруг него все время звучит веселое щебетание, и только так его серьезная работа идет продуктивно. На глаза старичка набежала слеза. Нет, бесчувственными китайцев не назовешь!

Откуда только взялась эта легенда о китайском бесчувствии? Никогда я не слышал, чтобы люди так оживленно беседовали, так от души хохотали. Невоспитанный европеец принимает человека, владеющего собой, за холодного сухаря; именно так люди судят об англичанах. На самом деле самообладание потенцирует способности человека, и эмоциональная жизнь англичан на самом деле вовсе не слабее, а даже интенсивнее (хотя и беднее), чем эмоциональная жизнь немцев. Вдобавок надо учесть, что только тот, кто действительно умеет собой владеть, может по-настоящему отдаваться чувству. Китайцы, которых ничто не может вывести из равновесия, как раз поэтому умеют отдыхать. И тут уж они дают себе волю, и веселье так и бьет ключом.

Чувства китайцев не менее глубоки и богаты, чем наши, только они другие, чем у нас. Если у них и нет христианской любви к ближнему, то зато есть сильное чувство общности, которого не увидишь у нас; нашу симпатию у них заменяет высокая культура уважительности. Если они порой выказывают жесткость, лукавство и жестокость, то в целом все же оказываются гораздо покладистее нас, европейцев, от которых (это сравнение взято у Ку Хун-Мина) они отличаются как домашние животные от диких зверей. Наш тип кажется им бессердечным, грубым и жестоким; и со своей точки зрения они, вероятно, правы. Но правы и мы со своей, считая их эмоциональную жизнь во многих отношениях скудной. Так, например, им неведома любовь в нашем понимании этого слова. Мне вспоминается роман Пинь-Чан-Линь-Йена (P'ing-Chan-Ling-Yen), в котором искусство каллиграфии играет роль настоящего любовного напитка, эти «ивами обсаженные улицы» (квартал публичных домов), в границах которых разыгрывается большая часть китайских любовных приключений: большинство китайцев понимают любовь примерно так, как ее понимали в древности европейцы. Даже святому Августину были еще неизвестны те настроения, которые мы теперь связываем с

любовью. Ему было знакомо желание, наслаждение, ани-
мальная радость близости; пожалуй, также и специфиче-
ское духовное обаяние, воодушевляющая сила, которую
излучает женщина. Но о любви к определенной женщи-
не ради ее самой он еще не имел понятия. Но согласим-
ся: многие ли из нас способны на любовь в этом высшем
смысле? Большая часть того, что, по нашим представле-
ниям, подымает нас над остальным человечеством, при-
суща нам только в идеале...

Мои китайские друзья шокированы тем, что я не изъ-
являю намерения жениться. «Вы же не волк, не крово-
жадный зверь, чтобы пренебрегать таким универсаль-
ным законом!». Я возражаю, что давно бы женился, если
бы родился китайцем или даже будучи европейцем, но
если бы этот вопрос стоял у нас так же, как у них. Но се-
годня это не так. То, что могло бы рассматриваться как
простая функция продолжения рода, для нас является
индивидуальной проблемой, и тот, для кого брак не мо-
жет быть таковой, поскольку его сознание не может по-
стоянно концентрироваться на инстинкте продолжения
рода, в таком случае просто не женится.

Но если посмотреть серьезно: новый, индивидуали-
стический подход к проблеме брака представляет собой
недоразумение и в принципе стоит ниже азиатского.
Продолжение рода имеет значение для рода в целом, и
следовало бы его регулировать так, чтобы этот вопрос
решался без вмешательства индивидуальных прихотей.
Проблема ставилась бы иначе, если бы между ней и бла-
гом рода имелась необходимая связь; однако так дело об-
стоит лишь в исключительных случаях. К сожалению,
неправда, будто дети любви непременно становятся вы-
дающимися личностями — на каждого бастарда, оказав-
шегося гением, приходится тысячи неудачных; к сожале-
нию, неправда и то, будто природа, как утверждает
Шопенгауэр, природа пользуется симпатией как средст-
вом для достижения своих высоких целей, — ибо ника-
ких высоких целей она не знает; природу совершенно
не заботит улучшение человеческого рода. Несовме-
стимость супругов, по-видимому (хотя и это еще не дока-
зано), неблагоприятно сказывается на потомстве; но со-
вершенно определенно можно сказать, что страстная

взаимная склонность не служит залогом того, что от нее родятся особенно удачные дети. Между индивидом и родом в этом случае нет полного совпадения, напротив, здесь они, скорее, полярно противоположны друг другу: индивид усиливается за счет рода, а тот, в свою очередь, процветает за счет индивида; в этом смысл того общеизвестного факта, что великие люди редко оставляют после себя потомство, а те роды, в которых тип главенствует над личностью, дольше всего существуют, не вырождаясь. Именно учитывая это положение, следует подходить к решению проблемы брака. В Азии до сих пор так и делают. Самое мудрое решение — это рассматривать женитьбу как непреложный долг, от которого никто не имеет права уклоняться, при исполнении которого индивидуальные желания не принимаются во внимание, а решающим является благо рода, ибо таким образом достигается две цели: во-первых, надежное сохранение расы в благоприятных условиях; в этом вопросе семейный взгляд всегда видит лучше, чем лично заинтересованный индивид. Судя по необычайной долговечности восточных семейств и отсутствию у них вырождения, глаз у брачных посредников здесь верный. А во-вторых, благодаря раз и навсегда установленному принципу для решения брачной проблемы снимается отрицательное отношение к такому подходу, при котором никак не учитываются индивидуальные чувства. Если женитьба в представлении людей стала само собой разумеющейся стадией жизненного пути, сознание отдельного человека уже не играет тут никакой роли; он даже не задается вопросом, «действительно» ли он счастлив, а потому не может почувствовать себя и совершенно несчастным, ведь типичные преимущества супружеской жизни он и без того приобрел: у него есть домашний очаг, он избавлен от вечного беспокойства, которое мучает человека с неудовлетворенным инстинктом продолжения рода, его сознание расширяется благодаря заботе о потомстве. Эти типичные преимущества имеют решающее значение для человека и в том случае, когда он вступает в брак, исходя из индивидуальных предпочтений. А в чем состоят недостатки азиатской системы? Они самоочевидны: совершенный брак в европейском смысле слова, когда оба супруга помогают друг другу расти, на Востоке скорее

всего вообще не встречается. Однако если быть справедливыми, то много ли и у нас таких браков? Я видел таких лишь несколько, но зато часто замечал, что идеал совершенного брака влиял на супругов в худшую сторону. Когда супруги воображают, будто они созданы друг для друга, хотя на самом деле это не так, то они не растут, а, напротив, прозябают, находясь вместе; их сознание идеализирует то, что не заслуживает идеализирования, доморощенные идеалы влияют на весь образ жизни, и тогда гордый орел превращается в голубка. Поэтому женатый мужчина у нас так часто стоит ниже, чем холостяк, и даже замужняя женщина зачастую недотягивает до девушки, а это уже как-то противоестественно. Китаец, для которого супружество не представляет ничего идеального, а всего лишь означает естественное состояние, и который в соответствии со своим ощущением природных законов хорошо выполняет обязанности отца и мужа, никогда не оказывается под влиянием женатого состояния уже, чем он был. Я как-то писал: «тот, кто продолжает себя в потомстве, отказывается от своей личности»; это справедливо и в отношении китайца; но тот теряет лишь то малое, что позволительно потерять. Поскольку он воспринимает свою супружескую жизнь как нечто само собой разумеющееся, она не связывает его сознание. Несмотря на то, что он признает за интересами рода больше прав, чем мы, его индивидуальное сознание остается более свободным от мотивов продолжения рода.

Вот, пожалуй, главное соображение, которое можно выдвинуть против нашего понимания проблемы брака: возводя вопросы продолжения рода в ранг индивидуальных, мы одновременно низводим эмансипированное индивидуальное сознание на уровень родового. Результат абсолютно негативен. Род у нас плохо сохраняется, он вырождается или вымирает, личность же при этом менее свободна, чем на Востоке. Так, мы жестоко ошибаемся, усматривая в чрезвычайно индивидуализированной современной эротике доказательство потенцированного самосознания: в ней, напротив, проявляются всеобщие инстинкты, насильственно перенесенные в высокую сферу самосознания, которое соответственно утрачивает присущий ему характер. Подобного рода индивидуаль-

ное не служит признаком эмансипированности. Недавно мне попался в руки один французский роман: невозможно выразить, насколько плоским выглядит типично западное понимание любви на фоне восточных впечатлений — любовь к определенному чувственному созданию в качестве смысла жизни... Это жестокая ошибка; и даже в случае самой чистой, самой глубокой симпатии здесь проявляется ее поверхностный характер. «Супруг любим не ради супруга, а ради самости», учат Упанишады, и правы они, а не западная романтика. Конечно, определенный человек может стать для другого человека экспонентом всего высокого (на этом основана возможность божественного значения супружеской любви), но сама по себе любовь остается явлением, относящимся к сфере рода и перевести ее в индивидуальную сферу можно только за счет индивидуальности. Кстати, если человек воспринимает общее как индивидуальное, то опыт показывает ему, что это не так. Большинство выдающихся в интеллектуальном отношении мужчин жалуются, что женщины их за это не ценят, а ценят только как «знаменитостей» или как людей творческих, обладающих определенной потенцией, и точно также высоко одаренные девушки жалуются, что мужчины ценят в них только типические качества. Все дело в том, что в половой любви выражается то, что относится к сфере рода; проявление личной направленности в ней представляет собой в метафизическом плане некое недоразумение. Такая направленность лишь в редких случаях встречается на Востоке. Поэтому любовь не расцвела там такой красотой, как у нас: это цветение возможно только там, где ей придают слишком высокий смысл, и лично мне было бы грустно, если бы его не было. Но я слишком честен, чтобы оправдывать свои предпочтения объективными причинами: я знаю, что дело в другом и что позиция восточных мудрецов, отдающих должное родовой сфере, на самом деле выше и вернее...

...На другой день я перечитываю написанное: оно справедливо скорее по идее, чем в практическом плане, ибо не подлежит сомнению, что наша семейная жизнь стоит выше китайской вследствие нашего более глубокого понимания прав человека вообще и, в частности, уважения к

женщине. Но по идее это верно. Насущная задача состоит для нас в том, чтобы с высоты достигнутой нами ступени индивидуализации восстановить то основополагающее соотношение между общим и индивидуальным, которое есть на Востоке. Сохранение вида нельзя навсегда предоставить на волю капризного влечения, ибо это неизбежно ведет к гибели расы. Разумеется, сейчас уже прошли те времена, когда мужчину и женщину можно было соединять подобно животным по чужой воле, но они должны научиться по своей доброй воле делать то, что раньше за них делали другие. Они должны научиться по индивидуальному выбору решать проблемы родовой сферы; они должны отвыкнуть от того, чтобы, следуя индивидуальной склонности, которая имеет право на существование в других сферах, принимать решения, способные нанести ущерб надиндивидуальному. Можно представить себе состояние общества, при котором мужчина и женщина достигнут такого уровня развития, когда сумеют на бессознательном уровне проводить черту между своим личным и своим родовым Я, с тем чтобы на этой основе достигнуть полной гармонии между ними двумя.

Сегодня на меня наконец снизошел дух китайского классицизма. К духу воплотившейся в жизнь культуры нельзя подступиться извне, это монада, в которой нет окон; пока в тебя не вселился ее дух, ты его не уловишь. И чем более слово в нем претворилось в плоть, тем более он эксклюзивен. Понять протестантство, не обращаясь в его веру, еще как-то возможно; понять католицизм может только тот, кому хотя бы под настроение доводилось чувствовать как католику. Французская культура, например, в этом смысле более замкнута в себе, чем немецкая. Что уж тут говорить о китайской! Если какая-либо представляющаяся нам абстрактной сущность может претендовать на конкретную реальность, то это именно «дух» этой культуры. Это нечто настолько самостоятельное, что индивиды, в чьей душе он живет, почти утрачивают свое индивидуальное качество: они становятся только его представителями. То, что мне было знакомо по отстраненному наблюдению, я сегодня утром испытал на себе, когда в сопровождении ученого литератора побывал в храме Кун Фу-Цзы.

Во дворе перед храмом, украшенном таблицами душ всех мудрецов Китая, со времен династии Юань проводились большие государственные экзамены, и имена всех, кто их успешно выдержал, навсегда увековечены на каменных таблицах. Рядом в приветливом зале высечены на мраморе труды новых классиков. Именно там ежегодно выступал с чтением собственных стихов император. Самый воздух здесь дышит культурой с такой интенсивностью, какой я нигде еще не встречал. Я ощущал ее всеми порами. Представив себе, что чувствует душа китайского ученого, который дрожащим от почтительности голосом пояснял мне значение памятников и надписей, время от времени с загоревшимся взором декламируя наизусть знаменитые изречения классиков, я взывал к искомому мною духу, чтобы он показался.

Какой неповторимый дух! Как ни странно это звучит, он — воплощенный дух классической филологии, но не бледная тень, а вполне субстанциальное образование самой плотной консистенции, какая мне только встречалась когда-либо в этой сфере. Его субстанциальная плотность кажется мне значительно более высокой, чем плотность ученого, который служит этой филологии посредником. По-видимому, дух определенной литературной традиции здесь действительно стал душой целого класса живых людей. Куда бы я ни обращался, какую бы струну своего существа ни затронул, мне никуда не деться от этого духа. Все, что я воспринимаю, я воспринимаю как выражение, комментарий, дополнение или иллюстрацию классической мудрости, причем в той форме, которая для нее характерна. И странное дело! Я должен был бы ощущать стесненность, но ее нет; мне кажется, что это нисколько не ограничивает моего восприятия; просто мое восприятие приняло новую окраску. Но нет! Конечно же, я стеснен в этих границах, только я этого уже не чувствую. Мое нормальное восприятие сменилось другим, хотя как философ я должен бы знать, что розу нельзя не заметить по ее высоте, если она растет среди фиалок. Я могу указать только одну вещь из области моего непосредственного восприятия, которая выдерживала бы объективную критику: я сейчас неизмеримо однозначнее, чем обычно; на все впечатления я реагирую в соответствии с неким единым планом, все мысли

проистекают из одного единого источника, и я нисколько не колеблюсь в выборе выражения, а ведь обычно я мучительно подыскиваю соответствующую форму, сейчас же инстинктивно подстраиваюсь под традиционные, причем мое сознание говорит мне, что я выражаюсь очень по-своему, оригинально и индивидуально.

Это очень значительное событие. В общем и целом оно для меня не ново: дух католицизма так же завладевает человеком. Он так же не столько дает сознанию новые содержания, сколько создает новую форму сознания, он так же имеет всепроникающий характер и охватывает каждое, самое малейшее движение души; он так же способен перевести все личное в объективные формы, так что даже самый вольнолюбивый дух не обязательно ощущает себя стесненным его догмами и даже самый спонтанный, самый живой нередко находит себе индивидуальное выражение в соблюдении традиционных ритуалов; и он так же создает в истинном смысле слова особый вид человека. Но в католицизме все это проявляется более понятным образом, так как его дух представляет собой высокоразвитый и столь тонко и все-сторонне дифференцированный организм, что вмещает в себе возможности даже самой богатой индивидуальности. Дух же китайского классицизма скорее можно назвать бедным, его ствол имеет мало разветвлений и образует неплотную крону. Отчего же получается, что при всем при том я не ощущаю себя бедным, и что китайский литератор, по крайней мере в потенции, это человек в полном смысле слова? Ибо о пуританине, порождении столь же бедного духа, этого не скажешь, нельзя сказать этого и о буддисте, не говоря уже о европейском классическом филологе, который, впрочем, относится к тому же роду, что и китайский литератор. Причина же опять-таки в том, что, по моему пониманию, составляет главный отличительный признак восточной мудрости: в концентрации, из которой она возникла, и в той концентрации, с которой ведется ее изучение. Учение китайских мудрецов скупое и односложное не потому, что оно исключает, а потому что оно уплотняет; его положения в том осмыслении, в каком их понимает образованный китаец, исчерпывающе изображают квинтэссенцию всех возможных явлений. И это относится как к выражению, так

и к смыслу. Чем глубже схвачено явление, тем ближе мы подходим к пересечению координат, которые служат для его определения, тем меньшее число понятий подразумевается. В нашем арифметическом принципе выражения (в котором мы вынужденно описываем и китайскую мудрость) это не всегда проявляется отчетливо; в алгебраическом китайском это ясно с первого взгляда, так что классическое выражение оказывается единственно возможным с точки зрения всякого, кто понял смысл. Но в этом и состоит цель и результат специфически китайского школьного образования. Нам кажется диким, чтобы человек от десяти до двадцати лет посвятил исключительно изучению Конфуция: но дело в том, что он изучает его не по-нашему; он медитирует над каждым отдельным положением, пока всем существом не проникнется его смыслом, а когда он завершит изучение своего предмета, это не означает, как у нас, что он понял его смысл, а означает, что дух великого учителя овладел всем его существом, подобно тому, как человеком может овладеть великая страсть. Тем самым филология приобретает новый смысл. Когда дух какой-либо культуры предполагает одержимость им, тогда действительно не остается ничего другого, как только обратить все свое внимание на выражение, а когда выражение в его полностью законченном виде представлено классической литературой, изучение филологии действительно становится вратами, открывающими путь к гуманитарному знанию. Наши филологи придают такое же значение изучению европейской античности; они тоже утверждают, что классическое образование, владение латынью и греческим, знание Цицерона дает человеку то, что поможет ему справиться с любыми жизненными задачами. Но для Европы эта истина уже устарела. Дух Греции и Рима — это уже не наш дух, а лишь его предтеча. И при всем его былом совершенстве он уже не поможет нам стать совершенными, как это происходит с китайским духом, потому что корни там не достигали такой глубины. Китайский дух воплощает смысл как таковой, независимо от всех форм его проявления, античный — в форме определенного феномена, качественно отличного от того, который обозначает границы нашего существования. Поэтому классический филолог не может быть в современной Европе

законченным человеком, классическое образование не является там необходимым условием для совершенного развития личности и мало что дает для преуспевания в жизни, сколь бы ценными ни были в других отношениях эти знания. В Китае оно воспитывает совершенного человека и вдобавок делает его приспособленным для практической жизни. Не случайно до революции на всех государственных должностях стояли доктора филологии, а выдержанный государственный экзамен по литературе считался дипломом на абсолютную подготовленность. Китаец, воспринявший дух своих классиков, был так же хорошо подготовлен к старо-китайской жизни во всех ее проявлениях, как в Америке тот, кто при самых посредственных знаниях в совершенстве проникся духом инициативы.

Хотя нужно заметить: дух этот — взрослый, законченный организм; он может распространяться, способен к деятельности, но обновляться уже не может; Китаю, который перестал быть замкнутым миром, он уже не принесет никаких благ. И, кроме того, при всех его достоинствах, в нем все же слишком много филистерства. Если национальным идеалом считается тип филолога, литератора, то некоторые особенности этого человеческого типа, по-видимому, отражают какие-то черты его сущности. И это действительно так. Я мысленно погружаюсь в тот дух, который мною овладел: да, он непреклонен, педантичен, ему свойственна косность, формализм и старческая чудаковатость. Мое сознание — это сознание педантичного, привыкшего всех поучать буквоеда, вернее даже, отличника-всезнайки, который гордится накопленными знаниями. Сейчас я не мог бы совершить ничего легкомысленного, ни за что бы не влюбился, разве что в такую же отличницу; я ни за что не отважился бы помыслить о чем-то таком, что не было бы подсказано авторитетным предшественником; смысл вне слова меня не интересует. А хуже всего то, что я сам себе очень нравлюсь в моем нынешнем состоянии, что меня совершенно не тянет выйти за рамки моего филистерства. Да, да. Глубина, некогда запечатлевшаяся в этой форме, обратилась в поверхностность. Некоторое время кажется, что таким образом она еще более углубилась, но вскоре происходит внутреннее превращение, в результате которого она

вновь мелькает; вселившись в букву, дух в ней затем растворяется. Так значение всякого культурного достижения в конечном счете становится вопросом времени. Китайцу, для которого важно только вечное, вероятно, более всех других людей свойственно вообще отрицать все, что ведет к становлению формы.

Каждый день я по многу часов провожу в обществе Ку Хун-Мина (Ku Hung-Ming) и его друзей и приверженцев. Этот человек обладает чрезвычайно живым умом и таким пылким темпераментом, что иной раз он напоминает мне романский. Сегодня он пространно толковал о том, как неправильно поступают европейцы и, в частности, синологи, рассматривая культурное развитие Китая в отрыве от всего остального мира, не сравнивая его с западным; ибо в действительности и то и другое протекали по одной и той же идентичной схеме. И здесь и там была своя древность и средневековье, были ренессанс и просвещение, реформация и контрреформация, в обеих культурах были (если пользоваться терминологией Мэтью Арнольда) иудейство и эллинизм, рационализм и мистицизм, так, например, и в Китае тоже был свой Баярд (Bayard). Я не настолько хорошо знаю китайскую культуру, чтобы самому судить о правомерности этих сравнений, и подозреваю Ку Хун-Мина, как и большинство его соотечественников в том, что они чересчур склонны к такого рода интеллектуализму, который несколько напоминает южно-итальянскую разновидность. Однако в одном он прав: все исторические факты представляют собой обусловленные особыми обстоятельствами частные проявления единых естественных норм человеческой жизни, а поскольку возможные обстоятельства представляют собой всего лишь некоторую вариацию немногочисленных основных типов, последовательность которых, очевидно, подчиняется единым правилам, то нет ничего странного в том, что все народы сходного характера проходят одинаковые стадии развития. У европейцев и китайцев действительно есть много общего; в одном существенном отношении они принадлежат к одинаковому типу человека, для которого главное — это выражение, к которому не относятся, например, индийцы и русские. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в

их истории тоже можно наблюдать какие-то параллели. И все же я очень скептически отношусь к сравнениям такого рода. Время как таковое может быть однозначным, однако оно не однозначно в отношении к человеку; китайцы живут замедленно, мы — торопливо, нормальное состояние европейцев — движение, для китайцев это — покой: как же можно их объективно сравнивать? Мы гордимся нашим быстрым прогрессом: возможно, из-за него нам суждено вечно оставаться варварами, поскольку совершенство достижимо только в каких-то заданных рамках, мы же свои рамки постоянно меняем. Впрочем, я вовсе не считаю решенным делом, что мы так и будем всегда развиваться в одинаковом темпе: каждое направление в жизни внутренне ограничено, мы тоже когда-нибудь дойдем до конечного предела, причем скорее всего раньше, чем мы ожидаем. Мне часто, особенно в Индии, приходилось слышать мнение, что поскольку все доподлинно известные нам культуры начинаются с относительно высокого уровня (и это правильно), то можно предположить, что в основе их должен лежать относительно продолжительный период постепенного роста. Отнюдь нет. Каждой духовной идее не только теоретически, но и *de facto* изначально внутренне присуще все, что из нее должно последовать. Все, что из нее следует, стремится к актуализации, получает свое воплощение везде при малейшей возможности, когда это позволяет материя, так что стоит только духу прийти в движение, как процесс начинает протекать с огромной скоростью. Этим объясняется, почему там, где сознание дремлет, могут пройти века и века, прежде чем произойдет что-нибудь новое, будь то в доисторическом состоянии или, как в Китае, на определенной ступени уже достигнутого культурного развития; там же, где сознание пробудилось, развитие протекает неимоверно быстро. Сколько времени потребовалось от пробуждения греческого духа до вершины его развития? Сто лет. Сколько прошло от открытия планирующего полета до его практического применения? Меньше десяти. Вот так же и мы, возможно, подойдем к концу нашего пути и остановимся на такой ступени развития, которая будет намного меньше опережать китайскую, чем мы сейчас думаем. Ибо прогрессивным обществом в современ-

ном понимании и мы стали всего лишь какое-то столетие назад.

Впрочем, Ку Хун-Мин никогда не упускает случая придраться к Лао-Цзы. Основной его тезис заключается в том, что Конфуций более велик потому, что в понимании смысла был не менее глубок, чем Лао-Цзы, однако не удалился от мира, а как раз побеждая его, выразил свою глубину. Если бы Конфуций действительно был тем и совершил то, что говорит о нем Ку, он действительно был бы намного более велик, чем Лао-Цзы. Однако дело было не так. Очевидно, если бы такой человек целиком жил глубиной и в то же самое время оказал мощное влияние на поверхностные формы, это противоречило бы всем естественным законам; для каждой из этих двух задач требуется своя особая психологическая организация, и мне неизвестно ни одного достоверного случая, когда бы один и тот же человек обладал обеими в одинаковой степени. Кун Фу-Цзы и Лао-Цзы являются представителями двух полярных возможностей человеческого совершенства; у первого мы встречаем совершенство явления, у второго — совершенство смысла, у первого — совершенство оформленного, у второго — совершенство неоформленного; поэтому к ним неприменим единый масштаб. Но Конфуций, конечно, должен казаться китайцам более великим из них двоих, так как они — ярко выраженная нация практиков и тем самым у них нет непосредственного интереса к глубинному. Чем больше я знакоюсь с китайцами, тем сильнее мне бросается в глаза, насколько неинтересны их мысли. Мышление — не основное их свойство: свою глубину они выражают в своем бытии. Поэтому и Ку Хун-Мин куда значительнее в человеческом плане, чем как писатель и мыслитель.

И все-таки правильно: средний даос стоит гораздо ниже среднего конфуцианца. Китаец в своей нынешней ипостаси по существу (я бы даже сказал — по своей физиологии) является конфуцианцем; отрицая тот дух, который его породил, он изменяет самому себе. Это проявляется даже чисто внешне в непрочности народной даосской теории даже там, где она свободна от магических и фетишистских примесей. Сегодня один почтен-

ный священнослужитель растолковывал мне дело так: хотя дао есть бесформенное, но сущность мира — это все же его изначально предопределенная гармония; таким образом, погружение ведет не собственно к единению с творящим началом, а к гармонии с объективным мировым порядком. Так что, этот даосский священник, сам того не сознавая, тоже был конфуцианцем. Достигнув однажды идентификации себя со своей глубинной самостью, человек уже не признает никакого заданного порядка; с точки зрения атмана, мнимо завершенное бытие представляется как творческое развитие, а творческое начало лежит по ту сторону всех норм; для брахмана это было бы само собой разумеющимся положением. Для даоса же, несмотря на все глубокомыслие его учения, основной идеей по-прежнему остается идея конфуцианской «гармонии». Он способен воспринимать только то, что объективировано; жить как чистый субъект он неспособен.

Специфическая форма даосизма кажется мне вообще мало пригодной для формирования высшего человеческого типа; для этого она слишком просторна, слишком неоднозначна; в этом отношении не имеет особенного значения то, что даосский монах стоит ниже как буддийского, так и христианского. Но то, что все китайцы, с которыми я имел случай общаться, включая даосов, настолько далеки от глубокого понимания замечательного учения Лао-Цзы, все-таки заставляет сделать вывод, что в этом проявляется свойственная им типичная слабость в области субъективного; здесь сказывается недостаток метафизического сознания. Меня это не удивляет. У всех народов, чьи типичные усилия были направлены в сторону конкретного, можно наблюдать этот недостаток в большей или меньшей степени, например у эллинов и у французов. Тот, для кого главным инстинктом является тенденция к выражению, постарается как можно больше объективировать свое существование, он станет, в зависимости от природных способностей, либо великим художником, либо благороднейшим человеком, либо самым совершенным политическим существом, но глубоко себя понимать он не будет; начав думать, он выходит за свои рамки и воспринимает только то, что относится к внешнему. Поэтому у народов, которые породили вели-

чайших художников, мыслители, как правило, бывают рационалистами. У греков эта особенность была не так сильно выражена из-за жившего в них дионисийского начала, которое как раз у философов зачастую уравновешивало начало аполлоническое; у китайцев она проступает предельно ярко именно потому, что китайцы — типичные люди выражения. Вероятно, нигде не найдешь более одушевленного, глубокомысленного искусства, чем в Китае, но и нигде не встретишь такого сухого мышления. Как невыносимо скучны и сухи речи Мэн-Цзы! Невольно перед глазами встает образ заядлого, всех поучающего педанта. На самом деле Мэн-Цзы наверняка был утонченным и образованным человеком, которому была свойственна совершенная нравственная культура, наверняка он обладал тончайшим чувством формы, так что все внешнее было у него одухотворено внутренним содержанием. Но вот мышление не было для него наилучшим средством выражения, в мышлении он не мог выразить свою самость.

Философствование как бы не заложено в природе китайцев, хотя из всех людей на земле они ведут самую философскую жизнь; их мудрость выражается в том, как они свою жизнь проживают, а не в мыслях о проживаемом. Тем не менее они дали миру несколько глубочайших мыслителей, какие нам только известны. Интересно, что это были за люди? Думается, в них было много от шута и шарлатана; они, наверное, были типичнейшими примерами сочетания великой мудрости и великой человеческой убогости. Когда мудрец в Дао-Дэ Цзине (Tao-Teh-King) восклицает (О смысле, 20, «В стороне от толпы», по переводу Вильгельма): «Я в нерешительности, не получив знака как мне поступить, словно дитя, еще не умеющее смеяться; у меня сердце глупца. Я беспокоен, как море, я празден, как бездельник», то понимать его, по-моему, следует не только в ироническом смысле; вероятно, здесь он с тем удивительным отсутствием тщеславия, которым так часто отличаются китайцы, изобразил свой собственный портрет. Во всяком случае, на подобные мысли должно наводить хотя бы то, что китайский народ, обладающий поразительным чувством человеческого величия, продолжает почитать в даосских мудрецах скорее колдунов, нежели «благородных» и «совершенных» мужей.

Но, тем не менее, вероятно, что все-таки были такие даосские святые, которых можно отнести к числу самых великих. В даосизме заложена такая независимость, какой не обладают ни буддизм, ни христианство, ни брахманизм: ибо он представляет собой единственную योगическую систему, которая не ставит знака равенства между совершенством и блаженством. Какую роковую роль сыграло для христианских йогов то обстоятельство, что они требуют совпадения высшего состояния с состоянием наибольшего счастья! Эти ожидания не позволили им осуществить задачу действительного освобождения от своего Я. Чувство счастья можно определить только как функцию эгоизма; такое состояние невозможно для того, кто преодолел свое Я. Поняли это одни только даосы. Если когда-либо кому-нибудь удалось бы претворить это знание в жизнь, то он должен был бы превзойти всех других святых.

Насколько же природа оказывается сильнее всех схем! Я воображал, что уже исчерпал все возможности литератора в области духа, и тут вдруг я встречаю человека, самое существование которого обличает меня в ошибочности сделанных обобщений: литератор с пламенной душой, высочайшей духовности! В Китае, как и повсюду, многие фантазеры заняты сейчас изобретением новой мировой религии, и здесь, как и всюду, эти пророки, как правило, не представляют никакого интереса. Как правило, они по натуре — ученые, которые, открыв (мнимую) общность единого смысла, лежащего в основе всех высших религий, вместо того чтобы писать безобидные учебники, принимают в восторженном порыве спасать мир. Человек, с которым я познакомился сегодня, одушевлен истинной религиозностью; во многом он напоминает Кальвина, однако (что, вероятно, возможно только в Китае) в смягченном варианте, в котором чувствуются черты францисканства. Он усматривает главный недостаток Китая в том, что бросается в глаза всякому вдумчивому путешественнику: в том, что смысл убила форма, и он посвятил свою жизнь тому, чтобы возродить в букве живой дух. Дух, который он имеет в виду, сродни иоаннитско-христианскому. Но, разумеется, в качестве формы, в которой лучше всего мог бы реализо-

ваться этот дух, он выбирает конфуцианство. Ведь он — китаец, притом образованный, и, будучи им, не может поступать иначе. Свободность даосизма, излишняя мягкость буддизма не конгениальны ему. Что же касается христианства, то его непререкаемые истины выражены, как он считает, на непонятном для китайца языке. Если перевести их на китайский, то получится не что иное, как конфуцианство, быть может и не традиционное, но именно то, какое китайцу нужно, и, следовательно, о введении христианства можно не помышлять.

Слушая его и всматриваясь в мимику его замечательно одухотворенного лица, язык которой был понятен без перевода, я со стыдом подумал о миссионерах, которые осмеливаются «обращать» таких «язычников». Лучше бы они сперва хорошенько поучились сами, прежде чем браться учить других! Конечно, мой собеседник был не во всем прав; все самое высшее в христианстве не сводимо к конфуцианству. Но этого китайцы все равно никогда не поймут, так же как европейцам не понять самой глубины индийской религии; этому препятствуют преграды биологическо-исторического свойства. Однако эти преграды не сужают религиозное переживание, они сужают только духовный горизонт. Так, правоверный конфуцианец может так же близко подойти к Богу и так же истинно выразить его божественное начало, как самый просветленный индеец; он может это сделать при том условии, если будет оставаться в рамках своей природы.

Как красиво хорошее китайское лицо! В нем достигнута такая высокая степень выразительности, и насколько более простыми средствами это достигнуто по сравнению с нами! Европейец должен выглядеть значительным (например, иметь угловатые черты, спутанные волосы, шишковатый череп), чтобы казаться живописным; китайцам внешняя значительность не требуется. В простых линиях, спокойных, ненапряженных чертах здесь нашли свое концентрированное выражение движения души. Хорошее китайское лицо, как это ни странно звучит, производит по сравнению с хорошим европейским более классическое впечатление.

Вообще, что бы ни говорили об иррелигиозности китайцев, здесь нет недостатка в деятелях и объединениях,

поставивших свои силы на службу религиозного обновления Китая. И все же я теперь хорошо понял, почему миссионеры называют китайцев иррелигиозными людьми: ибо церковной религиозности здесь не встретишь ни в ком, даже среди самых рьяных реформаторов; кажется, что ни один из них не стремится к победе какой-нибудь новой конфессии. Очевидно, такая воинствующая активность несвойственна китайскому темпераменту: при всей неуступчивости и консервативности конфуцианства в борьбе с буддизмом он одержал в конечном счете победу благодаря тому, что включил в себя чужое учение, утверждая, что оно является выражением его собственного, конфуцианского, мировоззрения. Время от времени, конечно, появлялись гонители и фанатики, им, как это всегда бывало в этой стране, никто не мешал, их терпели, пока они сами не прекращали свою деятельность; однако средний образованный китаец не менее терпим, чем индус. Мне очень запомнилась беседа с одним необычайно рьяным, шумным конфуцианским священником; он говорил, что конфуцианство, несомненно, представляет собой абсолютно совершенное выражение истины; но истиной как таковой, по сути дела, разумеется, обладаем и мы, христиане; и это, мол, не требует долгих доказательств. Сопоставьте эту позицию с тем, как повел бы себя лютеранский пастор, выясняя отношения с католиком!

Новые религиозные настроения в Китае отличаются, как мне показалось, аконфессиональным, нецерковным характером. Это естественное следствие того типично китайского отношения к церкви, на которое я обратил внимание еще в Кантоне; церковь рассматривается у них как «учреждение», как некий внешний, предназначенный для практических целей институт, не имеющий непосредственного отношения к религиозным убеждениям. Неправда ли, очень протестантская черта! Для протестантизма церковь всегда была «учреждением», установленным Богом, чтобы поддерживать в мире порядок; поэтому не удивительно, что все новые тенденции, возникавшие под знаком принадлежности к внутренней, духовной жизни, всегда несли в себе тенденцию к отделению от церкви, чего никогда не происходило в католицизме, для которого культ всегда являлся делом внутрен-

ней жизни. То, чего обычно открыто не признают, но что в большей или меньшей степени происходит сейчас в протестантской церкви, представляет собой естественный путь для китайской. На этом примере можно увидеть, что рациональные соображения порой могут приводить к той же цели, что и творческая интуиция. Бесспорно, религиозное чувство слабо развито у китайского народа; однако он, может быть, лучше всех понял, что именно не является существенной частью религии. В принципе церковь действительно не имеет никакого отношения к религии; соединение религии с церковью (с точки зрения понятий) является чем-то вторичным; богослужение — это в любом случае магия. А магия — это очень важная естественная наука и практическое применение благородного художественного ремесла, которое, однако, не имеет религиозного значения. Быть религиозным означает стремиться к высшей самореализации, стремиться к тому, чтобы высветить все явления божественным светом. Магия может служить подспорьем такого стремления, но сама по себе она остается чисто техническим средством. Там, где в основе лежит трезвый разум, как у китайца и северного европейца, где к тому же сильно развито чувство независимости и человек без крайней необходимости не желает обращаться за посторонней помощью, он по мере развития неизбежно все дальше отходит от магии, а следовательно, от церкви, культа и конфессии.

Почему конфуцианец так часто достигает столь высокой степени человеческого совершенства? Встречаясь с образованными китайцами, я все чаще задаю себе этот вопрос. Действительно великого человека, «благородного» в том смысле, как это понимал Конфуций, я до сих пор, пожалуй, еще не встречал; ни об одном из своих знакомых я не могу сказать, что его характер произвел на меня импонирующее впечатление. Но среди этих господ все-таки поразительно много людей, которые в человеческом отношении стоят так высоко, как это лишь в виде редкого исключения бывает в других широтах. Причина, вероятно, заключается в конфуцианстве. Обдумыванию этой проблемы я хочу посвятить вечерние часы, когда сгущаются сумерки и выходить из дома

бывает небезопасно из-за шаек мародерствующей солдатни.

Идеал китайского человека определен культурным идеалом его нации: это идеал конкретизации; глубинный смысл должен во всей полноте проявиться в явлении. Дело обстоит так, что каждый отдельный человек причастен дао и знаменует собой в качестве особого феномена одно из звеньев универсальной гармонии; следовательно, он может реализовать себя только в том случае, если будет поступать в согласии с мировым порядком, а это в свой черед означает, что он должен строить свою жизнь, строго подчиняя ее объективным нормам. Если же признать, что следование норме, которую я принимаю, действительно является условием высшей самореализации, то, следуя ей, я неизбежно стану совершенным, каков бы я ни был как индивид. Тем самым проблема, по-видимому, решена: культура конфуцианского человека так часто достигает такой необычайно высокой ступени потому, что его высший идеал — это идеальное соответствие норме, и потому каждый нормальный человек в принципе призван его осуществить; а также потому, что предлагаемая китайцу формулировка идеала указывает ему непосредственный путь к его осуществлению.

Все народы и религии выдвигали идеалы, которые должны были служить образцом для всех. Каждый из нас, по идее, должен сравняться с Христом, каждый индеец стать таким, как Кришна или Будда. Но не каждый может стать святым, как бы он к этому ни стремился, потому что для этого требуется особый дар, которого у него нет, поэтому христиане, в частности, считают невозможным сравняться когда-либо со своим высшим идеалом. Поэтому идеал на практике оказывается не работающим. Если же он работает, то для большинства людей из этого не получается ничего хорошего: никому не полезно стремиться к тому, что не соответствует его природе. Католический священник, по идее, несомненно стоит выше протестантского; духовному лицу надлежит быть таким человеком, чтобы, не впадая в искушение, соблюдать целибат, его половой инстинкт должен преобразиться, он должен быть свободен от всех естественных связей и жить чистой жизнью ради других. Но в большинстве случаев у него это не получается; тем более, что религи-

озный склад обыкновенно сочетается с сильной чувственностью; поэтому было хорошо, что реформация официально санкционировала появление другого, более простого типа священника. Конкретная польза того или иного идеала зависит просто лишь от того, как он соотносится с существующими возможностями; положительному развитию способствуют только те идеалы, которые не противоречат природе и в принципе достижимы. Последнее в удивительной мере соблюдено у китайцев. Их идеал рассчитан не на исключительную, а на самую обыкновенную человеческую натуру, такие качества, на которые может претендовать любой человек, и реализуется путем совершенствования обыкновенных средних задатков. Поэтому он никого а priori не отпугивает, ни для кого не является недостижимым, и всякому, кто серьезно к нему стремится, помогает реализовать в действительности то, что он собой представляет. Примечательно, что Конфуций просто отвергает все то, что не отвечает норме. Он говорит: «Познать непознаваемое, совершить что-то исключительное, вообще стремиться к подвигам, которыми будут восхищаться в грядущие века — делать это я бы не стал даже пытаться». В другом месте у него сказано: «Путь дао проходит не за пределами и не в стороне от нормальной человеческой жизни». Он настоятельно предостерегает от переоценки идеала. В Tschong Young он говорит: «Теперь я знаю, почему истинно нравственная жизнь встречается так редко; мудрецы принимают идеал за что-то более высокое, чем он есть на самом деле, а глупцы не умеют оценить его по достоинству; благородные мужи стремятся к слишком высокой цели, хотят высоко вознестись над своим нормальным Я, а неблагородные прилагают слишком мало старания». Создается впечатление, что Конфуция заботит слишком высокая оценка идеала. Идеальный человек — это не тот, кто стремится к недостижимым вершинам, а тот, кто делает самое простое, скромный человек, который хочет только представлять собой то, к чему он призван; выше всех стоит не гений, а тот, кто путем тщательной работы над своей личностью сумел полностью выразить норму, ибо отдельное существо является зеркалом универсальной гармонии. Особенное внимание Конфуций уделял выражению. Мудрец, достигший большой

душевной высоты, тем не менее, как он считал, не может считаться совершенным: он должен держаться с достоинством перед людьми; мудрец, который держится с достоинством, тоже еще не может считаться совершенным: достоинство должно сублимироваться в грацию. Глубина может считаться глубиной только тогда, когда она высвечивает собой всю поверхность. Может ли тот, для кого учение Кун Фу-Цзы является божественным словом, кто всем своим воспитанием приучен видеть в этом слове свой жизненный принцип, не вступить на путь совершенствования? Может ли он, если это слово действительно содержит в себе всю соль практической мудрости, не приблизиться, в конце концов, к совершенству? Каждый нормальный человек, будучи конфуцианцем, непременно продвинется на этом пути дальше, чем брахман или христианин; только выпадающие из нормы не добьются на нем успеха. Тот, кто стоит ниже нормы, останется на более низком уровне, чем это было бы в условиях христианства, поскольку оно давало бы ему больше надежды; для того, кто возвышается над нормой, конфуцианство станет препятствием в его развитии; а выпадающие из нормы вообще не найдут в нем понимания. Поэтому среди китайцев встретишь меньше оригиналов, чем где бы то ни было еще, необразованная масса там тупее, неудачники остаются без всякой помощи. Однако норма достигает здесь чаще значительного уровня совершенства, чем это бывает в остальном мире.

Не представляет ли собой конфуцианство наилучшую альтернативу в этом некруглом мире, если исходить из того, что всеобщий идеал все-таки возможен? Совершенствование — это самое большее, к чему может стремиться человек, поэтому на него следует обратить главное внимание. Вдобавок это еще и самое гуманное, что только возможно сделать, так как совершенствование в принципе доступно каждому, а кроме того, и самое мудрое, поскольку в условиях, благоприятствующих такому развитию, больших высот могут достигнуть люди, которые иначе никогда бы их не достигли: достаточно вспомнить о том, какой глубиной и величием иногда отличаются ничем не выдающиеся женщины, как им свойственно то наивное величие, перед которым добровольно склоняется самый мудрый мужчина. А теперь я подхожу к по-

следнему пункту, который решающим образом говорит в пользу конфуцианства: конфуцианство создает самых потенцированных людей. Почти всегда росту женской души способствовали затруднения, связанные с внешними обстоятельствами семейной жизни. В этом же смысле и конфуцианцы обязаны своим высоким человеческим уровнем наличию чудовищно косной системы. Если бы мои знакомые китайские господа родились и воспитывались в западных широтах, они никогда не выработали в себе таких качеств; ими они обязаны своему статическому мировоззрению. По китайским понятиям, Вселенная находится в состоянии покоя; это целиком вещь в себе, она не может совершенствоваться; кажется, что в конечном счете это не оставляет места для человеческой воли. Однако жизнь неустанно стремится вверх, она остается прогрессивно-динамическим началом, даже когда ее трактуют в статическом плане; поэтому, несмотря ни на что, происходит прогрессивное движение. Но оно направлено не вовне, а внутрь. В результате аккумулируется та психическая энергия, которая не находит выхода вовне, вследствие чего средний образованный китаец отличается таким внутренним напряжением, какое на Западе можно встретить только у исключительных людей.

Китайцы несомненно обязаны своим превосходством конфуцианскому «идеалу нормы». Более удачного всеобщего идеала просто невозможно придумать. На Западе в последнее время это тоже начинают понимать: все больше и больше общественное мнение отдает нормальному предпочтению перед отклонениями, аскетический или героический идеал сменяется идеалом естественности, совершенствование ставится выше существующего состояния. Ширящаяся в немецких землях канонизация Гёте в значительной мере основывается на том обстоятельстве, что он в наибольшей степени соответствовал представлению о человеческой норме, которая менее всего исключает другие способы существования. Доберется ли до нас когда-нибудь конфуцианство? Ничего невозможного в этом нет. Это — мировоззрение нормы, и при условии правильного понимания его глубинной сущности, понимания его духа, а не буквы, оно без сомнения, представляет собой наилучшее мировоззрение для широких масс. Однако не следует строить себе иллюзии, забывая о том,

что это мировоззрение нормы не способствует движению вверх, не благоприятствует высокому идеализму, не возвышает. Всего, что составляет предмет гордости Запада, он достиг благодаря стремлению к недостижимым целям; конфуцианство ставит перед собой только достижимые цели. Здесь приходится выбирать одно из двух: либо нам нужен сверхчеловек, и тогда нельзя оглядываться на массы, как это и было на Западе до последнего времени, так как все его высшие идеалы, включая христианский, были скроены по мерке избранного меньшинства. Либо мы хотим помочь массам, какими мы их видим сейчас, начать свое совершенствование: в таком случае не приходится помышлять о высших типах. Вряд ли можно сомневаться, что наш демократический мир, решив выбрать какой-то образец, скорее всего рано или поздно выберет вторую альтернативу с ее идеалом совершенно нормального человека. Так он и поступит. Сегодня человечество менее чем когда бы то ни было на протяжении своей истории отдает себе отчет в том, что идеалы вовсе не должны быть образцами для подражания, которым каждый должен уподобиться, а что на самом деле они являются воплощениями основного тона жизни, по которому люди должны настраивать свое личное звучание; менее чем когда бы то ни было человечество сегодня готово к тому, чтобы, отказавшись от постулата всеобщей унифицированности, приблизиться к тому высшему состоянию, когда каждый тон должен звучать по-своему, гармонически согласуясь с основными тонами, которые тоже должны звучать чисто и сильно; современная жизнь более чем когда-либо еще далека сегодня от идеала симфонического звучания... — Но даже если бы идеал нормы был у нас провозглашен абсолютным, все же было бы ошибкой насаждать в Европе конфуцианство в том виде, в каком оно существует сейчас. Для того чтобы воспринимать Конфуция как идеал нормы, нужно быть китайцами. Только индивиды, обладающие слабой индивидуализированностью, могут принять в качестве общезначимого идеала такую множественную определенность; только люди, не отличающиеся большим полетом фантазии, могут вдохновляться, глядя на такой приземленный образец; только существа, наделенные большими способностями к выражению при слабом раз-

витии рефлексии, могут удовлетвориться такой бедной системой. Как ни странно это звучит, но чем большее число людей абстрактно понимаемый идеал способен привести к совершенству, тем менее общеобязательно в качестве примера для подражания его конкретное воплощение. Христос и Будда воплощают истинные идеалы человечности, хотя подавляющее большинство и не может им подражать; Конфуций может служить образцом для подражания только китайцам; для нас он не служит вдохновляющим примером. Это нисколько не умаляет его достоинства, а только лишний раз доказывает эксклюзивный характер всего конкретного. Англичанам трудно понять наш культ Гёте; им трудно представить себе, каким образом законченный педант, провинциал из маленького городка, писавший обстоятельно и тяжело-весно, может стать высшим идеалом для целого народа; а между тем у Гёте были и эти черты, за которые его критикуют англичане. Зато нам по тем же самым причинам кажется просто дико, что англичане нашли себя кумира в лице доктора Джонсона, совершенно неоригинального, твердолобого среднего британца, у которого было больше предрассудков, чем у какого бы то ни было британца из последующих поколений, основоположника того культа предвзятости, который с тех пор стал главной отличительной чертой английского среднего сословия; в лице этого, по меткому выражению Сент-Бева, *roi des cuistres*¹; в лице человека, который среди всех, кто остается в памяти человечества, с величайшей, глубочайшей убежденностью более других наизрекал банальностей. Вот судьба каждого конкретизированного идеала нормы.

Оставшиеся у меня на Пекин дни я посвящаю поездкам в окрестности. Как величественна эта природа! Как мощно ширится самосознание! Ритмическое однообразие ландшафта придает ему видимость безграничного простора; ясный, сухой воздух делает иллюзорными все расстояния; у меня такое ощущение, словно мир виден мне от края и до края. Если бы я родился в Пекине наследником драконьего трона, я, по-видимому, был бы совершенно убежден, что я повелитель земного шара; тем более что доказательств бы не потребовалось. Из древ-

¹ Царь педантов (фр.).

ней истории мы узнаем, что самое существование императора уже служит гарантией сохранения мирового порядка. От самой колыбели мне бы ставили в пример Шуна. Этот святой просто сидел, обратив лик к югу; и оттого в мире царила совершенная гармония. Времена года сменялись вовремя, все сыновья повиновались своим отцам, все супруги любили друг друга; все чиновники были честны и верны. Мне бы постоянно внушали: если я достигну личного совершенства, то и в космосе сам собой наладится порядок. И, уразумев смысл услышанного, поняв собственное огромное значение, я, посмотрев на окружающую природу и увидев эти просторы, конечно, подумал бы: я — велик!

Однако я подумал бы так без всякой гордыни, со всей скромностью, возможно даже со смирением. Я испытал бы примерно то же чувство, которое охватывает альпиниста, оглядывающего мир с высоты покоренной вершины: чувство величия, которое возникает, однако, посреди величия во столько раз большего, что он скорее испытывает это чувство с сознанием собственной малости. Ведь я, император, всего лишь колесико в колоссальном механизме; быть может и самое большое, но тем не менее всего лишь деталь этого двигателя. И со смирением я бы подумал тогда о своей неограниченной власти. Как же мне приписывают неограниченность, когда на мне лежит ответственность за все мироздание, в котором малейшее упущение с моей стороны вызовет невообразимые бедствия? Люди говорят о моей неограниченности, потому что выше меня нет никого. Ведь где-то должна находиться последняя инстанция. Вся нравственная деятельность основывается на авторитете; если он не абсолютен, то его вообще нет. Варвары, христиане, перекладывают, как я слышал, этот абсолютный авторитет на Бога, которого никто не видал. Вероятно, это придумал хитрый, но несправедливый император, который хотел облегчить свои обязанности или у которого недостаточно было развито нравственное чувство. Я бы постыдился снимать с себя величайшую ответственность.

Я вынырываю из души Сына Неба и возвращаюсь в душу одного из многих любопытных людей, прибывающих с Дальнего Запада, посмотреть на императорский город. Какое поразительное открытие! Переместившись

из души самого великого человека в душу самого малого, я обнаруживаю, что самооценка последнего, оказывается, во много раз выше. Он не признает ничего выше себя стоящего; он ощущает себя стоящим недосыгаемо высоко, кем-то, кто призван повелевать миром. Но вдобавок к этому еще и не ответственным ни за что и ни перед кем; он стоит вне природной связи вещей. Так какой же автократ заслуживает больше почтения: император, который сознательно принимает на себя ответственность за мировой процесс, или свободный американец, который похвально тем, что может расколошматить весь мир?

Ханькоу

На пути из Пекина сюда поезд неожиданно остановили солдаты. Это была самостоятельная дивизия, не подчинявшаяся ни республике, ни императорскому дому. Люди, очевидно, скучали и радостно ухватывались за каждую возможность, обещавшую некоторое разнообразие. По первому впечатлению это выглядело довольно опасно, хотя поездная бригада не выказывала особой тревоги; солдаты ворвались в вагоны со штыками наперевес и, судя по всему, собирались начать обыск; но в момент нападения у них уже было написано на лицах ожидание, и как только к ним подступили с уговорами «миротворцы», выжидательное выражение сменилось удовлетворенностью, словно этого только они и добивались. На завершение переговоров понадобилось несколько часов; но, в конце концов, нас отпустили с миром.

Какая странная солдатня! Во время моего пребывания в Кантоне там бушевала борьба между правительственными войсками и пиратами; однако время от времени в ней делался перерыв, и тогда враги общались между собой так мирно, словно между ними никогда не бывало никаких недоразумений. В Ханькоу рассказывали, что во время футбольной игры между тамошними резидентами, игрокам досаждали пули, долетавшие с поля происходившего неподалеку сражения; они связались с ближайшим генералом и попросили его, если можно, прекратить стрельбу, пока они не закончат матч, и тот будто бы исполнил их просьбу. Похоже, что для китайцев военное

ремесло стоит в одном ряду с сапожным или с мелкой торговлей, т. е. они не связывают с военным делом никаких идеальных представлений; они выполняют свою работу, оставаясь к ней равнодушными. Наверное, это не удивительно в государстве, народ которого с незапамятных времен считает высшим идеалом мир *à tout prix*. В китайской литературе полководец редко бывает представлен героем, зато очень часто — как забияка и хвастун, как правило к тому же и как грубый и неотесанный человек. В Китае никогда не воспринимали проигранную кампанию как позор; духовное оружие там всегда ставилось выше кулачного права. Одна симпатичная легенда повествует о том, как однажды к императору явились посланцы варварского царя с угрозой, что объявят ему войну и завоюют страну. Сначала тот не знал, что ответить, ибо хорошо понимал, что армия у него плохая, и он не располагает достоверными сведениями о вражеском войске. И тут император вспомнил про поэта, который в это время находился у него при дворе: наверняка тот сумеет составить ответ так, чтобы вражеские посланцы испугались и ушли вместе со своей армией. Поэт, как всегда, был во хмелю от выпитого вина; императрица с помощью первых придворных красавиц в конце концов кое-как его добудилась. Но поняв наконец, в чем дело, он тотчас же придумал речь, исполненную такого остроумия и дышащую такой силой, что посланцы в страхе удалились, а своему повелителю сообщили, что против такой мощи его армия не сможет сражаться. Не раз в беседах с мандаринами я отмечал, что физическая сила у них не вызывает восхищения, а напротив, к ней они относятся с презрением. Признавая, что порой она бывает нужна и что необходимо держать у себя людей, которые ею обладают, они добавляли, что это люди не высшего порядка, а любовь к дракам свидетельствует о вульгарности. Воин стоял в их глазах несравнимо ниже ученого, и скорее выглядел каким-то бульдогом, нежели человеком.

Несомненно, и мы тоже тяготеем к такому состоянию, когда воинские добродетели утратят былое значение, и недостатки этого человеческого типа начнут в наших глазах перевешивать его достоинства; и во многих отношениях такое положение представляется желательным. Но за его преимущества нам придется дорого расплачиваться.

ся: мы станем филистерами, утратим самоотверженность и благородные убеждения. К сожалению, идеал вечного мира может иметь абсолютную ценность только для райских условий. Нам, земным людям, требуется опасность, чтобы поддерживать в нас способность к идеализму. Что бы ни говорил Галилей — наша Земля не такая уж круглая! Дуэль — ужасно варварский обычай, который должен исчезнуть; уже сегодня он вступает в противоречие со всеми прочими нашими жизненными взглядами. И все же представители того человеческого типа, который дерется на дуэли, во многих отношениях стоят гораздо выше тех, которые не опускаются до поединка. Их предрассудок, по крайней мере, не позволяет им поддаваться страху, учит поступать в согласии с тем убеждением, что в мире есть ценности, которые дороже самой жизни, а главное, вынуждает предоставлять противнику равный шанс на победу, приучает в самом высоком смысле слова уважать чужую личность.

Передо мной катит свои мутные волны река Янцзы. На пароходах и джонках трудятся в поте лица тысячи кули, которые кто на спине, кто на тачке перетаскивают, волочат и толкают перед собой грузы. Такая жизнь больше подходит к натуре китайцев, чем сражаться за отчизну. Идеализм китайца проявляется в том, как он переносит обыденный труд.

На Янцзы

И вот я плыву по благодатной реке, без которой огромные пространства земли, где она протекает, были бы сплошными пустынями. Течение у нее сильное; однако по виду кажется, будто оно едва движется, ее водная масса так огромна и тяжела, что производит впечатление медлительности, как полет дикого гуся рядом с порханием королька. По берегам Янцзы все зеленеет, все они покрыты пышной растительностью. Куда я ни посмотрю, всюду виден разумный крестьянский труд; в нем выражается рука самой природы.

Это — настоящий Китай, бессмертная страна. Повидав лучший цвет, я с удвоенной ясностью понимаю: корень всей китайской культуры лежит в ее крестьянстве.

Не будь конфуцианская система духовным выражением его коренного, естественного состояния, она никогда не стала бы основой, на которой держится все в Китае.

Потомки тех же родов, которые обрабатывали эти пашни во времена Шуна и Яо, по сей день живут на тех же наследственных землях, глубоко проникнутые памятью о своей родословной. Лишь изредка кто-то навсегда покидает родные места. Крестьянин ложится в землю там, где весь век на ней трудился. Пашня — это колыбель Китая. Наследного дворянства там не существует. Изредка кому-то удастся сдать большой экзамен, и тогда он поднимается на более высокое место в обществе. Масса в целом вечно остается такой, какой была.

Я не знаю никого, кто, прожив некоторое время среди китайских крестьян, не проникся бы к ним сердечной любовью и даже почтением. В них действительно еще живы добродетели патриархальных времен. То, чему учили Конфуций и Мэн-Цзы, словно само собой существует в их жизни. Весь внешний порядок здесь и впрямь рождается из такого мировоззрения, у них нельзя даже представить себе никакую другую систему, рожденную не из естественных инстинктов. Бывало ли когда-нибудь, чтобы в первобытных условиях требовались государственные законы для регулирования отношений в семье? Для родителей естественно любить своих детей, а для детей — любить родителей; для родственного клана естественно быть сплоченным. А чем больше плотность населения и чем больше его характеру свойственно миролюбие и рассудительность, тем скорее естественное поведение превращается в нравственные заповеди. Ведь это настолько очевидно, что при таком существовании, как у них, благополучие возможно только в условиях гармонического и дружного труда, а нарушать эту гармонию представляется чем-то кощунственным, ибо это было бы противоестественно; самоочевидно также, что неизбежный порядок не мешает никому, кто видит в нем осуществление своих желаний, а потому все неуклонно стараются развивать естественные социальные импульсы. Поэтому любовь членов семьи друг к другу, почитание старших и авторитета так интенсивно развивались усилиями китайских крестьян, что давно стали формирующим моментом их духовной жизни. Для наивных душ

нет ничего более естественного, как распространять обобщение на все, что есть вокруг; таким образом, не только империя в целом, но и вся Вселенная стали представляться как нечто единое, основанное на естественных отношениях членов одной семьи. Если сыновья будут оказывать отцам должное почтение, то и дождь придет вовремя. Эта древняя мудрость китайских крестьян, которой они бессознательно руководствовались в своей жизни, была затем сформулирована великими учителями древности. А поскольку она учила тому, что и без того лежало в основе всей деятельности людей, то ее положения, во-первых, были без рассуждения признаны правильными, а затем, будучи однажды осознаны, стали исполняться старательней прежнего. Так случилось, что конфуцианство по мере своего развития постепенно превратилось в форму китайского сознания, хотя и раньше присутствовало в виде образа жизни; с прогрессом нации оно дифференцировалось, прояснялось, принимало искусственные формы, но притом никогда не утрачивало своего первоначального содержания.

Это стало возможным только благодаря тому особому историческому обстоятельству, что китайцы с древнейших времен и до наших дней продолжали быть крестьянской нацией, что там не образовались мощные касты, чьи жизненные нормы противопоставились бы крестьянским; что усложнившееся с течением времени устройство общества по сути дела осталось патриархальным. Таким образом, положения Кун Фу-Цзы и Мэн-Цзы не вступили в противоречие с практической пользой, а перманентно продолжали «соответствовать духу времени». Чем глубже человек способен был вникнуть в их смысл, тем больше должен был восхищаться их мудростью. Так их престиж укреплялся с течением веков. И это было необходимо для того чтобы они сохраняли свою действительную силу. Идеи древних учителей, как ни глубоко они коренились в человеческой природе, были очень уж просты; только не ведающие сложностей, первозданные души не выходят за рамки, обозначенные самой природой. Но и для самых развитых основой остается природный строй. Благодаря же тому престижу, которым пользовались положения конфуцианского учения, самые возвышенные умы почувствовали потребность поглубже вник-

нуть в их смысл, и благодаря этому в их сознании осталось живым или получило новую жизнь то, что в сознании некийтайского культурного человека присутствует лишь в исключительных случаях; отсюда та близкая к природе глубина, которая, как правило, свойственна даже самым утонченным китайцам. У них всегда сохраняются живая восприимчивость к естественным человеческим чувствам. Понимание того, какими должны быть отношения детей к родителям и родителей к детям, отличается такой глубиной, какой не встретишь нигде в Европе; соответственно, естественные отношения, заложенные природой, там культивируются. Поэтому даже в самых утонченных китайцах сохраняется понимание простых и естественных чувств, даже в декадентах живет понимание нравственности и ее значения. Я еще ни разу не встретил такого китайца, который понимал бы под нравственностью что-то иное, чем развитое воспитанием естественное свойство. И тем не менее, наверное, ни один мандарин не бывает таким хорошим конфуцианцем, как любой крестьянин, живущий на Янцзы-цзян, именно потому что конфуцианство было изначально создано по меркам крестьянских представлений. Но до тех пор, пока в Китае нет каст, пока типичным китайцем остается китайский крестьянин и пока характер этого крестьянина не изменится, не исчезнут и свойства, благодаря которым китаец по сей день является нравственно самым воспитанным человеком на свете.

До тех пор, пока... Но останется ли крестьянин прежним после переворотов последнего времени? А если нет, то чем он будет тогда? С глубокой печалью я смотрю на окрестные поля и деревни, на неутомимых крестьян, занятых по берегам Янцзы своим старинным трудом. Конечно, та бедность, которая среди китайских крестьян, по-видимому, представляет собой типичное явление, есть абсолютное зло. Но как можно ее преодолеть без помощи индивидуального эгоизма, который постепенно разрушит чудесную китайскую цивилизацию с ее всеильной семейственностью? В пользу грязи, разумеется, не может быть никаких доводов, но откуда взяться чистоплотности, пока не выросло благосостояние? Конечно же, это ужасно, когда из года в год такое множество людей погибает от голода и повальных болезней: но куда

денется избыток населения после того, как перестанет действовать его природное регулирование? Разумеется, можно представить себе равновесие и на более высоком уровне, чем нынешний, но прежде чем оно будет достигнуто, пройдут еще века, а до тех пор нищета станет еще хуже, чем была раньше. В чем состоит зерно социального неблагополучия у нас? В том, что люди знают слишком много для того чтобы быть счастливыми в тех ограниченных условиях, в которых им приходится жить, но недостаточно для того чтобы понять, что на преодоление тех условий, которые вызывают их недовольство, потребуется большой отрезок времени, а попытка вырваться из него насильно на первых порах приведет к еще большему ухудшению по сравнению с нынешним положением. В Америке, конечно, самое лучшее — это позволить каждому отдельному человеку учиться, сколько он сам захочет, ибо тамошние условия еще дают возможность пробиться каждому таланту. В более узких европейских рамках такое возможно лишь в исключительных случаях, а потому было бы лучше как-то ограничить этот соблазн. А в перенаселенном и, соответственно, бедном Китае с его косным общественным строем то, что даже в Европе порождает трудности, вообще примет характер бедствия. А значит, при любых, даже самых благоприятных, условиях счастье китайцев наступит конец.

Путь прогресса оборачивается бесконечной чередой интимных трагедий. Счастье целиком зависит от душевного состояния, никакие внешние средства его не вызывают. С этой точки зрения, прогресс выглядит чем-то бесполезным и даже вредным. Неизменность условий, существующих как некая данность, в конце концов вызывает появление такой внутренней установки, благодаря которой они становятся терпимыми для человека; при меняющихся условиях у человека нарушается равновесие его внутреннего мира. Задача же заключается в том, чтобы добиться такого состояния, которое отвечало бы всем внешним условиям, т. е. практически от них бы не зависело, а это означает состояние величайшей культуры. Ведь если при стационарных условиях счастье потенциально доступно для каждого отдельного человека, то при меняющихся условиях оно доступно только высоко развитому человеку. Масса же тут обречена быть вечно

несчастной. Возможно, что в этом заключается цель провидения, если таковое существует, ибо человек, несомненно, быстрее развивается, когда он несчастен, чем тогда, когда счастлив. Возможно, это даже и к лучшему, что отныне наступил период бед, понуждающих человечество к росту. Трагично же то, что оно приветствует этот период как наступление счастливых времен, ибо неизбежное разочарование чрезвычайно усилит чувство всеобщей неудовлетворенности.

Разумная позиция доброжелательно настроенного культурного человека по отношению к человечеству выражается в желании приостановить события. Поэтому все образованные китайцы настроены реакционно. Но с их стороны было бы мудрее побороть свое сострадание. Им следовало бы постараться, предвосхищая будущее состояние равновесия, показать массе добрый пример, ибо только так они могут ей помочь. Былые идеалы отошли в прошлое; прежние типы совершенства уже не могут служить образцами для подражания. Образованные люди, аристократы Китая, да и не только Китая, должны не увековечивать былое совершенство, а, основываясь на правильном понимании, как можно скорее выработать тот тип, который завтра сможет выступить путеводным для остальных людей.

Капитан рассказывает мне о тех временах, когда он, будучи молодым офицером, плыл вверх и вниз по течению Янцзы: тогда, мол, все было иначе. Как приятно было тогда вести переговоры с китайскими купцами! Они нерушимо выполняли условия контракта, причем, как правило, достаточно было устной договоренности; они были надежными и честными, не хуже какой-нибудь английской фирмы. Сегодня надо держать ухо востро, а не то тебя того гляди обманут. Это результат контактов с американскими дельцами. Конечно, не одни американцы виноваты в том, что на Востоке ухудшилась мораль. Большинство европейцев ведет себя там так, как никогда не посмело бы дома. Чем больше я вижу свет, тем больше убеждаюсь на опыте, что при не слишком высоком уровне внутренней культуры добро побеждает в человеке лишь до тех пор, пока оно представляется целесообразным. Во всех замкнутых обществах оно всегда бывает

целесообразно, и по этой причине у всех народов внутри сословия, ремесленного цеха или даже преступных сообществ при некоторой дальновидности соблюдается какой-то минимум моральных правил. Целесообразность добра оказывается тем большей, чем сильнее развивается торговля и чем больше растет оборот, так что внутри самых больших деловых организаций надежность бывает почти абсолютной. Так и мы, современные европейцы, очевидно, бываем честнейшими маклерами, пока ведем дела между собой. Однако едва мы выходим за рамки своего круга, как тотчас же с ужасающей ясностью обнаруживается, что наша мораль — это не первичное качество, а всего лишь продукт определенных условий, ибо тут мы ведем себя как настоящие хищники. Образованные китайцы между собой называют нас «пиратами», и это еще мягко сказано. Побывав некоторое время на Востоке, я, к сожалению, вижу, что наша нравственная культура, бесспорно, очень поверхностна.

По счастью, добро в конечном счете всегда оказывается самым целесообразным, так что белый человек и на Востоке поневоле придет когда-нибудь к тому, что лучше вести себя порядочно и поступать честно. И все же очень обидно и стыдно становится от того, что, несмотря на христианство, гуманистические идеалы и самые целесообразные системы, большинство из нас все равно в моральном отношении остаются, как оказывается, сущими дикарями. Если бы Бог внезапно разрушил весь наш внешний аппарат, мы предстали бы перед ним совершенными варварами. Китайцу не требуется страх перед таким грозным Богом: мораль, которая этому народу свойственна (а ее у них, как правило, больше, чем у нас), усвоена им всей душой, а не навязана внешними обстоятельствами. Конечно, и у китайцев она не свободна от влияния внешних условий, иначе они были бы не люди, а полубоги; без вынужденного сосуществования в условиях трудного общежития они никогда не приобрели бы столь высокой индивидуальной культуры; если их купцы не так честны, как в былые дни, это тоже случилось под влиянием внешних условий. Но нравственное чувство у них представляет собой первичный душевный фактор, а не вторичный, как у нас. Таким образом, с точки зрения бога, они, даже поступая безнравственно, в нравствен-

ном отношении стоят выше нас даже тогда, когда поступают более безнравственно, чем мы. С другой стороны, во время пребывания в Китае мне часто вспоминался тезис Поля Дюбуа, что отсутствие четкости в различении добра и зла служит признаком глупости; речь, дескать, идет о совершенно объективных соотношениях, которые можно замечать или не замечать, но два разных мнения в этом случае так же невозможны, как не может быть двух разных мнений о том, сколько будет дважды два — четыре или пять. Такой глупости, а вернее сказать необразованности, какой отличаются в этом отношении европейские мужчины (женщины по сравнению с ними гораздо образованнее), не встретишь ни у одного китайца. Какими бы сомнительными ни выглядели его поступки (поступки зависят от характера человека), он всегда знает, что было бы правильным. А знает он это потому, что эта сторона его души благодаря конфуцианству стоит на высоком уровне развития. Так не пора ли и нам начать воспитывать своих детей по-конфуциански? Рано или поздно мы наверняка начнем это делать; остается только надеяться, что не с безнадежным опозданием. наших высокомерных этиков и моралистов следовало бы насильно заставлять один годик пообщаться с образованными китайцами (так же как всем интересующимся религией я посоветовал бы провести год в Бенаресе); те, кто не страдает полной душевной слепотой, обнаружат к своему удивлению, что эти господа при всей их «аморальности» с точки зрения европейских понятий, несмотря на все свое лицедейство, скрытность, лживость, несмотря на то, что они нисколько не смущаясь посещают бордели, несмотря на все недостатки, как правило, присущие их характеру, в отношении нравственной образованности, тем не менее стоят неизмеримо выше большинства представителей нашей расы. Среднему европейцу вообще чуждо понятие нравственной образованности. Он мнит, что главное — это характер, и этим словом все сказано. Но что значит, в сущности, характер? Это твердость существующей психической структуры. Однако же вопрос прочности целиком зависит от физиологии, не имея ни малейшего отношения к нравственности. Когда нравственно развитый человек выказывает твердость, это прекрасно, но как ужасно, когда ту же твердость проявляет

человек грубый и невоспитанный. Делая ставку на воспитание характера, мы вырастили такой прочное духовное сырье, какого не найдешь нигде на Востоке. Но не более того. Пора бы уже приступить к обработке этого сырья.

Мне бы хотелось, чтобы правительства приостановили миссионерскую деятельность разных религий. Отдельные их представители могут быть очень почтенными личностями, но по части морального образования миссионеры почти все без исключения стоят настолько ниже тех, кого они собираются обращать в свою веру, что могут принести гораздо больше вреда, чем пользы. Нельзя посылать в учителя образованным людям неотесанных грубиянов, какими бы хорошими они ни были в человеческом отношении.

На Янцзы бушует шторм. Когда я с закрытыми глазами слушаю шум волн и ветра, мне кажется, что я нахожусь в открытом море. Открывая глаза, я испытываю разочарование при виде покрытой рябью, слегка волнующейся грязной водной поверхности. Лучше лежать с закрытыми глазами. Подождав некоторое время, я вновь открываю глаза, и под влиянием звуков, которые слышатся вокруг, мое сознание воспринимает совершенно иную картину: мне кажется, что подо мною ходят гигантские волны разбушевавшегося моря; только оно находится далеко внизу, откуда волны видятся маленькими.

С давних пор одним из моих любимых развлечений было представлять себе что-то большое маленьким, а маленькое большим; эта игра всегда меня забавляла. Для того чтобы увидеть в песке каньоны, в мелкой лужице — море, не нужно сильно напрягать воображение; зато это внутренне очень обогащает. Таким образом можно, не предпринимая дальних путешествий, стать свидетелем мощных природных явлений... Но все же никакая фантазия не поможет преодолеть границы нашего существа. В чем состоит «как таковое» различие между лужей и океаном? Только в абсолютной величине последнего. И то и другое одинаково факты, океан ничуть не богаче проблемами; каждый атом — это солнечная система, и его легко представить в таком качестве. И однако же только то, что велико по сравнению с нами, само собой

пробуждает в нас высокие чувства. Это доказывает нашу жалкую зависимость от внешних впечатлений. Мощное потрясение даже филистера подымает на неведомую для него высоту; с другой стороны, только в благоприятном окружении гений может полностью выполнить свое предназначение. Следовало бы добиться полной независимости от случайностей внешнего окружения; это значит, что следовало бы так овладеть своей внутренней средой (т. е. своим психофизическим организмом), чтобы, перестраивая его по своей воле на тот или иной лад подобно осьминогу, меняющему окраску своего тела, уверенно достигать того, чего мы обычно добиваемся путем расчетливого распределения внешних влияний.

Шанхай

Итак, я видел Шен Чи-Пея (Shen Chi-P'ei), литератора, о котором был так наслышан. С этой встречей я связывал большие ожидания. Почти всегда, когда в Пекине заходила речь о европейских делах и я находил повод поправлять в чем-то моих китайских друзей, те многозначительно переглядывались и восклицали: «Вот и Шен Чи-Пей говорил то же самое! Но мы ему не верили, потому что при всей своей учености он лишь поверхностно был знаком с западной культурой». Каков же должен быть человек, который без соответствующих знаний тем не менее все понимал! Личная встреча и близкое знакомство не принесли мне разочарования. Шен Чи-Пей — величайшее воплощение всех китайских возможностей, какое я когда-либо встречал. Он действительно тот «благородный человек», каким его изобразил Кун Фу-Цзы. Старец с пылкостью юноши; почтенный и строгий, каким надлежит быть мудрецу, и при этом наделенный обаятельными манерами, как у девушки; являющий совершенство формы и одновременно глубину содержания. Шен в поразительной степени выражает тот идеал конкретизации, который является характернейшей чертой китайской культуры. Вся глубина личности обрела в нем типичную форму и выступила на поверхность; ни одного жеста, который не соответствовал бы «Книге церемоний», и в то же время ни одного, который не слу-

жил бы соответствующим выражением именно его самого. Его разговор замечательно поучителен. Никогда я не встречал у китайцев такого глубокого понимания всего некитайского, не говоря уже о китайском. И притом Шен один из самых ортодоксальных конфуцианцев, каких я когда-либо встречал; враждебно относящийся ко всему новому, реакционно настроенный литератор старого закала, в глазах которого все иностранное просто недостойно внимания. Но он так глубоко проник в свою собственную сущность, что все человеческое ему понятно само собой, ему достаточно нескольких внешних признаков, чтобы на их основании а priori угадывать сущность человека. Для меня это еще одно лишнее подтверждение, что всякая форма, даже самая ограниченная, представляет собой возможноеместилище безграничного содержания.

Я счастлив, что мне довелось своими глазами повидать этот образ человеческого совершенства. Я давно уже носился с мыслью дать общее определение китайского характера; однако все время откладывал дело, предвидя, что мне может еще встретиться такой факт, который потребует расширить пределы намеченного круга. Более богатой натуры и более совершенной культуры, чем то, что воплотил в себе Шен, мне в Китае уже не встретить. Поэтому сегодня, имея перед глазами этот конкретный пример, я с чистой совестью могу взяться за выполнение задуманного. Мне предстоит обобщить и представить в едином освещении те несвязные наблюдения и заметки, которые я собрал во время своего пребывания в Китае.

Хочу подчеркнуть, что моя задача состоит в том, чтобы дать дефиницию китайского характера, а не китайца; т. е. то, что, с одной стороны, поддавалось бы абстрактному обобщению, а с другой, имело бы символическое значение для всего человечества. Конкретная китайская субстанция представляет собой некий абсолют, который не выводится из чего-то другого и не может служить образцом для подражания; самая сущность ее останется за пределами моих рассуждений. Под свежим впечатлением от встреч с Шен Чи-Пеем я могу только сказать, что китайская субстанция представляет собой нечто великое; непревзойденная энтелехия, если не по богатству, то по своей потенции.

Китаец, бесспорно, менее индивидуализирован, чем европеец; такой человек, как Шен, гораздо ближе к простому кули, чем наш интеллектual к сельскохозяйственному рабочему. Это тем более бросается в глаза, что различия между классовыми типами в Китае гораздо больше, чем у нас, и это обстоятельство служит противовесом вышеназванному соотношению. Самый великий, самый независимый китаец все же не личность в гётевском смысле. Тем самым ему поставлены непреодолимые границы: для него невыполнимы все задачи, предполагающие наличие дифференцированного сознания своей уникальности, т. е. индивидуальная характеристика, индивидуальная любовь и уж тем более та бесконечная, но притом все же чисто личностная любовь, которую, как считается, питает Христос к каждой отдельной душе; его милосердие, если и существует, то не предполагает личностного отношения к отдельному человеку, а, подобно гуманизму стоиков, представляет собой абстрактное чувство ко всему человечеству. По этой же причине у него отсутствует личностное творческое начало, в обязательном порядке подразумевающее наличие сознания своей уникальности; по этой же причине он интеллектual. Интеллектуализм всегда возникает как субъективное отражение объективно существующего единообразия; в условиях, когда неиндивидуализированное человечество (которое, отметим сразу, никогда не встречается на ранней ступени развития, все первобытные народы гораздо индивидуализированнее китайцев) обладает высокими интеллектуальными задатками, оно всегда без исключения исповедует идеал единообразия, систематизированности, неограниченность обобщения является для него постулатом, ибо интеллект изначально более всего склонен к генерализации. Когда же реальные факты подтверждают правильность такого подхода (ведь чем меньшей индивидуализированностью отличается народ, тем в большей степени обобщенно-абстрактные дефиниции оказываются справедливыми для каждого отдельного его представителя), то время только усиливает эту исконную наклонность. Тем самым перед возможностями духовной жизни ставится новая преграда: будучи интеллектуалом, китаец не обладает осознанным отношением к метафизически-реаль-

ному; в своем мышлении он крепко привязан к поверхностному уровню вещей.

Очень важно отметить, что, несмотря на все ограничения, китаец несколько не уступает нам во всех существенных вещах духовного плана: понимание сущности и выражение сущности не предполагают обязательной индивидуализированности. Как мистик он стоит на одном уровне с европейцами и индийцами, ибо мистическое понимание означает понимание глубочайших основ жизни, которые везде одинаковы. К абсолютному добру и абсолютно прекрасному китаец находится в непосредственном отношении, потому что осуществление абсолютного идеала является исключительно функцией совершенства и не зависит от характера отдельных элементов. Там, где речь идет о сущностном, в нем не ощущается никакой ограниченности. Ибо сущность лежит глубже, чем индивидуальность. Китай служит вечным доказательством этой истины.

Поскольку китаец менее индивидуализирован, о нем можно сказать, что он стоит на более низкой природной ступени. Хотя я вообще-то и не поклонник догматического эволюционизма, следует все же признать, что человек как духовное существо развивается в направлении все большей дифференцированности, и на этом пути мы продвинулись дальше китайцев. Но с такой же уверенностью можно утверждать и то, что мы отстали от них в отношении культурного развития, поскольку оно зависит от того, до какой степени проникнуто культурой данное естественное состояние. По степени культурной своей проработанности китаец стоит в своем развитии на первом месте; все его задатки проникнуты духовностью, во всем видно совершенное выражение. Таким образом, пример Китая доказывает нам еще и то, что культура и прогресс представляют собой вещи, лежащие в различных измерениях. В третьих же, Китай доказывает нам, что в конечном счете все зависит от степени проработанности, ибо, несмотря на то, что китаец стоит на более низкой природной ступени, он ближе, чем мы, подошел к осуществлению человеческого идеала.

Из всего сказанного следует, что китайский характер, с одной стороны, является пережитком предшествую-

щих стадий развития, а с другой стороны, он предвосхищает идеал будущего. Для меня не может быть сомнения в том, что достижения высшего развития представители будущих эпох окажутся ближе к типу конфуцианца, чем к типу современного человека, что социальное устройство в будущем будет больше похоже на китайское, чем на то, чего ждут современные утописты. Человек будущего, разумеется, будет автономен; внешних границ будет уже немного, а на существующие люди будут смотреть с осуждением как на *pis-aller*, как это делается в Китае вот уже на протяжении тысяч лет. Но человек уже сам, руководствуясь собственным развитым разумением, будет себя ограничивать; он будет мыслить над-индивидуально, а не индивидуалистически. Но эта стадия совершенного над-индивидуального мышления скорее будет сродни нынешней стадии китайского развития, чем той, что сейчас наблюдается у нас.

Таким образом, традиционный китайский характер относится к высшему состоянию человечества приблизительно так же, как выраженная в форме мифов мудрость античных мудрецов к ее научному подтверждению в более точной форме. Превзойти индийских риши в содержательном плане вряд ли возможно, но те же самые достижения познания можно выразить лучше. Так же и китайскую культуру в плане содержания никогда не удастся превзойти. Что же касается ее выражения, то здесь все недостатки связаны с ее интеллектуализмом. Идеал конкретизации, как таковой абсолютный для этого мира, реализуется в Китае не в совершенстве несравненных, уникальных душ, а в совершенстве представленной нормы; этим объясняется то, что самая глубинная сущность человека остается неохваченной. Высшим достижением была бы реализация конкретизированного идеала посредством чистого субъекта. Глубинное содержание человека — это чистая субъективность, не поддающаяся объективизации, невыразимая через внешние средства; внутри нее и исходя из нее нужно непосредственно жить. Китаец же делает это лишь опосредованно, целиком полагаясь на объективированную мудрость. Но такая мудрость, сколь бы глубокой и всеобъемлющей она ни была, не отдает должное частному, для нее существуют только типы; она вынуж-

дена оставаться на уровне внешнего, поскольку принимает во внимание не отдельную душу, а лишь абстрактные отношения, существующие между множеством душ, она вынуждена нивелировать, так как учитывает только всеобщее, и выстраиваемая ею гармония создается за счет богатства. Если мы когда-нибудь сумеем создать столь же совершенную гармонию, какую мы видим в Китае, посредством свободной инициативы полностью развитых индивидуальностей, не стесненных условными рамками и устремленных к своему совершенствованию, мы достигнем осуществления социального идеала.

И еще замечание по поводу большей оригинальности европейцев по сравнению с народами Востока. Эта оригинальность не обязательно означает преимущество, поскольку компенсируется тем, что у европейцев хуже обстоит дело с памятью. Восток и Запад воплощают в себе сейчас два полюса живого исторического процесса — процесса обновления и процесса сохранения памяти. Стереотипность природы есть не что иное, как ее память, новизна в ней означает изобретение нового, вместе они составляют две стороны, необходимые для существования мира. В актуальном же плане обновление и сохранение готовых форм взаимно исключают друг друга. Почти все, обладающие творческим умом, жалуются на плохую память, особенно же памятьливым людям редко приходит в голову новая мысль. Народы Востока обладают поразительной памятью; это почти что можно назвать неспособностью к забыванию. Столь же поразительная устойчивость и жизнеспособность свойственны на Востоке существующим формам жизни. Вырождение культурных образований происходит на Востоке так же медленно, как вырождение природных форм во всем мире. Мы же начинаем вырождаться, едва лишь останавливается прогрессивное развитие. По этой причине мы обладаем плохой памятью. Мы способны существовать, только пока мы продолжаем изобретать новое. Сможем ли мы сохранять свою изобретательность до бесконечности? Или же когда-нибудь перейдем к противоположному процессу? Или и вовсе исчезнем на этой планете, поспешно прожив свой короткий век? Этого никто не может сказать.

Завтра я покидаю Срединное Царство. Что я отсюда вывезу? Так много нового знания, что понадобится не один год, чтобы усвоить это и переработать. И все же я не чувствую удовлетворения: как ни много мне дал Китай, я после него не переменялся; я уезжаю отсюда почти таким же, каким приехал. Вопреки своей натуре я от начала и до конца оставался в Китае наблюдателем. Как ни старался я поставить себя на место китайца, период инобытия, судя по всему, удивительно мало на мне сказался. Как странно! Ведь впечатление от Китая, казалось бы, было сильнее, чем от какой-либо другой страны; он чрезвычайно многому меня научил; вдобавок я еще и полюбил его всей душой. И все же я уезжаю отсюда с легким ощущением разочарованности.

Немного подумав, я легко понял причину этого ощущения. Китай дал мне меньше других, объективно менее интересных стран, в том же смысле, что и Агра, которая произвела на меня менее значительное впечатление, чем дикие горы Гималаев, как, впрочем, и вообще любое искусство по сравнению с природой. Любуясь произведениями человеческого искусства, за исключением самых высоких образцов, я никогда не выхожу за пределы присущих мне возможностей; я выучиваю новые языки, учусь лучше выражать свои мысли на уже знакомых, я начинаю осознавать какие-то стороны своего существа, которых не замечал раньше, но по-прежнему остаюсь в плену своей человеческой природы. Эта беда постигла меня в Китае в особенно сильной степени, потому что из всех людей китайцы — самые человечные. Они больше всех преуспели в выработке собственных характерных черт. И если они, с одной стороны, сумели встроить в своеобразие своего характера черты общечеловеческие, а общечеловеческое в небывалой доселе степени соединили с более чем человеческим, то неудивительно, что общая картина благодаря такой исчерпывающей полноте производит впечатление чересчур общечеловеческой. Довести нравственное воспитание до такой степени, когда внешний порядок предстает как неизбежный результат интерференции свободных волей, значит достигнуть предела возможного, но в то же время и чего-то слишком человеческого, ибо только люди достигают совершенства через социальную общность. Довести стилиза-

цию эмоциональной жизни до такой степени, чтобы объективный ритуал мог стать соответственным выражением субъективного импульса, — это тоже высочайшее достижение, но и оно также относится к разряду слишком человеческого: ибо светское поведение возможно только у человека. Действительно, китаец как самый укорененный человек опирается на самую универсальную основу, но универсальность вложена у него в рамки чисто-человеческого, вследствие чего человеческое в нем представлено в необычайно потенцированном виде. Но ведь и я как-никак тоже человек, и когда я попадаю на какое-то время в атмосферу потенцированной человечности, потенцированной оказывается и моя ограниченность. Мне грозит возможность кристаллизироваться в моем своеобразии, а этого-то я и боюсь.

Если бы китайская цивилизация как феномен представляла хотя бы большую трудность для понимания, как, например, индийская, она все-таки могла бы дать сильный импульс. Вероятно, муравьи неинтересны другим муравьям, потому что каждый отдельный муравей представляет муравьиную натуру настолько же исчерпывающе, как статуя Фидия — возможности эллинского физического типа, а потому ни одна другая статуя не привносит в представление о нем ничего нового, однако ее созерцание все-таки что-то мне дает, поскольку прочувствовав до конца «слишком человеческое», я приподнимаюсь над «слишком человеческим». По отношению к китайцу я нахожусь в таком же положении, как муравей в отношении другого муравья; из всех наций китайцы легче всего доступны для непосредственного понимания. Их трезвая натура, преобладание здравого человеческого смысла над воображением, их культ классического идеала имеют следствием то, что все, созданное китайцами, каким бы замысловатым оно ни казалось издали, при ближайшем рассмотрении не доставляет ни малейших трудностей для понимания. Нет такого китайского идеала, который не мог бы служить образцовым примером для любого человека, и нет такой *chinoiserie*, которая не подошла бы всякому человеку. Точно так же и в атмосфере китайской культуры нет ничего такого, что давало бы человеку новый духовный импульс; напротив, она поощряет к рутинному исполнению того, что заложено в человеческой натуре.

Зато природа Китая величественна; в тех немногочисленных случаях, когда меня захватывал ее дух, я чувствовал, что это дает огромный толчок моему духовному развитию. Но в Китае человек больше, чем где бы то ни было еще, оттеснил природу на задний план; здесь безраздельно царит культура. В Европе это ощущается вдвое слабее, несмотря на огромную действенную силу наших культурных методов, потому что у нас человек, для того чтобы овладеть природой, мысленно старается понять ее изнутри, тем самым усиливая ее проявления. В Китае мы видим пример того, как черты интенсивнейшей человеческой культуры прививаются на как бы инертную почву. Поэтому созерцание природы там редко позволяет выйти за рамки человеческого. Как же трагично смотреть на то, как самое по сути дела высокое, вместо того чтобы вдохновлять наш дух, напротив, только притупляет его! Ты уже не ощущаешь совершенного выражения первозданной силы; там, где исчерпаны все возможности, духу уже не к чему стремиться. В глазах западного европейца самым первозданным считается «русский человек»; это объясняется тем, что из всех одаренных людей он, в противоположность китайскому, самый незавершенный. По существу, он не намного первозданнее китайца. Если говорить о том, что я вынес из китайского опыта, то главным будет осознание того, что совершенство не всегда исключает спонтанность (хотя зачастую так и бывает); в цивилизованном человеке не обязательно должно быть меньше жизни, чем в варваре. Кажущая безжизненность отчетливо выраженной формы объясняется тем, что она не дает зрителю импульса. Растениям и животным никто не может отказать в первозданной естественности, между тем они в своей сфере более совершенны, чем какой бы то ни было человек, именно потому, что от них человек получает какой-то импульс; для того чтобы их понять, он сам должен проложить путь от явления к смыслу, и по этой причине в них ему кажется живым то, что в людях представляется ему косным и безжизненным. Но даже отдавая себе в этом отчет, мы никуда не денемся от того факта, что совершенство не дает духу творческого импульса. Поэтому то, что облагорожено культурой, оказывается для нас менее значимым, чем то, что относится к естественному и при-

родному, и потому встреча с китайским цивилизованным человечеством дала меньше для моего духовного развития, чем знакомство с девственными лесами Цейлона.

Знакомство с китайской цивилизацией бросает новый свет на отношения между природой и духом. Как я записал еще в Гималаях: «Созидательное начало получает в природе свое выражение, но не равно ему». Явления культуры как таковые не ближе к своему первоначальному источнику, чем явления природы; они тоже суть не «дух», а «природа»; и здесь тоже окончательное становление формы знаменует собой конец спонтанности. С точки зрения метафизики, нет разницы между мертвыми институтами и сонмом небесных звезд; в рутинном судопроизводстве так же мало проявлений живого духа, как в круговращении небесных тел. Точно так же и китайская цивилизация в ее нынешней типической форме есть не «дух», а «природа»; она не есть форма свободы.

Всякая свобода проявляется в связанности. Я же на этот день сыт законченностью; я тоскую по блаженству обновления; я стремлюсь прочь от всего слишком человеческого. Я чуть ли не мечтаю поскорее разделаться с Японией, чтобы, оставив ее позади, направить свой путь в южные моря, где, говорят, водятся удивительные рыбы.

VI. ЯПОНИЯ

По Ямато

Японский этап моего путешествия я начинаю пешим походом по Ямато, области, где все дышит воспоминаниями о священной старине. Как раз в эти дни паломники устремляются к буддистским святыням. На дорогах и в перелесках оживленно, кажется, не меньше половины всех японцев пустились путешествовать или совершают экскурсии. Я стараюсь жить — насколько это возможно, конечно, — жизнью моих спутников, мыслить и чувствовать вместе с ними, воспринимать все как они.

Природа Японии поражает богатством форм, какого, наверное, нигде больше не сыскать. Здесь удивительно много видов сосен, впечатляет и многообразие лиственных древесных пород, а нюансы и переходы красок, прихотливая изменчивость форм, разбросанных там и сям, таковы, что ни один мастер не сумел бы скомпоновать картину более художественную. Стоит ли удивляться, что у японцев так высоко развито чувство природной формы! Любой японец подобен человеку, который по милости судьбы вырос среди сокровищ искусства и привык видеть в них не что-то великолепное, но постороннее, а свое естественное окружение. Поэтому, обладая от рождения талантами скорее заурядными, японец все же наделен вкусом и большой зоркостью взгляда, т. е. качествами, какими более одаренные в художественном отношении потомки варварских народов отличаются лишь в исключительных случаях, — я имею в виду ощущение красоты природы. Народы, наделенные выдающимися способностями к изобразительным искусствам и живущие в широких, где контрасты света и цвета столь сильны, что тонкие

цветовые оттенки сразу и не заметны, эти народы не достигли таких вершин пейзажной живописи, как народы, населяющие области с более благоприятными условиями освещенности. Недаром западная пейзажная живопись родилась и создала свои лучшие творения не в Италии, а в Голландии. Здесь же, в Японии, все словно создано для того, чтобы глаз замечал соотношения цвета и формы, столь характерные для японского искусства: его особый нюанс задан в самой реальности. А коль скоро этот нюанс схвачен и осмыслен художником, его дух невольно и сам творит в таком же стиле. Композиции, верные духу и смыслу природы, художники Дальнего Востока еще в древнейшие времена создавали с таким тонким пониманием, какого у нас не было и нет. Кажется, что в их произведениях воплотилось и стало осознанным стремление самой природы к красоте, человек же сделался особым органом, с помощью которого природа приближается к своему высшему совершенству. На человека здесь словно возложена ответственность за полнейшую созвучность искусства и природы.

Откуда это чудесное искусство? Все объясняется методом обучения видению. Индийские и японские живописцы — те же йоги, они смотрят на природу не со стороны, а погружаются в нее, подобно тому, как мистики погружаются в Бога. Это значит, они покидают свое человеческое Я и соединяются с духом всего сущего. Ведь человек — это не только человек, в различных частях своего естества он одновременно является и животным, и растением, и скалой, и морем. Правда, он очень редко осознает это, и ощущать он умеет только как человек. Если же он научится быть единым с тем, что живет вне его самого и по видимости ему чуждо, то сможет и сам порождать все это, исходя лишь из самого себя. Поэтому в пейзажной живописи стран Восточной Азии нам открывается сущность, подлинная жизнь ландшафта, поэтому японец словно играючи отображает в искусстве природу как таковую. Непревзойденное совершенство японских цветочных композиций объясняется тем, что в каждом букете живет самый дух цветов, он-то и делает букет букетом; леса, о которых в Японии заботятся лесничие, не безобразны, как в Германии, — человек здесь не навязывает деревьям своих желаний, а поддерживает

растения в том, что им самим больше всего хочется. Учитывается и естественная гибель растений, причем японцы всегда уделяют внимание особым условиям местности. А если у сухого дерева где-нибудь на склоне холма красивый силуэт, его не срубают, даже когда лесничие знают, что скоро оно само упадет.

Конечно, для столь глубокого понимания природы нужно быть японцем. Не думаю, чтобы у какого-то другого народа садовники умели выращивать карликовые деревца так, как это делают японцы, — не насилуя природу растений. Я заметил, что никакого специального метода они не применяют, все основано исключительно на внутреннем понимании дела. Каждое утро садовник внимательно осматривает деревца, а затем удаляет у каждого один-единственный листок или отросток! Почему тот, а не другой? Садовник и сам не может сказать почему, но он знает — у деревца нужно удалить именно этот орган, чтобы внутренний импульс роста не вышел за предустановленные пределы, и садовник почти всегда действует безошибочно, что подтверждают прекрасные результаты. Подобная интуиция, конечно, необъяснима, приходится считать ее чем-то вроде чуда. Но мне кажется несомненным, что чудесная нюансировка японской природы, изменчивость ее живых форм, которую замечаешь, стоит лишь перевести взгляд с одного ландшафта на другой, была очень важным фактором развития имевшихся у японцев задатков. Вот и я здесь уже привыкаю наблюдать так, как никогда раньше не наблюдал, и у меня такое чувство, будто каких-нибудь два дня тому назад я был слепцом. А теперь я наслаждаюсь дивным даром зрения с таким усердием, что не без досады встречаю приход сумерек, которому раньше всегда радовался.

Я путешествую пешком по отдаленным долинам, куда, быть может, еще не ступала нога белого человека. Для жителей здешних поселков я — предмет бесконечного развлечения. Они чрезвычайно приветливы и доброжелательны, но все как один едва сдерживают смех, глядя на меня, человека огромного, по их меркам, роста. Сего дня утром, когда я карабкался по уступам крутой горной тропы, меня вдруг кто-то подтолкнул в спину, — обернувшись, я увидел двух прелестных девушек, пустивших-

ся науток. Они хотели выяснить, очень ли большой у меня вес.

Все же есть что-то волшебное в этих лесах. Это впечатление хорошо мне знакомо. На родине, когда бы я ни приехал в мое поместье, лежащее в лесной глуши, я всегда нахожу повод для почтительного изумления — поражает то, каким значительным предстает все заурядное и повседневное, когда круг жизни сильно ограничен, и как невероятно возрастает наша способность видеть необычное, когда перспектива сужена. Управляющий моего поместья не считает за людей работников, приехавших с эстонских островов и говорящих на других наречиях эстонского языка, называет их «журавлями». Однажды он сообщил, что с недавних пор в нашем лесу поселился некий Михель, откуда он явился, толком никто не знает, а человек он очень странный, похоже, дело тут нечисто. Потом оказалось, Михель этот — самый заурядный тип, каких двенадцать на дюжину, но на фоне наших лесных захребетников он предстал как фигура масштабная, величественная, подобно гомеровскому герою.

А как совершенны жители захолюстья! Среди простых людей только у них, пожалуй, и найдешь в наше время единство формы и содержания. Чтобы быть совершенным в широком смысле, нужно иметь в прошлом многие поколения предков, постепенно расширявших свой кругозор и сферу деятельности, одним скачком до совершенства не допрыгнешь. Поэтому в современном мире, при высоком темпе жизни, когда вчерашний крестьянский сын зачастую завершает свой земной путь как зажиточный буржуа, все эксцентрическое вызывает безусловный интерес. Недаром поэты и писатели нашего времени так любят изображать в своих произведениях преступников, психопатов и авантюристов. Это, конечно, *faute de mieux*.¹ Высшее совершенство всегда есть нечто концентрическое. Сущность эксцентрического — исключение, сущность концентрического — напротив, включение, поэтому концентрический тип человека при любых условиях богаче и глубже, и он больше отвечает своей сущности. Только он способен в своем явлении выражать глубочайшую сущность. В лесной глуши люди сохраняют свою само-

¹ За неимением лучшего (фр.).

бытность, и за каждым охотно признается это право, тогда как в большой аморфной массе каждый желает быть таким, как все. Бесформенность обуславливает и рабскую зависимость от условностей. В сумме как бы ищут форму, которой не обладает ни одна отдельная цифра.

Японские захолустные жители мне симпатичнее, чем любые другие, каких я видел. Им свойственна вся прелесть и нежность, чувственность и задушевность, которыми так полюбились мне простые люди этих краев, после того как я прочитал книгу Лафкадио Хирна. В Японии простые люди любезны искренне, без притворства. Их учтивость, вне всякого сомнения, идет от сердца, ни разу я не заметил в них своекорыстия или честолюбивых устремлений. Может быть, они выказывают мне свои лучшие стороны, так как я, следуя совету моего проводника, юного поэта из Киото, держусь с ними примерно так, как у нас когда-то феодал со своими крестьянами, приверженными патриархальному образу мыслей. В отдаленных долинах Ямато средневековые еще не закончилось; здесь продолжается эпоха императора Мэйдзи (Meiji), вернее, она только-только началась, крестьяне еще ждут от своего властителя проявлений великодушия и превосходства, сознания неизмеримо более высокого положения, при котором он может позволить подданным любую фамильярность; они все еще хотят смотреть на кого-то снизу вверх. Как приятно было мне на время взять на себя роль, которую почти уже нет возможности играть в нашем, западном мире! На практике она мне тоже кое-что принесла — всюду находились люди, оказывавшие мне услуги просто из учтивости, не желая брать за них плату.

Я остановился на отдых в богатом селении, расположенном на берегу ручья, в котором много форелей. Где еще на свете молодые люди хотя бы приблизительно так же хорошо образованы, как в Японии? Что бы ни делал юноша, все свидетельствует о его культуре, он не терпит ничего грязного, ничего некрасивого, все взаимоотношения людей определяются исключительной уважительностью. А дети? Нигде в мире я не видел таких прелестных малышей. Они почти никогда не проявляют непослушания, очевидно потому, что взрослые относятся к ним с полным пониманием, однако никогда не балуют и даже

от самых маленьких требуют уважения к окружающим. Просто невероятно, но эгоизм здесь сведен к нулю, каждый человек, по-видимому, рад, что может жить для других, и вносит свой вклад в дело гармоничного развития жизни в целом.

Не иначе, по своей идее, обстоит дело и в Китае. Когда конфуцианство пришло в Японию, японцы сразу же восприняли его как просветленное и более глубокое выражение того, что в Японии было привычно и распространено с древности, а затем определяющим для них стало совершенство выражения, которое и дало глубину и незыблемость их нравственности. И все же, как отличается Япония от Серединной империи! Конфуцианство — это неспешная крестьянская мудрость; японская культура человеческого взаимного уважения кажется мне чем-то инстинктивным, я бы сказал — животнo-инстинктивным. Японцы чистоплотны — так же, как чистоплотны кошки, они вежливы — как вежливы, например, пингвины, они считаются друг с другом, и это естественно как естественная любовь матери к своим детям. Поэтому все эти внешние формы совершенны, как совершенны формы в мире животных. Японцы начисто лишены китайской глубины и приземленности. На мой взгляд, они поверхностны, изображение их бедно, они в какой-то прямо-таки нечеловеческой степени люди, признающие лишь *matter of fact*.¹ В то же время они невероятно чувствительны в самом широком смысле слова, а вот этого свойства у китайцев вовсе нет. Все чувства японцев, видимо, «подвижны» в том смысле, в каком у нас «подвижно» только одно — сострадание. У них на физиологической чувственности основано то, что у китайцев — на метафизической медитации.

Мне вспоминается Сонтоку Ниномия, крестьянский философ, который в первой половине XIX века оказал на своих земляков огромное влияние, какому не было равных, и чье жизнеописание и учение правительство с тех пор распространяет в народе наподобие своего рода Евангелия.² Этот простой селянин, как только ему уда-

¹ Голые факты (англ.).

² Это сочинение называется «Hotokuki». Перевод на английский язык: Todasu Yoshimoto. A Peasant Age of Japan. London, Longmans, Green & Co.

лось тяжкими трудами выбиться из жестокой нужды, стал вести жизнь, полную совершенной самоотверженности, и до смертного часа неустанно трудился, поставив перед собой одну-единственную цель — сделать жизнь людей чище. Формально он был настоящим конфуцианцем, да и сам себя никем иным не считал. Но по духу это был подлинный уникум, во всей Азии такой человек мог появиться только на японской почве. Он не обладал ни широтой кругозора Конфуция, ни всепониманием и мироощущением великого китайского мудреца, как философ он был поверхностным. Но благодаря своей способности к сочувствию и энергии, которая эту способность питала, практически он сделал больше, чем Конфуций, хотя и в малом. Сонтoku был в глубочайшей своей сущности подлинным христианином, занимавшие его проблемы — это проблемы христианской любви к ближнему.

Не здесь ли главная причина того, что Япония смогла перейти на западный путь развития за такое короткое время и столь успешно? Ведь нам тоже не свойственно глубокомыслие китайцев и индийцев, мы, в отличие от них, более энергичны и более чувственны. Вероятно, то, что зовется христианской любовью, в гораздо большей мере обусловлено физиологией, чем теологией.

Действительно, во многих отношениях японцы нам очень сродни. Теперь, когда я обратил внимание на это родство, оно все чаще бросается мне в глаза. Как и у нас, энергия японца — кинетическая энергия, и его сознание направлено на внешнее, но прежде всего, он так же любопытен, как мы, и так же стремится к всевозможным нововведениям. Не случайность ли — если подойти к проблеме метафизически — что его культура, несмотря на все это, выражает китайский дух?

В эти дни, проведенные мной в обществе паломников и посвященные попыткам проникнуть в душу японца, даже то небольшое, что я до сих пор успел узнать, почти не оставляет сомнений: испытав какие-то другие влияния, этот народ, наверное, стал бы совсем другим. Тем большую благодарность я чувствую при мысли, что его история была именно той, какой она была: своим уникальным очарованием японский народ несомненно обязан

китайской выучке; со всеми формами, которые меня радуют здесь, я познакомился в идее еще в Китае. И поэтому я задаюсь вопросом: как бы мы, северные варвары, развивались, если бы претерпели не греко-римское, а китайское влияние? Продвинулись бы мы в конечном счете дальше того уровня, на котором находимся?

Наверное, «христианами» мы бы и в этом случае были, только это христианство, вероятно, носило бы какое-нибудь другое имя. Мы были бы и энергичными, активными изобретателями; в эстетическом и моральном аспектах, пожалуй, оказались бы лучше развитыми. Но мы не так далеко ушли бы в развитии техники, и фабричных городов на земле не было бы в помине. А появился бы какой-нибудь существенный изъян, если бы древние германцы получали культурные блага не из Рима, а из Лояна? Не знаю. Мне трудно объективно об этом судить, ведь в европейцах я замечаю прежде всего то, чего им недостает, а в азиатах — то, что их выгодно отличает от нас.

В монастыре Коя Сан

Путешествие по Ямато я завершил паломничеством на гору Коя Сан, увенчанную зданием самого прославленного японского монастыря. Его осеняет густая тень вековых сосен. Никогда я не видел подобной священной рощи. Из всех известных мне деревьев криптомерия наиболее настойчиво и мощно вызывает религиозные ассоциации. В ней есть и скорбное спокойствие кипариса, и жизнеутверждающий характер туи, и благородная красота, космическая мощь и природная вековечность ели.

Монастырь построен в типичном японском стиле — низенькие деревянные домики под изящно изогнутыми кровлями, все здания окружены прелестными садами. Я ожидал найти здесь ту же атмосферу изысканности и прелести, что и раньше встречал всегда, когда моим глазам являлись подобные картины. А вместо этого на меня повеяло воздухом, который я прекрасно знал в Европе, и который здесь, в Японии, был для меня полнейшей неожиданностью, несмотря на все, что я уже успел увидеть

и узнать. Атмосфера средневекового христианского монастыря. Нечто властное, даже воинственное; сила, мировое господство — вот чем веет в этом монастыре, при всем мягком, кротком очаровании его форм. Здешних монахов я легко могу вообразить и сражающимися и молящимися, а настоятелей — в роли князей церкви, каких у нас хватало в средние века. И это — место паломничества буддистов?!

Как же я теперь далеко от тех краев, где кроткие смутлокожие люди совершают жертвоприношения цветами, возлагая их к ногам мирно восседающего на троне Будды! Дух, царящий в монастыре Коя, — это не дух терпения и отказа от желаний, не дух томительного стремления покинуть юдоль земного существования, он абсолютно чужд духу Индии. В своем существе здешний дух — тот же, что окрылял наших предков, начиная с эпохи Каролингов и до конца средневековья.

Я мысленно перебираю свои знания по истории японского буддизма. Когда-то в пограничной области между Индией и Средней Азией, в земле Гандхара, сложилась удивительная религия. По букве — буддизм, но по духу — некая разновидность бхакти, самой эмоциональной формы брахманизма, в которой божество персонифицировано, а главными добродетелями почитаются вера и любовь. Однако по своим догматическим основам бхакти была совершенно новой для Индии религией, ибо то была вера в Спасителя, подобная христианству. Жаждой обрести Спасителя в то время был томим весь мир. Везде и всюду возникали общины, средоточием их верований был Мессия, уже являвшийся или ожидаемый, грядущий, и ожидание Божественного откровения носилось в воздухе, дух времени был единым от Александрии до стран Дальнего Востока, и такого единства никогда с тех пор больше не было.¹

¹ Познакомившись со следующими книгами: *Gordon E. A. World Healers, or the Lotus Gospel and its Bodhisattvas, compared with early christianity* (издана в Японии, но имеется в продаже в Лондоне у Юджина Л. Мориса в Сесил-корт на Черинг-кросс роуд); *Max von Wulff. Über Heilige und Heiligenverehrung in den ersten christlichen Jahrhunderten* (Leipzig, 1910, Fritz Eckhardt Verlag), я немало был поражен: до чего же единообразны были формы в раннехристианскую эпоху на всем пространстве от Нила до Охотского моря.

Индийские учения пришли в Египет, а сирийские, малоазийские, в том числе и христианство во всем многообразии его форм, с торговыми караванами добрались до Китая, греко-парфянские властители принесли идеи эллинизма в долину Кабула, и вследствие этого все местные религии были если не полностью преобразованы, то оплодотворены универсальным духом той эпохи. На Западе шло развитие христианства — поначалу лишь ограниченной веры темной секты; и постепенно оно превратилось в грандиозную, объемлющую весь мир религию. То же произошло с буддизмом в Гандхаре. Человек Гаутама превратился в Бога, который во имя спасения всего творения воплотился в человеке. Специфически индийское учение о спасении путем познания все больше уступало место учению о спасении в вере — тогдашнему католицизму, и буддизм в конце концов из философского мировоззрения, не признававшего ни Бога, ни души, стал церковью, которая принципиально не отличалась от христианской.

Наверное, никогда не удастся точно установить, какое из множества влияний сыграло в этом превращении главную роль, однако, учитывая большую гибкость Махаяны, общую для метафизики Востока склонность не брать в расчет какие-либо формы и памятуя о специфически индийской тенденции подчеркивать общее в различном, допустимо предположение, что все влияния, о каких в принципе можно вести речь, сыграли тут свою роль, действуя совместно. В числе прочих оказало влияние и христианство, включая его разновидности — гностицизм, орфизм и несторианство, — христианство, которое в ту пору начало вырастать в великую духовную державу. И все же Махаяна еще долго оставалась чисто индийской по своей сути религией; высокий дух Индии одушевлял плоть представлений, какого бы происхождения те ни были. В Китае новый буддизм также оставался по существу индийским. Но придя в Японию, он вскоре соединился с местным культом богов и предков. А культ этот был религией воинов. И его рыцарский дух все больше и больше проникал новоявленный буддизм. Поэтому здесь он так сильно напоминает мне дух нашего средневековья.

Конечно, японский буддизм коренным образом отличается от того, какой когда-то был основан аскетом Гау-

тамой. Но если кто возразит, мол, это уже и вовсе не буддизм, а христианство, то японец с полным правом может ответить, что в таком случае и наше христианство нельзя считать христианством. Ставшее сегодня общим для обеих религий понятие Спасителя было вначале свойственно христианству не более, чем буддизму — только св. Павел преобразовал иудейского мессию в эллинистического σωτήρ. Душой египетского монашества, пример которого больше способствовал обращению Запада, чем все Евангелия и Послания апостолов, был не Иисус, а мудрость Египта и неоплатоников; учение Оригена (не говоря уже о гностицизме) больше соответствовало духу Ирана и Индостана, чем духу Палестины, а та религия, что в конце концов пришла на север, к варварам, и стала верой воинов, совершавших Крестовые походы, коренным образом отличалась от учения первых христиан. И все-таки она восходит к нему — в более существенной мере, чем к каким-то другим учениям, которые кажутся более родственными, так что мы с полным правом можем называться христианами. Духовные силы, активно вторгающиеся в историю, принимают различные формы в зависимости от того, какова натура тех, кого они избирают, чтобы в этих людях и посредством этих людей совершать свое действие; у духовных сил есть такая возможность, так как сами по себе они не имеют определенной существенной формы. Чувство любви, которое христианин постигает умом, может стать судьбой и женщины, и мужчины, и деятельной натуры, и страсто-терпца, и священника, и воина, — в каждой из этих форм христианская любовь оказывается чувством настолько новым и настолько иным, что нередко формы выражения противоборствуют одна с другой. Тем не менее все они ощущают себя детьми духа, имея на то полное право, — способ переживания как таковой, вот что делает христианина христианином, а не тот или иной символ веры, тот или иной стиль поведения. Между тем именно модус отсутствовал у индусов и у неоплатоников, — модус восходит только к Иисусу. Определенное качество любви — это и есть суть христианства, и она остается тождественной себе при любых изменениях и превращениях явлений. Так было при жизни Иисуса, такой христианская любовь остается и в наше время. По-

этому и японский буддизм вопреки всем внешним влияниям, которые формировали его эмпирический характер, — это по существу буддизм. Может быть, не совсем в том же смысле, в каком христианство остается по существу христианством: специфическое понятие блага, одушевляющее японский буддизм, по характеру, может быть, более обще-индийское, чем буддийское, и точнее соответствует Кришне, чем Гаутаме, но эта индийская любовь всецело пронизывает японский буддизм. Конечно, в Японии она предстает совсем не похожей на ту, что в Индии, однако здесь можно увидеть процесс изменений, аналогичный тому, который претерпело христианство: буддийская любовь так же, как христианская, способна принимать самые различные формы, но обе они в своем существе остаются тем, что каждая из них есть, невзирая на ту или иную внешнюю форму. Понятно, что формы в обоих случаях не равноценны с точки зрения абсолютно-го идеала, но практически они одинаково целительны и благотворны, особенно если посмотреть на вещи с точки зрения буддийской снисходительной мягкости, не требующей, чтобы к феномену прилагали мерилу совершенства, невозможного для данного феномена. Мы не ожидаем, что молодые, деятельные и энергичные мужчины будут чувствовать такое же сострадание и любовь, какое свойственно юным девицам; но мы ждем от них, что они используют свою энергию на добрые и только добрые дела. Если они сражаются — пусть бьются за идеал, если возмущаются — гнев должен служить защите слабых. Таким образом, идеал и здесь приближается к своему осуществлению. И это происходит быстрее, чем мы думаем. Постоянное действие на благо идеи, пусть даже очень поверхностно понимаемой, подготавливает ее глубокое осознание. Даже окрыленная ненавистью борьба за идеал любви и есть способность любви. Глубокая истина заключается в мифе о «Провидении», которое своей неслышной и медленной работой все направляет к добру. Духовные силы, которые некогда пришли в действие, явив Христа и Будду, непрерывно трудятся и не ослабевают со временем, а напротив, с течением тысячелетий лишь становятся крепче и мощнее.

Чудесно, чудесно — один и тот же смысл повсюду ведет к образованию схожих форм! К сожалению, наша

эпоха отнюдь не может похвалиться глубоким пониманием этих процессов. Историю христианства сегодня часто подвергают критике, видя в ней лишь прогрессирующее вырождение, поскольку развитие отклонилось в сторону, противоположную древнему христианству, и то же самое можно сказать о буддизме. Попробую, на минутку, принять ту точку зрения, что древнее христианство и древний буддизм воплощали в себе высшие стадии обеих религий. Все равно, даже при таком допущении, глупо давать низкую оценку более поздним по времени формам, так как высшее состояние может быть достигнуто лишь немногими избранными, а мировая религия, коль скоро она ставит своей целью спасение всех, должна считаться со всеми. Она должна признать право на существование даже каких-то временных состояний, она должна с любовью вести человека через эти состояния все дальше и выше, укрепляя его мужество, если он колеблется и готов отступить. Христианская церковь в ее средневековых формах была именно такой, и выполняла свою задачу мастерски, а поздние формы буддизма даже не ставят себе никаких других целей. Тем не менее ни древние христиане, ни древние буддисты не представляли собой воплощение высшего состояния человека, следовательно, приведенный выше аргумент несостоятелен. Христос и Будда были величайшими из людей, они достигли, вероятно, предела совершенства. Однако и Христос и Будда все же были определенными людьми, их совершенство было совершенством определенного типа — аскетического, исключающего совершенство любого другого типа. Следовательно, древнее христианство и древний буддизм не были призваны указывать путь всему человечеству. Они должны были остаться ограниченными сектами или же, если они стремились и в дальнейшем своем существовании оказывать воздействие на людей, — расширять свои горизонты. В обоих случаях так и случилось, и в обоих случаях благодаря расширению горизонтов религия обрела большую глубину. Католическая церковь как система глубже, чем церковь древних христиан. Конечно, обоснование войны любовью выглядит довольно сомнительным компромиссом, как и объяснение нетерпимости широтой души, а несовершенства земной жизни — совершенством Царствия Небес-

ного, но в действительности католическая церковь не низкое производит от высокого, а напротив, пытается низкое поднять до высокого и неудовлетворительное состояние рассматривает как временный этап на пути к цели. «Истинное учение» не скрыто от взора под формами древнего состояния, — оно манит нас как идеал будущего. Безусловно, проповедь Иисуса сегодня понимают глубже, чем когда-либо раньше. Но это не значит, что мы сегодня лучше понимаем то, что хотел сказать Иисус, — мы глубже постигаем истинный, т. е. объективно правильный, смысл его мудрости, и при этом не имеет значения, знал ли сам Иисус этот правильный смысл или нет. Вероятно не знал. Что касается его ближайших учеников — они, конечно, смысла не понимали; и непонимание в течение долгого времени формировало дальнейшее развитие христианства. Однако непонимание проложило путь пониманию; если бы не было католицизма, Реформации и Контрреформации, спора о догматах и изучения Писания, мы никогда бы не пришли к постижению чистого смысла христианского учения.

При таком взгляде на вещи, северный буддизм — это не вырождение, а как раз высшее увенчание Хинаяны. Вряд ли большинство его идей принадлежало Гаутаме. Но они гораздо ближе к истине.

Лишь немного из того, что я знаю, обладает большей глубиной, чем учение Ашвагхоши, и нет ничего более полного и дальновидного, чем Махаяна как система. Именно она и лежит в основе японской церкви. Но японская церковь представляет собой, конечно, нечто отличное от того, какой она, вероятно, могла бы стать у индийцев. Как и у нас, у японцев она всеми своими внешними формами обязана непониманию. Любые ответвления, искажения и рудименты, которые характерны как для католицизма, так и для протестантского христианства, можно обнаружить и в сегодняшнем японском буддизме. Есть секты, которые занимаются в основном магией, и есть такие, в которых иерархическое устройство подавило всякую индивидуальную жизнь; наконец, есть секты, отвергающие традиционную мудрость и предоставляющие человеку самому отвечать за все происходящее, опираясь только на свое разумение. В Японии можно найти любые мыслимые крайности. Из религии, ставя-

щей во главу угла познание, тут сделали религию слепой веры. Именно слепую веру охотнее всего исповедуют те, у кого возникают великие трудности на пути мышления. Религия, когда-то пришедшая в Японию, была по преимуществу мировоззрением, сообразным только индийцам, этому философскому народу *par excellence*. Поскольку мировоззрению предстояло жить среди японцев, оно должно было измениться. Так и случилось. Уже вскоре появились реформаторы, сформировавшие из Махаяны со всем великим богатством ее смыслов вполне определенные учения, которые лучше соответствовали нраву японцев. Спасение в вере постепенно стало главной догмой северного буддизма. И сегодня секта Син-сю, похоже, скоро вытеснит в Японии все прочие, хотя она — самая поверхностная из всех: ее приверженцы убеждены, что достаточно лишь возгласить: «Амида», уверовав в действительность сей практики, и верующему уже обеспечено вечное блаженство.

Я чрезвычайно высоко ценю то, что с японским буддизмом мне довелось познакомиться в его цитадели. Здесь своеобразие абсолютно доминирует, оттеснив на задний план все то, что японский буддизм еще имеет общего с прочим буддизмом. Никогда мне не приходило в голову, что из чего-то индийского может произойти нечто в такой мере западное, но это так. Религия монахов Коя Сан кажется мне скорее западной, нежели азиатской. Эти монахи поразительно напоминают средневековый монашеский христианский тип, и плоды христианского, а не буддийского духа есть как раз по-видимому лучшее в них, — буддийский дух я абстрагирую из того, что мог видеть на Цейлоне и в Бирме. Тут ощущается что-то вроде специфического умонастроения Екклесиаста, которое в известные времена возникает у представителей самых разных народов. Однако никто не спутает брахмана с католическим прелатом. А вот настоятель японского монастыря вполне может сойти за католического аббата — его черты сформированы близко родственным духом. Наверное, это оттого что обе религии представляют собой объективации чего-то родственного по смыслу. Даже приверженные обрядности тантристы, поклонники ритуалов, которые единственное средство

спасения видят в строгой дисциплине, все же считают, что явление есть майя, необходимым образом связанная с сущностью. Для католика его церковь это истинное тело христианства, и с душой, обитающей в этом теле, католика может разлучить только смерть. Подобное рассуждение, кажется, справедливо и по отношению к японскому буддизму. Впрочем, в нем нет аналогичной догмы, и поскольку японский буддизм это прежде всего мировоззрение, то к явлению он подходит не более серьезно, чем брахманизм. Исключающие друг друга конфессии в Японии слывут равно ортодоксальными. Напротив, в Китае иератический ум его жителей, искони склонных выражать в явлении все содержание непосредственно и без малейшего остатка, уже очень рано создал высокоорганизованное тело буддизма, которое затем в Японии, где люди в целом мобильнее, постепенно из произведения искусства все больше превращалось в живое существо.

Однако обе церкви — католическая христианская и буддистская — весьма существенно отличаются друг от друга. У китайцев объективация — детище ума. Какими бы иррациональными ни были догматы католической церкви, их взаимная связь и их формы созданы чистым разумом. Уникальный дух строжайшей разумности одушевляет все формы, воплотившие христианство в эпоху средневековья, от теодицеи до духовной иерархии, от кафедральных соборов до «Суммы» Фомы Аквинского, и никогда, ни раньше, ни позднее, человечество не придавало столь большого значения симметрии, ясности и рациональной логичности. А японская объективация духа в формах церкви совершенно не интеллектуальна, потому она и не располагает ни одним из преимуществ церкви, которые дает только рациональность. Зато японская церковь в высочайшей степени художественна, ее формы никогда не бывают аллегорическими, это символы, и их отличают все достоинства выражения, рожденного чувством. Поражает их убедительность: они внушают мне величайшее уважение, и моя душа в Коя Сан даже начинает невольно искать связи с Богом совершенно на буддистский манер. И я начинаю догадываться, что, может быть, Конфуций прав и японскую церковь можно считать венцом индийской мудрости. Конфуций учил, что

только в той мудрости следует видеть совершенство, которая имеет приятный облик. Здесь мудрость именно такова. Японский буддизм поистине окрылен духом Махаяны, всеобъемлющим, серьезным, глубоким, в то же время его явления — воплощенная красота и очарование. Меня это не отрезвляет, скорее наоборот, нигде и никогда я не чувствовал себя ближе к глубочайшей сути индийской мудрости, чем тогда, когда любовался японскими изображениями Будды.

Одно странно: то, что меня глубоко, сильно трогает, японцам, похоже, совершенно ничего не говорит. Я нигде не замечаю непосредственного переживания гармонии формы и смысла. Японцы как будто не ведали, что творили, когда воплощали в образах дух Махаяны. Я вновь окидываю взглядом монастырь, его сверкающие золотом храмы, любуюсь живописно-нарядными монахами и служителями. Все словно помещено в живую зеленую раму дивных криптомерий, и реальность вдруг превращается в театральную декорацию. Нет, японская церковь, при всем ее величии и красоте, абсолютно не субстанциональна. Она же не имеет решительно никакого смысла, кроме смысла произведения искусства. И нигде ничего похожего на пафос католицизма. Там, где христианин живет, японский буддист лишь изображает. Но само изображение, конечно, может быть для кого-то его предельным, максимальным переживанием...

Вместе со мной осматривают святилища многие поднявшиеся на гору Коя паломники. Как разительно они отличаются от паломников в Индии! Мне кажется, только пожилые женщины здесь помышляют о религии всерьез — молодые относятся к походу по святым местам не иначе как к приятной прогулке на каникулах, дающей возможность увидеть много нового. И одеяние паломническое они носят, прежде всего, следуя своему чувству стиля или просто потому, что для них тут что-то вроде костюмированного праздника. Сказания и легенды, связанные с отдельными храмами, они выслушивают с тем почти скептическим вниманием, с каким подростки слушают сказки, а благоговение, которое охватывает их возле места, где, как говорят, по сей день пребывает Кобо Даиси (Kobo Daishi), основатель монастыря, великий маг

и чародей, ожидая дня своего возвращения в мир, — это скорее любопытство, а не священный трепет. Вообще в этом монастыре многовато требуют от паломников в смысле веры. Секта Синон (Shignon), которой он принадлежит, занимается главным образом, магическими ритуалами, а к ним современные японцы относятся весьма скептически. Даже духовенство придает культу не слишком большое значение. Эти господа очень любят потолковать о Фихте и Канте, а мои вопросы, касающиеся догм и культов, они обходят молчанием, разве что слегка улыбнутся. Но все — и священнослужители, и община участвуют в религиозных действиях, никто тут не хочет портить общую игру. У них слишком сильно развито чувство формы, поэтому они соблюдают ритуалы с великой художнической серьезностью. Но, по правде, это серьезность комедиантов, которые душой и телом сжились со своими ролями. Сегодня утром в храме, где я временно поселился, я пропустил утреннюю службу. Когда же я высказал настоятелю свое сожаление по этому поводу, тот мигом заявил, что готов отслужить еще раз, специально для меня — мне ведь, наверное, интересно познакомиться с этим древним ритуалом, пришедшим сюда через Индию из самого Египта. Конечно, он это сделал только из любезности, и я от всего сердца ему благодарен, тем более что богослужение и впрямь оказалось одним из самых диковинных, какие я когда-либо видел. И все же я сомневаюсь: неужели священнослужитель просто из вежливости пошел бы на такой шаг, если бы в глубине его души жило по-настоящему серьезное отношение к своему делу?

Надо признать: религиозной глубиной, какая свойственна индусам, японская душа не обладает. Нигде я не почувствовал даже намека на ту глубину внутреннего переживания, что освещает лица паломников в Бенаресе или Рамешвараме, а уж беседы о смысле учения Махаяны, которые я вел с духовными лицами, и вовсе прошли для меня впустую, ничего мне не дав. Однако буддизм в Японии все-таки имеет, по-видимому, большее значение, чем может показаться на первый взгляд. Конечно, японец не религиозен в том смысле, в каком можно говорить о религиозности индийца или христианина, ему не хватает глубины познания и богатой фантазии; когда

японец не размышляет, он верит в чудесные события и явления, как везде в мире верит в них простой народ. Если же японец о чем-то размышляет, он всегда сомневается. Однако мышление не является для него чем-то существенным — его подлинная, глубинная сущность выражается только в ощущениях. Подчеркну: в ощущениях, не в чувствах, не в душе и не в нраве, а в том, как отвечает на впечатления внешнего мира и внутренней жизни некая поверхностная — не глубинная — часть его души. Внутренняя жизнь японца, главные ее события протекают в сфере ощущений, как у ребенка или юной девушки. И вот здесь-то и проявляется его религиозность. Детская вера не глубока, но все же она самым прямым путем ведет дитя к Богу. И эта вера очаровательна. Поэтому религиозность японцев, которая, очевидно, неглубока в отношении духа, создала в сфере ощущений и настроения реальности, которые должно почитать бесценным достоянием всего человечества. Нет ничего более благоуханного, чем религиозная поэзия Страны восходящего солнца, более сладостного, чем отношение японцев к любви, которую олицетворяют Амида и Каннон, ничего более утонченно-чувственного, чем представления, связанные в японском буддизме с жизнью после смерти. Поэтому миссионеры, которые лучше всех постигли христианство и в то же время глубже всех прониклись высоким буддизмом, едины в убеждении, что если наши идеи о милости и любви сами по себе, несомненно, наиболее глубокие по смыслу, то японские представления о них и японские их изображения — самые прекрасные. Ведь конкретизация происходит именно в сфере ощущений, и здесь японцы, безусловно, превосходят все прочие народы. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что в отдельном случае японец, несмотря на поверхностность своей сущности, стоит выше всех людей, когда речь идет об ощущении религиозного. В первую очередь это относится к японским женщинам: не могу налюбоваться этими милыми крошками, благоговейно склоняющимися перед золотыми скрижалями. О вере в индийском ее понимании они не слыхивали, они, поди, и сами-то не знают, веруют ли — часто они смеются в те моменты, когда уместна серьезная сдержанность. И все же их, несомненно, одушевляет любовь,

идеал которой воплощает Авалокитешвара. Я чуть было не написал, что все они ощущают так, как в Индии — только Кришна, а у нас — Франциск Ассизский. Всем своим самоотверженным бытием, своим отношением к ближним они утверждают идеалы, которые не в состоянии постичь умом.

Те самые паломники, которые скупилась на проявления чувства религиозного благоговения при посещении буддийских святилищ, вдруг стали взволнованными и растроганными, как только гид привел их на кладбище. Это самое впечатляющее зрелище, из всех, что когда-либо являлись моим глазам — ни в одной стране Европы нет подобного патриотического памятника. Мы идем вдоль аллеи гигантских криптомерий, длиной она не меньше мили и проходит по вершине горы Коя. У каждого каменного памятника наш гид останавливается и называет имя покойника, или несколько имен, если памятник семейный или родовой. Все эти имена, без исключения, навеки вошли в историю страны, здесь покоятся все славные сыновья Японии. Прославленные кланы даймё увековечены этими каменными символами, великие полководцы и государственные мужи. Наверное, не все они похоронены на этом кладбище, но памятники установлены всем, и поэтому кажется, будто здесь покоится все историческое прошлое Японии... Я смотрю на паломников — еще недавно они беззаботно смеялись, весело переговаривались. А тут они точно преобразились. Они взволнованы до глубины души. Глубинное, искреннее проступает из-под хрупкой внешней оболочки.

Сегодня я впервые почувствовал душу Японии. Она проявляет себя не в отношении отдельного человека к Богу, не в вере в трансцендентное и его духовное или живое осуществление, — она выражается в том, как японцы относятся к Японии. Патриотизм — вот глубочайшая сущность японца. Отношение к родине, ее величю, ее славному прошлому и достойному будущему для него означает то же, что для индийца отношение к брахману, для китайца — его причастность ко всей вселенной. А вот нам нелегко понять подобное глубокое чувство, у нас оно уже измельчало. Однако каждому довелось пережить мгновения, когда из темных недр с неоодоли-

мой силой вторгались в его сознание древнейшие чувства, когда кровное родство и народная общность представляли как связь более глубокая, чем связь с Богом или Космосом. В такие моменты западный человек родствен японцу.

Если попытаться постичь душу японца, исходя из своего собственного опыта переживания таких мгновений, то она уже не представляется поверхностной, напротив, исчезают последние сомнения в том, что она есть выражение глубочайшего. Однако это глубочайшее содержание говорит на неизвестном нам языке. Мы же не в состоянии испытывать уважение к чему-то конкретному, ибо не видим в нем глубокого смысла. Лояльность мы не можем считать чем-то предельным. Метафизическое единство страны, народа, государства, нации, семьи и правящей династии, т. е. все, что для японца, еще не слишком поддавшегося западному влиянию, и по сей день составляет живые условия его бытия, мы понимаем, но только умом, а чувство абсолютного морального долга перед родиной, перед страной как таковой, наверное, незнакомо в мирные времена даже самым большим патриотам среди европейцев. Именно этим чувством проникнуты стихи Таке Хиросе, героя Порт-Артура:

Словно небесный храм в вышине,
Бесконечен наш долг императору.
Словно пучина морская, неизмерим
Долг наш родной стране.
Время платить долги.

Это чувство западный человек способен испытывать лишь при угрозе войны, когда на время преобразается его сознание, когда монада претворяется в клетку единого народного организма, когда человек временно перестает существовать как автономная индивидуальность. Для европейца его индивидуальная душа есть последнее метафизическое облачение метафизически-реального. С душой он соотносит все идеальные требования, однако отечество по отношению к душе индивида остается лишь чем-то поверхностным, внешним. Оно и есть поверхностное с точки зрения познающего духа, но это еще не является условием, позволяющим полагать, будто люди, подобные в своих ощущениях японцам, неглубоки, ибо их любовь к отечест-

ву имеет значение глубочайшей сущности. Любое проявление жизни, укорененное в глубочайшей основе жизни, глубоко. Поэтому глубоки лишь те мысли, которые объективно восходят к основе вещей, иначе говоря, это глубокие мысли в общепринятом смысле слова. Но в сферах желания и чувства их глубина не зависит от объективной укорененности в глубинах, она зависит лишь от того, в какой степени субъективное явление отражает субъективную сущность. Таким образом, субъективность японца детерминирована его представлениями, о которых я говорил выше, и японец не имеет возможности выйти за эти пределы. Следовательно, эти представления глубоки для него и по отношению к нему. Поверхностный народ не нанес бы поражения великой российской державе и, главное, он не обладал бы самоотверженностью, мужеством и стойкостью, необходимыми, чтобы за три десятилетия полностью переустроить свою жизнь.

Глубочайшее существо японцев выражается в их патриотизме. Правда, эта глубочайшая сущность поверхностна с точки зрения духа, и посему в целом остается верным общее суждение: им не хватает глубины. Всюду, где явление невозможно возвести к его живой основе, т. е. Японии, ум и прочие таланты японцев дают осечку. Религиозными как индийцы, философски мыслящими как немцы, вообще глубокими в умозрительном рассуждении японцы не являются, они и не могут такими быть. Но если где-то проступает истина, то именно здесь: что всякое явление в своих границах способно к выражению атмана. Совершенство розы пред Богом ничем не отличается от совершенства Будды; роза ближе к Богу, чем был к нему Будда, прежде чем стал совершенным. Поэтому совершенный патриотизм японцев имеет большую метафизическую ценность, чем значительно более высокое понимание, достигнутое людьми на западе, остановившимися где-то на полпути. Совершенство розы есть абсолют; ни один человек никогда не достигнет подобного совершенства, он ниже розы, в ее, розы, смысле. Поэтому мыслящие глубоко и приверженные индивидуализму народы, если они не повернули назад в своем развитии по причине исключительного состояния войны, как патриоты не уступают японцам. Индийцы — вообще не патриоты, так как в их сознании все формы находятся

где-то далеко внизу и сознание превыше любых форм. Также и китайцы — их идеал Китая слишком высок, чтобы превратности истории могли хоть как-то его затронуть. Однако мы, белые люди, некогда бывшие близкими японцам, постепенно утратили патриотизм — в его японском понимании. (Этому противоречит видимость: она прямо противоположна, что вызвано самостоятельной деятельностью сознательного духа, который, используя теорию национализма, пробуждает соответствующие ей чувства. Этому противоречит и общность интересов всех людей в современном государстве.) Даже для совершенно автономного как индивидуальность, а равно и для совершенно глубокого человека родина не может означать чего-то предельного, ибо индивидуализм неизбежно порождает в человеке сознание гражданина мира.

С точки зрения познания, это прогресс. Однако при этом ослабляется физиологическая взаимосвязь. К идеальному состоянию народа историческое прошлое Японии ближе, чем будущее людей Запада.

Я вглядываюсь в лица офицеров, которых также заметил среди посетителей кладбища, это, конечно, самураи. Все в их облике выражает мировоззрение, которое в Европе ныне исповедуют уже только немногие отпрыски старинных семейств.

Меня особенно заинтересовал один удивительно прекрасный памятник, воздвигнутый совсем недавно. Как мне сказали, его установили в честь воинов, погибших на войне с Манчжурией, и что примечательно — как русских, так и японских. Чтить своего врага — самое благородное рыцарство.

Нара

Вот где настало мое блаженство — я наслаждаюсь религиозным искусством. Мне кажется, в японском искусстве буддизм достиг своих высочайших земных вершин. Многими из этих великолепных произведений можно полюбоваться в Наре и ее окрестностях. Какими бездуховными представляются даже лучшие творения христианской фантазии рядом с этими живописными шедеврами, на которых Амида — идея света — разгоняет земной

мрак, подобно солнцу, восходящему над горами. А рядом — изображения Будды, погруженного в размышления, и Будды благословляющего, здесь идея душевного покоя, быть может, нашла свое окончательное воплощение. Что касается глубины, то простые художники нашего раннего средневековья, пожалуй, не уступают буддистским, однако чувство их не идет ни в какое сравнение с глубиной чувств буддистских живописцев, и всему виной разум. Наши творцы с юных лет усваивали, что формы веры понимаются либо в словах, т. е. исторических или даже естественнонаучных описаниях фактов, либо с помощью аллегорий. И оба подхода исключали непосредственность. В редких случаях религиозное чувство все же выражалось непосредственно, при создании картин на библейские сюжеты, и эти произведения поражают своей силой. Но большинству творений европейских мастеров свойственно лишь опосредствованное выражение. Для буддистов же, как и для всех детей индийского духа, сами догмы и мифы всегда служили только средствами выражения, их никогда не считали субстанциями. Поэтому художники буддизма смогли достичь того, что осталось недоступно христианским мастерам.

Наверное, все важнейшие концепции религиозного искусства стран Дальнего Востока имеют индийское или греко-индийское происхождение, судя по тому, что сохранилось в Боробудуре и Ангкоре. Эти шедевры искусства можно считать доказательствами того, что индусы когда-то были великими и как художники. Тем не менее величайшие дошедшие до наших времен воплощения их художнических стремлений не были созданиями их рук. Самые значительные произведения восточного религиозного искусства создали китайские мастера. А художественные идеи китайцев нашли благодатную почву не на родине, в Китае, а в Японии. Если на каждом шагу слышишь о самобытности японского искусства, то это не свидетельствует о глубоком понимании: ни одно искусство никогда не бывает абсолютно автохтонным, и греческое, и индийское, и китайское изобразительные искусства развивались под влиянием зарубежных образцов, и высшие их достижения появились лишь тогда, когда эти пришедшие извне импульсы оплодотворил местный гений. Японское религиозное искусство так никогда и не

стало независимым от чужих образцов, ни разу не достигло их уровня и не создало чего-то нового на основе старого. Поэтому его нельзя сравнивать с китайским религиозным искусством. Но оно вполне подлинно как истинное выражение внутреннего и даже больше — оно и есть внутреннее в широком смысле, точно так же как было оно внутренним в Китае. Форма выражения, которая лучше всего чему-то соответствует, не обязательно должна быть возвышенной, нет нужды также изменять традиционные формы, подгоняя их к потребностям своей собственной личности. Восток почти всегда цитирует, когда хочет выразить непосредственное переживание, и цитирование не свидетельствует о бессилии или об отсутствии вкуса, как у нас, здесь, на Востоке, это новое узнавание душой себя в известных, раз и навсегда установленных и принятых формах. Точно так же природа постоянно обновляется в первобытных, остающихся неизменными формах. Богатство форм буддийского искусства в Японии настолько же совершенно соответствует японскому буддизму, как в конфуцианском Китае оно, вероятно, соответствовало буддийской религиозности отдельных, исключительных людей, и при этом не имеет значения, было ли соответствие презкзистентным или наоборот созданным апостериори благодаря тому влиянию, какое буддизм оказал на японскую душу. Таким образом, религиозное искусство в Японии есть символ, в котором верно и точно воплощается духовная жизнь.

Японским — а не китайским — душевным настроением проникнуты прелестные портреты Каннон и сдержанные, однако богатые нюансами цвета мандорлы, — это отблеск японской, а не китайской души. Можно сказать, если бы все до единой формы и краски были изобретены на континенте, если бы японцы не сумели воспринять их и освоить, то осталась бы не сотворенной самая совершенная, какая только возможна, связь между искусством и жизнью. Буддийское искусство стало в Японии нормальным выражением религиозного чувства. Таких художников, как Фра Анжелико Тосканский, здесь были сотни. Многие святые и основатели церкви в то же время были живописцами и скульпторами, большинство статуй и картин, какие можно видеть в древних храмах, созданы священнослужителями и монахами.

Мне возразят — ведь японцы не духовны, как же получается, что их искусство исполнено высочайшей духовности? Пока что могу ответить следующее: если многие сегодняшние японцы не отличаются духовностью, то отсюда не следует, что положение всегда было таким. Понятие народа, расы всегда имеет смысл лишь в пределах определенных временных отрезков. Сегодня и евреи не создали бы Библии, и глядя на американских дельцов XX века не скажешь, что их предки бежали из Европы, движимые религиозными чувствами, надеясь основать царство Божие на земле. Наверное, в этом уравнении нужно учитывать как константу то, что кровь японцев оставалась несмешанной, однако так же внятно заявляет о себе и нередко решающей оказывается роль переменных величин.

Вопреки всем константам переменная величина христианизации в течение столетий объединяет разнообразные народы Запада в такой степени, что неевропеец с трудом их различает. Нечто подобное принес в Японию буддизм. Правда, в соответствии со своим мягким характером, он не оказал даже приблизительно столь сильного влияния на внешние формы жизни. Зато его высокая духовность принесла плоды, каких христианство на Западе не породило: буддизм принес духовность, хотя бы в некоторых проявлениях, народам, которым она прежде была чужда. И тогда чуждые метафизике китайцы, став буддийскими художниками, достигли таких вершин метафизического знания, как, наверное, ни один другой народ, а японцы, у которых духовной константой, вероятно, издревле была приверженность *matter of fact*, на многие столетия были озарены столь ярким светом Махаяны, что именно приверженность *matter of fact* повела их к духовным достижениям. Наконец, религиозные переживания и чисто эмпирически не менее богаты, чем переживания мирские, с тем отличием, что происходят в другой сфере, доступной, впрочем, каждому. Луч света, испускаемый драгоценностью на челе Будды, указал японцам путь в эту сферу. И пока их озарял этот свет, они были способны созерцать и творить божественное.

Сегодня, узрев сокровища Нары, я наконец понял суть проблемы, которая начала меня занимать еще в монастыре Коя Сан. Как могло случиться, что японцы, которые

«не ведают, что творят», во многом, бесспорно, завершили мудрость индийских мыслителей. Этот вопрос непосредственно связан с другой проблемой: всезнающие индийцы, пожалуй, ни в чем не смогли выразить себя полностью. Это же можно сказать и о немцах; самые долговечные формы европейского духа порождены не германской глубиной, а менее глубокими романскими народами. Смысл проблемы в том, что крайнее выражение духовности нашли не духовные народы, а как раз те, кому свойствен материалистический образ мыслей. (Понятие «материалистический» я использую, конечно, в более широком смысле, чем принято обычно, — я понимаю его как общий характер ориентации духа на явление как таковое.) Чтобы господствовать над материей, нужны органы, способные справляться с нею в совершенстве, и особенно хорошо развитые органы чувств. Дух как таковой этого господства дать не может. А так как один и тот же человек никогда не достигает равного духовного и чувственного совершенства, ибо между духом и чувством существует отношение антиномии, то материалистически мыслящий человек наибольших успехов достигает в мире феноменов. Однако в явлениях всегда, при любых условиях, заложено и выражение духовного содержания, и лучшее выражение находит не самый одухотворенный, а тот, кто лучше умеет материализовать духовную сущность, т. е. опять-таки материалист. Он сам, правда, никогда не сможет распознать духовное, зато, если ему укажут, то схватит его сущность как нельзя лучше. Вот почему самые совершенные концепции духовных истин созданы поэтами, а не святыми и философами. Однако дух присутствует в каждом отдельном человеке, и всякий человек его знает, сознавая или не сознавая это. Этим объясняется то, что материалистически мыслящие народы, которые сами никогда бы не доросли до духовных воззрений, смогли понять и оценить по достоинству выражение этих воззрений, как только познакомились с ними. Высокий буддизм сразу нашел понимание в Китае и в Японии, а затем здесь вскоре были найдены и самые возвышенные формы его выражения, так как именно народы стран Дальнего Востока обладают поразительными, богатейшими способностями в области выражения, а основополагающие идеи, каких они сами бы не открыли, были им даны. Так что ма-

териалистический образ мыслей китайцев и японцев не представляет загадки, коль скоро речь идет об их религиозном искусстве, он как раз объясняет характер этого искусства.

Что касается Японии, она по отношению к Китаю как бы играет роль ученика, завершающего творение мастера. Первопроходец с великим трудом пробивается сквозь толщу материи, ему редко выпадает столь долгий век, чтобы он успел выразить себя полностью, и лишь в редких случаях он стремится сказать в чем-то последнее слово. Ученик, начав там, где мастеру пришлось оставить начатое произведение, завершает его по наметкам и наброскам учителя. И если ученик наделен возвышенным духом и пониманием того, что форма способна к самостоятельной жизни, если у него есть также вкус и умение различать тонкие оттенки, то ему выпадает судьба в совершенстве воплотить замысел учителя, пусть даже замысел этот вначале значительно превосходил его ученические умения. Именно это и совершили лучшие японские мастера религиозной живописи, обратившись к богатству форм буддийского искусства, они придали его формам мягкость, нежность и поистине францисканскую искренность. Глубокой, как у индийцев, религиозностью японцы никогда не отличались, но их вера была искренней, как вера св. Франциска. Святой Дух никогда им не открывался, но он просветил мир их ощущений. И обладая просвещенными ощущениями, они создали изображения Святого Духа, достойные его как никакие другие на свете.

И снова при виде художественных сокровищ Нары я не могу избавиться от впечатления, будто здесь веет дух первых веков христианства. Какой грандиозный синтез! Эти творения вобрали в себя индийскую мудрость, греческие формы, александрийскую ученость и христианское учение, пусть в зачаточной форме. В храме Хорюдзи восседает на троне Будда из Кореи: его типично азиатский облик словно сосредоточил в себе весь смысл, какой когда-либо постигали на всем пространстве от Нила до Инда... И при том нигде ни малейших признаков эклектики. Импульс любви, который на Западе чудесным образом превращал стоика в христианина, гордеца в

смиренника, а в сердце иудея, признававшего лишь справедливость закона, породил высочайшую религию милосердия, здесь превратил самодовольного аскета в Бодхисаттву, давшего клятву не предаваться Нирване, пока хоть одна человеческая душа вынуждена томиться в оковах земной жизни, так воистину сплавив то, что казалось соединимым в теории. Но теперь, когда я мысленно сравниваю между собой эти конечные плоды творчества духа — христианство на Западе и японский буддизм на Дальнем Востоке, я вновь должен в почтении склонить голову как перед большей глубиной познания, так и перед большей художественной выразительностью Востока. Насколько более истинно учение Махаяны, чем столь близкое ему учение христианства! Если у нас учение Христа развивали недалекие умом африканцы и чуждые философии римляне, в лучшем случае — буквоеды-греки, то на Востоке Махаяну развили мудрые индийцы. Если у нас буквально прочитывали христианский миф или давали ему аллегорическое истолкование, уродуя его формы и превращая их в некие иероглифы, которыми невозможно непосредственно выразить, что имеется в виду, то художественная утонченность Востока из сходных, почти идентичных форм создала язык, который с непревзойденной непосредственностью раскрывает вечное в явлении. Амида в точности такой же, как наш Спаситель, Каннон в своей идее не отличается от Девы Марии, воплощая женский аспект божественной любви, а сукхавати — те же христианские небеса. Однако для христианства эти мифы по сей день остаются предметами естественных наук или, еще того хуже, рассматриваются как аллегии, Восток же всегда понимал мифы символически: в Индии — философски осмысленно, в Китае полуосознанно, с детской наивностью, присущей настоящим художникам. Мне снова и снова вспоминаются слова Иисуса: «...не ведают, что творят». Не японцы, конечно, отцы этого чуда — духовного искусства, тем более, что они лишь подражали чужим образцам. Но их «копии» более духовны, чем наши западные оригиналы.

Индийская мудрость остается максимумом духовности, а ее максимально совершенным выразительным средством стало китайско-японское художественное чув-

ство. Как мало проку здесь от разума и его дарований! Я вспоминаю увиденное в Адьяре (Adyar) и раздумываю об учениях современной теософии. Они почти идентичны учениям Махаяны, а к ее интеллектуальному содержанию, конечно, теософы подошли ближе, чем японцы. И все же японский буддизм высится подобно башне над всей современной теософией. Ведь она сегодня обращается с индийскими учениями не более мудро, чем западные философы в средние века обошлись с греко-христианской традицией, к тому же теософия все понимает буквально или придает всему аллегорический смысл, ее синтез есть лишь внешний агрегат. Видимо, особенности расы непреодолимы: англосаксы остаются англосаксами, людьми практичными, но бездуховными, даже если они обратились в веру Махаяны. Пусть же и японцы остаются восточным азиатским народом вопреки своей тяге ко всему западному.

Да, расовые задатки представляют собой экстремум везде, где нет колоссальной веры и фантазии. У японцев и вера и фантазия мелки, и потому фактор крови у них имеет такое большое значение. Не соответствует действительности расхожее мнение, будто японцы, эти великие подражатели, в высокой степени способны к изменению. Для изменения нужна фантазия. А японцы больше, чем другие народы, остались верны себе, несмотря на все перемены. Какому бы влиянию они ни подвергались — корейскому, китайскому или европейскому, их сущность не изменилась. И это особенно наглядно является нам история японского буддизма.

Монахи в Наре некогда снискали дурную славу как рыцари-разбойники. Индийская мудрость не сделала этих воинственных богатырей ни на йоту мягче или слабее, — наоборот, сама восприняла их образ мыслей. Буддизм в Японии почти сразу же слился с традиционным культом предков и древних богов, а вскоре обзавелся и настоящим божеством войны. Прошло еще немного времени, и вот уже у правителей больше хлопот с буддийскими монастырями, чем с самыми непокорными подданными. Индийская мудрость непосредственно повлияла лишь на тех японцев, которым она с самого начала наилучшим образом соответствовала: на женщин и художественные нату-

ры. Японка привержена буддизму, можно сказать, от рождения, она смиренна и терпелива, искренна и самоотверженна. Японец — художник близко родствен индийцу. Я все лучше понимаю: для японской народной жизни буддийская церковь, если она и правда буддийская, служит лишь изящной художественной рамкой, и не более того. Наверное, как раз поэтому для отдельного человека, особенно для женщины, в личной жизни она подчас означает очень много. Наша католическая церковь была в первую очередь государством, она воспитывала целые народы, а не индивидуальности, она стремилась быть сокровищем не отдельного человека, а всего человечества. Поэтому католические святые лишены личных, интимных черточек, которые придают такую прелесть буддийским святым. Лишь один святой католической церкви может с ними сравниться — Франциск Ассизский.

Нынче цветут глицинии. Эти прелестные вьющиеся растения поднялись до самых верхушек горделивых елей. Вот так и все суровое в Японии чудесно дополняется нежным. У женщины любовь, у мужчины война, у женщин буддизм, у мужчин — синтоизм. Но для тех и других есть бусидо, дух гордой, устремленной к вершинам чистоты. Из всех возможных формул, примиряющих противоречия и создающих их единство, эта, как мне кажется, — не самая плохая.

Уже не раз я упоминал о францисканском характере всего глубочайшего и лучшего в японском буддизме. Пора более подробно остановиться на этой точке схождения восточной и западной сущности. Несомненно, все приятное, милое, нежное и на Востоке, и на Западе имеет один и тот же основной вкус — сладостный. Правда, на Дальнем Востоке он более отчетлив. Однако францисканское — это не только сладостное. Мне вспомнилось одно замечание Альфреда Вебера: сегодняшнее выражение того духа, который когда-то обрел подобающее тело в ордене францисканцев — это Армия Спасения. Вероятно, это правильно. Дух святого Франциска не исчерпывается понятием сладкого. В нем есть еще и сострадание, а оно-то на Востоке не имеет соответствия.

Миссионеры, конечно, сказали бы, что все дело в превосходстве христианского учения, но достоверно извест-

но лишь одно: очень близкие важнейшие идеи, будучи воплощены в христианстве, оказались несравнимо более сильными. Но откуда в конечном счете исходит эта бóльшая сила? Почему в Японии францисканский дух породил лишь сладость, а в Европе — и сладость и силу? Едва ли причиной можно считать учение Христа как такое, — наверное, важную роль сыграли и природные задатки людей, ставших христианами; надо полагать, учение Махаяны у нас привело бы к таким же результатам. Я размышляю о душе святого Франциска: ни в одном японском сердце любовь никогда не пылала таким жаром, и ни один святой на Востоке не знал подобной страсти, если не брать в расчет ислам. Христианский бхакта отличается от азиатского в конечном счете гораздо большим количеством энергии, которым он располагает. Тем самым преимущества христианства перед буддизмом, если о таковых вообще можно говорить, вероятно, во многом основаны на физиологических особенностях людей, на более плотной и более благодарной субстанции, посредством которой дух и смог оказать свое воздействие. Среди азиатов мне еще ни разу не встретился человек, чье психическое тело было бы столь богатым и полным, как у наших людей, стоящих чуть выше среднего уровня; насколько я мог судить, азиаты в сравнении с нами психически слабоваты.

С этой точки зрения возможен, как мне кажется, очень интересный вывод якобы присущем нам материализму и якобы свойственной Востоку духовности. Факты, конечно, несокрушимы, но их значение не совсем таково, какое в них обычно усматривают. Разумеется, духовность на Востоке по большей части представляется более духовной, чем на Западе, однако отсюда еще не следует с необходимостью, что Восток и в самом деле ближе к духу. Отсюда вытекает лишь то, что психическое тело Востока субтильно. Во многих случаях этот взгляд верен, а относительно Японии — бесспорен. И многое из того, что нас восхищает в Индии, вероятно, также объясняется этой субтильностью: нетрудно в чем-то отказывать себе, если не кипят страсти. Совершенно нет сомнений: чем богаче тело, тем лучшие возможности для выражения имеет дух. Подтверждения этого — наш Бетховен, наш Бах, с ними ничто на Востоке не сравнит-

ся. Но самое впечатляющее доказательство — это, конечно, Китай. Всюду, где подворачивается возможность сравнить Китай и Японию с одной стороны, и Индию — с другой, т. е. во всех случаях, когда или один и тот же дух лежит в основе форм культуры, или мы видим идентичные средства выражения, поражает большая субстанциональность китайских форм. Они не только крепче, вещественней, и не только более четко очерчены, мощнее вылеплены, — их, по-видимому, одушевляет большая глубина. Чтобы поднять глубинное на поверхность, необходима физическая сила, и чем больше поверхностное восходит к своей глубинной основе или озаряется глубинным светом, тем отчетливее выступает это отношение. Китайцы — самые субстанциональные из всех азиатов, это единственный народ, какой я знаю, чье психическое тело выдерживает сравнение с нашим. Поэтому восточная духовность именно на земле Китая обрела свое самое сильное выражение.

Киото

Я все еще под сильным впечатлением разыгранной на подмостках трагедии. Пьеса — известная историческая драма, сыграна мастерски и поставлена мастерски, уже поэтому она потрясает. Но что меня окончательно сразило, так это полное пафоса настроение, разлившееся повсюду, когда началось исполнение старинных народных песнопений, которыми сопровождалась пантомима, по временам сменявшая обычное сценическое действие и приносявшая в спектакль определенный ритм. Ко мне словно донесся голос средневековья.

Ведь в Японии средневековье было сравнительно недавно, соответствующие ему состояния сознания и формы выражения еще не забыты стариками. Поэтому в Японии вызвать дух средневековья легче, чем в Европе. И потом, средневековый дух вообще ощущается здесь более явственно, оттого и все его формы кажутся более мощными. Не думаю, что доблести самураев имеют столь же глубокие корни, какие были, например, у доблестей наших франкских рыцарей; очевидно, что для франка вассальная верность, чувство чести и презрение к смер-

ти имели более высокое значение. Но поскольку своеобразие японца состоит в том, что для него изображать и быть — почти одно и то же, и поскольку для него вполне естественно преувеличивать ради стилистической точности, то и в доблестях его больше ярких красок. В отношении сценического искусства, а впрочем и любого другого, японское средневековое превосходит европейское. Содержание спектакля, который я посмотрел, приблизительно таково: некий господин доверил клану своих васалов драгоценный свиток. Человек, у которого этот свиток хранится, выказывает сердечную склонность некоей придворной даме, что, конечно, не нравится его супруге, и та решает погубить соперницу. Для этого она похищает свиток. От правителя является посланец, требует вернуть свиток, открывает ларец — там пусто. Драгоценный свиток кем-то украден. Супруга, она же хозяйка дворца, обвиняет в преступлении ненавистную соперницу и на глазах у всех приближенных избивает ее своей туфлей, т. е. наносит ей величайшее бесчестье, какое может выпасть благородной женщине. В ответ на унижение оклеветанная девушка совершает самоубийство. Но ее верная служанка мстит за гибель своей госпожи — побивает моральную убийцу той же самой туфлей, а затем сама погибает в рыцарском поединке.

Фабула проста и по нашим понятиям мало содержательна, кроме того, трагические мотивы, очевидно, заложены не в глубине человеческой натуры, а связаны с внешними, поверхностными условностями. Но для японцев условность и есть натура. И публика, душевно тронутая совершенным сценическим воплощением обычаев и нравов японского средневековья, конечно, видит за всеми этими искусственными условностями чисто человеческую сущность, которая выступает с той же потрясающей обнаженностью, что и в греческих трагедиях. В конце концов, «рок» греков тоже был условностью — сегодня мы уже не верим в его могущество, и страсти, которые с античных времен считались мотивами действия, не являются его необходимыми причинами, так как человек в принципе способен подняться выше страстей, — все дело именно в том, способен ли. Если он и впрямь идентифицирует себя с глупым предрассудком, то предрассудок проникает в глубину человеческой нату-

ры. Интенсивность переживания у средневекового человека была настолько огромна, что его предрассудки вызывали больший пафос, чем вызывают в душах современных людей метафизические трагедии.

Я ощущаю нечто вроде меланхолии. Это вполне объяснимо: пусть я мыслитель, основные инстинкты рыцаря во мне все еще живы, а мы ведь знаем — в наше время они уже не ко двору, дни рыцарства сочтены. Какое ослепление видеть в этом знак безусловного прогресса! Правда, типичные рыцарские черты — это не абсолютные ценности, но последние не присущи ни одной форме, эти черты суть определенные формы жизни и как таковые не являются существенно необходимыми. Они обусловлены, ограничены, подвержены изменениям, и при наблюдении, особенно когда речь идет о формах человека, их легко счесть случайными, так как границы, отделяющие один человеческий тип от другого, — это границы духовные: односторонность, своеобычность, предрассудки. Теория относится и к рыцарскому понятию чести как к предрассудку, но точно так же и к словной чести купца и, особенно, к «независимости» вольнодумца. Вопрос в том, какие предрассудки лучше. Нет, в принципе, наверное, бессмысленно ставить вопрос таким образом. Быть оленем, с точки зрения лошади, — предрассудок, и наоборот; любые формы выражают внутренне необходимое в пределах внешне возможного, они дополняют друг друга и более или менее коррелятивны. И все-таки есть предрассудки получше и похуже в том смысле, что не всякая констелляция позволяет признавать одинаковые ценности, а при вымирании какой-то определенной формы иные ценности вообще утрачиваются. В этом смысле тип рыцаря подобно башне возвышается над человеческими типами, которые в наше время заняли его место. В высоконравственном мужестве, идеализме, самоотречении, верности, благородстве помыслов и презрении к материальным благам жизни с рыцарем никто не сравнится. Так что вымирание рыцарей означает невосполнимую утрату для человечества.

Сегодня начинает, правда, выкристаллизовываться тип, который, обладая тем же духом, что воодушевлял рыцарей, превосходит их, поскольку не связан частными предрассудками и может предоставить большую свободу

маневра своим индивидуальным задаткам, — это английский джентльмен, чистый индивидуалист и сторонник универсализма. Однако его гораздо труднее воспроизвести, чем рыцаря, и поэтому сомнительно, что джентльмен как тип однажды станет доминирующим. Для того чтобы быть благородным человеком, необходима огромная врожденная культура, а ею в наши времена все большего смешения народов не обладают даже обладатели громких титулов, нужна и способность к сознательному самоограничению, которая находится в резком противоречии с идеалами эмансипированной посредственности. Сегодня лишь единицы созрели для свободы, большинство все еще составляют стадные особи, неспособные вне связей с обществом к самосовершенствованию. Если они разрывают старые связи, то сразу же завязывают новые, которые гораздо ближе к поверхности, чем те, что сложились в процессе исторического развития. Сегодня крепнет сплоченность богатых людей — насколько лучше были те времена, когда смыкали ряды люди благородные.

Злым я становлюсь. А как не стать, если хочешь-не хочешь, а приходится наблюдать, как поток времени неудержимо увлекает вниз, на дно, самые благородные человеческие типы, которым по сути подобало бы высокое положение? Сегодня среди обладателей громких исторических имен лишь крайне редко удастся встретить подлинного аристократа. Как учит природа, орган, лишенный подобающей ему активности, обречен на вырождение. Оно идет двумя путями — смотря по тому, что мы подчеркнем в данном тезисе: «подобающая» или «активность». Косные реакционеры вырождаются, так как вообще не напрягают силы; прогрессивные типы — по противоположной причине, так как они уже не могут жить по своему — особому — обыкновению и ищут себе применения в каких-то иных областях; и находят, но унаследованные от предков инстинкты здесь бездействуют, и эти люди вскоре теряют всякую власть. Большинство сельских дворян сегодня вынуждены заниматься торговлей, т. е. пополнять ряды купечества. Но по натуре они не торговцы, их привели на этот путь лишь доводы рассудка, а значит, в метафизическом смысле они лгут при совершении сделок, что выражается в явлении — многие из них оказываются недостойными торговцами в

отличие от торговцев подлинных, занимающихся своим ремеслом по призванию. У них в крови рыцарская сословная честь и никакой другой, специфическая нравственность торгового сословия им чужда, и в итоге, вступив на новый для себя путь, они, увы, очень часто становятся представителями класса более низкого, чем представители старинных торговых династий. Нельзя заменить один человеческий тип другим, а изменение типов, к сожалению, происходит очень и очень медленно. Тут Япония служит самым поучительным примером. Новое время началось в этой стране сразу после средневековья, эра экономических принципов — непосредственно после эпохи рыцарства. Каков итог? В среде рыцарей всегда презирали торгашей, а всякое презрение в зародыше душит благородный образ мыслей. Поэтому для японских торговцев — в отличие от китайских — типичен низкий образ мыслей. Рыцари же на деле доказали свои доблести во время последней войны. Типично рыцарский образ мыслей жив и в наши дни; я не раз имел возможность лично убедиться в этом: меня часто поражало сходство японской знати с нашими остзейскими дворянами, и тем и другим свойственна щедрость, донкихотское презрение к деньгам, их отличает великодушие, — все это черты, каких, пожалуй, нигде больше не встретишь. Но большинство самураев сегодня в силу материальных причин уже не в состоянии жить по старинке; чтобы не умереть с голоду, им приходится участвовать в экономическом соревновании, а в этой сфере у них нет ориентиров, поскольку нет и никогда не было соответствующих инстинктов. Они полагаются исключительно на свое понимание деловых отношений, а так как при этом самурай дальновиден и тверд, то успех всегда одинаков: я еще ни разу не встречал в этих краях белого предпринимателя, который не считал бы японца низким, подлым и совершенно ненадежным пройдохой.

На подмостках разыгрывалась средневековая трагедия, и лица у зрителей просветлели, даже у японцев, одетых по европейской моде. Спектакль вызвал в их душах трепет струн, которые уже давно не отзываются на впечатления современной жизни. И эти струны — самые глубокие, звук их — самый полный и чистый, как в Японии, так и везде на свете.

Киото по своему характеру не похож на другие города Японии, какие я до сих пор посетил, это столица, объединившая в великолепное целое все формы жизни империи. Я осматриваю здешние достопримечательности: памятники пышной придворной культуры, невиданной власти вассалов императора, роскошно расточительного духовенства и того жесткого и мужественного воинского ума, который обеспечил подъем Японии. И я удивляюсь многообразию форм, в которых жизнь некогда находила свое выражение. Чем были схожи между собой превосходно образованные придворные, по-женски чувственные, тонко мыслящие, художественно одаренные, и грубые, мужественные самураи? Японские «амазонки» — императрицы древних эпох, великие женщины средневековья, которым страна обязана лучшими творениями своей литературы, и воспитанные в спартанском духе жены рыцарей? Каждый из этих типов можно рассматривать как особую разновидность человека, так их всегда и понимали. Сравнивая старую раздробленную Японию и сегодняшнюю единообразную страну и одновременно размышляя о том, что в ближайшем будущем это выравнивание достигнет совершенства, я снова ощущаю горечь и досаду. Уж очень глупым кажется заблуждение, что отмена социальных границ якобы способствует дифференциации человеческих типов. Она поощряет индивидуальную дифференциацию, это бесспорно, но что значит последняя в сравнении с типическими формами, которые она душит в зародыше? Индивидуальность как таковую лишь в виде редкого исключения считают ценностью даже в странах, где индивидуализм достиг высших степеней; и наоборот — все до одного типы, выкристаллизовавшиеся из полностью обезличенных масс, стали носителями человеческих ценностей, которые утрачиваются, если исчезают границы между типами. Ведь человек — существо отличное от прочих, и свое собственное своеобразие он осознает только в отношении к кому-то иному. Этим объясняется то, что культура достигает высшего расцвета только в аристократических сообществах. Различия между индивидами, которые в демократических обществах пришли на смену различиям между типами, слишком малы и, главное, слишком поверхностны, чтобы служить стимулами для культуры.

Японцы как ни один другой народ наглядно иллюстрируют эти истины. Знатоки утверждают в один голос: японцы совершенно обезличены, у них удивительно слабое чувство индивидуального. Тем больше они теряют, вступив на путь формирования типов. Придворный былых времен отличался утонченностью, самурай — грубостью, но самурай был мужественным и сильным в отличие от изысканного даймё; знатная дама была строгой и сдержанной, ибо сознавала свое превосходство перед неотесанными служанками. А сегодня японцы все больше чувствуют себя одинаковыми и, что самое важное, они стремятся быть «современными людьми». И потому становятся попросту банальными...

Впрочем, в Киото еще жива задушевность старых времен, здесь по-прежнему чувствуется дух резиденции. У меня на душе так, как бывало иногда в Версале, когда я гулял по запущенным, полузаросшим аллеям, наслаждаясь осенним солнцем. Я чувствую себя придворным, этикет умеряет мои порывы, видимость стала для меня высшей реальностью, формула заменила собой сущность. И здесь это состояние ничуть меня не стесняет: оно есть условие внутренней свободы, притом максимально возможной. В Версале Людовика XIV только совершенный придворный мог чувствовать себя непринужденно. Нечто похожее было в Киото. В здешнем ненатуральном обществе, которое де-юре возглавляли кукольные императоры, которым на деле управляли фаворитки, в среде, оплетенной сетью интриг, только царедворец был в своей стихии. Однако этот подхалим был необыкновенно субстанциональным. Благодаря японским задаткам, в которых так причудливо соединяются чувственность, отсутствие фантазии и приверженность *matter of fact*, царедворец мог оставаться самим собой. Японские царедворцы были не менее искренними, чем обитатели Антарктиды — пингвины, которые день-деньской только и делают, что кланяются друг другу.

В старину у высшей японской знати и обстановка комнат в домах, и одежда женщин проходили ряд циклических изменений вместе со сменой времен года. Никогда не бывало, чтобы убранство комнат оставалось летним, когда за окном валил снег и выл ветер, никогда и

японская гранд-дама в сезон цветения глициний не надевала платье, которому подобает настроение хризантем. Здесь та же идея, что и в китайской «гармонии», только менее глубокая; вернее, здесь идея не рождается в глубине и находит выражение лишь в поверхностном, подобно тому, как художник, уловив смысл вещей, передает его в «цветовых отблесках». Японца не слишком волнуют небеса, зато землю он благодаря своему чувству природы превратил в настоящий рай. Я уверен, что японские карликовые деревца не чувствуют себя изуродованными, меж тем во французских садах фигурно подстриженные деревья несомненно страдают от своего уродства; японские деревца, наверное, даже благодарны садовнику, ведь он, не применяя насилия, преобразил их природу так, что она находится в совершенной гармонии со своим окружением. Всякий человек со вкусом был бы благодарен, если бы с ним так обошлись.

«Смысл» этого чувства природы, если вспомнить Лао-Цзы, и есть основной музыкальный тон всего азиатского мировоззрения и отношения к жизни. У индийцев он нашел выражение в их философии, религии и музыке, у китайцев — во всей культуре, а у японцев — главным образом в оформлении всего, что видит глаз, и в этом смысле они абсолютные азиаты. На всем Востоке человека считают частью природы, и люди соответственно ведут себя, тогда как для нас характерно в первую очередь наше нежелание признать себя частицами природы. Восток мыслит глубже, это несомненно. Только благодаря азиатскому мироощущению может родиться всеобъемлющая, ничего не отвергающая религия и философия, только оно делает в принципе возможную совершенную организацию общества, и только люди с азиатским мироощущением наделены вкусом в высшем смысле. Что есть вкус, если не уверенное чувство пропорций? Человек, чье видение сформировалось в Японии, лишь изредка с удовольствием поглядит на что-то в Европе. Сколько варварства в наших нагромождениях! Как редко у нас предметы стоят там, где их место, заданное общим целым. Как навязчива, криклива наша живопись! И как редко осознает европеец, что комната создана для человека и не наоборот, что он, а не занавесь или картина должны иметь главное значение в жилище. В этом отношении и

японская архитектура достигла лучших результатов, чем современная европейская, пусть даже во всем остальном творения японцев очень скромны. Японский храм вписан в свое окружение, неотделим от него, а так как он вписан с величайшим мастерством и каждое здание образует единство со своим фоном, то общая картина приносит большее эстетическое наслаждение, нежели наши постройки, хотя сами по себе они, как правило, лучше. Характерно однако, что вкус изменяет японцу, как только он облачится в европейский костюм и начнет жить по европейским обычаям — они ему внутренне чужды, он не может понять их место и роль в общем целом. В этом смысле, конечно, показательно чрезмерно пышное убранство японских храмов — ведь они построены не для человека, а для высших существ, о которых человек не может иметь ясного представления. Человек здесь посещает храмы только по торжественным дням, когда его приподнятое настроение требует роскошной рамы. Сегодня я присутствовал на ежегодном празднике храма Ниси Ховандзо (Nishi-Hongwanji). Устроено все было с грандиозной пышностью. По японским понятиям именно так и надлежит устраивать религиозные праздники, — как из ряда вон выходящие события, а для таких событий богато украшенные, сверкающие золотом и ярким лаком святилища создают самое подходящее обрамление.

Японские сады прекрасны абсолютно. Это совершенная красота, выражающая не менее совершенный классический дух, чем тот, что живет в греческих изображениях богов. Почему японец выращивает карликовые деревца? Не из любви ко всему миниатюрному, а ради того, чтобы даже крохотный клочок земли открывал — подобно пейзажам Милле — бесконечные перспективы. Поэтому там, где места хватает, например в императорских садах, деревьям, стоящим на заднем плане, позволяют расти до небес, а по мере приближения к зрителю их рост искусственно сдерживают, в целом же достигается впечатление бесконечной дали, такое же, какое бедняк получает в своем крохотном садике.

Сколь многого можно достичь, не насилуя природу, но вникая в ее особенности! Несколько камней, растений, маленькие ручейки — с помощью этих нехитрых средств художник, словно чародей, творит красоту и помещает

ее в любую раму, какую находит. Этой красоты так не хватает многим и многим прославленным достопримечательностям мира... В жаркие дневные часы, отдыхая в этих волшебных садах, я читал Гэндзи-моногатари («Повесть о Гэндзи»), средневековый роман, в котором воссоздана совершенная картина жизни японских правителей. Подобной утонченности не знал ни один королевский или княжеский двор на Западе, да наверное и в Китае. Эту придворную культуру характеризует отношение, которое возможно только в Японии — между чувственностью, уверенной и безошибочной как у животных, и предельно достижимым художественным ее воплощением. Если принц Гэндзи, наслаждаясь настроением лунного света, мечтает, то не так, как мечтал бы персидский поэт, — он смотрит вокруг, точно хищный зверь, залегший в засаде, но при этом он ощущает все, что видит, как самый утонченный эстет.

Очарование этой страны, эстетически самой привлекательной из всех, какие я видел, покоряет меня все больше. Внешние предметы завораживают меня подобно тому, как в мире мыслей надо мной берут власть идеи, внешнее окружение задает тон моей душе, а вскоре и сама она начинает сочинять и музицировать в заданной тональности.

День ото дня я словно молодею, но объясняется ли это тем, что в Японии я живу исключительно чувствами? Наверное, да. Мы рождаемся на свет для этого света, для того чтобы пользоваться земными возможностями, а не отвергать их, и если мы слишком рано изгоняем чувства из нашей жизни, нам приходится за это расплачиваться. Конечно, когда жизнь перешла точку зенита, она все более исполняется в чисто духовном бытии. Но пока кривая нашей земной жизни поднимается вверх, чувственность властно требует своего. Природный процесс не терпит ограничений.

Не только это столь значительно повышает мой жизненный тонус здесь, в Японии, но и единственное в своем роде удовлетворение, которое в Стране восходящего солнца дает жизнь, посвященная чувственности. Как нигде на свете, все внутреннее здесь существует в полном согласии с внешним, а природа — с человеком, возмож-

ные впечатления с самого начала гармонично связываются с возможными ощущениями, и здесь, как нигде на свете, это гармоничное отношение осознается в объективно наилучших ритмах. Число ритмов не бесконечно: как комбинации с точно определенным численным соотношением элементов дают устойчивые химические соединения, как небесные тела способны образовать систему только при определенном взаимном отношении масс и дистанций, так и максимально возможная красота, удовольствие, счастье всегда определяется ритмическими отношениями. В объективированном искусстве, особенно в музыке, этот тезис легко проверить: чем более классический характер имеет композиция, тем сильнее впечатление, что он детерминирован теми ритмами, которые во внешнем мире определяют гармонию сфер в небесном пространстве. Однако в случае субъективных ощущений, когда невозможно получить объективные доказательства, каждый человек с достаточно тонкой организацией может проверить его на своем личном опыте. Я не знаю никого, кто, занимаясь достаточно долгое время ритмической гимнастикой Далькроза, не заметил бы колоссального повышения своих жизненных сил — это результат гимнастики, ибо она реализует объективный оптимум того, что содержится в ритмических жестах и движениях. Я не знаю ни одной художественной натуры, для которой красота шедевра не являлась бы объективным абсолютом. И, *last, but not least*¹, счастье, которое два человека могут даровать друг другу, всегда зависит от степени их физиологической и психологической симпатии, т. е. отношения, при котором струны их душ звучат в лад. Именно в этом смысле отношение между объективированной культурой и человеческой субъективностью в Японии является наилучшим из всех возможных. Разумеется, надо быть японцем, чтобы в полной мере ощущать этот оптимум, но в Японии каждый становится японцем — ни одна способная, восприимчивая душа не уклонится от этого превращения. А потом, когда заметишь, что азиатские формы, еще недавно непривычные и чуждые, стали казаться объективным оптимумом, понимаешь, как мало значит этот стиль сам по себе. Все

¹ Последнее, но не менее важное (англ.).

дело в отношениях в рамках условности, это они дают ощущение счастья; вероятно, подобные отношения существовали и в Древней Греции. А то, что в Японии ты более всего наслаждаешься именно японским, лишь доказывает, что этот особый стиль сообразен здешней атмосфере.

Вспоминаю Китай. Нет, совершенство, каким я люблюсь сегодня, чисто японское, не китайское, пусть даже все эти отдельные прекрасные формы были придуманы в Серединной империи. Повышение жизненной силы, обусловленное зрительным восприятием Японии, никогда не могло бы возникнуть в Китае, даже в великие эпохи его истории. Как поучительно это сравнение! Воистину: самое общее из всего, что в японской культуре кажется объективно ценным, было изобретено в Китае, и не просто изобретено, но и понималось несравнимо глубже. Японцы никогда не достигали того уровня, когда сознание, подобно божеству, исходя лишь из себя, могло творить формы буддийского искусства, японцы никогда не понимали смысла ритуалов, а ведь только он создает глубокий фон китайского стиля. Однако не в Китае, а в Японии смысл проник все явление без остатка. Сладость — таков основной тон атмосферы японских храмов Будды, ничего подобного нет ни в одном китайском святилище, да, наверное, эта атмосфера и не постижима китайским умом, измыслившим отдельные формы; идея взаимной уважительности, родившаяся в Китае и получившая там глубочайше обоснованное систематическое оформление, в Японии обрела самое совершенное тело. У китайца нет врожденной чувствительности, нет тонко вибрирующей нервной организации. Несмотря на высоко развитое эстетическое чувство, китаец не страдал от грязи, несмотря на удивительную глубину понимания гармонии, никогда не привносил ее идею в свои ощущения. Китаец вежлив как никто другой на свете, весь обыденный порядок жизни у китайца строится на основе взаимного уважения, но оно проявляется только в соблюдении объективных правил вежливости и не желает принимать во внимание того, что, быть может, происходит в сознании другого человека. Мне рассказывали про одну китаянку, что, придя в гости к европейской даме, она неприятно поразила хозяйку тем, что поклонилась

не ей, а, повернувшись спиной к даме, пустой стене. Дело в том, что, согласно этикету, хозяйке полагается встречать гостей, стоя у южной стены комнаты, но она ждала в другом конце комнаты, и китайке это было безразлично.

В Японии же предельно тонко сформировано живое почитание форм. Нигде в мире ощущение не проявляет себя столь тонкими нюансами, как здесь. Поэтому китайская изобретательность здесь, в Японии, приносит свои самые прекрасные плоды. Идея гармонии в Японии запечатлена в живом и подвижном явлении; все происходит не иначе как в самых гармоничных пропорциях, все расположено в местах наилучших с точки зрения ритма. Поэтому везде, куда ни пойдешь, ты чувствуешь себя довольным и счастливым. В конце концов, все в нашем мире определяют мелочи. Крохотный нюанс разделяет деликатность и бесцеремонность, предупредительность и наглость. У японцев в высшей степени развито чувство мелких деталей. Поэтому, когда Японии были даны великие возможности, она достигла таких результатов, какие остались недостижимыми для иных великанов...

Есть, правда обратная сторона... Но нет, я не хочу портить себе настроение, оно такое радостное. Да и нужно ли какому-то народу — или человеку — обладать сразу всеми достоинствами? Народы земли дополняют друг друга. Одни как бы ведут басовую партию, другие подтягивают дискантом, немногие задают основной тон, а подхватывают мелодию многие. Человечество — большой оркестр, игру всех его инструментов внимательно слушает философ. И если философ пустился путешествовать в пространстве, желая получить общее впечатление о целом, то в этом нет никакого серьезного возражения против миропорядка, ведь и некая отдельная мелодия, звучащая в составе целого, осознается лишь по прошествии некоторого времени.

Сам себя не узнаю: мало того, что я провожу много времени в лавках антиквариата и разных диковин, — я делаю покупки, меня занимают мысли о том, как бы лучше обставить комнаты! Это состояние для меня ново. Сколько себя помню, я никогда не придавал значения собственности, и уж менее всего — вещам, которые про-

сто радуют глаз. Моим потребностям больше отвечает, если некий красивый предмет находится там, где я могу им полюбоваться, но мне не нужно, чтобы он всегда был рядом, — пусть им владеют друзья или пусть находится в общественном месте; если вещь постоянно у меня перед глазами, она меня раздражает, причем тем сильнее, чем выше ее ценность. Ибо я должен считаться с подобным художественным произведением, приспособлявая к нему весь стиль моей жизни, но, что всего важнее — в присутствии подобных предметов перестает быть свободной моя фантазия. А как прикажете черпать мысли из неведомых глубин, если перед глазами нет пустого пространства, если чувства снова и снова привлекает к себе нечто совершенное, существующее вне меня самого! Правда, то, что всего лишь приятно, не имеет столь большой власти надо мной, но оно ведь мне и не нужно. Я нередко обижаюсь на своих подруг, если они не способны придать своей жизни самое красивое оформление — в этом случае мои мысли всегда устремляются к внешней стороне мира, и я страдаю, замечая его недостатки. От обречения моей собственной жизни мне нужно только одно — чтобы оно никогда не вторгалось в мои мысли, и такую раму я считаю совершенной.

А здесь, в Японии, под влиянием окружающего я становлюсь эстетом, любителем искусств. Все, что доступно зрению, здесь ориентировано на человека, кажется, вся природа лишь служит рамой для жизни человека, все предметы — для его надобностей; и произведения японского искусства всегда предполагают наличие зрителя. Вот и выходит, что человек, вполне не зависимый от внешнего мира, если он восприимчив и впечатлителен, чувствует себя неуютно, даже подавленно, заметив какую-то несообразность в этом смысле. И даже я в Киото невольно размышляю о том, как мне лучше всего достичь гармонии со здешним окружением, причем уже начинаю верить, что эти потребности были у меня и раньше, дома.

До чего же это смешно! Чуть меньше самокритичности, и я действительно вообразил бы, что сделался знатоком искусств. Сегодня утром на открытии аукциона я наблюдал за японскими знатоками, которые осматривали выставленный там фарфор. Уж не знаю, что они разглядели — я в этом смысле, пожалуй, настоящий слепец, од-

нако вдруг почувствовал, что и мне все это очень важно, как будто и мое мнение имело значение, я даже высказался о фарфоре, и кажется, не попал пальцем в небо. Таково влияние здешней среды. Вообще-то я равнодушен к прикладному искусству. Но я доволен, конечно, — пусть на несколько минут, а все-таки я почувствовал себя человеком со вкусом. Но главное, благодаря этому мне открылась новая сторона японской натуры. Гёте, кажется, где-то заметил, что театр имеет свойство будить у зрителя фантастическое представление, будто бы и он, зритель, способен создавать драматические произведения. Чем это объясняется? Очевидно, тем, что человек уделяет одинаково большое внимание лишь немногим событиям, в точности как и развитию действия в театральной пьесе, а воспринятое, действительно увиденное им находится — с точки зрения духа — на одном уровне с его фантазией, т. е. зрителю кажется, что он сам сочинил драму, которую на самом деле сочинил автор, или, по крайней мере, что он тоже способен к подобному свершению. В точности так же и варвара, оказавшегося среди людей искусства, в один прекрасный день осеняет мысль, что он — «настоящий» ценитель искусств: все дело в том, что он обращает внимание на то, что при иных условиях от него ускользало. Однако мое рассуждение еще не доведено до конца: совершенствуя свое внимание, приучаясь видеть определенные вещи, можно развить в себе способность по-настоящему видеть их. А это ведет еще дальше: благодаря хорошему вниманию человек становится творцом. И вот здесь, мне кажется, ключ к пониманию японского искусства. Японцы от природы не продуктивны в том смысле, в каком когда-то были продуктивны китайцы, но со временем японцы стали творческими людьми, так как фантазия и техника, порождение и восприятие принадлежат одной идеальной взаимосвязи. Богатая фантазия создает для себя средства выражения; там, где техника совершенна, дух, смысл наполняет ее сам собой; у человека, достигшего совершенства в умении наблюдать, в конце концов рождаются неожиданные идеи. Японцы двойственны по природе: они и необычайно зоркие наблюдатели, и виртуозы в любых технических умениях. Это позволяет им не только осваивать достижения других народов, от которых они не хо-

тят отставать, — им, не имеющим своих идей, удалось воплотить идеи, причем даже такие, каких ни у кого раньше не было.

Каким же я стал японцем! Японские чувства — теперь мои чувства, я естественно и легко использую категории японской эстетики, замечаю и принимаю к сведению тысячи мелочей, на которые прежде не обращал внимания. Похоже, я уже не мыслитель, а окончательно превратился в наблюдателя. Я то и дело удивляюсь огромному богатству зримого мира. Раньше я часто находил, что он по большей части скрывает, а не обнажает реальность, что реальность, доступная нашему зрению, бедна по сравнению с реальностью духа и души. А нынче понимаю, что она удивительно богата и только от задатков созерцающего человека зависит, много ли она ему предъявляет и много ли значит; в игре красок и линий может проявляться не меньший смысл, чем в остроумных соединениях мыслей. Впрочем, смысл в первом случае — совсем иного рода. Существует поверье, что боги беседуют друг с другом при помощи красок; наверное, так оно и есть, но беседуют они не о том, о чем мы. Не знаю, осознают ли другие люди, как я долгое время питающие свой ум зрительными впечатлениями: зримый мир есть мир в себе; переживания художника, мастера изобразительного искусства, и переживания мыслителя нельзя привести к общему знаменателю. Поэтому надо считать абсолютным обогащением моего бытия то, что в данный момент времени я способен воспринимать все окружающее так же, как японский живописец.

Но только в данный момент — потому что надолго меня не хватит. Несомненно, во мне живет возможность японского бытия, ибо все естественное свойственно человеку от рождения; каждый человек способен, по своей воле или произвольно, временами быть тигром или козудей, водопадом, землетрясением или растением, — все зависит от того, каким элементом своего существа он в этот момент придает особую значимость. Но в течение долгого времени индивид способен существовать только в том состоянии, которое детерминирует его как индивида. Лишь это состояние служит надежным средством выражения его глубочайшей сущности; поэтому способ-

ность проникнуться чем-то чужеродным, к сожалению, редко оказывается такой продуктивной, какой, по идее, должна быть — подобное чувствование не приводит туда, куда хотелось бы. Сегодня пополудни я несколько часов просидел на склоне холма среди цветущих азалий, любясь простором озера Бива и снова все это испытал. Я стал человеком видящим, я погружался в созерцание чистых форм растений, и вскоре смог увидеть их такими, какими они предстают японскому художнику, мне открылся смысл каждой линии. Но когда я еще больше сосредоточился, все видимое исчезло; не абсолютно, а как свойственно искусству — по собственной прихоти. И я все отчетливее начал постигать, что подлинной реальностью для меня все более становится возможность явления. Я снова непосредственно соприкасаюсь с потенциальностью, которая обуславливает бытие как таковое и бытие в определенном виде, становление и гибель. И когда засверкали молнии рефлексии, я, как уже часто бывало, удивился: почему мне отказано в том, чтобы моим центром была чистая возможность, почему я не могу, осуществляя свои возможности, быть то целым, то ничем, то какой-либо частью целого. Удивление, как всегда, сменилось печалью. Понимание большее, чем способность — это трагично. Почему я не Бог? Только потому, что у меня недостает физической силы. Находящееся в моем распоряжении количество энергии, только оно, есть то, чем отличается метафизик от бога. Обладай я достаточными средствами, мои идеи сами собой обрели бы физический облик, и в то время, когда бы странствовали мои мысли, сменяли бы друг друга миры. Но поскольку я не Бог, то и японцем я не могу быть столь долго, сколько хотелось бы. Границы, которых я в теории не признаю, все же властны надо мной. Каждый новый образ, в конце концов, раскрывается как прежний Кайзерлинг, и это обычно происходит намного раньше, чем я успеваю исчерпать все возможности нового образа. Что же делать?

Если бы я был чисто созерцательной натурой, то мог бы, по крайней мере, обманываться относительно фактов, как это свойственно большинству мистиков: я мог бы последовательно не действовать и мысленно пребывать в сфере возможного так долго, что утратил бы соз-

вание своих границ и, в конце концов, действительно преодолел их. Но я, к сожалению, слишком активен, так что о подобном и речи нет. Только и остается мне воспитывать неизбывного Кайзерлинга, превращая его в столь гибкий инструмент, чтобы не приходилось мне хотя бы во время работы отвлекаться, уделяя внимание его бытию.

Никогда раньше мне не приходило в голову даже в мечтах, что массы людей своими движениями могут передать совершенный ритм подобный тому, какой мы находим на византийских мозаиках. Никогда — пока я не увидел японские праздники танца. Справа от амфитеатра расположились лютнистки, слева — барабанщицы, все они сидят в одинаковых позах и в такт совершают одинаковые движения, в целом перед тобой словно оживший фриз, полнейшее ритмическое единство. В это время гейши исполняют изящные танцы на сцене и в проходах между зрительскими местами, танцовщиц великое множество, они напоминают ангелов со средневековых картин, изображающих рай, и все они — словно многократное повторение одного вечного символа. На этом празднике я сильнее чем когда-либо почувствовал: только в ритмической стилизации натура в полной мере становится сама собой, только в упрощенной форме кривой линии полностью выражается богатство жизни. Мне казалось, будто мое Я растет и ширится, и все барьеры и границы исчезли, все порывы и влечения растворились в дивной гармонии.

Музыка, сопровождающая эти танцы, непривычна европейцу и не ласкает его слух, но сами танцы здесь были музыкой. И я впервые понял, что движение линий и красок может вызывать те же эффекты, что производятся звуковыми колебаниями. В европейском балете слишком много внешнего, он не способен произвести такое впечатление, игра жестов у наших танцовщиц — лишь копия или интерпретация, но не непосредственное выражение. В принципе японский танец — идеал, осуществить который стремится Жак Далькроз. Однако боюсь, у нас это будет достигнуто лишь наполовину, ведь наши танцовщицы, как бы хорошо они ни были выучены, сохраняют сознание своей индивидуальности; европеец

никогда не забывает, что он «личность». В Японии же идеал осуществлен фактически, по той причине, что эти артистки — гейши. Создания, рожденные и воспитанные для того, чтобы радовать других людей, не помышляя о себе; каждый арабеск, каждое движение они исполняют бескорыстно, никогда не живут в себе и для себя. Зритель, любуясь их танцами, не задумывается о том, что у каждой танцовщицы есть душа. Японские танцовщицы суть то, что они изображают — они словно звуки, издаваемые струнами, пятна цвета, метопы, элементы мозаики, — т. е. элементы, не имеющие самостоятельного значения.

Слава народу, который столь высоко возносит гейшу, не отталкивает ее с презрением, не использует лишь для наслаждения, а посвящает в жрицы. При этом нечто само по себе низкое становится причастным к сотворению высшего. Почетная обязанность гейш — блюсти старинные формы, а значит, они хранительницы самого святого. Снова и снова исполняя танцы и церемонии, в которых находит свое совершенное выражение душа древней Японии, они сохраняют жизнь традиций, пронося их через все времена. И только они, легкомысленные, распущенные, способны хранить эти древние формы. Только этот человеческий тип может существовать как элемент, подчиняясь требованиям ритуалов и церемоний, так как лишь этот тип бескорыстен в метафизическом смысле; только гейши существуют, в полном смысле отрешившись от чего-то в жизни, т. е. в полном смысле слова не имеют собственной личности. И потому у них есть способность, которой лишены автономные типы, — совершенно выражать в иносказании нечто безличное.

Перед началом танцевального представления состоялась чайная церемония. Удивительное чувство я испытал, наблюдая, с каким глубоким пониманием относится к этому сложному ритуалу простой народ. До тех пор пока в Японии будет жить это чувство формы, страна не утратит своей души. Но что ее ждет, если она и тут станет брать себе в пример народы Запада? В Европе даже папа римский уже не понимает глубокого смысла форм, о королях и князьях и говорить нечего, вот британцы, пожалуй, все еще составляют похвальное исключение. Совершенство

ума для англичан оказалось тем же, чем для других народов художественные инстинкты: англичане знают, что форма не только являет содержание, но и творит его, и они все более настойчиво применяют это знание на практике, по мере того как содержание перестает играть важную роль. Сегодня, когда никто уже не верит в божественную милость высшей земной власти, ее первоначальный престиж с особенной силой выражается во всем внешнем, поскольку видимость, со своей стороны, воздействует на сердца людей. В самом деле, чем слабее связи между отдельными частями Британской империи, тем ярче индивидуальность каждой части и тем настойчивее правительство выдвигает на первый план символы. Поэтому у короля Британии — фактически чиновника среди других чиновников — гораздо меньше властных полномочий, чем у его министров, однако он окружен аурой величия, которой позавидовал бы даже шах Джахан.

Разумеется, подобный метод уже не везде эффективен. Англичанам нравится, что форма обладает творческим качеством, а, скажем, немцам не нравится. Отсюда не следует, что немец свободнее, но это означает, что англичанин совершеннее образован. Во всем внутреннем в первую очередь значение выступает как создатель фактов; в значении, которое свободно признают за какой-либо формой, открывается новая, высшая сфера реальности, и форма заставляет осознать эту реальность даже тех, кто самостоятельно никогда ее не разглядел бы. Для японцев эта истина пока еще не подвергается сомнению. Останется ли она несомненной и в будущем? Я склонен опасаться худшего, так как японцы не понимают этой истины, они просто действуют в согласии с нею, но — не ведая, что творят. Если однажды они зададутся вопросом о смысле, а раньше или позже это непременно случится, думаю, ответ они дадут неверный. Они ведь позитивисты, а значит, признают лишь то, что разум постигает непосредственно, к тому же смысл символических истин японцам дается труднее, чем нам, склонным к мистике (японцы считают европейцев в целом очень суеверными).

Возвращаясь к институту гейш (это и в самом деле институт; их непревзойденное искусство соблюдения этикета защищено патентом, и существует эта система с высочайшего разрешения). Наши реформаторы общест-

венной жизни возмущаются, услышав, что подобное явление все еще существует: мол, если гейши не являются личностями, значит надо воспитать личность в каждой из них; недостойно человеку быть каким-то элементом! Господи помилуй! Большинство гейш и есть элементы, и только как элементы они могут достичь совершенства, особенно если речь идет о гейшах по натуре. Не хочу приводить в качестве идеального примера древнее состояние японского общества, но как бы то ни было остается истиной, что его принцип в данных эмпирических условиях позволил элементам подняться на гораздо более высокую ступень самореализации, чем принцип нашего общества. Я имею в виду не только куртизанок, которые в Европе благодаря нашей гнусной системе стоят в обществе намного ниже, чем гейши в японском обществе, — я разумею все общественные классы. Наш идеал — совершенство индивида; возможно, это высший идеал. Однако совсем другой вопрос — каков наилучший путь достижения идеала. Большинство людей, в том числе и на Западе, недостаточно индивидуальны, чтобы они могли стать совершенными, следуя своим инстинктам (это относится даже к Италии эпохи Возрождения). Так как сегодня дух времени уже не поощряет стремление типов к совершенству, индивиды становятся более самостоятельными, но в то же время менее ярко выраженными, чем были раньше. И лучше всего это видно на примере женщин. В силу ее природы женщине труднее, чем мужчине, найти совершенство в самой себе; все великие женщины, каких знает история, стали великими, потому что отдавали себя — мужу, Богу, идеалу. Между тем сегодня даже занимающие самое низкое положение женщины хотят одного — быть «собой». Одураченные, они не понимают, что были бы в гораздо большей мере сами собой, если бы гордо признали свою принадлежность к типу, к которому они действительно принадлежат, и в нем искали бы свое совершенство. В этой форме, созданной мудростью истории и природы, индивид мог бы осуществиться полнее, чем в стремлении к личному идеалу, ибо его обычно представляют себе смутно и лишь в редких случаях последовательно стремятся достичь. Насколько ниже сегодня положение большинства женщин, чем было еще в недавнем прошлом! В совре-

менной Европе высший тип женщины воплощает французская аристократка. Лишь она воспитана так, что может и должна представлять собой то, чем действительно является.

Итак, я провел не одну ночь в японских чайных и гостевых домах, я не раз просыпался утром в комнатках с низким потолком, с циновками на полу. Ночная Япония исполнена интимнейшей прелести. Вид улиц, конечно, не выдерживает сравнения с китайскими, — в японских городах улицы однообразны, темны и тихи, здесь лишь изредка радуют глаз живописные картины народной жизни, что так часты в Китае. Ночная жизнь в Японии протекает не на улицах. За бумажными стенами, с улицы видимая лишь как игра теней, веселая суэта не прекращается с вечерних сумерек до позднего утра, каждую ночь в переулках раздаются звуки лютни и слышится звонкий девичий смех.

Сколько поэзии в ночах, проведенных мной в сельских гостиницах, когда не удавалось надолго заснуть, так как рядом, за стеной, паломники ночь напролет смеялись и весело болтали. А как поэтичны были вечерние часы, когда я после напряженного дня искал отдохновения и находил его в квартале на городской окраине, слушал пение гейш, похожее на щебет, или наслаждался пантомимой, которую разыгрывали эти пестро одетые и загримированные малютки! Как поэтично здесь то, что в Европе начисто лишено всякой поэзии. Флобер, впрочем, пишет: *«Il manque quelque chose a celui, qui ne s'est jamais reveille dans un lit sans nom, qui n'a pas vu dormir sur son oreiller une tete qu'il ne verra plus»*.¹ Но вероятно, он имеет в виду ужасное, достигшее своей вершины в *danse macabre*², так как в жизни европейских гетер отсутствует милая прелесть, неотъемлемая от искренне радостного настроения. Всеми презираемые, ожесточившиеся, они — если от рождения это не тупые животные — слишком много понимают и слишком угнетены заботами, и поэтому они не

¹ В чем-то ущербен тот, кто никогда не просыпался в неизвестно чьей кровати, никогда не видел подле себя на подушке лицо, которое он никогда в жизни больше не увидит (фр.).

² Пляски смерти (фр.).

могут быть по-настоящему веселыми, если же они веселятся, то их веселость выглядит агрессивной; их любовь, при всей ее великой искусности, неизменно несет на себе отпечаток пошлости. В Японии пошлость чужда даже самым дешевым девкам. Женственность японок это сплошное очарование, и очарование воспитывается, оно представляет собой самоцель. А так как женщина не видит никакого бесчестья в том, чтобы отдаваться мужчинам за деньги, и мужчина не считает постыдным посещение публичных домов, то в домах этих царит атмосфера невинного веселья, подобно той, что у нас, например, на детском празднике, вокруг рождественской елки. Европейцы, впервые посещающие японский лупанарий, являются собой поучительное зрелище: поначалу их лица кричат с тем гадливым выражением, которое неизменно отличает мужчин, вступающих на путь порока; однако это выражение недолго искажает лицо даже самого толстокожего — в очень скором времени европейские господа начинают веселиться с той же невинной радостью, что и сами девицы, и вскоре у них начисто пропадает мысль о том, что они пустились во все тяжкие, если исходить из понятий, принятых у них на родине. Верно говорят, что к чистому человеку грязь не пристанет. Для японцев само собой разумеется, что потребности пола нужно удовлетворять, они и в половом акте не видят чего-то гадкого, а девушки вовсе не считают себя обесчещенными, если они выбрали себе профессию непривередливой любви к ближнему. А поскольку так они мыслят и ощущают, к ним не пристаёт ничего гадкого, более того — посетитель, покидая бордель, уносит с собой отблеск их чистоты. Насколько же наше типическое ощущение в этой области ниже японского! Разумеется, объективно следует считать неблагополучным то, что в обществе есть проститутки и спрос на их услуги, но полностью ликвидировать это положение никогда не удастся. Человеческая природа так устроена, и никакие попытки положить предел внебрачным половым связям не будут успешными, ибо на смену устраненному пороку придет другой, быть может более худший. Не лучше ли предотвращать зло так, как это делают в Японии, т. е. перестать видеть в нем зло? Я, конечно, понимаю: перестав считать зло — злом, японцы переходят к новому злу,

как и все в этой стране в известном смысле ведет ко злу. Но, во-первых, мужчины до брака никогда не живут целомудренно и их полигамный инстинкт никогда не отомрет; во-вторых, всегда будут рождаться на свет женщины, которые способны существовать и быть счастливыми только в пределах бытия гетеры, — так, может быть, стоит относиться к фактическому положению дел так, чтобы оно не стало еще хуже, чем есть? В Японии нет никаких препятствий к тому, чтобы душа продажной женщины оставалась чистой, поэтому и ей нет никакого резона портить тех, кто ею владеет. В Японии ей не закрыт путь из публичного дома в добропорядочную буржуазную жизнь. В Японии тех, чей способ зарабатывать себе на жизнь связан с юностью и свежестью тела, не обязательно ждет безотрадный конец. Сословие куртизанок в японском обществе признают, оно в своем роде уважаемо, как любое другое. И как любое другое сословие, оно представляет собой замкнутое целое, но в то же время его существование зависит от обмена с внешней средой. Что и говорить, оно имеет свою общественную задачу, и это придает ему то специфическое самоуважение, без которого немыслимо ни одно сословие. Я писал уже о привилегии, которая предоставлена гейшам как хранительницам традиций танца, песни, игры и пантомимы, т. е. живой души Древней Японии. По-видимому, во многих борделях гейши выполняют аналогичную идеальную задачу, которую подобающим образом ценят; в некоторых заведениях процветают высшие достижения традиционного стиля и образованности. Бордель в Киото входит в число исторических памятных мест. Он существует уже несколько веков и управляется потомками его первых хозяев. Сюда охотно заглядывают видные деятели страны, чтобы в веселом кругу забыть о важных делах или без свидетелей провести особо сложные конфиденциальные переговоры. Помещение украшает прекрасная стенная роспись, выполненная прославленными мастерами, каждая комната, как в английских королевских замках, имеет особое название. Что касается обитательниц, их поведение подчинено строжайшему этикету. Нигде нет дам более благовоспитанных и одевающихся более изысканно, беседующих более изящно и использующих в беседе более утонченные обороты речи, — здесь хра-

нят традиции придворного стиля. И эта заслуга признана государством сполна: во время ежегодного императорского праздника гейшам из этого заведения дано право выступать в первых рядах торжественной процессии.

Отношение японцев к вопросам пола — в пределах, доступных моим наблюдениям — не ниже, чем наше, а напротив, выше. Конечно, существующую реальность нельзя считать наилучшим из возможных воплощений идеала, от него она как раз далека. Но идеал как таковой есть нечто высшее, и в этом смысле я не знаю лучшего, чем у японцев, отношения к вопросам пола. Ведь и наши попытки реформ, как бы ни хотелось это отрицать их поборникам, произвольно движутся в сторону японского идеала. Говорят, мол, надо искоренить «аморальность», это плохо получается, но попутно все же достигается нечто положительное: на падших женщин смотрят приветливо, делают все возможное, чтобы повысить самосознание гетер, незамужним матерям все реже приходится влачить жалкое существование, которое недавно еще было их неизбежной судьбой. Что это означает, если не то, что христианский мир начинает понимать, что со злом, укорененным в самой природе человека, можно бороться, только перестав видеть в нем зло. Падшая девушка, не стыдящаяся своего падения, не обречена в обществе опускаться все ниже. Чем заниматься морализаторством, лучше создавать такой мир, в котором все негативное превращается в позитивное. Любая форма может вмещать позитивный смысл; дело за нами — мы должны этот смысл в нее поместить. А затем уже новый смысл приведет к новому, лучшему положению дел.

Продолжаю наблюдения, начатые вчера. Не так уж сильно ошибался китаец, утверждавший, мол, подлинная причина того, что европейцы приняли идеал целомудренной жизни, — дикая брутальность, обращенная против всего азиатского, мол, нужно показать им идеал, который резко противоречит их подлинной натуре, а вот мягкие люди Востока, поскольку они нередко вегетарианцы и потому в них меньше от животных, могут без всякой опаски открыто предаваться своим природным склонностям. Что верно то верно: таким брутально чувственным, как самый заурядный европеец, на Востоке человек

предстает лишь в исключительном и ненормальном случае. Где «дух времени» не поставил искусственных барьеров, там европейская атмосфера возбуждает чувственность настолько, что каждый, кто долгое время жил вдали от этой атмосферы, воспринимает ее как патологическое влияние. Не будет слишком сильным, если я скажу, что во Франции на «белых балах» пахнет куда хуже, чем в японском борделе. Что бы ни выставляла напоказ европейская женщина — от ажурных чулочек до чистоты и невинности — все самым тонким образом продумано и должно вызывать вождение у мужчин: даже одежда, которую она надевает, кажется, бросает вызов — сорвать ее с тела. А так как культура нашего общества, что ни говори, обязана своим особенным характером той роли, какую в ней играет женщина, весь смысл бытия сосредоточивается на эротике. Не следует думать, что эротика проистекает из свободных воззрений на любовь, которые постепенно набрали силу в Новое время: с точки зрения психологии, отрицание и утверждение всегда указывают на одно и то же; чопорность пуритан в этом смысле равнозначна цинизму распутника. Причем настолько, что, как справедливо заметил мой китайский приятель, наша приверженность идеалу целомудренной жизни на самом деле с головой выдает нашу непомерную чувственность.

А затем китаец заявил, что идеал целомудренности нужен нам, чтобы хоть мало-мальски себя обуздывать. Однако с этим нельзя безоговорочно согласиться, достаточно напомнить, что желание любовной связи ничем так не усиливается, как сознанием ее греховности, если о такой может идти речь. И все же в мысли китайца больше правды, чем кажется на первый взгляд. У французов, чьи эротические порывы встречают наименьшее сопротивление со стороны психики, конечно, гораздо больше искренности и, следовательно, чистоты, чем у англичан или немцев. И культура чувств у них выше, ибо она может появиться там, где ее не игнорируют. В то же время эротика играет у французов такую роль, что возникает вопрос: может быть, чуть большая мера лицемерия и варварства в целом принесла бы им больше вреда, чем отношение к жизни, которое именно потому, что оно максимально соответствует данной натуре, серьезно пре-

пятствует воспитанию благородства. Это же, но в несколько меньшей степени, справедливо по отношению к католическим областям Германии и Австрии. Между тем жители северных протестантских земель Германии, конечно, не менее чувственны, чем католики южных. Там же, где возникает подобная видимость, она основана на меньшей дифференцированности, но не на слабости инстинктов. У северян, в силу унаследованных от предков протестантских склонностей, к любви всегда примешивается чувство греховности, так что даже свободные от предрассудков люди лишь в исключительных случаях решаются дать полную волю своим инстинктам, поэтому в целом они ведут себя лучше, чем можно было бы ожидать, зная их природу, и со временем действительно становятся лучше, ибо воспитание изменяет природные задатки. Брутальность превращается в силу и мощь. В этом смысле, нам, пожалуй, и впрямь полезно верить в греховность соития.

Нет лучшей иллюстрации слепоты, в том числе и душевной, большинства путешествующих по свету, чем представление, которое они насаждают в Европе: дескать, азиаты в сравнении с христианами «чувственны» и «порочны». Истине соответствует полная противоположность этого убеждения. Никому же не приходит в голову обвинять в порочности животных, не имеющих никаких психических тормозов. А если так, то народы Востока не чувственны по сравнению с нами, жителями Запада; и в остальном их инстинкты также намного менее brutальны, чем наши. Вероятно, на Востоке люди сравнительно чаще вступают в половые связи, при здешних климатических условиях это вполне естественно. Конечно, у некоторых народов, в основном речь идет о китайцах и индийцах, *ars amandi*¹ очень высоко развито. Но не этот факт решает дело, а лишь значение, которое придают факту. Эротика для восточного человека значит гораздо меньше, чем для нас. Он считает само собой разумеющимся, что у него есть потребности пола, которые он удовлетворяет; его сознание эти вещи не занимают. Повторю еще раз: атмосфера в восточном борделе несравнимо менее чувственна, чем на европейских «белых ба-

¹ Искусство любви (лат.).

лах»! У нас, если женщина покажет кончик туфельки, это значит куда больше, чем если японка разденется догола. Изысканные образованные дамы, проживающие в крупных европейских городах, при общении с мужчинами агрессивны — на Востоке ни одна самая простая девка не осмелилась бы так себя вести. А уж если вспомнить Индию!.. Как удивительно мудро этот народ разрешил вопрос пола, мудро именно с точки зрения духовного прогресса, которым индийцы занимаются куда серьезнее, чем наши христианские ханжи! В Индии никогда не пытались применить к природе силу, ибо много столетий тому назад поняли то, что у нас совсем недавно открыл Фрейд: что вытесненные влечения оказывают на человека гораздо большее негативное воздействие, чем любые дурные мысли, в которых он себе признается без принуждения. В Индии монашеские настроения у человека, не призванного быть йогом, считают злом: пока мужчина не стал дедушкой, нормальные проявления его естественного влечения ничто не сдерживает, наоборот, их поощряют, и нет никаких барьеров, которые могли бы возникнуть, если бы индийцы исходили из предположения, что любовь греховна или безобразна. Однако здесь ставятся другие ограничения, истоком которых является святость любви. Индийцы считают любовь божественной, и поэтому изображения эротического содержания в Индии никогда не бывают порнографией, это напротив, индийская иконография. Но в каждом отдельном случае любовь еще и особо освящают. Супружеские отношения неразделимо связаны с таким множеством религиозных представлений, что чувственность одухотворяется вся без остатка, и именно то, в чем христианство видит уступку требованиям греховной плоти, здесь становится средством духовного прогресса. Освящается даже общение с девками, если уж оно кажется неизбежным (в Индии, где гораздо чаще, чем у нас, заключаются браки, потребность в нем меньше). Кающиеся грешники, давшие обет целомудрия, не всегда могут вполне освободиться от плотской чувственности. Если ее искусственно подавляют, возникает опасность, что фантазия вместо того, чтобы все больше очищаться, заполнится грязными видениями, как это было со святым Антонием. Поэтому удовлетворение требований инстинктов становится для

них жертвой, когда они пользуются услугами гетер, а те со своей стороны оказывают эти услуги во имя Божие. Однако осмысление чувственности всюду определяет характер фактической данности; эта трактовка, может быть, носит характер софистики, но если она проникнута доброй верой, то она позволяет жаждущему свободы духу, предаваясь власти природы, избежать оков.

Следствие же всего этого — то, что в Индии, за исключением княжеских дворов, царит атмосфера, чуждая чувственности, и только она объясняет, почему занятие философией и религиозная медитация сделали в Индии столь поразительные успехи. Смысл любых ограничений половой жизни состоит лишь в том, что в целом она должна играть роль не более важную, нежели та, что подобает ей от природы. Гипертрофию сексуальной стороны жизни, которая может привести поистине к пагубным последствиям, лучше всяких репрессий устраняют обеспеченность и оправданность нормального проявления инстинктов. У нас эта возможность существует только в форме брака. Восток же сумел устроить нечто подобное и вне брака, и в здешних публичных домах царит такая же атмосфера, как на Западе в добропорядочной семье, и этим Восток будет славен вовеки веков. Можно привести сколько угодно фактов, доказывая аморализм Востока — они ничего не доказывают и не могут доказать, ибо все зависит только от значения, а по своему значению японская распущенность не слишком сильно отличается от целомудрия сексуально холодных англичанок.

У нас эта прекрасная система не применима. Не потому, что мы лучше, а потому, что мы, с одной стороны, слишком грубы, с другой же — слишком скованы христианской идеей аскетизма, но главное, потому, что мы слишком привержены *matter of facts*. Факты сами по себе кажутся нам более значительными, чем их смысл. И все-таки мы движемся в сторону большей непринужденности. Если поначалу все слишком жарко спорят, отстаивая красоту жизни как таковую, возможность каждого человека жить полной жизнью, право каждой женщины на радости материнства, причем традиционные границы огульно отбрасывают как предрассудки, то эти споры — нормальное явление, будные дебаты обыч-

но предшествуют свободному и деловому осмыслению будущего. Несомненно, супружество постепенно перестанет быть *conditio sine qua non*¹ для деторождения, факт девственности будет играть не слишком важную роль в решении вопроса о девичьей чести, женщина будет все свободнее и получит наравне с мужчиной возможность подчиняться в жизни лишь своему личному закону. Но старые социальные формы из-за этого не отомрут, они будут существовать, как и раньше, даже количественно они не уменьшатся. Просто наряду с ними будут считаться нормальными и другие формы, поскольку прогресс западной культуры состоит в том, что человеку для оправдания своего особенного бытия приходится отвергать как непригодные все меньшее число форм.

Каждый, в ком есть хоть капелька чувства стиля, т. е. не требующий от бабочки свойств и качеств бегемота, составит себе единственное мнение о японской женщине: что это одно из самых совершенных и одно из немногих вполне завершенных произведений творения. Я не собираюсь описывать ее отдельные достоинства — это давно сделано настоящими мастерами слова. Да и трудно мне было бы оставаться объективным, атмосфера японской женственности мне настолько симпатична, что я не заметил в ней почти никаких недостатков. Удивительно приятно любоваться женщинами, которые воплощают чистую грацию, не стремятся казаться кем-то и остаются сами собой, они ничего не стараются показать, кроме того, что они действительно умеют, и нрав их сформирован, можно сказать, с предельной полнотой.

В глубине души не очень-то многие девушки в Европе желают чего-то другого или отказались бы довольствоваться тем, что дано их восточным сестрам, а это значит нравиться, быть по-женски привлекательными; все прочие, духовные, стремления служат им лишь средством для достижения этой цели. А как много у нас девушек, которые, казалось бы, живут лишь чисто духовными интересами, но на самом деле были бы рады вдохнуть полной грудью и, отказавшись от столь хитроумного, но, пожалуй, единственно доступного им в нашем мире спо-

¹ Непременное условие (лат.).

соба привлечения к себе мужчин, любить свободно, как японки! Однако это им вряд ли удалось бы, да и не удаётся тем, кто решается на подобную попытку. Современные девушки у нас слишком сознательны, чтобы стремиться к совершенству в форме наивности, слишком много знают, чтобы их привлекала чистая грациозность, но прежде всего, это слишком богатые натуры, чтобы им было легко достичь своего совершенства. Ни одна из современных западных красавиц не сравнится прелестью с благовоспитанной японкой.

Конечно, здесь играет роль не одна лишь эстетическая ценность — в качестве высшей ценности эстетическая привлекательность может быть признана лишь тогда, когда форма полностью выражает содержание, как в лучших типах древнего Китая. У японки форма не такова. Японку совершенно невозможно принимать всерьёз как личность, и потому правы те, кто ставит ее ниже европейской женщины. Однако им можно возразить, напомнив, что любое завершение лучше, чем отсутствие такового. Как ни совершенны многие европейские женщины, чей тип восходит к далекому прошлому, я не знаю среди них ни одной, которая не была бы лишь небрежным наброском ее собственного, особенного идеала. Поэтому я отдаю пальму первенства среди современных женщин японкам.

Но скоро и японка, о какой я веду речь, останется в прошлом, как это уже случилось с высокородными европейскими дамами. Всякий наделенный эстетическим чувством человек с грустью вздохнет, размышляя об их судьбе. Они уйдут, и с ними исчезнет одна из самых сладостных прелестей земли, и в скором времени ничего равноценного не явится им на смену, как бы нам этого ни хотелось. Конечно, европейская женщина занимает в жизни более высокое положение, чем японка, перед нею открыты гораздо большие возможности, у нее сформировано больше черт личности, и сама семейная жизнь у нас, в идее, стоит выше, чем в Азии. Однако преимущества нашего устройства, о чем часто забывают японцы, существуют в основном как абстракции, а ценность абстрактных истин всецело зависит от того, как они соотносятся с конкретным: лучшая система не обязательно создает лучшую реальность. А вот уничтожает реальность

она очень легко. Японка, какая есть или какая была, представляется совершенной; если ее сознание соответствует ее положению, она счастлива не меньше, чем американка; далее, если судить по ее достоинствам, она есть непосредственный продукт господствующих отношений. Если отношения изменятся, то и достоинства японки исчезнут. Удастся ли ей при этом занять иное положение — лучше бы не занимать! — которое кажется тем более сомнительным, что наши женщины еще весьма далеки от состояния, когда мы могли бы сказать, что они заслуживают менее строгих ограничений.

Каждый определенный статус оказывает положительное влияние на жизнь, это аксиома. Положительное в том смысле, что он обуславливает появление определенных форм, невозможных при каком-то другом статусе. Некоторые из этих форм радуют, другие, напротив, малоутешительны, а в абсолютном смысле ни одна форма не совершенна, так как любые детерминации одновременно являются и ограничениями. Но вот чего ни в коем случае нельзя упускать из вида: достоинства всегда намного лучше, чем слабости. Природа, по-видимому, не располагает многими возможностями для негативного развития. С одной стороны, то, что катится вниз, удерживается с трудом и не может умножаться путем наследования; с другой стороны, негативное еще и потому негативно, что оно обуславливает угасание. Поэтому схожи между собой все типы, развитие которых устремлено книзу; слабые или потерпевшие неудачу существа похожи во всех странах и во все эпохи. И наоборот, при движении вверх многообразие, очевидно, вообще не имеет границ. Достаточно представить себе богатство разнообразных качеств, возникших у человека в результате его изменения под воздействием трудных условий: жизнь, находящаяся на подъеме, всегда и везде пробивает себе дорогу; в соответствии с изменяющимися условиями расцветают все новые красоты, и каждая прекрасная форма может появиться при определенных, никогда не повторяющихся условиях. Поэтому совершенство японки есть непосредственный результат ее статуса, т. е. положения, какое она занимала на протяжении столетий. Что бы мне ни возражали — ему и только ему мы обязаны появлением японки, какова она есть. До чего же убо-

гим кажется мне аргумент, дескать, она заслуживает лучшей судьбы, ведь она так прелестна. Никто никогда не заслуживает того, что лишает красоты. Пусть в абстракции новые условия жизни обладают огромными преимуществами — прежний тип женщины при них не сохранится, не выживет. Япония же вряд ли выработает новый тип, равноценный прежнему, во всяком случае, он не будет отвечать новейшему европейскому идеалу, так как японская психофизическая мерка для этого покроя окажется мала. Идею прогресса можно, конечно, представить в виде прямой линии, но подлинный прогресс, если о таковом вообще можно говорить, имеет вид кривой или, чаще, ломаной линии, она снова и снова совершает повороты, потому что каждый человеческий тип, как правило, способен к совершенству лишь в чем-то одном.

И еще два слова о пресловутой распущенности японок. Европейцу кажется чудовищным, если девушка продает свою чистоту ради того, чтобы успешно справляться с какими-то другими возложенными на нее обязанностями. Разумеется, это не следует понимать в том смысле, что японка — некое идеальное существо, которое жертвует самым ценным в себе ради чего-то объективно более высокого. (Хотя воспитанное в ней отсутствие эгоизма столь велико, что ее поведение часто производит впечатление глубочайшего метафизического знания. Гейша порой обманчиво похожа на святую.) Нет, чистота для нее действительно меньше значит, чем для европейской женщины. У всех народов Востока потворство природным инстинктам разумеется само собой, если его ограничивают, то лишь по внешним причинам, а наших внутренних барьеров на Востоке не знают. И тут я спрашиваю: действительно ли так высок европейский идеал чистоты? Его историческая основа — раннехристианские аскетические идеи, согласно которым половые отношения греховны, что неверно. Насколько я понимаю, прочная основа идеала — это чисто утилитарные соображения; целомудрие девушки представляет собой, с одной стороны, уступку мужскому эгоизму, а с другой — расчет на него. Ни от чего женщина не далека так, как от идеализации девственности, ее идеал как раз напротив — соитие; оно и должно быть идеалом, ведь в сознании девушки доминирует влечение к браку. Если бы дев-

ственность как таковая и в самом деле была высшим идеалом, он прямоком привел бы к апофеозу себялюбия. Можно сколько угодно идеализировать, но борьба женщины, любой ценой отстаивающей свою чистоту, это не что иное как самоутверждение. В этой связи, конечно, нет сомнений, что японка, продающая себя в борделе, чтобы материально помочь брату, который сражается, защищая отечество, представляет собой высшее существо. Европейские женщины оценили бы ситуацию не так, как принято сегодня, если бы умели тонко ощущать, но они редко способны увидеть разницу между чистотой, понимаемой как верность, и чистотой в смысле девственности (физического факта). Что касается верности, тут японка никому в Европе не уступает, нет женщин более целомудренных. А если в отношении девственности они мыслят более вольно, то разве это не говорит о том, что у них более верные инстинкты и более свободное, непри-
нужденное мышление? Не начинают ли и наши лучшие мужчины и женщины подходить к этим вопросам как японцы? Стоит сравнить наше представление о скромности с японским. Наши женщины являются на бал чуть ли не голышом, их туалеты явно служат для того чтобы прельщать, однако они сгорели бы со стыда, если бы кто-то посторонний увидел их в ванной. А японка без всякого стеснения может во время купанья показаться голой хоть всему свету, но никогда не осмелится прийти на праздник в неподобающем туалете. Все дело ведь именно в намерениях... Чей же взгляд глубже и чище?

Исё

Я нахожусь в самом священном месте поклонения синтоистов — у храма Аматерасю Омиками, храма в честь божественной праматери императорской семьи. Насколько больше настроения в этом простом, квадратном в плане, крытом соломой здании, которое каждые двадцать лет отстраивают заново, чем в сверкающих золотом храмах Будды! Лучший дух Японии обрел здесь свое святилище. Дух честности и чистоты, верности, готовности к самопожертвованию, преданности императору и отечеству, дух смелости, отваги, рыцарской жажды

приключений. Это дух японца, каким он видит себя в зеркале своих идеалов. Каждый паломник чувствует этот дух, приближаясь к святилищу, — он охватывает человека, возвышает и, заставляя покинуть пределы мелкого личного Я, уносит прочь. И человек чувствует свое единство с бесконечной чередой тех, кто был до него, единство с Японией, бессмертной империей. И дух этот охватил меня. Из глубин моего сознания поднялись неведомые мне, но в то же время как будто знакомые чувства, они соединились и образовали мою новую душу, отчасти похожую на душу грека древнейших эпох. Да, конечно, я тоже лишь звено в бесконечной цепи жизней. И я, несомненно, соединен со всеми, кто жил до меня, и мой смысл заключен не во мне, а в том, что выше индивидуального, в роде, из которого я происхожу, который воплощаю и который я обязан продолжить. Я задумываюсь — что же есть символ этого надындивидуального, того, что я так отчетливо ощущаю и все же затрудняюсь точно определить. И вдруг вспоминаю о своем предке, основателе нашего рода, далеком пращуре, которому все мы, потомки, обязаны своим появлением на свет. Он одухотворил всех своих потомков, и он живет во мне, его я обязан почитать, любить, к нему должен испытывать благодарность. В те минуты, когда я с молитвой на устах вспомнил о нем, в моей душе пробудились самые благородные порывы. Я хочу жить, как мой предок, благородный герой, хочу быть достойным его памяти. Он был совершенным во всех отношениях, тогда как я даже не могу вообразить себе это совершенство в полной мере. И послужить совершенству я лучше всего могу, если устремлюсь к высшему идеалу. Таким образом, любой идеализм становится для меня поводом для культа.

Какая глупость — с насмешкой относиться к культу предков, считая его суеверием! Конечно, почитание предков — признак ранней стадии развития, однако, если это истинное, живое уважение, то сознание реальности оно выражает так же, как на высших стадиях развития натуры способна его выражать лишь высочайшая религиозность. В самом деле, ведь человек внутренне связан со всем, что было до него и будет после, и близкий к природе дикарь понимает эту связь лучше, чем последний отпрыск древнего рода. На высоких ступенях

развития живые древние связи сохраняются и живут только в сознании женщин; только женщина чувствует свое непосредственное единство со всем родом, ее ум редко бывает достаточно самостоятельным, чтобы подавлять природные чувства. К тому же смысл бытия наследников древних традиций, старинных аристократических семейств сознательно ставится превыше индивидуально — древний дух сохраняется благодаря чувству ответственности и гордости потомков. Сознание женщины и сознание мужчины-аристократа не поверхностно, оно глубже, чем сознание интеллектуалов, утративших свои корни. Глубина в данном случае — это глубина лишь одного вида, глубина природная; сознание единства у человека, почитающего своих предков, не выходит за эти пределы, но ведь там, где душа еще сохраняет свои физиологические связи, и невозможно непосредственное сознание атмана. Конечно, идеи, в которых воплощается сознание реальности, редко имеют глубокий смысл, но от примитивного человека нельзя требовать, чтобы его мысли были столь же ценны, как его смутные представления и чувства. Поэтому наблюдатель, чей ум не свободен, редко находит привлекательными формы, которые принимает культ предков, особенно в Японии, где идейное содержание этого культа не ясно. Для японца мысль значит так мало, понимание абстрактного у него так слабо развито, он ощущает столь мимолетное недовольство, столкнувшись с умственно малоразвитым человеком, что было бы, пожалуй, безнадежным предприятием пытаться понять его национальный культ. А этот культ, если судить по внешним чертам, представляет собой странную смесь поклонения предкам и природе, магии и *point d'honneur*¹, нравственности и устремленности к идеалу, грубых суеверий и первобытного чувства реальности. Если кому-то из японцев объяснить, что поклонение микадо основано на том, что предки императора были властителями предков всех прочих японцев, то ни объяснением, ни даже подобием объяснения все эти доводы не будут являться, они окажутся лишь констатацией факта, так как тот, кто не знает в своей жизни чего-то сходного с этим культом, никогда его не поймет. Тем не менее по-

¹ Понятие чести (фр.).

клонению микадо придают самый глубокий смысл, ибо оно есть метафизически предельное. Специфическое явление служит лишь его выражением, причем таким, какое сообразно только японцам, но зато оно им соответствует, как ни одно другое. На днях в токийском бактериологическом институте был торжественно открыт синтоистский храм, посвященный Роберту Коху. Никто из профессоров и студентов — они наверняка агностики — конечно, не думает, что Кох — божество, и, пожалуй, лишь немногие верят в то, что жизнь нашего ученого продолжается после смерти. Но все сочли факт создания храма и оказание ритуальных почестей адекватным выражением общего почтения к великому ученому.

Безусловно, правительство поступает правильно, оказывая всемерную поддержку возрождению синтоистского культа: как ни один другой, он пробуждает в душе глубочайший трепет или дает ему выражение. Недавно Б. Х. Чемберлен заметил, что синтоизм, который сегодня стал государственной религией Японии, это некое новое изобретение; в течение тысячи лет единственной религией Японии был буддизм, а то, что сегодня представляют миру как древнейшее вероучение, есть лишь искусственно сфабрикованный продукт. Пожалуй, это верно отражает факты. Но тем менее верно — их смысл! Лишь потому за какие-нибудь полвека удалось насадить в качестве унаследованной от предков веры артефакт, что его форма соответствовала глубочайшей внутренней сущности японской души. Если бы кто-то попытался подобным образом насаждать христианство, ничего бы не вышло. И еще я думаю, что особые формы культов и верований — это измышления священников, наверняка ведь кто-то их выдумал. Однако там, где удалось привить их жизни, они породили общую тенденцию к наилучшему выражению. Да, конечно, правительство поступает мудро, всячески поощряя и поддерживая синтоизм, и оно, разумеется, знает, зачем это делает. Нынешнее положение Японии небезопасно — ее не дифференцированный, безликий народ поддался влиянию цивилизации, внутреннее условие которой — крайний индивидуализм. Внешние аспекты этого влияния несут народу благо, что Япония уже блестяще доказала. Но если дух этой цивилизации завладеет японцами слишком рано, можно опа-

саться самого худшего. Японцы не настолько далеко ушли вперед, чтобы каждый сам по себе мог действовать сообразно смыслу общего целого, их метафизическое знание еще не обрело иного выражения, кроме выражения в чувстве их общей, взаимной физиологической связи. Если этот народ утратит свое примитивное групповое сознание, свое самосознание в смысле *cite antique*¹, связь распадется. Все японцы, в ком уже не живет дух древней Японии (Yamato damashii) отвратительно поверхностные люди.

Мияносита

Впервые с тех пор, как я живу в Японии, мне вспомнились Гималаи. Я вспомнил, как мечтал там, в высокогорной котловине, сидя у бурного водопада, низвергавшегося с отвесной скалы на пышные вьющиеся растения. Я вспомнил горные леса, и как я бродил там, полный восхищения. Здесь, в Японии, ландшафт также обнимает великолепная рама, вокруг высятся голые дикие скалы, там и сям видишь струйки пара, поднимающиеся от сернистых источников, вдали вздымается к небу заснеженная вершина Фудзи со склонами, покрытыми темным сосновым лесом. Как и в Гималаях, здесь тоже есть нечто приятное — удивительно богатая растительность, в которой то и дело замечаешь уединенные приюты, где ничто не нарушает идиллической красоты озер и источников, окаймленных пышными папоротниками. Отчего же я остаюсь совершенно равнодушным к здешнему великолепию? Тому виной хитрые человечки, которые сообщили свой характер этим местам: их понимание природы столь велико и все-сильно, что они поработили свое природное окружение, привив ему свою эстетику. Как одно-единственное цветочное пятно может стать определяющим и даже полностью изменить смысл живописной картины, так японец, целеустремленно подчиняя свою жизнь окружающей природе, перенес ее основной тон на себя самого, причем в такой мере, что даже величайшее в природе уже производит впечатление чего-то, заполняю-

¹ Античный полис (фр.).

щего место малого. Но тем самым великое изгоняется из мира.

Конечно, способность японцев видеть в малом великое, постигать, впитывать и затем порождать заново есть нечто весьма великое, с точки зрения абсолюта. Исключительное чувство природы у японца представляет собой то же, что у индийца или у нас чувство вселенной. Лишь глупец усмотрел бы слабость в том, что у японца отсутствует это вселенское чувство. Здесь можно пойти дальше: что хочет сказать мистик, утверждая, что его душа входит в бесконечное? Он не имеет в виду исчезновение капли в океане, наоборот, он хочет сказать, что капля вбирает в себя весь мировой океан. Именно это, но в своей области, совершается в японском искусстве. Однако данное рассуждение ничего не изменяет в том факте, что, при всех возможностях японского бытия, великолепию в нем нет места. К великолепию, может быть, стремятся, но его никогда не достигают, так как малое не способно оказывать воздействие великого. Когда муравьи защищают свой муравейник самоотверженно и с презрением к смерти, какого, пожалуй, не встретишь у людей, мы этим восхищаемся, однако великим не считаем, — все определяется пропорциями исконной взаимосвязи. У китайцев все отдельное восходит к Дао, и соответственно фон всего китайского мира — небеса. А в Японии все ограничивается рамками человеческой жизни, и высший синтез здесь — не Космос, а Япония. Поэтому кажутся живым чудом девушка, которая, заливаясь слезами, идет на смерть ради любимого, и суровый самурай, совершающий самоубийство, если его чести нанесено оскорбление. Все семейные трагедии запечатлены на этой картине. Героизм как великое выходит за ее рамки.

Не следует недооценивать значение количественных факторов. Спустимся с вершин абсолюта — а это придется сделать, коль скоро мы хотим по справедливости оценить отдельные явления, — и тогда нельзя не признать, что существует разница между тотальным и отдельным, между хризантемой и божественным творцом миров. Конечно, все живое божественно; всякий человек на свой лад участвует в сотворении мира, а так как он при этом подчиняется общей взаимосвязи, то в каждом совершенном выражении непосредственно открывается

смысл общего целого. Но тот, кто творит в великом, имеет иной калибр, нежели художник-миниатюрист. Одной единственной своей мыслью Бог вызывает мириады вибраций пчелиных крылышек, и все, что совершает пчела, происходит с Божьего соизволения. Вероятно, в отдельном Бог не состоятелен, он вряд ли мог быть хорошим художником-миниатюристом. Бог тоже ограничен, именно потому, что он всемогущ и, будучи всемогущим, предоставил создание отдельных вещей маленьким людям; он сделал это так же, как, по-видимому, всегда все делал, — не без вынуждающей к действию причины. Разумеется, нечто великое ограничено лишь в этом смысле, т. е. так же, как ограничено и малое; и все же великое больше малого. Пока мы пребываем в мире явлений — а знает ли кто, удастся ли нам когда-нибудь вырваться из его пределов? — мы должны с этим считаться. Пока простое понятие возрастания будет обладать смыслом, до тех пор количество останется объективной ценностью. Следовательно, великолепно больше приятного на вид, каким бы совершенным это приятное ни было. В Гималаях природа такова, что ее черты можно постичь лишь с точки зрения космоса. Этот ландшафт не вмещается в обычные человеческие масштабы; но, пусть покрывающая Гималаи флора сколь угодна пышна — она кажется лишь патиной на колоссальном медном сосуде. В Японии я не видел ничего, что было бы недоступно простому человеческому разумению. Конечно, местами в природе Японии заметно что-то величественное, но великой остается лишь внешняя рама, а главное значение при этом имеет изображение. Отдельная цветущая ветка на фоне ничем не заполненного пространства, — вот излюбленный мотив многих японских художников. Он рождает в душе чувство бесконечности. И все-таки повод к этому чувству дает сама цветущая ветка, и лишь она окрашивает в свои цвета наши чувства.

В том, что касается этих вопросов, наши современные понятия кажутся довольно-таки спутанными. Приняв ту истину, что все совершенное выражает бесконечность, мы перестали замечать различия в каких-то других измерениях. Цветущую ветку у нас ставят наравне с Богом. Само по себе это бы еще не беда — разве суждения критиков хоть на что-то влияют? — но в конце концов это

приравнивание становится роковым, ибо оно портит творческих людей. Райнер Мария Рильке, натура тонко чувствующая, нежная, порой, воспевая осеннюю опавшую листву, поднимается до божественного откровения. Но когда он прямо пишет о Боге, он не достигает цели. Рильке из тех людей, для кого цветок есть самое явственное выражение вечного. Непосредственные откровения о божественном ему следовало бы предоставить людям величайшего духа.

Никко

И все-таки в Японии есть нечто великое. Ландшафт Никко, с его острыми скалами, буйными водопадами, гигантскими елями и криптомериями, грандиозен. Такое впечатление он производит прежде всего потому, что, служит рамой для бытия могучих людей. В храме Иэясу веет духом величия, какого я нигде не ощущал после Пекина.

Иэясу, основатель династии Токугава, той, что свыше двухсот лет на деле вершила судьбами страны, хотя официальная власть принадлежала микадо, был могучим человеком, его можно поставить в один ряд с величайшими мужами всех стран света. Подобно тому, как количественное смещение во всей здешней природе приводит к ее качественному изменению, так и в этом человеке тип японского правителя претерпел существенную метаморфозу. Не мифический нимб, не престиж вельможи, не преимущества знатности рода, ума или силы стали основой его власти, а то по-настоящему господское преимущество, которое объемлет все отдельное и все же высится над отдельным в истине царственном величии. Это величие — знак всех истинно великих королей. Этот дух правитель завещал своим преемникам, и сегодня он властвует в Никко, над гробницами всех Токугава и их вассалов, создавая атмосферу, какой в Японии нигде больше нет.

Удивительно, что один человек смог создать тип, который, если сравнить его со всеми прочими японскими типами, словно обретается в ином измерении! И в первую очередь удивительно, что тип этот не вымер, а сохранился по сей день! Я не знаю более впечатляющего примера

того, сколь огромное, решающее значение для характера картины может иметь ее рама. В зависимости от внешних условий жизни, обретают свободу те или иные силы, жизненный принцип модифицирует и человека как явление в меру своих выразительных возможностей. Престиж, власть, богатство, рабская покорность подданных, — не менее важные формирующие силы, они образуют и воспитывают душу и часто совершенно внезапно вызывают ее радикальную метаморфозу. Это подтверждает народная мудрость: «Дал Господь власть, даст и разумение». Однако о существенном народная мудрость все же забывает: не каждый, пусть наделенный великим разумением, хорошо отправляет любую должность. Все решает живой дух, который пользуется услугами разума, а разум у каждого человека представляет собой константу и лишь в редких, исключительных случаях способен возрастать. Дух, в котором человек воспитан, обычно преобладает в нем до последнего дня жизни. И в этом заключается истинный смысл идеи легитимности и одновременно недоверия к *homo novus*¹: на одного такого, как Иезусу, Ашока, Наполеон, приходится тысячи одаренных карьеристов, которые, добившись высокой власти, оказываются не состоятельными. Чтобы полностью использовать силы, которые положение властителя, вероятно, может пробудить во всяком человеке, он должен считать их чем-то вполне естественным, свою власть он должен осознавать как нечто вполне нормальное. Следовательно, он должен верить в себя так, чтобы каждый воспринимал как вполне понятное то, что еще совсем недавно казалось немыслимым и невероятным. На такую веру в себя способен лишь редкий гений. Она дает человеку, по праву рождения занимающему высокое положение, абсолютное преимущество перед выскочками, ничтожному человеку, являющемуся наследным правителем — привилегию перед незаурядным человеком, если тот парвеню. На протяжении всей моей жизни я внимательно изучал различия в образе мыслей у различных человеческих типов, а с кем только меня не сводила судьба — правящие князья, государственные деятели, финансовые короли, восходящие таланты. Я заметил, что

¹ Человек без роду и племени, выскочка (лат.).

у всех этих типов, рожденных властвовать, — если только их не коснулось вырождение — самосознание было нормальным, какого вполне может достичь и простой смертный, однако для него оно уже не является нормальным и требует абсолютного превосходства над другими людьми. Конечно, и в этом случае имеются границы: если рама не подходит картине, что сегодня случается все чаще, превосходство выступает в явлении как недостаток человека. Однако призыванность прирожденных властителей все же бросается в глаза, она настолько заметна, что часто я с недоумением размышлял: отчего же современное человечество настолько слепо, что уже не хочет специально выращивать правителей, как привыкло разводить скаковых лошадей или племенных бычков. Иногда я имел возможность проследить карьеру какого-нибудь человека, и всякий раз вначале я констатировал его человеческий рост, при котором сущность находила все больше средств для своего выражения. Однако как только расширение рамы достигало известной критической точки, которая в зависимости от калибра данной персоны находилась то ближе, то дальше, человек вдруг снова делался маленьким, потому что его средства становились непомерно большими по сравнению с ним самим. Граница этого регресса обозначена уродливым типом выскочки.

Иэясу возвысил свой род, поместив его на такую высокую позицию, которая по своему значению была единственной во всей стране. Сам же он был одним из немногих карьеристов, чье предназначение — не только подняться, но и жить на вершине. Раму своей жизни он оставил в наследство потомкам. Рама, как оказалось, обладала столь мощной формирующей силой, что в течение двухсотлетнего правления этих сёгунов отличал большой стиль, какого у японцев ни до, ни после них не было. И сегодня над их гробницами веет дух величия.

Токио

Город императоров... Он начисто лишен души и стиля, несмотря на великолепные сады, разбитые еще во времена сёгунов, и прочие красоты, какие тут есть. Токио —

город современный в самом неприятном смысле этого слова.

Между тем именно Токио — резиденция мифического правителя, монарха, чье положение японский народ считает более высоким, чем признают китайцы за своим Сыном Неба. Милость японского императора божественна, именно божественна! Донельзя странным кажется это соседство первобытного и современного. Микадо в течение многих столетий сохраняли свой престиж, хотя у них уже не было никаких фактических полномочий и они сделались куклами в руках своих управляющих, а те снимали и ставили императоров, словно каких-нибудь мелких чиновников. Но это не кажется удивительным, если понять, какое значение микадо имеет в глазах народа: император обретается на ином уровне бытия, не там же, где его подданные, поэтому не важно, какова человеческая жизнь императора; его считают равным такому божеству, на которое можно рассердиться, которое в гневе можно и разбить, но, несмотря на это, оно все равно остается высшим существом. Однако то, что императорский престиж сохраняет свой исконный смысл даже сегодня, когда императоры, как и другие правители, лишь играют определенную роль в государственном организме, это, конечно, нечто небывалое.

Япония сделала рывок вперед, либо так повелел мифический правитель; до недавнего времени двор был диктатором общественного мнения, императорские указы, даже самые тривиальные по своей сути, все японцы читали с благоговением, какое приличествует лишь небесным откровениям; важные государственные мужи старой закалки внимали этим указам как простолюдины. Нельзя отрицать, что это отношение привело Японию к благоденствию. Там, где индивиды не чувствуют себя эмансипированными и склонны представлять высшую власть в символах и личностях, где все остальное обеспечивается верой, там наилучшей формой правления является самодержавие и правитель воплощает самовластие народа, а народ в правителе осознает самого себя. Народ и властитель фактически едины внутренне, так как при таких условиях сама собой, благодаря творческой вере подданных вырастает личность автократа, превосходящая нормальную человеческую меру. Мудрецы Индии учат, что в

точности то расстояние, какое преодолевает душа в своем стремлении к Богу, проходит и Бог, приближаясь к душе. Именно таково истинное отношение правителя и народа: чем больше каких-то качеств народ приписывает своему правителю, тем больше тот развивается, приближаясь к идеалу, который видят в нем подданные. До недавнего времени российские самодержцы являли собой более высокий человеческий тип, чем конституционные монархи Западной Европы, ибо русских царей несла на себе колоссальная вера. Муцухито — натура вполне урядная, однако он оказался великим человеком, потому что подданные ожидали от него божественного величия.

Я снова размышляю о том, что более ценно — монархия или республика, и снова нахожу более ценным монархический принцип. Он прекрасно оправдывает себя, когда люди чрезмерно высоко ценят своего повелителя! При этом не важно, заслуживал ли он с самого начала такого поклонения или нет. Ибо если он не совсем уж никудышный человек, то со временем он это поклонение заслужит. Каждый благонамеренный монарх со временем становится человеком более значительным, чем девять десятых его подданных. И если подданные почитают своего правителя как высшее существо, они поступают лучше и сами становятся лучше, чем могло бы случиться при иных условиях. Ведь из уважения к другим людям даже посредственность делает все, что в ее силах, тогда как из уважения к себе самому на подобное способен лишь человек в высшей степени развитый. Далее. В республике каждый в принципе независим и каждый может выдвинуться и стать первым лицом в государстве. Поэтому никто не видит необходимости в самоограничении, а значит, честолюбие и властность, воля к власти разрастаются, презрев любые границы; эти разрастания опасны для души. Как убедительно все факты обличают лживость наших современных предрассудков! Японцы старого закала не чувствуют себя индивидами в современном смысле слова, однако их человеческие качества гораздо лучше, чем у большинства современных людей. Мне вспомнились стихи Лао-Цзы:

Небо вечно, земля долговечна.
Причина вечности неба и земли

В том, что они не живут собою.
Посему они вечно рождают жизнь.

И о призванном:

Он оставляет позади свое Я,
Потому вперед идет его Я
Он отчуждает свое Я,
И его Я остается с ним.
Не верно ли:
Не нужно ему ничего своего,
Поэтому все, что есть у него совершенно.

Наконец-то я познакомился с великими мужами этой страны. Невозможно подобрать общий знаменатель для них и для маленьких людей. В лучших из этих мужей чувствуется что-то от древних римлян: четкое, ясное, само собой разумеющееся превосходство. Но всем им абсолютно чужды черты, присущие художникам и артистам, т. е. чуждо сладостное, утонченно-чувственное, хрупкое, — они суровы и, наверное, могут быть жестокими. Общие для всех японцев свойства — наблюдательность, твердость взгляда, быстрота понимания всего доступного чувственному ощущению, у них словно бы существуют в каких-то других взаимосвязях. Обычно эти свойства создают личность художника, но в их случае произвели способных шпионов, дар уважения к окружающим преобразил их в дипломатов, гибкость стала талантом реорганизаторов; живучесть японской расы проявилась как стальная воля, а matter of facts им, реалистам-политикам, придает столь крайний характер, какой у нас не породил и макиавеллизм. Таким образом, вовсе не возникает вопроса, почему Япония Лафкадио Хирна оказалась способной сделать такие большие успехи в политике, — эта Япония всего лишь преобразовалась вместе с этими людьми. Преобразования начинали и проводили те, для кого дальновидность в делах так же естественна, как для простых людей естественно заниматься выращиванием карликовых деревьев.

Впрочем, вожди в Японии — не совсем вожди в нашем понимании, и это как раз японская особенность: они не столько факторы, сколько экспоненты. Как ни велико порой индивидуальное значение вождя, его эффективность

все же основана на посреднической роли. Что касается императора, тут как раз все вполне очевидно: не только в Японии, но во всем мире, где правителя еще окружает мифическая аура, гораздо большее значение имеет то, что правитель — это правитель, а не кто он; в любом случае, будучи средоточием народной веры, он обладает творческой эффективностью. Это относится и к государственным мужам, которые сделали Японию великой страной. В высшей степени вероятно, что все они как личности были и остаются более мелкими, чем можно было бы ожидать, зная их замечательные деяния, однако эти люди смогли достичь столь поразительных успехов, так как народ поддерживал их. Там, где отдельный человек прежде всего сознает не себя как такового, а себя как члена группы, там народ видит в своих вождях не персон, стоящих где-то вне, а свои собственные органы, и народ подчиняется таким вождям словно самому себе. Поэтому в Японии чья-либо способность быть вождем в огромной степени определяется совершенством организации всего народа. Следовательно, пока жива эта организация, не исчезнут и прирожденные вожди. К тому же они всячески выставляют напоказ свое превосходство, какого нынче нигде больше не встретишь. Правитель Окума уверен в своем влиянии в точности так же, как император в своей власти, данной Богом, и само это сознание дает большую силу.

То, что я здесь излагаю о фактическом отношении между японскими правителями и подданными, вероятно, похоже на описание демократического идеала. Не показательно ли, что идеал этот, до сих пор не осуществленный ни в одной демократической стране, в прошлом часто бывал достигнут в аристократиях? До тех пор пока мышление индивида остается атомистическим, а данный тип мышления и есть главный признак демократического строя, совершенная организация масс невозможна. Конечно, идеал в принципе достижим и там, где личности стали автономными. Но для этого личность в своем внутреннем развитии должна подняться на такую ступень, о которой в нынешних демократических государствах пока что можно только мечтать.

Мои впечатления постепенно складываются в некую общую картину. Вполне ясно следующее: японцы, вер-

нее социальные слои, играющие определенную роль в политике Японии, это не восточные люди, если согласиться с тем, что в понятие восточного человека мы разом включаем существенные черты китайцев и индийцев. Японцы ближе к нам, чем китайцы, поэтому они и наделены божественным правом соперничать с нами. Сходство их с китайцами в значительной мере основано на импортированной китайской культуре; по своим задаткам японцы, подобно нам, народ прогрессивный, и вся их история с древности до наших дней служит тому недвусмысленным подтверждением; когда-то они набирались опыта в соперничестве с Кореей и Китаем, сегодня в таком же смысле они соревнуются с нами. Так что усвоение Японией всего западного нельзя рассматривать в том же свете, что обращение в сторону Запада, происходящее в Индии или Китае. Когда я на корабле приближался к Японии, меня поразило неожиданное впечатление, — что я вхожу в некий совсем новый мир, отделенный от Китая глубокой пропастью. Мне показалось, будто повеяло ветром греческого архипелага, страны предприимчивых мореплавателей, я не только не заметил ни малейшего намека на вселенский покой, величественный мир, столь характерный для Китая, но и не почувствовал чего-то от той Японии, с которой заранее познакомился благодаря книге Лафкадио Хирна. Безусловно, та Япония существует. Но сегодня я могу сказать, что мое первое общее впечатление было верным: важнейшая черта японского народа это предприимчивость, умение все использовать себе на благо, практичности и гибкость, а вовсе не *japonerie*.¹

Типичный японец не творец, но и не подражатель, вопреки расхожему мнению. По своему существу он ловкач, из всего умеющий извлечь выгоду; это умение, присущее борцам джиу-джитсу. Вот эта борьба, джиу-джитсу, и есть подлинный символ всего японского. Что нужно, чтобы стать мастером этого искусства? Не творческая инициатива, но незаурядная наблюдательность, умение мгновенно оценить эмпирическое значение каждого впе-

¹ Здесь: черты, которые приписывали японцам с 1860-х годов в Европе в связи с сильным интересом и увлечением японкой культурой, в особенности, японским прикладным искусством.

чатления и способность тотчас извлечь отсюда максимум практической выгоды для себя; и еще нужно предельно высоко развитое взаимодействие головы и рук, когда все, что воспринимает ум, мгновенно вызывает максимально целесообразное ответное движение, причем в этих реакция выражает себя все содержащееся в памяти.

На этом умении основана вся японская культура, и то же значение имеет японское «подражание». Собственно говоря, японцы не «подражают» — японец словно борец, использует промахи и ошибки своего противника и получает от этого выгоду. Он ничего не копирует, а изменяет свою собственную установку, у него есть способность с невероятной легкостью воображать себе любые явления, так что он понимает внутренним чувством их особенности (но не существо!) и, установив с ними органическое отношение, использует, насколько возможно. Так в древности японцы использовали формы китайской культуры. Наверное, они не понимали их существа, но ни о каком обезьянничанье, простом воспроизведении внешних черт речи быть не может. Японцы полностью восприняли эти явления и с тех пор жили на китайский манер. Всем формам имманентны специфические возможности, которые осуществляются относительно, независимо от того, понимают ли их те или иные носители форм, играют ли они для этих носителей некую важную роль или нет. Вот так японцы продолжили многие китайские явления в полном соответствии с китайским духом. Японцы никогда не были одушевлены китайским духом — они лишь носили, точно платье, китайские формы. Поэтому внутренне они почти не претерпели изменений. Я уже отмечал, что внутреннее их развитие почти не подвергалось изменениям, несмотря на многие и многие воспринятые влияния; объясняется это задатками, о которых я говорил выше. Японцы, как никакой иной народ на земле, могут усваивать чужое, не опасаясь, что им это повредит, потому что в глубочайшей основе японцы не поддаются никаким влияниям.

Китайская культура выражения и японская культура отношений — более резкий контраст трудно придумать. Если корни китайской культуры уходят в глубину, то японская культура отношений исчерпывается поверхностными формами. Японцы несубстанциональны, тут нет

сомнений. Ведь если поза и жест служат последними инстанциями, значит, не хватает внутреннего содержания. И как раз здесь обоснование японской значительности — Япония демонстрирует нам, как многого можно достичь, не имея собственной сущности. Невероятно многого. Японцы создали ценности для всего мира, которые остались бы невоплощенными, если бы не этот народ. Они создали культуру поверхностного, прелестную, как ни одна другая. Поэтому несправедливо было бы далее останавливаться на их недостатках. Субстанциональность и вообще встречается не часто, даже среди индийцев попадаются «японцы», если иметь в виду негативные японские черты. Однако несубстанциональные, не-японцы лишены достоинств японцев. Ни одно живое существо не виновато в своих природных задатках, есть создания, которые находят духовное выражение своей сущности, всей без остатка, есть и другие, для кого предел совершенства — их отношение к жизни. Для Бога все они одинаковы, коль скоро те и другие в своем роде совершенны. Но нам, людям, пора наконец научиться ценить каждое создание сообразно его особым качествам и не требовать от него невозможного.

Японцы могут сколько им угодно перестраиваться на западный лад, чего нельзя сказать об индийцах и китайцах. Ведь для последних усвоение западного было бы не настоящим превращением, а лишь какой-то новой боевой стойкой. Впрочем, только этим проблема не исчерпывается. При наличии способности перестраиваться у японца есть и душа; если его душа, как кажется, подвергается меньшим опасностям, чем у представителей большинства других народов, воспринимающих чужие влияния, то она не абсолютно неуязвима, с японцем дело обстоит так же, как с кем угодно другим. Два главных чувства ни в коем случае не должны быть им утрачены, иначе Япония погибнет, — чувство природы и особый японский патриотизм.

Я уже высказал свои взгляды о том и другом, осталось лишь суммировать мои выводы и подчеркнуть в них то, что соответствует моей нынешней задаче. Чувство природы у японца аналогично индийскому чувству всего мира и китайскому пониманию гармонии. Такой же синтез, но в миниатюре, такая же глубокая основа. Если бы это

исчезло в сознании японца, он потерял бы связь со своим глубочайшим Я. Все, чем бы он ни попытался заметить эту первоначальную связь, останется лишь поверхностным, не затронет глубины души. Предположим, что индеец захотел бы превратиться в грека — он стал бы очень мелким, но не потому, что первоначальная склонность индийца видеть в человеке частицу природы объективно глубже, чем свойство эллина считать природу чем-то внешне красивым, а потому, что индеец не в состоянии был бы соотнести греческое мировоззрение со своей глубочайшей сутью. Для японца подобная опасность значительно больше, потому что его кругозор ограниченнее, и несравнимо меньшее число феноменов способны образовать связь с его душой. Так, натурализм не просто понизил бы уровень японского искусства, как понизил уровень нашего, но буквально убил бы; так, невежливость делает японца не только неприятным, как и всякого человека, но и лишает глубины. Следовательно, если Япония не будет тем прилежнее пестовать свое чувство природы, чем интенсивнее она во всех прочих отношениях стремится догнать нас, то может случиться, что однажды в ее организме не окажется души.

Другое чувство, которое японцам ни в коем случае нельзя утратить, это их любовь к отечеству, своеобразная, давно вымершая в Европе, лишь во время войн ненадолго оживающая связь между индивидом, группой, родиной и правящей династией. Японцы еще не стали индивидуумами в нашем понимании этого слова, для них центральное значение имеет группа. Поэтому восприятие всего западного им будет приносить пользу лишь до тех пор, пока новая организация не утратит связи со старой основой. Если у нас прогресс был следствием индивидуализации, то в Японии он до сего дня оставался выражением в частности неиндивидуализированного группового сознания, он мог прекратиться или привести к разложению, если бы индивид начал осознавать себя так, как он осознает себя в западных странах. Этот процесс в Японии уже начался и начался слишком рано. Молодежь доставляет немало забот правителям, так как опасным образом начинает отрицать свою старую основу. Если этот процесс не удастся остановить, то не исключено падение великолепного здания, возведенного

Муцухито и его министрами. Стало быть, любой ценой надо положить конец этому процессу. К этому стремился Ноги, уничтожая свое тело — он надеялся, что его поступок вновь пробудит в молодежи врожденные чувства самураев, к этому стремится и правительство, в меру сил возрождая синтоизм. Будем надеяться, это возрождение произойдет. Будущее Японии внушает мне тревогу. Чем неотвратимее распад старой основы, тем более необходимо сделать все возможное, чтобы возникли новые связи между телом и душой, чтобы по крайней мере было начато строительство прочного нового здания к тому времени, когда старое превратится в груды обломков...

Да, Япония может зажить по-западному... Долгое время я оставался строго объективным, теперь же непременно должен высказать свое личное ощущение. Лично мне глубоко огорчительно, что эта страна начинает жить по-западному. Модернизированная Япония начисто лишена всякой прелести, атмосфера Токио унизительно тривиальна. К сожалению, нормальное развитие не ведет к вершинам. Если некоторые индивиды являются самими собой в лучшем смысле слова в детстве, другие — во взрослом состоянии, и наконец третьи — в старости, то и каждому народу соответствует некий период развития, который можно считать для него наилучшим. Когда народ оставляет эту эпоху позади, он, даже продвигаясь в самом благоприятном направлении, утрачивает прелесть, значение и ценность. В этом смысле развитие французов начиная с XVIII столетия шло под уклон, хотя об их вырождении даже в наше время не может быть речи. Так же и Англия, вершиной развития которой был XIX век, с того времени все больше утрачивала свое культурное значение. Каждое определенное состояние дает душе определенные средства выражения, и лишь некоторые из них соразмерны разуму, как соразмерны специфическому духу лишь определенные умения. Момент или эпоха, когда внутренние задатки соответствуют внешним случайностям, и есть вершина развития народа, выражение национального гения. А потом народ в большей или меньшей степени становится похож на Рафаэля, но... безрукого.

Вступив на свой новый путь, японцы достигли небывалых свершений. Что касается свершений самих по себе,

не возникает вопроса, почему бы японцам здесь не следовать нашему примеру. Но дело в том, что сами по себе достижения ничего не значат. Японцы достигают этих результатов только умом, или, скажу иначе, используя инструменты своей души, тогда как их внутренняя сущность остается безучастной; не думаю, что со временем тут настанет какое-то серьезное улучшение. По всей вероятности, японская душа никогда не научится выражаться на языке западного искусства и мастерства по-настоящему непосредственно и полноценно, даже в самом благоприятном случае она будет заикаться, не исключено также, что она просто замолкнет; возможно, эти люди, наделенные несравненной тонкостью чувств и художественными талантами, станут самыми черствыми сухарями. Если подходить с точки зрения субстанции, японцы напрасно занимаются слишком серьезными вещами, ибо они наилучшим образом реализуют себя в игре. Все по-настоящему оригинальное у них ограничено пределами агона, спорта, веселого художества. И здесь открываются глубины японской души. Там же, где они стремятся к чему-то значительному в мировом масштабе, все остается абстрактным.

В Токио сейчас находятся несколько видных представителей японского буддизма. Я воспользовался этим, чтобы расширить и углубить свои познания, почерпнутые из бесед и из чтения священных текстов, а теперь попытаюсь резюмировать свои размышления о буддизме.

Чем глубже я изучаю Махаяну, тем более сильное впечатление производит на меня ее философское содержание. В отношении смысла ее основ я, при всем старании, не могу припомнить ни одной-единственной формы, которую следовало бы счесть устарелой или ошибочной. В своем развитии Махаяна необычайно схожа с тем, что сегодня все более явственно представляет собой христианское мировоззрение, и напрашивается вывод, что Махаяна — это точка, в которой исчезают различия между духом Востока и духом Запада. Философское учение Ашвагхоши относится к древней индийской философии приблизительно так же, как философия Гегеля к учению Парменида или Бергсон — к Спинозе. Иначе говоря, место абстрактной статики в нем занимает живая дина-

мика, а это означает абсолютный прогресс познания. Древние индусы, конечно, имели в виду то же, что и основатели Махаяны, однако не сумели найти соответствующего выражения. Обратившись к последнему смыслу свершающихся событий, они упустили из виду сами события и таким образом пришли к теории вечного бытия, которое, в отличие от потока явлений, обладает устойчивостью. Затем Ашвагхоша совершил в методологии то же, что значительно позднее было сделано Гегелем и Бергсоном. Каждый из этих философов на своей исторической ступени стал новатором благодаря тому, что восстановил взаимосвязь бытия и становления, прежде насильственно разрывавшуюся ограниченным во времени мышлением. Ашвагхоша признал, что бытие и становление суть лишь различные аспекты абсолютной реальности, следовательно, что метафизическое бытие и «становление и гибель» совпадают друг с другом и длительность во времени, таким образом, есть нечто абсолютно-реальное. Поэтому Ашвагхоша пришел к тому же критическому выводу, который уже в наши дни сделал Бергсон: что метафизический «смысл» не следует искать вне конкретного становления. Бергсон пока не пошел дальше, не коснулся области должного. Но если это случится, то, наверное, Бергсон сформулирует утверждение, совпадающее с тем, что провозгласил Ашвагхоша 1700 лет тому назад: поскольку метафизический смысл не должно искать вне конкретного становления, то и все идеальные требования, очевидно, должны осуществляться не вне, а внутри него. Словом, Бергсон ничему новому нас не научит, ведь именно таков лейтмотив всего христианского мировоззрения. Но Ашвагхоша, при всей логичности пути, придя к своему заключению, сделал настоящий *volte-face*¹ по отношению к мировоззрению древнеиндийской философии: настроение отрицания мира превратилось в настроение его утверждения. Если высший идеал должен осуществляться внутри становления, неважно на скольких более высоких ступенях — ступени архата, бодхисаттвы, будды, то идеалы йогов, а все их идеалы проистекают от желания выйти за пределы явления лишаясь подлинной основы своего бытия;

¹ Крутой поворот в противоположную сторону (фр.).

сансара перестает быть окрашенной в мрачные цвета и даже к истории возвращается смысл, вернее, она получает новый, более высокий смысл. В соответствии с воззрениями древних индийцев, история сама по себе лишена всякого смысла, поскольку прогресс обладает ценностью лишь как освобождение от оков явления и ни одно эмпирическое состояние само по себе не выше другого эмпирического состояния; перед верующим в учение Махаяны были поставлены исторические задачи. Так начался процесс, который вплоть до отдельных деталей протекал параллельно христианству. Северный буддизм неудержимо завоевывал земли, и свою миссию он видел в обращении людей, тогда как буддизм южный, подобно индуизму, никогда не решился бы поставить перед собой такую задачу. Соответственно, северный буддизм приспособлял свои догматы и методы к условиям, и дух, познающий людей и политику, соединился с духом религиозной веры. Это неотвратимо вело к конфессиональной организации, затем к образованию сект. И чем больше прагматический подход брал верх над стремлением к познанию, тем ярче становилось сходство с ним христианской догматики. Учение христианской церкви и большинства сект высокого буддизма настолько схожи, что выдающиеся миссионеры склоняются к мысли, что буддизм фактически и есть христианство, что это продолжение учения Иисуса, а не Гаутамы Будды.¹

До известной степени эта мысль, пожалуй, верна. Однако столь поразительное сближение в догматике, возможно, произошло вне прямой исторической зависимости: дух Махаяны и дух учения Христа были близко родственными, поэтому при сходных условиях должны были родиться схожие плоды. И все-таки о тождестве ре-

¹ Об этом можно прочесть в следующих книгах: *Timothy Richard. The new testament of Higher Buddhism* (Edinburgh, 1910, T. & T. Clark); *Lloyd A. The Creed of Half Japan* (London, 1911, Smith, Elder & Co.), а также в уже рекомендованном мной сочинении: *Gordon E. A. World Healers or the Lotus Gospel and its Bodhisatvas, compared with early Christianity*. Первая из названных здесь книг наиболее значительна по своему духовному содержанию, последняя же обладает тем достоинством, что она написана женщиной, которая прониклась к японским верованиям глубочайшей симпатией. Те, кто не бывал в Японии, смогут почувствовать специфическую окраску японского буддизма, познакомившись именно с этой книгой.

лигий не может идти речи, хотя бы потому, что конфессиональные формы буддизма не являются последней инстанцией — для него, до недавнего времени остававшегося чисто индийской религией, они есть нечто временное и преодолимое. Если уж мы непременно хотим подчеркнуть христианский характер буддизма, то лучше сказать так: учение Махаяны это особое христианство, развившееся в среде индийских мудрецов. Как философское учение оно высится подобно башне над вероучением людей Запада, однако в смысле эффективности оно не выдерживает сравнения с последним. У Махаяны слишком всеобъемлющий характер, отчего она не может оказывать воздействия в каком-то одном, и только одном смысле. Особенно же церковь, возникшая на основе Махаяны в Японии, совершенно не субстанциональна, в ней больше искусства, чем жизни, красивой формы, чем смысла. Но уж здесь-то индийское учение неповинно, эта церковь — создание самой Японии и ничье больше.

Из всех традиционных религий Махаяна в своей идее ближе всего тому учению, которое богоискатели наших дней провозглашают религией будущего: буддизм Махаяны по существу не догматичен, его отличает глубокое понимание ценности культа, и он никоим образом не отвергает познания, у него имеются стороны, привлекаемые для людей различного темперамента; подобно брахманизму, он широк и глубок, и в то же время обладает знанием мира, силой и активностью, как христианство. Но именно потому, что он, быть может, воплощает идеал будущего, он лишь условно соответствует современному состоянию. При каждой встрече с приверженцами этой веры я вижу это все более ясно. Форма буддизма Махаяны слишком просторна, слишком велика, чтобы создавать заурядного человека, эта религия не может быть вместилищем ограниченной духовности и тем более для недостаточной в интеллектуальном отношении духовности японцев. Не думаю, что кто-либо из японцев может сегодня или мог когда-нибудь в прошлом по достоинству оценить философское содержание Махаяны. Некогда они импортировали ее, как импортируют сегодня нашу технику; они издавна умели во всех областях жизни находить новое и максимально успешно использовать у себя. Но человек способен ассимилировать

лишь то, что сообразно его натуре, а этого индийская мистика предоставить японцам никак не может; поэтому только эмоциональное и практически ценное в Махаяне стало жизненным и сильным в Японии. Все специфически японские секты буддизма по существу не имеют философского содержания, а те из современных духовных лиц, кто занимается изучением спекулятивных элементов Махаяны, подходят к делу как ученые; живое содержание Махаяны им не понятно.

В остальном же японцы по существу чужды религии не более, чем мы; они вообще больше похожи на нас, чем на китайцев или индийцев. Образованные японцы, как правило, не привержены какой-то определенной религии — как и большинство современных европейцев, а простой народ и здесь и у нас верит во всякую чепуху. В отличие от Индии и здесь и у нас возрастает число агностиков, люди становятся агностиками, как только мысль их эмансипируется, потому что путь к Богу через познание им еще недоступен, а мысль их ограничивает непосредственность переживания. Наши религиозные вожди, в точности как японские, почти без исключений относились к типу эмоциональных натур или практических умов, были посредственны как мыслители и исследователи. Разница лишь в одном — в Японии все типичные для обоих миров черты выступают в более ярких, крайних явлениях. Может быть, только раз, в образе святого Франциска у нас совершенно воплотилась Бхакти, тогда как в Японии ее воплощение произошло бесконечное множество раз. Тонко нюансированная, женственная по своему характеру культура чувств создала в Японии уникальные условия для воплощения любви.

Наши религиозные вожди редко были столь решительными практиками, какими были очень многие среди японских духовных наставников. Сегодня мне выпала удача — я познакомился с самым выдающимся представителем японских вероучителей, настоятелем Соен Саку из Камакура.¹ Он является главой одного из направлений

¹ Заслуживают всяческого внимания его проповеди: *Sermons of a buddist abbot*, переведенные г. Судзуки на английский язык и изданные в 1906 г. в Чикаго издательством Open Court Publishing Company.

Дзэн. Секта Дзэн — самая философская в высоком буддизме, она учит непосредственному погружению в божество, независимому от книжной мудрости и культа; ее учение почти идентично учению Шанкары, а практика — настоящая практика йогов. Это учение, принесенное в Китай Бодхидхармой, вначале было самым чисто-индийским. Но именно потому, что суть его состоит в погружении в божество и ничему другому оно не учит, оно принесло совершенно различные плоды у народов с различными задатками. Это понятно, ибо йога усиливает и приумножает имеющиеся склонности. Индийские сторонники секты стали благодаря Дзэн познавать еще глубже. В Китае Дзэн вызвал уникальный расцвет чувства природы, величайшие мастера китайской ландшафтной живописи были адептами методов Дзэн. А в Японии секта Дзэн стала главной школой героизма. Японцы, которым философия мало что говорит, рано поняли, что ничто не увеличивает и не укрепляет душевные силы так, как этот тренинг, и потому японские воины, самураи, с величайшей охотой пошли в учение к монахам Дзэн. Ходзё Токимуне, герой, отбивший натиск монгольского хана Хубилая, имел обыкновение долгие часы проводить в медитации. И сегодня мы видим ту же картину: многие из виднейших людей современной Японии были учениками Соен Саку. Я посетил его в храме в Камакуре. Мне еще никогда не доводилось повстречаться с такой искренностью, которая сочеталась бы с равной по силе воинской энергией. Этот монах, с виду сублинный, — воин до кончиков ногтей. Как же вдохновлял он, должно быть, воинов, с которыми прошел через всю Манчжурию! Метод его обучения медитации суров: собравшись в просторном пустом помещении, ученики сидят в позе Будды, а между ними ходит настоятель, в руке у него палка, и если кто-то задремлет, он бьет провинившегося, если кто-то из учеников устанет, ему не разрешается отдохнуть до окончания занятий, но можно один-два раза пройтись по кругу, молча, со сложенными поднятыми руками. После занятия учитель путем беспощадного допроса выясняет, овладел ли этот ученик своей темой.

Я побеседовал с достопочтенным настоятелем о смысле этих упражнений. У него философский склад ума и он полностью понимает философское значение учения

Дзэн. Но мыслит он в сугубо практической плоскости. Цель, сказал он, не пребывание в свете, а стремление к свету, и в этом стремлении надлежит так закалить себя, чтобы тебе по силам были любые идеальные задачи земного бытия. До чего же «западный» этот дух, вещавший его устами! Я подумал об американской секте Новая мысль — ее члены понимают христианство не иначе, чем Соен Саку — учение Шакьямуни. А потом я с горькой усмешкой подумал о том, как относительна ценность любых образуемых нами понятий...

Вчера, в предпоследний день моего пребывания на японской земле, я выступил перед профессорами и студентами философского факультета с лекцией, в которой говорил о своем постижении индийской йоги и о живом значении этого искусства. Постановка вопроса была непривычной для моих слушателей — как видно, прежде им не приходило в голову относиться к мудрости древних не критически, глядя извне, а попытаться проникнуть в ее внутреннее существо. Однако один из слушателей мне возразил, сделав чрезвычайно важное замечание: они, японцы, настолько сжились с основными буддийскими идеями, что, читая литературу, невольно упускают их из виду. А ведь это же происходит и у нас с христианскими идеями. И это, конечно, важный источник огромного интереса, который религиозные учения Востока с недавних пор находят в Европе. Европейцам приелось христианство, как это обычно случается с тем, что давно и хорошо знакомо, Европа уже не способна по достоинству ценить глубину христианства. Лишь непривычное нас волнует, лишь оно вызывает отклик в душе, даже тогда когда вполне очевидно, что новое по смыслу совпадает с давно известным, этот эффект не ослабевает, если немедленно — как часто бывает — люди не начинают приписывать свои привычные представления тому, что ново и непривычно. По этой причине японских ученых больше занимает христианство, чем буддизм, и христианство они переоценивают, а мы сегодня склоняемся к противоположной ошибочной крайности. Однако можно ли считать это доводом против интереса к чему-то чужому? Конечно нет, и тем более, коль скоро речь идет о религии. Все дело в осознании, только в нем, и если

чужая форма подходит лучше, чем своя, унаследованная от предков, то ее, конечно, стоит перенять. В большинстве случаев «перенять» означает попросту «вернуться к прежнему», но каким-то новым путем. Вот и на Западе уже сегодня ясно, что увлечение Индией в конечном счете полезно христианству (ни одна из его недавно появившихся и очень глубоких концепций не смогла бы возникнуть без влияния со стороны духа индийской философии, пусть даже влияния неосознаваемого). Но в остальном этот феномен лишний раз доказывает благотворность многообразия. Человеку необходимо нечто чужое, что он, пожалуй, оценивает чрезмерно высоко, чтобы он не пресыщался своим собственным, своеобразным, но сохранил его, не дал ему умереть или закоснеть, и это взаимодействие в целом обуславливает общую гармонию. Разве могли бы поэты творить, если бы они не взирали с почтением на героев? Или государственные мужи — если бы они не переоценивали поэтов? А немцы разве были бы самой универсально образованной нацией — а они таковы, если бы не имели изъяна, за который их нередко порицали, что они всегда чужое предпочитают своему? Как раз тот, кто печется о сотрудничестве с другими, имеет меньше всего причин стремиться к безрассудному идеалу единообразия, так как живая гармония возможна только благодаря подвижному отношению тезы и антитезы.

Вернусь к моей лекции. Когда я закончил, последовало замечание, что урок, который мне дали брахманы, я мог бы получить и у христианских мистиков. Однако господа ошиблись. Как ни верно в целом, что инородное как таковое дает нам стимулы, как ни часто оказывается, что пристрастие ко всему индийскому не имеет глубоких причин, христианская йога не обладает для нашего времени тем значением, что индийская, и дело тут в том, что христианская йога производит свои операции исключительно с объективно эмоциональной сферой, а познание не осуществляется посредством чувств. Человек, истово любящий Богоматерь, наверное однажды узрит ее, но никогда не удастся установить, соответствует ли видение какой-либо объективной реальности.

В индийской йоге чудесна совершенная рациональность ее методики. Конечно, мы не знаем, точно ли она

ведет туда, куда должна вести, и правильно ли понимание и объяснение явлений, которые с нею связаны. Но в любом случае принципиально возможно проверить правильность утверждений йоги посредством самого учения йоги. Поэтому индийские учения, служащие для самосовершенствования человека, более ценны, чем аналогичные христианские. Человечество сегодня уже настолько развито интеллектуально, что душу человека может увлечь лишь нечто им понятное; и только индийцы сумели понять то, что отчасти было познано всеми прочими людьми, которым свойственна глубина.

Мы, европейцы, все более это понимаем. Начнут ли народы Востока также понимать это, раз уж они отреклись от своего древнего наследия? Вероятно нет, так как потребность в разнообразии, лежащая в основе как нашей «индомании», так и «христомании» японцев, имеет более глубокое основание — закон, согласно которому определенная форма никогда во второй раз не становится у какого-то народа сосудом его идеала. Греческое искусство и сегодня остается духовной закваской народов мира, но не благодаря трудам современных греков; это же можно сказать и о формах Ренессанса, византийского и буддийского искусства и особенно — о формах мышления и веры. Здесь также все подчинено принципу однократности, который управляет всей жизнью: каждое определенное существо неизбежно умрет, в продолжающихся новых воплощениях останется лишь его бессмертная часть. Во всяком случае, достоверно известно, что наше увлечение Востоком и увлечение Востока всем западным — сегодня во всем мире эти процессы ширятся и набирают силу, гораздо глубже, чем мы до сих пор полагали: эти процессы ведут к обновлению форм выражения, которое только и может обеспечить молодость. Но всеобщая потребность в омоложении доказывает, что мир и на деле обновляется; эпохе, которая лишь продолжает или завершает что-то, бывшее ранее, стремление к обновлению чуждо. Ни буддисты, ни христиане в своих исторических формах не представляют собой завершающие стадии. На свет рвется нечто еще не бывалое, оно судорожно ищет подходящих родителей, как ищет их вернувшаяся в земную жизнь душа. Очевидно, мы стоим на пороге эпохи, подобной первым векам по Рождестве

Христовом. Тогда тоже происходило всестороннее взаимодействие, Восток и Запад тогда тоже сближались, и сегодня, как в ту эпоху, результатом будет расширение жизненной базы, ибо, если формы, порожденные слиянием, сами по себе были исключительными — и христианство и буддизм являются тем, что они есть, лишь потому, что они наследники всего, что им предшествовало.

Однако различные энтелехии сами по себе вечно остаются различными; основы у Востока и Запада различны, они не взаимозаменяемы и нельзя их заимствовать.¹ Если у нас ассимилируется восточное знание, отсюда еще не следует, что мы присваиваем себе душу Востока, мы, напротив, создаем у нашей души новые органы; и то же *mutatis mutandis* можно сказать о Востоке. Если рассмотреть проблему влияния — его характер во времена кризисов, и в частности что значит влияние для той или иной человеческой души, мы увидим, что в известные эпохи заимствование чужого есть кратчайший путь к самореализации. Мы никогда не стали бы «западными людьми», если бы древние германцы не приняли веру, пришедшую из Сирии; и мы придем к завершению на данной ступени только после того, как произойдет наше оплодотворение и омоложение смешанным индийско-китайским духом. Будем надеяться, так же обстоят дела и в Японии. В начале возрождения, вызванного длительным посторонним влиянием, всегда бывает период кажущегося упадка, поэтому пройдет, наверное, немало времени, прежде чем японцы начнут, используя наши средства, творить самостоятельно; сегодня они кажутся еще менее живыми, чем мы. Ведь мы тоже пока еще находимся в рабской зависимости от наших инструментов познания. Специфическая европейская йога (наблюдение внешнего мира) привела к созданию громадного аппарата, и чтобы им владеть, необходим соответствующий внутренний мир. А его-то у нас и нет, потому что до сих пор цели наших стремлений находились во внешнем. Мы также будем, подобно гетевскому ученику чародея, порабощены духами, которых мы сами сотворили. То, что наши слабо-

¹ См. об этом мою речь «О внутренних связях между проблемами культуры Востока и Запада». Иена, 1913; 2-е изд. в кн.: *Philosophie als Kunst*. Darmstadt, 1920.

сти с особой очевидностью выступают у японцев, естественно. Раньше или позже — вероятно скорей, чем мы думаем, — они тоже перестанут быть рабами и, используя свои средства и методы, сумеют стать господами.

Но нам интересны как раз недостатки японцев, вступивших на наш путь; возможно, их неудачи имеют большее значение для человечества в целом, чем его величайшие триумфы: они поразительно наглядно иллюстрируют важнейшие, коренные слабости цивилизации, которая покоряет сегодня весь мир. В самом деле, поборники прогресса считают своим идеалом и целью именно то, что обесценивает современного японца. Поборники прогресса стремятся преодолеть не грубость, а человеческое в себе, т. е. унаследованную от предков веру в то, что никакой земной успех не может компенсировать ущерб, нанесенный душе. То, к чему они стремятся, есть бытие чисто инструментального характера, и олицетворением этого бытия можно считать жителя Восточной Азии, перенявшего западные обычаи и нравы. Сегодня он не обременен культурным балластом и человеческое в себе считает лишь средством, чтобы стать богатым и могущественным, и верит только в успех. И он абсолютно прав — в той мере, в какой его «мировоззрение» вообще может быть оправдано, — так как из всех людей, когда-либо живших на земле, он быстрее всех сделал карьеру. Благодаря своей абсолютной приверженности внешней форме он за какие-то тридцать лет совершил то, на что у отягощенных грузом идеалов европейцев ушли целые столетия: следовательно, в самой природе этой цивилизации заложено самое благосклонное отношение к тому, в чем нет души.

VII. В НОВЫЙ СВЕТ

На Тихом океане

Медленно плывет наш корабль по океану, над которым человек обладает властью не больше, чем какой-нибудь дельфин. Удивительно приятно наконец-то забыть о своем особом положении среди других живых тварей, и удивительно расширяется при этом основа познания. Всякий раз, когда мне приходилось довольно долго жить в культурных центрах, под конец я непременно чувствовал отвращение, но его вызывала не культура в ее противоположности природе, а человек. Разумеется, у людей находятся разнообразнейшие доводы в пользу собственного превосходства, но не стоит на них задерживаться. Разве имеют значение преимущества того или иного вида животных, когда речь идет о всеобщей глобальной взаимосвязи? Мы любим смеяться над ученым, чей интерес к жизни ограничивается, например, изучением муравья, но не менее смешон, по-моему, и односторонний исследователь культуры. Коль скоро каждый из нас — человек, мы обязаны более или менее соответствовать нашему человеческому предназначению, что значит — производить на свет детей, управлять государством, писать книги, это уж как кому повезет. А вот родились бы мы на свет муравьями, так пришлось бы нам всю жизнь таскать на себе и громоздить в кучи еловые иголки. Неумно ставить пределы любознательности, ограничивая свой интерес только человечеством.

Превосходство над другими людьми, которым кичится и бахвалится белый человек, вызывает у меня ответную реакцию — желание оценивать его, белого человека, напротив, не по заслугам низко. В этом отношении азиаты

не идут ни в какое сравнение с европейцами; в Индии я никогда не ощущал неприязни к людям. Однако в Индии у людей почти нет особенных, характерных черт внешнего облика, индийцы отличаются от прочих представителей рода человеческого в точности так, как отличается от других какой-нибудь зоологический вид. Своеобразие японцев вполне очевидно, оно, конечно, не столь неприятно и навязчиво, как у нас, но своеобразные черты у них, несомненно, есть. Я, хоть и очень любил Японию, почувствовал радость, когда мы покинули ее берега.

Вот уже уходят за горизонт горные вершины. Чайки, провожавшие нас, повернули к берегу. Пройдет немного времени, и последние воспоминания о жизни на суше подернутся дымкой.

Вокруг океан. Несколько дней мы не видели ни парохода, ни парусника, и не скоро увидим. Я провожу время в основном на носу и по возможности избегаю общества людей. Я все чаще задумываюсь о том, где сейчас нахожусь, размышляю о том, что это такое — океан; лишь в океане, нигде больше, жизнь, начиная с силура, продолжалась непрерывно. И все больше я поддаюсь волшебству океанской безмерности.

Я чувствую себя очень, очень счастливым. Это потому, что я пребываю в полном одиночестве, ничто и никто не мешает мне нарушать любые границы и выходить из обычных пределов. Но как может человек чувствовать себя отдельным от прочих людей, если он — один? Ведь сознание своей отдельности, вне сомнения, рождается в результате пребывания вместе с другими людьми. Только находясь рядом с другими, ты остаешься в границах самого себя и строго напоминаешь себе о наличии этих границ. Если же ты один, о какой-то отдельности не может быть речи. И ты перестаешь осознавать себя как личность. Ни одно из твоих устремлений не возвращается назад, к себе самому. И ты велик, как сам мир.

Плыви я сейчас не на пароходе, спешащем к своей цели, а в скорлупке без руля и ветрил, нашлось бы в моей душе какое-то другое ощущение? Вряд ли, во всяком случае до тех пор пока тело не заявило бы внятно о своих правах и не принялось досаждать душе своими потребностями. Ведь какое различие возникает, с точки

зрения духа, между океаном и тем Я, которое в течение всей жизни было водоемом, где я плавал? Людям нравится сравнивать свою жизнь в потоке событий с плывущим по морю кораблем, чей капитан — личность, человеческое Я, но я нахожу этот образ бессодержательным. Мое Я — чем не море? Мое Я и есть море, то самое, чей образ используется в традиционном сравнении, и от того, какого курса я держусь, зависит вся моя внешняя, видимая другим людям жизнь. Но я не являюсь хозяином моих представлений и чувств — они возникают и исчезают, повинаясь непостижимому закону природы; моя воля есть некая безличная сила, как и мой ум, а сознание — огромное царство, границы которого мне неведомы, я лишь смутно догадываюсь, где они пролегают. На просторах моей личности я чувствую себя в точности как на море. Неизбежно приходится лавировать между инстинктами, не спуская глаз с цели, — иначе я рискую потерпеть кораблекрушение. Моя личность — это внешний мир по отношению ко мне как субъекту, сам я — не личность, я только нахожусь в ее пределах. И если я достиг внутреннего прогресса, это означает, что я проплыл куда-то вперед по морю; прежнее мое место, по совершении движения покинутое мной, живет в моих воспоминаниях. Человек странствует по своему телу, материя изменяется, лишь направление остается неизменным. Человек как бы совершает паломничество и по своей душе. Чем больше он воспринимает, переживает, познает, тем лучше он узнает самого себя. Цели достигает тот, кто познал свою душу и господствует над нею так, как викинги господствовали на морях.

Вчера я наблюдал очень занятных летучих рыбок, испуганно взмывавших над волной в кильватере. Аналогичные явления рождает моя душа. И в сознании моем иногда взлетают, взмыв над его поверхностью, идеи, которые, вероятно, обитают в моем подсознании, и мне самому являются неожиданно; и еще во мне живут существа, похожие на скатов и акул. Я прекрасно знаю — и сегодня живы опасные элементы, столь часто бравшие власть над мной прежде, хотя сегодня они не заявляют о себе, кроме тех случаев, когда я предаюсь мечтаниям; эти опасные элементы не умерли, просто я с ними не сталкиваюсь. Всякий демон, вроде бы давно умерший,

набросился бы на меня с прежней, ничуть не ослабевшей силой, вздумай я беспечно вступить в его владения. Но поскольку я понимаю, куда направляюсь, то могу не бояться демонов. Сами по себе они очень заняты. Необходимо хорошо знать их, и тогда позволительна даже игра с ними.

Не без удовлетворения вспоминаю об ошибках, которые случилось мне совершать в жизни; если бы я не допустил их в свое время, то был бы сегодня хуже, чем я есть. И в глубине души я не сожалею, что своими ошибками причинил кому-то боль. Определенная мера вины заранее назначена каждому, кто всерьез намеревается достичь совершенства, и эту меру вины должно принимать без оговорок. Такой человек совершает в метафизическом смысле именно то, что намеревался свершить Иисус для истории, когда принял на себя грехи всего человечества.

В самом деле, кто же я такой? ... Вновь напоминают о себе старые проблемы, но на сей раз не так явственно и определенно, как прежде — мое душевное волнение стихает при виде вечно волнующегося океана.

Если подойти феноменологически, Я — это представление, которое меня в данную минуту занимает. В метафизическом смысле я, Герман Кайзерлинг, вероятно, вообще не существую. Во мне нет ничего конкретного, что не возникало и не исчезало бы во мне самом, нет чего-то неизменного и неизбежного, с чем я мог бы идентифицировать свое вечное. Все и всяческие явления — это «природа», начиная от человеческого характера и кончая тем или иным настроением человека в данную минуту. То, что я рассматриваю и изучаю как «себя», есть поток моих представлений, в каждую данную минуту обладающий теми или иными качествами. Представления эти имеют либо внутренний, либо внешний источник, но какие из них станут носителями моего самосознания, зависит не от происхождения, обусловленного внутренними или внешними факторами, а лишь от того, с какой интенсивностью я воплощаю свои представления: именно воплощение — принципиально важный фактор. А значит, с точки зрения атмана, нет никакой разницы между оригинальностью гения и послушным поведением ребенка.

Однако ни одно воплощение не бывает длительным; постоянно лишь направление пути, которым следуют инкарнации. Вот оно имеет, пожалуй, исключительно внутреннее происхождение, во всяком случае, это направление можно считать тем, что мы именуем «самостью» (Selbst). Иначе говоря, самость есть то, что направляет превращения по определенному руслу. Впрочем, это рассуждение все-таки не устраняет трудностей понимания. Допустим, Я — это направление или задающий направление момент движения, в таком случае в моей самости нет ничего личного; и в конечном счете неважно, идет ли речь о человеке, пребывающем в одиночестве, или о самостоятельной монаде, — сейчас меня не интересуют различия между ними — не это человек способен ощущать как свое собственное Я. Дело в другом, и тут возникают проблемы, связанные с понятием бессмертия. Разумеется, вопрос о продолжении бытия мы относим к области феноменологии, а не метафизики, однако в феноменологии он как раз представляет собой неразрешимую проблему, поскольку то, что мы воспринимаем как наше Я, есть точка пересечения бесконечно многих тенденций, среди которых лишь одна-единственная указывает на нашу сущность, а тенденции, которые кажутся наиболее личными, подчеркнуто личными — мнения, чувства, мысли и волевые решения, определенно не имеют характера чего-то бесконечного. Проще всего было бы подойти к этому вопросу, если бы я мог рассматривать себя самого в качестве моего задания, или идеала, или пути, в этом случае моя жизнь — буквально — продолжалась бы в дальнейшем воздействии моих идей; в этом случае бессмертие Христа было бы тождественно развитию христианской религии. Такой взгляд на вещи мне сегодня ближе, чем какой-либо иной. Я с детских лет служил и поныне служу идеалу; конечно, в юные годы я еще не мог его постичь, но уже тогда он задал направление всей моей жизни. Я с самого начала обладал глубоко личным сознанием должного (порой оно представало как «дозволенность» или «запретность» чего-либо), и это сознание столь властно над мной, что и сегодня я, во всем остальном человек норовистый и отнюдь не склонный к самопожертвованию, без колебаний пожертвовал бы собой, встретясь мне та-

кой человек, в качестве слуги или орудия которого я смог бы лучше исполнить мою задачу. Моя задача есть, следовательно, мое собственное Я; после смерти я продолжал бы существовать как воздействие, оказанное тем, что я исполнил свою задачу. Далее, если бы я исполнил свою задачу не до конца и, таким образом, не исчерпал свои возможности в оказании воздействия, то в этом случае теоретически допустим другой путь, другая возможность жизни после смерти — мое личное сознание во второй раз может совпасть с тем, что составляет мою задачу. Нельзя доказать, что подобных новых воплощений не бывает: ближний, исполняющий ту же задачу, что и я, в свою очередь воспринимал бы ее как свое собственное Я; в том и другом случае была бы налицо идентичность и форм, и существенного содержания сознаний, пусть даже и нельзя, опять-таки, доказать, что новое воплощение действительно происходит. Повторю: сегодня мне ближе всего взгляд, согласно которому объективно существующая идея проходит путь различных воплощений, человек бессмертен настолько, насколько бессмертен его идеал, и реален настолько, насколько реальны усилия, приложенные им во имя служения своему идеалу. Но я решительно не согласен с тем, что вечное бытие неизбежно: большинство людей после смерти действительно мертвы, т. е. не обладают сознанием, и при этом совершенно ничего не значит, если объективно они продолжают существовать; бытие лишь немногих превосходит своей длительностью определенные, ограниченные исторические периоды. Но если рождается человек, способный воплотить в своей личности основополагающую, мировую идею, как Будда и Христос, то он, как личность, живет и будет жить вечно, до скончания времен.

Таковы мои «индийские» мысли. Ничто не характеризует мировоззрение вернее, чем то, какие физические условия оно предполагает для себя, создает или соглашается принять. Здесь, на просторах океана, я хотел заняться чтением Библии, чтобы и духовно начать возвращение в западный мир. Однако план этот рухнул, да он и не может осуществиться, пока всюду, куда ни поглядишь, — великий океан. В сравнении с его простором достигнутая христианством сосредоточенность человеческого созна-

ния кажется неким ограничением, а от этого и вся атмосфера христианства кажется лживой. Я уже писал и вновь повторяю: с точки зрения человека деятельного, творческого, христианство отличается большей глубиной в сравнении с буддизмом, ибо христианское учение воспитывает в действующем человеке глубину мысли и чувства. К Богу можно прийти ведь и благодаря стараниям довести до высокого совершенства свое внешнее явление; более того, для всякого человека, не склонного к созерцательному образу мыслей, именно этот путь к Богу — кратчайший. Но всякий, кому не безразлична успешность его развития, должен отдавать все свои силы именно развитию и даже переоценивать собственные возможности, так как в противном случае его энергия ослабевает; отсюда — неизбежность чрезвычайно высокой самооценки и превратное понимание самих себя как индивидов в кармическом учении йоги...

На просторах океана желание какой-либо деятельности не жизнеспособно — сознание невольно сосредоточивается на вселенной и, подобно капле в море, отвергает собственную волю. Не в том смысле, конечно, что сознание уносится куда-то за пределы явлений, нет, оно стремится к постижению лишь величайших взаимосвязей между грандиознейшими феноменами мира. И потому на просторах океана размышления невольно принимают характер буддистский — ведь взаимную связь всех явлений никто не познал глубже и никто не выразил ярче, чем Татхагата.¹

Не могу вдоволь налюбоваться полетом альбатросов; наш корабль сопровождает семь громадных птиц. Иногда они нас покидают на несколько часов, наверное кружат где-нибудь в поисках добычи или дремлют, качаясь на волнах, но потом птицы догоняют наш пароход так быстро, словно все это время он стоял на якоре. А как они плывут в небе, точно под парусами! Кажется, этот скользящий полет само совершенство. Поймав ветер, они парят, не взмахивая крыльями, — лишь чуть-чуть изменяется угол наклона крыла, и птицы поднимаются или опускаются, их движения ритмичны; разумно используя

¹ Будда Шакьямуни.

воздушные потоки, они почти без затраты сил набирают такую скорость, что, кажется, легко могут обогнать само время. Чудесное зрелище, когда эти живые парусники разрезают небесную лазурь, а прекраснее всего, пожалуй, тот момент, когда птица собирается сделать резкий поворот и, вдруг снизившись, погружает одно крыло в волну, чтобы использовать ее как опору.

Эти морские птицы изумительные творения природы. Они не являются морскими или водными животными, но не живут и на суше; они отдыхают на волнах, их носит ветер, однообразная морская пустыня для них столь же хорошо обозримая область, как для горожанина — район, где он давно живет. Вне всякого сомнения, они наделены чувствами, о которых у нас нет ни малейшего понятия. Важнейшие географические объекты более или менее известны им априорно, они отлично разбираются в метеорологии, чувствуют, какое расстояние отделяет их в каждую данную минуту от суши. И при всем том они глупы — по нашим представлениям. Нет у них ни секстангов, ни разума, нет инструментов, какие имеются у цивилизованных людей, и, скорей всего, нет и настоящего сознания, и тем не менее альбатрос в морской стихии ориентируется гораздо лучше, чем самый опытный капитан.

Людам не помешало бы научиться менее высокомерно оценивать способности животных. В распоряжении живых существ множество способов организовать свои отношения с миром, и тот, что принят у людей, — далеко не лучший, с какой стороны ни посмотри. Всякое живое существо включено во всеобщую взаимосвязь и, в общем и целом, обладает свойствами, необходимыми ему для самутверждения. Если условия делаются неблагоприятным, оно пускает в ход самые важные свои способности. Амеба — существо, во многих отношениях более одаренное, чем мы; червь, которому постоянно грозит гибель под какой-нибудь подошвой, наделен способностью к регенерации не хуже иного индуистского божества; вероятно, и человек обладает многими возможностями, которым завидуют боги. Абсолютные, ничем не компенсированные преимущества у какого-то живого существа, обитающего в нашей вселенной, пока что не удалось обнаружить. Итак, будем почитать в альбатросе идеал, еще менее достижимый для человека, чем стасус божества.

Гонолулу

Аквариум в Гонолулу по праву считают одним из чудес света. Рыбки там блестящие, точно драгоценные камни, и с удивительными очертаниями, — они словно сошли с причудливых рисунков японских художников, вдобавок они пестрые и яркие, как бабочки или колибри. Аквариум полон сверкающей жизни, которую обычно мы видим, наблюдая пернатых обитателей воздушной стихии.

Мне хочется понять, в чем смысл этой формы. С точки зрения биологии, здесь нет какой-то особенной проблемы, если только окраска не отличается экстравагантностью, — как правило, она позволяет животному слиться с окружающей средой. Темно-синие, мягко мерцающие рыбы с длинными, точно птичьи клювы, мордами, незаметны на глубине, наверное, незаметны и желтые рыбы на фоне желтого песчаного дна; а вот пестрые, разноцветные и такие яркие, что глаза режет, когда глядишь на них, помещенных в стеклянные банки, — должно быть, в море и они не отличаются от окружающего ландшафта, например где-нибудь среди кораллов. Плавают они поразительно проворно. Главной достопримечательностью аквариума признана плоская рыба, круглая, точно лунный диск, с яркими черными и желтыми полосами на теле и со спинным плавником, похожим на флажок или выпел. Он очень длинный, и рыба не может плыть быстро, так как плавник тянут за собой разные течения. И что же? — это умное создание обитает только в скалистых гротах, где разноцветные полосы на его теле сливаются с игрой проникающих под воду солнечных лучей, а выпел-плавник так похож на щупальце осьминога, что мелкие хищники остерегаются подплывать близко.

Все это вполне очевидно. Однако проблема форм, которыми наделены живые существа, не решается простой ссылкой на целесообразность тех или иных особенностей. Окраску рыб, обитающих близ Гавайев, можно назвать какой угодно, но только не целесообразной, а ведь должна быть, если мы желаем объяснять все только целесообразностью. В пестрой окраске гавайских рыб нет необходимости, поскольку с гораздо меньшими «затрата-

ми» природа могла бы одеть их в одежду защитных цветов, и, кстати, эти небольшие затраты окупились бы стоицей — нарядные, красивые существа, не привязанные к постоянным местам обитания, часто меняющие их, то есть свой фон, заметны в водах Тихого океана и подвергаются не меньшим опасностям, чем, например, наш северный снегирь на фоне снега. Принцип целесообразности обозначает лишь нижнюю границу — иначе говоря, ни один организм не имеет такого внешнего облика, какой помешал бы ему спастись от опасности и размножиться, продолжая свой род. Но если жизнь многих видов животных не легче, чем жизнь беспомощных и угнетенных людей, то многие другие, напротив, обеспечены несравнимо лучше. Великолепие красок тихоокеанской морской фауны объясняется, по-моему, лишь тем, что природа не хуже человека способна наслаждаться плодами своей фантазии. Глядя на этих рыб и анализируя свои впечатления, я словно чувствую веяние духа, окрылявшего Поля Гогена или Роберта Льюиса Стивенсона. Ибо дух ощущается во всем живом; в растениях и животных он еще не достиг той свободы и той изобретательности, которые у человека развиты, по-видимому, почти исключительно в психической деятельности. Поэтому в мире животных и растений возникают шедевры организации, по сравнению с которыми наше тело кажется столь несовершенным. Этим объясняется и удивительная приспособляемость животных к окружающей среде и способность их с легкостью изменять свой внешний облик, а также регенерация; можно сказать, что все эти явления в области физического — то же, что в сфере психического предстает как научные изобретения и творения искусства. И если человек занимается то сугубо практическими делами, то практическими, но одновременно приносящими удовольствие, то, наконец, находит себе занятия исключительно для наслаждения, то и природе не чуждо, помимо пользы, желание наслаждаться, и она наслаждается, давая волю своей фантазии там, где это позволяют условия. Но насколько увереннее природа в своих инстинктах! Как ни фантастичны подчас ее выдумки, природа никогда не порождает на свет чего-то не подлинного, нежизнеспособного, бессмысленного, природе чужд всякий футуризм, и у нее нет дурной привыч-

ки многих художников, а именно, бросать задуманное на стадии предварительного наброска. При виде иных рыб приходит в голову, что своим появлением они обязаны, пожалуй, сиюминутной прихоти, а не глубоко укорененной идее природы, что они подобны стихотворным экспромтам; конечно, так оно и есть, ведь сама возможность их существования связана с определенной ситуацией, в чем мы убедились, рассматривая полосатую рыбу с длинным спинным плавником-вымпелом, обитающую возле скалистых гротов и расщелин. Однако облик рыб отличается подлинным совершенством, ни сбоя, ни ошибки при их создании не случилось.

Вот и опять наблюдения привели меня к пренебрежительному суждению о человеке. Да, конечно, в нас воплощены более богатые возможности, нежели в представителях фауны, но как же невелико число возможностей, которые мы сумели претворить в действительные ценности! С рыбами южных морей мы обращаемся совершенно варварски. У нас есть дар самоопределения — но кто его использует? На мысе Бенарес я однажды наблюдал, как крестьянин загонял в птичник стаю своих цесарок. Вооружившись опахалом, парень буквально гнал их вперед, и ни один парус не повинуетя умелому кормчему так легко и быстро, как слушалась птичья стая каждого взмаха и каждого жеста своего хозяина. А у нас, людей, разве не все — так же? Отличие, пожалуй, лишь в том, что у нас не всякий может стать вожаком; если во главе не стоит человек, призванный быть вождем, мы и без него неплохо обходимся. Однако и цесарки не стали бы соблюдать порядок в своих рядах, если бы за ними бежал не человек, а скажем, собака. Когда руководство людьми берет на себя достойный, умелый вождь, девяносто девять человек из ста радостно отказываются от своей независимости... Как жалок человек в своей переоценке себя! Поэты вообразили, будто им принадлежит монопольное право на выражение смысла всех вещей, но в действительности, начиная с античных времен и по сей день, едва ли наберется десяток поэтов, которые могли бы в этом умении сравниться с обычным цветком, скажем розой. В сфере психического наверняка можно добиться большего, чем в громоздком и негибком мире телесности, но добиваются ли? Чрезвычайно редко.

Однако вернусь к вопросу о целесообразности. Почти было среди странных существ, населяющих аквариум в Гонолулу, встретить некую форму, кажущуюся ненатуральной. В одном из стеклянных сосудов там живут японские декоративные рыбки. Их выращивают так же, как гвоздики небывалых цветовых оттенков, это порождения человеческой фантазии. Они очень мило поглядывают на вас из красивых изящных очертаний ваз, в которых у японцев принято выставлять их на обозрение, однако эти рыбки совершенно не приспособлены, хвосты уже не могут служить им рулем, ибо превратились в украшения, непомерно большие глаза напоминают грустные глаза собачек левреток, а слишком округлые бока мешают легко двигаться в воде. Как беспомощны подобные создания даже не в море, а в миниатюрном бассейне! Жизнь их поддерживают искусственно, будучи предоставлены сами себе, эти рыбки, весь их род, вымерли бы за несколько недель. Поглядев на них, особенно хорошо понимаешь, в чем состоит важнейшая особенность идеала сообразности с природой. Разумеется, нечего и думать о возвращении «назад, к природе», она ведь никогда не стоит на месте; нам следует идти вперед, придерживаясь такого направления, которое не заведет в тупик. А именно это случилось с предками японских декоративных рыбок.

У кратера Килауэа

Спектакль, подобный этому, наверное, разыгрался на луне перед тем, как она погасла; на земле ничего подобного нет. Вулкан, однако — не изрыгающая пламя гора, а огненное море; северное море, когда бушуют на нем весенние шторма, взламывая ледяной покров. Неукротимое волнение, пена, брызги, буруны вокруг тающих льдин. Лава шумит и гудит, словно морские валы.

Днем спектакль производит не слишком сильное впечатление: кратер велик, но все же имеет границы, сила материи столь огромна, что невольно приходят на память доменные печи и взбудораженная фантазия устремляется не к бесконечному, а, напротив, к чему-то ограниченному. Но как только солнце зайдет, зрелище становится

час от часу все более впечатляющим. Края кратера уже не видны, шлак не светится, кажется, огонь пылает в бесконечном мировом пространстве — легко вообразить, что с очень близкого расстояния наблюдаешь кипение в самом солнце. На мгновение мне делается не по себе: созерцать подобные картины человеку вообще-то не дозволено, за один только взгляд природа должна бы жестоко со мной расправиться. Между тем я целый и невредимый лежу на краю огненной пропасти и со спокойствием бога взираю на рождение мира.

В этой связи нередко упоминают об аде. Это сравнение ни разу не пришло мне в голову. Должно быть, оно появилось у кого-то при виде Везувия, постоянно грозящего гибелью богатому процветающему краю, и в данном случае огонь действительно есть символ смерти. Но на Килауэа о смерти не может быть речи, так как здесь еще нет ничего живого, и мы являемся свидетелями древнейших процессов, протекавших до возникновения жизни. И потому не чувствуешь ни ужаса, ни восхищения, здесь нет места каким-то человеческим эмоциям; у меня такое настроение, в каком, наверное, пребывал дух творения, паривший над водами. И я думаю: если бы я бросился в это бушующее пламя, оно не причинило бы мне решительно никакого вреда. Ведь если мне дозволено находиться здесь и наблюдать, то я, несомненно, дух. В этом пламени вообще нет враждебности, как не было ее и в первоначальном, сотворяющем мир огне. Если во всех мифах народов Запада огонь ассоциируется с преисподней, если в страшнейших исчадиях ада порождения видят самой священной огненную стихию, то объясняется это тем, что сочинители мифов не имели никакого отношения к вулканам, не знали их. Позднее сложилась варварско-христанская традиция, которая во всей природе видит лишь средства к достижению цели, орудия, пригодные для вознаграждения или наказания людей. Гавайцы же сочинили кое-что получше. В мифе о Килауэа рассказывается о юной красавице по имени Пеле. Девушка бросилась в огненное море, когда ее хотели отдать в жены уродливому мужчине, и с тех пор живет в глубине вулкана, став его душой. Кроме того, Пеле — богиня-покровительница всего архипелага. Килауэа никогда не извергается, если нет на то серьезных причин, ибо

мудрая Пеле вершит судьбами страны. Она привела на трон героя Камеамеа, задушив его врагов ядовитым сернистым газом, но она никогда не причиняет вреда невиновным. Пеле — добрая богиня; если время от времени ей по каким-то неведомым причинам случается разбушеваться, она заблаговременно предостерегает своих чад. И даже с белыми людьми, которые так плохо дерзки, что не раз уже, презрев страх и почтение к богине, приближались к ней на недозволенно малое расстояние, никогда еще не случилось несчастья по ее вине. Отчаянные скалолазы едва не срывались в кратер, но в последнюю минуту все же благополучно спасались от гибели, чего, конечно, не произошло бы без вмешательства сверхъестественных сил.

На залитых лавой склонах Килауэа (Ранним утром)

Всякий раз, когда настает утро, мне кажется, будто история мира начинается сызнова. Пар и туман скрывают все очертания и формы. Границы между предметами расплывчаты. Великая, священная тишина, иной раз подчеркнутая, а не нарушенная криком одинокой птицы, во всей природе создает настроение первоначала. Еще никогда мне не доводилось с такой остротой испытывать это ощущение. Высоко в облаках играют отблески огненного моря, солнце посылает огненные лучи на скалистые утесы, над лиловато-бурой застывшей лавой медленно тянутся кверху желтоватые струйки сернистого дыма. А когда солнце поднимается выше, я различаю серебристых тропических птиц, словно духи из другого, лучшего мира, кружат они над сумрачной пустыней.

Растительность также имеет древний, первобытный вид. Здесь произрастают лишь растения, которым сера не вредна, а наоборот, полезна: диковинные травы, с бледными стеблями и толстыми листьями, с ослепительно яркими цветами. Кое-где попадаются гигантские папоротники и скрюченные деревца, которые, как видно, поторопились появиться на свет. Наверное, не слишком отличалась от этого ландшафта земля в те времена, когда на ней появились первые живые существа. Как

же это происходило? Раздумывать об этом не имеет смысла, вообразить — вообще невозможно. Вероятно, Книга Бытия — самое точное отображение тех событий. И нам, в конце концов, не избавиться от представления, что жизнь на земле возникла сразу, как только это стало возможно, и возникла в многообразных формах. До чего же смешна наука, пытающаяся объяснить чудо! А если бы гетевский Вагнер нечаянно, ненароком все же получил гомункула, не было бы это бóльшим чудом, чем то, что сотворение мира протекало в точности, как описано в Библии? Если бы по существу целесообразное, исполненное смысла — я разумею жизнь — возникло в результате игры случая? Как она возникла, мы не знаем. И Брахма не знает, о чем повествует прекрасная индийская легенда. Признаюсь, если бы этот процесс удалось сносным образом объяснить, я почувствовал бы только раздражение. Я люблю чудо, желаю чуда; наверное, именно потому, что во многих и многих отношениях я фанатик точности. Канта я люблю прежде всего за то, что определенное им понятие границы опосредованным образом выявило бытие в конечном счете непознаваемой реальности; потому что я, как честный человек, совершенно не способен вообразить мир, который бы существенно отличался от мира человеческого, и я не в состоянии уразуметь *in concreto*, как надлежит понимать, например, тезис, что пространственные расстояния не являются чем-то вне-реальным. Поэтому, размышляя об этих вещах, я чувствую искреннюю глубокую благодарность за то, что нет и не может быть никакого объяснения возникновения мира, и хотя бы здесь последнее слово навеки останется за мифом. Однако один миф столь же вероятен, как и другой, ибо миф всегда вероятен лишь в себе самом; если так, почему нельзя допустить, что начало мира было похоже на сегодняшние утренние сумерки?

Глубокая тишина, отсветы огня, водяной и серный пар над теплой, постепенно остывающей землей. И внезапно, будто в самый первый раз, но в то же время так, словно иначе и быть не могло, из неведомой дали доносится призывный крик первой птицы.

Я вспоминаю молодые годы, когда я был геологом и бродил в горах. Долгими эти походы не были, меня все

время тянуло прочь от камней к живому слову. С каким отвращением я занимался своей работой, особенно под конец! А вот сегодня неплохо было бы вернуться в те дни, к своему началу. Насколько больше, насколько шире природа, даже мертвая, чем любые создания человека! Все здесь сотворено ею в крупном масштабе, и все это грандиозное, масштабное пребудет. Мне вспомнились слова пророка Магомета: «Поистине, сотворение неба и земли есть нечто большее, нежели сотворение человека; но люди этого не понимают». Да, несомненно, полезнее постигать творения природы, чем создания человеческого гения, даже величайшие. Геолог, которому предстало зрелище Альп, охватывает мысленным взором миллиарды бурных, богатых событиями лет, словно в магическом зеркале, способном сконцентрировать эпохи до мгновений, он видит, как вырастали горы, одна фауна сменялась другою, и наконец сложилась картина, которая предстает нам сегодня. Геолог размышляет и словно присутствует на первом исполнении грандиозной симфонии жизни: вот раздались первые, как бы не связанные между собой звуки, затем слышатся все новые и новые, все более богатые, полнзвучные голоса, и возникают сложные мелодии, которые бесконечно сменяют друг друга, и все это разворачивается в хронологическом порядке, постичь который возможно, лишь восприняв все в целом, как завершенное произведение. Геолога не смущает мнимая антиномия синхронности и последовательности, изменения и стабильности: в определенных неизменных типах реализуется контрапункт, который обладает внутренней властью над всеми мелодиями, нимало не стесняя, однако, их свободы. Поэтому сознанию геолога в спектакле природы открывается гораздо больше, чем глазам самого тонкого художника. Если есть у меня преимущество перед многими мыслителями, то оно заключается в том, что я ученый-естественник. Обычно ведь философы изучают древнегреческий или санскрит, или занимаются сравнительным изучением литератур... это хорошо, но, по-моему, гораздо полезнее погружаться в процессы становления миров. Даже законы, которым подчиняется рост кристаллов, таят в себе целую симфонию, и все идеи искусства имеют символические прообразы в первичной плазме.

От первого трепета страсти, пронизавшего бесформенный хаос, непрерывная цепь развития ведет к Трое и Парфенону.

Ночью у кратера

Сегодня ночью я стою на страже при сотворении мира. В бездне небес блещут звезды, в неизмеримой глубине внизу шумит огненное море — так далеко, что в его границах, кажется, может поместиться вселенная. Усталости я не чувствую. То, что разыгрывается перед моими глазами, более величественно, чем всемогущая судьба.

Вот уже несколько часов, как я, напряженно вглядываясь в глубину кратера, пытаюсь постичь принцип его динамики. Для рассудка, оперирующего количественными понятиями, эта задача не представляет трудности: все играющие здесь силы действуют и в моем теле, их законы это и мои законы. Однако их масштабность делает задачу неразрешимой. Все великое вызывает великие муки. Пусть атом «сам по себе» не менее сложен, чем солнечная система, все же есть разница между ним и небесным телом, чьею мельчайшей частицей он является. Интенсивность известных нам сил, являющую себя в извержениях вулкана, я внутренне, в себе, испытать не могу; описать, понять, объяснить эту интенсивность довольно легко. Но не это мне нужно.

Насколько было бы проще истолковать сотворение мира, опираясь на какой-нибудь миф! Всякий миф, даже самый наивный, с точки зрения простого человека более вероятен, чем феноменология радия, ибо творение из ничего по воле бога есть в своем роде зеркальное отражение того, что всякий человек создает и творит каждую минуту. Я о чем-то подумал — и оно тотчас же возникает в мире моих представлений; но ведь это означает, что я спонтанно сотворил из небытия некое бытие. Т. е. я совершил столь же грандиозное деяние, как Яхве, сотворивший мир. И все, вот так сотворяемое мною, заведомо «хорошо», во всяком случае, намного лучше, чем я предполагал. «Не-бытие», из которого я чудесным образом сотворил «Бытие», можно представить себе, конечно,

лишь как вещество; следовательно, я в принципе и здесь не уступаю демиургу. Правда, вещество мысли гораздо пластичнее, чем то, из которого состоят горы. Но если вообще возможно оказывать влияние на материю посредством духа, то это должно быть возможно и по отношению к тяжелым массам, не говоря уже о том, что эти массы в конечном счете также состоят из мыслительной материи. В этом отношении человек опосредованно достиг уже довольно многого, однако я убежден, что и непосредственно он может совершить гораздо больше, чем сегодня считают возможным — наверняка возможностей не меньше, чем те, о которых говорят индийские йоги. Концентрация внимания это сосредоточение психической энергии; неврастеник не способен сосредоточиться: где же разрыв, где принципиальная невозможность для человека творить, как Иегова? Если бы я, максимально сконцентрировав все силы, какие предоставляет в мое распоряжение сознание, повелел бы — да будет свет! — наверное, и стал бы свет.

Задержусь на этой мысли. Мне приятно, что я пытаюсь силой моей воли противостоять извержению вулкана. Немножко досадно, так как попытки мои безуспешны, хотя, с другой стороны, было бы гораздо обиднее, если бы великолепный спектакль, который разыгрывается там, в бездне, окончился слишком рано. Что же мешает мне осуществить мою волю? Вероятно, мелочь, пустяк; наверное, при достаточно хорошем знании природы можно заставить вулкан потухнуть, приложив не больше усилий, чем требуется для выключения электрической лампочки; наверное, это удалось бы даже непосредственно, без каких-либо вспомогательных устройств. Как ни огромны силы, бушующие там, внизу, среди них нет самой мощной из всех — силы межатомной энергии. Если бы мне удалось, а это, конечно, не вызвало бы затруднений, разложить на атомы один только кубический метр лавы, от вулкана мокрого места не осталось бы.

Нет, здесь нет и тени жизни. Что такое жизнь? Нематериальный принцип, формирующий материю. В таком случае возможно сотворение души вулкана. Я все больше склоняюсь к мысли, что жизнь есть нечто вездесущее, находящее свое выражение, как только возникают необходимые материальные условия (жизнь, конечно,

сама создает эти условия, хотя бы частично). Откровение духовной личности происходит после того, как мозг обретет необходимую зрелость, экспрессия одухотворяет картину, после того, как художник проведет определенную линию, так же иногда в пустяковом высказывании прочитывается более глубокий смысл, стоит лишь изменить одно-единственное слово. И вот что кажется странным, пугающим — одухотворение может явиться по чистой случайности.

Между прочим, я не знаю большего наслаждения, чем наслаждение от сотворения душ. С каждой идеей, которую человек дает миру, материя приобретает новый смысл. Однако если серьезно: что было бы, сумей я создать душу этого вулкана? Впрочем, у него уже есть душа, согласно гавайскому мифу, просто я не наделен органом, позволяющим убедиться в ее наличии.

...Глубокая ночь. Лава постоянно поднималась и захватывала землю все более широкими кругами. Чем темнее становился фон, тем ярче сверкал огонь. Красный цвет — днем он преобладает — исчез. Теперь это симфония в золотых и черных тонах. Странно! Перед лицом этого мирового пожара отчего-то вспомнились японские черные лакированные изделия. Очевидно, в одном случае золотая краска, а в другом — магма растекаются по черному фону, подчиняясь одному и тому же закону...

...Все-таки я ненадолго задремал. Может быть, это отзвук неясного сновидения, навязанного болтовней туристов: когда я открыл глаза, в огненном море мне привиделись тысячи нагих тел. Наверное, это ад. Впрочем, нет: грешники не мучились. Огонь не причинял им ни малейшего неудобства, языки пламени скользили по телам, точно тени.

...Занимается рассвет. Вновь, как в первый день творения, разделяются небеса и земная твердь. Не успевшая скрыться луна, робкая и бледная, быстро прячется от смеющегося солнца. Внизу, в кратере, прилив сменился отливом. Огненное море отступило и кажется вялым, словно умершим. Вместо золота всюду разлит тусклый красный цвет. Черный фон, еще минуту назад терявшийся в бесконечной дали, обрел свой истинный вид, став грязно-серой коростой шлака.

В проливе Вайкики

Элины поселили своих умерших, блаженных, на острове среди моря. Что может служить лучшим доказательством великой приверженности природе, свойственной фантазии греков? Для человеческого ума возможное — это всегда то, что можно вообразить, однако бытие блаженных представляется возможным только на острове. В условиях полной изолированности необузданные желания не жизнеспособны; на острове никогда не происходят события, которые могли бы стать историей, и время там ничего не значит. Прочно стоящий на земле человек, тем более грек с его неукротимой творческой энергией, на таком острове изнемогал бы духовно; а для блаженных, чуждых желаниям, не ведающих о времени, их остров — настоящий рай.

Жизнь на Гавайях невольно приобретает характер мифа. Европейец, по существу человек исторический, здесь подобен мушке на акварельном рисунке. Однако гавайцы, также присутствующие на картине, кажутся странно нереальными; или, пожалуй, реальными, но такими, какими видишь реальных людей во сне. Почти никакого различия между тем, что предстает взору, и тем, что я читал в старинных героических сказаниях. Гавайцы таковы, какими люди бывают только в мифах: добросердечные и беззаботные, легкомысленные и благодушные, их жизнь состоит из сплошных праздников; вместе с тем в бою, на войне они страшны — жестоки и беспощадны. Безобидные как бабочки, они живут тем, что им благосклонно дарят деревья и кустарники, в то же время это людоеды, во всяком случае, были людоедами всего столет тому назад. В точности как олимпийские боги. Царь Камеамеа, этот Александр Великий южных широт, воитель, чьи деяния воспеты в тысячах и тысячах песен, походил на Зевса — великий и могучий, жестокий и вспыльчивый, но при том добрый, незлобивый, легкомысленный, в целом безответственный, как дитя. Сражения, проходившие под его началом, страшные кровопролитные битвы, принесшие гибель целым племенам, сам он считал чем-то вроде воинских турниров, а не настоящей войной; иначе говоря, они походили на те бои, что вели олимпийские боги в небе над осажденной Троей.

Гавайские воины, люди из плоти и крови, относились к смерти не более серьезно, чем олимпийцы.

Таковыми были и первые люди, согласно единодушным заверениям всех мифов. Конечно, нельзя признать, что они действительно были такими, однако в высшей степени показательно, по-моему, то, что именно такой характер поэтическая традиция мифа приписывает всем без исключения первым людям. Они были не примитивные дикари, а дети богов, а значит они были и выше и в то же время ниже нынешних людей. То, что боги — точнее эти боги, божества того же типа, что олимпийцы — и выше и ниже чем мы, совершенно однозначно вытекает из всех мифов. Но только индийцы сумели показать, чем же они лучше и чем хуже нас: из трех мировых элементов — саттва, раджас и тамас — вторым, раджасом, энергией, в бытке наделены боги, тогда как третьего элемента, инертности, боги начисто лишены. Поскольку инертности нет и сила, энергия, не встречает на своем пути ни малейшего сопротивления, боги, при всех преимуществах, которые дает полная необузданность, все же ограничены, причем вдвойне: они поверхностны и безответственны, так как никакие их деяния не затрагивают их самих внутренне, какие бы серьезные последствия эти деяния ни имели вне самого божества; это — во-первых, а во-вторых, боги неспособны превзойти свою божественную природу. Итак, человек именно благодаря инерции, «духу тяжести», может достичь просветления (преобладания саттвы), тогда как богу это удастся лишь в том случае, если он однажды родится на свет как человек и использует возможности, предоставляемые для достижения просветления только человеку. По-моему, нет лучшего определения того, что отвечало бы понятию природного божества; в понимании индийцев природное божество ниже человека. Как раз в этом смысле первый человек, дитя богов, по сравнению с нами и выше и ниже. Однако прежде всего бросается в глаза то, в чем он «выше» нас, как всегда бывает, когда сравниваешь действительное положение дел с неким воображаемым; поэтому в мифической древности мы видим некий идеал. Мы жаждем безграничности, безответственности, мы готовы платить за них любую цену, а все потому, что наша жизнь — это сплошная ответственность. Вот и я ловлю себя на восхищении гавайцами. И мне кажется

сверхчеловеческой эта способность жить как боги, и я не вижу тут ничего, что было бы ниже достоинства человека.

Пишу эти строки глубокой ночью, вернувшись с пышного гавайского пира. Праздник был буйный и в то же время трогательный. Местный бард удивительным, проникновенным голосом пел древние песни, содержание которых составляют местные легенды, мы, гости, сгрудившись у общей миски, хватали руками и разрывали на куски рыбу, а вокруг плясали украшенные перьями танцовщицы, они с невиданной лихостью вращали бедрами, меж тем как корпус, плечи и голова оставались неподвижными.

Да, это, конечно, остров блаженных. День за днем светит солнце, оживляя горы и долины. Каждый вечер прохладный ветерок играет верхушками казуарин — железных деревьев. Все растения тут круглый год усыпаны цветами, плодовые деревья — плодами. Океан же всецело принадлежит миру бессмертных. Пенистые валы с грохотом обрушиваются на берег — и все-таки человек играет с ними так, словно прибой — это пена и ничего больше. Вдали, у рифа, волны так высоки, что, пожалуй, и кит испугался бы. Но неизменно веселые гавайцы волн не боятся — скачут на них как на лошадях, мчатся на гребне волны к берегу, балансируя и выделявая замысловатые пируэты, подобно тритонам в морской идиллии.

Неужели эти прекрасные, смуглые мужи, плавающие точно рыбы, чувствующие себя в океане как дома, — такие же люди, как мы? Наверное, не совсем; каждая стихия создает свои особые существа. Человек, и всадник, и ныряльщик, и житель пустыни или горец, — все это разные создания. Человека водной стихии я до сих пор знал только как покорителя вод, т. е. сухопутное животное, сумевшее хитростью подчинить себе водную стихию; но настоящего человека-амфибию можно встретить сегодня только в южных широтах. И здесь он настолько совершенен в своем роде, что кажется сверхчеловеком. Гаваец, указывающий мне путь в океане, прекрасен как бог, настоящий исполин, прославленный победитель акул; говорят, он выкалывает копьем глаза всем акулам, какие ему попадаются. В то же время он мягок, уступчив, по вечерам, когда на берегу слышатся вздохи кокосовых пальм, он тихонько напевает что-то печальное.

И снова мои мысли уносятся в Грецию. С какой поразительной уверенностью творила фантазия эллинов! Все, созданное природой в тропиках, есть копия греческого идеала. Более правдоподобных, более жизнеспособных богов, чем боги древних греков, поэтическая фантазия земных людей не создала.

Но иначе, наверное, и быть не могло. Елисейские поля — это царство субъективности; их реальность сотворена настроением, и всякая реальность здесь преобразуется в настроение; мир мгновенно становится таким, каким его творит произвол мгновения. То, что обычно проносится в моем сознании подобно метеору, ныне медлит; мои прихоти множатся, слабые желания крепнут; из тумана выходит яркая звезда. И вот на острове среди играющих волн, в раю пальмовых рощ и гигантских пурпурных цветов у меня зародилась некая сердечная склонность.

Серьезна ли она, реальна ли? Откуда же мне это знать? Границу между действительностью и творениями фантазии никогда не удастся провести уверенно. Как часто реальность расплывалась и превращалась в мечту, и наоборот сновидение становилось действительностью! Как часто я сочинял, в дополнение к реальной жизни, некие связи и отношения между мной и самыми разными людьми: пока эти вымышленные связи не исчезали, люди оставались чрезвычайно важными для меня. Но часто бывало и наоборот: стоило лишь сложиться определенной ситуации, как во мне пробуждалось чувство, которое исчезало, едва исчезал его повод! В сущности, никогда не бывает иначе. Любовь, чьим важнейшим мотивом является природное влечение, обоснована не глубже и не прочнее, чем прихоть интеллекта; чувство любви опять-таки зависит от внешних обстоятельств и улетучивается, едва лишь эти обстоятельства изменяются. Сами по себе психическая реальность и фантазия не поддаются разграничению, важнейший вопрос — на чем сосредоточивается сознание. Если сознание идентифицирует себя со своими инстинктами, то оно тождественно страсти; если оно идентифицирует себя с вымыслом, то вымысел и будет в глазах человека высшей реальностью; если сознание зиждется на родовых связях и отношениях, его подлинное Я

составляет семья. Но чтобы любовь могла означать нечто абсолютно реальное, человек непременно должен ощущать свою идентичность с собственной личностью. Мне это уже не удастся. Правда, в известные, регулярно чередующиеся периоды определенные влечения берут над мной верх и тогда средоточием всего моего бытия становится вторичный центр сознания. Такое состояние длится недолго; когда соответствующий период подходит к концу, мое сознание возвращается в свое обычное состояние. И моя особа мне самому кажется чем-то внешним, миром, который я принимаю всерьез не более, чем какие-нибудь внешние обстоятельства, коль скоро я вынужден с ними считаться...

Ныне я пребываю в царстве субъективности. Поэтому и возникшая здесь склонность, вероятно, окажется в высшей степени вымышленной, судя по всему объективная основа у нее вообще отсутствует. Однако пока она мной владеет, она кажется мне вполне реальной. Я снова испытываю то удивительное состояние, когда вселенная определена посредством нескольких личных координат, меня снова одолевает неуверенность, которая, должно быть, охватывает всякого мужчину, обнаружившего, что он вдруг очутился посреди моря чувств, т. е. в стихии, которая мужчинам, в отличие от женщин, вовсе не близка. Но, плавая в этом море, я понимаю, что не смог бы утонуть. В мифическом окружении вся жизнь принимает мифический характер. Нереиды и тритоны неплохо знакомы с любовью, однако то, что для человека серьезно, для них только игра; в их любовных утехх нет элемента инерции, нет укорененности в земном, нет душевности. Точно так же обстоит дело со склонностью, что ныне покорила мое сердце, душу и чувства. Конечно, в данный момент она олицетворяет для меня весь мир; однако сомневаюсь, что буду страдать, если объект моей склонности внезапно исчезнет...

В Америку

А вот теперь нельзя терять времени; до нашего прибытия в Калифорнию моя душа должна сбросить оковы и путы Востока; в противном случае во мне зазвучат фаль-

шивые ноты — так пианист, нажав педаль, растягивает и переводит в неверную тональность чудесный гармоничный аккорд. Надо внутренне собраться, ибо перестройка дастся не без труда. Америка меня не только не привлекает — я боюсь встречи с этой страной, испытываю ужас перед ней. Впрочем, личные симпатии и антипатии никогда не следует принимать всерьез, они лишь доказывают ограниченность человека, которому они свойственны. Без сомнения, Соединенные Штаты заслуживают внимания, ведь возможности человека там осуществились так полно, как нигде больше, а всегда стоит задерживаться на том, что позитивно.

Однако если я сойду на берег в Сан-Франциско в недобром, неприязненном настроении, мне не удастся воспринять позитивные черты и проникнуться духом этой страны. Ничего нельзя понять, если в тебе нет доброжелательного внимания; пока в центре сознания остается склонность к критике, ни одна попытка справедливо оценить что-то чужое не будет успешной. Как же сделать так, чтобы мне удалось в течение всего одной недели коренным образом перестроить мое умонастроение? Необходимо заняться психоанализом; установить, в чем подлинная причина моего личного негативного отношения к Америке. Если найду, тем самым констатирую беспочвенность отрицательного отношения — ибо нет ничего объективного, что оправдывало бы субъективную неприязнь — конечно, я справлюсь с моим недружелюбным настроением.

Хорошенько поразмыслив, я пришел к выводу, что моя антипатия направлена не столько на американское как таковое, сколько против Запада вообще, и она обусловлена тем, что Америка есть экстремальное выражение всего западного. Мы, европейцы, вообразили, будто от американцев нас отделяет не только великий океан, но и нечто иное: тем более поучительно было узнать, что азиаты замечают какое-то различие между европейцем и американцем лишь потому, что американцы им кажутся наиболее типичными европейцами; по мнению азиатов, американцы не воплощают в себе какой-то иной дух, нежели мы, — дух тот же, просто у американцев форма его более однозначна. Конечно азиаты правы, сущность народа, понимаемая как черты, отличающие его от других

народов, чужестранец всегда распознает лучше. Следовательно, я должен допустить в качестве предпосылки, что в явлении американца мне антипатична сущность любого западного человека.

Какова же она, в чем ее отличие от сущности азиата? Общепринятые рассуждения насчет материализма Запада и духовности Востока, о нашем недостойном характере, вечной спешке и жадности, противоположных превосходству, достоинству и спокойствию жителей восточных стран, о нашей жажде деятельности, об их глубине познания — все это не охватывает существенного. Любые, самые справедливые претензии, предъявляемые европейцам, опрокидывает одно-единственное соображение, а именно, что наш идеализм несомненно сильнее, и отсюда следует, что все, чего у нас пока еще нет, в будущем может появиться; вполне возможно, что материализм наших дней однажды будут считать благоприятной стадией на пути к духовности, ибо материальное воплощает для западного человека идеал, а значит, влечет его, хочет он того или нет.

Даже большее внимание европейца к средствам для обеспечения жизни, чем к самой жизни, не составляет существенного различия между ним с азиатом. В конце концов, мы мечтаем о «чем-то одном, но насущно необходимом», и тоска по нем все больше подчиняет себе наши стремления, однако сверх того мы хотим усовершенствовать внешнее, и если сегодня это желание стоит у нас на первом плане, то потому, что человек не в состоянии преследовать две цели одновременно с одинаковой энергией. В любом случае, ошибочно укорять нас за необоримую страсть к усовершенствованию внешнего мира, ведь на ней основано наше превосходство, потому что восточный метод, а именно — отворачиваться от внешнего во имя постижения смысла вещей, кажется довольно дешевым по сравнению с нашим методом, когда мы весь смысл чего-либо стараемся выразить в явлении. Конечно, до воплощения нашего идеала еще далеко, но в один прекрасный день мы, несомненно, осуществим его, ибо прямым путем идем к этой цели.

Нет, не обстоятельства, о которых толкуют расхожие определения Востока и Запада, являются причинами моей антипатии; я знаю это наверняка, так как я никогда не

воспринимал как нечто негативное мощный натиск, настойчивость нашей цивилизации. Шума, спешки и на Востоке предостаточно, но на Западе от них больше толку.

Дело, видимо, в другом. Если только я не ошибаюсь, мое неприязненное отношение к Америке действительно объясняется тем фактом, что в западных странах все формы стали расплывчатыми; наверное, в этом дело, ибо я не чувствую ни малейшей неприязни к индивидам или классам, если форма их совершенна. Противоположность между Востоком и Западом — главный предмет моих размышлений, возникла в те времена, когда началось наше стремительное движение вперед; выражусь точнее, она возникала в эпохи, когда мы переживали стремительные перемены. Хотя в виде идеи эта противоположность существовала всегда: в принципе Запад, занятый созданием нового и выработкой новых форм, всегда отличался большой подвижностью, тогда как Восток склонен к статическому состоянию уравниловки; с точки зрения греческой православной церкви, католицизм и протестантство — дети единого духа (Реформация и ее последствия представляют собой лишь крайности нашего инстинкта обновления и изменения, который издавна характеризует римско-католическую церковь), и точно так же везде и в любое время можно найти доказательства существования, хотя бы в зачатках, противоположности, характеризующей отношения между Западом и Востоком в наши дни. А вот созрели эти зерна не так давно. Различия между античностью и временами блестящего расцвета азиатской культуры, между Францией XVII столетия и Китаем во времена династии Сун затрагивали, если речь шла об актуальной данности, только внешнее явление, но не сущность; ведь и в западных странах до начала Нового времени преобладал идеал статичности, и он же — в древней Элладе и в Италии эпохи Возрождения, ибо сама жизнь при всей своей изменчивости была ориентирована на вневременные ценности. Если мы, современные европейцы, принципиально противопоставляем Восток и Запад, то на самом деле речь идет о противопоставлении идеала классической древности и средневекового идеала Нового времени и нашей эпохи, который следует считать по существу протестант-

ским; и все это значит: идеал совершенства мы противопоставляем идеалу прогресса. Вот я и нашел искомое: всему западному я предпочитаю восточное, потому что превыше жизненного успеха ценю совершенство в любой его форме.

У современного человека, и прежде всего американца, все формы стали текучими. В Новом Свете уже не имеют значения различия между классами и типами; то, что некогда играло решающую роль, нынче, если вообще живо, представляет собой ступеньки, подняться или спуститься по которым может каждый. Из-за этого все жизненные формы превратились в театральные роли. Но роль не обладает воображением, она подобна одежде, которую надевают и снимают, и относиться к ней совершенно серьезно, думаю, глупость. Ироническое отношение к форме могло бы стать высоким идеалом, если бы рука об руку с ним шло углубленное самосознание и жизнь была сосредоточена как раз на самосознании. Но для современного человека смысл жизни в другом — ему важна смена ролей как таковая, продвижение вперед. По этой причине он не человек высшего типа.

Мне встречались умы, усматривавшие главный изъян современной эпохи в том, что она, во-первых, отдает предпочтение количеству, пренебрегая качеством, и, во-вторых, не признает никаких границ, меж тем как самоограничение в той или иной форме есть важнейшее условие любого воплощения ценностей. Несомненно, довод справедлив; такой же смысл заключается, в сущности, и в моих рассуждениях. Однако формулировка, при которой количество и качество выступают как вечный принцип, искажает истину. Современная эпоха кажется нам ненасытной, но здесь как раз нет беды, потому что и этот апейрон *ἄπειρον* неизбежно достигнет своего предела, что, в свою очередь, автоматически приведет к самоограничению; тем временем возрастет количественная норма. Устремленность к чисто количественному росту есть нечто преходящее, и по внешним и по внутренним причинам она перерастет в новые тенденции, как только современное человечество выйдет из подросткового возраста. Отсутствие у нас фантазии подтверждается тем распространенным мнением, что разрушение старых границ означает нечто роковое; ведь ни одна

граница как таковая не воплощает идеал. Любые границы свидетельствуют о недостатке; чем шире их раздвигают, тем лучше. А вот действительно серьезно то, что наша эпоха смешивает понятия успеха и совершенства; что она не отрицает старые ценности, но полагает, будто бы поставила их на более высокую ступень, чем это удавалось когда-либо в прошлом; что свое состояние мы считаем не временным, а идеальным. Это обстоятельство обуславливает неполноценность представителей современной эпохи.

Природа осуществляет себя и совершенствуется, создавая формы. Там, где она еще не оформилась, т. е. не созрела, сущность не выступает в чистом виде: отсюда и незрелость западных людей в сравнении с восточными. Однако даже незрелый повеса порой очень мил с виду, если он хочет перестать повесничать и чего-то достичь; он неприятен только, когда начинает выдавать себя за совершенного человека, — как раз это характерно для американцев. В Европе сегодня все больше понимают, что непостоянство (*das flüssige*), вообще свойственное людям, безобидно лишь как временное переходное состояние, и потому стремятся его преодолеть: нам ведь недалеко ходить за примерами более высокого развития человечества. Американец лишь в виде исключения признает существование чего-то более высокого, нежели прогресс. Поэтому он, как никто иной, кажется нам варваром.

Итак, я, пожалуй, установил, почему не чувствую симпатии к характеру жизни западных стран, и мне не в чем себя упрекнуть. В то же время я нашел отправную точку, чтобы превратить, если удастся, конечно, мое негативное отношение в позитивное.

Находясь в Китае, я пришел к выводу, что китайцы достигли более высокой ступени культуры, но стоят на более низкой ступени природного развития, чем мы; что более высокое совершенство сопряжено у них с низкой степенью прогресса. Отсюда следует: если бы мы на нашей ступени природного развития достигли такого же, как у китайцев, уровня культуры, то намного превзошли бы их, и этим, со своей стороны, оправдывалось бы наличие переходного состояния. От одной готовой формы перейти к другой, новой, можно только через бесформен-

ность, от совершенства к новому совершенству — через неудовлетворительное состояние. Современная Европа разрушила старые формы. Тем самым она надолго лишила себя возможности быть совершенной в явлении; она снова впала в состояние варварства и, пребывая в нем по сей день, наверное, еще долго будет опускаться все ниже; что и говорить, в смысле совершенства у нас не видно продвижения вперед. Но столь же очевидно, что Европа движется вперед по пути развития своей природы, а это значит, что у нас появляются такие возможности совершенствования, каких культурные народы Востока не знают. Эти возможности еще так далеки от осуществления, что, пожалуй, только эмбриолог мог бы с некоторой вероятностью предсказать их путь; то, что предстает взору сегодня, по большей части отвратительно. Но наше состояние многое обещает, ни один разумный человек не станет этого отрицать. С этой точки зрения я и буду отныне рассматривать западный мир.

Если не ошибаюсь, в Адьере я долгое время размышлял об общих взаимосвязях между стремлением к совершенству и стремлением к прогрессу. Я тогда придавал важнейшее значение тому, что честолюбивое желание продвижения вперед в биологическом смысле непосредственно уводит прочь от возможного совершенства, тогда как стремление к совершенству косвенным образом содействует прогрессу. Но столь простыми заключениями вопрос не исчерпывается; взаимосвязь между двумя направлениями развития многообразна и сложна. Сегодня я намерен достичь ясности в вопросе о весьма примечательном отношении, которое мне удалось обнаружить между ними.

Сравнивая зрелые культуры Востока с нашей, находящейся в становлении, я вижу, что в культуре Востока внутренний мир человека, бесспорно, богаче, однако в нашей культуре то, что на Востоке отличается крайней субъективностью, по-видимому, экстериоризировано до уровня объективной силы. Не думаю, что какой-нибудь не особенно одаренный христианин способен так глубоко любить, как индийский бхакта, что он гуманен, как типичный буддист, и окрылен такой высокой духовностью, какой достиг последователь Конфуция; зато у нас

любовь, нравственность и гуманность стали объективными силами, а на Востоке — нет. У нас даже неотесанный и грубый человек все-таки в какой-то мере вынужден действовать в духе высшего блага, тогда как азиата ничто не понуждает казаться образованным, если он не таков, отчего и практическое поведение обычных, заурядных людей на Востоке оставляет желать много лучшего в сравнении с западными. У нас поступки в целом лучше людей.

Созданные нами институты опережают наше существо. Умом мы признали в качестве желательного для всех то, к чему мог бы стремиться по своему личному, внутреннему побуждению разве только святой, и мы изобрели механизмы, которые автоматически обеспечивают реализацию того, что благотворно. Недостатки нашего пути вполне очевидны: возможность творить добро, оставаясь при этом в стороне, делает людей поверхностными, ибо следуя по этому пути, человек привыкает ожидать спасения и блага только от внешних обстоятельств, а своим внутренним развитием пренебрегает. Однако у нашего пути есть одно очень большое преимущество, и на нем я сегодня хочу остановиться, ибо считаю важным и необходимым пробудить в себе симпатию и доброжелательное отношение к Западу. Каждая душа способна принимать различные формы, и ее развитие во многом зависит от того, какие из ее элементов приобретают главенствующее значение; форма, которую душа в конце концов принимает, в большой мере зависит от того, в каком окружении она растет — во времена дикости большинство людей дичает, потому что все вокруг поощряет звериные инстинкты, в благоприятном окружении у большинства людей берут верх добрые свойства и качества; великой удачей следует считать тот случай, когда внешние условия поддерживают в человеке добро. Вне всякого сомнения, на людей можно оказывать воздействие извне, более того, если они непонятливы, только этот путь приобщения их к высшему благу и остается. В древних культурах от незрелых юношей требовали слепого повиновения людям знающим и опытным; конечно, такой способ воздействия на массу лучше, чем позволить ей действовать по собственному разумению, тем более что иной, третьей, возможности тогда не знали. Эту тре-

тью возможность вызвала к жизни наша цивилизация: в пределах современной организации внешней жизни добро всегда более целесообразно; даже подонки сегодня имеют солидный вид, благодаря тому, что умно устраивают свои дела; даже тупица, набираясь опыта, вынужден признать, что в целом, имея в виду долгую перспективу, в нашем мире более выгодно поведение, которое отвечает идеалу. И пусть это обстоятельство поощряет самый грубый утилитаризм — идеальные требования действуют у нас как реальные силы и формируют души, так что выросший в более или менее благоприятных условиях вполне заурядный современный человек не зависимо от своей воли имеет более гуманный и справедливый образ мыслей, чем его предки. Но, как известно, естественное поступательное развитие человечества не охватывает область морали; сегодня нравственные задатки у людей в основном те же, что и тысячи лет назад; любой этический прогресс масс объясняется духовными влияниями, которые затрагивают лишь отдельных людей и, с точки зрения физиологии, всегда остаются чем-то внешним. Поэтому успех, достигнутый нашей системой, заключается в том, что нравственно незрелый человек, неважно из каких побуждений, сам, по своему почину обращается к добру, а это чрезвычайно важно.

Ибо благодаря этому в человеке возрастает внутренняя сила, свободно устремляющаяся к тому же, на что направляет человека давление извне, и таким образом общий уровень медленно, но верно повышается. В соответствии с восточной системой, человек, рожденный незрелым, остается таковым, каких бы высот духа ни достигали зрелые люди, возрастание нравственного уровня массы на Востоке, по-видимому, исключено; человечество как целое застыло там на первоначальной ступени бытия. Напротив, при нашей системе возможно, что вся масса поднимется на тот уровень, который прежде был доступен лишь привилегированным; наша система сложилась именно благодаря тому, что внешние условия подталкивали и направляли незрелого человека, чтобы он по собственному почину стремился к добру, чтобы его собственные духовные силы помогли ему выйти за пределы унаследованного, природного. Поэтому необычайно высокий процент незнатных европейцев за одно столе-

тие поднялся на такую ступень, которую шастры считают потенциально достижимой для индийского шудры лишь по истечении тысячелетий, после бесчисленных воплощений, при условии неустанного стремления.

Если подойти с этой точки зрения, становится понятно, что стремление к прогрессу способствует процессам совершенствования. Конечно, полного совершенства на этом пути не достичь; отсюда и варварство современной эпохи. Но в то же время стремление к прогрессу в рамках культурной системы, при которой высшие идеалы действуют как объективные силы, приводит к постоянному росту числа людей, достигших такой ступени природного развития, на какую в Индии смогли подняться только брахманы. Конечно, и брахман не рождается на свет совершенным существом, но у него есть преимущество, а именно, он наделен лучшими наследственными задатками, которые позволяют непосредственно, прямым путем идти к наивысшей для земного существа цели; благодаря нашей культурной системе все люди однажды станут возвышенными, как брахманы.

И это следует поставить в заслугу нашему идеалу равенства, пусть даже он принижает людей во многих других отношениях или воспитывает в них поверхностность. Если бы нынешнее состояние было конечным, его следовало бы преодолевать; неизбежное выравнивание по нижней границе, первый результат демократии, влечет за собой чудовищное обесценивание человеческой жизни, которое со временем может привести человечество к гибели. Однако это состояние не будет длительным; демократия есть лишь рабочая гипотеза, которая в один прекрасный день сама себя устранил. Когда общий уровень достаточно повысится, возникнут новые почвенные слои, вырастут новые горы, распахнутся равнины; новая аристократия будет находиться на более высоком уровне по сравнению со старой, чьи качества и свойства станут наследием масс.

Вообще в демократическом устройстве немало хорошего; всякое мировоззрение, основанное на идее развития, формирует оптимистов, и ничто так не способствует успехам, как вера в себя. Однако современный эволюционизм отличается от всех прежних его разновидно-

стей краткостью временного периода, который полагают достаточным для развития. Древнеиндийское мировоззрение, в точности как и современное демократическое, учит, что каждый человек в принципе способен достичь вершины и что касты представляют собой лишь этапы на пути прогресса. Однако индийцы не забыли сделать оговорку: каждая данная человеку жизнь должна оставаться неизменной в предоставленных ей рамках, переход из одной касты в другую возможен только по завершении одной жизни, при новом воплощении, для этого необходимо переходное состояние смерти; аналогичным образом любой не закосневший в сословных предрасудках аристократ наверняка признает, что в обществе постоянно происходит выдвижение новых семей и было бы несправедливо закрывать выбившимся наверх путь в аристократическое сообщество; но в то же время аристократ твердо убежден, что должно смениться не менее трех поколений, прежде чем простолюдин станет джентльменом. Напротив, современная демократия утверждает, что подобный процесс может совершиться за время одной человеческой жизни.

С одной стороны, вполне очевидно, что подобный быстрый рост нежелателен; лишь очень немногие люди благополучно переносят выход из тесноты на простор; в ином случае современные европейцы и американцы не казались бы такими грубыми. Но с другой стороны, верящие в демократию чрезмерно превозносят оптимизм, настолько, что он воспринимается как стихийная сила, которая благотворна, ибо кажущееся невозможным делает возможным. Благодаря оптимизму возникает то, что нередко все еще относят на счет «изначального равенства всех людей», — в самом деле, старые, поставленные рождением ограничения сегодня представляются нам большей несправедливостью, чем раньше; благодаря вере в демократию процесс развития действительно можно ускорить. И пусть на первых порах мы замечаем в основном негативные явления, вызванные размыванием старых форм, все же следует помнить, что через некоторое время это положение, вероятно, изменится; уже скоро в передовых странах низшие слои населения просто исчезнут; всем станет доступно школьное образование, все смогут стать более или менее образованными людьми. И хотя до

достижения этого результата пройдет всего одно поколение, выскочек в старом смысле слова не будет, так как не будет людей, совсем не подготовленных к тому, чтобы занять более высокое положение в жизни. Демократический идеал обуславливает стремительный духовный рост народных низов; скоро они в значительной мере обогатятся. А когда это произойдет, вера во всеобщее равенство исчезнет сама собой и сформируется основа для аристократического устройства общества в будущем.

Одним из важнейших свойств, которыми должен обладать юноша, чтобы стать достойным принятия в челы, мудрецы Древней Индии считали способность к наслаждению. Это, конечно, лишь одно из выражений понятия оптимистического темперамента. Удостоенному принятия в челы мудрецы указывали путь, на котором он в течение всего одной жизни мог продвинуться настолько, сколько в ином случае он прошел бы за тысячи и тысячи лет, сменив множество телесных оболочек; индийское мировоззрение, следовательно, также признавало возможность сокращения времени развития. Однако такая возможность им допускалась лишь для одного из миллионов людей. В соответствии с демократическим мировоззрением, она дана всем. На мой взгляд, это чересчур смело. Однако если учесть, как на самом деле невысок, по сравнению с индийским, высший идеал, который до сего дня сумела выработать наша демократия, то возражений, пожалуй, не найти. Такого идеала все, наверное, могут достичь. А когда люди его достигнут, на их духовном горизонте сами собой возникнут более высокие идеалы.

Если где-нибудь собрались вместе более десяти американцев, можно быть уверенным: один из них *crank*¹ оригинал эксцентрического типа. Вот и на пароходе я обнаружил такого оригинала — это миссионер, так сказать, специализирующийся на вере в демонов. Однажды в Китае он якобы видел, как в людей вселялись духи мертвых девушек, он утверждал, что только крещение может уберечь от такого злосчастия; теперь он путешествует, вооружившись этой идеей и ее производными. Сегодня, доброжелательно размышляя об этом явлении, я вдруг

¹ Человек с причудами (англ.).

заметил, что среди азиатов мне еще ни разу не встретился подобный оригинал, *станк*. Поведение факира может, конечно, показаться эксцентричным, однако тип факира лишен индивидуальных черт, он только действует по эксцентрической схеме, сам он не эксцентричен. Отсутствует специфический индивидуальный оттенок.

Этот оттенок преобладает у нас; он тем явственней, чем больше в нас типично западных черт. И он как раз определяет наше нездоровое оригинальничанье. Стремление подчеркнуть свою индивидуальность заурядных людей не может привести к позитивным результатам; такие люди становятся эксцентричными только тогда, когда они желают быть «сами собой», и они кажутся менее совершенными, чем сколь угодно ограниченные представители типов и классов, это понятно, ведь в любой традиции всегда больше мудрости, чем у среднего, заурядного индивида. Так, но, с другой стороны, истинно великие новаторы появляются лишь там, где все хотят быть «сами собой», и где подобное желание считается вполне законным; Эдисон немыслим в Древнем Китае. Обстоятельства, благоприятствующие появлению эксцентричных людей, благоприятны и для гения. С виду, если не вникать в сущность, он именно оригинал. Стремление быть не таким, как все — необходимое условие оригинального, изобретательного ума.

Таким образом, нам остается одно: за бóльшую оригинальность отдельных людей расплачиваться бóльшим несовершенством людей среднего уровня. Всякое обновление само по себе враждебно культуре, поскольку культура есть воплощение данного здесь и теперь духа, а у всего нового, только что возникшего, плоть еще отсутствует. Стремление к новизне делает людей поверхностными; человек, чье внимание сосредоточено на изменениях явлений, легко теряет связь со своей основой. Чем больше у нас изобретательности, тем больше мельчает дух, и если наше развитие будет идти этим путем еще долгое время, оно, скорей всего, приведет нас к гибели. Но я все-таки не верю, что мы долго будем идти этим путем. Наоборот, я убежден, что утрату нами глубины можно сравнить с временными убытками, неизбежными при вложении средств, например, в земельное владение, с целью увеличения его доходности: на самом деле это не

убытки, а инвестиции. Благодаря огромным затратам мы формируем новые органы; если раньше носителями всех идей культуры была группа людей, то в будущем культура должна стать достоянием отдельного человека. Новый порядок вызывает временный отказ от доходов, которые, как казалось, были гарантированы при старой системе. Но как только заработают новые предприятия, хозяйство может дать десятикратную прибыль. Конечно, белое человечество в будущем вряд ли будет состоять сплошь из эдисонов; но по всей вероятности, число оригиналов, crank, будет постоянно уменьшаться, и на их место придет новый тип, который, с одной стороны, будет не менее глубоко укорененным, чем старый классовый тип, с другой же — самостоятельным, как самый крайний современный индивидуалист. Как известно, лишь поверхностный человек открыто признает свою приверженность индивидуализму, люди по натуре глубокие всегда непосредственно ощущают свою связь с другими людьми. Поэтому по видимости это приведет к восстановлению старого порядка. Эксцентричных типов будет все меньше, заурядность станет общей нормой. И все-таки явится нечто совершенно новое — каждый будет индивидуальностью. А затем индивидуальная форма позволит массе развить в себе такую же глубину, какая прежде допускалась только типовой формой.

В эти дни я пишу так, словно я эволюционист и моя вера в прогресс тверда, как у янки. Так оно и есть, поскольку речь идет о западных странах и только в той мере, в какой вообще речь может идти о прогрессе. То, что наше понятие прогресса не соответствует природному процессу, кажется очевидным, и это соображение опровергает теорию Спенсера. Не только растения и животные сами по себе остаются все теми же на протяжении эонов, а если изменяются, то реагируя на изменения внешнего мира; это справедливо и по отношению к людям во всех областях, где их жизнь не подчинена «потустороннему» физиологии; так, российская история, начиная с XV века и вплоть до вчерашнего дня, если взглянуть на нее с точки зрения человека и его мотивов, представляет собой ряд повторений. Но учение Спенсера не нашло бы столь широкого отклика, если бы оно не было сообразно интеллекту. Интеллект по суги своей це-

леустремлен и неотвратно продвигается вперед, он никогда не стоит на месте, он не способен умерять себя, все познанное открывает пути дальнейшего познания, и все в целом устремляется к идеалу. Поэтому там, где главенствует интеллект, жизнь должна идти вперед в соответствии с нормами интеллекта. Мы, западные люди, безоговорочно признаем главенство интеллекта; наша особая природа позволяет нам в основном идти в том направлении, которое указывает его собственное движение, его идеалы — это наши цели; следовательно, мы изменяемся в духе прогресса. Куда этот путь нас приведет, покажет время; сама по себе консервативная физическая природа человека может здесь и там препятствовать исполнению требований духа, ставить на его пути преграды, которые он не в состоянии преодолеть. Тем не менее, теоретически возможно продвижение вперед до бесконечности. И так как содержательные элементы веры — это реальные силы, а идеалы — центры чрезвычайно мощного притяжения, то в будущем белое человечество, возможно, даст такие свершения, каких не обещает современность.

При всем старании я не могу подружиться с миссионерами. Конечно, среди представителей этой профессии немало людей великих и благородных, однако они встречаются слишком редко, к тому же именно такие миссионеры плохо исполняют свои профессиональные обязанности: они в сущности никогда не стремятся к «обращению» неверных. Была и по сей день остается признаком ограниченности манера навязывать людям свои взгляды, на практике также легко убедиться в том, что все настоящие миссионеры люди ограниченные. На борту нашего парохода я беседовал с миссионерами, которые много лет провели в Китае, — они умудрились попросту не заметить ни единого достоинства в учении Конфуция! Подобная слепота поистине дар Божий, ее можно объяснить только действием сверхъестественной силы. За редчайшими исключениями, христианские, особенно протестантские, миссионеры глупы, малодушны и душевно грубы. До чего же мало они похожи на апостолов, которым Бахаулла, их мессия, дал прекрасное наставление: «О дети Бахи! Ко всем народам земли, к

людям, исповедующим любые религии, относитесь с величайшей доброжелательностью. Напоминайте им о том, что подобает благочестию, но остерегайтесь делать слово Божие камнем преткновения или источником взаимной ненависти. Если вам что-то ведомо, чего не знает другой, просветите его, говоря на языке дружества и любви. Если он воспримет знание, цель ваша достигнута, если же отвергнет, помолитесь о нем, предоставив его самому себе; но ни в коем случае не докучайте ему...»

Вероятно, в начале нашего летоисчисления миссионеры были не намного лучше нынешних. Однако вот я вспомнил о первых проповедниках и о том высоком развитии, начало которому они все-таки положили, и мое отношение к современным миссионерам несколько смягчается. Жаль, конечно, что миссионеры устремились в Индию и Китай, ибо жители этих стран — отчасти в умственном отношении, отчасти в нравственном и отчасти в духовном — колоссально превосходят явившихся к ним наставников, так что ни о какой пользе от миссионеров, конечно, речи быть не может. А вот к диким народам миссионеры должны идти, там они принесут такую же пользу, как их предшественники — нашим предкам варварам. Да, там от них будет больше пользы, чем могли бы принести провозвестники глубокой мудрости, ибо христианство, несомненно, обладает единственной в своем роде формирующей силой; христианство — единственная наделенная этой силой религия духа. И мне кажется, христианство обладает этой силой совершенно независимо от качеств людей, несущих его миру, и от духовной ценности их проповедей, ибо ценность эта невелика, в сравнении с ценностью брахманизма и буддизма в обоих его разновидностях. К тому же она постоянно уменьшалась в течение столетий, ведь если в первые века христианства воззрения отцов церкви были проникнуты духовностью, то ко времени Лютера и Кальвина она ослабевает, и уже совсем ничего не остается от нее у ремесленников и чернорабочих, которые выступили в качестве основателей христианской церкви в Америке. Но почти в той же мере, в какой снижалась духовная ценность христианства, возрастали его практические достоинства и эффективность. Невозможно отрицать, что протестантство формирует идеалистов более успеш-

но, чем католицизм, и что даже самая глупая догматика американских сект взрастила в своих приверженцах христианский дух, ставший мощной силой, какой прежде он не был. Что это означает? То, что дух христианства есть дух практики, а следовательно, не слишком важно, в связи с какими догматическими воззрениями он себя являет.

Лишь подходя с этой точки зрения, можно отдать должное христианству. Неверно, что в учении Христа достигнута максимальная философская глубина; даже Евангелие от Иоанна кажется менее глубоким, чем Бхагавадгита. В учении Шри Кришны и в Махаяне те же основополагающие идеи, что составляют содержание Евангелий, представлены в более глубокой версии и к тому же помещены в общую взаимосвязь, которая, очевидно, евангелистам не открылась; лишь она придает подлинный смысл учению. С точки зрения метафизического познания, традиционное или буквально понимаемое христианство предстает как нечто временное. Но и в целом христианство — не религия познания, это религия практического действия, и как таковая она превосходит все прочие. Как я уже писал, только среди христианских народов идеи любви, милосердия, гуманности стали объективными силами, а это значит, что даже признаваемая несовершенной метафизическая реальность благодаря христианству осуществляется в явлении лучше, чем это возможно в какой-либо другой религии. Основатели христианства были, конечно, более поверхностными в познании, но более глубокими в деянии, чем Кришна и Ашвагхоша; более того, поскольку и познание и деяние стремятся формировать явление, то основатели христианства и вообще были более глубокими, ибо в сфере актуальной жизни абсолютно лучше то понимание идеи, которое наилучшим образом реализуется, и при этом неважно, насколько она удовлетворяет духовно. Это и есть смысл доказанного историей превосходства христианства, сколько бы ни сомневался в нем предвзятый интеллект.

И это же оправдывает миссионерство. Ограниченные люди, отправляющиеся в дальний путь, чтобы навязывать народам свои не слишком глубокие воззрения, все же несут поистине благую весть своим бытием —

это евангелие труда и творческого деяния. Они подают пример высокого самопожертвования, неустанной инициативы, непреклонной последовательности, твердой воли содействовать своими трудами победе добра. Самое существенное в западной культуре — то, что ею ничто не признается абсолютно неизменным. Мы считаем возможным коренным образом изменить мир, привить действительности наши высшие идеалы. Этот дух боевистости, мужества, оптимизма Востоку чужд; Восток скептически относится к силам человека, Восток слишком много знает... Или в конечном счете Восток не заметил очень важного? Быть может, в ходе моих прежних наблюдений я излишне сосредоточился не на том, на чем надлежало?

Прилетели первые американские чайки. Психический водораздел перейден, меня неудержимо тянет вернуться к западному типу формирования бытия. И теперь я понимаю, что практическое превосходство христианства есть выражение его безусловного метафизического достоинства: христианство как ни одна другая религия воплощает дух свободы. Будучи природным существом, человек может достичь свободы только двумя способами: внутренне принимая все что ни происходит или задавая событиям направление своей инициативой. Соответственно, христианскую этику можно обобщенно выразить двумя заповедями: каждый должен принять свой крест, и каждый должен бесстрашно и самоотверженно бороться во имя победы добра. Поистине каждого эти заповеди ведут к жизни свободной. Если индийцы, мастера глубочайшего познания, несостоятельны в практической жизни, это объясняется тем, что, пребывая внутри явления, они не умеют выразить свою свободную сущность. Вместо того чтобы принять на себя крест, они предаются размышлениям о том, что у него нет сущности, а эти размышления не дают освобождения, как не дает освобождения от родственной связи с каким-нибудь неприятным родичем ее отрицание. Вместо того чтобы превратить в деяние размышления, направленные на познание своей сущности в единении с Брахманом, который все более полно являет себя в этом мире, вместо того чтобы проявлять инициативу во всем угодном Богу, они просто наблюдают, как Бог обходится без их помощи. Мы не об-

ладаем даже малой частью тех знаний, какими располагают индийцы, однако учение Христа наставляет нас, чтобы мы жили, не сознавая того, в согласии с ним, его знанием. Поэтому мы больше призваны к делу, чем индусы. Мы — руки Божии. Не имея глаз, руки слепы, из-за слепоты стряслось уже немало бед. Но если когда-нибудь дела их направит познающий дух, руки сумеют, насколько это вообще возможно, основать Царство Божие на земле.

VIII. АМЕРИКА

Сан-Франциско

Снова на Западе. Как хорошо, что прежде всего я увидел дальний Запад! Новый свет — нечто столь экстремально западное, что внутренняя перестройка, которая потребовалась мне, чтобы проникнуть в этот мир, сама по себе вытесняет картины и образы Востока. Я вижу, что разом сумел преодолеть злосчастное переходное состояние, когда сознание переполнено стариной и новым, и все в нем перемешано и смутно.

В первый день, размышляя о том, что, наверное, все еще привязан ко вчерашнему дню, я пил чай у золотых ворот, в очаровательном японском чайном домике, где очень приятно отдохнуть во время пешей прогулки. О чем же я подумал в первую очередь? О том, что карликовые деревца мечтают вырасти в гигантские деревья! В Японии ничего подобного ни разу не пришло мне на ум, подобные мысли сразу вступили бы в противоречие с духом Японии. Итак, в самый первый день я утратил связь с Востоком. Воздух Калифорнии, очевидно, оказывает огромное формирующее воздействие. Я наблюдаю за происходящим во мне: настоящая метаморфоза. Мысли о бытии отступают, напротив, приумножаются мысли о становления; и вот уже на первый план выходят императивы, которые во всем субъективном отражают объективные природные тенденции: становление должно быть, рост должен быть, прогресс должен быть; определенно, ощущение долженствования происходит из впечатления, которое и навело меня на мысль о совершенно нереальном — желании японских карликовых деревьев вырасти до гигантских размеров. И тут я

замечаю, что на Востоке меня ни разу не посетила мысль, что я что-то «должен». Возможны ли на Востоке такие философы, как Кант или Фихте? Думаю, нет. Там, где сознание преобладает над бытием, желание стать кем-то или чем-то никому не ведомо; там не могут зародиться чувства гомункула; там кажется ненужным повеление: «Стань тем, кто ты есть». Поступки и деяния людей и здесь и на Востоке принципиально одинаковы, различно отношение к ним человека. На Востоке человек, совершающий дурные поступки, не знает чувства греховности, рвущийся к какой-то цели все-таки имеет терпение; и как бы страстно ни стремился какой-то человек к совершенству, как бы ни понимал все несовершенство нынешнего времени, он лишь крайне редко ощущает внутреннее побуждение к сокращению времени своего развития. Говорят, восточные люди никуда не торопятся. Однако истинно другое — у них отсутствует осознание времени; поэтому все сущностные проблемы представляются им не зависимыми от актуализации во времени. Ни один чела не смог бы ожидать в течение целой человеческой жизни, пока его гуру решит, достоин ли он просветления, если бы время было для челы чем-то реальным; вообще, если сознание индуса бывает сосредоточено на явлении, например когда он влюблен, то в этом состоянии он нетерпелив так же, как любой из нас. Однако для индийцев типично, что в нормальном состоянии они сознают свое собственное бытие как таковое, и поэтому совершающий дурные поступки может чувствовать себя святым в своей сущности, новичок в каком-нибудь деле — достигшим совершенства, простак — мудрецом; так что и на Востоке, по-видимому, нельзя полностью исключить возможность бытия в становлении. Поэтому ни индийские, ни китайские мудрецы не сформулировали заповедей наподобие наших, библейских. Они говорили: если ты поступишь так-то, станешь совершенным; если будешь таким-то, достигнешь чего-то, если сделаешь такую-то ошибку, развитие твое остановится. Они никогда не говорили: ты должен поступать так-то. Восток не понимает, что значит «должен», потому что Восток — «есть»; для нас, постоянно пребывающих в становлении, бытие имеет форму «долженствования».

Как это странно снова знать, что ты что-то должен! Определяющее значение приобретают новые ценности: ценность бытия определяется успешностью, ценность волевого стремления — успехом. Явление приобретает абсолютный смысл, так как в нем должно находить свое выражение абсолютное. Состояния бытия уже не предстают как равноценные данности: богатый человек выше бедняка, сильный выше слабого, мудрый выше глупца. Речь идет не о том, чтобы занимать некое данное положение, а о необходимости борьбы за то, чтобы занять положение, по нашим понятиям, наиболее благоприятное. Какой форме бытия следует отдать предпочтение, восточной или западной? Но вправе ли я судить об этом теперь? Я ведь уже не свободен в своих суждениях. Во мне уже вновь необычайно сильно желание становиться и возникать, сотворять, оформлять, совершенствовать, мои волевые стремления как таковые уже в такой мере заполняют все мои мысли, что я вряд ли мог бы проникнуться каким-то другим видом существования. Но вот что мне кажется бесспорным: в этом мире Запад избрал лучшую долю. Чтобы обеспечить действенность права, которое было бы вечным, требуется сила, право само по себе бессильно; для изложения сколь угодно истинных идей требуются материальные средства. Как бы ни почитался на Востоке познающий человек, для претворения знания в дела больше подходит западный образ жизни. С точки зрения этого мира, то, что грешник чувствует себя святым — химера; он должен стать святым, должен изменить свое явление, если желает осуществить себя здесь, на земле. Но властвует над становлением лишь тот, кто относится к нему серьезно, кто сознательно идентифицирует себя с фазами своего развития; и ускоряет свое развитие только тот, кто уверенно направляет свою волю к цели, а на это способен лишь человек, видящий свою цель в форме должного. Индеец, чувствующий себя в мире идей как дома, отдается на произвол не-сущего его потока событий. Мы же умеем этим потоком управлять.

В долине реки Йосемите

Однако я еще не окончательно расстался с Востоком: он составляет фон моих размышлений о Западе, благодаря которому они приобретают рельефную выпуклость, обычно им не свойственную. По-моему, это не разумеется само собой, я определенно замечаю, что мое самосознание стеснено пределами моей собственной личности. Природа, окружающая меня, великолепна; среди такой природы, но в Индии или в Китае, мое Я уже давно устремилось бы в просторы вселенной. Скалы, отвесными стенами охватывающие долину, собственно пойму реки Йосемите, меня стесняли бы, я чувствовал бы, что стал душой водопадов, которые, низвергаясь с высоты 400 футов, внизу, в долине, превращаются в облака нежного тумана; я устремлялся бы к небесам вместе с вершиной каждой ели. А здесь мое единение с окружающим миром далеко не безусловно. Я сознаю различие между собой и скалами, люблю водопадами, как чем-то отделенным от меня самого, и дух лесов — всего лишь мой собеседник. Если же я намеренно проникаю в то, что по своему существу есть часть меня, то кажется, будто я все это покоряю. Мое ощущение мира выражает себя как стремление к эмпирической экспансии. Я уже не могу проникнуть в природу, не прихватив с собой свое Я; его ткань, кажется, стала слишком плотной, чтобы оно могло разлиться в природе как дух.

Соответственно возросшим кажется и мое чувство бытия. Сила, которой лишь совсем недавно было исполнено мировое пространство, теперь стеснена в пределах моей индивидуальности. Поэтому энергия индивидуальности достигла такой степени, какой я никогда не ощущал, находясь в Индии. Конечно, первоначально я не был единым с окружающим миром, но что же мешает моему соединению с ним теперь? Почему бы не взять штурмом небеса и не завоевать весь земной шар? Мне кажется, я могу совершить все, чего пожелаю, и меня тянет это доказать.

Так вот, значит, в чем смысл западной жажды завоеваний! Мы помещаем во временные и пространственные рамки проблему, которую индеец берет на разрешение вне зависимости от времени и пространства, однако пробле-

ма та же самая! И, как мне кажется, я не стал более поверхностным, чем в то время, когда пребывал в восточной форме, хотя определенные задачи, которые встают передо мной сегодня, лишь касаются поверхности вещей. Как странно, что один и тот же внутренний смысл может выражаться столь принципиально различно: там, на Востоке, как мистическое познание, здесь — как порыв к завоеванию; там — как все понимающее самоограничение, здесь — как слепая жажда приобретения. Но смысл, вероятно, везде один и тот же, и только от обстоятельств зависит, принимает ли он образ хищника или мирной косули, являет себя как самоотверженность или как вождение, познание или действие.

В Калифорнии я впервые отчетливо осознаю, какого рода отношения сделали возможным феномен западного человека, ибо здесь они выступают в своей крайней форме. Воздух Калифорнии необычайно живителен, еще никогда я не чувствовал в себе такого избытка кинетической энергии. Что касается впечатления от здешней растительности, в которой поистине находят самое верное выражение элементарные условия жизни, я непосредственно понимаю, что живительные силы этого мира имеют совершенно иной смысл, нежели природа тропиков. Кажется, нигде нет более благоприятных условий для флоры, чем в парниковой атмосфере Цейлона, и все-таки они не оптимальны для жизни. На Цейлоне жизнь слаба, индивид не обладает ярко выраженными чертами, отдельные элементы то и дело нарушают общий план всего целого, объединяющая их связь непрочна, интенсивность невысока. Как у растений, так и у людей в явлении выступает одно и то же: из-за высочайшей способности к распространению налицо отсутствие концентрации. Границы между индивидом и родом расплываются, отдельное теряется в массе. Подобно лианам, разрастаются племена, точно сорняки, буйствуют, заполняя все вокруг, творения фантазии; лишь в исключительных случаях можно обнаружить четко обрисованные, внутренне прочные, сильные и недвусмысленные формы.

В Калифорнии все стремится к образованию индивидуальностей. Как ни благоприятны внешние условия, главенствующую роль играют внутренние факторы. На

поразительно плодородной почве произрастают не джунгли, но отдельные исполинские деревья.

Большая индивидуализированность, отличающая Запад в сравнении с Востоком, таким образом, есть не столько ограничение, сколько приумножение жизненных возможностей; или, если выразить эту мысль точнее, отсутствие пышности и богатства идет на пользу внутренней собранности. Тем не менее именно здесь, в Калифорнии, где природа предстает в глазах европейца величайшей дарительницей милостей, я больше чем где-либо чувствую, насколько Восток нас опередил. Вести здесь духовное существование оказалось чрезвычайно трудно; лишь непомерными усилиями я заставляю себя сосредоточиться на вечных проблемах; величественная природа почти не вызывает отклика в моей душе. Это лишь отчасти объясняется тем, что я нахожусь среди дикой природы, в мире, где никогда не рождалась мысль; главная причина — личного характера, это процессы, которые протекают в моем организме, властно навязывая себя моему сознанию. Я снова чувствую в себе рост, как будто моя физическая органическая жизнь началась сызнова; я чувствую, что возвратился в то состояние, когда моя жизненная сила была всецело направлена на создание моего тела. Любой дух, по-видимому, скован телом. Соответственно, и любое стремление связано материей; если бы я сейчас захотел подняться к небесам, то мог бы сделать лишь в том же смысле, в каком тянутся к ним верхушки елей.

В сравнении с восточным, наш мир — это детская. Странно, что подобная мысль становится столь наглядной, когда смотришь на деревья. Они ведь весьма почтенного возраста, эти великаны в два или три раза выше, чем деревья в Европе. Правда, их порода моложе. Эти деревья — древнейшее выражение жизни, подобно допотопным гигантским животным. Я не слишком удивился бы, если бы здесь на моем пути повстречался мегатерий, и при этой встрече я испытал бы не трепет почтения к седой древности, а только приятное чувство удовлетворения при мысли, что мир еще так молод.

Наш образ мыслей обращен преимущественно к материальному и в меньшей степени — к духовному, потому что мы еще не прошли период физического роста; наш

материализм — это материализм детей. И как раз по этой причине наша энергия прежде всего выражается в слепой жажде деятельности. Проживи я подольше в этой стране, тоже, наверное, стал бы предпринимателем; мой дух все больше развивался бы в сторону материи, мой идеализм философа превратился бы в идеализм конкистадора.

Не берусь утверждать, что этот мир мне лично конгенитален. И все же ясно одно: если стремление духа — проникнуть мир явлений, если назначение человека — добиться этого проникновения, то наш материализм более ценен для будущего, чем духовность Индии. Последняя бессильна перед природой. Она не покоряет ее, поэтому и не способна ее одухотворить. А нам это может удастся. Однако прежде всего наш путь ведет в сердце материи. Мы должны проникнуть в него и постичь все, мимо чего проходит Восток. Какое-то время мы должны быть материалистами.

В этих лесах невозможно представить себе более высокий человеческий тип, чем тип Кожаного Чулка. Берейтеры, индейцы и ковбои великолепны на фоне дикого ландшафта, просторного, величественного и в то же время простого; типы, наделенные большой духовностью, здесь кажутся слабаками. Людям тут надлежит быть смелыми и ловкими, решительными и дерзкими; доблести старателей-золотодобытчиков здесь ценятся как единственно возможные доблести. Как явно продолжается жизнь бывшего конкистадора в современном американце! Он хищнически грабит леса и поля, не лучше обходится и с людьми. Он не менее своеволен и неукротим, чем трапперы былых времен.

Я мысленно возвращаюсь в свое детство, когда для меня не было большего удовольствия, чем бродить по лесу, ибо моей сильнейшей страстью в то время была охота, а приключения и путешествия в далекие страны воплощали мой высший идеал. Каждый нормальный мальчишка переживает подобные увлечения; это здоровое внешнее выражение сознания в период наиболее интенсивного роста человека. К чему же, если не к захвату, стремиться, если рука с каждым днем становится длиннее? А если не будешь стремиться к захвату, как тогда по-настояще-

му окрепнуть? Слишком раннее постижение слишком высоких идеалов до добра не доводит.

Да, он кажется юным, почти первозданным, человек дальнего Запада. Учитывая это, следует судить о подлинных слабостях американцев. Конечно они варвары, и, несмотря на все свои замечательные прогрессивные институты, они чрезвычайно опасны для нашей культуры: мальчику школьного возраста здесь незнакомы общеизвестные понятия, он не видит ничего плохого, если ему случится разбить какую-нибудь ценную вещь. Конечно, порой бывает очень смешно, когда замечаешь что столь юная нация перенимает обычаи зрелых народов, однако я еще не встречал подростка, который бы не воображал, что он куда умнее своих родителей. Внешняя политика Соединенных Штатов — политика школьническая, американская поэзия — романтизм гимназиста-старшеклассника. Так оно пока и должно быть; кто не был настоящим мальчишкой, никогда не станет настоящим мужчиной. И потом, дети ведь не соответствуют нашим представлениям о норме, только когда имеют дело со взрослыми, этими непонятными и ничего не понимающими существами; когда дети в своей компании, т. е. в своей естественной среде, все идет прекрасно, их удивительная непосредственность порой даже производит впечатление мудрости, недоступной взрослым. Америка разрешила целый ряд внутриполитических проблем гораздо лучше, чем это удалось нам, совесть общества там неподкупна. Массы в Америке выносят суждение так, как мальчишки разрешают моральные проблемы: примитивно, огульно, исходя из немногочисленных простых посылок, — следовательно, они судят, как правило, неразумно и жестоко, однако лишь редко выносят неверные суждения по существу дела.

Европеец, сравнивая себя с американцем, часто кажется себе стариком. Он чувствует, как богато его прошлое, как серьезно ограничивает история его возможности в будущем. Многие явно необходимые и теоретически легко осуществимые улучшения нашего современного положения уже не удастся произвести, разве что применив сокрушительную силу. Если мысли такого рода угнетают европейца, пусть он вспомнит о Востоке и о том, каким видится восточным людям наш мир. Восток

не обнаруживает никаких различий между европейцем и американцем, кроме одного: в глазах людей Востока американец — более ярко выраженный западный тип. И нас, европейцев, люди Востока тоже считают непослушными большими детьми, которым еще многому, очень многому надо учиться и у которых еще много, очень много времени впереди. Они правы. Мы, современные западные люди, по существу молоды. Даже если наша традиция почти столь же почтенна, как традиция Индии, все равно мы представители мира, возникшего только вчера. Прогресс, демократия — это совершенно новое мировоззрение, и вряд ли то мировоззрение, которое придет ему на смену, будет ему ближе, чем китайское. Но оно нас сформировало. За последнее столетие мы, белые люди, вновь помолодели. Социально значимыми стали не верхние слои, как раньше, а нижние, которым достались лишь крохи от наследия минувших тысячелетий; они, низы, вызвали к жизни процесс, по смыслу близкий к нашествию варваров в начале нашей эры. Поскольку идеал низов сегодня — не бытие, а становление, даже древние старцы, коль скоро им не чужд дух современности, восприняли образ жизни молодежи. Весь Запад сегодня переживает период юношеского созревания. Но разве это не отрадно?

От слабостей юного возраста мы, взрослея, избавляемся; декадентство, неврастения наших дней — это в целом не симптомы старения, а кризисные явления роста, вроде юношеского худосочия и меланхолических настроений; у нас сегодня порицают возрастающую грубость, но на самом деле она означает, что явились на свет новые, первозданные силы. Разумеется, огорчительно мысль, что образованная знать Старой Европы уже сыграла свою историческую роль, но, в конце концов, однажды приходится уступать дорогу молодым. Отойти в сторону, дав кому-то дорогу, не значит умереть: уйдя на покой, оставив заботы о мировых проблемах и целях, западная культура, вероятно, еще долго будет процветать, и на человечество еще снизойдут озарения, какие решительно невозможны при деятельном образе жизни. Более того, возможно, лишь тогда человечество совершит деяния, наиболее значительные с точки зрения будущего; когда одолеет печаль, вспом-

ним, что элины и иудеи, а не готы и вандалы, были теми, от кого германский мир получил импульсы, задавшие направление его развитию.

В лесах Марипосы

Здесь произрастают самые большие в мире деревья. Около шестисот экземпляров секвойи гигантской; высотой они — двести-триста футов, толщиной — от пяти до десяти метров, эта священная роща внушает такое благоговейное чувство, какого не найти во всей поэзии романтизма. Здесь тенисто и прохладно, несмотря на августовское солнце, стоящее в зените; его лучи почти не пробиваются сквозь пышные кроны, здесь словно вечный закат — в сумеречном свете тускло поблескивают красноватые стволы. Гиганты стоят прямые и крепкие, как будто со дня их рождения не минули тысячелетия. Они не одиноки — внизу подрастают молодые деревья, они не мертвы, ибо и в наше время семена секвой падают с высот на землю, они не стары, так как им не грозит умереть естественной смертью.

Меня переполняет глубочайшее счастье. Нет, земля наша не одряхлела! Она еще в силах питать своими соками исполинов, создавать исполинов! Я впервые без всякой печали и грусти взираю на нечто великое. Когда-то, изучая коллекции палеонтологов, я не мог без горечи смотреть на останки богатейшей доисторической природы и думать о гигантах, которые изредка появляются на свет и в наши времена, ведь они представляют собой аттавизм или порождены игрой случая. В то время я был глубоко убежден, что творческие силы нашей планеты иссякают, и скоро всю землю будут населять в основном карлики и уродцы. А теперь я вижу, что самая молодая из частей света полна первозданной силы. И я благодарно приветствую ее — сокровищницу нашего будущего.

Никогда люди не были столь зависимыми от физических условий, как белый человек сегодня; дело в том, что он поставил перед собой проблему, каких человечество не знало; он намерен постоянно изменяться, до бесконечности. Вместо того чтобы ограничить себя данным определенным состоянием, люди стремятся перейти все

возможные границы, и поэтому любые уже достигнутые ими приспособления к условиям не считают окончательными. Однако лишь молодой организм обладает способностью к изменению и приспособлению, да и то лишь до известного предела. Все взрослые организмы однажды застывают подобно выросшему кристаллу, развитие всех культурных народов, достигнув какого-то момента, останавливается и предоставляет молодому поколению продолжать обновление. Наш идеал — отсутствие границ; особый, текучий характер нашей цивилизации — причина того, что нам кажутся немыслимыми неподвижные цели и любые остановки движения, чуть ли не каждую минуту мы меняем свое отношение к тем или иным вещам, и каждый человек, коль скоро он не хочет очутиться за пределами цивилизации, должен постоянно изменяться. Это означает всю жизнь оставаться молодым. Таким образом, наша проблема имеет преимущественно физический характер. Многие это чувствуют; сегодня как никогда раньше у нас идеализируют все телесное. Уже появились новые «Евангелия» — центральное место, которое в Евангелиях апостолов Христовых занимает любовь, в них отведено здоровью. Однако новые апостолы не учитывают, что человек, будучи живым существом, прочно укоренен во взаимосвязи всей природы и сам по себе мало что может. Ведь даже омоложение, как правило, производится путем пересадки на свежую, молодую почву: вечная молодость мыслима лишь в мире, который вечно остается молодым. Чтобы тело стало таким, какое сегодня всем хочется иметь, — неограниченно сильным, безотказно гибким, требуется бесконечно животворное окружение, внешний мир должен быть юным, каким он был в пятый день Творения.

По-видимому, Америка — именно такой мир; ее природа полна нерастраченной первозданной творческой силы. Если Америка могла смешать и сплавить разнообразнейшие расы и в кратчайший срок из почти случайных типов выработала тип американца, можно ожидать, что здесь, в условиях постоянно нарастающих духовных требований, сформируется человеческий организм, способный к бесконечным изменениям.

Если где-то мы все-таки придем к совершенству в нашем развитии, то в Америке. Европа уже скоро скажет

свое последнее слово в истории. Традиция сама по себе — это оковы, каждое новое поколение они стесняют все больше и в конце концов душат, а история Европы насчитывает уже столько лет, что радикальное обновление и освобождение европейского человека вряд ли может быть успешным, как бы ни старались европейцы помолодеть, какие бы насильственные перевороты ни устраивали, надеясь повлиять на свою судьбу. Все это лишь подтверждает старую истину: новые культуры произрастают только на новой почве; даже в последний поворотный момент истории проблема новой формы будет решена не самыми зрелыми, но самыми грубыми людьми. Это неизбежно, поскольку напрашивается мысль: если мы, западные люди, в отличие от прежних древних культур не только попытались всю нашу жизнь ориентировать исключительно на идеи, но вдобавок пытались навязать их земле и природе, то мы поистине открыли новую эпоху Творения; как существа, наделенные разумом и душой, мы родились в триасе, когда появилась органическая жизнь. Поэтому человек Нового Света более уместен в роще секвой, этом оазисе доисторической природы, чем на античных развалинах Рима.

Запрокинув голову, я скольжу взглядом по стволам гигантских секвой; как символична данная форма! Могучим личностям, как этим деревьям, необходим простор, они не могут жить в тесноте среди себе подобных, как живут создания не столь крупные, — гиганты поневоле высокомерны и исключительны. Подлесок в роще секвой жалкий, у него нет будущего, если бы он мог мыслить, то, конечно, задался бы социальными вопросами. А вот в тропиках подлеску ничего подобного не пришлось бы на «ум». Там он не настолько индивидуализирован, чтобы стремиться к освобождению из пределов общей природной связи, и потому он не сознает своего угнетенного положения. Почему на Западе идеал равенства разжег мировой пожар, тогда как среди терпящих жестокий гнет людей Востока у него не нашлось искренних приверженцев? Потому что наш путь развития обуславливает постоянное усиление неравенства, на Востоке же, напротив, все возможности равны настолько, насколько это вообще мыслимо: каждый, кем бы он ни был, должен неподвижно пребывать на своем месте, т. е. там, где он

родился и, собственно говоря, не имеет особенно благоприятных шансов. В современных западных странах каждый вправе стремиться к максимально возможному; достигают цели единицы, остальные, видя это, ворчат. Наша постановка жизненной проблемы не ошибочна, но она исключает возможность окончательного решения. Если люди не желают сохранять статическое равновесие неизменного неравенства в жизни, им приходится постоянно двигаться вперед, так как равенство, понимаемое как статическое равновесие неизменных и не подлежащих преобразованию положений, невозможно; оно противоречило бы природе вещей. Современная западная постановка проблемы жизни — равные возможности для всех, обуславливает вечную борьбу.

Большой Каньон Колорадо

Когда мне предстало грандиозное зрелище Большого Каньона, я тотчас вспомнил кантовское определение возвышенного: возвышенным является предмет, созерцание которого побуждает душу понять, что недостижимое величие природы есть представление идей. В Каньоне Колорадо идеи, правящие событиями в неорганической природе, представлены ясно, величественно и мощно, как нигде больше. Могучий поток своей безустанной, непрерывной работой привел к такой глубокой и основательной почвенной эрозии на обширном высокогорном плато, что стоя на краю скального карниза, где было прежнее русло реки, и глядя на ее новое русло, видишь внизу картину, подобную той, что в предгорьях Гималаев можно созерцать над землей: там простирается высокогорный ландшафт, но опрокинутый, уходящий в глубины земли. Это творение спокойно катящей свои воды реки производит впечатление более возвышенное, чем все, что когда-либо порождали силы Плутона, так как здесь все создано без применения каких-то необычайных средств. С благоговейным трепетом любясь этой рекой, понимаешь, сколь всемогущи силы будничной повседневной работы. В Большом Каньоне Колорадо необычайно ясно различаешь пути, какими движутся все события в мире, ибо решающе важная, определяющая цепь

причин здесь не пересекается с другими каузальными рядами. Здесь не было предварительной подготовки, например катастрофы, и жизнь не сгладила острые углы и не покрыла их красками. Кажется, будто все здесь задумано и исполнено в гигантском масштабе. Колорадо прорезала все формации, от ледниковой до архаической, она работала целеустремленно, используя лишь свое начальное ускорение и силу земного тяготения, и просто двигалась вперед, нигде не пуская в ход другие орудия, кроме тех, какими располагала от природы, не церемонясь в малом, но и не применяя насилие. На просторной местности она разливалась, превращая целые области в горы; если же путь становился трудным, река собиралась с силами и уже не распространялась вширь, а сосредоточенно наносила удары; и везде это приводило к самым лучшим результатам. Несомненно, идея водной силы, как сказал бы Платон, нашла здесь свое совершенное выражение. Не живая сила воды: вряд ли найдется более яркое символическое выражение ее неодушевленности, нежели в этом величайшем геологическом разломе, по которому поток пробивал себе дорогу на протяжении всех времен от сотворения мира. Неорганические силы направляются под уклон, отработав свое, они останавливаются, словно часовой механизм, не способный сам себя снова завести: грандиозный символический образ этого — Большой Каньон; но эти высокие горы — часть Аида, ибо они не громоздятся в вышине, а как бы вырезаны в земной толще. В этом творении не чувствуешь живого духа, в нем не найти и какого-то предназначения. Оно началось и было завершено без плана. И все же это монумент высочайшей мудрости. С находчивостью, которой мог бы позавидовать любой инженер, поток преодолел все препятствия, глубже любого зодчего проник в тайны своенравной материи и не хуже художника-пейзажиста, тщательно выверив соотношения всех частей и деталей, создал целостную картину. Расчетливый ум подчиняется ведь тем же законам, что правят во вселенной; природа всегда действует и поступает разумно, и ей не нужно чье-то умное руководство. Поэтому всем ее творениям суждено быть совершенными, если ей не мешают.

Но не только этим прекрасен Большой Каньон Колорадо: его строгие, проведенные космическим разумом

линии поражают великолепием красок, богатству которых позавидовали бы венецианские колористы, а фантастичности — Тёрнер. Этот мертвый мир кажется причастным к вечной жизни. Каждую минуту у него новое настроение, каждый час меняется его характер. Что отличает прекрасное, к которому мы стремимся, от прекрасного, столь великолепно осуществленного в мертвой природе? Красота природы — результат действия механических сил; космос — конечное состояние хаоса, и нет ничего «вне пределов» космоса. Идеал красоты представляет собой движущую силу, он направляет наш взор к небесам. Последнее слово природы, можно сказать ее завещание, это формула магического заклинания, что открывает духу высшие миры.

Нежные, ласковые краски, подобно улыбке, играют на изборожденном морщинами лице Большого Каньона. Разве не бывает, что лицо покойника кажется нам более просветленным, чем лицо этого же человека при жизни? Мне представляется, что так же, как сегодня люди благоговейно замирают при виде этого чуда природы, когда-нибудь высшие просветленные духи будут парить в благоговейном почтении над трупом земли. Величайшие монументы и памятники, созданные людьми, будут стоять и тогда, когда человечество исчезнет. В лучах багрового солнца они порой будут казаться живыми. Может быть, деяния духа будут производить самое возвышенное впечатление, когда вечная смерть придет на смену беспокойной жизни.

Размышляя об этих вещах, я смотрю в разверстый предо мной подземный мир. Кант пишет о недостижимости всего в природе, что производит возвышенное впечатление... Остается ли природа недостижимой в наши дни? Не превзошел ли ее человек уже сегодня? Не способен ли он всего за год свершить то, на что сверкающему потоку потребовались миллионы лет? Если не сегодня, то завтра человек наверняка этого добьется. Уже не существует материальных препятствий, которые он, в принципе, не мог бы преодолеть. Даже пожелание Архимеда *ὅς μοι ποῦ ὀτῶ*, ныне исполняется. В конце времен наша планета, чтобы избежать позорного медленного захирения, возможно, предпочтет расколоться

в тот час, который сама свободно выберет для своей гибели.

Впрочем, современный человек властвует не как Бог, а как дух земли. Материальными средствами он покорил природу, и он ее не игнорирует; вместо того чтобы управлять ею в соответствии со своими идеалами, он зачастую лишь исполняет повеления стихий. Он подобен речным божествам, которым поклонялись древние, чье желание властвовать не расходилось с естественным течением событий. Нет, современный человек далеко не так мудр, как древние, поскольку он меньше считается с обстоятельствами и не умеет строить красиво и прочно; если бы он прорыл этот каньон, тот был бы не чудом красоты, а походил бы на развалины фабричного здания, да и простояли бы эти развалины недолго. Современный человек подчиняет свои стремления диктату слепой природы, лишь наполовину понимая ее желания и прихоти. Располагая колоссальными силами, он стремится к беспредельному, не задумываясь о том, что вся его жизнь протекает в строгих границах. Свой идеал он приспособливает к собственным способностям, и не наоборот; он желает бесконечного богатства, бесконечной власти, но, не умея их использовать себе на благо, становится их рабом. Деньги для предпринимателя делаются самоцелью, которой он отдает в жертву себя, господство — самоцелью народов; в интересах капитала безотчетно совершаются злодеяния, какие ни один преступник не совершил бы сознательно, стремление государств к господству над другими, объективированное в вооружениях, ведет к кровопролитным войнам, несмотря на то что все индивиды хотят мирной жизни. Строившееся столетиями разрушается за считанные секунды, созданное сознательной волей служит не духу жизни, а духу мертвой материи. Наша эпоха — эпоха разрушения, каких еще не бывало, так как человек использует силы, которые для него непомерно велики.

Махатмы, тихие сверхчеловеки Химавата, владеют этими силами с незапамятных времен; однако свою тайну они доверяют только чела́м, которые умеют применять ее с благой целью. А теперь эта тайна стала достоянием глупой массы... И все-таки жаловаться на нынешнее положение дел не приходится. В эпоху, когда

исчезли кастовые различия и провозглашен лозунг: равные возможности для всех! — уже не может быть речи о том, чтобы человеку доставалась лишь та доля, для которой он внутренне созрел, напротив, ему приходится постоянно созревать, набираясь опыта. Суровая школа опыта в конце концов даже глупца чему-то научит. И конечно, опыт — кратчайший путь, если требуется обучать не единицы, а всех. Эмпирическая наука сделала для просвещения людей больше, чем мудрость адептов; свобода, которая каждому позволяет изжить в себе глупость, способствовала просвещению больше, чем опека личности, практикуемая брахманами. Поэтому употребление во зло сил природы приведет людей кратчайшим путем к умению мудро их использовать. Если средства, служащие для разрушения, станут чрезмерно мощными, ни один народ не осмелится легкомысленно развязать войну; последствия беспредельного распространения ясно покажут, что человек рожден для самоограничения. Природа вещей в конце концов повсюду приведет именно к тому, что сегодня лишь предвосхищено знанием мудрецов.

Поэтому падать духом недопустимо; впереди — светлое будущее, какие бы ужасные испытания ни подстерегали нас на пути к нему. Когда человек научится управлять внешними по отношению к себе силами не хуже, чем властвует мудрец над своими страстями, дух земли превратится в полубога. И тогда слепые силы станут благодарным средством осуществления идеала в явлении.

По Калифорнии

Сейчас, когда поезд мчит меня по утопающей в зелени плодовых садов Калифорнии, мне вспомнились слова Мэн-Цзы: лучше ждать благоприятной погоды, чем покупать хорошие сельскохозяйственные орудия. Если бы здешние жители рассуждали подобным образом, Калифорния, этот великолепный сад нашей земли, осталась бы бесплодной пустыней; ведь природа назначила этому краю быть пустыней. Осадки здесь выпадают редко, так что сами по себе здесь произрастают только типичные пустынные виды, да еще юкки и карликовые сосенки; почва

иссушена солнцем; воды, весной и осенью поступающие сюда из Сьерра Невады, давно проложили себе глубокие русла и не орошают больших территорий. Но человек направил воды по новым руслам, там же, где все равно не хватает влаги, он устроил искусственные колодцы и качает грунтовые воды на поверхность земли. Сегодня Калифорния — это, пожалуй, самая плодородная область на всей земле.

Так выражается наше, западное, отношение к природе, противоположное восточно-азиатскому. Мы не смиряемся с природной данностью, мы ее преобразуем. Но чтобы преобразование шло успешно, необходимо глубокое понимание природы; она покоряется и позволяет собой управлять, только в полном согласии с ее собственными законами. И поэтому мы не чужды ее сердцу. А вот мы не отвечаем ей взаимностью.

Самое тонкое и глубокое понимание природы свойственно жителям Дальнего Востока. Китаец относится к природе как любящий сын к матери, который с почтением, самоотверженно принимает и отцовскую строгость и никогда не позволяет себе критики. У японца отношение к природе как у девушки к ее подруге — он считается с нею, любит ее такой, какая она есть, а кроме того дружески помогает ей показать себя с самой хорошей стороны. Наше отношение... больше всего оно похоже на приемы и методы школьного наставника. Мы проникаем в характер природы, но лишь с тем чтобы преобразовать ее по нашему разумению, в соответствии с нашими идеалами. Она должна измениться, стать лучше — таково наше убеждение. Как у всех школьных учителей, у нас есть недостаток — мы не способны понять индивидуальное. Конечно, нам удастся выращивать обобщенные типы — это поля, луга, леса, а кроме того, мы выращиваем чиновников, выполняющих определенные обязанности; также нам удастся довести до высшего совершенства некую среднюю природную единицу (плодородная равнина лучше, красивей неплодородной), но с незаурядной натурой необходимо соответствующее ей обращение, и вот тут мы, как и школьные учителя, не можем похвалиться успехами. Везде, где мы достигли, как нам кажется, абсолютной целесообразности, красота — это не непременно условие. Американские сельскохозяйственные уго-

дья чаще всего безобразны, потому что своеобразие природы здесь еще совершенно не уделяют внимания.

Но со временем это придет. Американцы — дети, большие, непослушные мальчишки, подростки; нельзя требовать, чтобы они были осмотрительны, как представители народов Дальнего Востока. Со временем появится и у них осмотрительность. Ибо неправильно считать, что наше, западное, отношение к природе непременно ведет к ее обезображиванию; последнее происходит лишь постольку, поскольку мы еще не прошли наш путь до конца. В Японии сельскохозяйственные уголья радуют глаз, таково совершенное выражение специфически японских отношений между человеком и природой — не потому что оно само по себе наилучшее. В принципе безразлично, веду ли я себя как определяющий природу элемент или как элемент, ею определяемый, все дело лишь в том, чтобы я нашел свое гармоническое отношение с природой. И однажды нам это удастся в общем, как уже удалось во многом особенном. Неправоммерно противопоставлять европейца, с его научным сознанием, азиату с его художественным сознанием: научное в большей мере является преходящим. Если бы японец не был исследователем, внимательным наблюдателем, он никогда не разработал бы техники, благодаря которой ему как садовнику сегодня нет равных. Научный характер его подхода меньше бросается в глаза, ибо в науке японец продвинулся не так далеко, как мы, и соответственно, он на более ранней стадии перешел к продуктивному синтезу. Мы проникаем в природу глубже; но творчески обобщать только начинаем. Когда мы этому научимся, мы будем уже настолько зрелыми, что радость от наслаждения природой преодолест нашу жадность, и, я не сомневаюсь, тогда мы сумеем выстроить особое отношение между нами и всем, что не есть человек, не менее совершенно, чем у японцев.

В Йеллоустонском парке

С вершины одного из туфовых холмов, образованных гейзерами за долгие тысячелетия, я смотрю вдаль, на широкую прерию. В этот час обычно выходят на вечернюю

прогулку по окрестностям бизоны. Они идут не стадом, а по одиночке, держась на большом расстоянии друг от друга, но все животные уверенно движутся в одном направлении, точно перелетные птицы. Что же помогает им обходиться без географии? Не знаю; наверное, никто этого не знает. Ведь и люди, обладающие подобной способностью, не могут ее объяснить.

Несколько десятков лет тому назад каждое стадо бизонов насчитывало до нескольких тысяч голов, сегодня на просторах Йеллоустонского национального парка едва наберется сотня бизонов, и во всей Америке их меньше, чем было когда-то в одном стаде средней численности. Мы их истребили. И сегодня, глядя на этих последних великанов, удивительно уместных в ландшафте прерии, я вне себя от негодования. Как обеднела земля по нашей милости! Разумеется, мы окружаем изгородями большие земельные участки, чтобы животным там хорошо жилось, мы и для индейцев устроили резервации, но ни тех, ни других это не спасает от вымирания. Бизоны на ограниченной территории хиреют, индейцы вырождаются с тех пор, как им нельзя выходить на тропу войны, те и другие обречены. Скоро все живописные типы останутся в прошлом, а поверхность земли станет как две капли воды похожей на ландшафты в центральных областях Германии — аккуратно разделенные участки со стандартной застройкой, где живут немцы и породистые животные. Я понимаю: прекращение нашего губительного воздействия на природу означало бы самоубийство человечества, но какое слепое заблуждение — считать подобный «прогресс» чем-то положительным! Ужасно, что земля день ото дня становится однообразнее. Ибо при этом происходит не превращение энергии, а ее абсолютная потеря, так как затраты энергии не возмещаются. Жизнь нельзя преобразовать так, как, например, электрическую энергию. Каждый тип уникален, в нем воплощена возможность, которая дается единожды и никогда впредь не повторится. И как бы в будущем ни процветали весь род европейский и все наши коровы, лошади и домашние свиньи, это не заполнит лакуну, которую оставляет в Творении уничтожение всех прочих форм. Мир с каждым днем скудеет. В этом состоит подлинный смысл прогресса, как с пугающей отчетливостью пока-

зывает пример Америки, ибо здесь белый человек является, по-видимому, максимально отчетливо выраженным типом целеустремленного человека. Нигде нет такой великолепной природы, как в Америке; все здесь как будто сотворено в укрупненном масштабе, и все крупное здесь жизнеспособно, да только такой размах и отвечает окружающим условиям; глядя вокруг, ты готов вообразить, что в силу этой важнейшей особенности непременно должны возрастать и все духовные ценности; ничего подобного — их не видно, кроме одной-единственной, эта ценность — количество. На янки производят впечатление лишь величины и числа, только они его цель. Подобное обеднение души есть необходимое и неизбежное следствие его единственного стремления — к успеху. И вслед за янки, по его примеру, европейцы сегодня рвутся к успеху. Широко распространенная новая философия уже провозгласила идеалом мышления «принцип экономии», то есть объявила высшим благом нечто само собой разумеющееся. Мы делаемся все беднее, все менее, и это оскудение ведет к исчезновению богатств. Любая определенная линия развития исключительна, но наша, несомненно, стала первой, непроизвольно разрушающей все прочие. На нашем пути развития тяготеет проклятие — мы обладаем столь большой властью над слепыми силами природы, что она поневоле уничтожает даже то, что мы хотели бы хранить и оберегать. Современный белый человек наслаждается природой больше, чем любой другой, он глубже, чем кто-либо еще, интересуется своеобразием внешнего по отношению к себе, и тем не менее то, что ему не нужно и не составляет его самого, неизбежно вымирает везде, за что он ни возьмется.

У арийско-европейских народов на совести не меньше преступлений и убийств, чем у тюрко-монгольских, хотя лишь для последних, пожалуй, уничтожение было самоцелью. Римляне возвели свою великую империю на развалинах древних удивительно своеобразных государств Средиземноморья. Империю римлян стерли с лица земли германские племена. Правнуки германцев уничтожили творения арабской культуры, затем — культуры инков и ацтеков. И если с тех пор намерения людей стали лучше, то средства уничтожения усовершенствовались, и

наша цивилизация стала настолько смертоносной для всех, кто не рожден в ней или не желает в ней жить, что об улучшении говорить не приходится, скорее можно констатировать обратное. Вот и Гегель учит, что путь по трупам — именно тот, каким должен идти «объективный дух», дабы достичь своего совершенного осуществления, и что значение имеет только народ-вождь, носитель «идеи», который вправе принуждать или истреблять все прочие народы; Гегель был бы прав, если бы в понятие исторической значимости входили действительно все ценности. Однако, не говоря уже о том, что историческую значимость вообще никто не может оценить, не отдавая дани предрассудкам, оценка всегда делается задним числом и при весьма сомнительной оговорке, дескать, все, что ни происходит, все к лучшему и только так и могло быть; но данная предпосылка имплицитно утверждает, что материальный успех служит выражением божественного приговора, при таком взгляде на вещи, разумеется, можно считать бесспорным, что ведущая роль в истории решительно не связана необходимым образом с высоким, духовным развитием. Индия и Китай, государства огромного значения, во всемирно-историческом процессе, если понимать его по Гегелю, не играли никакой роли. То, что Христос и Будда стали властителями исторических сил, кажется скорей случайностью. Сам по себе исторический процесс имеет тот же характер, что и биологический; и данное обстоятельство нимало не изменяется оттого, что взаимно дополняют друг друга и борются друг с другом не только физические организмы, но и психические (идеалы, содержательные компоненты веры). Идеальный процесс, сам по себе не зависящий от биологического развития, все же протекает при посредстве биологического, и везде, где только есть движение, можно апостериори установить связь между этими процессами. Однако ее нет в сущности; биологическое остается лишь средством, и если его нормы гипостазиируют, превращая в духовные цели, это ведет к гибели. Появляются недостойные человека взгляды, вроде тех, согласно которым нет ничего превыше блага государства, власть является самоцелью, в отношениях между народами дозволительны любые средства, одна раса имеет право поработить все остальные, и современный гомо техникус,

ради личного обогащения разрушающий весь мир божий, якобы своими деяниями исполняет волю Господа. Совершенно неверно, что власть (в смысле способности и желания подавлять людей) сама по себе есть благо (с чем молчаливо должны согласиться все уверовавшие в прогресс, ибо гегелевская «идея», а равно и «христианская» цивилизация побеждают только с помощью материальной власти), — напротив, власть, как в высшей степени убедительно показал Якоб Буркхардт, прежде всего служит злу и озлобляет. Еще ни одна земная власть не была установлена без преступления, и ни одна не утверждается без применения насилия в той или иной форме; закон ее жизни — не от Бога, а от дьявола. Поэтому никакими силами не удастся поставить насильственные методы управления миром в естественно-необходимое отношение с нравственным и духовным благом. Наша западная цивилизация, как самая мощная сила в мире из всех, какие знало человечество, сама по себе — не добро, а зло: поэтому она не только несет гибель всем, кто не умеет к ней приспособиться, — она уничтожает и своих носителей. К этому типичному успеху направляют свое движение те, кому власть служит для осуществления духовных и нравственных идеалов, а для этого она служит, к счастью, все больше и больше. Если человек становится рабом ее духа, он становится дьяволом.

Известно, что у зла имеется определенная и необходимая функция — это мировая экономика. Только уничтожение расчищает дорогу радикальному обновлению. Если люди намерены серьезно продвинуться вперед, естественный процесс становления и умирания подчас приходится ускорять. Только революции разбивают застывшие формы, только безвременная гибель поколений, которую несет с собой война, разрывает путы традиции. Мировые культуры никогда не возникли бы, если бы одни человеческие виды не подавляли другие, ибо таким образом некоторые формы, предназначенные для господства, смогли пробиться из джунглей дикорастущих форм. И наконец надо высказать главное: смерть и умерщвление — нормальные природные процессы. Хищные звери должны убивать, их бытие столь же оправданно, как бытие травоядных; обусловленное война-

ми, катастрофами и эпидемиями ускорение жизни и возрастание ее оборота не привносит качественных изменений в этот процесс, а количественно влияет на него незначительно, так как в целом многое компенсируется; даже изменение характера флоры и фауны в каждую геологическую эпоху доказывает, что та или иная форма когда-нибудь неизбежно погибнет, а будет ли ее гибель медленной, вызванной изменяющимися условиями, или быстрой и внезапной вследствие вторжения некоего Атиллы, это, надо полагать, безразлично. Высшие вечные ценности в сущности со временем умирают. Очевидно, недалек от истины индийский миф, согласно которому творчество и разрушение представляют собой коррелятивные атрибуты божества: в наше время Богу угодно зло. Однако человек никогда не должен узурпировать власть Шивы: он не вправе сознательно желать для себя того, что подобает только Шиве; неотвратимость смерти не оправдывает убийцу. Подобно тому как рождение и естественная смерть лежат за пределами сферы, подчиненной личной воле человека, план, согласно которому продолжается вся жизнь в целом, выше индивидуальных суждений и оценок. В царстве неразумных созданий этот план везде, где его не нарушают космические случайности или человеческий произвол, достигает совершенного воплощения; поразительна мудрость, с какой природа правит собой. В мире людей подобное было бы возможно, если бы каждый отдельный человек делал то, что ему сообразно. Бог тогда являл бы свою волю через посредство свободной человеческой воли, происходило бы только угодное Богу, отпала бы необходимость в конфликтах; фатум не исчез бы, однако метафизическая вина не отягощала бы каждого отдельного человека, и в целом все служило бы делу добра. Но человек лишь в редких случаях поступает как надлежит, тем реже, чем более осознанно он действует. И когда он, тщеславно вообразив, будто ему известен план общего целого, пытается так или иначе направить события, происходят несчастия. Развязываются безумные войны, совершаются уничтожающие все и вся перевороты; саморегуляция природы нарушается, побеждает бессмыслица. Во многих, слишком многих отношениях белый человек именно так хозяйничал на земле.

Но все же его воздействие на других людей угодно Богу. Общее равновесие сил изменилось настолько, что мы должны господствовать, если мы одобряем себя, принимая себя такими, какие мы есть. Очевидно, многие разрушаемые нами ценности в нашем мире были бы в любом случае нежизнеспособными; настало время, когда в ущерб сколь угодно прекрасному, но старому, возникает новое, и никакие споры с судьбой не могут остановить этот процесс. Но отсюда следует, что действительно существует то, что можно назвать «правом сильного». Это, конечно, не моральное право, речь не идет о материальном равновесии сил, насилие по отношению к живому существу всегда есть зло, любой насильственный акт как таковой — пощечина законности и праву, самое справедливое судебное наказание так или иначе оскорбляет нравственное чувство. Но всякая сила — это реальность, которая действует сообразно своим собственным законам; только эти законы и определяют бытие сил. И сколько бы раз ни одерживало зло победу над добром, грубость — над совершенством, сколько бы вреда ни наносилось моральному сознанию, сколько бы неудач ни постигало мышление при попытках постичь *Ανάγκη* — иногда все же удается понять целительность зла как такового не только в малом, например в судебном и правовом насилии, но и в самом великом. Удастся и в случае с «правом сильного». История учит, что самые жестокие воинственные племена со временем становились цивилизованными народами, нередко крайне приверженными идеалистическим воззрениям. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, это объясняется следующим образом: физическое превосходство можно удерживать в течение длительного времени, только имея прочную моральную основу. Без мужества сила бесполезна, однако и мужество бесплодно без самоотверженности, дисциплины, организованности. Пусть речь идет здесь только об односторонних преимуществах, они все же отграничивают природную основу, которая, очевидно, наиболее способна к дальнейшему развитию и достижению вершин. Германцы, уничтожившие античный мир, были жестокими и грубыми, но кроме того они были мужественными, верными и самоотверженными людьми. Последние качества позволили им, на основе имевшихся у них духовных

задатков, развиваться в течение столетий, постоянно меняясь к лучшему, между тем как греки и римляне поздней эпохи, утонченные, но трусливые и вероломные, разлагались и шли напрямик к гибели. Лишь гордый человек, уважающий себя, считается и с другими людьми. Свирепые англосаксы были предками народа, чье правовое сознание развито, как ни у кого в Европе, и дело здесь в том, что любые доблести и добродетели берут начало в человеческом Я и расширяют свой круг, исходя из Я, так как примитивная вера в преимущество личного права несет в себе первые проблески уважения права вообще. В противоположность англичанам, русские, с незапамятных времен отличавшиеся добродушием и никогда не признававшие за кем-либо права подавлять других, русские, у которых мировоззрение раннего христианства, можно сказать, в крови, по сей день мирятся с произволом. Только сильная натура дает духовным потенциям средство для воплощения и обеспечивает их жизнеспособность. А потому, пока продолжается земное развитие, — и пусть оно вынуждено постоянно начинаться сызнова — право сильного не исчезнет.

...Все это — суждения разума. Но поскольку я обладаю эстетическим чувством, тот факт, что мировой процесс протекает именно так и не иначе, у меня вызывает глубокое сожаление. Я с великой радостью отдал бы все достижения техники за один вечер, когда бы я мог любоваться прерией в ее первозданной красе, прерией, какой она была до того, как бледнолицый начал беспощадную войну с краснокожими.

Среди этой дикой, вселяющей живительные силы природе я все больше осознаю что мое человечество состоит из насильников. Мы, западные люди, — по существу своему воины. Если китаец верит в предустановленную гармонию между человеком и космосом, которую надлежит поддерживать любой ценой, если индеец, чем бы он ни занимался, сохраняет самого себя и таким образом остается внутренне непричастным к борьбе за существование, то мы по убеждению рвемся в самый центр этой борьбы. Нам нет дела до взаимосвязи, мы — элементы, и хотим быть таковыми, и утверждаемся в качестве таковых. Как худшее, так и лучшее в нас порожд-

дено духом борьбы. От него происходит наша жажда завоеваний и разбоя, от него же — реформаторские движения, наука, социальное сознание. Будучи по существу борцами и воинами, мы не считаемся с авторитетами, мы хотим быть свободными исследователями и принимать решения каждый сам за себя. Воин не приемлет компромиссов, он желает побеждать либо быть побежденным, девиз воина: или он, или я.

Когда я находился на Востоке, наш боевой дух, если я размышлял о нем, представлял в самом невыгодном свете. Да и могло ли быть иначе? Воин — это в сущности разрушитель, он в сущности слеп, пристрастен, несправедлив, бестолков. Мудрец — а на мудрецов ориентирована вся жизнь Востока — никогда не сражается; пребывая над схваткой, он видит взаимосвязь всех форм, средоточие которой находится в нем самом, он изменил бы себе, если бы идентифицировал себя с одной из сражающихся сторон. В чем же исток его превосходства? Пока я находился на Востоке, этот вопрос у меня не возникал. А теперь, когда я ищу на него ответ, оказывается, что во время моих путешествий на Востоке я был несправедлив по отношению к Западу. Ведь мудрец — не скептик, не имеющий твердых убеждений, и не равнодушный, холодный, нерешительный человек, напротив, менее всего мудрецу близок тип скептика, который с легкостью во всем сомневается. Мудрец не борется, однако не потому, что все споры и сражения он отвергает как бессмысленные, — дело в том, что он уже завершил свою войну, уже пришел к окончательной ясности относительно себя самого и всего мира; дискуссию, которая обычно протекает вне самого человека и редко приходит к бесповоротному завершению, мудрец закончил в тишине своей души. И только поняв это, я могу во всей глубине постичь мысль индийцев, что кшатрия, ступень, непосредственно предшествующая брахману, есть всадник, рыцарь: без борьбы нет познания; лишь того, кто с честью сражался, можно считать зрелым и подготовленным к божественно спокойному миру мудрости.

Это объясняется тем, что исход борьбы не только является механическим результатом, но одновременно обусловливает органическое изменение. Если убеждения становятся ясными и твердыми, как правило, после дис-

куссии, если народы, после того как сказало свое слово оружие соглашаются признать изменения в отношениях власти, которые еще недавно отвергали как неприемлемые; если сильный человек становится героем лишь в борьбе и противостоянии, то все это основано на том, что в борьбе претерпевают изменения души людей. И только в борьбе. Чисто теоретические рассуждения не оказывают влияния на душу. Сколь угодно ясно понимая необходимость нового порядка, можно не принимать его в практической деятельности, на словах признавая любые добрые качества, можно оставаться негодяем. Вероятно, Христос и Будда обладали мудростью задолго до своего просветления; несмотря на это, миссия обоих началась лишь со времени просветления — времени жесточайшей борьбы. Искушаемые силами зла они оба должны были победить зло, и только одержав победу, они стали свободными. Что означает: только тогда их человеческие души преобразились настолько, что обрели способность служить орудием высшего знания.

Лишь одному из миллиардов суждено стать Буддой; лишь редкие, исключительные личности вообще способны значительно возвыситься, превзойти свои исходные условия; поэтому стабильный общественный порядок, в достаточной мере отвечающий естественным иерархиям, в любую эпоху представляет собой самую отрадную картину. Отдельный человек, ориентирующийся на свой тип, легко достигает совершенства, и в целом царит гармония. Но такой порядок не позволяет идти вперед: лишь прирожденный мудрец может стать мудрым, каждый неизменно пребывает на той ступени, куда его поставила природа, и человечество вообще не движется вперед. В мире борьбы каждому открыты все возможности. Честно и открыто выступая за то, что он считает правильным, стремясь к тому, в чем он видит свое призвание, каждый непосредственно на опыте проверяет свои задатки, предоставляя всем своим способностям возможность полного развития. А поскольку все испытывают себя одинаковым образом, происходят столкновения, которые с необходимостью продвигают общество вперед. Природой вещей обусловлено, что за каждую ошибку когда-нибудь расплачиваешься, всякая ложь в конце концов обнаруживается, все прогнившее однажды

рушится, и наоборот: все ценное выказывает свою ценность и все истинное подтверждает свою истинность — но только если природе предоставляют возможность оказать свое действие. А эту возможность люди дают ей, если находят в себе мужество на дерзкий поступок. Так как самые яростные бойцы слепы, этот процесс, происходящий в одном отдельном человеке, еще ничего не доказывает наверняка. Реакционеры и мятежники, общественники и индивидуалисты, староверы и вольнодумцы — сколько бы ни было типов, чье противоборство образует диалектику современного становления, каждый тип отчасти прав, но нельзя каждый из этих типов признать правым в целом. Каждый из них — элемент мощного процесса, общий план которого не дано охватить взглядом никому из смертных, и ни один смертный никогда не достигает того, за что борется. Но борьба никогда не бывала напрасной; любой приверженный идеалам человек способствует, пусть даже в очень скромной мере, улучшению мира, любое сопротивление ослабляет могущество зла, любая жертва идет на благо будущему. И целое постоянно развивается, вопреки любым реакциям, поднимаясь все выше, в направлении, заданном природой вещей, по тому пути, на котором возможные в данное время и в данном месте улучшения действительно наступают. Ни в 1790-х, ни в 1848 годах люди не достигли целей, к которым стремились, и это хорошо, так как их желания зачастую были безумными; но благодаря их борьбе мы значительно продвинулись вперед по сравнению с ними. Социалистическое учение само по себе ошибочно, однако без него мы не были бы сегодня так близки к справедливым новым отношениям, которые нам представляются возможными. Прогресс же возможен только в мире борьбы; в статическом покое эволюции нет.

Каждый отдельный человек должен быть честным, иметь мужество впадать в заблуждения, даже безумства, признавать свою ограниченность и даже совершать преступления; обо всем остальном позаботится природа вещей, или, если употребить индийское понятие, закон кармы. Путь борца кажется жестко механическим, такой он и есть; отдельный человек здесь действует только как элемент, не понимая цели, и спасение приходит извне.

Однако у массы нет иного, высшего пути. Более развитые индивиды могут идти путем познания или путем любви, но массе не остается ничего, кроме карма-йоги. Однако изобретенная и практикуемая нами разновидность карма-йоги наделена глубочайшим смыслом. Это не пассивное соблюдение предписаний и законов, и не результат, ожидаемый от догм, упражнений, ритуалов, а самоотверженная инициатива. И ни одна карма-йога, какую только можно вообразить, быстрее не вела к цели большую часть человечества. Как ни хвастливо в целом утверждение, что мы далеко продвинулись, нужно признать, что с тех пор, как началось наше ускоренное развитие, произошло невероятно много событий. Достаточно представить себе положение низших общественных классов английского и особенно ирландского народа сто лет тому назад, положение фабричных рабочих всех стран еще совсем недавно и вспомнить о действии, которое оказывает нужда и бедность на душу человека: нельзя не признать, что сегодня мы живем в новом, лучшем мире, это не только мир более высокого благосостояния, но и мир людей более достойного образа мыслей. Последний же сформировался только благодаря борьбе, благодаря наступательному эгоизму; он не появился бы, если бы волю людей направляла китайская любовь к порядку или древнехристианское «непротивление злу». В мире борьбы эгоизм приводит к цели скорее всего. Но почему именно эгоизм? — ведь его в конечном счете всегда понимают ложно? Потому, что природа вещей выявляет и преобразует эгоизм; смертельная вражда раньше или позже неизбежно превращается в сотрудничество. Еще в начале этого века жестко конкурировавшие металлургические предприятия Бельгии и Германии заключили соглашение, по которому каждой стороне разрешалось производить строго определенное количество продукции, вот и в нашем мире когда-нибудь все будет устроено так же. Именно потому, что мы — прирожденные люди насилия.

Таким образом, значение и своеобразие современной западной культуры исчерпывающе определяются всего одним понятием — это культура искренности. Мы более откровенны, чем другие люди, мы признаемся в том, чего

хотим и кто мы такие. И что бы мы в те или иные периоды времени ни считали справедливым и правильным, в конечном счете и по существу мы верим только в самих себя и не успокаиваемся до тех пор, пока наше положение в мире и наше отношение к миру не приходят в согласие с нашими индивидуальными убеждениями. Поэтому верность убеждениям и эмпирическая истинность — наши высшие идеалы. Мы не умеем, как индийцы, сочетать метафизическую истинность с лживостью по отношению к внешнему миру, не умеем, подобно китайцам, колеблимо твердо соблюдать предписанный внешний порядок, не задаваясь вопросом, насколько он соответствует нам самим; мы убеждены, что лучше погибнуть из-за личного заблуждения, чем служить непонятой истине, лучше, мужественно следуя тому, во что мы верим, лгать в метафизическом смысле, чем допускать эмпирическую ложь. Здесь нами руководит та же основная идея, что лежит в основе всех западных форм культуры: назначение человека состоит в том, чтобы представить смысл явления во всей его полноте.

В Китае я размышлял о недостатках искренности. Она менее полезна отдельному человеку, чем слепое подчинение внешним силам, постольку, поскольку внешние обстоятельства объективно оптимальны, а личности свойственны заблуждения; в этом смысле наша грубость в значительной мере проистекает от нашей искренности. Вместе с тем наше варварство более перспективно, чем любая культура, основанная на авторитете, так как мужество и правдивость, и только они, с необходимостью ведут вперед и прежде всего ускоряют процесс развития. В соответствии с природой вещей наши заблуждения также должны приносить благо.

Я мысленно проследил историю нашей науки и философии. На каких только окольных путях мы не блуждали, какими долгими дорогами не скитались напрасно! Как часто мы торжествовали, провозглашая конечным результатом что-то, носившее в действительности лишь временный характер, как часто пытались односторонними определениями исчерпать смысл целого мира! Но любая ошибка все же приносила добрые плоды. Кто-то признавал только бытие, другие — только становление, но в борьбе школ и учений каждая из этих возможностей

разрабатывалась так тщательно и точно, что сегодня они уже вполне отчетливо предстают как взаимосвязанные. Смелые революционеры отвергали традиционную мораль и с легкой душой поднимали на щит себялюбие, тем самым они принуждали людей противоположных убеждений тщательно изучать свои основания, отчего истинное обнаруживалось именно как истинное и многим заблуждениям наступал конец. Неприятие церкви, вольнодумство, отрицание религии — им в первую очередь надо поставить в заслугу то, что сегодня, наконец, многим становится яснее самый смысл религиозной веры, и все, что было некогда ее темным содержанием, превращается в светлое, чистое знание. Всякая критика в конечном счете приносит пользу, даже крайне односторонняя, даже решительно отвергающая здесь и сейчас многое прекрасное. Ведь и для этих отношений следует признать девиз: «Умри и возродись!». Только из разложившегося зерна произрастает новая жизнь, только при разложении чего-то, слепо воспринятого по традиции, возникает отчетливое знание. Если человеку суждено стать автономным, полностью ответственным за все свои желания, мысли и поступки, он должен до конца осознавать свои мотивы. Он должен разрушить любые догмы, любые предрассудки, отказаться от всех своих расовых предубеждений. Этим отказом ознаменовалась эпоха Нового времени. Космос духа вернулся в состояние хаоса, все в нем бродит, кипит, и что, в конце концов, появится, в каждом отдельном случае невозможно предугадать. Но общая цель ясна: наша культура искренности неизбежно ведет к тому, что на место основанной на гетерономии гармонии, в конце концов, явится гармония, основанная на автономии, все истины, которым прежде верили, полагаясь на авторитеты, станут личным знанием, и личное самосознание будет носителем воли всего человечества. Только культура искренности способна этого достичь. Пусть индийская, китайская, христианская (католическая) системы предлагают сколь угодно прекрасные картины обретенного совершенства, эти системы не несут в себе возможности развития. Новое может возникнуть только на нашем пути.

Самый юный и самый типичный человек Запада, т. е. американец, — это и самый искренний человек; искрен-

ность искупает его некультурность. В будущем он может стать кем угодно. Все временное как таковое почти не выдерживает сравнения с совершенным, однако в мире, где все охвачено процессом становления, наличие чего-то временного оправданно. И наконец, это временное по своей идее ближе к наивысшему мыслимому совершенству, чем совершенство индийцев. Вернусь к моим соображениям насчет индийского совершенства. Глубоко проникая в смысл, индиец никогда не видел необходимости в том, чтобы и при выражении смысла учитывать также собственный смысл средства выражения, никогда не считал, что тот и другой смыслы должны быть взаимно согласованными. Соответственно, факты и фантазии, реальность и мифы, ложь и правдивые речи, суеверия и точное знание в глазах индийца равно значимы, лишь бы казалось, что ими охвачен смысл как таковой. Однако смысл полностью реализуется только, если он пронизывает явление целиком, без остатка, если не возникает ни малейшего противоречия между внутренним и внешним. Поэтому фантазии и факты, ложь и правда не равноценны; противоречащее смыслу выражение лишает смысл силы воздействия, отсюда проистекает человеческая несостоятельность и жизненная непрактичность индийцев. Западный человек — фанатик точности, отсюда его беспримерные успехи в мире явлений. О смысле он знает покамест мало. Однако если он когда-нибудь постигнет смысл до конца, то, дав ему совершенное выражение, достигнет совершенной гармонии между сущностью и явлением.

Солт-Лейк-Сити

В ожидании полдня, когда в храме мормонов должен был начаться органнй концерт, я листал выставленные в их общественной приемной богословские трактаты и другие книги. Дама, которая их продавала, поинтересовалась, слышал ли я уже проповедь нового Евангелия. Я ответил, мол, я, во всяком случае, неплохо знаком с сочинениями мормонских религиозных писателей. — Так вы уже убедились, что они несут в себе слово Божие? — Не дав мне времени ответить, она продолжала: — Чудесно в

нашей религии именно то, что можно сразу, без хождений вокруг да около, убедиться в божественном происхождении ее учения. Устами преподобного Джозефа Смита Господь возвестил, что Он непосредственно даст ответ всякому, кто придет к Нему за истинным знанием. Бог держит свое слово — ведь я как раз вот так и обратилась. Я родилась и выросла в Мюнхене. Однажды я случайно услышала проповедь миссионера мормона, он наставил меня, как удостовериться в божественном происхождении Книги мормонов. Я спросила об этом самого Господа, и, вы только представьте себе! — Он сразу же громко ответил: «Да». С тех пор я здесь, и я очень счастлива. — Я растроганно смотрел на эту женщину. Она принадлежала к обычному типу обращенных: у них одинаковое настроение и даже с виду все они похожи, эти люди, заполняющие храмы и моленные дома новых церквей. Но таких трогательных в своей святой простоте высказываний мне еще не доводилось слышать. В этом смысле церковь мормонов, несомненно, далеко опередила другие духовные институты. А как драматична история их полигамии! Джозефу Смиту было откровение — семейные узы остаются нерасторжимыми — на небесах; тем самым утверждалось существование многоженства мормонов в земной жизни — ведь мужчина, последовательно женившийся на нескольких женщинах, в ином мире будет мужем всех своих жен одновременно. Поэтому следующее откровение, гласившее, что муж и на земле должен одновременно состоять в браке с несколькими женами, по существу лишь доводило до логического конца первое откровение. Тут словно гром грянул: честные англосаксонские души благочестивых мормонов не могли потерпеть многоженства. Однако страх божий победил, и, скрепя сердце, каждый мормон обзавелся несколькими женами. Вскоре начались преследования мормонов, жесточайшие гонения, их церкви грозило уничтожение. И тогда Господь смиростивился и открыл президенту США Уилфорду Вудрафу, что теперь многоженство может прекратиться. «Что касается многоженства, — говорится в одном каноническом сочинении (Mormonism, by B. H. Roberts, published by the Church, p. 57), — то святые последних дней мира не несут ответственности как за его введение, так и за отмену. Его за-

поведал нам Господь, презрев все человеческие предрас-судки; но потом, увидев несчастья, которые принесло Его чадам послушное исполнение завета, Он смиростивился и позволил им вернуться к моногамии. Только сам Гос-подь отвечает за свои повеления».

Как тут не вспомнить суждение Свами Вивекананды о всех известных ему основателях западных религий: у них подлинное просветление, как это ни странно, нераз-делимо соединялось со смехотворным суеверием, их, ко-нечно, вдохновлял Бог, но они еще не сформировались душевно для того, чтобы полностью воспринять и пра-вильно понять откровение. Так оно и есть. В мормонстве в крайней форме выступает то, чем в принципе характе-ризуются все религии западного мира. Вне всякого со-мнения, Джозеф Смит и Брайан Янг были истинными пророками — такими же как Моисей, Уэсли, Лютер и Кальвин — вот только были они поразительно невежест-венны. Но в своей сущности, и на этот счет необходима полная ясность, они ничуть не отличались от наших ве-ликих пророков. Что можно сказать, например, о Люте-ре? То, что в течение веков воплощало суть религии для всех глубоко религиозных умов, он отбросил как прехо-дящее, вторичное и даже сомнительное внешнее явле-ние, а как раз, то что ранее всегда считалось вторичным, производным от религии, провозгласил ее сущностью. Лютер учил, что религия есть не что иное, как слепая ве-ра в Бога и использование священных средств — слов и таинств, и не может означать чего-то более высокого.¹ Скудоумие этого великого человека поражает и застав-ляет нас смущенно умолкнуть. Его личное религиозное чувство было изумительно глубоким, однако его идеи от-носительно сущности религии не более чем поверхност-ны. А Кальвин? Разве не чудовищна его догматика? И поистине чудовищна его идея о вечном проклятии, ко-торому якобы от века предана бессильная душа по воле некоего всемилостивого к его чести, Бога. Тем не менее Кальвин был высокообразованным человеком, а Лютер гением, поэтому в их, пусть чрезвычайно плоских, пред-ставлениях все же проглядывает глубина, так что сквозь всю глупость чувствуешь: они знали больше, чем умели

¹ См.: *Harnack A. Reden und Aufsätze*, II, S. 300, 302.

высказать. У англосаксонских и особенно американских реформаторов ничего подобного не заметно. Англосаксонская раса, во многих отношениях развитая лучше всех прочих во всем мире, находится на самой примитивной стадии религиозного развития. Что касается жизни души, англосаксы так чужды философии и психологии, и вообще так мало в них дифференцированности, они настолько не склонны к рефлексии, что в остальном столь значительные британцы без зазрения совести перенимают формы религии, которые, по нашему разумению, годятся разве что для угольщиков. Ни один из англосаксонских вероучителей не был способен к философскому суждению, а если он вдобавок был выходцем из низших слоев народа, необразованным и необученным, как большинство американских реформаторов, то и возникали системы вроде мормонской. Повторяю: кто знает Индию или вообще понимает, что такое религиозная развитость, тот не считает чем-то из ряда вон выходящим странные ответвления вроде русских духовоборов, пиетистов Северной Германии или мормонов Америки, напротив, он видит в них довольно типичные формы, в которых выражается религиозный опыт Запада.

Мы, люди Запада, люди дела, а не понимания. Мормоны, чьи религиозные представления кажутся нам ребяческими, совершили в культуре огромную работу, здесь им нет равных: меньше чем за полстолетия они превратили солончаковую пустыню в цветущий сад. Кроме того, они — образцовые граждане, сознательные, честные и прогрессивные. Подобные практические преимущества отсутствуют у индийцев при всей их способности к более глубокому пониманию. Очевидно, не существует необходимой связи между философской ценностью некоей идеи и ее значимостью для практической жизни, и на основе философской ценности идеи невозможно заранее судить о ее значении. Идея предопределения чудовищна, но, тем не менее именно она сформировала самых сильных мужей истории; вся сила воздействия современного человека восходит к мировоззрению Иоганна Кальвина. Лютеровское понимание религии неприятно поражает своей плоскостью: тем не менее из него или в нем произросла глубочайшая нравственная культура Европы, его дух составляет основу и музыки Иоганна Себастьяна Ба-

ха, и великой немецкой философской мысли. Католическая церковь с ее неприятием всякой самостоятельности человека, с ее примитивной мифологией и враждебностью прогрессу и в наши дни остается непревзойденной школой для души, а значит, и лучшей школой самопознания, какая только есть у нас. Брахманизм же с его изумительной глубиной познания оказался неспособным не только хотя бы приблизительно в той же степени благотворно повлиять на практическую жизнь масс, как более грубые религии Запада, но и вообще меньше, чем учение Лютера, поощрял познание в целом. Ибо при оценке религиозной идеи нельзя отвлекаться от эмпирических условий, в которых ей приходится оказывать свое действие на людей. Сила ее воздействия зависит от того, в какой мере она влияет на волю людей, воля же, в свою очередь, зависит от предустановленной симпатической связи между религиозными представлениями и склонностями; склонности — от среды, в которой они сложились, и так далее. В целом можно сказать: там, где духовное развитие невысоко, но велика интенсивность желаний, примитивные представления оказываются самыми лучшими; там, где налицо отношение, обратное этому, все представления остаются не эффективными, и только там, где они находятся приблизительно на равной и притом значительной высоте, духовная ценность идей имеет более или менее решающее значение для их эффективности. Этой последней стадии с недавних пор достигла часть населения Европы. Однако часть эта меньше, чем мы думаем; и для большинства из нас примитивные представления наилучшим образом ведут к благу.

Намного более интересными представляются американские секты, когда рассматриваешь их не сами по себе, а как экспоненты или репрезентации западного религиозного мышления, ибо здесь, как и везде, типичные черты западного человека в его американской разновидности выступают более ярко, чем в Европе, и к тому же они достигли более высоких стадий развития.

Чем принципиально отличается наша религиозность от религиозности индийцев? Тем что, в противоположность индийской, у нас все формы определяются господствующим принципом индивидуации. На Западе религия

занимается отношением отдельного человека как такового с Богом, и нет инстанции между отдельным человеком и человеком вообще. Поэтому индивидуальность представляет собой ценность. Как это отношение следует понимать в каждом частном случае, роли не играет, — как неисчерпаемую ценность человеческой души (Христос), как ценность личности, составляющую высшее счастье (Гёте), как сверхчеловека (Ницше), богочеловека (Мюллер И. Новая Мысль), которого каждый индивид должен выработать или пробудить в себе. Но именно подчеркнутая ценность индивидуального как такового придает западной религиозности ее своеобразие. Этим объясняется большинство различий — во всяком случае все важнейшие различия — в существе восточных и западных религий. Нигде нет такого огромного числа сект, как в Индии, и нигде не выработались у них более определенные отличительные признаки. Но поскольку отличительные черты чего-либо здесь никто не считает ценными, то никто здесь и не делает выводов, какие всегда делались из подобного положения в странах Запада. У нас всякое отличие всегда вызывает враждебность, у нас одна секта всегда подавляет другие, смотрит на них свысока, преследует, пытается изничтожить или обратить их приверженцев. Если ценность непременно связана с индивидуальной формой, то, конечно, каждая признанная форма, та или иная, отрицает ценность прочих форм, а отсюда следует оправдание и даже обязанность устранения всех иных форм. Там же, где индивидуальность не признается ценностью, а лишь считается особым выражением чего-то высшего, там всякая нетерпимость, исключительность, жажда обращать в свою «веру», да и простое миссионерское рвение лишаются почвы. Поэтому даже Махаяне, обязывающей своих приверженцев к миссионерской деятельности, никогда не была свойственна нетерпимость: индийскому духу абсолютно претит мысль, что какая-либо особенная форма ценна сама по себе.

Что ж, нет сомнений — индийский подход является принципиально правильным: индивидуальное само по себе не представляет ценности. Его можно, однако, сделать носителем ценностей, и в таком случае индивидуальное приобретает духовную субстанциональность, которая ко-

ренным образом меняет его сущность. Отсюда та невиданная, уникальная эффе́ктивность, что характеризует западную духовность во всех ее проявлениях. Какие мощные силы с незапамятных времен пробуждались у нас благодаря одному лишь обнаружению чего-то, «отличающегося» от нас самих или от чего-то нашего. Вспомним о войнах между христианами и язычниками, католиками и протестантами, традиционалистами и поборниками прогресса: очевидно, что они не имели внутреннего оправдания, однако они вызвали колоссальные последствия, причем последствия благотворные. Каждый воин в своем, и только своем, особенном вероисповедании видел сосуд единственно возможной, абсолютной истины, и он наполнял его всем содержанием идеалов, каким обладал, осознавая свои идеалы более отчетливо и глубоко, чем если бы он мог подойти к ним беспристрастно, созерцательно. Отсюда истекает то, что наше сравнительно ограниченное познание имело большее значение для прогресса человечества, нежели глубокое и обширное познание индийцев: все познанное мы приносили в нашу личную жизнь и таким образом придавали нашим идеям всю живую силу личных желаний и стремлений. Здесь — ключ к загадке, почему герцог Альба и Кромвель своей нетерпимостью больше способствовали победе свободы совести, чем всепонимание Эразма Роттердамского: толерантность оборачивается на практике равнодушием и потому сама по себе не способна изменить мир, тогда как любое деяние, совершенное на благо какой-либо из сторон, благодаря вызванному им противодействию больше способствуют тому, что старое состояние равновесия нарушается и происходит переход к новому. Здесь же и ключ к разрешению парадокса, о котором я уже не раз находил случай упомянуть на страницах моих записок, а именно, что ценность какой-либо идеи сама по себе едва ли гарантирует ее практическую ценность, что ограниченные и даже чудовищные представления часто оказывались более благотворными, чем глубокие идеи: когда главное в существе — это его феномен, последний трансформируется и приобретает значение, не имеющее отношения или вообще никак не связанное со смыслом, феномен становится выражением абсолютного. Поэтому народы Запада, при всей своей

душевной слепоте, ограниченности и нетерпимости, да пожалуй благодаря этим качествам, сделали для человечества как целого больше, чем другие народы; только народы Запада попытались и сумели осуществить свои идеалы, которые они признали прогрессивными, и осуществить опять-таки прогрессивным путем.

Посредником этого осуществления была пристрастность, главным мотивом — вера в абсолютную ценность и субстанциальность индивидуального; но как действующая сила выступал идеал. Поэтому нормальный путь прогресса сам собой выходит за рамки ограниченности. Наверное, не было людей религиозных в столь узком смысле, как вожди американских паломников; за океаном долго царила жесточайшая нетерпимость, и особенно беспощадные преследования выпали на долю мормонов. Однако принцип индивидуации (*principium individuationis*) в Америке был доведен до предела, и потому здесь нетерпимость раньше всего и прекратилась. Возникали бесчисленные секты, каждая поначалу мнила, что лишь она, единственная, обладает истиной, и строго отграничивала себя от всех прочих. Но так как все американцы признали свободу индивида, сделав ее основным принципом политического мировоззрения, то с течением времени это неизбежно должно было привести к тому, что всякий индивид начал признавать права других; толерантность медленно, но верно заняла место первоначальной нетерпимости. И тем самым был проложен путь тому, что, вне всякого сомнения, следует считать вершиной всего прежнего развития человечества — это практика, идейно основанная на индийской широте души, признающая как само собой разумеющееся право на существование всего особенного и *de facto* одухотворенная всею силой, какой проникнуто личное воление человека. Иными словами, новейшее развитие западного человека, акцентирующее ценность всего индивидуального, ведет к достижению того же состояния, к какому индийцы приходят благодаря пренебрежению к индивиду.

Если западное христианское умонастроение когда-либо проникнется духом метафизического знания, то им, наверное, будет порождена самая совершенная жизнь, какую только можно себе представить на этом свете.

Если христианская любовь доселе приносила в равной мере и благо и зло, то объясняется это тем, что она все еще слишком сильно совпадает с природным чувством, которое в первую очередь связано с желанием брать, а не отдавать, и почти сплошь пронизана довольно сильным эгоизмом. Если христианское отношение к смерти представляется в целом менее благородным, чем отношение к ней буддизма, то причина здесь в том, что главное значение христианство придает не жертве, а сохранению, воздаянию за страдания и обретению в лучшем мире всего, потерянного на земле. Однако ни одно из христианских представлений не связано необходимым образом с нашими взглядами на жизнь. А то, что по существу характеризует наши воззрения на жизнь независимо от любых обусловленных временем представлений, — это понимание высокой ценности индивидуального и готовность принимать свою личную судьбу; они же — понятие высокой ценности индивидуального и принятие своей личной судьбы — будучи проникнуты духом истинного знания, создают условия для высшей и более полной жизни, чем индийская отрешенность. У индийцев также учат, что каждый должен принести жертву, но какой смысл в отказе от того, что не имеет для тебя никакого значения? Если не принимаешь жизнь всерьез, нетрудно от чего-то отказаться. Между тем несерьезное отношение, за исключением редчайших случаев, свидетельствует о неискренности. Ведь все мы, в конце концов, индивиды, земные жизнеспособные существа, всем нашим эмпирическим сознанием мы связаны с этим миром. Стало быть, мы лжем, утверждая, что этот мир ничего для нас не значит; если же не лжем, то в большинстве случаев тут открывается не наше превосходство над миром, а наша тупость и бесчувственность. Но в любом случае это доказывает нашу органическую неспособность чем-то жертвовать. Жертвой можно считать только отдачу, которая происходит не с видами на получение выгоды и не касается чего-то, не имеющего ценности в наших глазах. Только в радостной готовности и желании приносить жертвы мы «стали ничем» (*sind entworden*), как пишет Мейстер Экхарт, освободились от своего Я и практически достигли единства с Богом — однако нет ни одной жизненной позиции, кроме запад-

ной христианской, при которой это подлинное жертвование было бы более близко и очевидно. Для самых свободных христиан эта позиция делает в идее приемлемой даже смерть. Умиравший не умирает, а отдает, жертвует свою жизнь; ибо несмотря на то, что душа человека бессмертна, сам он, т. е. тот человек, каким он себя знает и каким его любят другие люди, навсегда уходит. До конца сознавая это, спокойно принять свою смерть или по своей воле предать смерти любимое существо — это буквально и означает преодолеть смерть, ибо тот, кто обладает этой способностью дарить, отдавать, не надеясь на возврат, преодолел все границы природы.

Не иначе обстоит дело и с христианской любовью. Любить своего ближнего как самого себя — лучшее решение, нежели одинаково низко ценить и мир и себя самого, оно лучше хотя бы потому, что себя самого любит всякий. Однако, чтобы стать выражением метафизического знания, любовь должна быть только отдающей, должна излучаться, подобно солнечному сиянию и теплу, и щедро дарить жизнь без каких-либо оговорок, намерений и исключений. Поскольку любовь в христианском мире не такова, а напротив, в целом представляет собой выражение эгоизма, ее стоит расценить как более безобразный спектакль, чем более равнодушная любовь на Востоке. Однако любовь христианского мира может и должна стать выражением метафизического знания по мере продвижения вперед познания; психическое тело существует, осталось лишь одухотворить его, и это уже происходит. Когда же одухотворение будет завершено, божественный свет обретет совершенного посредника в душе христианина. Вместо того чтобы, как в Индии, светить только в духовной сфере или, как в буддийской Японии, в области ощущений, или быть лишь указателем общего направления деятельности, как сегодня на Западе, этот свет одушевит всего человека, во всей его полноте.

На Восток

В скором поезде еду я через весь континент; с быстротой ветра мчится мимо Новый Свет. И снова я на опыте познаю: время лишь помеха, если хочешь составить себе

представление о существенном. Крупные штрихи выступают тем ярче, чем больше расплываются и уходят отдельные детали.

К тому идеальному состоянию, к которому устремлено сегодня наше развитие, Америка, несмотря на временный характер почти всего, что тут только есть, решительно ближе, чем Европа. Я, разумеется, имею в виду не бахвалов, уверенных в том, что любую культуру они могут купить, и самих себя почитающих венцом творения, — они несущественны; даже если они облачатся в одежды европейской образованности, вряд ли в них будет больше чего-то подлинного, чем в англазированных индусах. Мне интересен трудолюбивый и не слишком преуспевающий маленький человек, по чьим меркам и скроено, собственно говоря, демократическое мировоззрение. Вот он-то как человек далеко превосходит своих европейских товарищей. Ведь в Америке отсутствует главное из того, что озлобляет и ограничивает всякого европейца, который в силу рождения оказался в неблагоприятных жизненных условиях. В Америке условия столь широки, что у каждого человека есть шансы сделать карьеру, а это укрепляет его мужество и честность; в то же время в здешних условиях жизни он проходит суровую школу, которая насущно необходима всякому, кто еще не настолько созрел, чтобы завоевать моральное право на самоопределение. И если кто-то здесь, начав с низших ступеней, поднимается вверх, он должен хотя бы с виду казаться столь же созревшим для высокого положения, как люди, занимающие его по рождению, — ведь отступление и страх перед вершинами во многом составляют главные, важнейшие препятствия для последующего возвышения души, которое естественным образом следует за возвышением во внешней жизни. И наоборот, радостное сознание честных заслуг повышает чувство собственного достоинства не меньше, чем унаследованное знатное происхождение; ибо несомненно, классовые барьеры и классовые предрассудки — это зло везде, где они не соответствуют действительности, т. е. действительным различиям, существующим в физиологии. Здесь, если это вообще где-нибудь произойдет, на демократической основе однажды расцветет подлинная культура.

Ведь уже сегодня в Америке большинство людей разделяет взгляд, который должен бы стать общепризнанным везде, где современное развитие приближается к своему завершению, а именно, что любой труд почетен. Конечно, этот взгляд рожден в первую очередь «обстоятельствами непреодолимой силы», а не высоким сознанием; потому и не удивительно, что в то же время здесь на каждом шагу сталкиваешься с дикими кастовыми предрассудками, каких у нас уже нет. Однако условия таковы, что каждый должен зарабатывать на хлеб, рассчитывать только на себя, далее, что каждый имеет возможность получить высшее образование и каждый чувствует себя независимым — все эти условия с необходимостью ведут к тому, что в глазах американского народа даже самая низкая должность не исключает благородства человека, ее отправляющего, а отсюда опять-таки следует, что любой труд предстает как благородный и повышается самоуважение маленьких людей. Иначе говоря, американцы вступили на путь, ведущий к идеальному состоянию; если оно будет достигнуто, та истина, что все внешнее безразлично, обретет свое наивысшее возможное воплощение. Для индийца внешнее безразлично в том смысле, что все явления для него равно не имеют ценности: гораздо приятнее, разумеется, считать все явления равно ценными — именно в этом направлении идет развитие американцев. Обе точки зрения означают одно и то же в метафизическом смысле, так как и при одной, и при другой эмпирические иерархические порядки отменяются, однако американский взгляд на вещи не лишает смысла явление — ведь «Царство Божие настанет на земле», тогда как восточный подход полностью выхолащивает явление. Восточное равнодушие ко всему внешнему принижает тех, кто вынуждены растрачивать себя на внешнюю деятельность, то есть принижает все трудящиеся классы, отводя им место наравне с неразумными живыми существами. При американском подходе даже ничтожный кули имеет возможность чувствовать себя полноценным человеком и находить себе соответственное применение. В американском типе труженика предстает осуществившийся прогресс, который есть нечто большее, чем прогресс в общепринятом смысле слова: здесь речь идет о продвижении

вперед не только в смысле успеха, но прежде всего и в смысле возможностей достижения совершенства. Если все внешние границы считаются одинаково ценными, люди перестают воспринимать подвижность как нечто фатальное, и тогда при прохождении определенных ступеней жизни достигается, вероятно, такой же уровень внутренней развитости, какой в иных случаях возможен лишь при неподвижном пребывании на все той же ступени. И этот уровень уже достигается. Насколько современный «образованный» американец еще варвар, настолько образованным кажется простой американский народ. Проводники железной дороги, с которыми я люблю иногда побеседовать, импонируют мне больше, чем любой западный человек, каких я узнал за многие годы.

И еще в одном отношении Америка, по-видимому, обогнала нас на нашей общей дороге — демократия здесь не стала непременным условием господства некомпетентных людей. Конечно, невежды стремятся к власти, это их идеал: лейбор-юнионы уже клеймят тех, у кого лучшие результаты в работе, чем у коллег, считая, что это *unfair*¹, и уже, как в Европе, одинаковой оплаты требуют независимо от результатов труда, и бывает, что временно эти требования удовлетворяются. Но вряд ли в Новом Свете когда-нибудь надолго установятся такие плохие условия, какие совершенно определенно ждут нас. Усиление могущества низших слоев в Европе опасно по той причине, что даже достигший самосознания и самоопределения пролетарий у нас все еще не может расстаться со стародавним представлением, что высшие слои обязаны о нем заботиться. Это представление было оправданным в те времена, когда еще не появились свободные договорные отношения между работодателями и работающими, а существовали патриархальные отношения или отношения опеки того или иного рода. Но с тех пор как рабочий вышел на арену как самостоятельный боец, это представление лишилось всякой основы и, продолжая существовать, ведет к роковым последствиям в жизни общества. У нас пролетарии стремятся ни больше ни меньше как к разорению всех имущих. В Америке они — официально — также ведут борьбу, однако не на-

¹ Несправедливо, нечестно (англ.).

творяют больших бед, потому что здесь указанное представление отсутствует, у нас же оно вызывает всевозможные несчастья, так как живет в умах людей. Никто в Америке не считает само собой разумеющимся, что имущие обязаны заботиться о бедняках; правовое отношение между работодателем и работником здесь существует в чистом виде, каждый ждет чего-то лишь от себя самого, а то, что имеет видимость классовой борьбы, в действительности — борьба интересов. У Америки громадное преимущество перед нами: развитие здесь с самого начала было индивидуалистическим, тогда как в Старом Свете оно лишь постепенно становится таковым. Любой переселенец, приехавший в Америку, был убежден, что только он сам — свой ближний, и отказывался своим трудом создавать что-либо для других. Но гордость не позволяла и ему ждать помощи от других. В стране бедной подобная принципиальная позиция со временем наверняка привела бы к ожесточению и недоверчивости. В сказочно богатой Америке она постепенно превращалась во все более свободную и оптимистическую уверенность в себе, так что чувство зависти и озлобленность даже сегодня здесь крайне редки. Американец не предполагает, что заботиться о нем должны другие, — вот так бы я резюмировал суть преимущества Нового Света перед Старым. И только при таком условии свободное соревнование может привести к чему-то хорошему, только на этой основе возможно построение общества, все члены которого имеют равные права. Ибо только при условии признания права каждого решительно отстаивать свои преимущества можно предотвратить приход к власти некомпетентных людей, и только так идея демократии способна привести к эффективной аристократии.

Конечно, психологическое условие, с помощью которого только и можно претворить в жизнь новый порядок, есть не что иное, как эгоизм: им объясняется в Америке отсталость всего, для чего требуется синтез более высокого уровня, нежели в сознании индивида. Гуманность в глубоком ее понимании у американцев встречается редко, какими бы доброжелательными, добродушными и даже готовыми прийти на помощь они ни были в большинстве; американцы редко чувствуют себя внутренне обязанными поддержать кого-то другого, кроме

тех случаев, конечно, когда гуманность неотделима от профессии. Если кто-то не в состоянии трудиться, ну что ж, пусть умирает с голоду. Но надо понимать, что этот недостаток служит неизбежной временной формой, в которой проявляется новое, крепнущее самоопределение и, с точки зрения лучшего будущего, в таком эгоизме больше ценности, чем в болтовне о гуманизме. Индивидуалистический общественный строй немислим на основе морали сострадания; он может служить добру лишь там, где каждый ожидает всего только от себя самого, и ничего — от других. Эта основная позиция предполагает полное преобразование европейской психики, и пока оно не совершится, наблюдателю будут бросаться в глаза теневые стороны, а все светлое, все достоинства нового положения останутся мало заметными. Но кое-где перестройка уже совершилась, и здесь нам предстает на редкость отрадная картина. Люди, которых не сломила жестокая школа американской борьбы за существование, тверды и эластичны, точно сталь, их внутреннее напряжение велико, как ни у кого в целом свете. А поскольку они всего ждут от себя и ничего — от других людей, то, если они благородны, тем охотнее дают что-то другим; так что гуманность, до сих пор бывшая чем-то вроде страховки или залога, становится настоящим подарком. Не стоит сбрасывать со счетов возможность, что в Америке, когда она выйдет из подросткового возраста, сама жизнь умерит не в меру развившийся эгоизм, и тогда здесь расцветет цивилизация, высшая с точки зрения Запада, цивилизация, которую можно представить себе только в американских исторических условиях, — цивилизация индивидуализма, в которой никто ничего не ждет от другого и тем не менее делает для общества все, что только может.

Поезд мчится среди бесконечных полей и пастбищных лугов. Я еще никогда не видел столь экстенсивной экономики, и редко мне доводилось видеть хозяйство, которое велось бы более рационально. Ни один хозяин в Канзасе, по-видимому, не увлекается экономическим «спортом», что постоянно мы наблюдаем в Европе, где сельским хозяйством занимаются с таким удовольствием от самого занятия, что оно обходится непомерно дорого.

У нас строят с совершенно не нужным размахом, поддерживают разные невыгодные начинания, не используют плодородные земли, исходя из соображений эстетики или пиетета, и так далее. Однако ни один американский земледелец не производит впечатления мелочного практика, скопидома, по-крестьянски лукавого или отсталого из-за недостатка смелости: здесь предпринимают лишь то, что безусловно целесообразно, но уж зато с размахом. И странно: эти огромные хозяйства, которые не должны быть ничем иным, как предприятиями, приносящими денежную прибыль, нередко выглядят прекрасней, чем ландшафты на севере Европы, где работают с такой большой любовью. Это оттого, что в Америке рентабельность — не только высший практический, но и высший эстетический принцип, отчего непрактичные украшающие элементы здесь часто выглядят уродствами.

Я припоминаю разговоры американских землевладельцев, которые мне иногда доводилось слышать во время поездок. Да, они великолепные люди, и это типично, междутем как у нас подобные типы пока что существуют лишь в виде исключений. Только американские земледельцы считают вполне естественным, что наилучший капитал предприятия — инициатива хозяина, а дальновидность, пусть даже в ущерб сегодняшней выгоде, приносит большую прибыль, чем сколь угодно дотошная, но близорукая политика. Это сильные, целеустремленные мужчины. Однако у них отсутствуют все те моральные качества, которые как признаки благородства глубоко почитает земледелец в странах старой культуры, получивший в наследство кусок земли. Наследный владелец рыцарского поместья или богатый отпрыск старинного крестьянского рода относится к своему делу, даже если он ведет его, строго следуя правилам и законам экономики, как к сердечной склонности, он чувствует свои обязательства перед ним. Если он проводит мелиорацию на своих полях и лугах, то делается это в основном ради самих полей и лугов, а не ради себя, хозяина; если он и думает о себе, то подразумевает не себя лично, а весь свой род. Поэтому его деятельность имеет солидный глубокий тыл, созданный только благодаря интеграции хозяина во внеиндивидуальную природную взаимосвязь; в его существе воспитываются качества, которые выражают сознание этой интеграции, а это —

наилучшие качества. Вот почему профессия земледельца у нас по праву считается самой благородной из всех практических профессий: как ни одна другая она воспитывает в человеке глубину и верность корням. Однако столь же правомерно профессия земледельца в Соединенных Штатах Америки почитается наравне со многими другими — если сельское хозяйство только тем и хорошо, что приносит деньги, то и нет в нем более высокого смысла. Поэтому как человек американский земледелец ничуть не выше, чем промышленники во всем мире, а это означает, что как тип он совершенно поверхностен, это машина для добывания денег; более того, он, пожалуй, представляет собой самую неприятную форму выражения современного индустриального рыцарства, ведь встретившись с ним, невольно высматриваешь черты, которые обычно выгодно отличают земледельца от промышленника, и ужасаешься, обнаружив полное их отсутствие.

И тут я снова вспоминаю Китай. Какое разительное отличие! Если в Америке сельское хозяйство — ремесло среди прочих ремесел, если в Европе оно зиждется на морали, то в Китае земледелие есть выражение морали как таковой; материальные выгоды земледелия для китайца, можно сказать, ничего не значат. В Китае каждый человек принадлежит своей семье, семья — роду, род — земле, на которой он живет, ибо земля, земельный участок понимается не как нечто неживое, но как символ всех предков хозяина, и их могильные холмы плуг тщательно обходит стороной. С точки зрения материальных выгод, китайская земледельческая культура кажется нам бессмысленной, ведь она приносит бесконечные убытки. Но в ней никто и не видит средства приобретения — она нужна, только чтобы предоставлять человеку нормальное занятие, формирующее его моральную природу. Действительно, китаец обязан ей своими уникальными моральными качествами. И если с этой точки зрения взглянуть на то, как он работает, окажется, что китайский способ производства превосходит американский. Американский обогащает, но одновременно иссушает и делает плоским, китайский увеличивает бедность, но вырашивает превосходных людей.

И все же американский подход к сельскому хозяйству не лишен задатков, из которых может развиваться более

высокое состояние, чем то, какого когда-либо достигали в странах старой культуры: стадия, при которой сознание глубочайших взаимосвязей жизни уже не произрастает из какого-либо материального субстрата. Чем свободнее и чем глубже самосознание человека, тем большим числом природных барьеров он смеет пренебрегать без ущерба для своей внутренней сущности. Высший человек, какого мы можем представить себе, совершенно отрешен, ему чужды сантименты по отношению к каким-либо географическим объектам, он не оказывает предпочтения тем или иным обычаям, у него нет предрассудков по отношению к какой-либо профессии, и вообще он не знает каких-то исключительных чувств. Но это не означает, что он равнодушен и холоден, а означает лишь то, что он достиг такой стадии внутреннего развития, когда человек способен любить как велено Богом, для которого нет никаких различий. Направление всего культурного развития ведет к этой цели. Дух все больше освобождается от материи, в которой первоначально был заключен, на каждой последующей стадии культуры индивид все менее связан. Если бы в ходе этого процесса старые формы распадались после созревания в них нового содержания, то такой процесс вел бы прямолинейно вверх. Но процесс развития идет по-другому, и тому есть веские причины. Чтобы новое могло развиваться, старое должно уйти еще в то время, когда новое, едва зародившись, существует в зачаточной форме. Поэтому любой внешний прогресс в первую очередь обуславливает внутренний регресс, который тем сильнее, чем больше развитие форм опережает развитие содержания. В этом и заключается смысл возрастающего варварства, которое сегодня продвигается вперед вместе с белой расой. Уделяя внимание новой форме, мы совершенно упустили из виду содержание. Но осознание содержания вскоре возрастет, а это вызовет внутренний прогресс. Поэтому не следует воспринимать слишком трагически, если сельское хозяйство по мере его модернизации утрачивает воспитательное воздействие, если ослабевают семейные узы, хиреют идеалы профессий и классов и даже патриотизм в мирные времена все слабее ощущается в качестве доминанты народной души: повсюду происходит распад форм, необходимый для образования нового содержания. С одной стороны, форма, когда она уже

окрепла, обычно живет дольше, чем содержание, с другой же — новая форма опережает содержание; однако это значит, что существует неблагоприятная переходная стадия. Как раз сейчас мы находимся в середине такой стадии. Мы более поверхностны, чем любая разновидность людей, мы отчетливее ориентированы на материальные блага, беднее; в Америке эта общая характеристика нашего времени предстает в карикатурном виде. Однако мы более поверхностны лишь потому, что наше глубочайшее содержание еще не облеклось новой формой, мы больше ориентированы на материальные блага лишь потому, что наша духовность еще не обрела соответствующих ей средств выражения, мы лишь потому беднее, что не научились еще осваивать свои богатства. Американцы производят еще более плачевное впечатление, чем мы, лишь потому, что у них еще сильнее напряженное отношение между формой и содержанием. Но когда-нибудь мы оставим позади эту неприятную стадию. И раньше всех, вероятно, это произойдет в Новом Свете, так как там никому не приходится понапрасну растрачивать свои силы в борьбе со старым, и внутреннее содержание, не оглядываясь назад, сможет наполнить новую форму.

Чем дальше я продвигаюсь на восток, тем интенсивнее, по-видимому, культура, тем самовластнее человек в общей природной взаимосвязи; еще чуть-чуть — и поверишь, что он здесь всем распоряжается, и никто не распоряжается им. Не слишком сильные стихийные бедствия он предотвращает своим вмешательством (отведение вод, строительство плотин и дамб, удобрение почв), от катастроф спасается с помощью страхования; поля приносят не то, что им хочется, а то, что нужно человеку, коровы здесь дают больше молока, чем вроде бы можно от них ожидать, если не хватает рабочих рук, на помощь приходят машины. Дальновидно согласовывая свое личное производство с требованиями мирового рынка, американцы прочно обосновались в самом центре мировой экономики, так что они вполне естественным образом могут использовать для своей выгоды то, что при ином положении дел имело бы роковые последствия. Мои мысли бегут и бегут, я пытаюсь проследить до конца эти возможности, но теряю их из виду. И вдруг я замечаю,

что мои мысли обратились к полярной противоположности американской жизни, к состоянию, которое коренится не в творческом действии, а в пассивном восприятии и претерпевании. И как нередко бывает в подобных случаях, такое состояние видится мне односторонне, в самом благоприятном свете. Специфическая культура, произрастающая там, где человек не мнит себя покорителем природы, а напротив, ощущает свою зависимость от всецельной судьбы, в Америке никогда не возникнет. Тем не менее Америке принадлежит большая часть высших достижений человечества, которыми оно может гордиться. Как благородна гордость сына пустыни, убежденного, что он подвластен лишь воле судьбы! Как глубоко чувствуют природу индийские и русские крестьяне, ощущающие себя мельчайшими частицами во Вселенной! А сколько возвышенного это сознание своих корней породило в Китае! О нет, смирение, скромность, сознание своего ничтожества не являются, как вообразила Америка, чем-то сплошь негативным, источниками высшей силы могут быть и они. Они были ее источниками во все времена расцвета христианства. Мне вспоминается музыка Баха: эта глубина, эта сила открывается лишь там, где человек ощущает себя не господином, а рабом; не действующим в своей сущности, а как тот, с кем происходит нечто существенное. Установка сознания, которая считается единственно верной у новейших западных мудрецов, на самом деле — лишь одна из многих, и все ее преимущества ничего не меняют в том факте, что ее исключают переживания Лао-Цзы и Августина, Баха и Лютера, Толстого и Будды.

Относительность всякой формы! Каждая форма способна выражать глубочайшее содержание, но ни одна не выражает всего содержания, и ни одна не выражает абсолютно больше, чем другая, с виду менее ценная. Сознание совершает колоссальную работу, дабы прийти к единству с Богом, и не меньшую — вера в собственную ничтожность. Оба понимания отношения человека и Бога одинаково верны с эмпирической точки зрения, или хотя бы могут быть верными. Сознание греховности неизбежно возникает, когда человек глубоко проникает в свою душу, так как при отчетливом ощущении атмана становится отчетливой и личная недостаточность; тот,

кто идентифицирует себя со своей личностью, а не со своим сверхличностным Я (Selbst), должен постичь, что не он действует, а с ним нечто происходит, и любым прогрессом он обязан «милости». Ни одна форма сама по себе не охватывает атман: важно лишь то, насколько глубоко человек реализует себя в той или иной, какой угодно форме. Так же, как персидские мистики вычитывали в грубоватых сурах Корана возвышенную мудрость, как Илиада для греков была сборником нравоучительных текстов, как христианство, стыдливейшая религия, никогда не видело повода к недовольствию в самых двусмысленных историях Библии, — так и любая форма может стать средством для выражения высшего. Но в каждой форме высшее предстает как нечто особенное, исключительное и единственное. Новейшая трактовка христианства никогда не упразднит прежние толкования. Безнадёжно больным отрицание болезни не пойдет на пользу — они больше преуспеют духовно, если смогут уверовать, что в болезни им ниспослано испытание. Адель Камм никогда бы не стала святой, вздумай она нести миру свет христианской науки, наоборот, только ожесточилась бы в бесплодных спорах. Учение о карме обладает многими достоинствами, но не меньше у него и недостатков, а именно: оно рассматривает любое несчастье как грех и как завершение, стало быть, несчастье не может оказывать плодотворного влияния; учение о карме воспитывает в своих приверженцах склонность во всякой неудаче другого человека видеть заслуженное им наказание. Адепты Новой Мысли, отрицая позитивный характер бед и несчастий, отрицают и благотворное воздействие, которое оказывает несчастье, понимаемое как кара, испытание или стимул; кроме того, они не отдают должного тому бесспорному факту, что не существует чего-то абсолютно негативного: несчастье одного человека всегда означает благо для другого, так как ни один человек не имеет смысла сам по себе, но обретает смысл лишь в составе целого. Принимать, ждать, претерпевать происходящее — во всем этом есть своя абсолютно положительная сторона. И она оказывается единственно благотворным внутренним отношением к мировому процессу в критические времена, когда природные катастрофы, революции и войны перечеркивают любые устремления

и желания индивида, когда фатум сокрушает любой устроенный людьми порядок. Ибо действительно есть высшая судьба, и не важно, как она понимается — как христианское провидение, как карма или, более свободно и образно, как мойра, общая космическая необходимость, результата всего, что когда-либо случалось, которая властвует неявно и по большей части совпадает с человеческим предвидением, но порой воплощается в некоей независимой личности и преследует свои собственные, непостижимые цели — мойра остается глухой к любым ссылкам на самовластность человека. И даже если бы дело обстояло по-другому, если бы все современное белое человечество вдруг обратилось в американскую веру, то есть оптимизм, это не обеспечило бы абсолютного прогресса, но мы поняли бы, что в известное время какая-то определенная форма предоставляет наилучшие возможности для жизни, что Гиппос последовал за Гиппарионом; и одновременно обращение в американскую «веру» привело бы к вымиранию формы величия, которая нам кажется единственно достойной почитания в лице таких людей, как Лютер, Августин и Бах.

Самовластный и сознающий свое достоинство человек, подобно всем совершенным типам, не включает все прочие, а исключает. И все же хорошо, что он стал идеалом: этим все бытие соотносится с более глубоким основным музыкальным тоном. Атман есть творческая спонтанность; тот, кто сознает свою власть над собой, укоренен в атмане глубже, чем тот, кто чувствует себя зависимым. Превращаясь из определенной в своем существе частицы природы в ее часть, которая является определяющей, человек в сфере практической жизни проходит тот же путь развития, какой проходит теист, становясь мистиком. С эмпирической точки зрения, мистик так же прав, как теист; Бог познается как Ты или как Я, смотря по тому, где находится центр сознания; но познающий Бога как свое Я, познает Его глубже. Поэтому самовластно определяющий человек укоренен в бытии более непосредственно, чем принимающий свою судьбу страдалец. Истинность этого подтверждается не только субъективным чувством, как у мистиков, но и объективным опытом: он показывает, что человек действительно призван быть властелином творения. В нашем

мире мойра не обладает даже тысячной долей той власти, с какой она распоряжалась судьбами древних греков, которые, без удержу предаваясь своим страстям, сами сотворили могучие силы, погубившие их; мы все-таки в основном сумели поставить себе на службу силы стихии. Если мы достигнем такого же господства над собой и научимся распоряжаться этой властью с полным пониманием, то, возможно, когда-нибудь пессимистический взгляд на мир лишится почвы, ибо никакое страдание уже не будет восприниматься как нечто фатальное; и человек, во внешней жизни — повелитель природы, во внутренней — стоящий выше любых случайностей, вполне понимающий смысл и добра и зла, примет полномочия провидения.

В Америке воображение то и дело неудержимо уносит меня в лучшее будущее. Это показывает, как хорошо согласуется с Новым Светом понятие прогресса. Рефлексирующее сознание здесь пронизывает жизнь так глубоко и полно, что именно его особенности определяют, его нормы регулируют все происходящее, а его идеалы действуют как творческие силы. Какой огромной властью над природой обладает дух! Что касается оригинальности, подвижности, изобретательности, тут передовые народы Нового времени стократ уступают древним грекам. Однако каким бы многосторонним ни было развитие греков, как бы далеко ни вело, происходило оно не под знаком прогресса. Не признавая никаких ограничений, греки тратили свои дарования, которые были непринужденными как фантазия индийцев; так прошло два великолепных столетия, а затем великолепию пришел конец: в дальнейшем все только загнивало и портилось, сколько бы духовных ферментов у них по-прежнему ни выделялось. Народы Европы, напротив, систематически прививали древу жизни свои идеалы, которые почитали прогрессивными, и таким образом физиологический процесс, сам по себе конечный, был подчинен бесконечному процессу духовного развития. Поэтому я не вижу причин, чтобы в целом эти народы когда-нибудь испортились, и прекратилось их развитие.

Новое передовое человечество призвано претворить в прогрессивную жизнь те из идей всех времен, которые так или иначе способны служить добру. Для этого пре-

творения оно в силу своей особой физиологии, наделено уникальными дарованиями, хотя во всех других отношениях оно, возможно, и никуда не годится. Идеалы эллинов — это силы, ставшие в нашем мире более реальными, чем были в мире античном; когда-нибудь это произойдет и с индийскими воззрениями. Конечно, сегодня произведены лишь предварительные работы, которые должны положить начало тому, что представляется нашим предназначением; современное состояние человечества можно считать лишь эмбриональной фазой его развития. Из создаваемого людьми в нынешних условиях мало что останется надолго. Сам я человек слишком старой культуры, чтобы чувствовать удовлетворение от чего-то сиюминутного; я не мог бы штурмовать Бастилию, сражаться на баррикадах, так как я понимаю, что ничего существенного при подобных событиях не происходит. Для того чтобы быть революционером или первопроходцем, нужно быть слепцом. Но где бы мы были сегодня, если бы не эти слепцы? Фагоциты, частицы крови, подавляющие смертельно опасных микробов, наверняка полагают, что их война и есть конечная цель, а если бы они думали иначе, ни одно высшее животное не могло бы жить. Именно зрячие больше, чем кто-либо, имеют основания уважать слепцов, ибо им они обязаны своей жизнью; понимание возможно лишь потому, что приносят себя в жертву миллионы непонимающих. Мир, в котором их мнение доминирует, не может, конечно, радовать понимающего, но на что он претендует? *Nous n'avons pas le droit d'être fort difficiles*, — писал еще Ренан. — *Dans le passé, aux meilleures heures, nous n'avons été que tolérés. Cette tolérance, nous l'obtiendrons bien au moins de l'avenir. Un régime démocratique borné est, nous le savons, facilement vexatoire. Des gens d'esprit vivent cependant en Amérique, à condition de n'être pas trop exigeants. Noli me tangere est tout ce qu'il faut demander à la Démocratie. Et peut-être la vulgarité générale sera-t-elle un jour la condition du bonheur des élus.*¹

¹ Мы не имеем права быть слишком щепетильными, — писал еще Ренан. — В прошлом, в лучшие времена, нас всего лишь терпели. Хотя бы такой терпимости мы добиваемся и от будущего. Режим ограниченной демократии — и мы знаем это — попросту оскорбителен. Люди с умом живут, между тем, в Америке, при том условии, что они

Не осталось и следа от моего дружелюбного настроения. Чикаго ужасен. Здесь вся жизнь настолько подчинена машинному процессу, что даже приезжие невольно ему подчиняются из страха, что иначе погибнут. Инстинкт их не подводит: тот, кто в Чикаго не может или не хочет стать аппаратом, предназначенным для выполнения определенных функций, и все свое существо поставить им на службу, обречен гибели.

Я глубоко подавлен. Против механизации как таковой я ничего не имею, напротив, я хотел бы, чтобы в жизни все, что поддается механизации, было механизировано как можно скорее и как можно полнее, ведь тогда у духа осталось бы много сил и досуга для тех задач, которые лежат за пределами механического; высокой степенью своего совершенства античная культура обязана тому, что рабы выполняли за образованных людей всю работу, не требующую свободной инициативы, и точно так же современная культура лишь тогда достигнет зрелости и сможет сравниться с античной, когда машинное производство снимет с человека бремя труда. Но ужасно то, что в Новом Свете вся жизнь исчерпывается процессами, которые возможно механизировать; орудия поработают людей, тогда как должно быть наоборот — людям надлежало бы господствовать над орудиями. Как же мы до этого дошли?

Нехватка людей привела вначале к необходимости механизировать все, что поддается механизации, в дальнейшем рентабельность этого способа производства все больше и больше привлекала к себе интерес, все не механическое уже стало казаться излишним и постепенно отступило на второй план в сознании людей. Ведь, к сожалению, неверно, что бездуховная жизнь не дает человеку чувства полноты жизни: любые находящиеся в его распоряжении силы можно превратить в нечто машинное, причем настолько, что человек, который мне представляется попросту нищим, субъективно ощущает себя

не будут чересчур требовательными. *Noli me tangere* (Не трогай меня (лат.)) — вот все, чего можно требовать от демократии. И, быть может, всеобщая вульгарность станет однажды условием благополучия для немногих избранных (*фр.*).

полноценным и смотрит свысока на «духовную личность», живущую далеко не столь полнокровной жизнью. Несправедливо было бы винить механизацию в том, что из-за нее человек перестает быть живым в биологическом понимании этого слова: чикагский житель необычайно витален, именно поэтому он и убежден в превосходстве своего образа жизни над любым другим, ведь его образ жизни способствует повышению его чувства бытия как ни один другой. Так оно и есть, потому что при этом образе жизни все силы человека направлены по одному очень узкому каналу деятельности, и благодаря этому достигают неслыханной интенсивности. Американские предприниматели — это сущие йоги, поскольку все их внимание сосредоточено на одном; и все плоды йоги им в принципе тоже достаются: увеличение жизненной силы и жизненного чувства, возрастание способностей, приумножение психического производительного капитала.

Ужасно в американском образе жизни не то, что он делает людей неживыми, а то, что он чудовищно упрощает их психическую организацию. Американское бытие доказывает, что в жизни прекрасно можно обходиться без души, духовных интересов, культуры чувства. Разумеется, можно; ни тритон, ни червяк не помышляют о том, чтобы превзойти свое состояние. То же имеется в виду, когда говорят, что ограниченные люди — самые счастливые, ведь в тесных рамках своей целостной жизни гораздо проще осознавать самого себя, чем в широких. Но ограниченность не воплощает никакого идеала; идеальным можно было бы назвать лишь такое состояние, в котором человек осознавал бы себя как целое при посредстве космоса и в котором бы ему не пришлось ничего исключать, чтобы в полной мере быть самим собой.

Страшно в американском образе жизни то, что он обедняет человека. Так же как все ценности он подменяет единственной ценностью количества, он всю психику превращает в аппарат для зарабатывания денег. Тем самым американизм возвращает человека на уровень низших животных. Когда рассматриваешь факты в этом свете, они кажутся настолько ужасными, что невольно хочется принять их за что-то вполне безобидное. В дей-

ствительности они обладают огромной привлекательностью, в наше время, несомненно, наибольшей в своем роде. Во-первых, потому что все заинтересованы в успехе, а американская формула успеха — самая подходящая для этих целей; кто не растрчивает время на идеалы, идеи и чувства, не знает нравственных и моральных барьеров, тот движется вперед быстрее всех. Но не только в этом состоит притягательность — прежде всего она определяется тем, что в форме американизма каждый, даже духовно нищий подмастерье, сознает полноту своего существования; эта формула успеха так узка, так ограничена, что у всех вызывает мощное напряжение жизненных сил. И здесь таится самая грозная опасность: у человечества впереди не высокое состояние, а низкое под видом наивысшего. Если американский идеал не будет низложен, он приведет нас прямоком к варварству, и не на время, а навсегда.

Я посетил чикагские скотобойни: впечатления безотрадные. И все-таки я доволен: едва ли я где-то еще увижу более совершенное функционирование машины; на скотобойнях Сток Ярдс, мне кажется, по части эксплуатации людей и времени достигли всего, что только в силах вообразить фантазия. Здесь не теряют времени: за какие-то двадцать минут свинья из живого существа превращается в колбасу, овцу разделяют за 26 минут, быка — за 35. Каждый рабочий выполняет определенные действия за четко установленное время, каждый делает свое дело самым добросовестным образом. Работу передают от человека к человеку машинами. Поэтому один мясник за час легко успевает заколоть полтысячи свиней, которые проезжают на транспортере мимо него; с соответствующей скоростью происходит и все прочее.

Когда я стоял там и глядел на все это, мне вспомнилась притча Чжуан-Цзы о мяснике. У правителя Вэн Хэя был повар. Однажды он разделявал для своего господина тушу быка. Вонзил нож, нажал плечом, потом нажал и ногой, упершись коленом, раз, раз, — шкура отделилась, и нож с хрустом вспорол мясо. Все шло словно в ритме плясовой мелодии, мясник ловко разрубал нужные сочленения и суставы. Правитель Вэн Хэй поразился: «Прекрасно! Вот это, я понимаю, ловкость!». Повар отло-

жил в сторону свой нож и отвечал, оборотившись к правителю: «Смысл (Дао) состоит в том, что любит твой слуга. Это больше чем простая ловкость. Когда я учился разделывать туши быков и коров, то ничего кроме них не видел перед собой. Спустя три года я достиг того, что всегда видел туши уже разделанными. Сегодня я всецело полагаюсь на свой дух, а не на видимость, предстающую моим глазам. Я отказался от знания, получаемого нашими чувствами, и действую лишь в согласии с побуждениями моего духа» (использую немецкий перевод Р. Вильгельма).

В самом деле, в подобной ловкости заключен метафизический смысл: она свидетельствует, что движения рук непосредственно направляются принципом жизни; лишь от цели, которую ставит перед собой человек, зависит, в чем будет проявляться единство с духом жизни — в доведенном до совершенства разделывании туш, совершенном познании или совершенном бытии. Мясники на чикагских бойнях, должно быть, подобно повару правителя Вэн Хэя, вверились Дао для достижения высокого мастерства. Но ужасно, если подобное совершенство станет идеалом человеческого развития. Чикагские бойни — пугающий поучительный символ того, что мне представляется ошибочной целью современной цивилизации. Идеальное соотношение между телом и духом можно было бы считать достигнутым, если бы в каждом жесте совершенно выражалась душа, подобно тому как она выражается в актерской игре Элеоноры Дузе. В нашем мире вся наличная сила все больше перетекает в оружие, вследствие чего, конечно, удастся достичь невиданных результатов, но человек перестает существовать. Современный целеустремленный человек есть олицетворение полной противоположности индийского мудреца: если мудрец окончательно отрешился от всего внешнего, чтобы обрести реальность в самом себе, то современный западный человек пренебрегает внутренним богатством, дабы достичь максимально возможного во внешнем мире. Мы обязаны ему чудесами техники, которые, безусловно, обогащают нашу планету. В этом отношении его следует уважать. Да, уважать так, как мы уважаем факира, клоуна, укротителя змей. Но нельзя смотреть на него снизу вверх. У него нет того, что в первую очередь де-

лает человека человеком... Спираль исторического развития на новом, более высоком витке привела к возрождению рабовладения. Человека снова оценивают исключительно по его достижениям, снова он обладает лишь рыночной ценностью, причем это относится не к одним только людям, работающим по принуждению, а ко всем, ибо свободных людей — в греческом понимании — сегодня уже нет; тот, кто воображает, будто он свободен и независим, относится к себе самому не иначе, чем финикиец — к своим пленникам-рабам. Неужели и каннибализм возродится? Разумеется, в нашем просвещенном мире на его пути встанут психологические препятствия. Но этих препятствий у нас будет меньше, чем у суеверных дикарей. Слишком правдивы слова Тагора: никогда и нигде человеческое мясо и душа не были так дешевы, как нынче на Западе. Ни одна цивилизация никогда не относилась ко всему творению так пренебрежительно, как наша, занятая мыслями о пользе и ни о чем другом. Если мы окончательно поддадимся логике этого движения, разум по мере своего развития, будет все более губительным для души человека.

Не является ли идеальной целью эволюции, достигшей своей очередной вершины на скотобойнях Чикаго, искусственный человек?

Гельмгольц любил говорить, что прогнал бы оптика, который принес бы ему столь несовершенный прибор, каким является человеческий глаз; точно так же можно представить себе, что любые объективные достижения могут быть более совершенными в качестве артефакта, нежели в качестве живого организма, и в идее такая замена чем-то лучшим может быть доведена и до замены человека в целом. Подобный искусственный продукт теоретически уже разработан: это Халади, героиня «Евы будущего», визионерской поэмы Вилье де Лиль-Адана. Автор произвольно сформулировал мысль о возможности создания искусственного человека, у которого вместо жизненно важных органов — абсолютно точно выполненные механизмы. И ведь из этой возможности явилась необходимость, а именно та, что бездушный автомат непременно достигает гораздо лучших успехов, чем самое высокоразвитое живое существо. Даже ода-

реннейший из людей может заблуждаться, а Халади гарантирована от ошибок и заблуждений — она реагирует на ситуацию абсолютно безошибочно, отвечает на вопросы всегда правильно, делает только то, что целесообразно в данных обстоятельствах, и так далее. Она была бы Богом — если бы у нее имелось свое Я.

На самом деле прогрессивное развитие равно необходимым образом стремится к двум противоположным целям, а именно: автомату и Богу; путь, символом которого следует считать чикагские боины, прямым ведет к автомату. Если достижения — все, а душа — ничто, то совершенный искусственный человек бесспорно выше, чем человек естественный. Эта мысль мне кажется поучительной. Наше прогрессивное развитие, которое в своей сущности протекает независимо от внутреннего продвижения вперед, психологически и технически обосновано в усилении интеллектуального характера жизни; именно прогресс интеллектуального обуславливает неудержимое опредмечивание того, что первоначально было лишь состоянием. Поскольку каждый человек составляет себе ясные понятия о происходящем в нем самом и вне его, о том, каково его значение и куда эти процессы могут и должны привести, он возвышается над ними, видит их вне себя самого, приобретает в своих понятиях средство, позволяющее ему вмешиваться в процессы, и в то же время силу и власть, позволяющую задавать им направление по своему усмотрению. Человек может превратить свои желания в двигатели, а свои идеалы в реальные силы. Так любовь и справедливость объективированы у нас в социальных институтах, знание — в технике, умение — в организациях и фабриках. Этот процесс, будучи осуществлен максимально последовательно, дал бы полную объективацию всех жизненных сил, и тогда субъективность вообще перестала бы играть какую-то роль, а все свободные стремления предупреждал бы автоматизм.

Идеальный автомат вряд ли когда-нибудь создадут, но Алади, вне всякого сомнения, олицетворяет не только идеального рабочего в глазах хозяина предприятия (вспомним систему Тейлора!), но и личный идеал современных людей, мнящих себя свободными в столь многих отношениях. Такая односторонность естественным образом вызывает комплементарное встречное движение —

многие, и далеко не худшие, сегодня считают своим идеалом русского крестьянина, стихийного человека, попросту неспособного к организации, не имеющего понятия о какой-либо объективации и даже долге, человека, который подчиняется исключительно своей не имеющей плана субъективности. Однако наверное было бы разумнее видеть свои идеалы не в автоматах и не в музыке, а в Боге — существе, чья одухотворенная душа превышает любых интеллектуальных объективаций и господствует над ними свободно, исходя из своей внутренней сущности. Сама по себе интеллектуализация хороша. Пусть даже сегодня она разлагает многое ценное, но из разложившегося произрастет нечто более ценное; бесспорно лучше ясно сознавать, что ты сам делаешь, чем не сознавать. Высокое сознание с необходимостью обуславливает высокоразвитый мир. Проклятие нашей фазы интеллектуализации состоит в том, что мы, ставшие господами над предметами, находящимися вне нас самих, тем не менее покорились тому опредмеченному, которое мы сами же и создали. В скором времени мы поднимемся выше, вскоре — надеюсь — поймем, что наше стремление к прогрессу, направляемое духом знания, а не бессознательным автоматов, может привести к всезнанию.

Нью-Йорк

Современный большой город это все-таки нечто чудесное. Мы, люди, сегодня уже не имеем оснований свысока смотреть на пчел и муравьев: все, чего они достигли в совместном труде, достигли и мы. И несомненно, мы тоже в целом созданы для коллективного существования. В самом деле, кому полезно одиночество? Святому, мыслителю; а вот художнику — не всегда, а только по временам; все же остальные люди живут более полной жизнью, когда их много вместе, а не в одиночку. Как и прежде, существуют многие формы социализации, и каждая из них обладает своими достоинствами. Жизнь современного большого города, как ни одна другая форма жизни, соответствует современному заурядному человеку. В большом городе темп жизни, потребности и возможности их удовлетворения, необходимость и жела-

тельность сообразны друг другу совершенно так же, как у муравьев в их муравейнике.

Еще ни в одной метрополии я не ориентировался так легко, как в Нью-Йорке. Все внешние условия жизни устроены так совершенно, что кажется, будто стоит лишь пожелать куда-нибудь попасть, и ты уже там. Все происходит с невиданной скоростью, однако спешки не ощущаешь — здесь ее меньше, чем в Лондоне или Берлине, темп жизни выше, но это не приводит к торопливости. И дело не только в том, что люди здесь не теряют времени — вся жизнь так хорошо организована, что терять время просто невозможно, и сознание этого дает душе, приспособившейся к здешним условиям, тот покой, какой дает индийцу чувство, что у него впереди бесконечность.

Это и есть решение внешней жизненной проблемы, единственно приемлемое, коль скоро речь идет о западном человеке. Индеец внутренне более свободен, чем мы, потому что он не уделяет внимания внешнему миру; он свободен, ибо отказался от власти над внешним миром. Мы же, чтобы обрести эту власть, временно пожертвовали нашей внутренней свободой, причем в такой мере, что сегодня раздаются все больше голосов, призывающих вернуться «назад». Однако при этом забывают, что возвращение «назад» невозможно с точки зрения биологии и подобные попытки привели бы только к гибели; раз уж мы не отрешились от внешнего мира, то вопрос стоит так: или он, или мы. Наша ментальность, какая есть, закрывает нам индийский путь самоотречения, кроме редчайших, исключительных случаев. Наш путь к свободе ведет через покорение природы. И в самом деле, там, где природа побеждена, автоматически появляется возможность свободы. Доказательством тому служит Нью-Йорк, да и вся жизнь американцев подтверждает это везде, где она достигла совершенного выражения. Можно сказать, что Америка достигла идеала индейцев, но прямо противоположным путем. В целом же здешняя жизнь кажется очень упрощенной по сравнению с европейской, хотя комфорту в Америке придают большее значение, чем в Европе, и распространен он гораздо шире: все излишнее по возможности отбрасывается, а все необходимое создается экономичным путем, например

во многих ресторанах и кафе отсутствует обслуживание. Почему же? Такое положение сложилось в условиях *forse majeure*, когда пришлось обходиться минимальным количеством рабочих рук и получать от рабочих, при самом уважительном отношении к их желаниям, максимум прибыли; вместе с тем сегодня режим упрощения налицо и там, где без него можно было бы обойтись, и существует он потому, что большинство людей уже привыкли к нему и понимают, что без ненужных затрат жить даже лучше. Совершенная организация столь же производительна, как рабовладельческое государство. Однако если рабовладельческое государство морально разлагает своего главу, то современное упрощение жизни, удовлетворяющее все разумные желания, но исключающее сибаритство за чужой счет, закаляет людей так же, как аскетизм.

Это и в самом деле решение внешней проблемы жизни, единственное решение, приемлемое для нас, людей западной цивилизации. Разве не следует считать его попросту самым лучшим?.. Мне вспоминается другое выражение такого же отношения, нашего понимания человеческого достоинства в сравнении с пренебрежением к индивиду, свойственным индийцам и русским: без сомнения, гораздо плодотворнее одинаково почитать и себя и других людей, нежели себя и других ценить одинаково низко. В метафизическом смысле обе позиции равнозначны, однако только наше отношение дает смысл соответствующее выражение в явлении. Не только в жизни государств, но и в жизни любого человека право на существование основано на том, что оно соблюдается не потому, что его установила власть, а потому, что оно психологически основано на решимости соблюдать это право. Не уважающий себя тем самым предается власти другого, независимо от того, есть ли он, другой, готовый воспользоваться этой властью, или его нет. И по этой причине народы, не уважающие себя, все больше теряют свое достоинство, тогда как народы, исполненные чувства самоуважения, даже если изначально они были грубы, автоматически продвигаются вперед в своем внутреннем развитии. По этой же причине склонные к насилию западные, а не сравнительно кроткие народы России и Индии, достигли такого со-

стояния, при котором можно серьезно говорить о всеобщем признании прав человека.

Меня все больше удивляет этот город. Что касается внешней организации жизни, Америка, особенно ее крупные города, без сомнения, находится на первом месте в мире. Высокий уровень комфорта доступен каждому, причем для этого не требуется никаких усилий самого человека, а с уровнем комфорта непроизвольно растут и притязания. Рабочий здесь совершенно естественно предъявляет жизни требования, которые европейский гражданин считал бы экстравагантными. Американец не только лучше питается, пьет лучшие напитки, имеет лучшие жилищные и санитарно-гигиенические условия и лучше одевается, чем европеец, он к тому же считает само собой разумеющимся, что у него есть возможность удовлетворять свои духовные потребности на таком уровне, который у нас сплошь и рядом недоступен даже высокопоставленным лицам. Благополучие в Америке считают нормой жизни. И это, конечно, абсолютно положительная черта.

Почему так получилось, что именно здесь, и по сию пору только здесь, найдено решение проблемы жизни, каковое следует считать наилучшим для нас, западных людей? Целый ряд факторов сыграл тут свою роль — и природные богатства страны, которые щедро вознаграждают человеческое усердие, и мощные источники энергии, предоставленные природой в распоряжение человека, и многое другое; но на первое место следует поставить, как ни странно это звучит, религию. Дело в том, что все наиболее важные, и притом очень различные между собой, формы американского христианства сходятся в одном — у милости Божией есть довольно верный показатель, или мерило, а именно: материальный успех человека в земной жизни. Угодный Богу христианин непременно должен стать богатым; иначе говоря, того, кто не стремится разбогатеть, считают скупцом, не желающим как следует порадоваться о славе Господа; человек, живущий скромно, в общем мнении является плохим христианином. Вполне ясно, что подобные взгляды заставляют изо всех сил зарабатывать деньги религиозных людей, каковыми является большинство американцев англосаксонского происхождения. Напряжение сил ве-

лико, так как идеальный стимул имеет весьма реальные причины в деятельности банков, которые с самого начала обратились за гарантиями в сферу религиозной жизни и предоставление кредитов ставили в зависимость от принадлежности клиента к сектам или от его активности в жизни религиозной общины. У американских христиан нет ни малейшей враждебности к богатству. Если кальвинизм даже в Европе был более открытым к мирской жизни по сравнению с лютеранством, то в Америке эта черта еще усилилась. Прежде всего объявили: да, богатство наживать следует, но лишь к вящей славе Господа; наслаждение богатством не допускалось. Но поскольку с собственностью нужно было что-то делать, из этого тезиса постепенно выросло весьма парадоксальное капиталистическое воззрение, суть которого в том, что личная жизнь должна служить безличному капиталу. Нравственная проповедь пуританского образа жизни постепенно смолкла, воля к власти и желание наслаждаться жизненными благами все более открыто делались мотивами труда и заработка. Но религиозное происхождение американского отношения к собственности явственно и сегодня, так же как не утратила своего значения и идея, что блаженство и человеческое благосостояние взаимно связаны. Эта связь проявляется в том, что благосостояние принято считать нормой, и оно здесь высоко ценится, пусть неосознанно, его превозносят в том самом смысле, в каком иные секты превыше всего ставят бедность и ничтожество. Нельзя утверждать, что лучшие из американцев видят в богатстве высшее благо, хотя, вероятно, так оно и есть для очень и очень многих жителей Америки — богатство представляется им показателем высшего, а это, разумеется, не одно и то же. Не играет роли, что именно американец понимает под высшим — милость Божию, самовластную личность или просто энергию и отвагу, благосостояние он считает нормальным для удостоившегося милости Божией, и это придает всем его стремлениям к земным благам некий духовный оттенок, а также смысл, который начисто лишает эти стремления одиозности. Поэтому в Америке бедняки не питают ненависти к богатым, а напротив, восхищаются ими, поэтому и разбогатевший человек считает вполне естественным жертвовать на общее благо суммы, кото-

рые внушили бы ужас любому европейцу, занимающемуся благотворительностью.

Конечно, легко насмехаться над мировоззрением, согласно которому земные материальные успехи — мерило Господней милости; легко хотя бы потому, что догматические построения, на которых стоит это мировоззрение, не выдерживают даже поверхностной критики; тем более что воскресение Христа во плоти — небыстречная опора веры. Но мы поступим, надо полагать, более мудро, если уразумеем, что это новое понимание проблемы взаимоотношений материального и духовного означает переворот, сравнимый с новаторством Коперника, это деяние столь огромной значимости, что возможные его последствия мы сегодня не в состоянии вообразить. Идеалы не представляют собой чего-то твердого, заранее данного, раз и навсегда устоявшегося: человек сам их создает, и смотря по тому, что и как он идеализирует, явление приобретает новый смысл; один и тот же феномен в зависимости от того, как его понимают, может быть выражением и самого низкого и самого высокого. До сих пор богатство считали враждебным духовности или нейтральным по отношению к ней; такой подход самоочевиден. Богатство враждебно духовности постольку, поскольку стремление к земным благам направляет не к духовному совершенствованию, а ведет как раз в противоположном направлении, обладание земными благами поощряет гедонизм. Богатство нейтрально по отношению к духовности постольку, поскольку само по себе оно, если не препятствует жизни в духе, то, во всяком случае, и не способствует ей. Высокие религии относятся к богатству в целом отрицательно. Это приносит пользу везде, где, как в недавнем прошлом на севере Европы, бедность была нормальным состоянием, т. е. где материальные устремления с самого начала были обречены на неуспех, либо в областях жаркого климата, где усердным трудам мешает сама природа. Но если усердие регулярно сопровождается успехом, если богатство начинает манить к себе, став в принципе достижимой для всех целью, кроме того, если усердие как таковое является чертой национального характера, неприятие мирской жизни приносит только вред. Ибо там, где девяносто девять человек из ста предпочитают приятную жизнь совер-

шенству, сохранение аскетических идеалов неизбежно приводит к тому, что личное желание оказывается в неразрешимом противоречии с условием долженствования, а это, в свой черед, вызывает скверные последствия. Человек, приверженный старым идеалам, постоянно испытывает угрызения совести, а это, несомненно, самое неплодотворное состояние. Человек, разочаровавшийся в старых идеалах, разочаровывается в идеалах вообще и становится ярым материалистом; а у того, кто сомневается в идеалах, но все же не доходит до отчаяния, важнейшей чертой сущности становится душевная надломленность, столь характерная для современного культурного человека. Но во всех названных случаях идеалы, то есть то, что только и может вести человека вперед и вверх, отсутствуют. Что же делать, как избежать этой беды? Есть только два пути. Один путь — отказ от стремления к материальным благам, другой — сакрализация этого стремления. Третьего не дано. Первый путь, который снова и снова проповедают, на который люди то и дело вступают, не приводит к цели, да и не может привести, так как самоограничение противно природе человека Запада; ни один из миллионов белых людей не согласится прозябать в бедности, если полагает, что способен достичь богатства. Стало быть, остается лишь второй путь. И по нему западное человечество идет уже давно, не отдавая себе в том отчета. После каждой реформы христианство делало шаг навстречу мирской жизни. Если католицизм, признавая мирскую жизнь, ставил монашество намного выше мира, то Лютер отверг монашеский идеал и провозгласил святость труда и брака. Правда, он проповедовал не стремление к мирским успехам, а самоограничение в тех или иных данных условиях жизни; для него страдание все еще было превыше деяния. Кальвин пошел дальше. Вначале он провозгласил, что деяние превыше страдания, и более того, труд объявил обязанностью каждого. Но затем Кальвин сделал критерием избранности человека эффективность его трудов, и эта мысль оказалась решающе важной. Ибо раз и навсегда было признано духовное значение жизненного успеха и, казалось, в принципе преодолен разрыв между желанием и долженствованием. Преодоление удалось, конечно, далеко не сразу, так как ему противоречила косная биб-

лейская вера старого кальвинизма, и к тому же этот решающий тезис был еще недостаточно разработан. Этим занялись секты более позднего времени, а сегодня его наиболее успешно разрабатывают новейшие секты. Сколь бы наивными и грубыми ни были отдельные представления Christian scientists и всевозможных сект Новой Мысли, этим религиозным образованиям принадлежит огромная заслуга — они решительно провозглашают, что воплощение духовного идеала состоит в ограниченном временем стремлении человека, и преподносят свое учение в упрощенной форме, какая только и может повлиять на массы. Когда коротко и ясно говорят: кто откроет в себе Христа, тот обретет богатство, пребудет в добром здравии и станет настолько совершенным человеком, насколько это возможно в земном мире, то теоретически этот тезис, возможно, и не безупречен, однако он несомненно влияет на массы положительно, ибо показывает, что есть возможность соединить стремления к благам мира сего и идеалы. Отсюда и небывалый успех этих учений и их в целом столь благотворное воздействие. Ницше в принципе стремился к тому же, что и Новая Мысль, и его учение с точки зрения философии более удовлетворительно; к этому же стремится большинство новейших концепций мировоззрения, как религиозных, так и нерелигиозных. Но американское мировоззрение имеет несоизмеримые преимущества, ибо оно сохраняет старые религиозные представления, лишь вкладывая в них новый смысл (это относится и к учению Уильяма Джеймса: он, быть может, сам того не зная, в качестве исходных предпосылок берет важнейшие неохристианские идеи). Никогда не удастся преодолеть в нас христианство; против этого тысячелетний атавизм; все новые идеи должны будут более или менее открыто воплощаться в старых формах, чтобы обрести достаточную силу воздействия. Мост между современным духом и старыми представлениями перекинул Иоганн Кальвин, это его огромная заслуга; все более полное воплощение современного духа в старых представлениях стало задачей всех позднейших религиозных учений. Сегодня уже ясно, что они идут верным путем. Нет более радостных и непринужденных людей, чем люди, сформировавшиеся под влиянием этих представлений, но и не только — нет людей

более приверженных идеалам; они призваны придать современной жизни духовное содержание, которого ей в целом так сильно недостает.

Уже сегодня Америка настолько продвинулась по этому пути, что благосостояние здесь считают нормальным положением вещей. Следовательно, и на практике, и в идеале достигнут безусловный прогресс с точки зрения этого мира: если для всех существует альтернатива — находить удовлетворение в изобилии или в скудной жизни, предпочтение отдается первому решению. Разумеется, умеренность лучше, чем зависимость от благоприятных обстоятельств, и определенно она лучше, чем страдания от неудовлетворенности, но все же в целом понятно, что отсутствие потребностей не идет на благо детям Адама, что, как прирожденная черта, умеренность не есть добродетель, а будучи достигнутой принуждением, она чаще всего не доводит до добра. Ибо человек, не имеющий желаний, обычно не отличается богатыми задатками; всякий орган стремится действовать, всякий инстинкт — находить свое выражение; тот, кто себя ограничивает, отказывается от возможностей роста. Хуже того: в стесненных обстоятельствах не только не получают всестороннего развития большинство задатков, но в первую очередь затрудняется развитие наиболее благородных дарований; свободные, по-настоящему состоявшиеся люди всегда достигали расцвета именно на почве удовлетворенности. Почему? Потому что от потребностей человеческой природы невозможно избавиться с помощью принципов, природные потребности должно удовлетворять, дабы дух мог обрести свободу. Если они не удовлетворяются, в душе начинаются застой, вытеснение, отравление ее же собственными ядами; то, что могло бы стать совершенно прекрасным, искажается и принимает вид отвратительного уродства. Вытесненная чувственность неизбежно порождает непристойные образы фантазии, молча проглоченное оскорбление — злобные мечты о мести; так же и бедность, если ее воспринимают болезненно, непременно влечет за собой зависть, недоброжелательность и озлобление. Материализм нашей эпохи имеет некоторое оправдание: сознательное стремление к созданию максимально благоприятных условий жизни для всех людей действительно прокладывает пути

лучшей, более благородной жизни. Чем отраднее условия жизни, тем беднее питательная среда для всего безобразного и тем богаче — для всего благородного. Можно представить себе такие общие внешние условия, при которых недоброжелательность, подозрительность и озлобление, превратившись в абсурдные понятия, станут нежизнеспособными. И в этом смысле бедность можно считать абсолютным злом, а стремление к богатству, согласно учению американских христиан, более угодным Богу, чем скромное желание довольствоваться тем, что есть. Нынешнее малоутешительное состояние белого человечества проистекает не оттого, что у него есть потребности, и тем паче не оттого, что оно не может их удовлетворить, — в последнем отношении никто не имел хотя бы приблизительно таких же благоприятных условий, — причина в том, что удовлетворение потребностей у нас все еще не воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Но это неприятное переходное состояние мы скоро преодолеем. И тогда окажется, что плоды, до сих пор пожинавшие лишь теми, кто отвергал мир, могут доставаться и на долю людей, признающих все мирское, что в счастье, пусть малом, можно видеть цель человеческих устремлений, и оно само есть наилучшее средство для достижения этой цели.

Но, конечно, в Америке разрыв между внешним прогрессом и внутренним совершенством человека еще глубже, чем в Европе. Старые корни европейца были обрублены при пересадке, а пущенные им новые по-настоящему еще не укрепились в американской почве. К тому же вместе с основной массой пересадили немалое количество не облагороженных дичков, которые принялись на тучной почве, но без окулировки утратили многие из своих добрых качеств. Поэтому не стоит удивляться, обнаружив, что при более высокой цивилизации уровень культуры у американцев ниже, чем у нас. В Старом Свете совершенство учреждений также играет весьма скромную роль, если речь идет о человеке. Объективация идеальных требований в форме общественных институтов, при всех ее достоинствах, обладает серьезным недостатком, который состоит в снижении субъективной действенности. Мы более поверхностны, чем ин-

дийцы, так как наши духовные силы извлечены на поверхность, а на поверхности они функционируют автоматически и не обязательно вызывают в душе сострадание, тогда как у индийца духовные силы действуют в глубине души и потому глубочайшим образом влияют на душу. Однако у европейца все-таки чувствуется, что его внешнее произошло из внутреннего. Возьмем ярко выраженный тип «человека цели»: если он отпрыск древнего рода, то гуманизм наших классиков, идеализм Века великих открытий, высокая этика средневековья, наконец античная культура — все это составляет живой фон его бытия, окружает его духовной атмосферой и придает его делам значительность, которая, даже если она полностью ускользает от его сознания, все же существует. Поэтому, несмотря на всю поверхностность европейцев, в них чувствуется потенциальная глубина, в любом машинном процессе — потенциальная одухотворенность; даже учреждения, на первый взгляд не связанные с жизнью души, внушают чувство вроде того, какое испытываешь при обращении с новыми орудиями, которые еще не освоил: пока не получается, но скоро дело пойдет на лад. Ибо порукой тому — наша история. Лувр — залог того, что Эйфелева башня когда-нибудь станет живым символом, храмы — что и фабрики смогут послужить делу духа. Этого отрадного чувства в Америке не испытываешь. Самый распространенный здесь факт — просто деловитость, не имеющая живого значения и живого фона.

Конечно, это ощущение лишь условно можно считать оправданным; между американским и европейским состояниями нет сущностного различия, они различаются лишь степенью. В оборудованных с расточительным размахом американских университетах нет духовной атмосферы, роскошные американские здания не являются символами, сами американцы слишком часто неглубоки до бездушности, потому что здесь разрыв между внешним и внутренним еще больше, чем у нас. Что касается внутреннего, американцы грубее и моложе, чем мы, но во внешнем они значительно опередили нас: поэтому негативные черты, вызванные нарушением равновесия между внешним и внутренним, у них выступают более явно. Не стоило бы об этом говорить, если бы Новый Свет не опережал Старый, вместо того чтобы идти за

ним по пятам, и не становился примером для Европы. Как раз это вызывает тревожные мысли.

Я вспоминаю все положительное и все негативное, что встретилось мне в Соединенных Штатах, вновь раздумываю о сравнениях Запада и Востока, приходивших мне в голову, и о тех всеобщих, направляющих идеях, которые во время моих странствий постепенно приняли отчетливый вид в моем сознании. Сегодня западному человеку пора осознать, что на пути так называемого «прогресса» он не обретет «единственно необходимого», а найдет лишь более совершенные средства выражения для него. Разумеется, хорошо, если западный человек получит их в свое распоряжение, было бы невероятной глупостью отказать от них. Но и располагая средствами выражения, проблему жизни человек Запада не решит, проблема останется проблемой, и даже облик ее не изменится. Единственный абсолютный идеал индивидуализма определяется посредством понятия совершенствования. Однако столь продвинувшийся вперед современный человек как ни одно другое живое существо далек от совершенства. Он дальше от совершенства не только, чем китайцы, люди античной эпохи и средних веков, но дальше, чем австралийский абориген, и даже любое растение и любое животное. И пока он этого не осознаёт, по-прежнему пребывая в безумном заблуждении, что благодаря своему «прогрессу» он якобы и в самом деле может значительно продвинуться вперед, до тех пор никакой внешний выигрыш не даст ему внутреннего здоровья; как человек он будет все больше хиреть и чахнуть — прямо пропорционально умножению его средств. Если же он уразумеет, что нужно, и совершит поворот к единственной истинной цели человечества, тогда, и только тогда то, что было для него губительным, станет его спасением. Нет необходимости, чтобы материальная мощь, какой бы злой она ни была сама по себе, вредила душе, неверно и то, что разум непременно разлагает; материальная сила может стать голосом божественной доброты, разум — средством духовного возрождения. Считать, что подвижный характер нашей жизни исключает возможность глупины, значит впасть в заблуждение, так как любая жизнь динамична; неверно полагать, что наше стремление в беспредельные дали принципиально исключает совер-

шенство, так как совершенство связано с понятием границ; границы стремления и границы стремящегося человека это разные вещи; каждый человек может временно осознать свои границы. С точки зрения духа, не имеет значения, заключен ли он в твердом теле или в текучем. И если мы сумеем стать совершенными в своем роде, сделаем наше тело с удивительным разнообразием его форм средством выражения духа, то и мы достигнем цели.

К совершенству следует нам стремиться, только к нему. Не к «обновлению», каковое сделали своим излюбленным лозунгом современные поборники улучшения мира. Стремиться к обновлению — это означает ждать спасения от какой-то новой особой формы, от нового мифа, новой жизненной формы, нового человеческого типа, который якобы произойдет от старого. Спасение отсюда уже не придет, в этом можно не сомневаться. Идеал обновления есть не что иное, как максимально возвышенный идеал прогресса; он был способен вести вперед в те времена, когда человек еще не научился непосредственно постигать сущность явлений. В те времена рождение новой формы и в самом деле было равнозначно откровению нового содержания. Античное язычество и христианство внешне, конечно, разделяет всего лишь «прогресс», но это продвижение вперед одновременно обусловило «совершенство», поскольку в христианстве, новой внутренней форме, масса смогла осознать себя самое гораздо глубже. И все-таки уже тогда обращение в христианскую веру было чем-то вроде вспомогательного построения в геометрии; Марк Аврелий, каким он был, ничуть не ниже, например, святого Амвросия, и он ничего не выиграл бы, сменив веру; уже в те времена переход в новую веру лишь невежественные люди считали достаточным для спасения. Но сегодня большинство из нас знает слишком много, и потому изменением формы мы ничего не выигрываем, сегодня какую-то новую форму невозможно принимать всерьез настолько, чтобы она могла в полной мере оказать свое воздействие. Пусть завтра появится священник или проповедник, гений и провозгласит новую, прекрасную религию — его деяние не будет даже приблизительно столь значимым, каким было деяние Лютера; человек начинает

осознавать смысл как таковой, значит, настает время изменить постановку задачи. Уже нет нужды создавать новые формы, чтобы в них реализовать себя более глубоко, необходимо стремиться непосредственно к познанию сущности, а это значит в любом обрамлении выражать свое глубочайшее, сокровеннейшее содержание. Если только человек устремится к исполнению, совершенству, все остальное образуется само собой. А тогда неотвратимо произойдет и «обновление», или «обращение», или «возрождение», смотря по обстоятельствам; тогда, если потребует эпоха, сама собой возникнет и новая историческая форма. Пусть остаются в численном меньшинстве те, кто своим знанием превосходят имя и форму, все мы неведающие; создание новых форм как таковое решительно не может быть нашей конечной целью.

К совершенству нам следует стремиться, к совершенству, и только к нему. Мы, люди Запада, специфичны в силу нашей «западности» и обладаем исключительными задатками, мы должны исполнить свое особое предназначение. Нам никогда не удастся преодолеть границы, поставленные нам нашей физиологией, и никогда нам не пойдет на благо, если мы изменим самим себе; любая попытка выйти из исторически обусловленных рамок только принесет вред. Мы не должны пытаться разрушить то, что мы создали, не должны, исходя из теоретических соображений, совершать насильственные преобразования, но, напротив, должны органически вырастать до того состояния, которое станет короной, венчающей наши стремления. Но в настоящее время, уяснив себе, что наша эмпирическая цель не является самоцелью и наше своеобразие не представляет абсолютной ценности, мы должны учиться жить непосредственно сущностью и на ее основе. Лишь тогда, и тогда наверняка, наша «прогрессивность» станет выражением «единственно необходимого» и явится новым этапом пути, приближающим нас к цели человечества. Тогда окажется, что сколько бы мы доселе ни натворили бед в нашем мире из-за своего безрассудного стремления подчинить все творение нашей своеобразной форме, все же мы воистину призваны к высокой миссии. Тогда благодаря нам единство целостной жизни, ее неразрывная существенная взаимосвязанность как никогда прежде выразится в царстве фено-

менов. В Индии люди никогда даже не пытались предпринять подобное. Достижения китайцев, во всем остальном заслуживающие всяческого уважения, нельзя признать благом, так как китайцы признают звание человека лишь за китайцами. Что же касается давних стремлений Запада к универсальности, все эти попытки потерпели неудачу из-за того, что, несмотря на правильную общую тенденцию, не имели тех начал, которое позволяют разом разрешить и общие и частные проблемы. Стремление к универсальности привело в античную эпоху к эклектизму и синкретизму, христианство — к безумной идее, что одна церковь способна охватить все человечество; в XVII веке стремление к универсальности обрело форму общего представления, согласно которому все философские и религиозные формы — это проявления единого, каждому человеку от рождения присущего «природного света», и в XVIII столетии эти идеи окончательно выродились в пошрое уравнивание всех и вся. Сегодня у нас есть единственно возможный подход, благодаря которому все отдельное может определяться на основе целого: это объективация, которой мы подвергаем духовные силы, и она представляет собой единственно надежную связь между миром идей и миром феноменов. Наши познания объективны; открытые людьми отношения между различными феноменами существуют независимо от чьих-то мнений; познанные нами законы действуют и являются значимыми сами по себе, следовательно, у нас есть возможность понимать и формировать жизнь не по какой-то личной формуле, а в соответствии с собственным смыслом самой жизни. В человеке Запада человечество поднялось на ту ступень сознания, которая необходимым образом игнорирует имена и формы. Тем самым духовная исключительность навсегда лишена почвы и проложен путь к общему состоянию, при котором всякий отдельный индивид, убежденно преследуя свою собственную, особую цель, в то же время будет сознавать себя как частицу целого. Уже сегодня каждый человек имеет возможность познать смысл любого явления и увидеть его значение в общей взаимосвязи, следовательно, каждый человек в принципе может и сам утвердиться во взаимной связи; уже сегодня никому не нужно отрицать других, чтобы быть самим собой. В конечном

счете все это приведет к еще небывалому в человеческой истории расширению базы жизни и вместе с тем — к небывалому углублению каждой отдельной жизненной тенденции. Если раньше провозглашали: или национальное чувство — или бытие гражданина мира, то скоро эти понятия станут взаимообусловленными; различные культуры и конфессии постепенно научатся уважать и дополнять друг друга; стародавнюю альтернативу «или он — или я» постепенно вытеснит сознательное сотрудничество. Причем все это будет происходить почти независимо от чьей-либо доброй воли, так как жизнь сама по себе есть взаимосвязанное целое, а осознание всякого реального отношения с необходимостью влечет за собой его более яркое воплощение, благодаря все более глубокому опосредствованию в объективациях. В формах научного знания, денег, взаимных экономических зависимостей уже существуют основы, благодаря которым люди в принципе не могут обходиться без взаимопонимания; вскоре это произойдет и с правовыми понятиями. Объективации со своей стороны оказывают обратное воздействие на субъективное. Все больше влиятельных умных людей отвергают любую культурно-национальную исключительность, с каждым днем все сильнее чувство взаимосвязи у всех людей труда; в один благословенный день человечество осознает свою полную солидарность вопреки необходимым противоречиям и борьбе. Приблизить этот лучший мир, а не переиначить на западный манер все творение, и есть миссия западных стран; особенности нашей физиологии и наша история делают нас, как никого другого, призванными претворить в жизнь то, что до сих пор наиболее глубоко было познано индийцами. Но наша формула жизни по-прежнему останется лишь одной среди многих других; мы вправе считать, что с точки зрения реализации духа именно она наиболее удачна, так как, с одной стороны, требует, чтобы феномен был без остатка проникнут смыслом, с другой же — допускает в идее самые разнообразные формы, тем не менее мы никогда не должны забывать, что ни один феномен не резюмирует другие, ни одна ценность не исчерпывает все, ни одно совершенство не исключает прочие, что цель любого развития — тотальность, и индивид уже никогда не достигнет чего-то боль-

шего, нежели совершенства, какое доступно индивиду в его тесных границах.

Можно предвидеть, что отныне симфония духа будет звучать на земле все более прекрасно. Все чище — отдельные голоса, все совершенней — их гармония, опирающаяся на все более полнзвучные основные тона. Первоначально хаотическое, временами причудливое, затем чрезмерно дифференцированное творение в конце концов завершится классикой, совершенной, монументальной простотой, включающей в себя все богатства. Путь жизни — изменение, жизнь является постоянно в новых формах. Если развитие жизни отныне будет направляться все более глубоко сознательным духом, то временные формы должны будут уступать место все более окончательным, и на смену интеграции придет дифференциация. Всего этого можно было бы ожидать. Однако ожидания разума не всегда сбываются. Представление древних греков о том, что главное намерение богов — истребить на земле все благородное, к сожалению, больше отвечает характеру действительности, нежели идея провидения. Нелепая случайность может внезапно остановить развитие, катастрофы, эпидемии, нашествия варваров, вероятно, будут уничтожать величайших носителей духа, и вплоть до окончательной гибели земной жизни развитие может остаться в зачаточных формах. На нашей планете испокон веков что-то начиналось, но не приходило к завершению. В позднюю античную эпоху, казалось, настал век окончательного универсализма, однако последовали века варварства; в Элладе расцвела культура индивидуализма, затем в Италии эпохи Возрождения, и сейчас опять настал расцвет, но и в прошлом все периоды расцвета заканчивались внезапной гибелью, и наш также на нее обречен. Для эволюции духа не является надежным средством земной мир, где перекрещиваются тысячи разнонаправленных, непримиримых друг с другом путей развития. Истинная цель духа лежит вообще вне этого мира. Бесконечное, которое мы пытаемся заключить в оковы конечного, всегда ускользает от нас; совершенство, к которому все живое стремится как к своему высшему исполнению, не есть исполнение в нашем земном понимании, ибо за ним по пятам идут упадок и смерть, ни один идеал никогда не был во-

площен вполне — если бы все сводилось к достижению идеала в определенных временных и пространственных рамках, любой идеализм лишился бы смысла. Но смысла он не утрачивает. Смысл идеализма обитает в ином, духовном мире, которому наша сущность принадлежит в большей мере, чем миру земному, и все наши стремления в земном бытии служат лишь нашему возрастанию в духе: наша подлинная сущность становится реальной на пути к цели, которая есть нечто воображаемое во времени. Нам надлежит желать создания Царствия Небесного на земле; чем больше мы приблизимся к нему, преодолевая сопротивление материи, тем более могущественным будет наш дух; на земле, которую человек сделает совершенной, дух, вероятно, сможет проявляться более совершенно. Но усовершенствование земли не самоцель — это необходимо понимать, чтобы справедливо оценивать реальность. Разумеется, любая жизнь заканчивается смертью, любое совершенство хрупко, недолговечно и в большинстве случаев не имеет будущего с точки зрения времени. Но дело не во времени. В каждой совершенной реализации жизни актуализируется вечное, достигается существенное, для чего развитие во времени служило лишь средством. Таким образом, можно сказать, что идея прогресса есть нечто более существенное, чем реальный прогресс, хотя первая реализуется только во втором, и что с точки зрения сущности не важно, допускают ли космические случайности полную реализацию духа на земле. У нас нет оснований не доверять Мейстеру Экхарту, провозгласившему: «Коль слаб ты не в волении, а только лишь в могуществе, воистину, пред Богом ты все свершил, <что мог>».

Корабль, что несет меня домой, в Европу, проплывает в эти минуты мимо статуи Свободы. Сколь многие видели в ней обещание новой, лучшей жизни! Для скольких миллионов она символизирует идеал! Я вспоминаю свои разговоры с иммигрантами — все до одного эти люди были преисполнены гордостью от сознания, что стали свободными американцами... В том состоянии, в каком пребывает ныне Новый Свет, лично я не нахожу ничего идеального; свободы здесь ничуть не больше, чем в Старом. К тому же и не о свободе идет речь, а скорей о

произволе, правда, это произвол не одиночек, как в азиатских деспотиях, а произвол каждого индивида, что ничуть не лучше. Всеобщее избирательное право возродило, пусть в изящной внешней форме, право кулачное: играя на настроениях и инстинктах, путем внушения или механической комбинации хитроумных интриг решают, кто должен управлять, разница между этим способом принятия решений и тем, что был в ходу в Европе рыцарской эпохи, та же, что между оболваниванием и изнасилованием. Продажность чиновников, подкуп властей здесь едва ли большая редкость, чем в России. «Воля народа» выражается в целом как правление некомпетентных. Власть, к которой не подпускают людей, превосходящих общий средний уровень, отдана мертвым машинам (трестам, саусис, конторам по проведению выборов), презумпция равенства всех не только перед Богом и законом, но и всеобщего равенства людей как таковых неслыханно понизила общий духовный уровень. Большинство преимуществ Америки по сравнению с Европой, которые я отмечал в моих записках, пока что существуют лишь как идеи... И все-таки я тоже вижу в статуе Свободы символ — первое, хоть и чрезвычайно неоднозначное, воплощение политического идеала.

Каждый человек в своей сущности свободен; это означает, что его глубочайшее существо подчиняется лишь своему назначению. Из двух разбойников, распятых и страдавших в ожидании смерти рядом со Спасителем, Он мог обещать рай лишь одному — тому, чья воля устремилась к Нему, но для другого, чье сердце враждебно замкнулось, Господь ничего не мог сделать. Глубочайшего субъекта ни одна внешняя власть не достигает. Поэтому действительно убежденный в чем-то человек — это не просто поддавшийся внушению, но сделавший самостоятельный выбор из предложенных возможностей; поэтому женщиной, допустим, можно овладеть силой, но невозможно принудить отдаться по доброй воле, а действительно обладает ею только тот, кому она отдалась добровольно. Однако внутреннее, глубинное, автономное Я не возникает как средоточие сознательной личности — на первых порах оно существует как зародыш, затем постепенно развивается и медленно растет, проникая в

личность; до тех пор, пока оно не станет слитным с центром личности, нельзя сказать, что человек совершенно свободен. Юная душа реагирует на внешние воздействия чисто инстинктивно; ее подлинная самость (Selbst) спит, а пробудившись, не обладает инициативой. Она еще не в состоянии предпринять что-то и может только одобрять и соглашаться или не одобрять и не соглашаться с тем, что с нею происходит, а так как подобные суждения незрелого интеллекта лишь в исключительных случаях основаны на познании, то молодая душа нуждается в наставлении. На этой ступени прозорливо направляемое насилие, не принимающее в расчет мнений и желаний, и есть наилучшее воспитание. На более высокой ступени место принуждения занимают психические реакции на связи, существующие между догматами веры, предрассудками, навязанными окружающими людьми, представлениями о долге, которые принимаются пассивно, однако сознательно. При этом человек постигает свое существо опосредствованно, в зеркале стимулирующих познание объективаций. На высшей ступени, соответствующей окончательному рождению самости, человек уже не может признавать какой-то внешний стимул в качестве последней инстанции, ведь он уже знает, что все — и то, к чему его принуждают, и то, что он совершает, повинувшись инстинктам, — не происходит через него самого, пока его свободная воля не взяла на себя инициативу в понимании и осознании его желаний и намерений. На высшей ступени человек живет непосредственно, а не опосредствованно, живет свободно. И лишь на этой ступени он действительно свободен. Поднявшийся на нее уже не хочет принуждать других людей — ни силой, ни внушением, так как все, что справедливо для него самого, справедливо и по отношению ко всем остальным; его желание воздействовать на людей теперь направлено в основном к тому, чтобы каждый достиг совершенной свободы. У этого пути развития отдельного человека имеется точное подобие в социальной жизни. Чем выше развитие народа, тем меньше он терпит чисто внешнее навязывание тех или иных решений. Поэтому правительства всех стран вынуждены признать, что им все больше приходится считаться с волей людей, которыми они правят, и самые мудрые правители созна-

тельно воспитывают в своих подданных совершенную автономию.

Как в случае целых народов, так и для отдельных людей этот процесс не прямолинеен, иногда он возвращается назад или описывает кривую, иногда замирает, а так как люди, находясь в процессе становления, ясно не понимают своих собственных желаний, то они впадают в заблуждения. Так, освобождение духа на первых порах привело к отрицанию всей унаследованной от прошлого мудрости, к имморализму, позитивизму, нигилизму — мировоззрениям, гораздо более глупым, чем концепции, рожденные во времена меньшей духовной свободы. Так же и освобождение народов, произвольно разрушая системы, органически выросшие из накопленного опыта, вначале принесло в основном бедствия, а не благо. И в первом, и во втором случае роковую роль сыграло недоразумение: люди вообразили, будто старые заповеди и системы неверны с точки зрения содержания, тогда как на самом деле они были истинными и оправданными, а преодолевать надо было лишь привнесенное и навязанное извне. Развитый человек стремится по своей воле совершать то, к чему неразвитых людей приходится принуждать. Если развитому человеку не нужны предрассудки, догматическая вера, принципы и представления о долге, если в жизни он фактически обходится без них, это объясняется тем, что принципы, догмы и обязанности суть объективации самых глубоких, последних желаний духа, и они в качестве объективаций, конечно, человека не удовлетворяют: они никогда не бывают исчерпывающими и безупречными, они всегда остаются схематичными и негибкими, он же, свободный человек, живет непосредственно и сознательно, исходя из своей самости, чье воление служит основой всякого долженствования. Но, разумеется, совершенно свободный человек — лишь идеал, который, как показывает история, становится реальностью крайне редко. Психическое развитие начинается не с возрастанием природной непосредственности — дитя природы не подозревает, что оно — субъект, а тогда, когда объективации, которые создает дух, исходя лишь из себя самого, начинает все более верно и точно соответствовать стремлениям внутреннего, глубочайшего Я; точно так же и распад прохо-

дит определенные ступени. Однако на всех ступенях цель — освободиться от любого посредничества и жить непосредственно, на своей почве, сосредоточив свое сознание в самом центре этой почвы, так, чтобы личные желания отражали нормы роста сознания и человек мог сказать о себе словами апостола Павла — *не я живу, а Бог во мне живет*¹. Этого достигает лишь преодолевший самого себя, самоуглубленный настолько, что высшее счастье для него не удовлетворенное самолюбие, а жертва, отдача, свободная от желания возврата, божественная спонтанность.

Жажда свободы обычно просыпается, как уже говорилось, до того, как созреет понимание того, что такое свобода и в чем она выражается, а это означает, что человек на время становится грубым и неглубоким. Новый Свет иллюстрирует это часто с пугающей отчетливостью. По сей день американцы меньше, чем все остальные, поняли, что если однажды падут навязанные извне ограничения, то это произойдет не для того чтобы вообще не стало ограничений, а чтобы на их место встали новые, принятые свободно. Американцы все еще не желают осознать, что унаследованные от прошлого и подчас чрезвычайно условные порядки в отношениях между людьми выражают реальность, что различия, касающиеся зрелости души, характера, одаренности, и даже различия в общественном положении, доставшемся кому-то от рождения, не менее реальны, чем свойства и отношения химических элементов, и что никакой бог, покуда он пребывает в сфере природы, не может творить вопреки законам природы. Американцы желают быть свободными, не считаясь с эмпирической реальностью. Следствие этого — то, что жизнь не становится все более самовластной во все более подвижных границах, а, напротив, постоянно утрачивает свою автономию. В самой современной демократии события подчинены механическим законам в такой высокой степени, какой не было ни в одной древней тирании: как бы то ни было, в тирании все решения, плохие или хорошие, принимал живой человек, здесь же все решает случай, обстоятельства, конъюнктура; здесь жизнь зависит от неорганических сил,

¹ Не я живу, но живет во мне Христос (Гал. 2, 20).

подобно тому как химик, работающий без знания дела, зависит от «нравы» используемых им реагентов; если в руках этого слепца возникнет взрывчатое вещество, он взлетит на воздух. Но без опыта американского не обойтись. Только купленные чрезмерно дорогой ценой познания становятся достоянием людей на долгое время.

Когда-нибудь демократизм преодолеют. И тут к удивлению многих окажется, что человечество в своем безотчетном порыве все же сознавало, где его правильный путь. Отсутствие внешних ограничений, которое в современной Америке приводит к произволу и варварству, предоставит в будущем оптимальные жизненные границы внутренне более высоко развитым людям. Люди станут настолько знающими, что будут относиться к своей душе и психике не иначе, чем мы сегодня к природе. Факты психики человечество признает такими же реальными, как факты материального мира, оно без возражений и споров согласится с правом людей, стоящих на более высоком уровне внутреннего развития, занимать более высокое положение во внешней жизни, ибо человечество поймет, что судить о ценности человека голосованием так же безумно, как судить таким образом о существовании селена. Люди легко и естественно будут сами ограничивать себя там, где границы им нужны. А кем-то установленные границы уже не понадобятся. И тогда произойдет удивительное: идея, которая в своей крайней форме составляла основу демократии, окажется не только в принципе истинной, но и способной воплотиться в явлении. В чем ее конечный смысл? Лишь в том, что дух могущественнее природы, что никакие природные границы не могут быть непреодолимыми, что в душе человека живет божественно-творческое начало. И это действительно так. А если это так, если люди однажды поднимутся до такого уровня, чтобы жить, всецело повинаясь лишь духу, то им не нужно будет признавать неизменным какой-либо природный порядок; предстанет как истина то, что сегодня факты, казалось бы, опровергают. Различия между людьми, которые я сравнил с различиями химических элементов, действительно не представляют собой конечные инстанции; традиции, дарования и расовая принадлежность не являются непреодолимыми: их можно преодолеть, поставив во главу угла дух. В част-

ных случаях это происходило во все времена. Никакими расовыми особенностями никогда не объяснялось появление гения — великие из великих всегда были случайны, с точки зрения природы; они поистине дети духа; и точно так же природа никогда не породила ни одного святого, ведь святые — это одержавшие победу над природой. Однако сегодня преодоление происходит не только в отдельном, но и в общем, причем в широких масштабах и в гораздо более высокой степени, чем принято считать; а это опять-таки увеличивает сложности нашего времени; уже сегодня взаимосвязь между природным назначением и внутренним призванием, когда-то столь прочная, в принципе ослабла. В современных западных странах рискованно делать выводы о задатках человека, исходя из его происхождения, зато с большой вероятностью можно предполагать перемещение человека с любой природной ступени на ступень более высокую. И это не означает, что мы вырождаемся дело в другом: природное в нас все больше покоряется духовному. Преодоление первоначальной предназначенности приобретает огромные масштабы, в Америке, этом плавильном котле рас и традиций, оно крайне грубо и огульно. Успех в этом плане пока что нельзя считать полезным для всех, так как у большинства людей, вознамерившихся превзойти свою природу, пока еще столь мало власти над нею, что, освобождаясь, они лишают себя самых хороших возможностей для своего духовного развития. Это положение изменится. Чем более духовными мы станем, тем меньше зависим от всего унаследованного от прошлого. Чудесные достижения йогов станут достоянием не единиц, а групп людей и целых народов. Как индийцы, которые, несмотря на свой скромный гений, в самопознании преуспели больше нас, ибо глубже погружались в свою сущность; как праведникам у врат Царства Божия не предоставят привилегий перед грешниками в праве войти первыми; как любой человек может заново родиться в духе, отчего разорвутся все связи, обусловленные его телесным рождением, — так же может случиться, что именно там, где человечество, казалось бы, глубже всего укоренилось в материальном, его авангард выйдет за пределы всякой природной предопределенности. Да, конечно, так оно и будет, ибо духовная сущность

крепнет в борьбе и раскрывается тем полнее и свободнее, чем большее сопротивление преодолевает. Поэтому наш материализм сегодня — надежная гарантия нашей духовности в будущем. И тело ее уже предварительно сформировано в современной Америке. Люди завтрашнего дня, вне всякого сомнения, будут жить в таком состоянии, к которому Соединенные Штаты подошли сегодня ближе других стран. Человечество перестанет признавать какие-либо застывшие формы и каждому предоставит возможность абсолютного самоопределения. Поднявшееся превыше всякой природы и считающееся лишь с тем, что порождено духом, оно реализует и идеал равенства. В Соединенных Штатах внешняя форма далеко опередила содержание, как всегда бывает, если она не слишком сильно от него отставала. Американцам такая форма подходит хуже, чем подошла бы китайцам, единственному народу, который приблизился к идеалу культуры. Медленно, чрезвычайно медленно вырастает душа в тело. Этот процесс происходит медленнее, нежели обратный: если тело повинуетя, когда душа того хочет, но душа требованиям тела непосредственно не подчиняется. Если же душа созреет и будет соответствовать опередившей ее в своем развитии внешней форме, значит, душа обретет совершенные средства выражения. И тогда она почувствует себя совершенно не скованной. И сбудется требование, которое демократизм неоправданно предъявлял к сегодняшнему человеку. И окажется, что дух — воистину владыка природы...

Статуя Свободы тает в сером тумане. Я снова плыву по бескрайнему морю. Совсем скоро я вернусь туда, откуда начался мой путь. В Европу, которая казалась мне такой молодой, когда я вглядывался в нее и сравнивал с Азией, и такой старой, когда я сопоставил ее с тем, что однажды будет в столь многое обещающей Америке.

IX. ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ

Райккюла

Снова дома. Самочувствие такое, словно я пережил страшный шторм на море: пока он бушевал, я держался, когда же наконец сошел на берег, почва заколебалась и стала уходить из-под ног, так что я с трудом сохраняю равновесие. Вот и жизнь — внешняя — повергает меня в смятение теперь, когда прекратилось ее движение вокруг меня. Мне надо постараться как можно скорее сменить тип сознания: я уже не путешественник, а оседлый житель. Во время моих странствий я мог экспериментировать с внешним миром как с химическим реактивом, но дома это невозможно. Куда бы я ни направился, я остаюсь в неизменном виде, куда ни посмотрю — вижу своего собственного двойника; все в Райккюле несет на себе печать моего духа или моего рода. Это меня смущает. Я словно в плену. Да так оно и есть: мне придется жить здесь в определенной форме бытия, здесь я несу ответственность определенного вида, здесь мне уже нельзя быть Протеем...

Природный человек, наследный Адам во мне, разумеется, относится к возвращению иначе — ощутив под ногами почву, на которой он был рожден, на которой прочно стоит и на которой привык действовать, он испытывает прилив сил, подобно Антею. Ему кажется, будто все успехи, сделанные за это время усадьбой в Райккюле, это и его успехи, как будто и он вырос вместе с деревьями, как будто с осушением неплодородных болотистых земель претерпела улучшение и его человеческая природа. Пусть так, но мне-то что за дело до его счастья?

Я перебираю в памяти мотивы, побудившие меня отправиться путешествовать по свету: да, конечно, я пустился в путь, желая избавиться от природного человека в себе. Эта цель достигнута, так говорит мне внутреннее чувство. Мой природный человек жив, разумеется, но теперь он уже никогда не возьмет надо мной власть и никогда не вмешается в процессы, лежащие за пределами его сферы. Мне уже почти не грозит опасность, что произойдет процесс кристаллизации моей личности и я стану чересчур серьезно относиться к любому особенному феномену в себе самом или вне меня. И в дальнейшем мне, наверное, можно с большей непосредственностью отдавать должное моей природе. Лишь несвободный человек защищается или бежит от нее, свободному же нет нужды что-то в себе отвергать или проклинать. Теперь, после того как закончится некоторый переходный период, я как личность, вероятно, более полно буду жить своей особенной жизнью, чем раньше. Вот только переходный период... На первых порах мне будет нелегко сознательно принимать жизнь так, как должно принимать ее существу, определенному своим духом; Протей восстает против этого. Но не пора ли и ему научиться сдержанности? Я всемерно поощрял в себе начало Протей из страха кристаллизации — теперь же, когда кристаллизация мне не грозит, Протей не должен быть моим идеалом. Главное теперь — в устойчивой форме добиться такого же превосходства над самой этой формой, как это удавалось мне раньше в форме меняющейся. Давление внешних ограничений пока еще слишком слабо. Если бы я внутренне был совершенно свободен, то не боялся бы ни связей, ни определенности, поскольку я понимал бы их необходимость, не ощущал бы в себе столь властной тяги к внешней свободе. Многие из того, что представляется свободой, в действительности есть лишь один из видов связанности. Я все еще слишком зависим от своего чувства независимости. Я должен по собственному желанию полностью войти в мое особое бытие, суметь без остатка соединиться с определенной фигурой, формой и подчинить своей власти все склонности, чувства и интересы. Я должен достичь такого уровня, когда я не только не буду скован именем и формой, но и смогу по своей воле позволить им себя сковывать.

А теперь о главном. Это долгое путешествие, приблизило ли оно меня к реализации моего Я? Наверное. В каждой из возможностей жизни, которые я опробовал, я все яснее осознавал, что существенно в метафизическом смысле и что — нет. Я, как сущность, остался тем, кем был, пусть я и воспринимал мир то как индус или китаец, то как христианин, то как буддист; основываясь на опыте, я сегодня могу сказать, что существенная истина живет за теми пределами, в которых происходит образование определенных форм. Какая форма возникает — та или иная, зависит от предусловий; от целей, которые при этом преследуются, зависит большая или меньшая ценность формы. Для внешнего формирования жизни, для объективного научного познания лучше всего, как оказалось, душа европейца; для реализации в психической области — индийца, душа китайца — для конкретизации идеи, японца — для эстетического постижения природы, и так далее. В метафизическом смысле ни одна форма не является высшей, каждая есть возможное выражение абсолюта, а каждое особенное выражение обуславливает наличие специфичных границ.

Различные обретенные мною души остались при мне: теперь это возможные установки моего Я, следовательно, моя натура обогатилась. Познав пути метемпсихоза, моя сущность, сохраняющаяся во всех странствиях души, стала отчетливой, подобно фотографическому негативу, и теперь мне что ни день кажется — уже сегодня должно выступить и позитивное изображение. Но пока я его не вижу. Я чувствую себя сейчас не более, а как раз менее уверенным в себе, чем когда-либо: слишком многое во мне самом изменяется и преобразуется. Всему свое время. Происходит естественный процесс. Он требует длительного времени. Нужно предоставить ему таковое. Так что, буду спокойно ждать..

...На днях я долго играл Баха в прекрасном старинном зале с великолепной акустикой. Почему его музыка так много значит для меня? Потому что ее дух воплощен в одном из основных тонов. Между глубиной мыслей и глубиной звучания музыки существует тонкая внутренняя связь. Подобно тому как глубокая мысль несет в себе тысячи обусловленных ею поверхностных мыслей, так же и основной басовый тон позволяет сочинять бесчис-

ленные мелодии в верхних регистрах, и наоборот: любая мелодия в дисканте отсылает к основному басовому тону. Вся современная музыка написана в дисканте и лишь опосредствованно позволяет мысленно восстановить звучание основных басовых тонов; музыка Баха — сплошь основной тон, и посему она — фундамент любой музыки. Ни один музыкант никогда не был столь же глубокий. Бах как никто другой конгениален философу-метафизику. В симфонии познающего духа метафизику надлежит вести басовую партию, находить основные тона, дабы в них звучала музыка мира. И я, погружаясь в музыку Баха, вздыхал: если бы моя мысль могла уподобиться глубине музыкального творчества этого человека, если бы мое познание могло отобразить столь глубокие основы, какие отображает его музыка, я счел бы себя достигшим цели.

Ныне жизнь моя течет, не нарушаемая никакими событиями. Но ее течение не медленнее, чем в те дни, когда каждый час приносил мне новые впечатления, напротив, моя жизнь ускорила. Быстро, как кадры кинематографической ленты, мелькают времена года; если мне казалось раньше, что мое путешествие длилось целые десятилетия, то теперь, по возвращении, кажется, будто я вернулся только вчера... Как удивительно приспособляется к обстоятельствам наша душа! В суете больших городов, в водовороте событий, в сумбуре впечатлений наше осознание времени более масштабно и в нем для всего находится место, а в однообразии это сознание сужается. В этом смысле анахорету в пустыне скука грозит не больше, чем светскому гуляке.

И вот, пока я живу себе потихоньку, мои воспоминания о просторном большом мире мало-помалу тускнеют. Я уже не без труда воскрешаю в памяти картины Индии, Китая и Японии. Опять все идет совсем не так, как я предполагал: ведь я думал, многие формы жизни, столь мощно взволновавшие мой дух, всегда будут оказывать на меня свое воздействие. А вместо этого они преобразились, и то, что теперь живет во мне, представляет собой нечто иное — цельное и для меня очень новое, и происхождение этого нового я лишь путем рефлексии могу вывести из приобретенных богатых познаний. Невероят-

но, насколько мало понимает человек самого себя: личное Я лишь наблюдает за тем, что разыгрывается на сцене сознания, но попасть за кулисы не может, и потому не знает, кто будет выступать, откуда появятся актеры, какую пьесу они разыграют, когда же становится ясно, что спектакль все-таки представляет собой его собственное творение, наше Я порой чувствует себя неуютно... Новое, неслыханное, это то, что я теперь начисто лишился потребности претерпевать какие-либо метаморфозы. Нельзя сказать, что я стал как-то иначе оценивать границы человека по имени Герман Кайзерлинг или почувствовал свое внутреннее единство с ними, — они вовсе не ограничивают меня, я сознаю себя свободным, несмотря на наличие границ. Перечитал сейчас строки, написанные перед отъездом, — нет, сегодня я не согласен, что именно эти мотивы побудили меня отправиться в путь. И начинаю понимать, в чем тут дело.

Строже и суровей всего мы осуждаем других людей за то, что нам не нравится в нас самих; святой никого не проклинает, мудрец никого не считает безнадежным глупцом. Вот и мое намерение отрицать любые формы проистекало в основном из того, что я не был независимым хотя бы от одной из них. Будучи в высшей степени подвержен влияниям и впечатлениям, я сохранял мою свободу опосредствованно, благодаря непрерывным изменениям. Разумеется, гораздо лучше жить, обладая непосредственной свободой. Характер (в общепринятом смысле слова), конечно, означает ограниченность, и ни один развитый человек не почитает «личность» как идеал; развитый человек преодолел предрассудки, принципы и догмы. Однако, даже не имея характера, он может быть позитивным и не менее уверенным и твердым, чем какой-нибудь упрямец, но только находясь на более высокой ступени познания. Йог говорит *neti, neti*¹ — «это не я» — всей природе, до тех пор пока он не станет единым с Парабрахманом. И тогда уж он ничего не отрицает, а наоборот, утверждает все позитивное и в себе, и вне себя, так как его уже не ограничивает определенная форма, так как каждая форма теперь служит ему послушным средством выражения. В этом смысле мое со-

¹ Не это, не это (санскр.) — изречение Упанишад.

знание также перешло в новое измерение, хотя я и очень еще далек от цели. Уже гораздо меньше, чем прежде, мне нужны реактивы, позволяющие почувствовать, что я живу, я все больше обхожусь без спасительных данных познавательного опыта; то, что раньше только находило во мне отклик, теперь звучит императивом. Но сегодня, вспоминая о своем долгом путешествии и задаваясь вопросом, не шел ли я часто окольными путями, я с большей убежденностью, чем когда-либо, отрицательно отвечаю на этот вопрос. Вечно истинно то, чему учит индийская мудрость — душа должна претерпеть многое, прежде чем она станет достаточно зрелой для блаженства знания, ибо иного пути не дано; тот, кто достигает своей цели, не блуждая по ложным — мнимо ложным — путям, тот и цели достигает лишь мнимо. Почему? Потому что цель состоит не во внешнем понимании, а во внутреннем превращении. Каждой ступени бытия соответствует своя истина, жизненная формула мотылька не годится для гусеницы; и пусть мотылек есть конечная цель гусеницы — именно ради достижения цели гусеница сперва должна побыть гусеницей и куколкой. Не иначе обстоит дело и с душой человека. Она развивается в познании — но каждое более высокое познание предполагает определенное новое состояние. И пока новое состояние не достигнуто, нет никакого толка от абстрактного знания. Не тот святой, кто со страхом и мстительностью в сердце подставляет другую щеку, — нет, природа должна находиться в полном соответствии с идеалом. А это дает нам лишь опыт. Каждая частица души должна понять, чего она собственно хочет и какова ее обязанность, в чем состоит ее совершенство, истины, не познанные на опыте, душа не признает, а чтобы пережить и испытать достаточно многое, она должна многому себя подвергнуть. Поэтому человеческой натуре требуется тем более богатый опыт, чем богаче она сама. Поэтому окольный путь вокруг всего света — в любом смысле — самый короткий путь человека к его сущности.

Все это было мне ясно и раньше. А вот что открылось мне лишь совсем недавно и что является подлинной причиной того, что я пожелал и смог отказаться от бытия Протея: обстоятельство, что познание сущности не отменяет, а делает наполненным бытие человека. Конечно, я

понимал, что любая форма способна полностью выразить атмана, однако я был уверен, что это относится лишь к человеку, сознательно живущему в духе, в том смысле, что его природа становится прозрачной оболочкой, не имеющей индивидуальных черт. Сегодня я понимаю, что это не так и что как раз напротив — натура становится живым телом духа, а дух полностью реализуется тем, что до конца проникает ее законы и правила. Если изменчивость есть нечто большее, чем связанность, то совершенная свобода начинается лишь по ту сторону изменчивости: в мнимо стесняющих нас рамках выражается то, что в рамках подвижных было бы невыразимо. Да, жизнь богаче многих, так как совершенное переживание возможно только в совершенно добровольно принятом единичном бытии. Следовательно, христианская мистика глубже, чем индийская, ибо она проводила различие между Богом самим по себе и тем, каким Он является, каким Он открывается в человеке. Пусть Бог превыше всего, если речь идет о тварном мире, но в человеке Он является совершенно человеческим. Нет ничего человеческого, что не было бы исполненным и священным в Боге. Поэтому обожествление на земле мыслимо лишь как коррелятивное очеловечивание. Вот так! Бытие Бога, о котором я раньше так часто мечтал, не является самым высшим, а представляет собой только одухотворенное бытие не-человека. Стремясь к бытию Бога, я совершил именно ту ошибку, которую часто порицал в своей теории: предпочел одну определенную форму всем прочим. Сегодня я знаю истину. И решительно говоря «да» тому, каков я есть, я чувствую себя не стесненным, а более свободным.

Время летит точно на крыльях. Чем более непосредственно я живу в духе, тем больше воздействует на меня время, но тем меньше в нем реальности для меня. Должно быть, прав был Псалмопевец, сказав о Яхве: «...пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи».¹

На земле бушует мировая война. Все больше народов нападает на другие народы, все ужаснее их борьба. И ма-

¹ Пс. 89:5.

ло того что они стремятся к взаимному уничтожению — устами своих духовных вождей они поносят и порочат друг друга, не зная меры, как враждующие герои Гомера. Всякое согласие, всякое понимание исчезли, единство человечества, по-видимому, более не существует.

Но для меня оно продолжает существовать. В катастрофе войны я вижу лишь кризис, каких — схожих по смыслу, хотя и не сравнимых по масштабам — и раньше было немало, процесс развития не прекращался из-за кризисов, наоборот — ускорялся. Прогресс проходит через периоды реакции, когда восстают и даже одерживают временные победы прежде вытеснявшиеся низшие инстинкты, поэтому можно ожидать, что прологом к более универсальному грядущему миру станет буря небывалой национальной вражды и ненависти, и будущей солидарности народов будут предшествовать уничтожительные сражения; так эре спокойствия, начавшейся при цезаре Августе, непосредственно предшествовали жесточайшие гражданские войны. Во время подобных кризисов человечество являет собой отвратительное зрелище. Раньше я бы с ужасом отвел глаза от этой картины. Сегодня это невозможно: я знаю, что всем своим существом участвую в происходящем. Нет, я не стою на той или иной стороне, все живое творение в моих глазах предстает как единое целое; я не разделяю ни одного из тех чувств, что окрыляют воюющие стороны. Но я уже не могу, как раньше, отделиться от общности и заявить: *nescio vos*¹. Потому что я сознаю свое единство с эпохой и, следовательно, также несу ответственность за ее судьбы.

Чем более сознательно я укреплялся в почве моей личной свободы, тем отчетливее понимал, что ничто не противостоит ей сильнее, чем стремление к обособленности, более того, что коррелятом познания свободы своей сущности является ощущение своей взаимосвязи со всем живым творением. Конечно, как существо метафизическое, я и есть свой собственный творец. Но если подойти к делу эмпирически, то я никем не стал благодаря самому себе. Своими задатками и началом жизни я обязан родителям, своей стране я обязан самыми ранними влия-

¹ Не знаю вас (лат.).

ниями, которым подвергался, своему времени — идеями, которые я разделяю или разделял, и импульсами, которые воспринимаю; наконец всей эйкумене я обязан многообразным опытом, сделавшим меня тем, кем я сегодня являюсь. Я сам, как сознательная личность, ответствен лишь за то, что, обладая известной энергией, неустанно работал над собой, но ведь и энергия — не моя заслуга, и уж тем более — успешность моих стараний: мысли не призваны мною, а приходят сами. Итак, я неотделим от универсума. Если я принимаю себя самого, я должен принимать и универсум; если моя задача — самосовершенствование, то она включает в себя и другую — насколько это в моих силах, участвовать в совершенствовании всего мира.

Сегодняшний наш мир я не могу отвергнуть, так же как и свое личное состояние. Оно является произведением всего, бывшего раньше; если бы мировой процесс протекал как-то иначе, я тоже был бы другим. И наоборот, мир непременно был бы более совершенным, если бы более совершенным был я, так что характер мира завтрашнего всесторонне обусловлен волей и свершениями его сегодняшних элементов. Причем всех без исключения; каждый человек своим незначительным поступком воздействует на зоны будущего. Поэтому никто не может и не должен отрываться от общего целого.

Эта истина, в мирной жизни осознаваемая лишь немногими людьми, во время войны вдохновляет большинство людей на защиту своей страны. Сегодня в каждом из сражающихся народов индивид охвачен порывом — отдать жизнь ради чего-то большего, чем он сам, и чувствует, что должен держаться вместе со всеми, а не обособляться, что должен разделять судьбу своего народа, будь то преступление, удача или же гибель. Мое сознание живет за пределами сферы национальных связей, так что я не могу принять ту или иную сторону в этой битве. Но это не значит, что события затрагивают меня менее глубоко: есть создания, которые в силу своей природы представляют определенные, особенные стремления, и есть другие, призванные воплощать всеобщее. И это всеобщее — не абстракция: оно исполнено жизни, и оно более конкретно, чем все особенное постольку, поскольку особенное служит лишь временным средством

общего. Все глубочайшие, сущностные силы жизни превыше индивидуального и национального; как раз они придают особенным событиям смысл и направление. Сознание метафизика уходит своими корнями непосредственно в эти жизненные силы. Участие же метафизика в мировом процессе заключается в том, что он находит выражение для этих сил.

Их выражение не менее важно, чем военные действия армий. Что стало бы с Европой, если бы голоса многих враждующих снова и снова не перекрывались одним голосом, решительно не допускавшим борьбы сторон, признававшим только любовь? И это был голос глубочайшей воли человечества. Чем глубже люди будут сознавать себя, тем больше будет утверждаться эта воля, тем больше она будет внутренне воодушевлять любые особенные стремления. Я провижу времена, когда сила и мужество людей устремятся уже не к ограниченным и преходящим, а только к окончательным и всеобщим целям. Ибо в идеальном будущем не бесцветная терпимость займет место героизма, а героизм, заняв место заблуждений, будет служить истине, и земными силами будет безраздельно править познающий дух. Земные силы, направляемые духом, никогда не перестанут действовать. Мужество одинаково, независимо от того, проявляет его бандит или подвижник веры, слабость тоже одинакова, на чем бы она ни была основана. Пока будет существовать альтернатива — или героизм, или великодушие, человечество не достигнет зрелости, необходимой для универсальности. Сегодня оно еще не созрело. Но чтобы человечество достигло зрелости как можно скорее, те немногие, в ком уже сегодня живет более глубокое сознание, должны неустанно провозглашать свое знание.

Я размышляю о Бодхисаттве, давшем обет не достигать Нирваны до тех пор, пока хотя бы одна душа томится в плену земного рождения, и сравниваю его образ с образом мудреца, равнодушного к миру и стремящегося лишь к познанию Бога: он еще не окончательно освободился от имени и формы, так как после освобождения от всех уз остался во власти инстинкта познания — именно он, по его утверждению, зрит Бога. Бодхисаттва же, также бывший когда-то мудрецом, сбросил и эти, последние оковы. Его стремление к познанию, когда-то дававшее

личности удовлетворение, в конце концов разбило сосуд, содержащий ее. И Бодхисаттва живет уже не в себе, он стал совершенно прозрачным посредником божественного света. И поскольку божественный свет проходит через него, не преломляясь, Бодхисаттва испускает сияние, светит вовне, и только вовне, и к творению он может относиться только как дарующий, в точности как солнце, которое даже один-единственный атом не может лишить своего тепла.

Бодхисаттва говорит «да» миру, пусть даже мир этот полон зла, так как он сознает свою взаимосвязь с ним. Освободившись от собственного Я, он чувствует свою основу в Боге и в то же время чувствует свое поверхностное неразрывное соединение со всем сущим. Потому он не может не любить все существа, как самого себя, и не может обрести покой, пока все они не будут во всем отражать божество. Бодхисаттва, а не мудрец, воплощает цель восходящего движения человечества.

Герман Кайзерлинг

ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК ФИЛОСОФА

*Утверждено к печати
Редколлегией серии «Дневники XX века»*

**Редактор издательства А. В. Заикина
Верстка С. В. Арефьева**

Подписано к печати 27.02.10. Формат 60×88 $\frac{1}{16}$
Бумага офсетная. Гарнитура «Балтика».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 50. Уч.-изд. л. 42.8.
Тип. зак. № 3070

Издательство «Владимир Даль»
193036, Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 19

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 лин., 12

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»
В СЕРИИ «ДНЕВНИКИ XX ВЕКА» ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ
ПЕРВЫЙ ПЕРЕВОД КНИГИ

Эрнст Никиш

ЖИЗНЬ, НА КОТОРУЮ Я ОТВАЖИЛСЯ.
ВСТРЕЧИ И СОБЫТИЯ

Эрнст Никиш (1889—1967) принадлежит к числу наиболее значительных фигур не только в политической философии, но и в практической политике Германии в один из наиболее драматических и трагических периодов ее новой истории. Разделяя принципиальные идеи левой, социал-демократической линии, он стал основателем и главным идеологом немецкого национал-большевизма, долгое время представлявшего собой единственную действительную антитезу и альтернативу гитлеровскому национал-социализму. Удивительно уже то, что этому беспощадному и пронизательному аналитику-публицисту, несмотря на репрессии и концлагеря, удалось пережить годы ненавистного режима.

Предлагаемая вниманию читателей книга Никиша является аутентичным документом той роковой для Европы эпохи. Автобиографический жанр образует емкие и органичные рамки для исторического свидетельства, исходящего из первых уст и принадлежащего перу человека, находившегося в самой гуще стремительно развивавшихся событий. В главной своей части это свидетельство охватывает период с 1918 по 1945 гг., с момента провозглашения Германской республики до падения нацистской диктатуры, и может быть отнесено к наиболее ярким, страстным и в то же время исторически правдивым описаниям богатой последствиями и не простой для понимания эпохи.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»
В СЕРИИ «ДНЕВНИКИ XX ВЕКА» ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ
ПЕРВЫЙ ПЕРЕВОД КНИГИ

Эрнст Никиш

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

Сборник открывается острым и глубоким теоретико-политическим памфлетом «Гитлер — злой рок Германии» (1931), одной из основных тем которого стало исследование того, каким путем и в силу каких обстоятельств восточно-прусское юнкерство и высшие офицеры рейхсвера решились оказать новоявленному немецкому фюреру решающую поддержку и начали возлагать на него свои политические надежды. Своеобразный эпилог к этой брошюре образует другая работа Никиша — «Ошибка немецкого бытия» (1945), в которой анализируется послевоенная ситуация поражения и раскола Германии. В издании впервые публикуется девятая глава, запрещенная советской цензурой и содержащая развитие основной идеи Никиша — идеи о «большой Швейцарии», объединенном немецком государстве, предназначенном служить связующим мостом между Востоком и Западом.

Несомненный исторический и теоретический интерес представляет и работа «Основные направления европейской политики» (1935), в которой рассмотрена эволюция новоевропейской политической мысли от Макиавелли до Бисмарка и сделана попытка противопоставить национал-социалистическому пониманию истории иную, более связную и перспективную ее картину.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»

В СЕРИИ «МИРОВАЯ НИЦШЕАНА» ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ
ПЕРВЫЙ ПЕРЕВОД КНИГИ

Эрнст Бертрам

НИЦШЕ. ОПЫТ МИФОЛОГИИ

В ряду новоевропейских философов фигура Ницше отличается тем, что множественность перспектив, в которых она рассматривается, только умножает грани его собственного творчества. Радикальное своеобразие философии Ницше состоит в ее компактной эзотеричности, но в то же время в принципиальной открытости комментарию и интерпретации. И в данном случае, когда автор заводит речь об «опыте мифологии», он намекает прежде всего именно на эту мифопорождающую способность ницшеанской мысли, извлекая из нее очередной миф, оставшийся живым на протяжении последующих десятилетий.

Эрнст Бертрам принадлежит к числу практически не публиковавшихся на русском языке и потому еще не известных широкому читательскому кругу немецких философов и публицистов первой половины XX века, чья деятельность до сих пор оценивается крайне противоречиво, отчасти из-за их вольного или невольного сотрудничества с режимом, магистральная идеологическая и политическая направленность которого слишком хорошо известна. Но если в социально-политической сфере оделять овец от козлиц позволительно было *en grand*, применив экстраординарные меры оккупации, репрессии и денацификации, то в собственно духовной жизни отделить зерна от плевел оказалось несравненно труднее, и то рациональное, что содержалось в творениях многих немецких интеллектуалов, живших в эпоху двух Мировых войн и далеко не всегда умевших сберечь в невредимости метафизический картезианский фундамент Нового времени, — то рациональное, что тем не менее содержалось в их творчестве, мы продолжаем открывать для себя вплоть до сего дня.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ

Карл Шмитт

ГЛОССАРИЙ

Глоссарий — философские дневники К. Шмитта, охватывающие период 1947—1951 годов. Дневники описывают духовные столкновения с авторами — современниками Шмитта, такими как М. Хайдеггер, Э. Юнгер, Т. Дойблер, К. Вейсс и другими. Записки содержат важные аспекты мотивов и научного метода Шмитта и, выходя за рамки правовой науки, ставят философские, теологические, политические и литературные проблемы. Автор описывает свое идейно-историческое пространство, где встречаются и говорят с ним Макиавелли, Гоббс и другие великие умы. Шмитт размышляет о своей собственной ситуации после войны, положении «вне закона», исследует политическое соотношение сил после краха режима Гитлера. Благодаря этой книге можно лучше и точнее понять замыслы и движущие мотивы многих книг великого немецкого ученого.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ

Мартин Хайдеггер

ГЕРАКЛИТ

Издание, предлагаемое кругу специалистов и широкой читательской публике, содержит два курса лекций по древнегреческой философии, которые были прочитаны автором в летних семестрах 1943 и 1944 гг. По своей форме оно представляет собой перевод на русский язык 55-го тома Полного собрания сочинений Хайдеггера, выходящего в свет в издательстве Клостерманн.

Публикуемые лекции могут служить основанием для более глубокого прочтения всех остальных философских работ Хайдеггера. Центральным понятием в них, вокруг которых движется вся мысль, является понятие «логоса», а центральной фигурой — фигура Гераклита, в изречениях которого это понятие было впервые применено. В первом курсе лекций речь идет о происхождении, истории западноевропейской метафизики, рассматриваемой на опыте того уникального события, того «начала», в котором человеческое мышление впервые распознает свою сущность в изначальном «при-мысливании», домысливании сущего и сразу же безоглядно погружается в использование этой своей сущности, в освоение окружающего мира. В лекциях 1944 г. исследованию подвергаются два значения привычного ныне термина «логика»: логика как руководство для правильного мышления и как логика самих вещей, самого сущего. Внимание при этом сосредоточивается на лежащей в основе того и другого базовой и изначальной логике «мышления логоса», как оно впервые раскрывается в нелегких для понимания философских высказываниях Гераклита.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ

Мартин Хайдеггер и Евгений Финк

ГЕРАКЛИТ

Издательство «Владимир Даль» предлагает вниманию отечественных читателей первый русский перевод отредактированного скорописного текста, представляющего собой запись семинара о Гераклите, который под руководством Мартина Хайдеггера и при участии его ученика Евгения Финка состоялся в университете Фрайбурга (Брайсгау) в зимнем семестре 1966/67 гг.

Уникальная стенограмма охватывает тринадцать аудиторных занятий, в ходе которых тексты Гераклита рассматривались в форме вопросов и ответов, перемежаемых рассуждениями Хайдеггера и Финка, задававшими направление и цели дальнейшего пути. В замысле публикуемого семинара Хайдеггер вновь обращается к своему излюбленному и принесшему столь весомые плоды материалу — древнегреческой философии, по времени и духу предшествовавшей Сократу. В этом последнем своем фрайбургском курсе автор еще раз призывает отдать должное тому призыву к обретению истины, который раздавался некогда из уст досократиков, а теперь, под бременем переосмысляющих и искажающих сущее философских систем, стал уже едва различим. Этот судьбоносный для человечества разлад, эту и до сих пор угрожающую ему опасность Хайдеггер предлагает встретить с достоинством и пониманием, каковые, по его мнению, можно почерпнуть как раз в обращении к темным, но вещим словам Гераклита.

Граф Герман Кайзерлинг был одним из первых европейских мыслителей, стремившихся утвердить в интеллектуальном обиходе представление о планетарной культуре, выходящей за рамки всякого национализма и культурного этноцентризма. В 1911 году он предпринял длительное кругосветное путешествие, опыт которого и лег в основу литературного труда, впоследствии получившего название «Путевой дневник философа».

По самому заголовку уже можно понять, что речь в сочинении Кайзерлинга идет не столько о движущих всяким путешественником любознательности и стремлении повидать широкий горизонт явлений, сколько о метафоре такой любознательности — о переносе ее в духовную, интеллектуальную плоскость, где главную роль играет уже не широта кругозора, а глубина в осмыслении увиденного, пронизательность в постижении самобытных особенностей разнообразных культур и цивилизаций и того общего, общечеловеческого, что всегда выступает за их партикулярные границы, конституируя само понятие о едином человеческом роде. Финальная цель такого интеллектуального странствования, разумеется, не может состоять в чем-либо ином, кроме как в возвращении к самому себе, в достижении того предельного познания самого себя, которое на языке философии издавна называется «мудростью».

Издание принадлежащих перу Кайзерлинга захватывающих описаний путешествия человеческой души по царству света, в ходе которого она шаг за шагом открывает и узнает самое себя и свой статус в этом мире, станет еще одним вкладом в тот богатый переживаниями раздел универсальной Библиотеки, в котором хранятся человеческие исповеди и дневники.